МИТИН ЖУРНАЛ

62

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

МИТИН ЖУРНАЛ
издается с января 1985 года

главный редактор: ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ ВОЛЧЕК

дизайн обложки: Виктория Горбунова
верстка: ЕЛЕНА АНТОНОВА
руководство изданием: ДМИТРИЙ БОЧЕНКОВ
подготовленно к печати: KOLONNA publications

ISBN 5-98144-038-4

© Митин Журнал, 2005
www.mitin.com

тексты

ЮЛИЯ КИСИНА
АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ
СЕРГЕЙ УХАНОВ
ГАРИК ОСИПОВ

персонажи

РАЙНХАРД ЙИРГЛЬ
РАУЛЬ РУИС

теории

УИЛЬЯМ БЕРРОУЗ

коллекция

ГАБРИЭЛЬ ВИТТКОП
ТОМАС ЛИГОТТИ

blog

АЛЕКСАНДР МАРКИН

архив

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР
ЭРИК СТЕНБОК

in progress

МАРУСЯ КЛИМОВА

тексты

ЮЛИЯ КИСИНА

ПРИЯТНЫЙ ГРОБОВЩИК

Гробовщик смотрел на меня пристально серыми умными глазами, как смотрел бы в могилу. Только на меня смотрел он не отрываясь, угрюмо пытаясь рассмотреть во мне признаки радости. А я и смотрела на него из моей внутренней могилы, понимая, что попал он по адресу.

– Некоторые женщины, – сказал гробовщик – оскорбляются, как только заводишь разговоры о теле. Об их теле, – поправился он, и как бы в забытьи, не мигая, продолжал, – а я вот много тел видел и не только молодых и еще красивых. Я видел тела и далеко перешагнувшие за возраст жизни.

Только этой зимой произошла удивительная история.

Обычно я раскапывал мерзлые сиротливые ямы, в которых было потеряно имя умершего. Мы свозим останки в общую яму, как мы шутливо называем, к Моцарту, то есть в братскую могилу. А ведь через каждые двадцать лет на кладбище ревизия – тут уж полное обновление: кто не внес взносы на несколько тысячелетий вперед, вылетает из места своего вечного упокоения, а так как нету на всех земли приходится их сжигать. Дело государственное, как прополка огорода. Вот так многие от страшного суда избавляются, ведь без праха переходишь под «Японию»: у них вера, сама знаешь какая: душа после смерти экзамены сдает, переселяется в молодежь. А у нас, у христиан, точный счет: ко всякой душе одно тело прикрепляется. И хоть приходится нам избавлять страшный суд от работы, все равно к старикам с питаю уважение – труп, он чем давнее пролежал в земле, тем бережнее я к нему отношусь. Значит, труп со стажем попался! – так мудрствовал гробовщик, то лукавя, то меня за пальцы трогая.

Когда я отодвинула пальцы, он погрустнел, будто туча над ним нависла, потом вспомнил что-то, пожевал спичку и отошел к окну, причесал пятерней волосы и весело обернулся и заговорил со смешками, быстро торжественно и громко,

– А вот в этом году как раз перед ревизией сменили директора кладбища – старый Вольф пошел на пенсию, а нам по повышению – бывший зав. отделом супермаркета – такой бритый-мытый. Собрал он всех наших кладбищенских. Улыбается, светится, как натертый, и говорит: теперь кладбище сильно коммерциализируется и ставки по могилам удваиваются. К тому же, при анализе данного рынка – маркетинге – пройдет переоборудование и некоторая перестройка и модернизация объекта.

По плану мне достался квадрат в юго-восточной части объекта, знаешь, под белой пирамидой, – он кивнул в сторону окна. – Тогда это был один из роскошнейших склепов… – Тут гробовщик задрожал голосом, ведь он уважал искусство и по причине работы был особенно близок к скульптуре.

– Может быть лучше тебе не рассказывать, – сказала я. Все-таки пережитое – не из пуха.

Он слабо улыбнулся и закашлялся до слез и красноты.

– У меня астма, – виновато сказал он, приходя в себя, и улыбнулся на этот раз так нежно. – Я сына с собой часто на работу беру. Ему семь лет. Мы с ним одни, жены у меня нет, а он, знаешь, интересуется, о душе спрашивает. Но я не запугиваю ребенка страшным судом. Вот, – говорю, – посмотри, – трупы. Береги момент жизни,– говорю. За могилой – ночь. И он их не боится и растет без предрассудков. «Только, пап, противные они, – говорит, – и воняют». Гогочет и нос зажимает. Вот, какой у меня парень. Я немного отвлекся…

Гробовщик с удовольствием замял в пальцах землистый шарик гашиша, смешал его с остатками табака, скрутил косяк и с удовольствием затянулся. Он был рослый, красивый, с мягкими руками и со свободным, пристальным, ни к чему не обязывающим взглядом. Идеального вида подрезанный нордический нос украшал его иссине-бледное лицо со слегка выдававшимся подбородком, квадрат которого приходился на копытце. Про глаза я уже говорила. Словом, спокойное мужское лицо. Меня подкупало то улыбчивое смущение, с которым он говорил о трупах, его деликатная боязнь не повредить чужие установки, и потому, прежде чем выдать свою истинную профессию, он долго говорил со мной об искусстве, стараясь прощупать мою лояльность. Потом я сама легко как обычно скатилась на разговоры о смерти, и только после этого он сказал мне, что соврал. И что никакой он не скульптор.

Его родители из глухой альгойской землянки были поистине религиозными людьми. До сих пор не разочаровавшись в гитлеровском фашизме, они спрятали его куда-то глубоко и туго, под грудь, куда теперь уже по прошествии лет никто из новоскроенных демократов и не мог заглянуть. Спрятавшись под сенью деревенского прихода, они избежали вопросов о прошлом. Сына отдали подрабатывать при церкви, как только он чуть раздался в плечах. Были довольны им и горды, что поучаствовали во всеобщем круге рождений и смерти не только бессознательным и беспомощным телом, но и практически. Вот и все, что я знала о нем.

– Из могил, действительно неприятно пахнет, даже из очень старых. В нашем грунте стареют они не скоро. Слой дерна защищает от летней жары. Все же копать в зимние месяцы тоже приходится. Тогда тяжело. Земля – как битое стекло. Вся тужится под тяжестью мороза, не дается. От усилия щеки отваливаются. Идешь с заступом на участок. Берешь с собой модернизированную лопату – такие клещи, чтобы перекусывать мягкие, застрявшие в корнях кости.

И вот послал меня наш новый директор к этому старому склепу, в котором прошлым летом похоронили последнюю представительницу семейства, как нам тогда говорили. Но тут при новом директоре появляются дальние родственники, тоже заботящиеся об упокое своих тел, показывают бумаги на покупку склепа и директор приказывает мне очистить места для новых владельцев, то есть выкинуть стариков. Сунул архитектурный план склепа, номер мог. плиты, и я как обычно отправляюсь туда, думая о других вещах. Думал я о том, как еще в детстве покупал воздушную кукурузу в лавке у тех, чьи камни придется сейчас вскрывать. Я представил себе весну, субботний вечер, томление детей в ожидании крестного хода на пасху. Эту женщину в белом платье – оно стояло у меня в памяти,

доставшейся из детства. Платье белое в черный горох. Точно помню тогда: шебуршится толпа, мужчины, женщины, радостные такие. Пахнет от них человечеством, и во мне мальчик просыпается. А ближе всех стоит эта женщина в горох, и ткань прямо чуть не лопается на ней. Губы красные, зубы веселые, кусучие! Улыбается нашему священнику. Когда я входил в склеп, мне даже представилось, что и хоронили ее в этом белом в черный горох платье. Но мне никогда не приходилось удостовериться в моей сентиментальной убежденности, что мертвецов хоронят в одеждах, в которых они когда-то были молоды.

Плита с этой славной женщиной остается справа, а я по плану должен вынуть ее дедушку и свезти несчастного к «Моцарту». Я сбил мороженый цемент с краев плиты, отвалил ее, вынес из склепа и стал совать в темноту мою модернизированную лопату. Хруста обычного не было. Все же что-то вскрылось, с трудом перекусилось, на меня вылилась волна почти банного тепла посреди зимы. А вонища – сильнее обычного, будто тут слона схоронили. В лопате у меня была половина тела в черном ситце в белый горох – как раз негатив того, о чем я теперь думал. Ну и отвратительное же было зрелище. Меня чуть не стошнило. А ведь красивая была баба, как помню.

Бегу к директору. Сую ему рукавицей план – вы перепутали могилы. Директор вскакивает: «Да я? Ни за что! Не может быть. План не я делал…». Словом, когда оказался директор со мной у склепа и увидел эту штуку в горох, с ним случился инфаркт – ведь он прежде галстуки продавал и трупы видел только свежие и загримированные. Вот так я и стоял оцепенело с двумя трупами без поддержки руководства и моральной. И не было сил его спасать – все тело и так смерзлось. Он умер, а я тогда потерял работу, – вздохнул могильщик.

Я смеялась в нос, стараясь в замшевой полутьме комнаты, освещенной лишь модной масляной лампой, не выдать своего ликующего веселья от того, что история меня не столько брезгливо потрясла, но взбодрила. От подступившей энергии меня даже немного бросило в жар. Я расстегнула ворот душной кофты, откинула волосы назад, поправила шлейку на платье и мне захотелось поскорее оказаться в нежных огромных лапах этого грустного рассудительного человека. Он схватил меня за плечи, повалил набок, и наивно и громко, как дикое животное олень, засмеялся от счастья.

БЕЛАЯ

Она, смуглая, лежала в гробу литературного музея и не пахла. Экскурсовод быстро сотрясла каблуками люстру, и вся экскурсия, минуя мемориальный торшер, пододвинулась к гробу и благоговейно окружила его.

– А тут, – сказала звонким голосом литературоведша, – вы видите тело первой жены Андрея Белого – Аси, внучки нашего классика Тургенева. Весной 1912 г. Белый вместе с Тургеневой уехал за границу. Анна Алексеевна Тургенева увлекалась антропософией. Несмотря на трагическую разницу характеров, приведшую к разрыву Белого с Асей, она-то и повлияла на антропософские увлечения писателя. Анна Алексеевна умерла в 1923 году в Германии, около

Мюнхена, и ее тело после войны было передано в дар советской власти немецким правительством в согласовании с планом Маршалла…

Рабочие обступали кругом стеклянный гроб. Это была наша первая экскурсия в музее, и вскоре к нам присоединились и другие одинокие посетители, у которых не было экскурсовода. Вперед протиснулась чужая старушка. Рабочие заерзали и вспотели. Всем хотелось рассмотреть мумию поближе.

– А как же такая мумия сохранилась?

– В мире немного таких мумий, – сказала сотрудница, – мумия мумификатора Пирогова, Мао Цзедуна и других, поэтому мы закрываем окна, чтоб не нарушить микрологические условия. Вон, в углу стоит регулятор влажности, серый такой.

Рабочие крутили головами, неловко переминались с ноги на ногу, жадно смотрели в голову мумии и потели. Воздух увлажнялся и раскалялся.

– Жарковато мне, – сказал кто-то – как будто печка внутри горит.

– В нашем музее работает группа научных сотрудников, специально прикрепленных к телу, – сказала сотрудница и вытерла испарину, выступившую на лбу. – Специальная влажность и точная температура не позволяет сохнуть или увлажняться не только внешним эпилятивным покровам и внутренним органам, но и книгам, хранящимся в библиотеке. Температура не должна ни на градус превышать норму.

Особенно рабочему Царюку стало жарко, оттого что много пива выпил, да еще и вид покойницы сводил его с ума. Уже долго не было у него женщины, и обе они – экскурсоводша и мумия действовали на его железы. Но экскурсоводша была суха в плечах, а мумия – лежала ласково. Он снял фуражку, вытер лоб рукавом и откашлялся.

– Красивая была женщина, – сказал он тихо.

– Вы можете рассмотреть ее внимательней, – строго сказала экскурсоводша.

– Гроб-то верно на нашем заводе сделан, а мы не в курсе – сказал пожилой прораб в клетчатой рубашке, расстегивая ворот, – что ж от нас в секрете держали? – Под мышками у него от жары стало промокать.

– К сожалению, – сказала экскурсоводша – гроб не отечественный. Его швейцарские мастера делали. Стекло шлифовано вручную. Дерево – бук. Это был подарок музею. Музей у нас небогатый, но знатный.

– Она дернула глазами! – громко и испуганно шепнул кто-то из посетителей.

– Кто?

Всех бросило в холод. Изнутри гроб стал запотевать. Действительно, мумия Анны Тургеневой медленно открыла бесцветные глаза и мутным взглядом обвела экскурсантов. Толпа придвинулась. У Царюка рубашка прилипла к спине. Работница музея вскрикнула, невольно засмеялась, отпрянула в сторону и, пробившись через толпу, попятилась к лестнице. Серые губы мумии неясно промычали что-то, отдавшееся эхом внутри стеклянного гроба, и мужики придвинулись еще плотнее. Двое из них переглянулись. Кто-то громко сморкнулся. Двое ловко стали сворачивать стеклянную крышку.

– С крышкой поаккуратней-то – дорогая!

– Доктора бы ей быстро, – сказала коричневая старушка, в страхе глядящая на грудь усопшей.

– Не надо мне доктора, спасибо, – слабо сказала мумия и приподняла голову. – Помогите мне встать.

Два учтивых литературных студента (один с зубами веером) приподняли ее за локти, и Анна Алексеевна села на незамятый бархат, оставив после себя мокрый отпечаток. На спине ее густо росли сырые разводы плесени, полусгнившая ткань серого муарового платья, так хорошо сохранившегося спереди, сзади оставляла желать лучшего. Кто-то уже нес стакан воды.

– Влажность нарушилась.

– Смотри, сам взопрел-то.

– Раритет воскрес, свидетельница времени, – шептались в толпе.

Анна Алексеевна отпила, поискала кого-то в толпе, прочно остановила посиневшие темные глаза на мне и сказала, слабо мне улыбнувшись:

– Ах, Юленька, ну наконец-то, а я так долго вас ждала! Она протянула ко мне высохшую руку и, коснувшись моего локтя, вызвала во мне содрогание и отвращение. Все же я расслабила лицо, улыбнулась и сказала:

– Добрый день, Анна Алексеевна, рада познакомиться. – Я с гадливостью легко пожала ее неплотную руку, и тут вся толпа по очереди стала называть свои имена и, благоговейно и боязно глядя на нее, тянуть к ней дрожащие руки.

– Мне еще тяжело ходить, – сказала мумия, ведь я еще не оправилась после болезни.

– А что же с вами? – спросил Царюк и экономно вздохнул.

– Доктор бестолковый, дал мне пиктина. А я еще вечером хлеб с пальмином намазывала. Старый был пальмин. Вот оно и вышло.

– Что вышло? – спросил Царюк.

– Да чувствую я себя, как дура последняя. Вся как во сне. Как во сне, – она опять подняла на меня сизые глаза. – А что вы к нам так давно не заходили? Случилось что?

– Нет, слава Богу, все неизменно, – сказала я умирающим голосом.

– А как с вашим позвоночником?

– Да, спасибо, ничего, получше, – говорила я, как автомат, и все перед глазами плыло.

Толпа отодвигалась. Ужас пылал на лицах. Только Царюк смело остался и все пытался войти в сектор зрения Анны Алексеевны и влезть в разговор. Краем глаза видела я, что экскурсоводша стоит у входа с директором и крепко держит его ногтями. Анна Алексеевна опустила одну ногу на паркет, и пальцы ее в старомодных туфлях расклеились и расплющились с хрустом. Царюк поспешил ее поддержать под локоть, и она окинула его благодарным взглядом. Толпа раздвинулась. Анна Алексеевна пошла вперед, покачиваясь, как под хмелем, села за мемориальный стол и оцепенела от попытки войти в кресло. Царюк развалновался несносно и запах драгоценным мускусом. Анна Алексеевна слабо отреагировала. Краем глаза я видела, как по одному посетители шли за дверь, стараясь ступать как можно тише. Вскоре в зале от экскурсантов остались только я

и Царюк. Я знала его уже два года – я у них на заводе в секретариате работала. Царюк был дурак. Поэтому он и не уходил.

Анна Алексеевна медленно встала и протянула к нему руку. Из руки ее медленно выполз зеленый луч и вонзился рабочему в лицо. Царюк прямо окаменел и открыл рот. Анна Алексеевна улыбнулась. Она рассекла лучом его голову на две половины, и что-то тяжело хрустнуло у него в шее. Я зажмурила глаза и услышала звук упавшего тела, ожидая худшего.

– А как ваши родители? – услышала я вновь ласковый голос Анны Алексеевны.

Я старалась не смотреть на тело убитого рабочего.

– Х-хорошо, с-спасибо.

– Пойдемте отсюда, Юленька, – сказала Анна Алексеевна, подошла, взяла меня за руку, – вам нечего на пакость смотреть.

Я повиновалась.

– Какая гадость – этот литературный музей, – сказала Анна Алексеевна и сморщила нос – старый, неремонтированный.

Мы спустились по лестнице. Меня не на шутку тошнило. Внизу уже не было ни души. В фойе мне стало совсем плохо, и голова моя закружилась. Я почти не могла стоять на ногах и присела на корточки у огромного мутного зеркала. От Анны Алексеевны пошел сильный неприятный запах.

– Что-то вы совсем бледненькая, – сказала Анна Алексеевна и наклонилась ко мне совсем близко. Я стала блевать ей на платье.

– Ой, Юленька, что ж это. Не беспокойтесь. Неприятно, но можно выстирать. Я знаю – проклятый пальмин вчерашний – гадость какая. Тут я заметила, что говорит она с акцентом.

Я еще раз блеванула на ковер.

– Туалеты тут нечистые, – сказала инопланетянка.

– Сгинь ты, – сказала я, не на шутку заикаясь, и уставилась на нее с нескрываемым отвращением.

Она вытянула руку вперед, и мне в глаз вонзился зеленый луч. Я отскочила. Анна Алексеевна с непонятно откуда возникшей прытью стала бегать за мной по фойе. Я утроилась, как в триллере. Теперь я одновременно сидела на подоконнике, входила в дверь и стояла позади нее, скрестив указательный и средний палец у нее над головой. Я увиливала, как в кино. Анна Алексеевна росла на глазах, а в руках у нее появился сеть для ловли тритонов, которой она тут же накрыла меня, сидящую на окне. Я забарахталась и снова превратилась в себя единую вне сети. Анна Алексеевна откинула сеть и двинулась на меня. И тут я скользнула в библиотеку. Она за мной. Там были книги наших любимых отечественных писателей, но мне ничего не оставалось делать, как швырять их ей в башку. В ход пошли твердые коричневые тома Гоголя. И тут случилось чудо: да, меня спасло чудо. Огромная библиотечная полка с нашей классикой полетела прямо на нее. Я видела, как заостренные как лезвия корешки книг разрывали ее платье и вонзались в серую муть никому не известных небелковых соединений. Последнее, что она успела прошипеть, было проклятье литературе. Когда она дернулась в последний раз и шипящая жидкость вылилась из оболочки, кожа

ее распалась, обнажив нечеловеческие внутренности. Я увидела на дне ее желудка маленькую коробочку и рухнула без чувств.

На следующий день меня посетили в больнице следователь и директор музея.

– Там был микрофильм со списком комиксов. Она немецкая шпионка была, биологический робот. Ее в институте Макса Планка сделали, в ФРГ, как и другие мумии-шпионы. Они оживают при повышенной температуре и часто сбиваются с программы, если сильная влажность. А настоящая-то Анна Тургенева умерла недавно-то, в шестьдесят шестом. Все враньем было. Антропософы чортовы! А комиксы они хотели нам навязать. Нам-то, самому читающему народу, как говаривал писатель Герберт Уэллс! – сказал следователь и крепко пожал мне руку. – А у нас для вас добрый подарок, Юлия Дмитриевна. Давайте, Игорь Дмитриевич.

Игорь Дмитриевич, директор литературного музея улыбчиво замялся и вытащил из портфеля книгу. На синей коленкоровой обложке белыми буквами было написано: Андрей Белый, Баллады.

– С автографом. Ну и повезло же вам – настоящий раритет, – сказал следователь и смущенно подмигнул.

НАСТОЯЩИЕ БОГАЧИ

Конечно, по-настоящему я никогда не копался в человеческих внутренностях. Это я наврал, чтобы прибавить себе весу. Нет, я просто помогал в морге: мыл трупы, менял простыни и все такое прочее. Зачем я это делал? Чтобы что-то себе доказать. Вот, чтобы доказать себе, что мне все на свете все равно. И у меня отлично получилось. На самом деле мне все, пропади оно пропадом, абсолютно все равно. Например, я могу жениться на ком угодно. Ну хоть вот на этой старушке, которая только что села в Вапаретто. Так я оказался в Венеции. Вчера я решил никогда в жизни больше не возвращаться в Швейцарию. Теперь я буду жить целую неделю в доме у богача Оливьеро. На Оливьеро тоже можно было бы жениться, будь я гомосексуалистом.

Оливьеро необходимо отрезать верхнюю половину черепа, в том месте, где у него прекращается рост волос и вставить туда верхушку вон той прекрасной блондинки за столиком напротив. Тогда он будет идеален. Я не могу представить, что мои пальцы ласкают эту часть его головы и нащупывают гладкие затертые от безделья места. К тому же на ушах у него растет жесткая щетинка. Гораздо приятней чесать этого кретина богача Паоло. Его можно чесать за ухом как морскую свинку. Но Паоло надо отрезать руки. Эти короткие пальцы, похожие на швабские сосиски. Зато у Оливьеро руки замечательно большие, и даже чересчур. Ими можно было бы осенью сгребать листья в парке и отправлять в большие целлофановые пакеты. Зато волосы на его руках прекращают расти точно в районе манжет. Легче было бы сделать ему пересадку кожи. Я думаю, что тут пригодился бы опыт доктора Франкенштейна, и тогда бы я мог бы поселиться с этим человеком или с этими людьми в уютной, немного загаженной персидскими коврами венецианской квартире. Но они ничего не делают, эти черти,

их дедушки и бабушки здорово позаботились о том, чтобы их говенные внуки ни о чем не думали. Жена Оливьеро – была бы отличная девушка, если бы не проглотила деревянный кол, который мешает ей глотать и разговаривать. Она медленно ходит по своему обветшалому дому в черных перчатках и стирает ими пыль. Так же медленно она готовит свои гигантские пироги. Эти люди живут как бы вне времени, хотя читают газеты и с удовольствием болтают о новостях. В них нет ни капли здорового трудового цинизма. Они, например, настаивают на том, чтобы в египетские минареты не пускали туристов, видите ли, религия – это интимная область мусульман. А я считаю, что религия – это опиум для народа, кривой кинжал, который когда-нибудь воткнется в большое белое горло воюющего за демократию Оливьеро. Но уже будет поздно. А пока что он сидит в своей жутко со вкусом обставленной венецианской квартире и выращивает гостей как тюльпаны. Его дорогие гости – такие же милые бездельники. Они скупают виллы, леса, моря, вулканы и другие достопримечательности. Этим алкоголикам, скопившимся в ничтожной части земного шара, который называется Европа, принадлежит уже половина глобуса. С утра у них появляются неразрешимые проблемы: какую скатерть купить вот к этому сервизу и какие заказать к ней салфетки. Если на столе будут только французские вина, то ни в коем случае не из провинции Бордо: это пошло.

– Вино должно разлагаться во рту на мельчайшие ароматы, – говорит Оливьеро, и я уже на пороге полуобморока.

– Этот бинокль украсит мою комнату, – говорит богач Паоло и рассматривает через бинокль книжку, открытую на другом конце стола, – это первое известное мне издание «Божественной комедии».

– Конечно, устаешь за все эти праздники, но потом можно отдыхать хоть целый год, – советует мне Катарина. Я приму это к сведенью. Я постараюсь отдыхать целый год и всю мою жизнь, выжимая из этого наибольшую пользу для организма. Если получится.

– Почему же не получится, надо только расслабиться, накупить себе красивой обуви и отправиться на юг. Но ни в коем случае не в Неаполь – там ужасно орут. Отдыхать лучше всего на Ривьере.

Я только не понимаю, от чего надо отдыхать?

– Ну, все эти рожи, – говорит Катарина, ловко справляясь с деревянным колом, который она проглотила еще в детстве, – все время одни и те же лица, и эти разговоры. Ну сколько можно говорить о поэзии. Поэзия, поэзия! И никто не заикнется о прозе. Им и в голову не приходит.

– Дом лучше всего покупать осенью, – медленно замечает Макс, прикуривая Житан.

– Почему осенью?

Он, кажется, не слышит меня и достает с полки Пруста.

– Дом был действительно очень дешевый, а маклер был золотце. Там было и электричество, и вода и отопление – все в порядке, но эти платаны за окнами. Почему платаны! Почему везде эти тривиальные платаны! Я не понимаю. Ну, хорошо, ну купил бы я дом, ну срубил бы платаны, ну посадили бы мы туда ели. Пока бы они выросли, я наблюдал бы следующий ряд платанов и так до глубокой старости, и быть может, до самой смерти. Вот поэтому я и не собираюсь покупать

дома у этого недоношенного ублюдка, этого пацци, Саргенто. Под конец он все равно всунет вам платаны, даже если вы купите у него квартиру на Луне!

На окне стоит букет причудливых зеленых неприличных цветов с красным жгутиком в середине каждого листка.

Макс скептически подходит к студенческой мазне матери Оливьеро и с умным видом спрашивает:

– Это настоящий Пикассо?

– Да, – говорит Оливьеро нарочито ледяным тоном, – там же ясно написано: Пикассо.

– А мне кажется, – это копия, только я не понимаю, я не помню этой картины. Ты знаешь, столько подделок!?

– Пикассо под конец жизни писал как автомат, делая деньги. Это же не картины – это купюры, натянутые на подрамник.

– Это верно, – говорит Макс и трогает пальцем холст.

– Я испекла пирог, – радостно шепчет Катарина, насколько это позволяет деревянный кол, вживленный в ее организм.

Мы сидим и поедаем довольно вкусный пирог. Это она мастерица.

– На лето я сдам дом Джеклсону из Сан-Франциско, – говорит Паоло, запихивая в рот кусок пирога, – и уеду в Индию отдыхать.

– Меня не привлекает Индия – там грязь, нищета, надо делать прививки, тащиться к врачу, или он притащится ко мне, этот старый доктор Риббони с дрожащими конечностями.

Ночью здесь очень хорошо. Темно и не видно росписей на потолке. Можно остаться наедине и подумать о том, на какие деньги я должен жить в следующем месяце, когда вернусь в Базель. Я найду себе нового пациента и по ночам буду слушать его крики за несколько франков в час, и вытирать пот с его лба, и выслушивать жуткие капризы, и подтирать дерьмо, и недосыпать, и нервно бегать в банк, и бояться, что меня снимут с пособия, если я заработаю на франк больше положенного. Параллельно с этим я думаю о том, что лучше вообще не жить, если вся эта чушь никогда не свалится с плеч. Я буду экономить на еде, чтобы не оказаться на улице.

Постепенно я начинаю тихо ненавидеть моих радушных хозяев. Все-таки в Париже было гораздо спокойней.

– У вас нет костюма, у вашей девушки нет платья для коктейлей, у нее нет вечернего платья! Да вас туда не пустят. Идите и немедленно покупайте ей вечернее платье. Можно темно-синее.

Да нет у меня никакой девушки. Моя девушка осталась в Париже, да и вообще это была совсем не моя девушка, а девушка Жан-Люка, такая же скучная капризная мочалка, как и все остальные. К тому же она действительно не умеет себя вести, и у нее пахнет изо рта. А на костюм, извините за выражение, у меня нет ни капли денег. К тому же у меня кривые волосатые ноги с сильными мужскими икрами, поэтому о платье в принципе не может быть и речи. Я могу завернуться в новую скатерть Оливьеро и припереться на это парти в костюме Кентервильского привидения, но зачем оно мне нужно, если я не смогу участвовать в разговорах? Что я им скажу? Что я польский или колумбийский эмигрант, что я

живу в самом скучном городе на свете в самой унылой стране и подрабатываю в морге или у инвалидов. У меня нет ни дома, ни квартиры, ни даже собственного стула, потому что мои предки в России мечтали о равноправии, свободе и равенстве. У меня есть, конечно, свой письменный стол, электрическая пишущая машинка и чучело фазана, но это не считается. Я бы с удовольствием превратился бы в Оливьеро или в Катарину, уж на худой конец в богача Паоло, если бы обо мне позаботились бы их родители. Но это ИХ родители. Я лежу в благоухающей темноте и думаю о своей маме. Меня часто спрашивают о моих родителях, но я не могу им сказать все как есть: я не смогу даже объяснить, что моя мать в детстве часто бросала мне в голову велосипедный руль, десятилетиями валявшийся в прихожей, что, когда она срывалась на визг, настоящая мыльная пена шла у нее изо рта. Я не могу им рассказать и о моем отце, который никогда не моется и который вынимает изо рта и кладет на стол при чужих людях свои пластмассовые зубы, под которые во время еды попадают крошки. Я не могу им рассказать и о той квартире, в которой они живут во Львове и которая никогда не проветривается, и о манере моей матери носить зимой эти жуткие синтетические рейтузы…

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАВЕТОВ

Потому что его вырванное сердце оказалось в ящике с апельсинами. И потому что наши покровители были еще слабее нас. Так, отказавшись от поэзии, мы отказались от отечественного наследства. Больше не римская погода. А комнате с вырванной с корнем люстрой, которая служила отличным якорем для огромной крыши нашего дома, все равно больше не шел дождь.

Больше не будет канцелярии и канализации. Больше не будет очереди в канцелярию. Больше меня не пошлют за чернилами для канцелярии. А ножки ванной больше не покрывались львиным мхом, и на гантелях, лежавших под ней, не разрастался нефритовый мягкий грибок. И больше не проходило через комнату в сухих электрических разрядах платье деловой машинистки Веры П. И больше не витала в мягком густом воздухе зеленая никелированная кастрюля со студнем из свиных копыт. И больше я не делала из этого свиного студня нашейные украшения мертвецам. И больше не сыпался поток мелких искр, когда она встряхивала своими рыжими косами, чтобы отогнать перламутровых, занесенных с моря греческих мух. И больше даже не было неприятно. И больше не бежали сирые мыши из-под кардинальской мантии. И больше не пахла мышами огромная сырая портьера молодежного клуба. И больше не пах медью огромный духовой оркестр в парке с гипсовыми вазами. И больше не шипели из вазы длинные ядовитые цветы. И летом не шел сухой прохладный снег на пыльную клумбу с острыми зубчиками гипсовой салфетки, на которую ее положили. И больше не было пальмы в Ялте. Больше не пел тенорический солдат, занесенный буреломом на колокольню. Больше не плавала к сырой стене губная помада. Больше не было клубники под густым натиском кислой сметаны. Больше не было рыжих пятнен на клубнике. Больше не будет все гореть синим пламенем. Больше не будет письма накануне. Больше не будет маслянистых хрупких тараканов на кухне, которые лопаются под ногой как

первые капли дождя. Больше не будет высохших подсолнухов во дворе. Больше не будет шкафа, вросшего толстыми корнями в сырой паркет. Он не будет больше приносить желуди. В нем больше никогда не заведутся свиньи. Он больше не пустит почки. Не будут гнить туфли в шкафу. Не будут сухие лютики моли засылать своих однодневных пилотов в черные недра гардеробной. Не будет кафтана из театра. Больше не будет живая рыба. Больше не будет плакать крыша по весне. Больше не будет перебранки на дворе, от которой падает в серую грязь белоснежное белье. Не будет зеленое море каштанов с желтыми ракетами соцветий стартовать с Крещатика. Никогда не будет кафелем выложенного балкона, укутанного в прохладную баню этих каштанов. Не будет рояля, перегораживающего выход на балкон. Больше нет старых автомобилей, трещащих и рычащих. Они навсегда замолкнут. Больше не будет кривого точильщика в подворотне, который лапает мальчишек, выходящих из школы. Больше не будет жары и очереди в туристическом бюро, где все проворовались. Больше не будет такси в Крыму. Больше нет ни души в винограднике. Больше не будет взрыхленной сухой земли. Больше не будет пыльного автобуса с накаленными солнцем окнами и с одним пассажиром. Больше мальчик не скажет дурные слова, а его мать не пошлет его мыть рот с мылом и больше ему не придется вытаскивать языком из-за щеки вонючую щелочь. Больше не будет полная сумка твердой морковки, подаренной незнакомой крестьянкой в неурожайный год. Больше не будет похорон одинокой старухи из «недобитых».

Как они происходят? Легкий, как лодочка, гроб несут два человека. Один – сосед, второй – могильщик. Они забрасывают гроб в такси и молча едут по пыльной дороге до кладбища. Молодой человек потеет. «Какая жара». Могильщик хитро улыбается, мол, жара нипочем. Он знает эти игры. Гроб не вылезает из машины. Зацепился гвоздем за резину. Валаамова ослица. Могильщик несет гроб под мышкой. В свежевырытую неглубокую могилу неаккуратно кладется гроб так, что старуха внутри лежит уже на боку. Могила засыпается. Над ней делается небольшой временный холмик, такой, чтобы его можно было через неделю сровнять с землей. Когда старуха, лежащая в гробу и на боку, была молодой, ее звали Машенька Ставская, ее отец запрещал ей делать некоторые вещи.

В последний раз запахло сигаретой, плавающей в блюдце с дождем, оставленном случайно на подоконнике. В комнату опять ворвался сквозняк. Вместе со сквозняком зашел папа в шубе из рыбьего меха и заорал:

– Больше не будет бульварного кольца. Больше не будет кислого дешевого вина в нормальной подворотне. Больше не будет детской площадки с алкоголиками. Больше не будет женщины в красном плюшевом платье на пляже в тридцатиградусную жару. Она вышла на пляж с заплаканными, размазанными по небу глазами из коричневой туши. Она больше не будет нести кошелку с синей курицей. Больше не будет молоденькой проститутки, которая хотела изучать биологию (стать ветеринаром, географом…) Больше не будет ботаники. Больше не будет ботанического сада над морем. Больше не будет синего режущего фрагмента моря в вышине черной накаленной листвы.

– Успокойся, ведь больше не будет ничего, и к чему эти все дорогие слова: Больше не будет пива с лимонадом, из которого вышли все пузыри. Больше не будет блевоты винегретом с водкой. И это откровение.

– Идем, – строго сказал отец.

Мы вышли на лестничную площадку, на которой стояли кастрированные кактусы. Папа схватил горшок с одним из кактусов – нелегкий горшок – и швырнул в свежевыбеленную дверь нашей соседки.

– Больше не будет раком больного пенсионера в палисаднике, и ему никто не сделает пилотку из газеты, – заорал он – Больше не будет мальчика, носящего женскую, просаженную молью шубу. Это – я! Больше не будет музыканта, носящего желтое лайковое пальто с разошедшейся на спине шлицей.

Тут из-за нашей двери, вероятно, услышав шум, высунулась Белла и скороговоркой зашептала:

– Больше не будет выточек на кримплене. Больше не будет академического рисунка. Больше не будет футбола во дворе школы. Больше не будет «Кто? Кто? Конь в пальто».

– Именно, – торжественно произнес отец и вышвырнул второй кактус в окно на аккуратный каменный паркет двора.

Сидя на корточках у двери соседки, я лихорадочно записывала в блокнот: «Больше не трещали подлокотники и ступени старой дачи. Больше не было запаха восковистых пяток преступника, ночевавшего на нашей кухне. Больше не будет стол похож на стеклянный остров с разбитым флотом. Больше не горел в февральских сумерках синий газ на кухне, чтобы хоть немного согреть помещение. Больше никто не восхищался громко картиной Веласкеса, занесенной в маленький городской музей. Больше не вздымались полосатые паруса и не летели посреди комнаты. Больше не было пятидесятилетнего инженера в кирзовых сапогах, тупо рыхлящего землю на даче. Больше не было игры в прятки в летнем лесу.

Тут мы услышали, что по лестнице быстро поднимаются несколько человек. Это была специальная бригада. Отца расстреляли на месте из автомата, так, что его кровь завершила экспрессионизм на двери соседки. Белле заломили локти. Мне крепко пожали руки, и я помогла вынести отцовское тело вниз, туда, где нас ожидала полицейская машина. Когда мы ехали в морг, я писала в блокноте:

«Больше не будет больного священника с повышенным кровяным давлением. Больше не будет старого еврея, который паршиво себя чувствует. Больше не будет экскурсии в Новгород.

Больше не будет шестой седьмой, восьмой и одиннадцатой частей света. Больше не будет хорошего хозяйственного мыла, сделанного из моей любимой собаки Тины. Оно отмывает все. Больше не будет красивого пожара на водонапорной башне в Лесном. Больше не будет ничего».

СЫН АПТЕКАРЯ

К половине одиннадцатого на столе, по заведенной привычке, всегда дымился кофе, сверкал сыр и замирало яйцо, снесенное моей матерью из огромной любви к отцу. Отец, подточив в наклоне плотную фигуру и раскинув фалды ласточкой позади спинки стула, важно усаживался, крякал и звякал ложечкой по той части яйца, которую он насмешливо называл «Антарктидой». Яйцо

податливо раскалывалось, и отец громко и преувеличенно поучительно говорил мне: «Вот, дружище, я бы тоже мог бы съесть тебя на завтрак». Потом он делал паузу, внимательно смотрел на меня лимонными глазками и уже шепотом, язвительно: «Но, голубчик, пощадил!»

После этого всегда неожиданного и обстоятельного ритуала он больно щипал меня за ногу под скатертью, так, чтобы не заметили остальные.

Позавтракавши, добрый отец складывал салфетку вчетверо – педантично, всегда уголок к уголку, клал ее по правую от тарелки руку, растворял в стакане заведенный аспирин и, одним махом выпив его, отправлялся на службу – в аптеку. Я же шел в школу для старых маленьких и мечтал стать таким же, как отец, и перенять из его рук меч и секиру.

У отца было забавное лицо. Такие лица обычно называют «птичий нос». Я же еще в детстве представлял себе, что птичьим носом следует пользоваться как пером. Не раз я представлял себе отца в банке:

– Яусов, распишитесь, пожалуйста.

– Где именно?

– Вот здесь. И число.

– А чернила?

Служащая пододвигала чернила, и отец, обмакивая нос в пузырек, лихо расписывался.

– Спасибо – говорила служительница, – следующий.

А потом мне представлялось, как мы выходим из банка и чернила здорово текут ему в рот!

Когда умерла моя бабка – отцова мать, на мое удивление на гробе ее отец играл сам с собой в го, то ли от отчаянья не хороня ее, то ли так увлекшись игрой, что прекратил свое занятие лишь тогда, когда густой смрад разложения разнесся по дому. Тогда, прицепив к гробу колеса и привязав его к мотоциклу, отец с ревом отправился на кладбище.

В свободные от работы дни отец что-то мастерил. Однажды он смастерил настоящую водяную бомбу, которая сработала по часам, из-под воды разбомбив старую, никому не нужную пристань.

Я был слабый человек, не принимавший решений. Я никогда не заговаривал первый. Жизнь с ее запутанным синтаксисом не давалась мне, зато она сама вела меня и я послушно следовал ее несложным велениям.

Когда мысли мои уже окончательно состарились, и я бродил по дому в предсмертном унынии и при глупых желаниях, однажды отец поймал меня за морщину и сказал – идем-ка ко мне в аптеку.

Крупное чувство радости было от этого. Мы пошли в аптеку. По дороге все учтиво здоровались. Аптека была совсем недалеко – единственная в деревне, и у отца там работала глухая девушка – Нина. Когда мы пришли, она как раз составляла глазные капли.

У входа в кабинет висела афиша аттракциона «Дикие серпантины».

Так я впервые попал в кабинет своего отца. Каково же было мое удивление, когда из-за пыльного солнечного луча я увидел по стенам множество отрубленных и высушенных голов с медными гравированными табличками. Аккуратно обработанные головы, тщательно присыпанные мелом у оснований, стояли на сосновых дощечках. Каждую накрывал плотный стеклянный колпак, похожий на колпаки, которыми накрывают настольные ходики. Хорошенько разглядев таблички, я убедился, что многие из носителей этих имен или, скажем, из владельцев голов были мне хорошо знакомы. Стояли головы в строгом алфавитном порядке, как книги в библиотеке. Начиналась все с головы мясника Алова и заканчивалось на Робидрихе. Наша же фамилия начиналась на «Я», что глубоко меня успокоило и временно отвело подозрения. В основном это были приятели отца по мотоциклетному клубу. Несмотря на порядок и видимую научность и разумность выставки, она привела меня в недоумение, но, все же, собравшись с духом, я спросил:

– Папа?

– Да, да, – сказал отец, коротко отвлекшись от своих мыслей.

– А как же я?

– И ты, и мама, – сказал он и погладил меня по голове, так, что у меня в горле защипало от нежности.

– Всегда? – спросил я, думая, что нам не надо в разговоре промежутков и что общая мысль довольствуется лишь отрывистыми фразами.

– Ах, глупыш, – сказал отец и раздвинул створки белого металлического шкафа.

В шкафу между двумя идеально отглаженными медицинскими халатами висела моя мать, просторно туда помещенная и на удивленье маленькая по сравнению с халатами. Хорошо загримированная, она выглядела как живая, если бы не эта непривычная поза.

– Во здорово! – сказал я в приступе глупого восторга, еще не понимая увиденного, – совсем как живая. Я стоял в стороне, мялся, не зная как продолжать.

– А ты подойди ближе, не бойся, не укусит, – сказал отец, семейно хлопнул меня по плечу.

И я подошел ближе, надел очки и присмотрелся.

– Кто грим-то накладывал?

– Нина.

– Ну, она и мастерица, – сказал я, искренне восхищаясь тонкой работой.

– Дерьма не держим, – сказал отец и вдруг резко схватил меня за челку, сбил очки и откинул назад так, что я упал на лопатки. – Тебе что, мать не жалко? – заорал он. – Не сын ли ты ее? Ни грамма совести! Не она ли тебя, гаденыша, из дерьма подняла: ночей не спала, варила, одевала, заботилась о тебе?

Орал он истерически, не стесняясь находящейся неподалеку глухой девушки и аптечных больных посетителей, то замирая, то захлебываясь. Изо рта его на ковер падала густая слюна и, шипя, исчезала в неразборчивом черно-красном рисунке.

От обиды я заплакал. Отец затих, подал мне очки и беспокойно забродил взад и вперед. Когда я перестал всхлипывать, он взял меня за локоть:

– То-то, совесть иметь надо! – сказал он и осторожно помог мне подняться с пола.

Мы вышли в коридор, и папа запер дверь на ключ. Прошли мимо Нины, что-то тщательно записывающей в счета.

Я боялся задавать ему вопросы – не знал как он отреагирует. Но и молчать было страшно. Иногда мне думалось, что мы живем одним духом, и вдруг меня косило под коленями мокрым и холодным ужасом.

Хотя мы жили под одной крышей, об отце я знал мало. Знал, что он педант. Знал, что… Он увлекался гонками и мотоциклами, был энергичен, улыбался всегда вполовину, ерничал и регулярно чистил зубы специальной солью из аптеки. Никогда не рассказывая о себе, уходил каждый день в аптеку, приходил вовремя и по воскресеньям совершенствовал свой Харлей. Я не знал, в чем состоит его внутренняя жизнь и не задавал лишних вопросов.

– Что есть Бох? – вздохнул отец на второй день после посещения кабинета. Вздохнул и замолчал, пересек желтый и холодный солнечный луч, случайно попавший в коридор и ринулся в прихожую. Он крепко взял меня за руку, так как еще никогда. Мы спустились с крыльца, вышли в парк. Мне не хотелось сегодня с ним говорить, но и уходить было неловко. Квасные сумерки красили оранжевыми пузырями глиняные дорожки. Серая куропатка, сгорая от любопытства, перелетела на ель, задев крылом листья молодого дубка. Мы миновали полуразвалившиеся гаражи, спустились к обрыву и вошли в сухой темный орешник…

Отец горько заговорил:

– Вот ты уже старый стал, скоро, может быть умрешь, ну что, похороню я тебя и крови не пососавши – глупо получается, согласен?

– Согласен, – в ужасе я мотнул головой, отгоняя от себя дикие мысли.

Отец отломал ореховую ветку, замял ее в руках.

– А с другой стороны – сын – неэтично получается, да и кровь твоя старая-престарелая, а у сына кровь, как у меня – одного вкуса. Согласен?

– Да, но, – робко сказал я, – вместо того, чтобы моей кровью поститься…

– Поститься? – отец вопросительно посмотрел на меня, остановился, заложил руки за спину… – Я, знаешь, человек не религиозный, вот и никогда не надо мне поститься.

– Вместо моей крови ты сделай у себя на коже узкий надрез, чтобы на лодку похож был изнутри или на воронку – и тогда соси, – сказал я, делая шаг назад и сам испугавшись своих слов.

– Эка, – усмехнулся отец, – ну пострел! Советы родителю давать. Э, ловок, ловок, небритый мой друг!.. У вас у молодежи все на скорую руку – и крови попить, и денег заработать!

В таких осторожных моих разговорах и насмешках отца мы вышли к реке.

Лодка стояла едва привязанная к низкому причалу. Отец ловко забрался в нее, подал мне руку и оттолкнулся. Я сел на корме. Отец, легко, точно и почти бесшумно вращая веслами, погреб, и мы поплыли вверх по почти неподвижной реке.

Там он засушил весла у водяной мельницы и пустил лодку в свободную.

Нас завертело слегка и понесло как масло на жаровне. Казалось, река была покрыта плотным слоем бульона, да и в сумеречном небе плавали шарики жира.

– Любишь утопленников? – бодро и без тени улыбки спросил отец.

– Женщин люблю – сказал я, еще не понимая, к чему он клонит.

– Хочешь на Офелию посмотреть?

Не дожидаясь моего ответа, отец перегнулся через борт, раздвинул водоросли под ивой и улыбнулся воде.

– Иди, смотри.

Я перегнулся через лодку. Из зеленой воды на меня смотрело неподвижное лицо. Я залюбовался, поправил очки.

Отец снова покрыл лицо водорослями.

– Красавица была, даром что сумасшедшая.

Закурил трубку. Мне тоже захотелось курить, но отец не позволял мне.

Лодку понесло дальше. Колени мои дрожали, ведь утопленницей была Любочка – дочка лесничего. Ужасные мысли об отце не выходили из головы, а он сидел вот тут, совсем близко и дышал, и наслаждался вечерней свежестью, и как ни в чем не бывало чистил трубку мохнатой спиралью, потом снова набивал ее табачком, приглаживал табак большим пальцем, вкуривался, щурясь смотрел на вялые водяные лилии, сорванные еще днем в болотах и брошенные по реке. Мне хотелось все его расспросить и про мать, и про головы в кабинете, и про Любочку, но я боялся. По обе стороны «птичьего носа» отец смотрел на меня своими серыми немигающими глазами, ожидая вопросов.

– Папа, а ты кем на самом деле работаешь? – спросил я

– Аптекарем, – сказал отец и заливисто захохотал, да так громко, что в соседнем поселке собаки залаяли.

Становилось темно, лодка шла бесшумно. Я не верил ни единому слову.

От страха я стал напряженно думать о другом.

Страх стоял сильный, жирный, восходил из живота в горло, крался по спине, ложился на грудь, холодил голову. В темноте глаза отца блеснули зеленым фосфором.

– Убьешь меня? – спросил я.

Отец не отвечал. На берегу завыла птица.

– Папа, слышишь меня?

Отец сидел неподвижно, пугал меня. Шевелил пальцами. Меня бросило в жар и затрясло. Я слабо привстал и нагнулся над ним. Он смотрел мне в лицо.

– Папочка, мне очень страшно, – сказал я и слезы прорезали мне глаза. Чувство необыкновенной близости возникло в горле.

Отец нарочно молчал.

– Не молчи, папочка, – взмолился я.

А отец молчал и улыбался как в кино. И вдруг я заметил у себя на шее проволоку. Такую тонкую металлическую нить. Отец медленно одним указательным пальцем затягивал ее. Я интуитивно пошарил в карманах. Нашел гаечный

ключ и вдруг в один момент вытащил этот ключ и воткнул ему в глаз, нажал сильнее, еще сильнее. Изо всех сил. Отец крикнул, но не сопротивлялся, как будто так оно и должно было быть, и как будто ему было приятно, что по куртке потекла теплая жижа.

Я толкнул его вдруг за плечи, и он безвольно повалился набок. Колени мои сами собой подогнулись. Я потрогал его тело, прислушался – ни звука. Из глаз помимо воли потекло.

– Папочка, ведь я с тобой. Скорей домой, скорей в аптеку! Ведь мы у нас – одни на свете, – ошалело шептал я.

Я погреб. Сильно погреб к берегу. Отец не издавал не звука. Только его колени нечеловечески дрогнули и опустились.

Я крепко обнял его. Он не дышал. В голове моей росли слова: «Я – убийца».

Надо было убрать его в воду. Мои сдержанные рыдания, помимо воли превратились в вой. Дальше уже я действовал как автомат. Осторожно и с трудом приподнял тело и сбросил его в черноту, слегка оцарапав пальцы о борт. Был водяной звук. Тело бесшумно ушло. Воронка закрылась. В затянувшемся месте воды проступила слабая луна. Я стоял в лодке и всматривался в воду. Еще горячо и вкусно дымилась трубка. Я перестал выть, сел, всосал запретный табак, взялся за весла и шумно погреб в село. То ли от табака, то ли от случившегося я опьянел. Только на секунду мне было хорошо и вольно и опять исчезло. Через поле я бежал быстро, то и дело спотыкаясь, как будто кто-то тяжелый меня преследовал.

Когда я вернулся домой, уже стояла глухая ночь. Голодный изнурительный сон поглотил меня в свою пустую обитель. В бесконечном сне я видел лишь разлинованную тетрадь и в ней была фраза: «Представь, еще ни одно человеческое существо не чувствовало так сильно и не испытывало такую боль и страсть к ужасу: тогда почему же существо, породившее этот высочайший ужас, ни есть творец, ни есть Бох?» Когда я проснулся – было заполдень – сочный летний пересвеченный день неподвижного времени – жужжание мух, трепетание вещей, и я замер. Предметы были реальны и вечны. Запел козодой. И я вдруг понял, что мой отец никогда больше не услышит лесного шума, не глотнет свежий воздух с реки. А насекомые трещали как жаровня – «Как адова жаровня трещат» – сказал я вслух.

МИЛОСЕРДНЫЕ БРАТЬЯ

Опускали десант. Прыгали по одному по команде. Им навстречу стремительно летела земля – вверх и убийственно. Озерные гладкие пятна, схожие с ртутными камнями, грозно катились вверх, чтобы разбить мякоти лиц о свирепую жидкость. Вертолеты оставались висеть над морями, которые горбились колючими пучками волн. Их сладко притягивала луна – кривыми силлограммами, как на гравюрах. Серые униформы, клубочками вывернувшись наружу, вдруг распахивали свои металлические крылья и зависали недалеко от сырого, в жарких рытвинах кладбища, только что разбушевавшегося листвой жирных кущей, принимавшего в легкий сквозняк железные помыслы.

Спускались – каждый на свою могилку. Быстро разворотив ловкими пальцами дерн на свежих холмиках, еще не обросших черепаховой кожей гранитовых захоронений, они вскрывали свежие смолянистые гробы. Молодые гробы были сколочены наскоро – служащими из полевого контроля – из человеческих. Еще не успело засмердеться, хотя немного нос пробивало. Кое-кто уже себе в усы ухмылялся. Привычными движениями одну за другой десантники вскрывали секретные шкатулки, чтобы там внутри увидеть наслажденное чудо жемчуговых лиц. Каждый с нежностью смотрел на свою добычу, на свою драгоценность, на жажду уничижительных страстей своего усмирения. Каждый складывал руки своего на свой манер. Вдували в лица тот строгий порядок смерти, что не тревожит подспудную маску дневной жизни, находящейся у каждого при лице. Называли каждого по имени. Габриэль, Айван, Константин, Людвиг – Юлиан – Амбросий. Гладили волосы, превращая их в солнечные изваяния бликов. Потом души забирали нежненько так, и души пищали как устрицы: бессильно и сладко. Барокко диких бактерий, летучей мошкары уже сияло жужжащими воротниками маленьких вампиров вокруг Габриэля, Айвана, Константина, Людвига – Юлиана – Амбросия.

Скоро серые вертолеты стали где-то недалеко над верхушками черных пихт и ждали десантников с добычей. И каждый со своею добычею, сладость которой составляло обладание еще незрелой человеческой душой, расправлял свои крылья, которые от соприкосновения с человеками делались из мягких перьев, и широкими жестами взмывали в небо, кротко сложив тело лодочкой – так, чтобы Господь, приняв их, не усомнился в их сопричастности – головку на бок и в горние поселения – пристроить новеньких, а потом, вечером, после семи – снова на кладбище бросить новые семена мирного лиственника и сосновки.

Союзникам предстояло еще два раза по триста миль, чтобы там, за остатками чумы, набросившейся на поселения, найти новое кладбище, где анилиновые цветы еще горят дикими пятнами уютного сельского горя. Сосновые веточки. Выглянувшее солнце так приглянется на службе.

На этот раз в команде не досчитались. Один из них, полюбив земное, остался на дне чумы, и его сильные крылья покрылись волчанкою, а уши были залеплены словами латинов.

КОГДА КОСТИ ВСТАНУТ И ПОЙДУТ, ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ…

1.

Тело становится опять легким, как у мартышки. Сухой горячий ветер приносит запах лошадиного пота. Свет заменяет кожу высокомолекулярным хлоровиниловым соединением, и опять все так твердо, непоколебимо и ясно.

Где те времена, когда в оккупированном городе заходишь помочиться со страху в случайный подъезд, чтобы, вдыхая липкую плесень, убедиться в собственном, уже начинающем притворно ускользать существовании. Здесь же никаких доказательств не нужно. С этой минуты часы – предмет не метафизический, а прикладной. Итак, ясность тела.

Есть только Флоренция, сентябрь, голубизна, зелень, жареные рыбки на витрине и неподкупное счастье. Главное – смерть приобретает знакомый с детства дидактический смысл, который заключается в ее соборности, коллективизме. Здесь ее пасторский стиль высок и непринужден. Так и надо. Смерть как общественная обязанность лежит в витринах ювелирных лавок Понто-Веккио.

За правильное и неопрометчивое исчезновение с этой сцены нужно заплатить. В довесок еще получишь ювелирную побрякушку, а то и бессмертную душу. Чтобы небытие было плотным, герметичным, без зазоров и трещин, нужна предоплата.

И в этом виноват скачок промышленности. В Италии не так как в Европе: помрешь – значит проиграл. Хуже того, досидишься до вечности – обзовут лоботрясом. В Италии умереть дело почетное и общественно полезное. Просто – необходимость. Укрепляет единство и ускоряет мускулы творчества. Смерть – счастливый допинг для искусства. Умершего по-настоящему уважают: ему ничего не жалко – ни лент, ни мрамора, ни мессы. Умирая, ты помогаешь возвести тот фундамент, который зовется историей, фундамент смысла, в котором ты не просто поливаешь безымянную грядку, но сажаешь свой дуб. Смерть легализована во всех ее проявлениях. Караваджо обожает тебя глазами убийцы со стотысячелировой банкноты? Финансовые институты поглощены наблюдениями за криминальной хроникой. На биржах торгуют реликвариумами. Да, ОНА поощряема всяким и всеми. Поэтому в Италии не то чтобы никто не запрещает умершим разгуливать по городу в дневное время, напротив, им предоставляют трибуны, церкви, телевиденье и сверкающие подмостки моды.

Всякий мертвый – априори святой.

Вот и вчера на площади Санто Кроче около моего дома я встретила умершего священника. Он всегда насвистывает.

И толпа как лошадь: от нее исходит жар и поднимается к последним этажам. Кубометры человеческого тепла, быстро распространяемые в воздухе, останавливаются только перед рекой. Вода в реке дырявая, зеленая, быстрая, как рвущийся шелк. Это небо я уже видела многократно – оно сделано в мастерской Лука делла Роббиа из высококачественных глин и глазуровано кобальтом. Немецкие туристы в белых тишортсах как хирурги носятся над водой. Они озабочены температурой реки. Надо поставить градусник. А вдруг у нее начнется понос, не дай Бог. А теперь они похожи на криминалистов, запечатлевающих труп: быстро щелкают своими фотоаппаратами, перегнувшись через парапет, хотя заведомо известно, что там всего лишь узкая полоска грязного берега, поросшего бурьяном.

Вечер спускается над Арно. Шик воды подергивается таинственной слизью. Начинается время призраков.

Они выходят из воды один за другим и следуют по набережной мимо автомобилей. Я начинаю считать их и вспоминаю богатырей из «Царя Салтана». Все они одеты в элегантные серые костюмы от Дюран-Дюран.

В мертвой тишине они браво движутся вдоль реки, чуть ссутулившись и неся копытообразные портфели или хенди из мастерской Филиппа Старка. Их становится все больше и больше. Иногда даже кажется, они выходят не из реки, а из школы карабинеров и растворяются в узких улицах.

Ночь. Частота ее звуков почти неразличима для человеческих ушей. Но приборы постоянно регистрируют гул стен, крик тротуара, желание исторической кладки во что бы то ни стало обратить на себя внимание.

Утром из перчаточного магазина раздается ужасное жужжание. Что бы это могло быть? Это звук электробритвы, ползающей по лицу Джузеппе – владельца. Ему кажется, что, бреясь в магазине, он переносит сюда невозмутимо-расслабленную атмосферу дома. Но жужжание не прекращается и в других местах: в церкви бреется священник за алтарем, служащий зоопарка бреется в клетке с дикобразами и т.д.

Уже бритый владелец похоронного бюро, опершись на нажитый подбородок, часами стоит у стеклянной двери и ждет клиента. Он невозмутим. Бумажная рубашка не хрустнет как взволнованная банкнота. Лицо напряжено. Глаза – цвета тосканских холмов. Вот уже второй год никто не обращался к нему. Наступило время бессмертных. Контора прогорает. Уходя в кафе, он оставляет записку: Джанфранко Флорио ушел обедать. Из газет стало известно, что бедняга скончался от рака плеча, так и не дождавшись клиента. Его долги превышают стоимость конторы в два раза. А кто заплатит?

Дорога в Рим: тяжелые грузовики, груженные драгоценностями, музыка ксилофона по радио, желтые индийские папиросы с портретом колонизатора. Зато над этим всем распускается небо как из сказки Галилея. Всё на нем одновременно: и ночь и день, и солнце и луна, и космонавты!

На закате стереоскопические облака висят у открытой крыши мчащегося автомобиля. Земля называется Умбрия. С холмов стартуют в небо еще неокрепшие святые, похожие издалека на московский памятник Гагарину. Здесь может привидеться все что угодно.

Кобальт в небе настолько убедителен, что глаза у всех синеют за мгновенье.

Время от времени возникают в долинах средневековые укрепления, похожие на «Фата моргану» с почтовой марки. Несколько дней спустя я посетила один из миражей под названием Орвието. Там меня обобрали на очередные сто пятьдесят тысяч.

В машине я уснула. Меня разбудил странный голос. Кто-то исповедовался по радио «Мария». С тех пор радио нас не покидало: голоса тысячи священников, детей, отшельников рассеивались в горячей скорости автострады. Одна из записей шла из эфиопского монастыря. Эхо сопровождало его голос. Настоятель, страдающий одышкой, вспоминал о том, как во время второй мировой войны он с удовольствием пил кофе со швейцарскими конфетами в альпийском монастыре.

Облака становятся пурпурными и невозмутимо гаснут как в театре после представления.

Все меньше и меньше остается городов, где сердце мое замирает при въезде. Черт побери, на этот раз уже не дрогнуло. Подъезжаю к Риму, и улица начинается с девятисотых номеров домов. Это виа Номентана…

Надо сказать, что сюда приехали мы с целью посетить одного приятеля. Это один из мелких городских святых Рима, покровительствующий школьным учителям. Он обитает (было бы бестактно сказать «живет») в одном из заброшенных домов Трастевере. Проверить в это будет сложно. Поскольку призраки страдают

хронической бессонницей, ночи он проводит в рассматривании старых газет или своих семейных фотографий. Иногда из альбома легкомысленно выпархивает сложенный вчетверо листок: его собственное свидетельство о смерти. Тогда он иронично впивается в него взглядом и вздыхает.

– Я канонизирован, – с гордостью сказал нам он при первом знакомстве, – но мне повезло, потому что, в отличие от большинства нашего брата, умер своей смертью, если можно назвать смерть своей (присвоить себе смерть). Ха-ха-ха! – Заходится как ребенок.

– Так почему же ты не в раю?

– Я отказался от предоставленного мне там жалованья и местечка в пользу Сесилии, бедной вдовы одного коммуниста. Отличный был человек. Сосед. Теперь они вместе. А я рискнул остаться неприкаянным. Неизлечимый идеализм. Но не жалею. Аллоре! Но теперь достаточно интервью. – Он хлопнул себя по коленям и пригласил меня в столовую.

Во время еды своих призрачных спагетти, он говорил много, засовывая их прямо в живот: чтобы не мешать разговору.

– Я не одобряю телевизионные исповеди с черной маркой на глазах, или исповеди по радио. Они мало что дают слушателю и противоречат самому понятию исповеди, так как нет оппонента, который бы не проговорился. После таких передач исповеди некоторых особо смелых инкогнито мусолят на всех углах, а то и переводят на иностранные языки. О таких «новых прогрессивных формах» исповеди спорят постоянно. Я не приветствую. Да, согласен, такая исповедь не стоит ни гроша, но на это обречены только безумцы. А что с того нам. Ну, человек облегчился. Что мы вынесли из этого: только порок! Кто-то нарушил целибат, кто-то изменил своему супружескому слову. Дети каются в отравлениях кислотой школьных учителей. Ведущая программы, с неоконченным теолого-юридическим, пытается утешить такого радиоэксгибициониста. И почем зря! Всякий грешник уже утешен тем, что он не единственный в своем пороке, что он может встретить потенциального товарища. К тому же популярность таких радионегодяев растет. А ограбление ювелирного магазина. Ты слыхала? Некто N. ограбил соседа и в сердцах исповедовался по нашему умнейшему радио, после чего получил письмо в редакцию от некоего, кажется, Альберто, который, заручившись подобным же грехом, просил о встрече, с целью, якобы усмирения страстей и взаимного перевоспитания. И что ты думаешь! Оба молодца в Милане ограбили другой ювелирный магазин. Размозжили голову хозяйке и смылись!

Бестелесный Джованни подошел к своей старой радиоле и повернул ручку. Вначале радиола откашливалась и плевалась, будто подавившись каким-то случайным словом. Потом послышалась тарантелла и, наконец, бодрый женский голос обратился к нам. Призрак выкинул указательный палец в сторону радио и скривился так, будто проглотил лимон, вот мол!

– Сейчас мы приглашаем всех желающих…..

– Грешников – вставил призрак, хихикая.

…..принять участие в нашей телефонной передаче «Открытая исповедь». А потом отец Игнацио из Сан-…ского прихода Лации проведет с нами душеспасительную беседу.

Зазвучал орган. Дикторша напомнила номер редакционного телефона, и тут же раздался звонок. Звонил ребенок, исповедуясь в том, что удушил кошку. Потом последовали другие более невинные звонки и, наконец, через ухо радиолы прорезался странный подростковый голос.

Призрак взволнованно мерил комнату гигантскими бесшумными шагами, от возмущения протыкая подбородок пальцем.

2.

– Когда настанет великий день – кости воскреснут и пойдут. Пойдут в божественную прокуратуру, чтобы добровольно предоставить себя страшному суду. А кое-кто засомневается в оном существовании, или испугается шагающих костей, или спрячется. А те, которые недавно до суда родятся и еще не успеют ничего натворить! Вот и отвечай. А сколько времени будет длиться этот самый суд? Веками стоять в очереди? Нет уж увольте, да я от скуки еще напакощу в прихожей небесной приемной, и не от гордыни, а от неверия в абсолютную непредвзятость. А вдруг и здесь подкуп и симония? А потом еще за мной в очереди по алфавиту подкатится голова какого-нибудь святого. Ну, к примеру, истерически растолкает всех зубастая голова Святой Екатерины сиенской, стремясь к своему телу, доставленному предусмотрительно из Рима.

– Ну вот, – прокомментировал призрак, – докатились! Какая бестактность! – призрак возмущался.

Меня разбудил запах. Это был сильный запах гиацинтов, он затопил комнату так, что можно было задохнуться, но вначале я не поняла, что это запах. Радостное беспокойство полоснуло мне по глазам. В зеркале отразилась безумная улыбка. В кухне послышались незнакомые голоса. Гиацинты стояли на столе прямо в заварочном чайнике. И хотя они были на расстоянии нескольких метров от меня, казалось, что их фиолетовые пальцы попали мне в ноздри. Потом запах проходил обычными путями еды и доходил до желудка. Наполнял стенки желудка радостью. Встречался там с желудочным соком. Мерк. Выходил в виде чудовищного пердения наружу.

Со святым я болтала сегодня ночью. Когда я выглянула в окно одного из римских небоскребов, где я ночевала, я увидела странную процессию: вместо автомобилей по залитой солнечной улице, отбрасывая непомерно длинные тени, неслись гробы. Они пищали клаксонами, перегоняя друг друга, не останавливались на красный свет и ехали дальше. Некоторые гробы были совсем обветшалые. Они двигались медленней по правой полосе движения. И тут я заметила странную вещь. Обычно здесь движение двухстороннее, а теперь гробы двигались в одну сторону: по направлению к центру. На некоторых из них были черные и красные ленты и транспаранты.

Святой подошел сзади, конечно неслышно. Звук его голоса заставил меня вздрогнуть.

– Опять забастовка, – сказал он, запахивая халат.

– Чего они требуют?

– Смерть стала слишком дорогой. На кладбищах не хватает места, города вытесняют святые места, наступает забвение. Постепенно лицензия на смерть стоит столько же, как покупка автомобиля. Не каждый может себе позволить. Появляется много нелегальных. Взяточничество, коррупция! Люди не могут спокойно умереть. Смерть не может быть привилегией богатых. Это свинство!

– Куда они движутся? К кому они обращаются?

– Понятно, к кому. Во всем виновато опять же правительство.

– А что Ватикан?

– Ватикан, разумеется, колеблется и не может решиться ни на то, ни на другое.

Мы оба смотрим вниз. Из окон соседних домов люди с недовольством наблюдают за процессией.

– Сегодня все парализовано. Транспорт стоит. Никто не может выйти на работу. Я думаю, что правительство пойдет на уступки, – говорит мой святой.

На дороге образовался затор. Гробы хлопают крышками, сигналят.

– А как у вас в России? Как у вас со смертью? – спрашивает мой святой.

– Со смертью у нас все в полном порядке, – с ужасом говорю я. – Хочешь – умирай сколько влезет. Хоть по десять раз на день. Ничего не плати. Никаких налогов. Умирай, где хочешь, в подворотнях, в садах, в домах, на работе, умирай на параде, на празднике, в день рождения, умирай, не закончив образование, не разбогатев, не прочитав романы Достоевского, не выучив английский язык, умирай, не допивши стакан вина, умирай, сытый по горло, умирай в компании, в одиночку. Умирай себе в свое удовольствие – никто тебя не остановит.

– Вот, здорово, – говорит мой святой. Теперь ты понимаешь, что такое КАПИТАЛИЗМ!

АЛЕКСЕЙ ЦВЕТКОВ

ПАРАНДЖА

**Мы оденем в паранджу не только
их женщин, но и мужчин.**

Не уточненный полевой командир

1.

Коктейль называется «Сперма».

– Не похоже, – со знанием дела говорит Дафна, «певица завтрашнего дня», как представил её всем Хлой. Она щурит свои наращенные ресницы. Мне не нравятся их прозвища, они сами их стесняются, но ведь и на выдумку было всего-то несколько часов. Да и думали эти двое сегодня совсем о другом. Я помню собственную лихорадку, несвойственную бледность и нервную эрекцию в день первого прихода в «Боливар».

– Похоже, похоже, – не согласился Хлой, дегустатор и кинокритик, пригубив мутноватый стакан. Все смеются. Воздух нашего этажа – это свобода нравов, всем приятно её подчеркивать, особенно новичкам, и даже переподчеркивать, как завтрашняя певица переподчеркивает свои сегодняшние ресницы. Свобода как данная нам извне нашим божеством возможность добровольно подчиняться жребию, то есть ему, божеству, таящемуся в шляпе. Дафна вновь поясняет своё выдуманное имя, на этот раз нашему скинхеду, придумывает какой-то имиджевый ход в грядущей карьере, запланированный не раньше выхода её первого клипа. Бритоголовый даже не дослушал.

Ей интересно, кто тут кто? Её младенческий рот складывается наполеоновской шапочкой. Снова и снова Дафна повторяет свой вопрос.

Вон тот, со стальным скальпом, диджей Аншеф, душа моднейшей дискотеки, замаскированной под затонувшую субмарину. В прошлый раз скальп был апельсиновым. В карманах пальто носит соляные грелочки. Не круглый год, конечно, но лето в Москве недолгое. Встретились как-то прошлой зимой на улице. «Сунь руки», – предложил он, оттопыривая пальцами с обеих сторон. Я подчинился, не ведая, чего ожидать. Внутри жара. Грелочки. Пара прозрачных зеленых медведей с жидкими телами. Как только снаружи становится минус восемь, жидкая соль кристаллизуется и дает пятьдесят четыре градуса. На ощупь – жгущийся лёд. Аншефу тепло и весело с его ручными медведями в карманах. Диджей с вкусным хрустом мнёт их и счастливо скалится, пялясь на прохожих, гонимых и злимых дедушкой морозом. Я видел жидкого медведя в действии, когда он зарастал горячими кристаллами изнутри. Казалось, с игрушкой стрясся наркотический приход. Аншеф божится: военная разработка. Купил, уверяет, в обыкновенной аптеке.

А культурист у стены – реальный чемпион-бодибилдер по кличке Клон. Ты могла его видеть в рекламе йогурта. Часто вынимает из шляпы моё имя, хотя подстроить так невозможно. Гей, совращенный тренером. Но если Боливар

распорядится, у нас любой гей будет бабник. У него есть другое, черное резиновое лицо с пастью-зиппером. Привез из Амстердама. «Если бы мне разрешили бороться в моей маске, – жалуется Клон, – я клал бы их на стол в два раза раньше».

Художник Джинн. Да, это он рисует тушью на бумажной ленте «иероглиф», больше всего похожий, по-моему, на русский кукиш, изготовляемый из пальцев. Больше никогда не рисует ничего. Прославился сидением в огромной пластиковой бутылке, откуда этот ифрит, голый, пел и бормотал в микрофон всё, возникавшее в мозгу. Никто уже не вспомнит, что именно. Великанские этикетки модных напитков на его обитаемой бутылке менялись. За три дня арт-фестиваля он так зарос писями-каками, никто не приближался, а «лейблы», которые наклеивались в последний день, грозились в суд подать за антирекламу. Вид у него всегда такой. Подслеповатая улыбка. Носатый, с поднятой надо лбом жесткой челкой. Говоря что-либо, неоправданно поводит головой. Вылитый какаду, в опасной близости с которым пронеслось пиратское ядро лет двести назад. Про кукиш у Джинна спрашивает белый маг Владис – «господин Великое Ухо». По одному звуку, не глядя, угадает, кстати, у тебя в кармане любую сумму с точностью до копейки или цента, даже если смешать валюты, общая сумма будет названа один в один.

– Волчий пот, – узнала Дафна его одеколон. С такого расстояния вряд ли угадаешь, видимо, он ей уже какую-то из своих штук показывал. Недавно газеты выдумали, что все способности Владиса – не божий дар, а следствие редкого активатора мозга, который на нем испытывают некие «специальные службы». Маг обижен и судится уже с дюжиной изданий.

Белый маг Владис поднес зажигалку к пальцу, и плоть услужливо вспыхнула. Указательный стал полупрозрачной свечой и внутри плавящегося пальца различим нитяной веревочный фитиль, на котором держится огонек. Вежливо оскалившись, Дафна от него прикурила. Он ещё не то может, господин Ухо. Сам сидит в московской студии, а отпечатки пальцев на пластилине проступают в нью-йоркской, под плеск аплодисментов телемоста. Я видел в прямом эфире.

Подозреваю, мухлюет и с вашей шляпой, – говорит Дафна.

Я молча сомневаюсь.

– С его-то ухватками да не вытащить себе нужного? – нажимает она. – И вообще, как он там выражается: «Эктоплазма нигде и эктоплазма везде!» Успел научить уже новенькую своим заклинаниям.

«Пердеть, рыгать и петь», – добродушно обещает кому-то, одетому Санта-Клаусом, скинхед Шуруповёрт. Недолго сидел, выкинув с балкона и сломав человека «херовой расы», позвонившего ему в дверь в надежде побеседовать о Библии. Узнает меня и вскидывает руку. В подмышке Шуруповерта не стрижено, влажно и кажется, там блестит пружина, ответственная за этот регулярный жест. У некоторых святых после смерти находили деформацию скелета, так много они крестились. У нашего скина тоже найдут нечто подобное, если он так часто будет выкидывать свой «зиг хайль». Подтяжки на голом торсе. Зеленый ирландский крест во всю грудь. Заплечный английский лозунг зовет быть пахарем и вампиром. Гордо закатанные голубые джинсы открывают суровую, но белую, шнуровку армейской

обуви. Единственный, кого он уважает тут, – Клон. С ним здоровается за руку. «Убить врага!» – начинает Шуруповерт. «Не дрогнет нога!» – подхватывает Клон привычный каламбур, тыча кулак в накожную «мишень» Шуруповерта. Чудила Санта-Клаус, явившийся со скинхедом, развязывает мешок и, вытряхнув на диван, раздает всем, до кого дотягивается, прозрачные имитаторы с утрированными венами.

Шимми – итальянская славистка с тощей задницей в «копченых» джинсовых шортах. Обведенные золотым пеплом кофейные глазки. Хищно сдавливает в ладошках врученный ей стрёмным дедом фаллос, и наружу брызжет шампанское. Не иначе Шуруповерт с Санта-Клаусом разгромили сексшоп с новогодними подарками. У всех брызжет то же самое. Хохоча, многие запихивают подарки себе в рот, доят их губами, выжимают внутрь себя газированные глотки алкоголя, восторженно давясь и радостно кашляя. В прошлый раз Шимми впервые пришла и почти сразу, во второй игре, досталась нам с Клоном. Что она итальянка, мы даже не заметили. Ни одного слова. «Субмиссия» – решили, вот и молчит. Подчиняясь, щурилась, как мне теперь ясно, разгадывая смысл наших команд. Слэнг она изучает разных социальных слоев в разных странах. Без рук надела на болт Клону розовый кондом и притворно потом им чмокала, снимая так, чтобы нарочно измазаться. Клон запомнил: отсасывая, Шимми приятно царапала его бородатые яйца изумрудными ногтями. А глотает, страшновато, как в опере, выкатив глаза. Потом, разбросав ноги, долбила себе восьмерку указательным и большим, пятками отгоняя нас подальше. Хотела, чтобы только смотрели, как будто она – видео. Клон сказал: «С юга только что, вот и загорелая». У себя в макаронии, оказалось, Шимми – автор диссертации «Сравнительный анализ речи политика до и после выборов». Интонация там, паузы, ключевые слова. Кончая от себя, стонет с приятным хрипом и мостик делает. Чтобы хоть как-то поучаствовать, Клон шлепнул её, рычащую, ладонью по мокрому, кудрявому внизу, животу. Он шутит: ей в сип не вставить ничего толще кредитной карты, но во-первых, в такой невместимости есть своя прелесть для мужчин чуть-чуть садистов, а во-вторых, он преувеличивает проблему, то есть преуменьшает её щель, намекая на свой «бигмак», якобы столь же мощный, как и остальной Клон. Ничего, между нами, особенного, «бигмак» стандартный.

– Я бы проверила, – мечтательно говорит Дафна.

– У нас не принято о других неправду, – смеюсь я, – потому что взаимный выбор исключен. Боливар решает всё.

Дафна инфантильно лизнула свой винный фаллос.

– Почему у самотыка не бывает крайней плоти? – спрашивает она.

– Это как-то связано с религией, – шутит Хлой.

– Ну только не со здешней, – уточняю я.

– В школе у меня был такой зеленый, с пупырышками, друг, прятался за книгами, – вспоминает Дафна, – я звала его «крокодилдо» и никто об этом не знал. А теперь я хочу, чтоб кто-нибудь сочинил об этом песню. Для меня. И чтоб в ней было много смыслов.

Она вся блестит. Так положено молодежи этим летом. В моде нательные холодные искры. Созвездия радужной зеркальной пыли призывно вспыхивают на коже вместе со вкусным чистым потом. Кроме этой популярной «брильянтной сыпи» обычное дело – маленькая луна в виске или крошечные звезды на скромно опущенных девичьих веках. Искристая струйка торопится в позвоночной долине Дафны к копчику и там, под синими джинсами, тоже опыленными мельчайшей сталью – стиль: «опилки от сейфа» – там, хочется думать, блестящего еще больше: расцветает новогодним украшением, праздничной игрушкой, осыпанный сверканием со всех сторон черный полюс, орден анального удовольствия первой степени.

– Я бы проверила, – еще раз говорит Дафна, глядя на Клона. Приятно замечать, как мечтательно сжимаются её ягодицы.

– А у меня не хочется проверить? – любопытствую я, подмигивая Хлою.

Мотыльковые хлопоты кукольных ресниц были мне ответом. Я перевел это как «если Боливар так решит». Она в правильном настроении. Удовольствие от секса у нас – это только тень удовольствия от покорности Боливару.

– Алый мотылек, порхающий между ног, – явно цитирует Хлой откуда-то, надеюсь, из её эстрадного будущего.

Боливар появляется. Он внесён. Мы аплодируем.

Театральная шляпа, царящая на длинном пустом столе, в котором отражаются лампы, выглядит вскрытой редкой рыбой, разделанной инфернальною тварью, дичью недоступных глубин или планет, включенной в меню ресторана где-нибудь на Мальдивах или Сатурне.

В нём уже смешивают имена присутствующих. С завязанными чьим-то галстуком глазами это делает писательница. Чтобы всем было веселее, маг Владис взглядом жмет клавиши рояля, стоящего в пяти метрах от него. Получается Сучье Танго. Старые свингерские шуточки: трахаться парами под музыку, пока она не кончится, дальше меняться по часовой: выбывает кончивший, выигрывает неутомимый, или там «угадай мои губы» – давно здесь ни при чем. Слишком много похоти, личного, греха и никакой веры. Мы собираемся у Боливара не за этим и от свингеров отличаемся как единобожники от языческих дикарей, не знающих точно, сколько у них богов.

Выдумай себе псевдоним, напиши его на карточке. Если не приживется, от клуба достанется более уместное имя.

Писательница, к примеру, назвалась «Арафат» из-за куфии, наверченной на голову и скрывающей отсутствие лба. Не снимала, даже теребя сразу два члена. Но скоро её перекрестили в Карий Глаз за анальные наклонности. Теперь «Арафатом» называет себя только она сама, а на карточке пишет и в Боливар кладет что полагается. Часто меняет свои платки – разные цвета. Эксперт-криминалист мог бы найти в этих арабских тряпках строительный материал для десятков новых народов. Представляю их в её стиральной машине – черный, зеленый, красный, сиреневый – цветная метель за иллюминатором, страстный арабский вихрь. Карий Глаз публикует подростковое фэнтези под мужским иностранным именем. Заграничное инкогнито полезно для тиража. Осведомленные

лица сплетничают: она же заготавливает многие фишки для экспромтов президента нашей страны. Но это по секрету и не проверено.

С особой ревностью Дафна рассматривает её приподнятую грудь. Там дрожит драгоценный ромб. Темно-фиолетовая нижняя вершина и верхняя – светло-голубая. Это тебе не «опилки от сейфа». Если его перевернуть, взяв за цепочку, ничего не меняется – капля цвета перетечет внутри камня. Я хорошо это знаю. В позапрошлый раз Боливар свёл нас с ней. Был еще модельер, не помню имени, субмиссивный, но ему для счастья хватило двух, золотой и серебряной, струй, умыться и забыться в ногах господ. Он отчислен, и вспоминать нечего. Глаза её и вправду карие, но носит табачные линзы, как доллары, если смотришь вплотную, только в зрачке, вместо президентского, находишь свой портрет. Никогда их здесь не снимает. Ей нравится видеть всё детально и вблизи. Сегодня ей достается Шуруповерт и слышен её благодарный женский стон, как если без спроса всунуть писательнице в туза. Так она довольна боливаровым решением.

Правила Боливара: всё решает бог секса, скрытый в нашей шляпе, а не грешная тусовка. Реальность этого бога легко доказуема. Ведь кто-то всегда решает, с кем ты окажешься, кого ты будешь, и раз мы отказались решать, но не отказались любить, значит: решает он. Мы только ему предлагаемся, написав себя, например, на фантиках кондомов и кинув в мудрую темноту. «Жребий», – выразится не понимающий, зачем мы выкупаем этаж этого отеля каждые две недели. Важно верить в нашего бога, и тогда окажешься счастлив. Нас, собравшихся вокруг шляпы, заводит эта неожиданность: он или она, старше или младше, знакомый давно или новый совсем? Но для бога, тасующего наши прозвища внутри шляпы, это закономерность. Сначала каждый тянет по одной бумажке и получаются пары. Часа через два все вернутся к Боливару, чтобы заново поделиться, но уже по трое, потом – по четверо. На этом большинство выдыхается, хотя самые рьяные поклонники культа могут продолжать и дальше. Обычно их набирается одна пятерка. Уставшие с уважением наблюдают за ними на мониторах. Мы устаем любить, и только бог неистощим.

Сегодня нас нечетное число. Кто-то не пришел. Я так и остаюсь в шляпе, но во второй раз именно я начну вынимать. По правилам Боливара, «нечетный» присоединяется к любой понравившейся паре, но я охотнее пойду к мониторам. Решать самому, кого ты хочешь, можно и вне отеля. Никто из нас этого давно не любит, и верность Боливару только крепнет с годами. Приятнее оставить богу богово. Ведь это он оставил мой кондом, единственный, на дне. Моё одиночество в этой игре – это тоже он. За мной увязывается Хлой. Он у нас впервые и пользуется правом для робких новичков: не класть себя в волшебную шляпу, остаться вуайеристом на первые два часа. Никто, припоминаю, за это время не передумывал попробовать. А вот Дафна не растерялась и, уходя, обнимая рыжую дылду с собачьей плеткой, смело улыбается нам, шепча ей что-то на ухо. Это Хлой привел её, а не наоборот, и он же представил Дафну «завтрашней певицей», но, может быть, ему и впрямь пока лучше посмотреть на экране, что рыжая сделает с его девушкой.

«Пиздократия», – односложно отвечает скин «кареглазой» писательнице в коридоре, где они ищут не занятый ещё номер. Опять, наверное, агитировала

за матриархат, пошла бы, мол, в армию, но сержантом. Понравилась бы Шуруповерту роль её рядового? И что у них получится за армия, с её-то платками? Случайно читанный отрывок романа «кареглазой» давно переделался у меня в мысленный клип:

Младенчески нежные ноздри черных собак втягивают туман в залитой невесомым молоком роще. Борзая нервно зевает, идиотски сводя взгляд к переносью. Нетерпение. Поводки уходят вверх, туда, где из воздушного молока растут всадники и деревья. Заяц, ошалелый и невнимательный, привстает в траве, вертит башкою, ищет другого зайца. Вторые уши появляются над сырой блестящей травой неподалеку. Выстрел распарывает утро. Черная собака перепрыгивает папоротник. Вторые уши тонут в тумане. Конь чавкает копытами по сырой листве, и роса загорается в первых прямых лучах на мшистых кочках с самодовольством ювелирной витрины. Конь открывает рот и, кажется, что это он лает. Заливисто, на всё поле.

Конечно, она не знает, что я читал. Да и сюжет там дальше какой-то утомительный, забываемый, стилизованный подо всё сразу.

– О такой жизни, – жадно и испуганно разглядывая экраны, говорит Хлой, – мечтали радикалы в 60-ых – как о своем освобожденном будущем, бесклассовом секс-эдеме.

Он хочет сказать: «Этот эдем достался нам, от всего привитым, журналистам жирных обозрений, легальным магам, стрип-модельерам, постановщикам рекламы, веб-оформителям, ди-джеям, телеведущим, инферно-музыкантам и той вон рыжей дылде, не знаю кто она». Но я за него не договариваю. Уверен, Хлой ни разу не смотрел двадцать порнофильмов одновременно. Разной тематики. Жанр «реальность». «Эфир прямой», – хочу пошутить я, но сдерживаюсь, глядя, как он блуждает по шевелящейся стеклянной стене глазами. Экраны черно-белые, но ему это, по-моему, доставляет дополнительный кайф. Не отрываясь от нашего, свинцового и хрустального, мельтешащего иконостаса, он садится куда-то, мимо стула почти. Ребенок, никогда не видевший вместе столько аквариумов с такими рыбами. Наблюдение за всеми номерами в отеле было установлено после вошедшей в криминальные учебники серии убийств. «Красный портье» казнил в одну ночь всех женщин, спавших на этих кроватях, ну хорошо, на других кроватях, но в этих именно номерах. Поэтому мы подчиняемся Боливару именно тут, в роскошном, но не очень популярном, благодаря легендам о «портье», месте. Мониторы нужны как часть ритуала.

Наливая сок и включая музыку, я напоминаю Хлою, что правила разрешают здесь подрочить, салфетки на столе, вон они, хотя я бы поберегся, присмотрелся, побольше узнал. Он механически кивает неизвестно чему, потом, когда дополз до него смысл сказанного, так же, неизвестно чему, кивает отрицательно и смущенно, приглаживая абрикосовый пух на щеке.

«Румяный валенок», – называла таких ребят моя знакомая, недолгий член клуба, расстались мы из-за её ревности к Боливару. Румяный валенок – абсурдно и точно.

Дафна глянцевой спиной к камере, уже в кожаных манжетах, трудно дышит, будто бежит, пристегнута горными карабинами к двум стульям, распята между ними

и явно счастлива. Она знает, что Хлой её видит. Её хозяйка со страшным арапником в длинном голоплечем виниловом платье воспитывает, высекая из вздрагивающих ягодиц ученицы невидимые страстные искры. Пока довольно ласково. Никаких следов нам, конечно, отсюда не видно, но мы верим, что они там, на этих застенчивых юных и радостных ягодицах. Местный псевдоним рыжей хозяйки: Страпон Страпоныч. Главное увлечение – злые однохвостки с плетеными жесткими рукоятками. Обычно она бьет двумя сразу, не давая своей девке опомниться. Но однохвостки пока на стене. Я хорошо представляю себе дальнейшее: после порки двумя хвостами Страпон Страпоныч возьмет их в правую руку, перевернет ребристыми ручками к Дафне и разволнует ей оба отверстия, левой рукой сжимая горло пристегнутой так, чтобы та хрипела. Отсутствие звука придает экранному зрелищу ритуальный и успокаивающий меня, медитативный, завораживающий характер. Отстегнутая от стульев Дафна, все еще на коленах, оближет обе мокрые рукоятки и снимет со Страпоныча винил, чтобы обнажить обычную её форму – паутинистые чулки с кожаным поясом и на поясе негроидный фаллос, грозно висящий вниз антикварным маузером. «Таким только кобыл ебать», – отозвался как-то Шуруповерт, отведавший эту штуку. Его, впрочем, хватило ненадолго и, малость постонав, он восстал, придавил рыжую к полу стулом, пристегнул к кровати её левую руку и левую ногу и заставил Страпоныча хлюпать и реветь от радости, долбя её этим черным театральным монстром, пока реальный член скина мельтешил в его татуированном кулаке. Шурповерт клянется, она только об этом и мечтает: о восстании своего раба. Но попадаются недогадливые. Ничего этого я не видел, конечно. С его слов. И можно ли верить, не зря ли подначивает бритый, не знаю. Преувеличивает, это наверняка.

Сегодня утром Хлой вошел ко мне в кабинет, щелкнул диктофон, он представился, пояснил цель интервью, но по его вызывающе вежливым глазам и безумно синей рубашке сделалось ясно: будет проситься, пришел не ко мне, а к моему богу. Две его полосы в журнале могут быть покрыты беседой с кем угодно: с парламентским дворником или с лидером самой эксцентричной фракции.

На экране Владис и Аншеф играют в Платона, проданного в рабство на Эгину. Философ уже в собачьем ошейнике, хоть вовсе и не киник. Благородный ученик со стеком в сапоге выкупает себе учителя. Мудрец не остается в долгу. За другим стеклом Карий глаз подражает героям родео, оседлав свою натянутую куфию, а скинхед лежит пока на полу и смотрит снизу, терзая отросток.

– Сплошной «эсэм», – говорит Хлой, чтобы что-то сказать. Его лицо залито стеклянным шевелящимся светом – водоросли на дне. Взгляд ныряет то в один, то в другой экран.

– Не преувеличивай. Во-первых, «эсэм» из устаревшего медицинского языка, звучит как «озлокачествляться», да-да, было в онкологии такое слово. Лучше говорить «эротик эксченч пауэр» или просто «эксченч пауэр». Да, здесь такого хватает, популярно. Но почему? Прежде всего – страх. Секс все-таки, и часто небезопасный. Доверие доверием, но людей проходит сквозь этот этаж немало. Мы не тайное общество, не какой-нибудь масонский стройбат. Поймаешь

на конец себе, писать потом не сможешь. Хоть Боливар и бережет, как правило, он ведь бог, то есть неисповедим. В «обмене властью» секса не меньше, а вот то, что называется «половой контакт», по минимуму. Это есть острожное служение Боливару. Однако хватает и фанатиков, которым не до театра, смотри в верхний левый аквариум.

– Господствующая культурная индустрия, – говорил я десять часов назад, утром, в зависший перед моим лицом диктофон, пока Хлой не догадался положить его, – продает нам Моцарта и Сальери в одном альбоме. Она микширует их, хотя мотивы Сальери ближе к продюсерству моцартов.

Я не удосуживаю себя хотя бы примерным смыслом моих слов и не имею хотя бы контурного плана ближайших фраз. Он ведь пришел ко мне не за этим. Смотрит как рыбка, которая спит и видит во сне крючок. К тому же его читателям почти все равно: что именно написано, важно – где. Я так же автоматически говорю в диктофон, как диктофон автоматически записывает.

– Вот вы из глянцевого журнала? – спрашиваю я руку, держащую удобный серебристый коробок, наматывающий звуки на пленку. – Но известно ли вам, каким разным может быть глянец? Глянец журнальных страниц для счастливой молодежи тот же ли, что и глянец тысяч малазийских рабов, делающих прославляемую вашим журналом молодежную одежду-обувь? Бликующий пот муравьиных толп третьего мира? Они получают в месяц меньше, чем стоит в метро ваш номер, да он им и не к чему.

Хлой цитирует Христа из рок-оперы. Упрек Иуде насчет абсурдного желания накормить всех голодных. Спрашивает, что я, собственно, предлагаю? Между прочим, я упоминаю в ответе президентов Венесуэлы, Эквадора, Бразилии – их проект «боливарийской революции», призванной похоронить само понятие «третий мир», как недостойное употребления. Хлой вздрагивает. Забывает, о чем уже открыл рот. Совпадение или пароль? – решает он. Мне нравится наблюдать, но я не даю ему подумать:

– Или это глянец липкой мухоловки, погубившей не одну сотню шумных цокотух? А может быть, вам ближе глянец на лице порноактрисы в сцене массового блоу джоба? Знаете, есть такой коктейль, с абсентом, сквозь сахар попадая в стакан, капли будут мутными. Или глянец горячего, сдавленного ногами, руна под юбкой школьницы, которая смотрит сцену блоу джоба и держит коктейль в руке. Впервые дома у почти неизвестного господина. Глянец вчера еще роскошных фруктов, к которым она так и не притронулась, в мусорном контейнере, тронутых разложением, зловонно плавящихся, ставших оргией невидимых, голодных бацилл. Вы знаете, какой именно фрукт называют на его родине Боливаром? Или желудочный глянец алкогольной блевотины человека, судьба которого вполне сравнима с положением этого гниющего фрукта? Какой именно глянец ваш? Я не думаю, что вы мне ответите. Я уверен, что вы сейчас затрудняетесь.

Я не хочу, чтобы он мне отвечал. Я не спрашиваю. Про влажную школьницу в гостях было, пожалуй, чересчур для пусть молодого, но парламентского политика. Однако это было уже не совсем интервью, и Хлой это понял. Диктофон выключается и демонстративно прячется в карман. Интервьюеры часто так делают, если

ты начинаешь задавать им вопросы, еще более бессмысленные, чем они тебе. И еще, когда именно ты в их журнале не обязателен и, значит, можно сыскать кого-нибудь понормальнее. Или когда они к тебе по другому совсем вопросу. Жестом я предлагаю вернуть диктофон, сесть назад и спросить что-нибудь еще. Послушный. Предполагаю вслух: он превратно истолковал мои слова, налипшие к нему на пленку. Хлой измученно улыбается сжатым ртом, усталый от нашей игры. Я решаю взять парня, сегодня прямо, если попросит. Не глядя на меня, он интересуется, есть ли отделение боливарийского движения здесь, у нас, и не могу ли я его с кем-нибудь оттуда познакомить?

Короткий анекдот в верхнем левом экране. Итальянка и шейп-модель (представилась так) нежно лакомятся друг другом, игриво разнимаются, загадочно лезут к себе в сумочки и – сюрпрайз! – достают. У итальянки прозрачный ребристый слегка шевелящийся. У модели белый блестящий гладкий, с позолоченной ручкой, тоже двуствольный. Лежат навзничь, хохоча, помахивая своими универсальными партнерами, похожими на мыло. Вид у девочек совсем комиксный.

«Не вешайте трубку, поручик Голицын», – сказал я Хлою в интервью. «Эй, варяг, ты слишком долго плавал», – посетовал я насчет некоторых международных проблем. Помню только те фразы, где он улыбался.

Я трус по натуре. Но наличие чужого лица рядом легко позволяет совершать опасные и необратимые поступки. Всякий приятель, не говоря уже о приятельнице или ребенке, превращает меня в героя. В группе я всегда лидирую. И всегда найду способ эту самую группу подбить на что-нибудь не принятое. Как? От природы я порядком глуповат. Но если есть собеседник, а лучше – несколько, тройка-семерка внимающих, короче, аудитория, из меня уже льются речи, которые я и сам слушаю с удивлением. Так, может быть, чувствует себя диктофон с нажатым воспроизведением. Радостно разеваются рты, многие записывают сразу, кто постеснительнее – потом. Люди смеются над «серьезным», интересуются «ерундой», скорбят по пустякам, послушав меня. Стоит слушателям разойтись, как я ничего не помню.

Дома, один, я не узнаю и пугаюсь даже движений лифта, ритма шагов на лестнице. Один, дома, я не в состоянии внятно записать пару простейших соображений. Слава эксцентричного, находчивого и афористичного, давно уже тиражируемая периодикой, меня самого поражает, пока ко мне кто-нибудь не придет или я не приду к кому-нибудь, имеющему уши. Тогда уж эта слава подтверждается, порою и вопреки просьбам-возражениям.

– Если мне говорят: «Это бог на небе!», я часто думаю: «Нет, брат, это опилки в твоей голове», – сказал я Хлою о нашем боге, пока мы вместе с его девушкой ехали в отель «Боливар».

– Наша жизнь игра в ящик, а не в бисер, – отвечаю я ему, не расслышав вопроса, – в смысле, от всех, кого не вспомнишь, остались или останутся рожки-ножки, обрастем все мы досками, сыграем в божью коробку. Божья коробка не взлетит на небо, – говорю я, пока мы опускаемся к земле в стеклянном лифте.

Хлой возражает. Он уверен, что спрячется в урне щепотью пушистой сажи, облаком шелкового пепла, но это же без разницы. Надо что-то делать с этим. Как-то выходить из этой безвыигрышной игры. Бывает два выхода:

Либо: Магия, метафизика, упрощенно – матрешечная вера в реинкарнацию.

Либо: История, социум, его нетленное тело, упрощенно – нанотехнологии, клонирование, завещанный капитал. В крайнем случае, дети.

– И что вы выбрали? – Хлой думает, что следит за моей, никогда не существовавшей, мыслью.

Я говорю главное:

– Затрудняюсь!

Он знает этот главный лозунг нашей партии. Пусть знает также, что мы серьезно относимся к своим лозунгам. Не единственный лозунг, конечно, но первый. Еще есть: «Если мы не знаем ответа, откуда вы его знаете?». Или: «Мы – это вы?» Много разных. Важно, чтобы в конце всегда стоял вопросительный, а не восклицательный знак. Кроме «Я затрудняюсь!», конечно. Именно это правило привело партию в парламент и сделало влиятельной силой, хотя над нами многие смеялись всего несколько лет назад.

Я создал партию «заотов», то есть «затрудняющихся ответить», во избежание гражданской напряженности и взрывоопасной поляризации мнений. Я ничего не придумывал. Нас, таких, и до возникновения заотской партии, были миллионы. В любом телеопросе или сетевом голосовании – третий столбик рядом с идиотскими «да» и «нет». Активизм – важнейшая особенность заота. Просто затрудняться легко. Мы звоним и участвуем, отвечаем, пишем, выходим на улицы. В парламенте мы всегда шли своим курсом и ни разу не соблазнились ни одной из их ложных альтернатив. Всегда воздерживались. Сколько в результате отложено, а то и похерено катастрофических и сорвиголовных решений. И всё же более, чем наших бесценных активистов, ценит партия тех, кто разделяет кодекс «заота», однако не решается пока к нам официально вступать, затрудняется так же и по этому вопросу. Именно они, если быть точным, а не мы – партийный актив, золото партии, они, а не мы, имеют право назваться подлинными заотами. Те, кто затрудняется. С учетом разнообразия жизненных ситуаций, это вся остальная нация, всё человечество, ради которого мы и действуем. «Мы – это вы?» Вот в чем смысл лозунга.

В каждом конкурсе, шоу, гражданской схватке, религиозном расколе заот занимает самую мудрую позицию, достойную мыслящего существа. Он затрудняется, продолжая сравнивать, взвешивать, подсчитывать, хочет обождать-поглядеть. Партия против инстинктивных метаний, скоропостижных и скоропалительных крайностей, сжиганий мостов. Партии не импонирует сплечарубство. Партия приходит на любые выборы и уносит бюллетени с собой. Партия издает свои газеты и в них персонально просит людей, находящихся в опасной близости от драматического выбора, присоединиться к нам, не кидаться в омут неизвестности сломя голову. Там же можно прочесть письма счастливых людей, начавших затрудняться вовремя, продолжающих это делать, и тем самым избежавших столь многих фатальных ошибок. Чем дольше человек не дает ответа, затрудняется, тем он делается умнее и независимее. На этом пункте в партии особенно настаивает фракция буддистов. Чем больше вопросов, по которым ты затрудняешься, тем

глубже и ювелирнее твой ум, тем ближе спасение от повсеместной нервной суеты. Чем больше людей на земле затрудняются без стыда, не поддаваясь сеемой повсюду панике выбора, тем здоровее наш общий планетарный человеческий организм и тем дольше мы продержимся тут в роли доминирующего вида. Цитаты из мыслителей на все эти темы партия постоянно публикует в своей прессе и приводит в интервью. Как и положено влиятельной политической силе, заоты находят поддержку в самых разных слоях, от увлеченных эзотерикой студентов и пенсионеров до среднего класса и успешных предпринимателей, разделяющих нашу программу и видящих в нас главное препятствие на пути любого экстремизма, от кого бы он ни исходил. Само понятие «среднего класса», например, напоминает своей промежуточностью, безопасной удаленностью от предосудительных крайностей нашу заотскую позицию активного нейтралитета. Но особенно ценит партия голоса и симпатии тех, кто затрудняется пока, к какому именно слою-классу себя отнести. Сегодня у партии нет проблем ни с талантливыми пропагандистами идей, ни с добровольными пожертвованиями, ни с государственной властью, частью которой партия с некоторых пор является и надеется стать когда-нибудь главной, определяющей частью власти. Для этого нас, заотов, должно поддержать большинство. Для этого народ должен быть достаточно здоров и уравновешен. В справочниках об идеях заотов пишут: «политические агностики», партия не против, но сама избегает мудреных определений. Партия заотов с первых своих дней была понятна людям любого культурного уровня и находила отклик в сердцах представителей всех слоев и сословий, справедливо стремясь к общенациональному, объединяющему нацию статусу.

Машина паркуется у отеля. Янтарные буквы «Боливар» расплываются какими-то иероглифами, живущими своей жизнью в железной скользкой вертикальной луже дверцы моего автомобиля. Я подаю Дафне руку. Она весело признается: Хлой выдумал утреннее интервью как способ знакомства и шанс попасть сюда. Хотя они не ожидали прямо сегодня вечером. Спрашивает: зачем я попросил Хлоя взять с собой девушку, то есть её? Поскольку я затрудняюсь в своем эротическом выборе, и поскольку нельзя решать, кого именно Боливар с кем «поженит», мой ответ: «Наш невидимый бог ждет нас сегодня, на своем обычном этаже».

– Я за неё ручаюсь, – высохшим вдруг голосом говорит Хлой, радуясь швейцару так, будто это апостол Пётр при райских вратах. Старается сказать громко, чтобы и швейцар, и Дафна слышали. Желает всем сделать приятное и подбодрить себя.

– Не надо ни за кого ручаться, – советую я.

Швейцар кланяется. Боливар на его голове кланяется вместе с ним, скрывая лик апостола. Возможно, это именно та шляпа, в которой мы все скоро смешаемся.

Меня подкупает трогательная робость Хлоя, его отказ впервые нырнуть в нашу шляпу. Глядишь, скоро и партбилет попросит. Начинается всегда вроде с малого, а потом выясняется природная склонность, еще брошюру, журналист же, напишет, типа «Отказ от ответа – настоящий ответ» или «Заотский путь самосовершенствования».

Мониторы пустеют. Только что телевизионная стена выглядела ожившей резьбой индуистского храма плотской любви, если есть там сторона «двое». Люди соединялись под стеклом, словно схемы простейших атомов в школьном фильме про химию. И вот в этих окнах ничего, кроме выставки гостиничной мебели. Все вернулись в общий зал, чтобы вновь класть имена в шляпу.

«Да, многие из них члены заотской партии, – отвечаю я Хлою, – поэтому, сказав «мы» я не всегда понимаю, кого именно подразумеваю, то ли партайгеноссе, то ли посетителей этого этажа. Зато это помогает внутрипартийной демократии. Везде можно теоретически переспать с лидером, но нигде это не происходит механически, согласно высшей воле».

В воздухе приятный аромат разогретых, но совсем еще не готовых яств нашего бога. Воистину, всё, что происходит с нами тут – пир Боливара, готовящего из нас добровольные блюда своей вечно изменчивой кухни. Так правильно не пахнем пока только мы с Хлоем. Второй раз ему не отвертеться. Последней входит Страпон Страпоныч в прикипевшем к телу черном виниле. Единственная, о ком я не успел рассказать Дафне. Именно они друг другу и достались. Лишнее доказательство присутствия бога в нашей шляпе и его склонности к ироничным фокусам. Сквозь такие совпадения он напоминает нам о себе. В прошлом году Страпон дрелью, в присутствии семейного доктора, вернула себе младенческий родничок на темени, затянутый отныне пушистой пленкой кожи. Семейный врач, впрочем, всю операцию перепуганно жмурился и после этого освободился от обязанностей. Буквально через неделю она заметила в себе устойчивое влечение к жесткой доминации над существами своего вида и любого пола. Неодолимая тяга к удовольствиям в стиле «домспейс», что бы там ни болтал Шуруповерт. Сама она относит «преображение» на счет какой-то древней индейской практики с трепанациями. С такими, мол, родничками в джунглях уединенно обитали «вторые жены» инкских вельмож и жены эти помыкали ими так же, как вельможи помыкали своими «первыми» женами. Диковинная и маловероятная версия.

Дафна идет за ней, уже не прежняя, без нагло-испуганной улыбки, без нервной жвачки во рту, зато с новой, тайной ранее, красотой нужной вещи, побывавшей в хозяйских руках. Повадка дорогого объекта. Гордость породистого предмета. Нарциссизм оружия, принадлежащего умелому солдату или удачливому охотнику.

Девушка узнала, как мелкие узлы шелковой плетки, спелые земляничины, взлетают в воздухе. От них на услужливой коже радостно проявляется земляничный сок. Страпоновна оставляет для первой любви один шелковый хвост, намотав остальное на кнутовище.

Рассказать Дафне о дрели, впрочем, вряд ли поздно. Я уверен, Страпон Страпоныч ничего не сообщала о себе, властно отходив плетками с двух рук и насадив на «копыто Пана», дающее мученицам двойное удовольствие.

Разглядывая обновленную Дафну, будто раздетую глубже обычной наготы, я вспомнил, где её видел. Недавний модный журнал. Цикл снимков «Снайперша». Нагая с винтовкой, иногда очки, целит вниз, высматривает там добычу, задумчиво поворачивая ствол. Кто? – выискивает она среди нас, щуря всё ту

же, искусственную ресницу, – кто? Положив весомую грудь на кровельную жесть или на чердачные перила, прижимаясь юной пушистой спиной к старинным грубым кирпичам трубы. В салатовом кукольном стеклянном парике и с патроном в губах, наружу гильзой. В камуфляжном корсете, балансируя в треснутом чердачном оконце. В прозрачных, как лёд, стриптизных туфлях с ремешками, поставив приклад меж каблуков, опираясь на оружие, словно оно – костыль. Фотосессия несколько страниц подряд. Плюс афоризмы на английском, не помню их, затрудняюсь. Во всяком случае, похожа на Дафну очень. Зачем я вдруг узнал её? Затем, что в ней проступила гипнотическая эта самодостаточность исполнительной механики, которой как раз и не было там, в не очень удачной серии снимков. Даже если в журнале и не она. Подожду спрашивать. Или спрошу у Хлоя. Но и он ведь всего о ней не обязан знать. Еще там, на одной странице, в солнечных лучах, очень высоко была птица. Согнутый крестик. Слишком незаметная, чтобы оказаться частью замысла. Но и пропустить такую случайность журнальные дизайнеры не могли. Я всё гадал, что она значит. Потому и запомнилась «снайперша» с лоном, спрятанным за патронташ, и всё остальное.

Всем не терпится вернуться назад. Теперь тянут по две записки. Никто, даже новички, не думает о ближайшем альянсе. Каждый ожидает судьбы. Я подхожу к Боливару и опускаю туда обе руки. Сейчас узнаю. Добытчик, шарящий в гнезде. Темнота, туго натянутая перед глазами. Бездонная шелковая труба, в которой плавают наши имена и наше ближайшее будущее. Я хочу пахнуть, как они все. Счастливые влажные соленые тела, высыхая, становятся сладкими. Жидкая соль любви, став невидимой пленкой, будет смыта следующим приливом. Они все словно ненадолго вынырнули из моря. Вынул два имени и держу. Повязка больше не нужна.

По-моему, Хлой не может поверить, что это именно они только что качались перед ним за стеклом в подводном танце, шевелились на дне. Следят. Аншеф курит. Страпон облизывает черешенные губы языком и солидарно мне ими улыбается. Владис беззвучно аплодирует или я просто не понимаю этого жеста. На отдельно взятом этаже отеля «Боливар» все – ингредиенты для новых и новых блюд незримого кулинара страстей, повара похоти, утратившей личный мотив и поэтому переставшей быть личным делом. Никому здесь не догадаться о шелковой тайне, висящей сейчас в шкафу, у меня дома, точнее, секрет спрятан во внутренний карман одного из тамошних пиджаков. Именно там, откуда мужчины в кино часто достают оружие. Встретив меня в ней на улице – Страпон, Аншеф, Хлой – ни за что не признали бы единоверца. Карий глаз не различит знакомой фигуры. Владис не опознает походки, не угадает меня там при всех его магических полномочиях. Джинн мог бы, пожалуй, одобрительно сфотографировать, но кого? Её. Одеяние. Платье. Как тот талиб-график, который, соблюдая запрет, рисовал людей и даже животных только в парандже.

Клон ничего не просечет во встреченном мешке, а вот я запросто узнаю его, чемпиона и в некотором обидном смысле «малыша», даже если он забудет вдруг снять свой вдохновляющий намордник. Шуруповерту не понравится присутствие такого на улицах. Страпон, наверное, сравнит маскарад со своим сверленым телом, а сетчатое лицевое окошко с уникальной теменной мембраной,

изменившей всю её внутреннюю акустику. Даже снайперше Дафне с крыши ни за что не ответить правильно, в кого прицелилась, на что наводит дальнозоркое трубчатое стекло, доведись мне идти внизу в своей парандже. В моем облаке темного шелка.

2.

Паранджа в любой полдень оставит мне немного ночи, сохранит внутри себя струение непросвещенного воздуха, тонкий слой насекомо и безмолвно суетливой комнатной тьмы, захваченный с собой из дому, персональные сумерки, перманентный вечер, который всегда с тобой. Легкая шелковая келья. Закрытый одноместный клуб.

При том, что я с детства не носил на себе знаков: часы, кольца, нательный крест, мне неприятны даже модные лого на одежде, я скоро начинаю скучать по парандже, все чаще в ней нуждаясь и все влюбленнее вглядываясь в чудеса за меленьким решетом моего смотрового окошка, похожего на плотный дуремарский сачок, куда угодило всё. Всё делает при моем, а точнее, при её приближении удивленное лицо. Я отворачиваюсь от всего к ближайшей витрине, в которой всё отражается. Отворачиваюсь, чтобы с торжественным восторгом увидеть темную мягкую башню, как она повернется ко мне и увидит меня: длиннополую одиночную камеру, свободно движущуюся в городском пространстве. Замерло в витрине пятно ткани. Вставшая с асфальта фиолетовая тень. Не продаётся отраженье.

Я привычно и вкрадчиво, шепотом будто, иду по нашим улицам. В парандже меня не узнают. Не пристанут. Не попросят автограф. Не спросят, я ли это, меня ли они недавно видели по TV. Сама идея заказать и иметь эту вещь явилась мне, наверное, после тысяча первого бурного узнавания на улице. Хотя и тут я затрудняюсь судить о причинах. Одеваю в каком-нибудь тихом подъезде или пустом дворе, став за дерево, спустившись к полуподвальной двери. Если надобится, хотя пока – ни разу, я уверен, заговорю тихим тонким голосом с южным отрепетированным журчанием. Или смогу написать записку нарочито гнутыми буквами, похожими на след короеда, который нельзя прочесть. Буквами-змеями. Буквами-лабиринтами. Мои розово-белые гладкие руки с маникюром ничем меня не выдадут, запястья тонкие, как у подростка. Тоньше, чем у жены.

Гуляя в парандже, парламентарий заметен, но неузнаваем. Не отрезан от народа охраной, машиной, условной линией, но и не смешан с массой в популистском помешательстве. Вот у подъезда редакции сел в машину сподвижник по фракции. А вот, в другую машину, ныряет газетный тупоумник, писака зарабатывает, кстати, доказывая эксклюзивную патологию нашей заотской партии и её политической линии. Не первую неделю пытается со мной встретиться. Если они, вглядываясь в меня сквозь стекла своих машин, с чем-то и свяжут шелковое видение, это будет отель за углом, где всегда полно иностранцев. Вот проводило меня глазами некое семейство, ещё сощуренное после киносеанса. Однажды в парандже я встретил подобным образом свою семью. Жена, её брат, две дочери грузили коробки с пакетами в багажник, выкатив тележки на улицу. Помогавший им юноша в зеленой форме супермаркета наверняка считал, что брат моей жены – это я, то есть что он и есть их муж и отец. Невидимо улыбаясь, я проплыл

медленно, плавно мимо нашей машины, щелкнув напоследок пальцами белую серебристую холодную плоть и безнаказанно показав всему язык. Мой невинный щелчок заставил повернуться сразу пять голов, одна в фуражке с кокардой – добрым слоником. Десять глаз хмуро и насмешливо уставились, как на постановочном фото. «Семья и торговля недовольны тобой!» – назвал бы я плакат с их обеспокоенными минами. Или: «Семья и торговля не узнают тебя!» Дольше всех вслед смотрел зеленый юноша с ушастой кокардой, соображая, видимо, не вызвать ли кого, но и он вернулся к пакетам, моей жене-дочкам, чтобы широко и расслабляюще улыбнуться им. По лицу паренька почти точно можно было сказать, что он честный заот и наверняка голосовал за мой список, если ему, конечно, уже есть восемнадцать и он слышал слово «выборы». Моя семья не голосует, ибо относится к золотому слою партии, то есть затрудняется не только в вопросе вступления, но и насчет своего участия в голосовании. Ни в тот день, ни потом, естественно, дома я ничего не слышал об этом маленьком случае, да и не вспомнит, уверен, уже никто.

Свои и чужие, знакомые и нет, голосующие и давно политически онемевшие оборачиваются, глядят. «Паранджа пошла», – часто слышу я за спиной и мысленно повторяю за ними: «паранджа пошла». Немного покачиваясь, струясь, уходит от них все дальше. Я в ней, незрим для своих избирателей, оппонентов и равнодушных к моим идеям.

У гриль-бара «Монсегюр» кого-то ждет блондинка в открытом, с ошейником, красном платье. Изучает меня с жалостливым или, не поймешь, завистливым, лицом. В парандже я могу, не стесняясь, оказывать внимание, т.е. онанировать на приглянувшуюся женщину, или сразу на многих встречных, следуя по улице и меняя темп согласно впечатлениям, расточая густую страсть. Вон на ту, в облегающем полосатом: темные очки, грубо, будто на ощупь в темноте, накрашенное лицо, прыгающие шары. Или на школьниц, ждущих автобуса, на всякий случай хихикающих всегда, косящихся на идущую мимо паранджу со страхом. Единственное, чему пришлось долго учиться: разряжаться так же не спеша, как начал и глотать все, готовые вырваться, птичьи всклики, хороня их где-то в груди. Обернутый в салфетку член, омытый собственным мокрым облаком, вдруг теряет интерес ко всему, не пружинит и не дрожит больше, и если сейчас вдруг буря задерет вверх мои полы и пол мой раскроется, дорожный инспектор сразу же кого-нибудь вызовет по своему устройству и пустится вслед: до выяснения задержать. Но я не наряжаюсь, когда ветрено, и слушаю заранее прогнозы. Сильный ветер если и не разоблачает, то прижимает ткань к телу, и возрастает риск. Паранджа для безмятежных прогулок и уединенных прихотей внутри самой что ни на есть публичности. Нужно заранее выбирать маршрут: побольше людей, посветлее. Загодя заботиться: где одеть и где снять. Соблюсти бесполую обувь – не должна подозрений и лишних взглядов.

Летом вы могли меня видеть на набережной: полуденным привидением, городским миражом. Но и под новый год я без сомнения месил вместе с вами обычную зимнюю чавкотню под ногами. Вспомните, если видели фигуру в парандже, это легко мог быть я, и, значит, я тоже запросто мог вас видеть, невидимыми вам глазами и, возможно, помню ваше лицо, голос и костюм. У меня отменная память, в ней полно чьих-то лиц, голосов, костюмов. Вы посмотрели,

выпустили изо рта дым, морозный пар или просто углекислый газ. И отвели глаза. Но даже если вы не видели, я все равно мог любоваться вами, гримасничать безнаказанно и незримо, неразличим с родною темнотой, в арке двора, под сенью вечереющего парка, растворенного в сумерках.

Иногда находит, невозможно сдержаться, и достаешь из шкафа, прячешь под одежду, в себя, выходишь из дому, ищешь убежища для переоблачения, хотя уже и поздно, высока опасность найти неприятности.

Днем в людном месте я часто даю краткий концерт. Громко включить на максимум и тут же выключить диктофон у себя в парандже, спрятав руки внутрь. Брызнут промеж толпы, изогнутся в людях, во многие уши вопьются, взлетят над спешащими пешими полтора ничьих слова – пара аккордов, изъятые где-то неважно кем, важно, что из ниоткуда здесь они высунулись. Сработает выстрел из вчерашнего фильма, безутешный зов полицейской сирены из новостей, неузнаваемый слог телезвезды, обернутый в кашель телезрителя, фонтан хохота, гав давно издохшей собаки, ливень аплодисментов или масло на сковородке, журчание ночного подключения к Интернету или урчание загрузки парламентского компьютера. Но лучше всего общий звук этой же самой улицы, записанный минуту-другую назад. Пробежит ядовитым огоньком растерянное озверение по лицам, из глаз в глаза прыгнет перепуг. Завертятся недоуменные кочаны, убыстрятся подошвы. Кто-то зазря шарахнется от или об кого-то. Ребенка дернут за руку, чтоб не мешкал. Рядом с тобой, на полную громкость, но откуда? Что вам вообще известно о «голосах», о «звуковых призраках»? Диктофон висит у меня на шее. Ушной мираж, родом из вчерашнего или бог знает какого дня, из телевизора, из пылесоса, намеренный обман слуха, звук-призрак, акустический фантом, выпархивающий из беспричинья. Ошибка в саундтреке реальности, неувязочка, неряшливая склейка ленты, сбой – то, что незачем помнить, потому что оно ничего не стоит, то, насчет чего вы затрудняетесь нечто определенное, но как-то стремно сразу же забыть, будто упустишь неявный шанс. Только у вас в ушах? Или у всех? Оглядываетесь. Откуда? – думаете – и что? Затрудняетесь. Подозревается и подразумевается кто угодно, но только не скромная паранджа, оказавшаяся тоже среди вас рукотворным визуальным фантомом. Возможная связь ускользает, вы её не осознаете, не видите паранджу как оживший концертный динамик в толпе. Она – полное алиби, не раскрываемый псевдоним, тайное имя вездесущего ди-джея. Не важно, где я пишу на свой диктофон, важно, где я включаю. Акустический демон вцепляется в вас, заталкивается в перепонки и снова все как всегда. До следующего раза.

Недавно в парандже у правительственного дома мне встретилась взъерошенная демонстрация недовольной молодежи. Против них выпустили пластикоголовых «киборгов», больше похожих на пожарных, чем на блюстителей. С поводков рвались тяжеломордые ротвейлеры. Очкастый пикетчик с пушистым хвостом волос за плечами и плакатом на груди метнул в наступающих недопитую бутылку. Пес повис, сомкнув челюсти, на его рукаве. Укушенный рухнул, как от выстрела, недокричав что-то. Его, обморочного, отволокли на тротуар, к «скорой». Следующая шеренга усмирителей вышла, закрывшись щитами. Две девицы в салатовых халатах прямо на газоне бинтовали прокушенную руку, что-то туда кололи. Хвостатая голова жертвы моталась, как на ниточке. Плакат куда-то

делся с шеи. Потом я понял, что укушенный теперь лежит на своем плакате. Над смешавшимися студенческими головами и касками назидательно, как восклицательные знаки, взлетали дубинки, истерично трепыхались древки флагов, лопаты лозунгов. Нечто электрическое уныло завыло, что-то органическое нежно хрустнуло, как ветка, и всхлипнуло, как глина. Запахло чем-то химическим. Лай слился с лозунгами, рычание с рацией. Я наблюдал свалку издали, записывая звук на диктофон. Мельтешили шнурованные сапоги и свирепеющие лица. Сломанные носы и орущие рты с застрявшими в них проклятиями. Брызнуло стекло. Рядом, с пьедестала или запрыгнув на ограду, клацала затворами пресса. Кто-то из них обернулся и механически навел объектив на замершую в стороне фигуру в парандже. Пожарный водомет, туша социальную вспышку ледяной струей, слишком крутанул вправо и окатил всю прессу на заборе. Словно слон обдал. Теперь журналисты спрыгивали на землю, тяжелые и мокрые, не дружно, по одному, бормоча что-то в телефоны, отряхиваясь, матерясь, демонстративно снимая и выжимая рубахи.

Случись я тут без паранджи, они все бы уже окружили, спрашивали бы, просили бы стать так, чтобы известный депутат получился на фоне разгона экстремистов. Я бы ответил, отнесся, сравнил, напомнил, пожелал, умудрился бы затрудниться и на эту тему, упрекнул бы обе стороны в излишней самоуверенности. Прописал бы всем спасительный скепсис. Стоит только зайти за дерево, скатать в свиток восточный костюм, спрятать во внутренний карман пиджака, ткань тонкая, ничего не весит и уминается до удивительной малости. Через час меня бы показывали уже во всех новостях. Опровергая обычные обвинения в нерасторопности, лидер заотов, человек, введший само это слово в наш язык, прибыл к месту столкновения феноменально быстро, и он сказал: «…». Но вместо этого, инкогнито, я стоял там. Один фотограф с ограды, указывая на сорвавшегося с повода пса, ставшего третьей стороной в драке, сказал: «ротвеллер». Частая ошибка в произношении тех, кто равнодушен к собакам. «Ротвеллер» это вывернутый «реллевтор», то есть «настоящий левый».

В одиночестве я труслив и пуст, думаю без удовольствия и с трудом, в обществе велеречив и бесстрашен, оно заряжает, иллюминирует, но в парандже – третий режим, одни перевертыши в голове. Отдельные слова подбрасываются вверх и непринужденно жонглируются внутри черепа. «Не чечен» остается таковым при зеркальном чтении, «хамаз» – это «замах», признание на обложке «я – этолог» извернется неграмотным именем «Голотея», «гром» обратится в «морг».

Если бьет гром, верещат бестии автосигнализаций, густеет свинцовая муть небес над нашими крышами и вот-вот падут тебе на голову первые капли, можно быть уверенным: где-то потрошат банк. Об этом много говорит TV. Налетчики готовятся долго и нападают каждую большую грозу. Насквозь мокрый, облиплый тяжелым платьем, я толкаюсь вместе со всеми на ступенях какого-то как раз таки банка, под непромокаемой вывеской, обещающей рекордный процент. Небо разрывается, белые плети хлещут асфальт, вода кипит на стеклах медленных машин. Банку сегодня повезло, а мне вот здесь хуже всех. Офисного вида, старательно невыбритый человек достает зажигалку и сигарету, но вглядывается в меня, пытаясь поймать глаза под намокшей сеткой. Он видит меня сейчас недобитой или недолепленной скульптурой из темной сырой, темнее грозового неба, материи –

все черты человека здесь, но ничего индивидуального нет еще. Впрочем, очень возможно, скульптор уже наделил фигуру полом и по фигуре это можно предположить почти точно. Офисный человек нехорошо улыбается, забыв закурить, делает шаг, наклоняясь ко мне вплотную и заглядывая внутрь. Потом чиркает «зиппой» у самого моего носа и удовлетворенно всхрапывает. Ничего не остается, как отступить под ливень, гордо сойти на улицу, словно прыгнуть за борт, войти в пенистый ручей, покрывший тротуар. Шагов двести по воде, и я буду в метро. Разгадал он меня или просто вчера смотрел порно про гарем? Вероятность маленькая, но могли и задержать. Гроза ведь. Охрана на входе готова ко всему. Чем паранджа не маскировка для гангстера? Они ведь каждый раз действуют по-новому.

Бурная тьма над головой тает раньше, чем я добираюсь к подземелью. Улицы после ливня пахнут рыбой, как обнаженное океанское дно. Новое небо, отраженное вымытым асфальтом, словно флаг на ветру. На мне она не высохнет, конечно. Удовлетворенный своим делом гром доносится закатившимся за горизонт гремучим коробом. У метро темно-синие кабинки туалетов, того же почти оттенка, что и моя ткань. Такие же мокрые и так же блестят. Из одной кабинки я выйду через пару минут, совсем другим, долепленным, узнаваемым, с обычным пластиковым пакетом, где на дне что-то влажно свернулось. Подниму руку, призывая мотор. Поеду домой.

Конечно, причина паранджи не только в моей аллергии на популярность, не только в любви к прогулкам. Не такое уж удовольствие бродить по центру города ногами. В тот день тоже было мокро. Издали мне казалось, он поднял бутылку, чтобы сделать глоток. Стекло бликнуло в фонарном свете. Тут я понял: это поднялся пистолет и никакого там нет стекла. Пока он делал два своих, удивительно тихих, выстрела, я все еще уверял себя: в руке паренька бутылка и он, издали, протягивает мне выпить, потому что и сам уже весьма пьяненький. Я упал. На голову посыпалась стеклянная дробь. «Снайпер», как позже я назову его в интервью, понял все неправильно и побежал, решив, что сделал дело. Конечно же, его не нашли. На следующий день я заказал себе паранджу и особые стекла в машину, их не берет нормальный выстрел. Слишком щекотливо: идти или ехать, помня о нем, промахнувшемся. Наверное, вот он, вперился в тебя сквозь витрину кафе или тот, кого покусали на демонстрации, а может быть, высунутый из джипа и что-то неприличное тебе показывающий, вполне похож. Был ли «снайпер» моим политическим ненавистником? Скорее всего да, если он целился всерьез. А вот если сознательно промазал, затруднялся до последнего, так и не сделал выбора, тогда стрелок наш, заотский, недовольный лидером.

Паранджа – сценический псевдоним, как «пантера» или «мидия», «диана» или «барби» у девочек, бесконечно выходящих, танцующих и уходящих в какомнибудь веселом пип-шоу. Всякий раз, облачаясь, я делаюсь такой, темно-синей анонимной стриптизершей. Когда партия заотов еще называлась заотским движением, к нам часто ходила одна пип-танцовщица. Жетоны. Соло-кабинки. Утверждала, что к ней повадился какой-то гад, ведьмак-перевертыш, глядя на неё, меняет безнаказанно облик, мол, она одна только это и видит, боится, хоть стекло и толстое. Оборотень требовал только её, дожидался, пока она выйдет в ковбойском костюме, иначе у него не получалось, и начинал меняться. Невозможно было

добиться от неё, менялся ли он театрально, то есть так же, как она, строил рожи, либо вполне физически становился не очень-то человеком. Затруднялась. Это-то и привело её к нам, в ряды ежедневно затрудняющихся. По-моему, ковбойша сама была не совсем в себе. Объясняла путаность своей истории испугом. С её слов получалось, этот клиент и есть тот, так и не пойманный насильник, разгрызавший женщинам сзади шею во время своего криминального оргазма. Танцевать «вестерн-герл» там дальше или нет, я, конечно, решать не брался. Остерегал от поспешности. Потом она исчезла, попав в какую-то очень неприятную историю, подробности забылись.

На каждого из нас найдется по опасному крейзи, если мы станем принимать слишком скоропалительные решения, продолжим некритично доверять самим себе и других поддерживать в этом же. Именно эти ошибки приводят одних в специальные клиники для плотоядных вервольфов, а других в морги с перекусанными позвонками. Перед выборами мы заказали опрос: есть ли среди социально опасных личностей члены тех или иных партий и каков их процент? Наши предположения подтвердились: маньяки и заговорщики нашлись среди левых, среди правых и среди тех, кто завис по центру, среди крайних и умеренных, среди парламентских и бойкотирующих. Исчадий не было только в нашей организации. Среди «затрудняющихся ответить» ни один не запятнал себя кровью себе подобного. Потому что чувство, которое мы культивируем и считаем главной чертой, отличающей человека от животной особи – сомнение, не из тех чувств, что приказывают нам взять нож или накинуть петлю. Результаты позволили нам уверенно называть себя «самой психически здоровой политической силой страны». Той силой, которая и олицетворяет Её Величество Психическое Здоровье.

Выйдя из дому, поворачиваю в один давно знакомый двор и ныряю в подъезд, чтобы нырнуть в неё. Мои руки дрожат от близкого счастья, а ноги глотают лестницу, словно я пью в пустыне. Круглый, в росе, витраж третьего этажа – фасеточный глаз внешнего пространства бдительно целится в меня. Мир похотливо пялится сквозь стену, не понимая моего персонального карнавала.

Паранджа не успевает достичь улицы, как в арку, ей навстречу, заходят два араба в европейских костюмах.

Один что-то удивленно сказал другому. Второй, не ответив, сразу идет ко мне. Они спрашивают по очереди, по-моему, на нескольких языках. Так я понимаю их непонятные густые голоса. Большой, уверенно расставив ноги, начинает мелко дрожать. Секунду я надеюсь – от смеха, еще не поздно перевести все в анекдот. В конце концов, они приезжие, я – местный, они явно не граждане, я – депутат, должны же у них от этого некие комплексы возникать. Но никаких комплексов не видно на этих лицах. Да и большой совсем не смеется. Он серьезен и вновь говорит мне что-то, на этот раз шепотом, продолжая мелко содрогаться, будто шкаф при землетрясении или только что подключенный холодильник. По его кудрявой щеке проехалась, оставив глянцевый путь, капля, хотя совсем не жарко. Араб поменьше не хочет отставать от своего громоздкого приятеля и трясет меня за плечо, ловит руку, убранную внутрь паранджи, в шнурованную прорезь темной ткани. Перевести в анекдот. Можно на память оставить им эту

вещь, всего лишь тряпка, она мне ничего почти и не стоила. Очень тихий двор, большая половина квартир отселена, остальные сейчас на дачах, а главное, если кто и выйдет-войдет, подумает, что мы вместе – два араба и паранджа, не поймет ни за что, в чем дело, откуда зовут, даже если я закричу, хотя кричать сейчас – смерть. Тяжело в ней соображать, но снимать нельзя, это еще хуже, чем крик. Один заглядывает в глаза, второй хрипло рычит-наступает. Никаких своих слов они больше не произносят. Если один, скажем, выстрелит, вполне похож на такого, было бы из чего, я не успею скинуть и так и упаду здесь. Труп найдут вначале как «женский», в кровавом мешке с сетчатым опустевшим окном, в которое снаружи, ко мне, едва ли ты, читатель, уже заглянешь. Кошка в мешке. Потом выяснится – кот. Кошки не было в осиротевшей шелковой темноте, не ищи. Представляю себе недоумение милиции. Никогда не думал, что буду в паранджe, как ни о чем, мечтать о волшебном явлении милиции. Спугнет их, сама подойдет, вглядится, попросит документы или хотя бы имя…

Среди милиционеров мало политизированных людей, но телевизор, конечно, они ежедневно смотрят. «По сенечке и шапочка», – пошутит милиция насчет ебанутости нашей элиты, разоблачив ненаказуемый подлог. Скажусь безвредным придурком, отвечу им: «У меня рожистое воспаленье лица, поэтому ношу». Бывают разные фобии, ошибочные идеи насчет своего тела и облика. Потом уже, у психиатра, если вызовут, без лишних, пусть выяснится личность.

Большой показывает два жирных коротких пальца с усатыми фалангами. Поменьше шипит, убеждая, видимо, не шуметь, или где-то этот звук толкуют иначе? Возможно, он просто показывает своё крупное рыжее кольцо с каким-то карточным знаком. Можно успеть метнуться назад, в подъезд, заскочить повыше, оторваться от них на секунду, сбросить, выйти навстречу, ударить одного, закричать на второго, перепрыгнуть, толкнуть, бежать. Или выйти спокойно, офисно улыбаясь: рад вас приветствовать в нашем отечестве, вы из какой страны прибыли? Я отступаю, но второй араб уже отрезал мне этот путь, теперь только в угол. За кого они вообще меня принимают? О чем они там кудахтали и, особенно, что эти два ослоёба думают своими бараньими головами? Как там у Арафата в романе, у Карего Глаза то есть:

Запах пороха, влажная тяжесть тумана у всех на коже. Охотник спешивается. Лошадь сонно жмурится и моргает. Шорох мокрой травы приближается отовсюду. Вот-вот появится мокрохвостый слуга и в зубах его еще теплая меховая игрушка. Второй охотник поправил фуражку, пряча зрение под козырек от первых лучей. Выпуклая конская линза полна тумана.

Зачем у меня в голове сейчас это чужое видение? Один из них напряженно хмурится, плохо улыбаясь при этом, желает что-то рассмотреть. Второй педагогично кивает: неизбежность есть неизбежность. Я пробую не смотреть на них. В каком-то смысле ведь меня здесь и нет. Совсем не осталось отступного места. Я вынужден переминаться. Их запах пугает. Из какой они страны? Чем они собирались заняться в этом дворе или доме, пока не увидели паранджу? Будто пытаешься прочесть страницу, на которой пусто. О чем они шипят, тесня меня к стене и тиская себя между ног?

СЕРГЕЙ УХАНОВ

НЕОСТОРОЖНОСТЬ СЛ.

***

мой внебрачно-тождественный
низко падал, взмок,
огрубели розовые /раньше/ мысли,
жилки проступали в алчных
сливках на его живот, низ
живота, низ низа

чёрствые крупинки корма/норма
ластились в пугливом изголовье;
как ловко выходить из ситуаций
важно божьим влажным
от росы и гулким матерям их

их контурам; портрета оберег
кормящий спинки мозг
единородный как кровь
инцеста, пародия, европа-бля –
переместилось всё в иной
багаж, очаг парадный

где баламут пугливый
зацепившись в ряске
и извернувшись не желает
больше клясться и уже паче
биться об заклад картонки

***

эсхатологически; впрямь
за мною охотится сонм
поголовно-сосальщиков;
мнимые – злободневно и
пестуют – нет вам места:
избыточность-выпот/слоями/

рукоплещут и пестуют –
бедные суть чухонцы но истинны
как бы славяно-жидовски (онтологически):
корягой гепардом ядрицей

жалобы-жалобы-жалобы
что-то не мыслится в красноречии
мало быть: мы есть дети
живём как в насилии
(обскуранты-трагики)

надо стать: маскулинность в принципе
строго как: геометрия, архи, пас-актив,
транс-уклон; там где пишется
/тавтология/ край-небес
входит в край-соблазн /в пору –
да/

***

измученного тела великосветский бог
(их несколько – богов – меня исправят)
он спрыгивает в шахту
и готов меня – безродного
бездетного – ужалить

но я противился младенцу-богу
защищаясь по пунктам:
1 – мечты пристыжают действительность
2 – уединение питает страсти
3 – тёмные улицы рождают тёмные чувства
4 – добрые чувства побеждают время и пространство

и он сдаётся – бог-матрёшка, бог-беллетрист
и присмотревшись замечаю:
он тоже безбородый как и я

***

обрастая не попадя чем
тужишься в предначертаниях
составляя горизонтальный коллаж:

на воображаемую фигурку мёртворожденного младенца
наносишь пасквиль: вульгарные татуировки
ближе к несостоявшемуся лону – листва дерев (там густо)
лобок – пирсинг
пестуешь область подмышек
от морфологии начиная скользить
в сферы кривостоящие (псевдо-иерарх.)
прерываясь *лишь* на
столбцы (девств.) сосков: место
где особенно хочется быть
но минимально
влиятельным \ниже – слух\

дрожь \хульст.\ бьёт
оторопь

***

практический нечестивец практикующий здесь разлад
трепещущий всем величием, колкий,
ты норовишь бедную грацию оставить нанести урон;
вдоль насыпи зелёным глазом отслеживал филигранности,
ухмыляясь, довольный собой, подмечал у этих неверных
разногласия, составлял протокол строчил в этих бумажках
(памятник, монумент, твоя юркая служба):
у вас явный бог, у вас бог заблуждающийся,
у вас – отступник реабилитирующийся, ну и хуй с ним;
прерываясь на цепь вещественных доказательств
затем в инкрустированный драгоценностями панцирь пялясь
разглаживал медленно и восторженно складки лица
тем самым освобождаясь от излишеств повес,
прежних нагромождений, затравленных копий,
и – уже с облегчением – отступал в непристойное

***

с женой с клюкой
ступая мерно степенно
он – *настоящий*

взгляд мутный стеклянный
глаз рациональный
замыслил точку

прибежище вибрирует
антисемитской вязью
испорченной осанкой

вкрутую яйца нигилизма
исполняют виртуозного
конька

***

славянские хуи –
позорный арьергард

посредственной женой слоняясь *и*
улыбочку щемили

побочный толк –
национальной вамп
проточной как вода в бутыли

отменная порядочность у них

***

некоторые судьбы во мне
ебут помышляют колышут
пишут мескалиновый профиль

синонимичность
приводящая к апологии
душевнобольных

бранной эротики
порнографизм волен
отвлечь в ничто

в предстоящий ломкой
хруст пены

***

пиздец какая зыбкая игра:
сокровище охваченное мехом
так греют руки в планах
навсегда озолотившись

(опошленный порыв чудесен
для замыленного глаза; скулит – скулящего)

(так греют в неоплаченных долгах паскудный срок
домысливая за издохшего героя;

героика его блядская стоптанная,

во сто крат (проклиная))

***

полосой небрежения в мизере
гладкой антиутопией топа
страхом отвергнутых; за собой
же не чувствовал ничего
\где подоплека – писать добро\

вечная женственность
вечно и зелено цацу ебать
велено; за складами скатерть
раскинута: сором изб после
сорокового дня \уныние нытья,
злоба беспомощных,
белоснежность нательных паст,
пращур, увы, древесен\

краденый праздник осени
руки раскинуты до нутра
укорочены лирикой и *гнильца*;
просятся на язык псалмы ему

ящер почти даритель
в стеганом полумраке
прорезинена кожа
светится изнутри \

***

как в лучшем фильме –
разговаривать со стеклом:
вашу мать, в боговом доме
просили без выражений;

что же тут кажут:
в дурной голове аврал;

или достаточно на троих славы;
пролетели – с чьей-то; самодостаточно –

как в лучшем фильме;
разговоры ведутся рядом,
не без влияний со стороны;

увы; и захоронят
в концептуальном тире,

тот не чурался
ясности *той* земли,
что изменилась так:
строго, лицом-товаром
/самонадеянность/
/не к тебе/

и перспективным стал
после приставки пост – /салюты!/
вымученный совместно атом,
падающий /ах надежды-надежды/

***

новая героика места́
как важно современностью
благоволить глупыми губами
и подавляя элемент смущенности
психические ритуалы и далее
п. ч. в пизду

***

брат юнгер как пушист

мне до его добра
благонамерения перетечки

а что-то интервью и дневники

и мыслила пизда
смущенная дерьмом
равно и консервативно

солод тот мотивчик
фестончатых софизмов и риторик
проч. хуйни

как на таком пиру был робок и немыслим
бесчислен так несметно)

***

в искривленном пространстве
неосторожность сл.
написанного
произнесенного
потаенного

кажущееся – увенчай бренность
букв языка (не введ.) явится что (в виде)
урвет случайность

обвал поругание для
последующего возвеличивания
логично ли
(тон не лишен снобизма)

классовость выжигает плотность
допустив тему вслух
вскрытия третирования позволительного
позвонка

вывод дробить ослепнув
вихрем оральных ласк
вкусом до смерти в жизни

(следуют –

обратное и перспектива
в разгоряченный путевый
визг)

***

хворь пизды ужасающа
унаследована

воссоздав порок в неглиже
не являлся структурой
раздушенной патлами магомета

каково же метать
пародию в бисере на стеклярус
хлебами нещадного безрассудства
перед козлиным очком
и бож. духом

корпеть в ожесточении условностей
прислуживая дочерней анестезией но
якобы головорезкой в аммиачном
чаду

ГАРИК ОСИПОВ

СЕРМЯГИНА ЦЕРКВА

– Послушай, что он поет!

– «Венгр, венгр».

– Ну «венгр», а дальше шо?

– «Мнэ Сэнэка письку жрэ!» Четко слышно.

Они не уйдут. Он не уйдет. Я тем более не пойду в двенадцатом часу из собственного дома. И потом куда, и к кому? Пшеничников после развода с мамой слабоумного, по-моему, Павлуши, переехал на Правый Берег. Сюда он ездит только пить, а живет там, где выменял себе новую хату. Кажется, с продавщицей из «Каштана». Я мог бы уйти к Сермяге, но он меня опередил, и сам ко мне пришел.

Вот он – Сермяга. Сидит, улыбается и прищелкивает большими пальцами размером с пятки лилипута. Он явился не один и не с пустыми руками. Этот один из тех случаев, когда Сермяга важно произносит: «Шампанского захотелось». Открывать пришлось над ванной, я настоял. Но больше моей воли не хватило ни на что. Мы не сверхлюди, нам не всё дозволено. Мне уже испортили шампанским пару старых постеров, какие больше не найдешь. Брызги в стороны летят.

Шея с Сермягой свалились на мою голову, как кастрюля борща с верхней полки. Чтобы стало легче, я выпил три рюмки подряд. Легче не стало, но я уже не имел права на превосходство. Водку принесли Шея и Сермяга. Видимо Шее в «Доме быта» выдали зарплату. Она дымила, как Химера, выпуская конические букеты темно-серого дыма. Данченко, как обычно, был похож на любого украинского политика, от крайне левых, до крайне правых, кроме одного отличия – он не мог вспоминать Украину без мата. А поскольку та напоминала ему о себе из радиоточки над диваном, где Сермяга лежит и «ловит отходняки». Злоба, переполнявшая его, обращала сермягины матюки в заклинания. Поэтому, словно на зов ведьмы из гроба к Сермяге лезли, карабкались отовсюду только новые уроды и чудовища.

Когда в стакане зашипело, он радостный и зоркий, принял его обеими руками, но поставил на стол, осушив не до дна, и задумался. Раз не допивает, значит, сам забыл, чего хочет, до такой степени пьян, заключил я, стараясь быть услужливым, чтобы гости мои не разбушевались совсем.

Данченко явно не понимал, чего желать дальше. Между искрами, дымом и пиротехническим треском сигареты, Шея успела потребовать «Роликов или ни хуя».

За стеною была комната доченьки татарина Марселя. Они вселились быстро, сразу после того, как Магомаев вылетел из органов, вылетел из партии, и перебрался к другой бабе в глухой микрорайон за Речи́щем. Пожалуй, Трифонов написал бы об этом хорошую повесть. Мне, я думаю, надо в другом месте перечислить глупости, что орал иногда за стеною пьяный Толя Магомаев. Классический сосед-гэбист, похожий (что было, то было) на Муслима. О том, что Марсель татарин, мне успела доложить бабушка, подслушав разговор Марселя с каким-то стариком на лестнице, папаша это был его, что ли… Бабушка сама плохо соображала.

Роликов не Роликов, а музыку ставить придется, решил я, иначе Сермяга меня совсем опозорит перед новыми соседями. С другой стороны, я хорошо знал ужасное свойство подобных ханжеских мер – чем громче музыка, тем громче реплики незваного гостя, который, как известно «хуже татарина». Чтобы как-то озадачить их пьяные мозги и поскорее усыпить их утомленные пьянкой организмы, я поставил моим друзьям венгерскую эстраду. В венгерских песнях то и дело слышатся смешные слова, этим надо пользоваться, особенно, если самому не до смеха. Вот, пожалуйста – «сцыт чудак» и дальше «лэжит чудак», или вот сейчас, обратите внимание, будет целая фраза: «игор, хуйнэм вдвойэм Янош Витэз».

Сермяга, понимая, что его задабривают (это выражение я запомнил у Фадеева в «Молодой гвардии», Сермяга уверяет, что Фадеев – питурик), снисходительно улыбается, делая вид, будто прислушивается. На самом деле, он ловил в своей голове похотливые мысли, оценивая шансы возможной оргии. Я почти убедил себя, что, задобрив Сермягу, смогу избежать дебоша, но тут развонялась твердолобая Шея:

– Так! Шо это ты поставил? Не пóняла! Это мои Ролики или шо?

– Ты бы еще в час ночи припиздила со своими капризами. Мало я тебе их передарил?

– Так, короче, Склифосовский, где мои Ролики?

По ее повторам я догадался, что она плохо соображает, о чем говорит. А дальше ещё хуже будет. Не нарыгали бы.

Шампанское в стакане выдохлось, перестало шипеть. Сермяга допил вино и ничего не сказал. Оно ему явно не понравилось. Настроение златовласого головастика портилось на глазах, и теперь, когда шипение шампанского прекратилось, стало слышно, как сопит недовольный Сермяга. The thrill is gone.

Действительность опять чем-то не соответствовала его старательно подобранным выдумкам. Нельзя забывать, что Марки де Сада он читает, как родного, и нередко поговаривал о какашках и струях, нахально глядя собеседнику между глаз. Он беседовал об этом не со мной одним, так что это мне точно не приснилось, уверяю вас.

Шея не унималась. Пришлось поставить, что она просила. Реакция на музыку Роллинг Стоунз общеизвестна: Ну и говно! Потом, разумеется, упреки, ты мол, не тех заводишь, что я имела в виду. Мне один мальчик других ставил, а у тебя таких нет…

У истоков ее пьянства стояли Стоунз и Шульга. Отсюда Роллинги, и, если Шее вздумается, она наизусть произносит квазиитальянскую абракадабру из какой-то песни Битлз. Типичная ragazza'71. Я все думал записать ее декламацию, но хороших микрофонов не оказывалось под рукой, а эти ничтожные, что притащил и всучил мне Пшеничников, доставать не хотелось, было как-то противно разматывать провода…

Я не предполагал, что через несколько лет Шея замолчит навсегда, а пока она сидела в продавленном кресле и, склонив голову набок, присматривалась ко мне со зловещей усмешкой.

У Стоунза взгляд холодный, но глаза как будто воспалены. Волосы, если отрастали, ложились широкими прядями. В лице действительно есть что-то

британское. Голова поп-звезды 1966 года. Пускай и приделана она к игрушечному туловищу. Если Стоунз звонит из автомата, чтобы набрать номер, он задирает руку выше головы, как шимпанзе.

Однажды Стоунз шел вдоль набережной поздно вечером, один, и от нечего делать буцал впереди себя спичечный коробок. Хотел было сворачивать вверх, где конечная четырнадцатого троллейбуса, достал сигарету, а прикурить не от чего. Берет с асфальта коробок, может, там осталась последняя спичка, застряла, где щель, открывает, а внутри полтинник и два четвертака – 100 рублей. Слышь, Гарик, ровно стольник!

…мне один мальчик других ставил, а это какое-то фуфло. – Шея буровила уже не глядя в мою сторону, голос, похожий на лай собаки, доносился, как из телефонной будки: Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Пауза. Гав-гав-гав-гав. И «Ролики» скрипели своими гитарами, будто давят крупных тараканов. Почему всегда выпивая с Сермягой, я заглядываю в вырытую яму? А если при этом присутствует Шея, на дне ямы вдобавок мечется злая собака?

Я понимал, что мне дальше светит, и что надо делать. Ближе к окну. В эркер. Близость с открытой форточкой казалась мне близостью с некоторыми знаменитыми актрисами. Ночной воздух, даже такой, подпорченный заводскими выбросами, стоит тысячи поцелуев.

Шея лаяла где-то за сараями, на перекрестке. Геката. А где же ее пёс?

– Шо ты там стоишь, ты шо, лунатик? Хорош там стоять, садись, выпьем, или ты как?

– Без Сашка́? Без Сашка не буду.

– Так приведи его, слышишь, не по́няла!

– Он вышел, значит ему нужно.

– Так, короче, мы пьем или мы не пьем?

Какая сварливая, видимо, скоро умрет, говорят про таких. Всё меньше кокетства, все больше капризов. Всё меньше замысловатых украшений. Подчеркивающие наготу многорядные бусы ей уже лень распределять так, чтобы они свисали, подчеркивая соблазнительный рельеф открытых мест. Вместо них – бантики-затычки, цельные заколки-клапаны, похожие на планки стариков-орденоносцев. Тонкие крючки подвесок, продетые в нежные мочки чистых ушей вытесняют клипсы-прищепки. Поздно просовывать туда, где уже проколото, и не больно. Теперь она предпочитает зажимы и пробки, чтобы не выходило тепло, чтобы не остывала изнанка ее оболочки, чтобы теплилась жизни. Азнавур её уже раздражает даже, когда не поет, заметила обложку и скривилась. Декоративная косметика загоняет в полярные сумерки последней иллюзии. Боюсь, что эта женщина будет укладываться в гроб так же возмутительно, как на пляжную подстилку, когда к ней были протянуты лучи и руки, а Роллинги действительно имели отношение к её ощущениям… Гав-гавгав-гав. Я знаю, она посещала кружок, занималась гимнастикой. Это в цирке её научили так улыбаться. Скоро последний фокус – дама исчезает. И пускай. Я встал со стула, ладонями умоляя её сидеть спокойно, а сам оправился звать Сермягу.

Сермяга выходил из уборной, он смотрел на меня нехорошо. Словно я, оставшись один на один с Шеей, опоздал на свидание. Чтобы умилостивить

головастика, я полушепотом процитировал для него глупые строчки Шандрикова: Кто лучший друг тебе – Челкаш или алкаш?

– Алкаш! – неожиданно громко, даже пронзительно выкрикнул Сермяга, широко улыбнулся, и направился туда, где Шея. Ноги у него заплетались. Нет, они не уйдут. Не уйдут.

Тогда в коробке́ Стоунзу достались деньги на Шеины похороны, он их пропил, деньги вернулись в источник, планы многих, в том числе, и мои, оказались нарушены. Я почувствовал себя в роли Дьявола, вынужденного развлекать карнавальную труппу живых мертвецов. Но почему? При чём тут моя персона? Откуда взялись вокруг меня все эти люди? Махнув рукой, я прошел в ванную, которой только что пренебрёг Сермяга, и решил, что пора почистить зубы, чтобы больше не закуривать. Потом я достал из шкафа большое одеяло и маленькую упругую подушку. «Шо, спать пошел?» – вымолвил Данченко. «Хай идет, в той свой эркер», – пролаяла Шея.

Скоро и ты пойдешь в «той свой эркер», подумал я без злости, задергивая шторы, по-моему, еще те, старые желто-зеленые с контурами цветов. Выстелив одеялом пол перед батареей, я улегся на подушечку, и почти немедленно отключился, позабыв, кого оставляю за столом в трёх шагах от моего ночлега.

Я проснулся на интересном месте. Времени прошло немного, музыка не успела доиграть.

– Шо я тебе, Вита, скажу. – это был голос Сермяги, – Не при Гарике будет сказано, но привидения есть.

– То шо они есть, покамест ничего не говорит.

– Думай, шо говоришь! Ты видела бога?.. А я видел. Мы с Овчинниковым хуевертили в Херсонесе. Полезли в церкву, там я чуть со стены не ебнулся. Овчина, ловкий, гад, тем более бухой, а я высоты боюсь. Пока долез, Вовчик куда-то ушел вперед, нигде не видно. Я ж долез, спустился, сижу, потом обливаюсь. Навстречу идет мужик, весь в белом. Я сразу не врубился, этот же ишак меня не предупредил. Мы побазарили, а потом выясняется, что никто этого мужика, куда он пошел, никто, кроме меня, не видел. Я спрашивал, видали, с каким я человеком только что базарил? А они в ответ: там никого не было. Это был бог. Причем, что характерно, мне потом это Криницын подтвердил… Ты в курсе, что его убили?

– Я вообще не знаю, кто это такой. Короче…

– Дай закончить. Заебала своим «склифосовским». Церква эта была построена древними греками за тысячу, как минимум лет до нашей эры. Церква.

…ква…ква…ква. Это надо бы не забыть, подумал я, поворачиваясь к батарее. Странно, что Сашко не добавил после «церквы» своё обычно «блядь-нахуй-блядь». Понимает, не богохульствует. Чтобы отвлечься от досадных мыслей, я стал читать в уме стихи, известные и Сермяге: «Потолкавшись в отделе винном… Алкаши наблюдая строго, чтоб ни капли не пролилось, не видали, смеются, бога? Ей же богу, не довелось». Пересчитывать алкашей, как овечек мне тоже не довелось. Вскоре я задремал.

Второй раз меня разбудил безбожный скрип и полушепот: «Гарик, Гарик, иди к нам!» Они возились на моем диване, два будущих скелета. Непривычная к похабным телодвижениям мебель скрипела возмущенно. Я не стал притворяться,

и четко ответил: «В другой раз. Не обращайте на меня внимания». После этого я заснул не скоро, но умудрился никого не слышать и не видеть.

Через пару дней мы пили пиво у Сермяги, без девочек, нормально беседуя, как старые товарищи. Як шо Сашко трезвый – золота людына, говорила о Сермяге его мать. Со стены над родительской кроватью смотрел знаменитый фотопортрет «Мальчик с желваками».

– Ты был прав, папа, что не пошёл тогда к нам, – признался мне трезвый и доброжелательный Сермяга, хотя я его об этом не спрашивал, – Там оказался такой… – он помедлил с усмешкой. – …устоявшийся запах мочи. Тебе бы, мягко сказано, не понравилось. А я… Я, видишь, сглупил.

ВКУСЫ ВЛАСА

Необходимо сразу сказать, я никогда не состоял ни в каких организациях и обществах. Пренебрежение коллективом привила мне Советская Власть. Новое поколение, быть может, оттого так и рвется в клубы и секты, что ему не хватает кружков и секций, где занимались родители. Кто-то, наверняка, из-под палки, но кто-то ходил туда с удовольствием. Надо отметить, что за фасадами организаций с невинными целями и названиями, часть прятались очень порочные люди. Растлеваемый и растлитель любой масти мог найти себе помещение под прохладными крышами дворцов детского досуга. Взошел по ступенькам на крыльцо с колоннами, переступил порог сумрачного вестибюля, и ты в другом мире, где никогда не побеждали ни поп, ни фюрер. Здесь дети ведут себя, как взрослые в отделе игрушек, а взрослые, как дети на складе «Военторга». Всё это множество раз мне пытался объяснить Сермяга, но я, должен признаться, многого не понимал, не хотел верить, что такое возможно не где-то на Западе, а «у нас», причем без инструкций оттуда. Конечно, это было малодушием с моей стороны. Отодвигая тихие омуты, где черти водятся за границу, я противопоставлял невнятный скрежет нудных групп отчетливому зову вполне конкретных мест. Причем места эти обогревались, проветривались, чистота в них поддерживалась, свет, ремонт, если надо – всё за государственный счет.

Сермяга не безмолвствовал, не скрывал, что такие места существуют, но и не агитировал, не зазывал. Ему не позволял проповедовать его природный дендизм. Он только намекал, оставляя право выбора за мной. Увы, превратно понимаемая элитность помешала мне сделать такой выбор. Нельзя было так важничать. Но иногда гордыня спасает от инфекции, не говоря уже о второй половине бутылки, плюс вся закуска достается только тебе само́му. Правильно я не клюнул на удочку, высунутую из пионердворца. В общем, повторяю, это правильно.

Правда, большинство тогдашних пороков и дурных наклонностей превратились со временем в необходимые для чистой анкеты если не добродетели, то вызывающие сочувствие, свойства. «Я сосал, и ты – сосала» – пели одни югославы. Смеялся я, Навоз-покойник хохотал до слёз. А если разобраться, сколько таких пар? Это «Рабочий и Колхозница» один уникальный монумент, а таких, как сказал бы Сермяга «до хуя и больше, и гораздо, папа больше, чем ты думаешь».

Чтобы не казаться большим парадоксалистом, приведу простой пример: Америка – страна ненормальных, поэтому она создала в XX-ом веке сильнейшую литературу, которой пользуются все, и атомную бомбу, которой никто почему-то не воспользовался. Кроме Трумана. Но и он пощадил, сами знаете, кого, имея возможность избавить мир от будущего, или будущее от мира. Но не посмел, и теперь мы видим эти бесконечные концерты, а там, где стояла обычная каланча, уже торчит мечеть. Эх, Труман, Труман. Видимо, по-масонски ты был прав – терпимость, просвещение, филантропия. Но пощадить ослабленного союзника, всё равно, что признать беременность в непроницаемом чреве, не подозревая, кто оттуда появится. Кто появился, мы можем видеть, переключаясь с концерта на концерт. Это ты, Гарри Труман, подарил им жизнь. Креветки, замороженные холодной войной, выжили. От православного морлока Маршала до сатанинского дуэта «Зомби и сын» с программой «Дьявол играет на балалайке»!

Итак, Америка создала сильнейшую литературу. Возьмем автора «Ягнят» Томаса Харриса. Он опытный криминалист, и знает, о ком пишет. «Ягнятам» предшествовал «Красный дракон», главный персонаж этой книги – дефективный, у него заячья губа, он мочится сидя, потому что детстве бабушка грозилась ему отрезать ножницами перец, если он будет забрызгивать крышку. Но при этом «Красный дракон» сам шьет и придумывает себе костюмы, одевается, как клубный фрик, усердно занимается культуризмом. Подумаешь, в интернате его дразнили «cunt mouth» – пиздоротый! С такими данными сегодня его портрет не сходил бы с журнальных обложек. Сегодня, когда за измену родине посадить невозможно, каждая жертва имеет свою долю мирской славы, тем более, если гарантирован «аборт жертвы» – то есть, максимально скорый выход смутьяна обратно на свободу. Изредка тот, кто садился, как Остап Бендер, освобождается, больше похожий на Кису Воробьянинова, но такое происходит из-за естественной немолодости мученика.

Повторяю, у создателя «Чёрной пятницы» и «Красного дракона» достаточно опыта и знаний, чтобы составить пропорциональный, убедительный образ урода середины 70-х. Но через двадцать лет пиздоротый модельер-культурист уже не пойдет в маньяки-отщепенцы. Торговка не заделается прачкой. Всё с тою же губой, с теми же данными, его место будет не в галерее убийц, а среди тех, кого принято называть «публичные люди», «красивые люди». Ветераны бывают разные, какая война – такие и песни. Кому-то ближе «Прибыл из Германии посол», или «Барон фон дер Пшик», а кто-то задумчиво тянет голосом Джима Мориссона: «Я страдал, я в атаку ходил. Старый негр мой кал у себя на хую находил…»

Он – питурик! – Хорошо! А ты даже на это не способен. Кутюрье. – Ты так не умеешь. Пиздоротый! –Завидуешь. Провинциал. – На себя посмотри. Себя послушай. У него – пуделек! – А у меня одна черепаха, хны-хны-хны. И я до сих пор не знаю, самец это или самка.

А бывает и так: барышня рвётся в монастырь, попадает туда, а там – «полный лигалайз». Отец Гиацинт чистит жопу отцу Хризантему. Колокола вызванивают что-то из «битлочков». Все попы – бывшие хиппи. От перенесенного шока – чувиха в петлю. Вешается, словно проиграла в карты хачам квартиру с обстановкой.

Полный лигалайз. Многое из того, что предпочитали прикрывать, вылезает на показ, не кокетливо, а так – будто иначе и быть не должно. Раньше Берри Уайта знали только те падшие, что ходили в общагу у негров сосать. И это была тихо презираемая каста, именно каста дряней в советской обществе. Поляки, негры, арабы – ассортимент, прямо скажем, овощной палатки. На измену родине не тянет. А сегодня – умер Берри Уайт, и с ним прощается пол-Москвы, как с Высоцким. Неужели в роду у всех этих скорбящих имеются минетчицы, готовые сосать у негра за зонтик, а то и даром?! Мне трудно судить. Жизнь прошла мимо.

Впервые про Власа я тоже услышал в доме Сермяги, но не от самого, а от «племянницы». Что это меняет? Пожалуй, ничего, просто я буквально сию минуту припомнил, что тоже бывал у Власа в гостях, и хочу не забыть рассказать об этом ниже. Но в этот момент я не был уверен, что это один и тот же Влас.

«Племянница» спала под портретом «Мальчик с желваками», и Сермяга отогнул одеяло, чтобы показать на ягодице спящей наколку. Проснувшись, она взяла гитару, спела «Воровку», очень медленно и тихо, потом рассказала, что у неё есть дядя, и у дяди выходит книга в ФРГ. Не помню, была ли тогда ещё ГДР, но за водкой уже надо было ехать три остановки трамваем.

Сермяга приближался к спящей жеманными шажками, подолгу задерживая в воздухе поднятую ногу. Он то и дело подносил палец к губам, и менял выражение лица. Казалось, на Сермяге надеты камзол и парик, а в соседней комнате его движение сопровождает струнный квартет.

Кому я всё это рассказываю, сидя в кабинете, принадлежащем мне кабинете? Предо мною ракушка, она лежала в моём аквариуме на дне, пока рыбки не вымерли все до последней. С тех пор она давно, года с ‘79-го, служит пепельницей, и я плаваю над ней, точнее, моя голова. Полубухой, в табачном дыму, я вспоминаю, пытаясь отделить одну историю от другой, где кончается одна, и начинается другая…

Что касается скрипок и клавесина, до сих пор остается загадкой, под чьим влиянием Сермяга твердил одно время, что слушать надо строго одну классику. Мы догадывались, что он поет с чужого голоса, но как всегда, не решались спросить, с чьего. Салатные Рейтузы он лично знать не мог. Иль мог?

Исполнив ещё пару песен, по-моему, «Колокола» и «Свечи», девушка снова заговорила про своего дядю. Дядя пишет стихи, их печатают в ФРГ. Я вопрошающе посмотрел Сермяга в глаза. Тот едва заметно пожал плечами: «А чорт его знает, я без понятия». Значит, Сермяга с Власом лично ещё не встречались. Их познакомила «племянница». Через неё все и произошло. Но я не присутствовал. Я ничего не видел.

Подобно Жулику со Стариком Яковом, дядя Влас тоже оказался фотографом. Это деньги. Деньги и свобода. Что-то вроде зонтика. Среди людей, чьё положение и вид напоминают размагниченную запись: плывёт, пропадает, джентльмены власовской специальности держатся прямо и чётко. Сразу видно – идет фотограф.

От Сермяги мы направились ко мне, потому, что должны были вернуться его родители. Тогда ещё живые. Едва вышли из подъезда, встречаем возле сберкассы Лёву Шульца. Спрашиваю, как Глафира, чем занимается в Нью-Йорке? Не стал ли раввином?

«При чём тут раввины, – вмешался Сермяга. – Зачем обижаешь хорошего человека?» В тысячный раз мне захотелось плюнуть и уйти. Сермяга показался мне жутким саламандром. Он, как никто умел ошеломлять неправильной реакцией на самые безобидные вещи. Из чувства неловкости, я огляделся, ища поддержки у прохожих, говорить что-либо в оправдание было бесполезно: рядом со мною в бесцветном воздухе извивалась амфибия из другого измерения. Словно собака стала понимать язык людей. Один другому: «Смотри, пёсик решил покакать». А собака, присев, медленно, с обидой, поворачивает морду, но ответить ничего не может…

Племянница скромно стояла в стороне, теребя застёжку болоньевого пуховика. Она тоже увязалась за нами. Никакой татуировки, я, кстати, не разглядел. На Сермяге было коронное пальто, ботиночки, коричневый свитер. Он был без шапки.

«Вижу идёт она, – скажет он через год. – Сразу не узнал. Хотел крикнуть, оглянулся – жопа толстая, ножки коротенькие, думаю, та ну тебя на хуй».

У меня мы сидели недолго, мамаша скоро должна была прийти. «Племянница» от водки отказывалась, подчеркивая этим свою принадлежность к миру наркоманов. В ней было что-то неприятное, отталкивающе-угодливое. Что-то от троллейбусной остановки зимой. Так ведут себя, то нагло, то заискивающе, солдаты-педикаторы с людьми, которые насквозь видят их, и знают, каким презренным способом они добывают деньги маме на завивку. Вполне могла быть и лесбийская тема, тем более. Раз она сидела. «По-моему, ты утащил ее с прицепа, за заднюю ногу, и разморозил», – шепнул я Сермяге, рискуя вызвать его гнев. Но он почему-то совершенно трезво посоветовал мне проверить, всё ли цело в прихожей. Что это за дядя?

Потом зачем-то мы поперлись в кабак, в «Ноздрики». Сермяга утащил с собой диск Клода Франсуа. Когда у него ночевала Манда Ивановна с огромным догом, она тоже выцыганила к Сермяги его Клода Франсуа. Сермяга на него похож. Он кому-то собирался подарить этот диск, и пусть попробует юбиляр не обрадоваться. Кажется, у Студента был день рождения, но этот такой тяжёлый идиот, что вспоминать его здесь не место.

Мы прошли мимо гардероба, не раздеваясь. Сермяга шагал впереди, пальто нараспашку. Комиссар полиции. С диском подмышкой. Или скорее, шеф гестапо, идущий расстреливать питуриков с вонючими солдатами прямо в постелях, если можно называть онучи, где копошатся эти люди, бельём… Сзади плелась «племянница», чтобы послушать, как будет креститься последним крестом педерастический «Саратов». Представляю себе галерею, то есть анфиладу, как в последней сцене «Маскарада» – распахнутые холодильники «Саратов», и в каждом замороженный, сизый солдат. Но во конце коридора должна стоять дорогая финская хуйня, и оттуда, сидя в тициановской позе, должен выглядывать целый и невредимый …Шурпетов: «Гарик, позвольте мне угостить Вас вином, так сказать, ретроспективно!?»

Сермяга очень высоко ценил эти шурпетовские слова. Он даже пытался выяснить, после кого угощал меня вином «ретроспективно» «Шурпетов, – но имя киноведа, названное мной наугад, ни о чём ему не говорило. – Тоже специалист по Фассбиндеру», – пояснил я, и Сермяга этим удовлетворился.

Взбежав по лестнице, мимо громадных зеркал (где вполне могли бы отразиться атлеты с картин на стенах виллы Schurpetoff), мы свернули в подсобные помещения. От буфета, где официантам выдают кир, вдоль цеха холодных закусок. Я отметил, что Сермяга знает кабак не хуже меня. Видимо успел и здесь полазить.

Дальше имел место необъяснимый, уже тогда показавшийся мне загадочным эпизод, про который Сермяга вспомнит лишь много лет спустя, и опять в связи с известием о смерти очередного своего знакомого.

Не знаю, как вышло, но вдруг я увидел своего друга за столиком, в обществе довольно опасных людей. Такие кого попало рядом не посадят, и тем более, кому попало не нальют. Разве что в последний раз. Но главное не это, главное – напротив Сермяги в позе шахматиста сидел никто иной, как Соболь. А он должен был в это время находиться где-то под Николаевом, минимум еще лет десять. Потому что сын зубного техника не выдержал пыток, и выскочил на улицу с восьмого этажа. В Америке такие вещи совершают под воздействием ЛСД, но у нас своя психоделия, по имени Соболь. Ему пошла бы кличка «Кислота».

Племянница дяди Власа могла не знать, кто это такой, но она догадалась, и сжала пальцами мой локоть (я уже не помню, в чём был одет). Я не заметил, когда пальцы разжались, но обернувшись, не увидел за спиной у себя никого. Куда пропал тот Клод Франсуа, я тоже до сих пор не знаю.

Одно могу сказать точно – наступила весна, и к этому времени Сермяга не просто выпивал с Власом регулярно, но распоряжался у него дома и продуктами, и деньгами. А зарабатывать тот умел, несмотря на пьянство. Правдой оказалось всё, рассказанное «племянницей», и даже больше – Влас дейсвительно кончил Литинститут, действительно умеет писать стихи, водит машину. Одна из бывших жён живет в Германии. У него вообще масса приличных знакомых, и они по-прежнему относятся к нему с уважением.

В отличие от потомственного безумца Жулика, запивающего таблетки водкой из горлышка, Влас совсем не похож не сумасшедшего. Он вежлив, физически крепок. Под крупным лбом горят два умных голубых глаза. Только не так пронзительно, как и киномонстра, а с мутью, от пьянства. Именно горят, поэтому, мысленно я и прозвал его Фанто-Власом. Лицо потрепанное, но не противное, голова плешивая, арийская. Такими в кино изображают немецких офицеров, тайно ненавидящих фашизм. И всё-таки, время от времени это лицо передергивает клоунская гримаса, волосатые сильные руки виновато опускают на клеенку блюдо с зыбким зельцем. Ещё один из тех, про кого принято говорить: Прекрасные глаза у человека, но – что-то его гложет.

Две вещи оказались неправдой – племянниц дядя Влас привел, кажется с автовокзала, мне недаром привиделась мёрзлая нога с прицепа. И младенец Бобочка – вовсе не его ребенок, хотя он и любит поплакать на эту тему, если рядом Сермяга. «Заебал своим Бобочкой». Баба с дедом у Бобочки живут, естественно, в селе (тот, кто видел колхозников, знает, для чего нужен «голодомор»), поэтому – автобусный вокзал, несовершеннолетние со́ски из мрачнейших пригородных сёл. Прелюдия к самому себе организованной гибели. И кто же в качестве сопровождающего? Конечно Сермяга.

– Ты вторую не видел, папа, вторая в сравнении с первой вообще в рот поцеловать.

– А кстати, Влас не…?

– Не, папа, он не питурик. Он страшенный пиздострадалец. – Когда Сермяга так говорит, кажется, рядом под неестественным наклоном застыл в стеклянном футляре тот, о ком он говорит – пиздует школьница, старый идиот хватает меня за руку и орёт: «Секи, какие лопаточки, икры какие!»

Я кивал и осматривал верхушки кустов сирени, скоро ли распустятся. Девочка постарше предупредила девочку помладше, что сиденье качели окрашено. Влас тоже оказался не без задатков обеспеченного денди. Специалист предпочитает вонюченьких подростков, чьё детство прошло в двух шагах от собачьей будки. И его тоже, значит, не отталкивают папины черты их мордашек. Мне представился маленький мальчик в штанишках с лямочками. Быстро приоткрывается дверца, ребенка быстро вырвало на бордюр, и машина унеслась дальше по безлюдной улице.

Толстая девица Бегемот влюбилась в Сермягу ещё в школе. Ничего удивительного – про таких как он говорят: «его гениталии были фетишем всей съемочной группы». Иногда мне кажется, что внушив Сермяге презрение к количеству побед, я избавил планету от небывалого диктатора, чье гипнотическое сопение вполне могло бы истребить миллионы приглянувшихся ему мужчин и женщин, а остальные зачахли бы от чувства неполноценности, потому что Сермяга ими пренебрег. Какую-то часть секретов, переданных ему жрецами-растлителями во Дворце Пионеров, Сермяга усвоил – она обеспечила ему пожизненное опьянение, свойственное людям, заключившим пакт о ненападении. Но он забыл вторую половину, как английский поэт не смог запомнить окончание поэмы «Кубла Хан». Правда, там успевает появиться женщина, призывающая своего демона-осеменителя. Точно так же преследовала Сермягу вожделеющая Бегемот.

Одержимая тостуха вламывалась к своему Demon-lover на рассвете, когда Жулик, фотограф-самоубийца, тоже мог позвонить Сермяге, и в ответ на гневное «ты хоть знаешь, который час?» мог ответить: «Сто часов». Она вынимала ноги из деформированных туфель, и начинала кружиться по полу, словно это крыша дома, а не пол сермягиной квартиры. Сермяга не был уверен, откуда в точности появляется «эта жирная», каким путем проникает внутрь, и почему для нее он всегда дома. «Возможно из люка под столом, все может быть – говорил он загадочно. – Оттуда разит».

После школы «эта жирная» вышла замуж за другого человека, который умер не сразу, но не дожив до сорока. Но пока бедный рогоносец был жив, визиты Бегемота к Сермяге выливались в жесточайшие запои. Почему нет, если вы влюблены в хозяина дома со школьной скамьи, и знаете, что он приветствует пьянство, как толпа поклонниц молодого Синатру.

«Ты прав, папа, этой жиропе охуенно нравится вальс «Шокинг Блу», длинный и действительно…» – Сермяга не закончил. «Знаю эту вещь, «Demon Lover». Даже не вальс, а скорее типа болеро». Что они себе воображают, когда слушают такое?

Один раз Бегемот явилась к Сермяга без звонка, а он только «настроился» – прилег почитать книгу-перевертыш: с одной стороны – пидорас, с другой –

его дура. В общем два романа под одной обложкой. Кроме того, дома были мать с отцом. Сидят и сортируют семена для огорода за тем круглым столом, где постоянно кажется, что за ним сидит на одного человека больше. Не успела Бегемот войти и скинуть лодочки, Сермяга уводит её на улицу, и вдоль трамвайных рельсов, мимо синагоги – к Власу. Бобочки не было, племянниц тоже. Сермяга с ужасом изобразил мне однажды, как они бегло лопочут между собой по-украински. Разобрать можно только слово «ширка».

А что же делал Влас? Влас смотрел. Прислонясь к дверному косяку. Он надевал очки, только чтобы почитать стихи, и сразу становилось видно, что ему под пятьдесят. А так, без очков, Влас дыбал всё те фолкнеровские дела, что требовала от Сермяги жирная чувиха. Сермяга сказал просто – «он смотрел». Потом добавил: «набирался впечатлений».

Сермяга умеет изображать поцелуи, чмокая губами воздух, не знаю, насколько умеет, по крайней мере, он так делает. С помощью поцелуев воздуха он описывал мне, как прикасается Влас к сырому, безволосому туловищу «племянницы». С особой брезгливостью Сермяга вымолвил слово «голени». Потом, склонив голову набок, он показал мне, как стоял в дверном проёме «старый идиот».

– Подожди, какие голени? Этой, с татуировкой?

– Та какая «татуировка»? Другой твари, шо его потом зарезала…Короче – убила.

И почему обязательно всегда племянницы? Вот дизайнер Бабушкин живёт в Киеве тоже с «племянником», несмотря на жуткую бородавку. И в поезде со мной от самого Бердянска ехал питурик моих лет с кофейной чёлкой и носом, как ёлочная игрушка. Сидит, читает «Комнату Джованни», потом вдруг: «Мой племянник так со мною поступил!..» – «Что такое?» – «Фактически ограбил меня».

И после всего этого разве плохо сказал поэт, написавший:

Тяжело воняют дядин пах и задница.
Третий день сосает дядин член племянница.
Чтобы мёртвый меньше срат,
надо мертвого ебат.

В этих словах мне слышится глубинное издевательство над поговорками того же Кавказа, который почему-то запрещено обсерать и передразнивать. Перед смертью Сергей исповедался и причастился… И теперь его вдову грузит Хабибулин. Ладно, об этом тоже надо писать отдельно. Да! Забыл добавить. Когда Шурпетову исполнялось 30… Значит, столик такой, на гнутых ножках, и тоже лежала книжка: «Плавающие, путешествующие». Импортное издание. Видно, кто-то из гостей подарил.

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ

Я ожидал Мельдзихова. Он как всегда опаздывал. Я сердито вышагивал вдоль двух закрытых подвалов-туалетов. Очень давно, когда туда заглядывал Сермяга, там, в сумерках, словно деревья в кадках, стояли содомиты. Под шум воды, они шевелились без ветра, как растения-мутанты. Теперь поверх ступенек припаяны прутья из ржавой стали, а под ними шуршит пластиковый мусор, разумеется, шприцы. Решетки дают уборным сходство с клетками для гладиаторов. Ведь они до сих пор пустые внутри, эти подземные комнаты с унитазами. Город освещен круглые сутки, месяц не было дождя, днем жарит солнце, а ночью все вокруг сверкает, мигает и сигналит. Зато там, под горою мусора, темно и прохладно. Все ушли на поверхность.

В кафе возле трамвайной линии играла музыка. Песня сменяла песню, а Мельдзихов всё не появлялся. Всё пел одинаковый голос, видимо то была кассета, а не радио. Что-то про купола и колокола, потом про кошелек в универмаге, про растряхивающих запущенный простатит молодчиков в кабаке. За белым столиком сидели слушатели этого материала. Издали они напоминали шахматистов. Я наблюдал за ними, чтобы не плюнуть и не уйти, не дождавшись Мельдзихова.

Один из шахматистов был, видимо, полу-хозяин, полу-богатый гость. Лысый, в белой шведке, из которой торчали светло-синие руки. С ним выпивал курчавый худой брюнет с усиками, ещё более загорелый, но в отличие от лысого, загар на нем был какой-то холопский, не пляжный, а полевой. Песни продолжали нестись одна другой глупее. По воздуху летал назойливый тополиный пух.

В траве возле рельсов что-то быстро вспыхнуло и задымилось. К остановке бросилась толпа мальчишек в коротких штанах. Они подожгли пух спичкой, как тридцать лет назад. Лысый что-то крикнул, из белой будки не сразу вышел, тоже, по-моему, пьяненький петрушка с синим пластиковым ведром, и начал заливать следы детского хулиганства.

Голос с полипами и неумелой хрипотцой запел лирику, что-то про «саду́, где ждет его милая после долгих лет разлуки, любимая». Не проросла, как картошка в погребе, пока он где-то обязательно «припухал». Можно подумать, припухают они просто так, а не по собственной глупости. Неужели и из этой зудящей мухи тоже удастся раздуть большого рыхлого слона? Легенду русского шансона? Забудем это слово – «неужели». Звезда уже пылает, она зажглась, как вон те доски от ящика в жаровне для быстрых шашлыков.

Я думал было приблизиться к столам, чтобы послушать, о чем говорят пьяные шахматисты, но тут из-за строительного забора является как раз Мельдзихов. По сезону в шортах, с волосами, собранными в лошадиный хвост, он словно сбежал из Фрик-шоу, что колесят по неблагополучным районам быстро вымирающих шахтерских городков – живой кентавр, дамы и господа, кто еще не видел мифическое существо?

– Опаздываешь. Ни разу вовремя не приходил. – произнес я, глядя в сторону, на чешуйчатый шпиль костела.

Он сделал вид, будто не слышит:

– Надо папу моего помянуть. Я пиво взял. Моё любимое «Мартовское».

– А чем открывать будем? Я нож не захватил.

– Чем-нибудь откроем.

Прежде чем свернуть в проулок между летним кинотеатром и автомастерской, я оглянулся и сделал вид, будто завязываю шнурок. На самом деле, мне хотелось досмотреть, чем закончились быстрые шахматы: прямо на асфальте лежал брюнет в спортивных штанах. Лежал и не хотел подниматься. Лысый полу-шеф грубо тянул брюнета за тонкую жилистую руку, но тот словно прирос к земле. Дверь в ларек была распахнута. Внутри петрушка, гасивший пух, обнимал буфетчицу в малиновых лосинах и шлепанцах на толстой подошве. Она улыбалась.

Что-то знакомое охватило меня, пригнуло к земле, словно второй раз захотелось покакать, а туалет уже далеко, и вход завален мусором, а сверху еще и стальные прутья в которые должны вцепиться страшные пальцы злого мертвеца, когда погаснет ночью лишний свет, этот глупый лишний свет. И над городом останется одна луна… Я всё понял, и сразу стало легче – просто они снова поставили ту же самую кассету. И, наверное, не первый раз за сегодня.

– Это потому что они у тебя шелковые. – пробасил надо мною Мельдзихов. – Ты купи нормальные, тогда они и развязываться не будут.

МОЦАРТ И САЛЬЕ

…и по две порции пельменей с осьминогами, – Самойлов кончил заказывать, и девушка в алом кимоно удалилась. Он хорошо знал здешнее меню. – По крайней мере, не отравят. – он всегда мог возразить на упреки в экзотике, и был бы прав.

Никогда не видел его без бороды, – подумал Синайцев, – а знаем друг друга тридцать лет. Он без особой радости согласился пообедать в этом японском месте. Без особой радости позвонил в «Стереорай», узнал, сколько чего продано, выслушал, подержался за подбородок. Он пятый день не курил, с понедельника. В отличие от жирного Самойлова, любителя поесть и выпить, мускулистый и подтянутый Синайцев беспокоился о своем здоровье. Пять дней – нормально, хороший срок, сказал он себе, и сидел молча, чувствуя, как высыхает на лысине пот. В ресторане было прохладно и не светло.

Быстрее всего принесли воду без газа и графинчик с водкой. Самойлов, не спрашивая, плеснул Синайцеву. Главное – не курить, напомнил тот себе, и сощурился. Чокнулись, выпили, не задумываясь.

– Отмазался, – Самойлов вернулся к тому, о чем говорил ещё на улице.

– Отмазался, – повторил Синайцев. – И как же?

– Сказал, сумел доказать, то есть убедил Скотланд Ярд, что собирал материалы в чисто исследовательских целях. Мол, хочу оградить детей от того, чему сам в детстве подвергался.

– Прямо Ролан Быков.

– Кстати, актер прекрасный. А режиссер, по-моему, так себе. Ты не помнишь, кто у него на похоронах орал: «Это не был реббе!», кто-то известный, а кто, вспомнить не могу. Реб-бе, – прорычал Самойлов по слогам. – Не помнишь?

– Я не смотрел похороны Ролана Быкова. – сквозь зубы ответил Синайцев.

– Говори громче, я не слышу.

Синайцев повторил. Перед глазами плыли, как по эскалатору эволюции, сверстники: после инсульта, удаления желудка, что-то от чего желтеют, покрываются пористой кожей…причем тут реббе?

– Не торопись. Показываю, что надо делать. Берешь вот этой гадости… Видишь эту гадость? Совсем немного, предупреждаю, она дико острая, и смазываешь сюда. Потом кладешь в рот. Целиком. Ешь! Разжуй. Не пожалеешь.

Синайцев где-то и раньше это слышал: «Не пожалеешь. Доволен будешь». В прошлом веке, собственно говоря. Да у него же в магазине беспокойному человеку Мелентьеву Морису, по кличке Милый Морис, навязывал одну вещь, кто же? Вот он, Самойлов, тот, кто сидит сейчас перед ним. Придавил Мелентьева к прилавку пузом: «Бери, говорят, лучше не найдешь». Какой-то сборник старых песен про вампиров, «Music to watch ghouls by» с бледным упырем на мотоцикле. Подходящий музон для тех, кто состарился, так и не повзрослев. То есть, для любого из нас, послевоенных выпердышей.

Выпили по второй. Водка исчезла, словно на пол пролилась. Напьюсь, подумал Синайцев.

– Ешь. Попробуй вот это. Рис они, кстати, честно готовят, как полагается. Это не соус. Это уксус к пельменям.

– Мы с батей акулу тухлую ели. В Исландии.

– Вас и туда заносило, завидую. Я знаю, её держат в земле чуть ли не год, потом кушают. Говорят, наркотический эффект.

– Словами не передашь. Ударяет прямо в мозг, проникает в каждую клетку.

Дальнейшая судьба Мелентьева известна им обоим. Дождливый вечер, вынутый люк. Провалился в колодец. Лопнувшее брюхо. Свечи эти черные у него дома… Мучительная смерть. Толстой отдыхает. Синайцева покоробили два последних слова. Глупейшее харакири подгадал себе человек. Впервые сесть на шпагат в 46 лет. Эх, Милый Морис, Милый Морис. Интересно, бабушка звала его как – Моря, Марик? В честь кремлевского иждивенца Мориса Тореза назвали, надо думать. Там, среди арабов и негров, всю жизнь паслись члены профессорского клана Мелентьевых.

– Вот я и говорю! Кого ловят, кого сажают! Безобиднейших людей. Нашли кого преследовать. Ты подумай, пидорасов почему-то не трогают. Отпускают, даже если взяли за другие дела – терроризм, измена Родине. За примером, как пишут плохие журналисты, далеко ходить не надо. А каких-то педофилов выслеживают, точно это лохнесское чудовище, или Мартин Борман.

– Его же отпустили.

– Да, но после скольких мытарств! Я смотрю на Дутова, бородища – во! Ты в курсе, что ему Головко в рот мочился? Что один, что другой, что те, что эти. Все друг друга стоят. Глупость за глупостью! Осипов правильно пишет – государственный деятель обязан играть на опережение. Кавказский сепаратизм, говорит, выдумали сценаристы Леонида Гайдая…если мне демонстрируют изможденного

палестинца, очередного мученика, наверное, это плохо, но я вправе спросить, а будет ли лучше, если он поправится, отрастит курдюк и въедет в трехэтажную виллу на Роллс-ройсе с полумесяцем. Потом загадит всю округу невыносимой арабской музыкой, будет лучше или нет, отвечайте, вам говорят! А другого результата от всех этих лицемерных, лживых подходов и быть не может. Челентано вон, отдает деньги бедным африканцам, а они ебутся, как суки, и не думают вымирать. Нет, джихад не должен длиться дольше «Кавказской пленницы». Полтора часа максимум, а потом КОНЕ ФИЛЬМАЦ, и моментально – ядерное возмездие. Саахову в сраку… Человек пишет все лучше и лучше.

Как он орет, а слюной не брызжет? Синайцев молчал. Ему удалось так ни разу и не закурить за весь вечер. Ближе к полночи, у себя в спальне с открытым балконом, он долго возился с русоволосой художницей с кувшинной мордой и кувшинообразным влагалищем. Потом молча лежал, чувствуя, как высыхает на лысине пот.

Последнее время Самойлова (не его одного, впрочем) раздражала любая музыка. Особенно фонограмма на этой видеокассете. Сегодня ночью он тоже убрал звук.

В тишине по экрану ходила от дерева к дереву не по возрасту накрашенная девочка с приделанным к «попе» павлиньим хвостом, похожим на сухой папоротник.

Самойлов поправил легкие очки, и сказал вслух, глядя на телефон:

– По-моему Синайцев тайно сочиняет для меня реквием.

персонажи

РАЙНХАРД ЙИРГЛЬ

СОБАЧЬИ НОЧИ
(отрывки из романа)

[….]

– Неужели ?действительно для тебя нет другого пути, кроме !этого. Я что имею в виду: Разве ты не мог попытаться начать все сначала, в другом месте: Ты: архитектор, художник и: подпеваешь этой-орде недорослков, в этом дерьме, *под аккомпанемент полицейских овчарок* – :!? Как ты вообще При-всем-этом умудряешься не потерять голову – :Если Всерьез, только благодаря пьянству, а как иначе.

– Ты, может, думаешь, я собираюсь ?!состариться здесь, на этой работе. Так я тебе открою секрет: Я здесь недолго буду валандаться, ровно столько, пока не скоплю достаточно денег, чтобы профинансировать те проекты, которые сейчас лежат мертвым грузом & которые мы хотим осуществить. И, конечно, 1е, для чего нужны эти бабки, – чтобы на них жить. На это уйдут, ну, скажем, год-два – а после: *сраный Легион* !никогда меня больше не увидит. С меня и взятки гладки. Но ты: !Тебе во всем этом мерещится что-то бесчестящее тебя. Я знаю. Это заметно каждому, потому что ты и ведешь себя соответственно. Ну так по этому поводу я тебе Кое-что скажу: В наши дни от тебя везде будут требовать, чтобы ты ту работу, которую имеешь, !любил, даже !больше, чем собственную жену. Ты должен вести себя так, как будто связан со своей работой узами брака, – о всем дерьме & всех подлостях, не отделимых от той или иной работы, нормальные люди вообще помалкивают. Потому что уж коли ты любишь, то любишь и Дерьмо-Любимой. А ты должен !взаправду свою работу любить –

– как

Старшего Брата.

– Твое упрямство, прыятель, попахивает началом семидесятых. Поверь, у него !таакая длинная борода. Или ты не ?!понял: Эрра Эфф давно уже !мертвее, чем дохлая мышь. Мне тоже в свое время нравилось, что некоторые самые крутые Мешки-с-дерьмом пару-другую лет не могли спать спокойно. Что прежде чуждые всему человеческому, нашпигованные диетическими деликатесами Политжеребцы сами навлекли на свои задницы страх перед адским возмездием. Но все тогдашние перемены не могли не сказаться на социальном климате: ведь именно в горниле террора улучшаются нравы; вежливость и уважение к другому всегда бывают отлиты из свинца & людей определенного типа можно удерживать в каких-то границах, только надев на них узду, под дулом автомата, нацеленного в их хари…. Ничего не поделаешь: вместе с упраздненной Зоной !окончательно отошла в прошлое и Эра-Семидесятых. И если еще лет десять назад в сфере профессиональной деятельности все определялось борьбой МУЖЧИН против ЖЕНЩИН, то сегодня к этому добавилась борьба МОЛОДЫХ против СТАРИКОВ. И ты, Инншенёр, похоже, уже на 1ну-другую минутку устарел –

– Согласен, то дерево в лесу, из которого когда-нибудь сколотят мой гроб, уже нарастило несколько годовых колец и уж, во всяком случае, привлекает к себе больше внимания, чем я. !Это-то я заметил, еще на своей предыдущей службе, еще прежде, чем попал сюда, в *Легион*. Мне это убедительно продемонстрировали – 1воклассно. После Поворота к нам прибился 1 новичок из какой-то провинциальной дыры под Берлином: молодой хмырь, возраст – лет тридцать с небольшим, по виду – маменькин сынок: широкое лицо, женские скулы, утопленные в жиру глазные щелки и профиль овцы, так сказать, помесь овцы & человека, как если бы он застрял где-то на полпути между тем и другим, обманчиво мягкий и податливый, тогда как на самом деле он унаследовал от животного только пронырливость, а от человека – глупость :!Впрочем, у этого фрукта !все было написано на мордасах, ибо стоило ему раскрыть пасть: и он превращался в типичного фельдфебеля. И, как все фельдфебели, терпеть не мог непонятные слова : если в приватной беседе кто-нибудь употреблял слово, которого он не знал (& ведь таких слов !множество), этот человек становился для него подозрительным – он предполагал, что человек этот вероломно намекает на него, издевается над ним или: просто хочет сделать его, с его необразованностью, всеобщим посмешищем. А когда он сам употреблял чужое для него слово, смех окружающих был ему !гарантирован : ибо, как известно, самые !бездарные скрипачи всегда пытаются играть самые !трудные пьесы….. : Парень этот как был полным 0, так навсегда 0 и останется; способностей его хватило бы в лучшем случае для должности привратника, но, несмотря на это (или: именно потому) он с самого 1го дня повел себя так, как если бы был Королем нашего вшивого королевства. И, между прочим, преуспел в этом, как выяснилось в один прекрасный день, когда понадобился преемник для нашего прежнего шефа, которого в конце концов турнули за связь со штази. Новичок=этот-самый-Хмырь был с точки зрения высокого начальства 1м, самым желанным кандидатом: услужливый и гибкий с вышестоящими, интриган и хам по отношению к тем, кто ниже его, а в общем и целом – фальшивый, как музыкальный фолк(с)-лор. Он, например, регулярно делал директору нашего управления *подарочки* – :Черт знает, что было в этих маленьких, не больше ладони, пакетиках, что за *дары любви*. Однажды я слышал, как он спросил у нашего D.-Rex'a, понравилось ли тому, слышал и ответ: – *Я таак смейался* – : такой вот у них сложился междусобойчик. Но каждый раз, передавая свои подарки, он пользовался случаем, чтобы вылить ушат грязи на наш коллектив, & усилия его не пропадали втуне: кое-кому потом пришлось испытать на себе все прелести начальственного нерасположения – испытывать до тех пор, пока этот бедолага, по своей воле или: нет, не сматывал удочки….. Никогда больше не появлялся такой неудачник в нашей конторе как человек, твердо стоящий на ногах : ему оставалось только упаковать свои вещички & подать заявление об уходе….. Получается, что этой овечьей морде с-самого-начала было предначертано стать нашим шефом…..

– Раньше для таких случаев имелась испытанная программа ресоциализации: классовая борьба. – –!Да: но, увы, сегодня мы все стали слишком *образованными* для этого. Так вот, когда наш Провинциальный Хмырь не скандалил и не занимался интригами, он охотно делился с нами своими фрустрациями. До поступления к нам он успел обзавестись семьей; но целых четыре года не мог получить

для нее квартиру в Берлине – точнее: он наверняка и не особенно *добивался*, поскольку этот фрукт, по всей видимости, был из тех гомиков, которые сами не знают, что они – гомики. Тип, скажу тебе, не из самых приятных. Такие знают, на чем тебя подловить. Он, небось, в глубине души даже радовался, что оставил свой обременительный багаж в провинции. Мог теперь без всяких помех собирать вокруг себя, за столом в пивнушке, верных прихвостней: их, лизоблюдов & любителей заползать в задницу начальству, всегда хватает. У некоторых еще с давних пор остались от такого занятия коричневые жабо. Или коричневая короста на шее: знаки, свидетельствующие о том, на какую глубину они погружались в прямую кишку шефа. Награды за расширение его – шефа – анального отверстия были обычными: маленькие привилегии, еще меньшие знаки личного расположения и совсем уж мелкие – черт знает, на сколько именно – повышения зарплаты. Нам !никогда досконально не понять, почему некоторые люди в буквальном смысле заползают в задницы к другим & !что они, !собственно, надеются за это получить – думаю, за всеми их расчетами и интригами всегда прячется *1 простое удовольствие*: ставить в зависимость от себя представителей власти….. Я, к сожалению, так ни разу и не спросил у профессиональных жополазов, ?как они потом !выбираются из задницы шефа: ?поворачиваются ли прямо там, внутри прямой кишки, чтобы вылезти наружу головкой вперед, или же так и ползут обратно – задом наперед, а вылезают вперед ножками – :Дело в том, что при таких неправильных родах плод, наверное, приходится удалять оперативным путем, в данном случае, правда, не посредством «кесарева», а посредством «королевского» сечения. Жизнь ребенка всегда ценилась больше, чем жизнь матери, и может быть, именно поэтому набирается столь много желающих совершить такой Путь-Вовнутрь – – Ладно, оставим эту тему. О чем я гово – – Нет!нет: я !действительно !всегда принимаю близко к сердцу судьбы других людей; и меня всегда глубоко волнуют блага&беды моих Со-как-бишь-их-э-щасщас: *Временников* – !да, точно: Со-*Временников*…. И потом, все эти неприятные креатуры, они ведь действительно поддержали нашего Новичка, нашу Аппетитную-Сливу-Из-Провинции. Потому что эту Принцессочку даже нельзя назвать ценным работником; умение пробиваться кверху – вот ее главное и единственное дарование. Однако придворные !никогда не давали ей это осознать & не показывали, что они на самом деле о ней думают: а если кто и позволял себе что-то подобное, то Принцессочка обижалась, сразу бежала жаловаться к начальству, & ее обидчики оказывались в опале навечно&навсегда.

– Хм, ты, похоже, не пользовался любовью своего босса.

– Вдобавок ко всему наш Слива, словно под каким-то давлением извне, постоянно испытывал потребность как бы ненароком раскрывать перед другими свою дерьмовую душонку & выставлять себя напоказ – то есть рассказывал (с характерным для всех, на кого давят, отсутствием свободной воли) разные приватные штучки из истории своего подгнившего брака – : но в какой-то момент ловил себя на этом – & у него появлялось еще 1 основание для неприязни к тем, кто слушал его болтовню & был настолько глуп, чтобы как-то на нее реагировать. Доходило до того, что если кто-то, как он считал, знал уже слишком много о его слабостях, он поворачивал дело так, что этому Кому-то просто не продлевали рабочий контракт.

– И в самом деле мелкий извращенец: твой шеф….. ?Какие же «штучки» он, сам того не желая, вам скармливал.

– В ситуации долгого=кризисного брака дети всегда оказываются под перекрестным огнем, & они пытаются как-нибудь приспособиться & использовать эту ситуацию для-себя. У таких детей развивается очень тонкое чутье & домашние неурядицы рано превращают их в партизан.– Так вот, наш Провинциал, как бы под давлением, вынужден был рассказывать нам и об этом. Каждый день после работы он возвращался домой, в свой поселок под Берлином. (Позже он жил – конечно, отдельно от своей жены & ребенка, – снимая меблированную комнату где-то на окраине города.) Хотя ехать от Берлина вроде бы и недалеко, его поездка на S-Bahn & пригородной электричке, на которую он пересаживался, занимала почти 2 часа : он должен был выходить из дома очень рано, около 5 утра & никогда не возвращался раньше 7 вечера. И каждый раз, в конце такого=одного дня, на возвратном пути, он неизбежно прокручивал в голове эту тошнотворную дилемму: свою неспособность хотя бы хотеть искать какой-то разумный выход. Его жена в то время посещала по вечерам курсы повышения квалификации, и чаще всего он уже спал, стряхивал с себя сон, когда она приходила домой. – *Мы !вообще больше не видим друг друга.* Жаловался он жене. – *Спи дальше.* Таков был 1ственный ответ. – *Тебе завтра рано вставать*. Жена выключала свет. Ребенок, который в тот год пошел в школу, после уроков часами, до самого вечера, оставался в квартире один. Отец, возвращаясь, всегда находил сына сидящим перед телевизором – он выключал экран и присаживался рядом с ребенком на диван: – *Мы все же одна семья. По крайней мере, мы двое*. Потом вздыхал, сажал мальчика к себе на колени & гладил по волосам. – *Сегодня на-работе все опять со мной плохо обращались*, начинал жаловаться, и – *!ТЫ МОЖЕШЬ ОПЯТЬ ПЯЛИТЬСЯ НА СВОЙ ТЕЛЕК*, внезапно рычал в лицо мальчику, который уже проявлял признаки беспокойства & определенно норовил сбежать. И тут же жалел о своей грубой выходке, поспешно гладил голову сына, пытался побыстрей все уладить: – *Но сперва немножко побудь с папой – мы ведь должны держаться вместе*. Еще раз вздыхал. – *Мы же и так вместе. Мой малыш. Мой маленький большой мальчик. Они не смогут нас разлучить. !Нас – нет. !Точно, сынок*. И, все еще крепко держа мальчика на своих коленях, теперь в самом деле начинал хныкать. – *Только ты ничего не говори маме, иначе она опять будет на меня ругаться. – –!Нешно нет, папа. Нешно я ничего маме не скажу*. – Но как только, сразу после этого, в замочной скважине поворачивался ключ – это возвращалась жена, – пацаненок соскакивал с колен отца & бежал навстречу своей матери: *–!Мама !Мама : Папа опять !плакал & !хватал меня*. – Женщина, стоя в дверях и с трудом сдерживая себя, говорила: – *Иди в свою комнату, малыш. Мама должна Кое-что сказать папе*. Мальчик исчезал в недрах темной квартиры, нарочито громко хлопала дверь его комнаты, но он наверняка оставался в коридоре, подслушивать, и слышал голос женщины, который, вырываясь из утончившихся от ярости губ, шипел съежившемуся на диване мужчине: – *Ты, !жалкая !половая тряпка: !Возьми себя по!жалуйста в-ру* –

– Не!можетбыть: !Это=?!Все он действительно вам так – тепленьким – и ?выкладывал. Не верю: Ты все это сам выдумал или –

– И пока он Такое рассказывал, я смотрел в лица других, сидевших за столом и так же, как и я, вынужденных слушать всю эту историю, в лица *его прихвостней* : без всякого выражения, пустые, отсутствующие & лицемерно безучастные, как если бы эти люди *ничего* не слышали или: Как если бы история рассказывалась на иностранном языке, которого они не знают & не хотят знать. И когда потом он сам прерывал себя замечанием – *Я наверняка опять наболтал лишнего. А нужно всегда быть !начеку. Потому что наверняка опять найдется кто-нибудь, кто захочет обратить это себе на пользу* – и осматривал 1 лицо за другим, выискивая выражение насмешки, злорадства, возмущения подобным бесстыдством – *:его прихвостни* отвечали ему серо-пустыми цинковыми взглядами, будто сделанными из того же материала, что ведра, – :в моем же лице *он* всегда мог обнаружить все что искал…..

– Бог!мой: ведь не мог же ты ?!вправду быть настолько глуп & в ответ на такое –

–!Нечно реагировать на подобные вещи – большая глупость, и я бы мог куда лучше, приятнее употребить свое время-там. Мне нужно было всего лишь обзавестись таким же свинцовым лицом, как у остальных. Но ведь есть много причин, почему человек ожесточается. Иногда для этого хватает уже одного присутствия другого человека. Это идет не от разума : это что-то животное, как когда животное распознает в другом животном *тип своего врага*. И чем старше я становлюсь, тем менее я терпим к другим, тем больше проявляю упрямства и тем менее готов не замечать их & мои собственные глупости – :Идея насчет того, что *с возрастом человек делается мягче*, могла прийти в голову только евнухам – : !никаких компромиссов я больше не хочу. Я чувствую вкус говна, как только ЭТИ-ДРУГИЕ разевают пасть. И испытываю неодолимую потребность сплюнуть – так рождаются мои фразы. Жалко, что эта сволочь не имеет 1ну-1нственную задницу на всех, в которую ее можно было бы пнуть :я специально обзавелся бы ради такого дела самой тяжелой парой спортивных бутсов. И я говорю тебе: Худший сорт негров – это те негры, что желают быть белее белых людей, а худший сорт сегодняшних осси – те, что ведут себя так, будто никогда и не были восточными немцами. Потому что такие типы как *он* могут вызвать заражение крови: Мне редко доводилось сталкиваться со случаями, когда в 1-1ственном человеке соединяется столько разных мерзостей: глупость & наглость, вероломство & склонность к доносительству, его плаксиво-китчевую сопливость может превзойти только его же мелочное властолюбие, и 1 сказанного против него крепкого слова всегда хватало, чтобы он стал злопамятным как последний уличный пес – :Знаешь, есть такие, кусающие от страха, – которые от страха, что их укусят, кусаются еще больше….. Но наше=сегодняшнее время нуждается именно в таких & именно такие SA-Типы сейчас всплывают наверх, как говно в засорившемся водостоке. Одна из вещей, о которых я вечно буду сожалеть: что я не расквасил !такому глупо-наглому выродку его мериносью харю.

– Думаю, ты и !вправду еще многого не видел, старик. Потому что придурок, которого ты только что описал: он, конечно, задница, но именно как задница представляет собой просто среднестатистическую единицу, обыкновенную

посредственность – а такие встречаются !повсюду. В конце концов, в каждой навозной куче найдутся свои специфические паразиты. Куда ни глянь, везде одно и то же. !1ственное, что важно для тебя лично, прыятель: люби свою работу или подохнешь….. Все другое тебя не касается.

– Ага. Ты смотришь на все это глазами циника: судя по тому, что́ты болтаешь о работе & любви –

– Я себя все время спрашиваю: ?Неужели я уже привык к скотству здесь=у-нас, и: ?куда подевались они, эти стаи мух, которые прежде атаковали нас десятками тысяч, будто собирались нас всех сожрать….. Или они просто ?отступились, или ?дожирают как раз сейчас *Того-там-внутри*, того чокнутого, который слабоумен до такой степени, что даже не может умереть –

– Сам подумай, каждая из этих навозных мух – маленькая интеллигентная бестия, & они прекрасно понимают, кто и когда становится беззащитным. : Мы разговариваем, и: пока длится разговор, не можем быть легкой добычей для паразитов. Тот же, кто идет на уступки & показывает свою слабину, у того действительно дела дрянь. А уж если кто упал на землю, он может рассчитывать лишь на Последний Пинок. Раньше, ребенком, я спрашивал себя, имеют ли звери, живущие в разных странах, разные языки, – так вот, эти здешние мухи определенно говорят по-немецки. Возможно, *он* уже перестал писать….. Возможно, *он* сейчас….. Надо бы посмотреть –

– Еще слишком темно. Мы ничего не увидим.

– А ?те-ДРУГИЕ=Снаружи. Я их больше не слышу.

– Они наверняка нажрались шнапса & давно дрыхнут. ?!Или ты полагаешь, все они такие дурни как я и готовы провести бессонную ночь, сидя в молитвенных позах возле этой Руины, лишь бы только подслушивать – ?!нас. Будь это так, Они могли бы тебе кое-что порассказать о цинизме. О том, что когда ты будешь стоять по шею в говне, у тебя пропадет всякая охота к цинизму & прочим подобным роскошествам. Тогда ты начнешь смотреть на себя и на тех, кто вокруг, совершенно трезво. Мне кажется, *это* тебе еще только предстоит: Ты еще слишком во многом инженер и еще долго не погрузишься в говно на ту самую глубину. Но зато ты забрался в эту руину, к Мертвецу, который никак не сподобится умереть. Давай, выбирайся обратно, потому что, поверь мне, *Легион*=здесь: Это далеко не !Худшее, что бывает на свете…..

Дождь, черное эхо под свинцовыми илистыми отложениями одного из Небес, на самом краю Ночи. Деревья Травы Руины 1 исчезнувшего Селения, выставленные под шорох Дождя, черные и мерцающие, будто они – из застывшего гудрона. Собачьи дни миновали. И дальше будет Позднее Лето, дни, утопленные в Серости, прислоненные к тишине Дождя.

– Словно под каким-то давлением извне – (он теперь снова заговорил о своей жене; и голос его в шуме дождя был таким, как если бы доносился из-за занавеса) – Словно по принуждению. Потому что хотя я ее выгнал вон, в-тот-раз=!навсегда, что называется, отрезал с концами, и не хотел ее больше видеть,

и по-сей-день не хочу : Свободным от нее я так и не стал. Иначе я бы не мог рассказывать тебе Все=Это – и ведь я знаю, что сегодняшняя ночь дает мне 1ственный шанс поговорить с тобой. 2го такого случая !не будет.

– Знаю. И все же спрашиваю себя, кто на самом деле формирует мысли и слова для них. Дурацкий, детский вопрос. Я сам понимаю. Но дело ведь !вот в чем: *Словно-по-принуждению*. ЭТО, в конечном счете, и формирует для меня способ мышления. Здесь не может быть никаких сомнений. Ибо стоит мне захотеть думать о Чем-то Другом, происходит что-то такое, как если бы влажная губка немедленно стирала со школьной доски только что написанное –: и опять проступали бы те старые каракули, что были на этой доске с незапамятных времен: процарапанные, вытравленные кислотой допотопные письмена. Словно под давлением извне, & мне *приходится* опять и опять перечитывать эти письмена. Хотя !я этого !не писал. Потому что я хочу думать *Другое*, делать *Новое* – хочу с тех самых пор, когда я в последний раз навестил ее в больнице….. прошлым летом. Тогда, в собачьи дни, город был как котел с дымящимся бульоном из человечьей плоти – солнечные лучи кололи глаза – ослепляли – я щурился – и брел, как пьяный, держа ребенка за руку, сквозь раскаленные печи улиц – от одной тени до другой, радуясь каждому дуновению ветерка – мы тащились туда – в больницу. : Там внутри нас встретила приятная прохлада, мы вошли и оказались как бы на другом континенте. Жена лежала теперь в отдельной палате; врачиха, с которой она подружилась & которая, по ее словам, хотела помочь ей начать новую профессиональную жизнь, как я предполагаю, поспособствовала и тому, что ее перевели в эту отдельную палату. Собираясь в тот раз в больницу, я взял с собой мальчика, нашего ребенка; занятия в школе на время жары прекратились, и я не хотел оставлять его дома одного. Но это была, так сказать, официальная версия – мы же с ним знали настоящую причину….. По дороге в больницу сын мой все время что-то болтал, один, – я его даже не слушал, но я отметил, уже по тому, как он говорил, этот нервозный, свидетельствующий-о-раннем-созревании=озабоченный тон, свойственный маленьким мальчикам, которые выросли без отца….. Я тогда уже, так сказать, не присутствовал в жизни, не присутствовал уже несколько недель, даже в жизни этого ребенка….. Может быть, я и раньше никогда по-настоящему не был Тем, что другие мальчики его возраста подразумевают, когда говорят *Мой отец*. Моя жена очень хорошо перенесла операцию, без всяких осложнений – Скоро (сказала она) она снова сможет ходить на прогулки, правда, недалеко, и ее наконец отпустят из Charité – –

– *Все опять будет хорошо* :Вот что я внезапно смог прочитать своим внутренним зрением; вместо прежнего: *Распотрошили*; !теперь – эту другую фразу: *Все опять будет хорошо*, эти старые-престарые, так хорошо знакомые слова, которыми утешают больных детей….. И эти 4 слова, они подталкивали меня к фантазиям, к эскападам, ко Всему=Возможному, я был в буквальном смысле !вне-себя – , и трещал без умолку, за немногие минуты выболтал, спрессовав их в одно целое, события нескольких месяцев – многокилометровые киноленты полуснов, которые, хотя и не стали реальностью, так никогда и не исчезли по-настоящему – Выболтал Все & Вся: случившееся за все то время, которое я провел в *Иностранном легионе*: а ведь за последние недели и месяцы – :я !ни-разу не был по-настоящему

в человеческом обществе, и !ни-разу по-настоящему один – и !ни-разу не имел другой женщины – Подобное 1очество оглупляет. Неудивительно, что я вел себя как один из тех воодушевленных надеждой хлебных идиотов, которые –

– Воодушевленных надеждой: ??Как вы сказа –

– Хлебных идиотов. Воодушевленных надеждой хлебных идиотов. Несколько лет назад мы – моя жена, мальчик и я – решили совершить пароходную прогулку по озерам в окрестностях Берлина. День выдался солнечным и жарким, верхняя открытая палуба еще задолго до отплытия заполнилась людьми, над нашим пароходом кружили стаи чаек, всегда охочих до корма, – и сперва только дети, а после и их родители стали бросать птицам кусочки хлеба, вскрикивая от удовольствия & даже громче, чем сами чайки, когда какой-нибудь 1 кусочек – *их* кусок – оказывался выхваченным из воздуха птичьим клювом. Вскоре уже каждый из орды пассажиров !непременно желал перещеголять остальных, скормив птицам наибольшее количество хлебных крошек. Все это уже давно вышло за рамки игры – : каждый намеренно мешал другому, размахивал руками, наступал на ноги, выхватывал у соседей их бутерброды, горбушки хлеба & кексы, и при этом они шумели больше, чем чайки, – визжали, рычали, брызгаясь слюной, ни один не хотел уступить другому, дать другому хотя бы самомалейший шанс – они рассвирепели, грозили друг другу привлечением к суду – давно уже дети не участвовали в кормлении птиц, дети были зажаты между ногами&ягодицами этих-осатаневших=родителей, чуть ли не придушены, не растоптаны, не продавлены, как фарш через мясорубку, через проволочную сетку ограждения : крики !убийц раздавались на палубе увеселительного парохода – : взрослые крепко держали бразды правления в своих руках. Может, все дело было в жаре, в солнце, которое впивалось в мозги & разжижало их. Короче: вся-эта-банда вела себя, как сборище отъявленных идиотов: даже сумасшедший дом, если бы его пациентам дали полную волю, не мог бы производить более дикого впечатления. И каждый кричал еще громче остальных, когда одна из чаек подхватывала на лету именно *!его* кусок – все эти глупцы еще не успели насытиться своей глупостью. Но теперь и чайки, казалось, совсем обезумели: крича еще противнее & пронзительнее, чем прежде, они алчно, как хищные птицы, кружились, сбиваясь во все более плотную и алчную стаю, все ниже и ниже над головами людей, так что эта их эскадрилья, подобно клокочущей белесосизой туче, уже накрыла собою всю набережную вместе с пароходом –: пристань – прибрежные прогулочные дорожки – озеро – вся природа вокруг, казалось, превратилась в один-единственный гигантский тайфун & вихрилась вокруг парохода, этой ореховой скорлупки с дураками&дурами, – во-круг-нас стало по-настоящему темно –, как если бы эта крикливая и кружащаяся птичья банда вылетела…. непосредственно из дурацких мозгов всех этих людей : Эти полные идиоты сами устроили !настоящую бурю – : И *они* до тех пор с Пылом=Рвением продолжали свою дурацкую игру, пока чайки не начали срать им на головы –:И тогда новый крик взметнулся вверх, как 1 остроконечное пламя, еще более усилился, ибо только теперь *они* по-настоящему слетели с катушек – & известковые какашки стали шлепаться, как крупные капли дождя, прямо на стриженые затылки, на выходные костюмы, на шестимесячные завивки женщин :поднялся !неслыханный !визг, напомнивший мне хор циркулярных пил, которые постоянно

натыкаются на гвозди – : – *Ты присмотрись к ним* – (расслышал я сквозь гвалт, у-самого-уха, голос своей жены) *–к этим-людям: Надежда & Игры-до-Крови – они так легко удовлетворяются Самым-Примитивным – & в-Конце всегда оказываются Обосранными-Сверху: их и не назовешь иначе, кроме как Воодушевленными Надеждой Хлебными Идиотами…..*

– А !га. Ну так что ты –

– Там & Тогда, в больнице, у ее постели, происходило, так сказать, мое Кормление Чаек – а я ничего не замечал. Потому что, думал я, !теперь пришло время обо-Всем с ней поговорить, Все ей сказать – !Наконец-то – как !раньше, когда мы с ней Все говорили друг другу – начистоту – говорили часами, часами, и альбом с фотографиями всегда лежал рядом – и Ничто не могло помешать нашей=близости – задушевные разговоры – иллюзия из времен молодости, когда перед глазами стоял ужасный пример наших родителей: их Вместе-Пребывание в ожесточенном молчании, глухо-совместное Держи-рот-на-запоре, Заткнись & выжидай….. пока Другому все-Это не станет невмоготу –; ведь хуже, чем изо всех сил удерживать мочу, когда ты должен удерживаться от жалоб&причитаний оскорблений проклятий обвинений угроз упреков & плача – !Ха: !Наконец-то ты достал Другого, он обнаружил свою !слабину –:!Теперь можно Слово – как заплесневелую доску из двери сортира – вырвать & замахнуться им, !Вмажь!Наддай, & заколачивать – всю матерщину – в уши Другому, ржавыми гвоздями, пока тот не взвоет & не закричит – кулаками по столу, чтоб затрещал – хлопнуть дверью: !трах, чтобы фанера в щепы, чтоб штукатурка посыпалась со стен – !Какая выигрышная роль, ты в !Главной роли – !Наконец-то – !Занавес-поднять & Окна-настежь, !Свет на !Сцену – Большой спектакль для трех ближайших дворов – Все вдребезги&в-щепы расколотить – Рыдать & Плакать Рычать & Неистовствовать Пускать-сопли & Вытягивать-козюли Выпучивать-глаза & Брызгать-слюной Чтоб-нос-кровоточил & Чтоб-под-глазом-синяк – Пятый акт, !Кульминация: *Ни минуты больше не останусь с тобой Слышишь ты свинья Ты хуже чем кусок дерьма Я тебя про!клинаю* : Аплодисменты *!Браво !Браво*, и снова взвивается занавес, и еще раз – и много раз – !аааxx –; а !теперь, уважаемая публика: Заключительная Сатирическая пляска: целых три дня или: даже четыре Передвижки & Перемещения в квартире, *Где ты находишься там не желаю находиться я*, корчить друг другу рожи выпячивать губы, !плирр!клирр, Тарелки приборы кастрюли шваркать об стол, без единого слова, Великий Пан То Мимо, !о !йаа: Кааакой !великий ар-р-ртист: как решистёбу ему подвластно все – !Какие жесты !Какие взгляды – каленые кинжалы отравленные стрелы, скрещивающиеся над столом – ссст – нацелены прямо в харю, в поганое рыло !Артистично….. вонь, застоявшаяся в кислой тоске ?Как долго еще будет это продолжаться : Пока Другому не станет невмоготу; Сглотнуть & Захныкать; Подбородок дрожит, губы трясутся & Бледные щеки колышутся как желе, подленькие молитвы дерьмовым божкам, бессловесное пускание слюней, сопение в замедленно разворачиваемые носовые платки размером с добрую наволочку: ххр!пррррр: !Таков 1вый произнесенный звук, !начало звукового кино: сопливый белый флаг поднят, семейный мир заключен….. : Пока вся эта грязь не взбаламутится снова, чтобы осесть еще одним илистым слоем на прочие илистые слои, копившиеся со времен Адама&евы….. И дальше опять плавание в пенящемся,

холодном и склизком семейном соусе, в этом бульоне, полном гнилых остатков испорченных настроений, – пока не вынесет на соленый простор: Заткнись, Сойди со сцены & жди….. До следующего раза….. И не предпринимай больше лицемерных попыток примирения….. Есть только ожидание….. Ждать….. Пока у противника от напряжения не сдадут нервы, а такой случай представится непременно….. и так будет повторяться вновь и вновь в этом маленьком=подлом чесоточном аду….. Год за годом….. Пока оба не подохнут – : !НЕТ, МОЯ ЛЮБИМАЯ. !ЭТО – !НЕТ. ТОЛЬКО !НЕ !ЭТО. ?!Слышишь. Мы=Оба устроим Все=Это !совсем !иначе: Мы будем – разговаривать друг с другом !всегда. !Все говорить друг другу – и !всегда только-Правду – ?Обещаешь мне – ?да – –

– Говорение & Говорение, длящееся=часами, как если бы я обязан был Все-что-случилось & Все-что-еще-может-случиться упаковать в слова, высказать, назвать по имени, проложить путь вокруг этого=Всего, Здесь & Сейчас, в этой отдельной палате женского отделения Charité, ничего не скажешь, выбрал местечко – :Чтобы это=Все не разразилось над нами, тобой и мной, внезапно, чтобы не достало, не прикончило нас, или: того хуже: чтобы не оставило нас жить дальше….. Мертвыми Стариками – : ?Неужели и вправду я ничего не забыл сказать; ?!ни малейшей малости : ?Не то что Орфей, который однажды забыл воспеть плуг, & за это его разорвали в клочья….. !Вдруг: в !1часье весь мой страх куда-то улетучился – !прочь – рраз-и-нет-его – фьюить – словно вылетевшие из головы привидения – как если бы !на-самом-деле его !никогда и не было – А все из-за той волшебной формулы: *Все опять будет хорошо* – –

– Вот как. А ?она: ?Она что же, за все время вообще ничего –

– Я ее и не видел-то толком. Как я и нашего мальчика, нашего ребенка, уже толком не воспринимал. Он все это время ползал по полу, изрисовал своими фломастерами целый блокнот, листок за листком вырывал и бросал на пол – я между делом взглядывал на них; там постоянно повторялся один и тот же мотив, лишенный всякой фантазии и пронзительно печальный: Дом – Мама & Папа & Ребенок – Солнце – Сад – Дерево : Если бы я хоть на !1 мгновение действительно вгляделся в один из этих листков, до меня бы наверняка дошло –

– Она теперь опять сидела, прислонясь к стене, прямая в своей кровати, как всегда, когда я ее навещал. Белее полотна было ее лицо; одна прядь волос привычно заложена за ухо, и от этого контуры скул казались более отчетливыми. Она спокойно смотрела на меня, глаза большие и темные. И на протяжении всего нашего свидания молчала (я, по крайней мере, не слышал от нее ни единого слова). : Эти !Глаза. (Заметил я внезапно) !Какая в них !Тьма. И ведь не в том дело, что на лицо ее падает тень – видно, что у этой тьмы совершенно иные резоны. Тут я потерял нить своих рассуждений. А когда снова, с нарастающей неуверенностью, взглянул на нее – наши взгляды встретились – :увидел, что она в этот момент высоко изогнула правую бровь – être a ?moi – :скорее уж камень, о который я окончательно споткнулся. Споткнулся, застопорился и больше не мог выдавить из себя ни слова – моя речь какое-то время еще продолжалась….. В ушах жужжал мой собственный голос, которым я так долго озвучивал это помещение –, но уже повисла ватная тишина, !пф-лотная как воздушная подушка, возникающая, когда хлопнешь дверью. Вся больница полнилась тишиной…..

– Ну и –

– Она смотрела на меня. Долго. И потом сказала: – Пожалуйста, больше не приходи.

– Вдруг я почувствовал холод в этом помещении. Холод – собачьим летом. Мне было холодно, как зимой в нетопленой комнате. Я притворился, будто не понял ее, затараторил: – *Ну да, ты ведь и раньше говорила, что скоро выпишешься, что это – это теперь не так уж и важно – не необходимо, чтобы я приходил сюда еще – я имею в виду, что каждый раз, приходя сюда, использую 1=целый отгул, а отгулы мы могли бы потом – позже – гораздо лучше* – :Она не перебивала меня, я перебил себя сам. Она все еще на меня смотрела. И потом, как если бы должна была спокойно объяснить нашему ребенку, находившемуся тут же, в углу палаты, домашнее задание, повторила все тем же тоном:

– Ты меня не понял. Я хотела сказать: Пожалуйста, не приходи больше !вообще.

Ночные порывы ветра забрасывали теперь клочья туманного занавеса внутрь Руины, дождевые пули впивались в руки, в ноги, в лицо.

– Я взял ребенка за руку, оставил все как есть и вышел с ним из палаты, из больницы. Я шагал слишком быстро, мальчик за мной не поспевал, мне приходилось все время дергать его & чуть ли не тащить волоком, он что-то заподозрил. У детей хороший инстинкт. – *Папа !что ?случилось* – – Вертящаяся дверь больницы вытолкнула меня и мальчика – который цеплялся за мою руку и упорно спрашивал, что же такое с мамой, и когда она наконец вернется домой & куда мы поедем в этом году на каникулы, – на собачью жару, в полдень, в липкие ошметки запахов топленого жира: Перед главным входом в больницу стоял 1 пищевой ларек. Когда я сам испытываю страдание & боль или только вижу их со стороны, у меня всегда возникает ощущение голода. Это рефлекс. Так бывает, даже когда я смотрю телевизор. Нет ни одной программы новостей без картин катастроф – покушений убийств драк-со-смертельным-исходом взятия-заложников бандитских-налетов – все ужасы, копившиеся тысячелетиями, ужимаются телевидением в обозримые временные отрезки, причем подложкой для них служит поп-музыка – по сути, электронная система, мощное моделирующее устройство: От A до Z ежедневно, по полной программе. Поэтому: !Берегитесь, любители легкой танцевальной музыки: Сначала были египтяне с их невротическими страхами по поводу поедания говна, потом – евреи & их расистские гнусности, распятия на крестах, греческий огонь, амфитеатры, Реформация-Контрреформация, дальше – Дарвин, газовые камеры коммунизм, телелото & прогнозы погоды, с четверти десятого – фолк(с)-лорная музыка – :Если люди в чем и опережают собак….. то только в том, что охотнее и чаще зевают перед экранными Изображениями & СоОб(об)щениями : в каких-нибудь 90 секунд вмещаются крушение поезда в Индии, взрыв в южноафриканской шахте & природная катастрофа в Бразилии –: 1 путешествие вокруг Ужасов-Всего-Света за 90 секунд. Тот, кто так бурно проявляет интерес ко Всему: по сути не интересуется !Ничем. Расчленить мир и человека на куски – & потом избавиться от этих останков: похоронить их в роликах теленовостей=в равнодушии: Ибо тем, что выглядит столь будничным=столь малым, можно спокойно пренебречь,

выкинуть из памяти вон….. И Все-Это уже давно не замалчивалось так успешно, как в сегодняшнем Старо-Новом Телевещании.

– И ведь не перевелись еще те простецы, что считают такое-телевидение самым современным СМИ. !Кто сегодня вспоминает о том, что *телевидение* родилось в эпоху фашизма –

– и сохраняет !эту счастливую сорочку, в которой оно родилось, до сегодняшнего дня.

– Плохо, когда старики корчат из себя молодых – но еще хуже, когда молодые заползают в задницы старых дев –: таким уже !ничем не помочь. Правда, в этих стародевических задницах бывают заныканы !Кучи !Золота – & вокруг Золота, в конечном счете, танцуют Все…..

– И чтобы противопоставить что-то весомое всему этому головокружительному безобразию, я должен жрать, жрать и жрать….. – Хорошо еще, что в нашей стране нет телеканалов, передающих новости круглосуточно, иначе я бы разжирел как тюлень. Может быть, не один я такой, потому и пищевой киоск здесь, возле больницы, вполне уместен: ведь и после похорон многие испытывают потребность повысить свою остойчивость и непременно должны потрахаться или, по меньшей мере, нажраться, – просто чтобы почувствовать, что уж *они*-то, по крайней мере, еще всецело относятся к *здесь*=бытию. То, что я только что пережил в больнице, или, точнее, то, что происходило там на моих глазах: было так же ирреально, как телеизображения с их бесстыдной инфляцией непрерывно перевариваемого страха, и все время, пока я находился у *нее*, у *моей жены*, меня не покидало то же ощущение, какое вызывают у меня телепередачи: это всего лишь инсценировка – что-то выдуманное – *Пожалуйста, не приходи больше !вообще* :Всего лишь бегущая строка в теленовостях, 1 строка на экране, не вполне правдивая и не вполне лживая. А раз так, то и теперь мне хотелось только одного – жрать, жрать и жрать….. Мой сорванец уже добежал до киоска, вопил, что он хочет !немедленно Магг Нумм Колу & Картошку: с Майо !Нэззом (именно так он кричал) – мне стало нехорошо уже от одного звучания этих слов. Я тоже подошел к ларьку & заказал для себя 2 порции колбасы под соусом карри. При такой жарище желающих заказать колбасу находилось немного, *у них* была готова только 1 порция, другую колбаску нужно было сперва вынуть из холодильника, потом поджарить, тогда как 1-я оставалась горячей без всякого подогрева. У меня, таким образом, оказалось достаточно времени, чтобы понаблюдать за двумя девочками-подростками, развалившимися на пластмассовых стульях под тентом с рекламой кока-колы. Со скучающим видом они листали журналы для тинэйджеров, отхлебывали из бумажных стаканчиков колу & лакомились жареной картошкой, сбрызнутой кляксами кетчупа: зажимали каждый кусочек между большим и указательным пальцем, подносили, оттопырив мизинец, ко рту & обсасывали, прежде чем надкусить. Толстощекие детские лица с глазами как черносливины….. Многодневная жара, похоже, в первую очередь доканывает именно женщин & делает их распущенными, небрежными. Эти девчонки тоже расслабились, широко раздвинули ляжки, сидели на своих стульях как потные флегматичные телочки; их юными телами, казалось, уже сейчас овладела лень, та самая, которая через много лет превратит этих нынешних школьниц в повторения & подобия избитых кари-

катур & клише: в цветастых халатиках, лениво потягиваясь на диване, они будут жевать конфетки-пралине и небрежно листать иллюстрированные журналы; и в глазах у них, в уголках губ затаится та характерная смесь из плотского вожделения & тоски, что как неистребимое клеймо лежит на всех примитивных – в 4 краски – грезах классических домохозяек. Там, где подол халатика задирается на бедрах, он обнажает поблекшую плоть или сморщившийся чулок – : На противне шипела колбаса, с 1 боку, похоже, уже поджаренная, сын лопал свое мороженое & картошку, колу он уже успел вылакать, прямо из жестянки, я отвернулся и опять посмотрел в сторону этих юных женщин под тентом, которые машинально и флегматично, словно рептилии, оправляли свои прилипшие к потным ягодицам юбки; и я увидел, что сквозь их нежный возраст уже просвечивает та своеобразная злость, что сплавляет в 1но=целое готовность к нападению и отпору, оцепенелую неподвижность и постепенную деградацию : ни одно человеческое существо (подумалось мне, пока я на них смотрел) не изгонит из этой, уже в юные годы смертельно наскучавшейся плоти Пресыщенность….. Которая сидит у них в потрохах, в сердце, в мозгу, в глазах….. И Ненависть, поднимающуюся с самого низу, из именно-этих лет пошедшей наперекосяк юности, которой, по сути, Ничего не нужно & которая, по сути, Никому не нужна….. Они где-нибудь станут убивать свои годы – вкалывая, надрываясь, угодничая….. И от этого медленно-медленно подыхать, не замечая, что они подыхают –: Пока внезапно не наступит момент, когда менять что-то будет уже поздно. Когда останется только эта-Ненависть, безымянная ужасная Злоба, не щадящая Ничего, оставляющая после себя только выхолощенные и выплюнутые человеческие скорлупки….. Не живые и не мертвые, как подгнившие моллюски на помойке возле какой-нибудь забегаловки….. :Я=Всегда-уже-Старый, и: опять начинать-Сызнова: ?Что с ?Какой *Другой Женщиной*….. Запах-колбасы&жира, полуденная жара как из смолокуренной печи – меня затошнило, стало не до еды, и я рванулся к выходу. – *Э!эй Папа Папп !!Паа –: Подожди – Что ?случи-илось.* – Про него я совсем забыл. Всегда одно и то же (думал я), пока, опять за руку с ребенком, шагал в сверкающей жаре по каменным плиткам, как по жирной поверхности кухонной плиты, и каждый глоток воздуха казался горячей шкваркой, комом застревал в горле….. Всегда одно и то же (и я взглянул на ребенка рядом со мной, на сына, который, весь перемазанный майонезом&мороженым, неотрывно смотрел на меня свойственным всем детям взглядом лангуста, пакетик с картофелем он в спешке потерял). *Квартира пусть останется у нее, а также все деньги и ребенок* (решил я), *мне ничего не надо. !Теперь, значит, вот до чего дошло. Я просто тихо исчезну. Будто меня никогда и не было. Прощание по-французски. Отныне моим жилищем станут пустые контейнеры, строительные вагончики & разрушенные дома, в любом месте, куда приведет меня….. Иностранный легион*. Собственная жена, собственные дети: все это лишь химеры из юношеских сновидений или мельница, перемалывающая в пыль и прах надежды. Дети как собаки : хотят только Есть-Пить-Спать, герметически закупорившись в своей грязи. Они непрерывно возятся в ней, испытывая удовольствие & удовлетворение. И ведь не скажешь даже, что они изначально испорчены (думал я); люди – просто по натуре своей ни в чем не знают ни меры, ни формы, и из-за этого чрезвычайно опасны, & : наихудшее зло мы всегда причиняем самим себе.

Ночь потонула в тумане – Дробные шаги Дождя стучат по потрескавшемуся кирпичу где-то в глубине Руины, меж дырами в каменной кладке натягиваются шпагаты Ветра; потом Ночь еще раз выходит из берегов, как река в половодье, окрашивая часы и минуты дегтярной тьмой – : *?!Что если Дождь смоет все Человеческое&ставшее-камнем, и: опять превратит в песок, из которого когда-то вышли Камни & Люди* – –

– Твой утонченный Орфей – (слышу я в тишине его хриплый голос:) –с которым ты себя недавно сравнил: был аристократом и потому знать ничего не желал о такой-работе: Потому-то и забыл о ней в своем=Песнопении: !Потому-то орды пахарей и разорвали его : Ты=Инншенёр похож на опустившегося аристократа & ведешь себя соответствующим образом. В-хвост&в-гриву честишь такую-работу – !ясно: ты ее !ненавидишь –

– !Если бы все сводилось !только к оскорблениям чести & достоинства :с этим еще можно было бы как-то жить; сами обстоятельства моего рождения для меня уже достаточно оскорбительны. Я так сильно озабочен этим, что не в состоянии беспокоиться еще и о повседневном=Второстепенном. :!Да!Признаюсь: Я действительно !ненавижу !такой род-работы, который ныне считается единственно-возможным & чем выше поднимается уровень-дерьма-в-стране, тем меньше мы осознаем, что, собственно, могло бы называться Работой. Но когда речь идет о !такой работе, дорогой мой, я действительно !ненавижу ее, всю палитру ее прелестей: Начиная с начальника отдела кадров, который, как врач в военкомате, одним мановением пальца вершит судьбы желающих получить место в его фирме: Годен…../Негоден….. Увы, еще слишком много наивных дураков, которые полагают: если коричнево– & чернорубашечников больше нет, значит, исчезло и все прочее, связанное с этим свинством. Они округляют глаза & испуганно спрашивают себя: ?Как такое вообще могло когда-то быть: Лагеря уничтожения – :А ведь эти самые лагеря являются неотъемлемой частью….. Рабочего-Мира: той самой системы, в которой мы=все по уши увязли. И для языка бюрократов, действенного и поныне, нет никакой разницы, идет ли речь о менеджменте куриной фермы или об управлении концентрационным лагерем. !Система разрастается сама по себе. Как раковая опухоль. И каждый, кто в этом участвует, может спрятаться за таким языком, который в ней царит & все адекватно выражает. Этот Рабочий-Мир даже не лжет: Он стал 1во-классно функционирующим шизо….. И внутри него мы всегда наблюдаем одно и то же: необозримые орды претендентов на роль добровольных полицаев. 1-е среди них – Начальники: им свойственны, когда они только подбираются к власти, отклонения от нормального поведения & сексуальные комплексы; когда занимают кресло шефа – повышенное самомнение, маниакальная любовь к порядку & непреодолимое желание властвовать над другими, выпестованное еще в детском саду: каждый шеф ощущает себя императором / Ко 2-й категории относятся преданные Сотрудники Сослуживцы Сотрапезники: им свойственны те же отклонения от нормального поведения & те же сексуальные комплексы, а когда они занимают места на скамье гребцов – повышенное самомнение, маниакальная любовь к подчинению-навязанному-им-порядку & непреодолимое желание лакействовать, выпестованное еще в

детском саду: каждый раб ощущает себя врагом другого раба – собачий кодекс чести: лаять & кусать, чтобы захватить чужую собственность, скулить у ног шефа & жрать-говно, если Тому так нравится….. Я знаю, о чем говорю: Все-эти-годы сам был говеным скотом среди других говеных скотов, которые гнули-спины&скотствовали в загоне этого Говеного-рабочего-мира…..

– от которого ты получаешь свою жратву…..

– Кто знает, долго ли еще это будет продолжаться. Работа, достойная людей, в массовом порядке изничтожается, точно так же как сама работа в массовом порядке изничтожает людей : Остаются лишь ИХ скатологические ритуалы, полуподпольные инсценировки свинских привычек ИХ Любимца – я Ничего не выдумываю, я Все=Это видел сам: того парня, который специально отрастил ноготь на своем мизинце, чтобы ковырять им в ушах & в заднице & потом с удовольствием его нюхал, – и другого, с жестяной шкатулочкой, куда он неделями складывал волоконца пищи, которые извлекал из своих зубов, – и того, из конторы, который размазывал свои сопли в определенном месте с нижней стороны столешницы, а старые, уже засохшие козюли тайком депонировал в ящик письменного стола, – и ту уже старую женщину, уродливую как сука какого-нибудь громилы и такую тощую, что никому бы и в голову не пришло заподозрить ее в способности потеть, каргу, которая могла бы служить образцом для изготовителей деревянных фигурок брокенских ведьм, тех оседлавших метлы кукол с растрепанными огненно-рыжими волосами, орлиными носами & ядовито-зелеными змеиными глазками (куклы эти бывают разных размеров, ростом с ладонь или с маленького ребенка), которые качаются в витринах некоторых сувенирных лавок и раскупаются нарасхват всякой туристической мразью, – так вот, эта женщина, при встрече с которой мне всякий раз приходилось вдалбливать себе 11-ю заповедь: *Не смей никого презирать только из-за его уродства*, эта женщина сама неизменно разрушала мое благородное намерение, поскольку она, хотя и не потела, но зато обладала способностью, как только я вступал с ней в приватную беседу, для начала намеренно испускать из своего кишечника плотную и тяжелую, как кофр, струю газа, так сказать, в подтверждение нашей с ней интимной близости, & этот ее «кофр» был отнюдь не из безобидной !фанеры, – и еще одного человека, который закручивал свои усы так, что они выступали вперед как щупальца насекомого, а он то и дело нюхал & облизывал один из кончиков, приговаривая при этом: – *Мохнатка моей Старухи всегда при мне*, – и, наконец, того шефа с зимними ботинками на меху, которые он носил до конца мая или даже: июня (& в своей конторе, когда думал, что его никто не видит, снимал их, чтобы насладиться кислыми испарениями своих пропревших носок –), – а теперь вспомни о любом зеркале над раковиной в туалете: на высоте человеческого лица оно непременно бывает покрыто капельками гноя, напоминающими желтый мушиный помет или веснушки –

– Прекрати : ты меня уже !достал. Довольно.

– Я !Ничего не выдумывал. Повторяю: Мерой всех вещей является человеческое непотребство….. И тот, кто хочет рассуждать о людях вообще, не может обойти молчанием их мелкие пакости. Это настолько очевидно, что даже не нуждается в доказательствах. Ты злишься именно потому, что сам !не относишься

к подобным типам. А ИМ даже нет надобности обо Всем-этом говорить : ОНИ опознают друг друга !мгновенно, по какому-то особому запаху, как животные. Все, что господа что слуги, без всяких различий, смешиваются в одном&свальном безобразии: коммунальной Свинячьей-Ауре, теплом Закутном-Счастьи, материнской утробе ИХ свинств…… !Вот что спаивает их всех, пропитывая потом. И !Что ОНИ только ни вытворяют, когда часами сидят 1ни, запершись в сортирах –: !Этого я даже знать !не хочу –

– !Я тоже. Но неужели ты думаешь, что все-эти мерзости ОНИ бы не совершали, если бы в той ситуации, которую ты описал: !не должны были бы….. *работать* –

– Ясно, что совершали бы – но: Такого Рода Работа – которая, как все еще считается, *облагораживает* людей – подобна здоровенному кулаку, непрерывно & неизбежно тычущему нас носами в дерьмо детской стадии нашего развития : Она пригибает нас к земле, заставляя оставаться с теми, к чьей компании мы=Тридцати-сорока-пятидесятилетние уже & слава-богу !давно не должны были бы принадлежать: с маленькими детьми & засранцами, радующимися собственному дерьму….. Потому что так нас удобнее всего держать под контролем. И потому что именно при таких условиях нам самим удобнее всего рвать друг друга на части. И ОНИ Все приспосабливаются к этому – да и ты тоже приспосабливаешься – как медузы, как беспозвоночные: мы умеем подстроиться под любую сраную свинью, так что даже и шва не будет заметно – И: !Смотри-ка, Карусель и вправду раскручивается – эта Мельница Повседневного Убожества….. сальных мерзостей & сальных влюбленностей….. Pro & Contra – Нападения-из-за-угла & Фронтальные-атаки – Выть Пить Рычать Крушить Проклинать Бить – Адреналин Пот Кровь & Пивная пена, собачьи зенки горят пьяным огнем, полны ненависти & гнева – !Вмажь & !Наддай – чтоб у противника посыпались зубы –; а потом вдруг собачьи лапищи превращаются в клешни рака: и начинаются объятия, братания, *Хоть раз в жизни действительно сказать друг другу !Все – Как !славно, что мы поговорили по душам, не!правда-ли* – :вы !Макаки вы !Дурни: ?!О-Чем говорить, если Говно у всех у вас стоит в глотке, даже уже и пенится на губах: Из Говна ничего, окромя Говна, не вылепишь: Тут только 1но может помочь – Заткнись & не-гони-Волну – –

– !Это тебе следовало бы записать у себя на лбу, прыятель –

– Словесные сопли & Взаимные лобзания – *Теперь мы понимаем друг друга !гораздо лучше – & особенно !Нашегошефа: Нашего!шефа: его я теперь !действительно понимаю гораздо лучше – !такое-должно-было-произойти: Такой !откровенный Разговор Всех-со-всеми….. Это способствует улучшению Климата-на-Пред-Приятии…..* : Но когда Пред-Приятельство в следующий раз оказывается в состоянии Климакса: вновь начинается !Вмажь & !Наддай –; а после: Новые-Объятия, Новые-Братания, и так далее – до Седых-Волос…..; & не только это: ОНИ производят из такого Дерьма все больше Дерьма, которое служит ИМ пищей, как этим мухам….. здесь-внутри забродившие помои & гнилые остатки пищи используются как сырье для дальнейшего производства, что позволяет ИМ !процветать – : !Люди: Все-эти прошедшие годы ВАМИ же и скомканы, Мне-ничего=Тебе-ничего, ВАМИ же и отброшены, как засопливленная скатерть, Год-за-Годом !просто отбрасываются !прочь – Как если бы это было !Ничто – И !После

!Все еще можно будет !исправить – это-Сейчас, оно, мол, просто Предварительная-Программа; а Настоящая-Жизнь: !Еще-только предстоит – – !ха!ха: Поцелуйте себя в !задницу, !Идиоты: !Это=Настоящее у нас уже позади, !именно !Это, дорогие мои, и было Нашей-Жизнью –, теперь она уже почти закончилась, и другой не будет. !Апрельапрель: мы=задницы просто выбросили псу под хвост Всю-нашу-жизнь – не больше & не меньше – мы словно овцы устремляемся к бойне, шагаем бок-о-бок, & старики впереди молодых, ряд за рядом, ни на 1 минуту не задумываясь, куда –: Да давайте хотя бы взглянем в зеркало, посмотрим, что сейчас осталось от нас : Глаза Морда весь Облик : выстроившиеся на перекличку огрызки; законсервированные школьники, спившиеся, страдающие от болей в желудке, вечно невыспавшиеся, еще с молодых ногтей привыкшие повторять глупости взрослых, охрипшие и озлобившиеся; банда мерзких марионеток, которые выглядят так, будто их только что вытащили из кучи говна – – : Наш *Прекрасный Новый Рабочий Мир* представляет собой один-единственный лагерь уничтожения, но без тех преимуществ, которые были в таких лагерях….. : Этот Рабочий Мир: превращает людей в крыс, причем наихудшего сорта. !Да!признаюсь: Я !ненавижу такую-Работу, будто бы нас *облагораживающую*, я !ненавижу ее как !!бубонную чуму…..

– Ладно, старик. Успокойся. Позиция у тебя !очень-очень хорошая, гарантированно правильная & беспорочная: Если, конечно, Ты можешь себе такое позволить – :я лично не могу. Ты только не обижайся: все твои разглагольствования насчет Орфея & Плуга – не более, чем сентиментально=гимназическая чепуха. Это все равно что свистеть, когда ты сбился с дороги в темной чаще. И потом, Орфей, ты ?заметил: твои песни уже мало чем отличаются от моих, под *аккомпанемент полицейских овчарок*….. : Может, твоя ярость – последнее, что еще делает тебя человеком –.– Знаешь, я бы сейчас, пожалуй, чего-нибудь !выпил. Жаль, что не подумал об этом зара –. Впрочем, у твоих Орфеевых Песнопений против такой-Работы было 1 достоинство: Ты теперь можешь спокойно выйти отсюда=из-Руины, тебе уже нет нужды притворяться мертвым, прятаться; по крайней мере, эта-Работа уже !Ничем не сможет тебя достать.

– !Прятаться. Раньше, ребенком, я часто играл с другими детьми в прятки. Проблема в том, что я всегда прятался слишком хорошо – не только другие не могли меня найти, но и я сам никогда вовремя не замечал окончания игры. Все уже разбегались, и только я один еще продолжал сидеть в какой-нибудь дыре, где меня никто и не думал искать. Я догонял других, когда они уже давно были на пути домой. Увидев меня, они сразу впадали в дурное настроение, злились, затевали ссору & пинали меня ногами в задницу: Потому что, как они считали, я испортил им все удовольствие –. Точно так же ведут себя сегодня и ЭТИ=Снаружи. А мне как-то не особенно хочется снова получать пинки. И ведь ОНИ не удовольствуются одними пинками: ОНИ, как-никак, уже вышли из детского возраста….. Да и пинки теперь будут пинками взрослых людей…..

– Дождь уже перестал. Как тихо снаружи. Все окутано испарениями. Если бы не туман, давно бы было светло. Даже такая ночь длится не вечно. Ты не должен стыдиться того, что выйдешь отсюда; стыдиться надо было, когда ты забирался сюда. Ну же: !Чего ты ждешь. Скоро утро.

– Утро. Да. Утро….. Значит, ОНИ сейчас придут.

– ?Кто: ОНИ.

– Наши-Коллеги=Банда. Будет, как предупреждали ОНИ & ты: Вы предоставили мне время до утра. Сейчас уже утро.

– Значит, время пришло. И для меня тоже. Ты, конечно, этого не замечал, ты все-время был занят только собой, но ОНИ уже давно хотят отобрать у меня место босса – *Хэки* давно настраивает в свою пользу остальных & интригует против меня, по вечерам угощая ИХ за свой счет пивом, & *Мэки*, Хитрец-из-хитрецов, вот уже много недель ковыряется, словно в мутной жиже, в Вестниках законов & Правовых предписаниях – ОНИ хотят избавиться от меня, каждый на свой лад. ИХ наглость может быть превзойдена только ИХ же глупостью: ибо ОНИ уверены, что я ничего не замечаю. А между тем, я прекрасно понимаю: рано или поздно ОНИ=ВСЕ придут к 1ному мнению, и тогда моя песенка будет !спета. Но пока до этого еще далеко. Ладно, я ухожу. Я все равно больше не выдержал бы здесь ни 1 минуты. !Дерьмовое местечко ты себе выбрал. В такой вонючей Руине, среди отбросов – & теперь, в жару, все еще больше размягчается & пускает сок – в этом туманном вареве, похоже, даже мухи дохнут….. Вон они повсюду валяются…..!Тошнотворно. И !Целая-ночь без сна….. Другие-то хоть под завязку набрались, а я только под завязку наболтался : Наверное, я и впрямь !спятил. Может, оно и к лучшему. Но результат !налицо: я клацаю зубами от холода – и устал как тридцать собак. Но все же я не настолько выжил из ума, чтобы совсем уж пренебрегать сном : Еще часок, как минимум, успею подремать. Итак: Я !ухожу. Я все поставил на 1 карту, когда забрался сюда, к тебе. Если мне не удастся вытащить тебя отсюда & вернуть в наш отряд – значит, так тому и быть….. Но тогда эта ночь будет и !моей последней ночью в качестве ПРОРАБА Иностранного легиона. Это мое !окончательное решение. Ну же: ?Чего ты ждешь: ?Идем.

– Слишком поздно. Я остаюсь здесь. Лучше быть здесь=в дерьме, чем среди таких как ВЫ. ?Чуешь – : Там в воздухе, как всегда при приближении больших человеческих масс, уже ощущается – еще прежде, чем их можно увидеть, – шум, или колебание, которое, даже если толпа ведет себя совершенно спокойно, все же предшествует ей и, подобно тому, как скачки атмосферного давления предвещают скорую перемену погоды, позволяет почувствовать исходящую от этой МАССЫ грозную силу. : Она уже !здесь. Потому что !Настоящие=Мужчины всегда держат данное ИМИ слово….. Скоро ОНИ заведут свои бульдозеры & экскаваторы – но я уже заранее ощущаю языком, носом, воспаленными глазами: пыль&обломки обрушивающихся стен….. & вонь, как от холодного говна. Еще 1 минута….. ОНИ сейчас подойдут сюда, заполнят дверной проем СВОИМИ телами, и потом двинутся, неторопливо, солдатскими О-шагами, внутрь помещения – как управляемые на расстоянии жестяные макаки – еще через какой-то 1 момент, очень скоро – точно так же, как ОНИ и *тогда* ввалились через дверной проем в зал ожидания пригородного вокзальчика, из тьмы и тумана поздне-летней ночи, уже соприкоснувшейся с краем другого утра, похожего на сегодняшнее, – ?!послушаешь меня еще чуть-чуть, еще только 1 момент, Одно только это: О !Моем 1-м дне в *Иностранном легионе*….. Фирма, куда я устроился, письменно известила меня, куда & когда мне надлежит явиться утром следующего понедельника. Уже вечером в

воскресенье мне пришлось отправиться на поезде в Мюнстер – я прибыл туда около 3 часов утра – & потом ждать 1-го автобуса. Часа в 4 утра я наконец очутился на маленькой пригородной станции, собственное тело казалось мне липким, как всегда после долгих поездок по железной дороге. Вокзал представлял собой 1 кирпичное здание посреди тумана, других домов я не заметил, видимо, это была просто промежуточная станция на полпути между 2 селами, поблизости от шоссе. Все окна темные, Никого & Ничего, кроме меня, и тишина, какая бывает только туманными ночами в сельской местности. ?Можешь еще немного послушать. Дуговой фонарь подсвечивал светло-желтым проплывавшие мимо него клочья тумана. Влага просачивалась сквозь мою куртку – я дрожал, пальцы, сжимавшие ручку дорожной сумки, были мокрыми и холодными, стекла очков запотели от дыхания; я стучал зубами и не знал, куда мне податься – Ты еще ?слушаешь. – В желтом фонарном свете вдруг вынырнуло из темноты название станции – то самое, какое мне было нужно – и совсем рядом с ним, наполовину скрытая тенями= руками дерева, – потемневшая вывеска ресторанчика: **ый Кувшин**. Именно !Сюда мне надлежало явиться утром в понедельник, к 5 часам. В мои наручные часы просочилась влага – !проклятье: весь циферблат покрылся мелкими капельками – и смахивал на ватерпас; но я разглядел-таки: 4 с небольшим…… (:если, конечно, часы не остановились на этом, в действительности давно прошедшем, часе.) Я в нерешительности побрел по рельсам обратно, к остановке автобуса, щебенка влажно поблескивала, ботинки с хрустом впечатывали камешки в железнодорожное полотно – : ?!Неужели мне предстоит !целый=битый час шаркать туда и обратно, пока не подойдет 5-часовая электричка – *Про!клятье: !Как если бы один час полноценного сна был куском дерьма, которым запросто можно пренебречь….. Они это подстроили !нарочно: эти шефы=свиньи….. Как же, ведь главное, чтобы !их задницы были в тепле & покое. Приличный человек вообще не может быть «шефом». Что же касается тех, кто привык называть себя «НАЧАЛЬНИКОМ»: то я бы, будь моя воля, не только не говорил им Здрасьте, а с наслаждением вывесил бы из окна их поганые кишки; из таких типов я не знал ни одного, кто не заслуживал бы колесования* – :Ярость согревает, как глоток шнапса; ярость бодрит & дает новые силы, правда, лишь на 1 мгновение –

– На вокзале был зал ожидания: дверь оказалась не запертой – !Повезло –, я вошел в темное помещение, где пахло теплом и пылью. И здесь тоже !никого, я с облегчением вздохнул. Половые доски поскрипывали, я не стал включать свет, оставил приятную темноту и лег, возле кафельной печки, на одну из деревянных скамеек. Печка, само собой, не топилась, было только начало сентября, и тепло в этих стенах сохранялось еще от летних дней. Одно=целое исчезнувшее за одну ночь время года задерживалось пока только и исключительно в этом зале ожидания. Но меня, явившегося сюда из влажно-холодного туманного часа между ночью и утром, согревало, казалось, уже само присутствие печки. И потом, в зале было тихо – ?слышишь – стояла такая тишина, какою может укутать землю только Туман. Такая же, как здесь и сейчас. Я лег спиной на скамью и стал смотреть в потолок. Мне вспоминались давно прошедшие часы одной ночи, которую я провел в поезде, прогуливаясь вдоль Сонного моря (лишь изредка накатывавшие на берег волны подбирались к моим ногам и, после того, как в купе, наконец, замерли

последние звуки общего разговора & был погашен свет, вновь и вновь на какие-то мгновения дарили мне хрупкий сон); каждый раз я просыпался с гротескно-преувеличенным ощущением судороги в руке или ноге или оттого, что моя по-стариковски вывернутая голова в который раз скатывалась с поддерживавшей ее ладони –: все это длилось часами, как разыгрываемая в скудно освещенном купе пантомима Упорно-желающего-заснуть, призрака среди других призраков, которые, в свою очередь, разыгрывали, откинувшись на спинки диванов, ту же самую пантомиму, делали те же жесты, изредка прерываемые, как цезурами, храпом, как если бы этот поезд, торопившийся из, может быть, последнего летнего вечера к первому туману осеннего утра, вез с одной ярмарки на другую механических марионеток, а поскольку их механизмы в результате тряски & раскачивания слегка повредились, они теперь с той особой сонливостью, которая бывает свойственна именно машинам, без конца и без толку повторяли отведенные им в кукольном спектакле роли. Я был последним в купе, кто наконец поддался этому ноздреватому сну –, но прежде достал из дорожной сумки упакованные бутерброды &, вопреки своей привычке, скушал их один за другим, весь пакет. Радуясь, что остался единственным, кто еще бодрствует здесь (вообще меня очень тяготит, когда в поезде то-то наблюдает, как я ем; зрители при таких оказиях кажутся еще более пристрастными, чем обычно, они будто с нетерпением ждут, когда Другой окажется в неловком положении: ждут его громкого чавканья – или того, что с его куска хлеба что-нибудь упадет на пол, в грязь (:?Что он тогда станет делать) – или, хотя бы, что он поперхнется, закашляется –). Кроме того, я хотел покончить с едой поскорее, потому что эти бутерброды сделала в наш последний совместный вечер моя жена – они лежали, аккуратно завернутые в оловянную фольгу, и вплетенное в запах копченой колбасы, но уже рассыпавшееся ощущение домашнего уюта трогало меня с невероятной, ошеломляющей силой. Я же !не хотел больше быть растроганным каким-либо *ее* поступком или воспоминанием о ней. В последний вечер мы с ней расставались друг:с:другом отнюдь не мирно. А в бессловесной, давящей тишине, в том обидном Ничего-Не-говорении, которое воцарилось после долгой и во всех своих частностях совершенно бессмысленной ссоры. В нашей ситуации Ничего больше нельзя было изменить, потому и оснований для споров не осталось. Вероятно, *она* сделала мне это одолжение, приготовила бутерброды, только из свойственного всем женщинам стремления демонстрировать – посторонним – Заботу о муже & Любовь к порядку, потому что в конечном итоге *ей* же будет хуже, если ее мужчина появится на людях неряшливым или грязным, или еще почему-либо вызывающим жалость. Я держал бутерброды в руке и смотрел на надкусанные ломти свежего белого хлеба – К ?Чему, ради всего святого, подобные ссоры, ?вечные претензии к Другому, *Ты !должен это – А этого !не должен*, *!Я всегда !Ты же никогда* – : ?Разве мы не могли бы оставить друг друга в ?!покое : ?Разве не мог бы я оставить в ?!покое *ее*, хотя бы теперь, когда уже близился конец наших отношений –. Продолжая жевать, я смотрел в мутно-черное оконное стекло, уставившись на собственное лицо с медленно двигающейся нижней челюстью, при переменчивом освещении оно казалось состоящим из 1 этой, похожей на выдвижной ящик, части, за которой с бешеной скоростью прокручивались декорации ночного спектакля, порой

пробиваемые резкими кулачными ударами привокзальных огней – & тогда на спящих в суфлерской будке, нашем купе, будто выплескивалась 1 струя бледных световых помоев. Ночь за окном, между тем, укуталась в темное облачное одеяло, постепенно скапливался туман – и каждый проносившийся мимо огонек теперь был окружен радужных ореолом из световых точек. А *он* все скользил по рельсам, вибрируя, как если бы сам был тем электрическим током, который гнал его & который тек по надземным проводам, жужжа своими электронами, мчащимися со скоростью света (или: со скоростью ночи), – поезд-экспресс : Время от времени в новостях передают, что при прокладке очередного участка железной дороги опять Что-нибудь нашли: неразорвавшуюся бомбу, оставшуюся с последней войны (громоздкий железный корпус с нашлепками глины&ржавчины, напоминающий тяжелый скелет, такую штуковину осторожно достают из земли с помощью грузоподъемного крана, как кончиками пальцев, чтобы потом кто-нибудь мог удалить из нее маленький, смертельно опасный пусковой механизм) – или доисторические останки, Кости Черепки Рубила, что всегда приводит в восторг археологов; благодаря подрывным работам, ведущимся ради будущего, тысячелетнее прошлое переживает второе рождение –: Нет Ничего, что бы исчезало, по-настоящему исчезало, Все, что когда-то было на земле, присутствует на ней и сегодня, и потому стремительное скольжение поезда казалось мне путешествием через все ночи и времена, пересечением туннеля Забвения и переправой через одноименную реку, на другой берег Ночи….. Но что касается бутербродов, которые *она* приготовила мне в наш последний вечер и которые я держал в руке – здесь и сейчас, в мутно освещенном ночном купе: каждый раз, когда я надкусывал один из них, исчезал еще 1 кусочек *ее* нежности – –

– И то в жар, то в озноб бросало меня = нашедшего на одну ночь пристанище в зале ожидания 1 пригородного вокзала, где-то в Вестфалии. А чуть раньше, на остановке (автобус уже растворился в сумерках, как 4хугольная тень, и только 2 красных точки еще выделялись на сером фоне), я стоял один посреди туманного моря: и, казалось, различал в этом блеклом мареве отдельные фрагменты ив – нас, меня и их, как обломки кораблекрушения, незаметно сносило куда-то во тьме & тишине. Здесь=внутри бег часов, похоже, тоже замедлился. Или: может, это было не что-то, связанное с самим Временем, а нечто находящееся *под* ним, своего рода шлейф из Тишины и Безмолвия, *Гладь* вроде той, что возникает за кормой быстро рассекающего воду судна, – везде вокруг Пена & Волны, и только в этом маленьком треугольном пространстве за кормой корабля сохраняется спокойная стеклянистая поверхность, без каких-либо водоворотов или течений, – на 1 мгновение. Только 1 раз безмолвие было нарушено проехавшим мимо автомобилем – я проследил глазами путь светлого параллелограмма, спроецированного через окно светом автомобильных фар на потолок помещения, где я находился, – потом гудение мотора замерло вдали, и слои тумана опять сомкнулись. Мне было покойно в маленьком зале ожидания, в тепле и блеклых сумерках – может, люди обо мне вообще забыли, как и об этой станции, этом месте. Первоначальный страх, что я, если засну здесь-внутри, пропущу нужный мне пригородный поезд, сменился приятной беззаботностью и равнодушием, усталость накрыла меня, как мягкое теплое одеяло. Будто

перерубив канат, ранее державший мою лодку на привязи, я теперь дрейфовал в тумане этого часа, не ощущая никакой тяжести, – между ночью и утром, один в зале ожидания крошечного вокзала – ?понимаешь: Это был самый счастливый мой час, за долгое время….. И внезапно я увидел *его*, он действительно был здесь=снаружи – притекшее сюда из потоков Огня & Пламени, но в холодном тумане остывшее и превратившееся в черный многотонный блок Железное Литье –, этот Большой Темный Поезд….. ждущий меня в конце короткого перрона. !Странно: я не слышал, как он подошел. Он, может, возник непосредственно из Испарений и Тьмы, ведь любые Сумерки превращают все предметы в собственные творения, и запечатлелся на туманном лике этого часа как несмываемый след какого-то давнего помешательства. Угловатый & черный, выступал из тумана мощный железный остов, и ни звука не было вокруг, ни единого человека во всей округе. Казалось, этот поезд прибыл сюда с большим запозданием, а то и вопреки расписанию; он проехал дальше перрона – и, очень может быть, остановился только ради меня. Мне пришлось, чтобы добраться до последнего вагона, пройти какой-то отрезок пути по рельсам, переступая через шпалы, расстояние между которыми для одного шага слишком маленькое, а для того, чтобы каждый раз перешагивать через 1 шпалу, – слишком большое, все равно как если бы я пытался пройти по положенной на щебень приставной лестнице. С каждым шагом, приближавшим меня к последнему вагону, поезд вырастал в высоту, крыша вагона уже исчезла в тумане – железные части: Штанги Подножка Буфер & Болты, соответственно, тоже увеличивались в размерах – каждая отдельная головка Винта, смазанные машинным маслом Подшипники & Крючья на глазах укрупнялись, словно под лупой, & то же происходило с густыми каплями Жира, застывшими на механических деталях….. Щебенка хрустела под моими ногами, это был 1ственный близкий звук (еще доносился издали, из тумана, с ритмичными промежутками, железный перестук клапанов локомотива); я, неловко переступая через шпалы, добрел, наконец, до вагона, и передо мной воздвиглось огромное, неподвижное Колесо-из-Стали, поверхность скольжения которого выделялась своим светлым блеском из всей этой железной громады – Вагон, когда я смотрел на него с такого близкого расстояния, казалось, был размером с многоэтажный дом (окна купе обрамлены железом и напоминают вывешенные в ряд, в выставочной галерее, гигантские черные зеркала –), слишком высоко для меня располагались Подножка, Поручень & Вагонная Дверь – мне !никогда туда не взобраться –, и я растерянно и удивленно, как бы глазами маленького ребенка, смотрел на протянутые под днищем вагона тяжелые распорки, покрытые матовыми жирными натеками масла и соединяющиеся между собой в железную клеть – в то время как позади всего этого, по ту сторону Железнодорожной Насыпи, раскинулось неподвижное Туманное море –, и в нем растворялся свет Месяца, искривленного черепка, медного & холодного –. Я не испытывал страха. И неуклюже ковылял по щебню, уже протянув руку, чтобы схватиться за поручень Последнего Вагона. !Сейчас – еще только 2 шага – один большой шаг – и тогда я смогу подняться – –

– Но тут на меня обрушились Яркий Свет, Голоса Шаги Грохот : вырванный из не закончившегося сна, я приподнялся на скамье в зале ожидания и уставился на входную дверь: какие-то люди вваливались, неторопливыми & солдатскими

О-шагами, внутрь помещения, ошметки холода & клочья тумана, занесенные с улицы, клубились вокруг их массивных фигур, некоторые уже успели надеть строительные каски, и все были в рабочих комбинезонах, с накинутыми поверх обычными куртками; – *!Гляньте, ребята, кто тут обосновался: !бомж – ; – Не-а: не бомж: Это, наверно, наш-Новенький* – :ОНИ имели в виду меня. Я ничего не сказал, только быстро вскочил со скамьи, потому что услышал, как к платформе подходит поезд….. – Тогда это мне почти удалось, я был близок к этому: чтобы освободиться от всего здешнего Дерьма – каменистого бесплодного поля, усеянного обломками Прошлого – коверкающими каждый мой час – во сне я уже держал Все=Это в своих руках и с той блаженной легкостью, которая возможна только в сновидениях, чувствовал, как оно растворяется в Тумане – превращаясь в то холодное Ничто, что оставляет после себя меньше чем на йоту росы, и потом – никаких воспоминаний – в !тот раз мне бы это удалось – !Можешь быть уверен – ?!слышишь меня – !Точно тебе говорю – : но мне Всё испортили – из этой Цело=Купности Низости Грубости & Сентиментальности, в которой мы все увязаем, как мухи, прилипшие к клейкой ленте, могут возникать только Мерзости и Ужасы….. И все же пока я способен мыслить Образами – ?!понимаешь – Страх не одолеет меня – :Хотя и Фантазия уже не свободна – не свободна от обломков, руин – *Ты еще не похож на 1го-из-наших=Лагерников* Услышал я, много ночей назад, голос тучного охранника, когда он, широко усмехнувшись (кителя на нем не было), схватил меня, зажал в углу комнаты, потом поднял кулак & врезал по морде – Мертвые иногда хватают живых – бывает, что в сновидениях ОНИ даже дают нам затрещины –, так вот, всякий раз, когда мне почти удается запрыгнуть на тот Большой Поезд, ждущий меня в конце перрона: когда рука моя во сне тянется к поручню и пальцы уже смыкаются вокруг холодного железа, и: остается сделать только один непривычно размашистый шаг, чтобы подняться на подножку, – !именно в такие моменты – :из орды всегда готовых прийти тебе на помощь благородных & благожелательных хамов !обязательно выходит какой-нибудь богомерзкий идиот & включает свет –: Судьба и Сраньё, дорогой мой, похожи не только тем, что начинаются с одной буквы.

– Еще не совсем проснувшись, я побрел вслед за остальными, Наружу, на платформу; в голове – жжение, и жжение – на языке; веки горят от пыли и бессонной ночи. 5 утра: утро еще только брезжит, влажная известь, рассыпанная в темноте. В желудке нехорошо : то ли от голода, то ли потому, что тошнит. Из стены вокзального здания торчит 1 кран: я отхлебнул от водяной струи, она была сладковатой, с привкусом холодного железа, – и сплюнул на рельсы, чтобы избавиться от гнилостных остатков этой ночи. Уставился на шпалы – на щебень –:на железнодорожное полотно (:*!как бы я хотел сейчас быть сорной травой или камешком среди других камней* –)-, зевок, разодравший мой рот, порыв ледяного ветра, время отправляться в путь. Это был не он, не тот *Большой Темный Поезд* –; а какие-то жестяные собачьи будки, поставленные на колеса –, поручень ледяной & шершавый – такими же мне представлялись и мои кости, тогда как в кишках выпитая холодная вода, казалось, ножами проковыривала & просверливала для себя узенький проход –. Так оно и пойдет дальше, год за годом. Здесь ли, в качестве чернорабочего, или в других местах, но тоже в качестве бездомного работяги:

В-точности-так. Годами. Десятилетиями. День за днем. Даже без надежды подохнуть на своем рабочем месте. Потому что прежде, чем это случится, тебя своевременно вышвырнут вон. Чтоб пускал слюни & писал в штаны не где-нибудь, а в !Доме-для-престарелых. Потому что стареть – значит нагибаться и подбирать у себя же из под ног камни=оскорбления, которыми осыпают тебя Другие, не сомневающиеся в своем превосходстве над тобой: Старики !никому не нужны – Слишком!много их развелось – & слишком !дорого обходится хранение этого ненужного багажа – Хотите жрать, поищите себе что-нибудь на погосте, *эта* забегаловка для вас чересчур хороша. – И все же годик-другой тебя еще потерпят – Селекция в рамках соцобеспечения….. *Но уж потом, будь так !любезен, не тяни…..* Сплюнь, если хочешь, – И Издохни – Последняя Срань=Последнее Причастие – *Хватит, Приятель, пора и !честь знать* Космическая граница=Сточная канава, & – ищи-свищи свою пенсию в воде. Зато !Никаких сцен больше !Никакого балагана – всяких там Бим-Бам-Тарарам – :Даже колокола порой сбиваются с ритма – ведь каждый новый день не лучше самого 1го : *Говеная жизнь…..*

И почувствовал, как толчок, что меня отбросило в прежнее настоящее, в прежнее место: я по-прежнему сидел, прислонясь к стене, недалеко от входа; от влажной каменной кладки тянуло холодом, и озноб, будто на паучьих лапках, пробегал по коже. Снова один. : Я даже не изменил положения. Я сидел, оцепенев в неподвижности, Внутри Руины и у края этой Бумажной Горы….. Утренняя заря цвета мыльно-щелочного раствора, незаметно просачивающаяся сквозь стену тумана, приближающаяся, развертывающаяся, распространяющаяся вместе с сероватым светом над влажной каменной кладкой, расшифровывающая содержание Тьмы, и я, так и не спавший этой ночью, окоченевший и грязный, кожа под известковой коростой распухла и зудит от бессчетных укусов насекомых, Чесаться Чесаться –:Кровь и Грязь под ногтями, и, несомненно, я скоро внесу инфекцию….. в руках клочки бумаги….. Завитушки Каракули (так это называют), оставшиеся от несмертных часов *Чужака, который никак не мог умереть,* Страх… удушающий, все убивающий страх….. Здесь тебе не истории о героях и не плутовской роман – а только Заботы Животного & извечно-Человеческий Вопрос *Зачем все это зачем* – !Но !эти Глаза: они остаются, вопреки кровавому потоку времен, вопреки всем фотокарточкам с обгоревшим краем, – похожие на порой возникающие в сновидениях безжизненные леса и на расщепленные ущельями скалы : !эти !Глаза : как они глядят – пронизывающе печально загнанно и отчаянно – Воскресный вечер, изнемогший у края позднелетней грозы, все часы утекли в грязно-бурую заводь застоявшихся туч, свет, застрявший в оконном стекле, ржав тускл & горяч, как конфорки кухонной плиты –, и упрямство ребенка – Мать ведет его за руку домой – в эти душные моменты уходящего воскресенья бесконечно повторяет детский=настойчивый вопрос *Ну скажи: Зачем Все это зачем*, и в лице Матери, замкнутом & спокойном, эта женская забота, это естественное внутреннее интуитивное чувство, которое молчит во все те моменты, когда Повседневные-Неприятности, связанные со Школой испорченной Одеждой Царапинами & другими Повреждениями, подобно грязной дождевой воде заполняют все ее часы нескончаемой суетой –, но которое внезапно *обнаруживается* в

такой вот крошечный момент под душным Грозовым небом – как если бы она у этого ребенка, которого держит за руку, !внезапно в 1-й раз распознала ту стигму, которую в свое время носила уже ее мать, как носили ее & передавали по наследству и все предки матери, и которую она ощущает в себе самой, хотя никогда не искала Слова, способного Это выразить, и никогда не называла Это никаким Словом, ведь и слова *Атмосферное давление* & *Температура* очень мало говорят нам о том, что в действительности представляет собой *Погода* –, и вот теперь, в этот предгрозовой вечерний час под пыльно-бурой заводью застоявшихся туч, она открыла в этом ребенке, которого держит за руку, это Слишком-Поздно, эту проявившуюся уже в ранние годы Склонность-к-Одиночеству, эту семейную черту, парадоксальным образом заключающуюся в том, что именно Родство & Сходство людей безжалостно и безысходно предопределяют на все еще не наступившие, еще только предстоящие годы также и Невозможность их длительного Со-Существования, то есть жизни друг с другом и друг для друга, & это ее внезапное движение, схватить сына за руку, движение, о котором она, конечно, не думала, что оно может что-то изменить, и которое было просто безотчетной реакцией на то, что она заметила в ребенке эту наследственную черту, – так человек, который выбросился из окна, инстинктивно протягивает руки, будто желая оттолкнуть приближающуюся мостовую – *?!Что из тебя получится ?!Что еще получится из всех нас* – ; короче говоря, такая Забота, которая не дает никаких ответов, а только время от времени, вновь & вновь выражает этот Страх….. только – этот про!клятый Страх…..

Утренний Свет, ГлыбаТумана, состоящая из молочного-холодного мерцания, пододвинувшаяся Снаружи к Отверстию, ведущему во Внутренность Руины : Решетка перед входом как в последний вечер: плотно-плотно пригнанные друг к другу & теперь как тонкие сухожилия врезанные в ГлыбуТумана вертикальные металлические прутья, которые, будучи прикрепленными к 4хугольной массивной раме, как будто бы совершенно закрывают выход из руины, если не считать 1 отверстия в видном отсюда-изнутри левом нижнем углу –, они, похоже, были здесь с незапамятных времен, с того момента, когда Кто-то впервые озаботился тем, чтобы держать закрытым Вход & Выход из этой Руины. Отверстие, тем не менее, достаточно велико, чтобы я или Другие могли проползти во Внутренность Руины & выбраться из нее. Он, Главарь (которого ОНИ называли *Совой*), – он, должно быть, с большой опаской протискивался через Отверстие в Решетке, после того как понял, что его попытки вызволить *меня* отсюда Наружу оказались напрасными, но в конце концов он выполз отсюда к ДРУГИМ один, наверняка раздосадованный, обиженный: Несправедливостью, осадком всякой Заботы & всякого Доверия – и Отвращением в последней ухмылке Страха. Так что теперь эта решетка перед входом в Руину казалась такой, как если бы, кроме меня, очень долгое время !никто здесь-внутри не бывал. Но ведь это был не закрытый проход, а калитка, оставленная – видимо, по недосмотру – открытой, через которую столь Многое могло ускользнуть и в которой столь Многое могло исчезнуть…..

Эта Ночь неумолимо подошла к концу – так же, как закончилось за 1 ночь Лето. И никакое Слово теперь уже не может дать отсрочку, замедлить ход событий. Когда в свой 1-й день в *Иностранном легионе* я сидел в пригородной электричке,

в 1м из ее темных гремучих железных вагонов, и ко мне с подозрением приглядывались – или игнорировали и избегали меня – ТЕ, кому на непредсказуемое время предстояло стать моими-Коллегами = моим-Окружением, а тот утренний туманный час еще только чуть-чуть осветлился Серым Сиянием, даже тогда: никакая отсрочка и никакое замедление хода событий уже не были возможны: Дело зашло слишком далеко. Теперь я был с НИМИ; и казалось, ОНИ, вплоть до этого часа, действительно ждали меня….. Я попал туда, где мне следовало быть, во Внутренность Большого Темного Поезда….. И получил то, в чем нуждался. Я тогда молчал, так же как и Другие, попросту заткнул свою пасть, а Поезд с его характерными шумами, с Тряской & Вибрацией, сверлил наши тела, каждому казалось, будто Тряска эта исходит непосредственно из него самого, из каждого вырванного у Ночи человеческого тела….. Туман же подкрашивал Ландшафт & Утро серой Тишиной – –

То Немногое, что у меня было, давно превратилось в Слова – Ганс Кровяная Колбаса & Бюргер Кляйн, отравленные обезьяньи сны, изобилующие ежами & знаками препинания….. – я сказал Все, но это Ничем мне не помогло – потому что и этого Немногого, оставшегося в Ночи, как оказалось, было слишком много. Теперь наступило Утро, Ночь закончилась и иссякла.

В утреннем мыльном растворе, плавающая, Внутренность этой Руины: Давно оставленные своими последними хозяевами, но сохранившиеся, а когда-то брошенные, даже Мародерами & Грабителями оцененные как ненужные, – Вещи, и эта былая-Жизнь, продолжающаяся сама по себе, как тайная Жизнь Забытого и Искалеченного; ибо теперь Всё то, что прежде было для вещей Пассивом их жизни & для чего они в конечном счете создавались, заимствовано ими, как *их собственная* форма существования, у Всего, что с ними когда-либо происходило: Быть Взятым-в-руки –Использованным –Отложенным –Потерянным –Провороненным –Забытым –Выброшенным, & кроме того, у всех тех, даже неизмеримо малых, действий, на которые способны Люди и которые диктуются Радостью Гневом Отчаянием Страстями Скукой и Лютым Безумием: Швырнуть Растоптать Стукнуть по столу С помощью Молотка Ножа Ножниц наказать Угол-шкафа Дверную-ручку Спинку-стула на которые человек наткнулся С силой запустить чем-то в стену Стряхнуть с рук рой светлых водяных капель И подхватить падающее И Казавшееся потерянным снова найти и незаметно преисполнившись благодарностью нежно прижать к щеке поднести ко рту как если бы губы с наслаждением и жадностью слизывали капельки пота с кожи возлюбленной – Ярость & Нежность, пресловутое Безумие вечных Детей –:– так вот и расщепляются Деревянные-ручки Оконные-рамы Крышки-столов – на пластины, на деревянные страницы некоей Книги, которая непрерывно пишется Незаметно Навеваемым, тем Сором Повседневности, которого страшились Классики & и потому со страхом избегали подобного Зияния, как и в своих скульптурах они со страхом избегали изображения телесных отверстий; так же образуются и трещинки на блестящей эмали или свинцово-серые выбоинки величиной с человеческий глаз; так же выцветают краски на ручках кувшинов на кромках чашек; так появляются зазубрины & ржавые крапины на лезвиях ножей; так распадаются на волокна и рассыпаются в пыль Шнуры Покрывала Простыни Гардины – – Рамка из Пыли, из неописуемого

Сора, оставляемого скользящим мимо Временем –. Это сперва. А дальше все происходит так, как если бы выброшенные Вещи хотели спародировать Угасание & Гибель своих прежних Хозяев, сами обретая все более блеклые тона в темно-окрашенных водах Исчезновения, потому что ведь Светлость и Яркость – всегда Первое, что становится жертвой Утраты –, так же и эта груда из всевозможных обломков мебели здесь, во Внутренности разрушающегося отсыревшего здания, груда, которая выглядит так, словно все содержимое гигантского выдвижного ящика из шифоньера некоего Недавно-Умершего, все полинявшее затхлое и теперь бесстыдно выставленное на показ Барахло, не имеющее никакой ценности (даже с точки зрения непоследовательных и непредсказуемых в своей сентиментальности Наследников, внезапное появление которых еще не вовсе исключено), однажды было выброшено именно Здесь, а потом оставлено & забыто, как любой Мусор –, она, эта груда, теперь окружена Осыпью, то есть засохшими заскорузлыми искривленными мумифицированными Обломками Себя-Самой, всевозможным Разбитым, Расколоченным, но пылью соединенным в почти уже растительное Друг-с-другом-Сращивание –, она заражена, охвачена, пожираема той гнойной, лепрозорной Мерзостью Запустения, что неизбежно сопутствует Бедности и Забвению, она раз-и-навсегда рухнула в Провал Катастрофы, и, сперва распространяя это свое Болото только на непосредственно Ближайшее, Примыкающее, затем расползается дальше и дальше, незаметно и постепенно, как если бы она была мокнущей Раной, размягчая и превращая в гнилостную грязь также и все Окружающее=Округу….. И из всего этого еще вздымаются, как шероховатые хрупкие Скульптуры, все эти Орудия, которые никому больше не нужны, которые предоставлены самим=себе в их Остаточном-Здесь-бытии & которые попали Сюда, потому что в конечном итоге Всё когда-нибудь Куда-нибудь попадает, и они не могли просто ждать своего Конца, потому что никакого конца у них нет, а только постоянное, вновь и вновь возобновляемое Окончание, они заканчиваются, но не кончаются, теряют все новые обломки, медленно, опираясь на Близлежащее, оседают, какое-то время еще находя в этом Близлежащем опору, как в заболоченных местностях прогнившие древесные стволы стараются опереться на какой-нибудь, тоже уже давно зараженный гнилью, ближайший ствол, чтобы когда-нибудь все равно начать погружаться в болото вместе с ним, падая крошась расслаиваясь-на-волокна размягчаясь все больше и больше, и все более уменьшаясь в размерах, как всегда Еще-Остающиеся все более уменьшаются в размерах среди всего-этого пропыленного дерьмового Спокойствия, но никогда им не дождаться Конца, никогда – Исчезновения, никогда – окончательного, освободительного, Все в себе растворяющего Аута….. И, объединившись в подобной дурацкой куче, они демонстрируют это одному=любому Наблюдателю, потому что они, эти выброшенные Вещи, похоже, нашли для себя именно !такую аранжировку, которая позволяет им, наконец, разыграть спектакль об Умирании этих-Других…..

Но, ?может, такое – ими же самими инсценированное – Умирание Вещей среди Мусорной Кучи было все же не хамством, не местью и не сатирой этих вещей на смерть их прежних, давно исчезнувших хозяев и их потомков, а – столь простым, что его можно голыми руками ухватить, Учением, усвоить которое (не говоря уже о том, чтобы выполнять) способны, тем не менее, лишь Немногие:

терпеливо выжидать – оставаться стойкими и тихими – среди всех завихрений Раскаленного Пепла Деловитости, Суеты & Распоясавшегося Праха ДЕЛАТЬ то, что всегда понималось как Искусство Самосохранения и в определенном смысле является ядром всякой=отдельной Игры, из-за чего всякая игра, оканчиваясь, неизбежно остается незавершенной: Разочарование возникает оттого, что ядро это !никогда не может реализоваться в действительности, и в тот самый момент, когда мы его замечаем, мы тотчас угадываем и неизбежность его конца: оно никогда не было чем-то стабильным, устойчивым, и только в Ретроспективе, в Воспоминании вспыхивает и гаснет перед нашим мысленным взором Все то, что когда-то могло бы осуществиться, но так и не осуществилось – –

И надо всем этим, Убывающим, распростерся, бледно мерцая в двусмысленном свете, подобно уже подпорченному Снегу, и протягивая в это помещение свои щупальца, исчерченный каракулями, медленно разбухающий от сырости бумажный Саркофаг для одного Существа – : Там под ним *он* и должен быть, этот ч*еловек*, о чьем умирании без надежды на смерть люди уже рассказывают легенды; этот бесконечно пишущий=этот Осенний человек –: Где-то там, среди всей этой гниющей рухляди, под обвалившимися слоями бумаги….. Там: ?Смогу ли я *его* найти – смогу ли !наконец понять, ?что побуждает *его* писать, непрерывно удлиняя *свои* земные часы *своим* писанием, из-за чего он и не может умереть – –

– – В тот самый момент, когда я начал искать *его*, этого Мертвеца в его нескончаемом Умирании, или, скорее, Человека, которым он был когда-то и который, конечно, тоже никогда не знал, ?Как нужно жить, а вместе с тем – начал искать и То, что он (?как долго) понимал под *Жизнью*, что просто превращал в последовательность разных мелких скучных злобных & хамских СамоОправданий, последним и самым длинным из которых стало его *Писание* –, и мои поиски не принесли мне успеха, ибо я не нашел Ничего и Никого под этими перепутавшимися отростками ветхой грязной бумаги – –, так что постепенно во мне крепло совершенно=определенное подозрение & я не мог не предположить, что если даже *Кто-то* и в самом деле – здесь, в этом месте, где посреди Мертвенной-Застылости пролегает устрашающая Граница, – добивался *собственного* Исчезновения путем неустанного Писательства, он мог давным-давно отказаться и от такой деятельности и от *своего* пребывания здесь, в этом Ничейном месте, мог убежать в любой момент, когда ослабло внимание подсматривавших за ним наблюдателей; может быть, даже в такой вот час как этот, потому что для Бегства & Казни всегда стараются выбрать самый ранний час дня; или же *он*, этот Чужак, этот якобы *Умирающий*, попросту нагромоздил вокруг *себя* всю эту валявшуюся поблизости Мертвую Рухлядь и с той поры стал недосягаемым для всех-этих Историй & Посягательств со стороны людей, которые простоты ради связали *его* нескончаемое Умирание с Грязью & Ужасом этого Мертвого Места, которое некогда было их селом, – возможно, чтобы в глазах чужаков и в своих=собственных глазах как-то оправдать то состояние и то расположение духа, в котором сами находятся (?как долго), & в котором вполне отдают себе отчет, хотя им никогда не приходит в голову мысль, что они могли бы изменить эту ситуацию &

вместе с ней самих себя. Или: дело даже не в этом: Ибо, возможно, Здесь, в этом Месте, !никогда и не было такого свихнувшегося чужака, !никогда не существовало 1 автора всех-этих липких историй об Умирании Смерти & Тлении – : Скорее уж (& вынырнувшее из тумана светлое сияние придало такому предположению четкие контуры), скорее уж все эти разбросанные кругом каракули в конечном счете могли оказаться лишенным какой-либо таинственности *пэчворком* из ошметок мира изобразительной&печатной продукции, то есть из фрагментов множества порванных растрепанных и размокших Книг Газет Журналов Писем должностных Протоколов Рецептов погашенных & непогашенных Счетов Жалоб Объявлений Дневников Извещений-о-свадьбах&похоронах, Остатки & Обрывки которых, просто в силу случайности или вследствие давней практики людей, которые обычно именно в подобных местах избавляются от своего мусора, так же как и уже исчезнувшие Пограничники (о которых рассказывали местные крестьяне) в свое время будто бы именно здесь зарыли свои ядовитые & взрывоопасные отходы, – так вот именно-такая Практика & именно-такая Случайность могли соединить Здесь Все-Это, среди Запустения все больше и больше разрушающейся Руины, разинувшей в Зевке свой дурнопахнущий Зев, и, продолжая рыться во всех этих вязких отбросах, так теперь думал я, я не найду Ничего кроме Клочков & Кусочков Обоев – Бумаги под Бумагой под Бумагой – влажной & покрытой буро-зелеными точками, этих прилипших друг-к-другу&1-поверх-другого бумажных листьев, постоянно увеличивающих почвенный слой Руины и постоянно же его отравляющих –,

– – в тот самый момент, когда я окончательно осознал, что под всей этой грудой полуразложившихся каракуль я не найду Ничего и Никого, разве что все более вонючие слои бумажного теста, которое в конце концов без всякого перехода просто сольется с ноздревато-заплесневелой глиной; и что все-эти истории о *Ком-то*, кто, оказавшись пленником нескончаемого Умирания, будто бы никак не мог найти *свою* Смерть, в действительности суть не что иное, как изобретения недобросовестных Лжецов, крестьян, которые не остановятся ни перед какой глупостью, лишь бы уберечь от исчезновения свою Ничейную Землю; и которые предпочитают лучше Ничего не иметь, чем иметь что-либо Другое, – потому что это *Ничего* они по крайней мере знают с незапамятных времен & потому что это, даже в своем нынешнем Уже-Не-Существовании, могло бы служить им Опорой, точно так же, как уже отжитые, со временем тихо, жестоко & незаметно меняющиеся Воспоминания постаревших людей могут служить только & 1ственно для того, чтобы давать опору этим старикам, ибо они, все эти Воспоминания, неизбежно оказываются еще более хрупкими, еще более шаткими, недостоверными & клонящимися к упадку, чем сами-эти-люди –; а поскольку они, здешние крестьяне, может быть, благодаря каким-нибудь слухам, учуяли шанс, что именно этот пустырь вскоре будет иметь большую коммерческую ценность, потому что станет площадкой для осуществления грандиозного архитектурного проекта – сооружения !промышленного комплекса; !развлекательного центра; или даже !аэропорта – : & они теперь надеялись на то, что, помимо своего желания сохранить все как есть, оставаться&коснеть в Старом, Хрупком, Отжившем, смогут еще дополнительно

выколотить Деньги & обещанные Гигантские=Прибыли, спекулируя этим земельным участком, так что они намеревались оккупировать эту территорию, сидеть на ней грузно & комфортно, как филин на своей добыче, & каждого, кого они заподозрят в том, что он собирается отнять у них эту смутно забрежжившую перспективу будущего *Богатства*, отпугивать всеми возможными способами, пусть даже и таким нелепым, детским, бессмысленным, как распространение подобных лживых историй о застрявшем в своем умирании Полумертвеце; & Всем=этим они упорно занимались, движимые тем же Рвением & тем же, отчасти свойственным именно крестьянам, а отчасти врожденным, Рефлексом, которые заставляют их овец, уже под ножом мясника, до последнего мгновения & биения своей жизни двигать челюстями, совершая жевательные движения –,

– – в тот самый момент, когда я, без пользы ковыряясь в куче слипшихся бумажных обрывков, наконец осознал, что просто попался на лживую выдумку, столь же длинную сколь глупую, в результате чего для меня сделалось невозможным возвращение Наружу, ибо я перестал понимать, ?как вообще я смогу вернуться в мою Повседневность, состоящую из Строительного мусора Пота промокшей Одежды кровавых Царапин & жестяных Контейнеров (:но, с другой стороны, и гораздо более глупые выдумки, придуманные из гораздо худших побуждений, издавна доводили до полного безумия куда более стоящих людей, чем я) –,

– – в тот самый момент, когда в голоса рабочих, там Снаружи, ворвался Шум & Грохот их машин, разрывая туманную тишину утра, & ОНИ начали ту *Работу*, ради которой ОНИ, а значит, и я, собственно, и приехали сюда – вчера, в последний день Собачьего лета, на другом краю Ночи –,

– – в тот самый момент, когда я поднял 1, видимо, очень старый, коричневато-влажный & покрытый сильно выцветшими каракулями клочок бумаги и скорее рефлексивно, нежели из подлинного интереса, попытался в мутных утренних лучах расшифровать написанное – :

Я увидел через дверной проем, как мерцавшая молочным-холодным светом ГлыбаТумана !внезапно стала Пламенно-Розовой – : Я услышал в собственной голове как бы ВЗРЫВ –, и еще один –, и сразу же вслед за тем – третий : И Каменные&земляные-градины Всполохи огня Восклицательные знаки в треске Пожара – взвизги Машин – грязно-красные Ядра, обрушивающиеся из горящего воздуха, полыхающие бензиновые Кулаки с закопченно-черными пальцами, Железный Кашель: Штанги Винты Шестеренки отплевывающийся сажей Катар – Сотрясение-Земли&Стен – и, как бы увиденное в лупу Времени: начиная с нижнего угла, с отверстия в проволочном заграждении, решетка закатывается, поднимаясь вверх, словно крышка на банке сардин, и, совсем скатавшись, устремляется утыканным ржавыми крючьями снарядом во Внутренность Руины, вонзается в крошащуюся стену рядом с моей головой, Брызги-кирпича&раствора, и: с Жестяным Смехом он, этот снаряд, обрушивается прямо у моих ног, присоединяясь к прочему Дерьму –; и тут я в замешательстве чувствую, как мой рефлекс самосохранения, инстинктивное желание бежать от опасности, превращается в парализующую, свинцовую Усталость, как если бы в моем сознании раскрылся Словарь, в котором переводы не соответствуют иностранным словам, – и потому все внешние катастрофы, такие как эти Взрывы Летающие-камни&кирпичи теперь вызывают у

меня в качестве ответной реакции совершенно неправильные, безумные Действия, точнее, Недействия, Выжидание, Стояние посреди всего этого Дождя & Града из Каменной&кирпичной-крошки Деревянных балок & Всякого-Хлама посреди Огня&кислой вони – но и это еще не все, ибо сама констатация такого состояния, увиденного мною как бы со стороны, вызывает у меня безумный Смех – все мое грязное, влажное, окоченевшее от холода тело сотрясается, пальцы судорожно цепляются за Мусор & Перегной, и к ним опять прилипают клочки обоев, похожие на записки заключенных, – а Туман там снаружи разорвался на полосы кровавых Бинтов – –

На 1 Короткое – как если бы я выглянул наружу – через дверь – 1 мерзкий молот, огненно-рыжий летящий мимо 1 Силуэт, светлые космы спутанные & разлетающиеся, разодранный застывший в крике черно-красный рот –, и он, этот Силуэт, кажется набросанным грубыми мазками на Огненной панели, у него Контуры из горящей пыли, & как Идол в каком-то языческом ритуале, Он высоко поднял обрубок человеческой руки, из которого хлещет кровь –, и, вслед за ним, другой, согнувшийся, странно узкий Силуэт, с головой-дыней, с коротко стриженными волосами, замахивающийся плотницким молотком – : *похоже, ОНИ решили не упускать свой шанс & сильно сократить обычный юридический путь* – и мимо –, потом звонкий металлический удар сыплющиеся с неба железные блямбы и остатки 1 селения вокруг, & Удар в Грудь, неуклюжий обломок деревянной балки, с громыханием сверзившийся откуда-то сверху, отбросивший меня к стене, и я падаю, успев почувствовать острый как стилет запах едкой кислоты: ТЕ САМЫЕ !БОЧКИ: !ЗАРЫТЫЕ В ТОГДАШНЕЙ ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ ТОЙ САМОЙ АРМИЕЙ !БОЧКИ со всеми=возможными взрывчатыми веществами внутри: ЭТО !ОНИ !ВЗЛЕТЕЛИ НА ВОЗДУХ (Хоть в этом-1ом они со своими историями не лгали, эти люди из деревень….. вокруг.)

И ?или на этот раз в моей голове : еще один взрыв – *!Теперь тебе каюк* – 1 фраза, гигантской Воздушной Рукой высоко поднятая, и Кобольды, сброшенные сверху летящие вниз головой, Виском Скулой Подбородком проехал по липкой стене, горечь Известки Пепел шероховатый Кирпич потом мясистая сладость во рту, и, медленно, обессиленный, сползаю вдоль стены вниз как раздавленная гусеница, поле зрения окрашено в цвета огня, и почему-то с зазубренным краем –, тогда как тесный чулан-руина, разинутый как грязная пасть, выхаркивает сквозь пеньки своих зубов кислое облачко пара – – : – – (и мир вокруг – задымленный, оглохший, остекленело-булькающе-подводный, дурацкое бульканье пульсирует в ритме чужого, еще не лопнувшего Сердца….. От правой Руки 1 укол – еще 1 –, я чувствую, как мой голос вибрирует под разрывающейся от боли грудью, слышу, как оттуда голос мне отчетливо говорит: *Теперь медленно опусти взгляд, так, нет еще чуть-чуть ниже* –: вдоль тыльной стороны кисти овальная рана, бело-серая, видна выступающая кость: кость от !моей руки….. И я удивляюсь: *!Комично: во всем=этом Бело-Сером есть только кости & плоть, совсем чистая, и ни 1ной капли крови* –) – Потом снова – утренний свет, ГлыбаТумана, уже без решетки&оков, из молочного-холодного Мерцания….. И – ватная Тишина – –

Дождь опять принялся за старое, побрел в своем шуршащем плаще сквозь кусты, древесные кроны и травы, отчетливо & неестественно громко раздавались

его шаги в этой тишине, оставшейся, как казалось, без Призраков Людей & Машин. Я схватился за правое ухо, потом – за другое : я слышал шуршащие прикосновения его грязных пальцев к моей коже – :!Значит, я !не оглох от взрывов; я слышал, отчетливо и ясно, как шуршит Тишина, безлюдная, и холодная, и пропахшая гарью. Рана на руке начала сильно кровоточить – струйки прокладывали себе путь сквозь серую корку грязи на моей коже, как реки, змеящиеся по топографической карте, *и вода сделается кровью*, я все еще судорожно сжимал в пальцах буро-влажные & покрытые выцветшими каракулями клочки обоев, подрагивая раненой кровоточащей рукой –; пульсирующая боль; жужжание в голове – мерцающая колеблющаяся кинолента с безумной скоростью бежала перед моими глазами, на ней возникали крошечные сверкающие яркие взрывы, и запах нитроглицерина & кислоты, казалось, въелся в поры моей грубой одежды, в поры моей покрытой коркой-грязи&крови кожи, как и в капельки тумана вокруг. Я смотрел сквозь разворачивавшуюся с бешеной скоростью кинопленку на преобразившиеся в паутину письмена – ?может, боль и дрожь уймутся в 1 и тот же момент, и тогда, ?может быть, я сумею прочитать – –

И так длилось долго, очень долго – кровь из моей раненой руки, теперь мерцавшей сквозь всю покрывавшую ее грязь странной свинцовой белизной, струйками стекала к ногам, на слои бумажных обрывков, я слышал, как Дождь=Снаружи мягко падал на разодранную взрывами землю, я и его мог слышать так же отчетливо, как если бы это происходило в моей голове, и я слышал, как здесь-внутри кровь из моей руки тяжелыми каплями плюхалась на землю….. Из Тишины-после-взрыва, которая плоским концом молотка забила все звуки в белую жесть своего Котла=Ночи, постепенно выступали в этот уже убывающий переходный час шорохи нового утра, и дождевая вода смывала запахи гари с обгоревшей травы – вскоре воздух опять приобрел влажный привкус росы и глины, он был насыщен паром, как в прачечной, был горько-сладким от покалеченных листьев и трав – старая мерцающая кинолента теперь текла перед моими глазами медленно и спокойно, как бывает во сне, с плавными переходами от одного кадра к другому – – Крошился камень, стены проваливались в землю, каменные саркофаги погребали сами себя – и периодически появлялись животные – чем-то кормились, ведь наступил новый день – – и теперь, наконец: Боль на время утихла; то, чего я ждал, началось: я принялся разбирать корявые знаки на клочке бумаги в моей кровоточащей руке – –

И опять это длилось долго, очень долго. Прежде чем *я* начал понимать: *Мое* сердце бьется в ритме сердца чужого, сердца Чужака, который, как *я* слышал, никак не может умереть. *Моя* жизнь – только мрачный сон, который снится кому-то, Лихорадочно Бредящему. Паутина из каракуль, натянутая чужой рукой, многочасовая Охота, со Злобой Ненавистью & Яростью, по угодьям дерьмовой бумаги. И Ничего не остается в конце, *Я* – только тень, которую держат на тонком поводке Письменности; призрак, который должен изображать жизнь, но каждый шаг которого направляется чуждым ему Тоническим Размером, и так до последнего слова. И даже *мой* теперешний ужас уже пред-писан заранее, как этот наступающий день. А эти Письмена, они исчезнут в тумане – из утра – распадутся на клочья.

Где-нибудь в этой Бумажной Горе, в этом *пэчворке* из лоскутьев напрасно растраченной Жизни, *я*, наверное, мог бы прочитать о Тумане, о Ненависти & Ярости некоего Мертвеца, который никак не может умереть и пытается растянуть еще оставшиеся ему часы, создавая *пэчворк* из лоскутьев напрасно растраченной жизни. *Я пишу, следовательно, я существую*. И если бы *я* наклонился, поискал в этой куче покрытых каракулями обрывков бумаги, *я* наверняка рано или поздно нашел бы *тот* обрывок, на котором написано, что *я* наклонился и кровоточащей рукой выхватил из этой кучи исписанный обрывок бумаги, чтобы прочитать, как *я* наклонился, выхватил из кучи исписанный обрывок и смог опять прочитать, как *я* написал о том, как *я* пытался прочесть в тишине, наступившей после взрыва, в ТуманоСвете из Утра=Серости, те заметки, которые *я* поспешно набрасывал в Темноте кровоточащей рукой в какой-то другой, придуманной жизни –, и я стал поспешно читать, пока от сырости и от боли, вызываемой написанным *мною* же, письмена не начали расползаться у *меня* на глазах, читал заметки, оставшиеся от понапрасну растраченных ночей, когда была поймана в сеть каракуль *моя* мушиная жизнь – и потом высосана Пауком Времени –, *я* сидел в эту ночь, как и в предыдущие ночи, прислонясь к стене, недалеко от входа, от влажной каменной кладки тянуло холодом, и озноб, будто на паучьих лапках, пробегал по *моей* коже. : *Я* сидел совсем-один, оцепенев в неподвижности, ?Как-долго, поблизости от входа во Внутренность Руины и у края этой Бумажной Горы….. и все Написанное здесь, для того, чтобы протянуть *мои* часы 1ночества от одной Ночи-в-Руине до другой, было давно забыто и еще раньше стало *мне* чужим, так что все это, разорванное на клочки и валяющееся здесь, теперь лежало в *моих* руках как Чужое *мне*, сотканное из туманно-бледного света: *Все эти найденные мною кусочки Жизни, состоящие из Ярости Отчаяния Шума & Крови, громоздящиеся грязно-бесцветной Горой, – все это ?действительно ?написал….. ?я* –. Тот Взрыв, который покалечил, порвал *мою* руку, покалечил, порвал и *мое* последнее деяние, *мои* письмена, эту паутину из неразборчивых строк, и кровь из *моей* руки допишет то, что *сам я* уже не смогу дописать. И *я* прочитал на грязном клочке бумаги, наудачу выбранном из горы каракуль, к чему принудила меня кровоточащая Рука Случая, те две строки, с которых *я* когда-то начинал:

–!Никто больше никогда не вступит в эту Руину. Ни за !что на свете никто не сделает этого хотя бы еще 1 раз.

И оставил поезд, который вот уже несколько часов неподвижно стоял на рельсах, решительно спрыгнул с подножки, чтобы продолжить свой путь пешком. Небо мгновенно опять затянулось тучами, серые щупальца испарений ощупывали луга и поля вокруг застывшего в ожидании поезда, и неподвижность тумана опять погрузила день в ватную немоту. Насыпь, по которой – по влажной от росы траве – я с трудом взбираюсь, определенно невысокая, и все же ее верх теряется в туманной дымке. Сухие весенние травы, подобно зубьям гребня, прочесывают проплывающие мимо клочья тумана. Спотыкаясь и оскальзываясь, я нахожу-таки, примерно на середине подъема, 1 тропу.

Справа, с другой стороны, у подножия насыпи (как бы выныривающей между двумя островками тумана), река: маленькие серые волны бьются о камни – ветра нет, ГлыбаТумана лежит и над этой водой, непроницаемая и крепкая. Удивительно:

Прежде, когда день, вскоре после восхода солнца, пребывал еще в своих светлых часах, я этой реки не заметил; может, узенький в другое время ручей, который всегда сопровождал эту тропинку на окраине города, в результате таяния снега внезапно стал бурной речкой, вышел из берегов и затопил окружающую местность. Ветра нет, эти волны внизу, вероятно, порождает сама речка, может быть, своим быстрым течением над неровностями дна, как бывает с морскими приливами и отливами. Чуть-чуть повыше и параллельно реке вьется дорога, тропинка, слегка наклонная, как и сам склон, а земля от туманной сырости размякла, как если бы уже несколько часов подряд моросил мелкий дождик. Но дождя нет. Насыпь с ее тропой, наклоненной в сторону реки, только в окружности нескольких шагов выныривает из туманного массива, как если бы каждый мой шаг заставлял тропинку заново возникать из дымного марева. Башмаки мои глубоко увязают в земле, я часто оступаюсь, нога соскальзывает и оказывается в опасной близости от воды. Если я упаду, мне не за что будет ухватиться на этом влажном и гладком склоне. Из зарослей каких-то растений, напоминающих бледный камыш, тянутся вверх тонкие камышинки тумана. Если я соскользну с крутого откоса и упаду в реку, я бесследно исчезну под волнами, и расступившаяся серая поверхность тотчас опять сомкнется надо мной – –

Цвет воды, между тем, изменился. Прежде серая, она сделалась дегтярно-черной, волны теперь кажутся маслянистыми и в своем течении более ленивыми, чем прежде. С каждым новым шагом по узкой тропинке (чернота земли соответствует черноте увеличившихся волн) я все больше боюсь соскользнуть вниз, упасть в реку, которая, как мне кажется, должна быть глубокой – оттуда поднимаются теплые испарения, а такое возможно только в огромном водном бассейне – и действительно, другой берег, видимо, где-то очень далеко, за туманом. Очень может быть, что это вообще уже не тот узкий ручеек, который, когда растаял снег, за одну ночь стал рекой и затопил округу; скорее, это то самое море, цель нашего предполагаемого летнего путешествия, обещанного моим отцом за несколько недель до его смерти. Тропинка, по которой я с трудом продвигаюсь вперед, могла бы теперь – почему бы и нет? – оказаться той тропой к крайней оконечности косы или острова, о которой отец, особенно в свои последние дни, так много говорил. Хотя идти по тропе мне все труднее и труднее; хотя я все чаще оскальзываюсь и при этом, что очень опасно, больше и больше приближаюсь к воде – страх, что я могу утонуть, заметно убывает : может быть, теплое дыхание, поднимающееся из темной маслянистой воды, освободило меня от этого страха; страха, возникшего, когда я смотрел на матовые волны, которые напоминали сделанные из серого металла детали все в себя затягивающего мельничного & колесного механизма –

Внезапно туман, так же быстро, как раньше сгустился, рассеялся. Между тем, не было никакого ветра, который мог бы его разогнать – и теперь, как и прежде, в воздухе не ощущалось ни малейшего дуновения, как если бы та неподвижность, которая перешла к этому дню от тумана, сковывала и воздушные струи. Температура тоже как будто не изменилась : просто серость и не пропускающий света туман как-то сами собой исчезли.

И свет полуденного часа, лишенного теней, какое-то свечение высоко в синеве. Солнца нигде не видно, свет, кажется, не имеет источника и с равной

силой распространяется повсюду, как прежде – непроницаемая гуща тумана. Насыпь же, по откосу которой я шел, незаметно понижаясь, превратилась в плоскую береговую полосу, в песчаную отмель, изрезанную сверкающими бухточками, поросшую выносливыми прибрежными соснами и колючими кустарниковыми зарослями, в зелени которых светятся красные цветы.

И между низкими, пригибающимися к земле прибрежными растениями устроились, по одному или маленькими группками, люди, они лежат в траве на пестрых одеялах, и у всех тела уже покрылись загаром. В воздухе ни звука; да и от кромки воды не доносится никакого шума. Люди с их живописными позами распределены по ландшафту так, как если бы некий режиссер специально аранжировал эту сцену, превратив ее в театральный спектакль на пленэре. Нигде нет теней, которые могли бы придать этой картине глубину, – ни вблизи, ни вдали: Море Пляж Люди Сосны и Кустарниковые заросли одинаково лишены теней, одинаково отчетливо и ярко выделяются на фоне этого дня. И хотя я еще слишком далеко, чтобы различать лица, мне кажется, я все же узнаю издали своих знакомых; узнаю по тем мельчайшим особенностям жестов и движений, которые дольше, чем имена, сохраняются в человеческой памяти. Поэтому ощущение чуждости всего этого у меня исчезает, как и опасение, что я заблудился – –

Когда я подхожу ближе, мне прежде всего бросается в глаза совершенно одинаковый, золотисто-коричневый оттенок кожи всех этих людей, а также застылость их лиц, неподвижных & торжественных, и поз. Я пытаюсь, выбрав путь по широкой дуге, обойти эти группы оцепеневших людей – я уже довольно долго смотрю на них, и за все время ни одно из тел ни на 1 йоту не изменило своего положения, да и сам этот час без теней, очевидно, не может сдвинуться с места; день будто раз и навсегда замер в равномерно изливающемся с высоты полуденном свете.

Твердо решив заговорить с кем-нибудь, я подхожу к одной группе – по всей видимости, семейной: к пожилым мужчине и женщине, которые вместе со своими внуками (двумя мальчиками, 1му – около шести лет, другому – примерно десять) тихо и неподвижно лежат в траве. Лица стариков (эти люди тоже кажутся мне знакомыми – я ищу в памяти их имена, но безуспешно) выражают то глубокое умиротворение и ту радость, что характерны для наслаждающихся долгими летними каникулами, и то же выражение уже запечатлелось на лицах детей, вместе с благодатью светлого забвения. Эта картинка колеблется в такт моим шагам, пока я приближаюсь к странной группе – –

?!Как могло расстояние придать грубо намалеванным чертам такую утонченность. Когда я подошел к этой группе, мне пришлось как бы медленно & с трудом расшифровывать непонятный текст: края сколов и разломов, какие-то складочки, трещины и разрывы подобно подрагивающей сетке покрывают светящуюся глазурь, которая словно вторая кожа облегает эти тела и лежит на них, как на тех муляжах кондитерских изделий, что слишком щедро украшены кремом & засахаренными фруктами & будучи выставленными в витринах, должны по идее возбуждать аппетит потенциальных покупателей – но на самом деле, хотя и радуют глаз яркостью своих красок, при попытке связать их с мыслью о еде вызывают только

тошноту. Грубо & наспех прорисованы, как я теперь вижу, и лица других отдыхающих на лугу, то же можно сказать о формах и пропорциях их туловищ, рук и ног: так, лицо одной дамы (лежащей в одиночестве на лужайке) кажется злой карикатурой на женщину, которую я любил много лет назад (она была последней, кого я любил; любил ее глаза, щеки, скулы, изгиб ее губ, обе светло-голубые жилки на шее, просвечивавшие сквозь кожу, – здесь же воспоминание обо всем этом хамски утрировано), однако даже и ее имя уже выпало из моей памяти.

Лицо одного мужчины, не лишенное сходства с моим, хотя и более молодое, искажено гримасой наигранной моложавости; еще одну женщину, чья рука покоится на плече мужчины, отвернувшегося от нее и смотрящего в Никуда, неизвестный создатель этих халтурных поделок наделил ртом, как бы намеренно пародирующим смех, ибо разверстая чернота этого рта больше напоминает о крике, чем о смехе – (Помню: раннее февральское утро, жиденько освещенная кухня, тошнотворный привкус мармелада и крови во рту –) – : все эти фигуры, очевидно, делались впопыхах, халтурно, словно маски для гротескного представления, премьера которого, уже сколько-то раз откладывавшаяся, была наконец объявлена на самое ближайшее время & потому работа над этими масками заканчивались в страшной спешке, в расчете на то, что зрители будут оценивать их только издали: и в итоге получились Люди-Фасады – слепки с подлинных тел, выполненные из папье-маше и напоминающие карнавальные личины времен нашего детства.

Переходя от одной группы к другой, я раз за разом распознаю в грубо сваганенных масках сходство с людьми, которых когда-то хорошо знал; среди них попадаются родственники, друзья и те, кого я презирал, – как мне кажется, еще совсем недавно. Правда, имена их всех я забыл; но единственное чувство, которое я испытываю сейчас к этим людям, думая о том времени, когда они еще были такими же живыми, как я, – это сожаление, что я никогда не пытался относиться к ним с бóльшим состраданием.

Когда я оказываюсь достаточно близко, я трогаю некоторые маски, которые выглядят сейчас как выставленные в ряд черепа, лобные и теменные кости умерших; я переворачиваю их головы так, чтобы можно было заглянуть внутрь, ставлю их, выпуклостями вниз, на траву, и обнаруживаю то, что и ожидал найти: от когда-то находившейся в них мозговой массы ничего не осталось – даже попавшие туда мушиные яйца & личинки давно сгнили; в лучшем случае пара каких-то комков, истлевших и черных, еще сохранилась в углублениях черепов: мертвые паразиты, смешавшиеся с другими мертвыми паразитами и напоминающие ошметки старого, покрытого грязной коростой снега. Иногда у меня возникает желание растоптать эти человеко-муляжи; но чаще всего я от такого намерения отказываюсь. Осторожно, как если бы я хотел исправить нарушения, вызванные моими прикосновениями на уже подготовленной к спектаклю сцене, я снова переворачиваю полые формы и восстанавливаю их прежнее положение – никто не должен заметить, что я побеспокоил мертвецов в этот светлый, лишенный теней полуденный час, в этот день, который никогда не закончится – –

Я вышел к морю, к крайней оконечности того острова, о котором так много рассказывал отец. Теперь я видел Все: Остров Людей Море – –

Я знаю, я мог бы в любое время вернуться из этого вечного лета, из этого нескончаемого полуденного часа обратно в туман, пройдя по тропинке, ведущей из черноты земли к насыпи у реки, ко все еще неподвижно стоящему на рельсах и ждущему меня поезду, который неуклюжей, темной & угловатой громадой выступает из тумана, и мог бы на нем возвратиться туда, откуда я отправился в свое путешествие к морю. Путь обратно будет не лучше и не хуже, чем путь туда. Так же обстоит дело и с 1 маленьким городком в Западной Германии, раскинувшимся посреди волнистой равнины, с пастбищами и островками смешанного леса, лежащими будто большие зеленые камни на ладони ландшафта, – именно оттуда я когда-то отправился в путь, оторвавшись от всех тех вещей, которыми там занимался, которые бросил и которыми никогда больше не займусь. Если бы я вернулся, то и там ничто не стало бы лучше, и ничто – хуже, чем прежде. Но ведь ничто и не принуждает меня отправляться в обратный путь, ничто не гонит прочь от берега Моря под Нескончаемой Синевой этого Полуденного Часа, от клочка земли, помещающегося между прибрежными соснами и колючими кустарниковыми зарослями, в зелени которых светятся красные цветы. В том, что я прежде называл моим телом, уже скоро воцарятся то глубокое умиротворение и та радость, что характерны для наслаждающихся долгими летними каникулами и запечатлеваются даже на лицах детей, вместе с благодатью светлого забвения –

Я ложусь в траву и песок у кромки открытого моря и поднимаю взгляд вверх, к небу. Жить только одним днем. Мое воспоминание, 1ственное, которое доставляет мне удовольствие, – это воспоминание об одной короткой прогулке, много лет назад, в марте. Освещенная солнцем дорога убегает далеко в светлое утро, я иду по ней один, отец мне обещал летнюю поездку на море, это было за несколько недель до его смерти. Вода Земля Ветер, в воздухе привкус весны, светлое сияние. Всего один такой счастливый день за всю жизнь. У меня были разные возможности, даже больше, чем я мог бы желать, но я из-за собственного безволия не воспользовался ни 1ой из них. Лежа навзничь в траве и чувствуя тепло мягкого песка, я отпускаю свой взгляд – отвязанный освобожденный отпущенный он наконец устремляется туда, к тому далекому своду, где в потоках света творится никогда прежде не виданное: Нескончаемая Синева – – –

[…]

Поначалу эта твоя лишь по видимости ясная роль пролетарского Сутенера-на-Востоке & недобровольное, но неизбежно вытекающее из нее Слуховое-Со-Присутствие при всегда одинаковых процедурах, происходивших в соседней комнате, забавляло, даже веселило тебя, напоминая, как ты, еще будучи подростком, в бассейнах или спортивных комплексах заглядывал поверх перегородок в кабинки, где переодевались девочки, – и воодушевленно=испуганно, хотя и не без удовольствия, в этом чуждом тебе пространстве, которое ты видел сверху, в сокращенной перспективе, превращавшей обнаженные тела в светлые бесформенные комки, различал наконец эту белокожую плоть с каждый раз почти одинаковыми темными кустиками между клинообразно сужавшимися, как казалось смотрящему сверху, ляжками –, – правда, при таком войеризме, как и при прислушивании к шумам, сопровождающим траханье чуждых тебе людей,

ощущение зачарованности, естественно, с годами выветривается под воздействием Сквозняков-Времени, так что позже ты часто, можно даже сказать, почти регулярно в ходе Такого-Прислушивания/у/Стены попросту засыпал : То же самое, еще прежде, получилось и с твоим отношением к письмам, оставленным или забытым – Чужими Знакомыми Неважно-Кем, на столах, в выдвижных ящиках или между книжными страницами, – такие письма до сих пор иногда попадаются тебе на глаза, как если бы они были не имеющей ценности, небрежно брошенной куда попало одеждой – : – У тебя больше не возникает ни малейшего желания смотреть на эти расфасованные по пакетикам обрезки декоративной тесьмы, на воплощенный в чернильных строчках драматизм, который в своих лучших образцах кажется отмотанным с тех же катушек, что и драматизм театральных пьес: *Руди любит Эрну – но тут появляется Пауль* – Нет, сегодня даже под угрозой применения силы я не стану читать что-нибудь подобное. И точно так же, хотя я по-прежнему тщательно слежу, чтобы никто из посетителей не причинил Женщине в Той Комнате никакого вреда, я теперь воспринимаю шорохи из Той Комнаты просто как усиливающийся&затихающий уличный гул; как второстепенные шумы, которые, с крошечными интервалами, размечают цезурами акустические потоки, сводчато изгибающиеся над Берлином и смыкающиеся в сплошной гигантский купол Грохота & Шума…..; иногда оттуда, из Той Комнаты, доносятся даже звуки смачных поцелуев, которые тут же растворяются в пустоте, подобно лопающимся болотным пузырям, – потому что время от времени попадается какой-нибудь 1 дуралей, который не знает или не желает считаться с тем обстоятельством (может быть, в самом деле забывая, кого он в данный момент обрабатывает), что проститутки никогда не позволяют клиентам целовать их в губы, – так что я порой слышу поцелуи таких-дураков –: А Женщине приходится энергично откидывать голову, уклоняясь от жадных ртов со слюнявыми, выпяченными губами, & мне слышно, как она быстро & сердито говорит особо упорствующим *Только !не в !губы В !губы ты меня !не* – и потом опять начинаются обычные шорохи, напоминающие тот шум, который производит, поспешно поглощая пищу, какой-нибудь едок возле уличного ларька, стоящий в одиночестве у шаткого столика и запихивающий в себя *fastfood* с таким отсутствующим видом, будто ему и в голову не приходит, что у кусочков мяса, с которыми соприкасаются его губы & зубы, имеется какой-то вкус – :Ты, видимо, просто уже не можешь ни допустить, чтобы чье-то поведение тебя оскорбляло, ни сам смутиться из-за других людей – из-за их поступков, или слов, или мыслей (:именно в такой естественной последовательности); у тебя не возникает желание извиниться, или чувство стыда, или потребность посмеяться над другими, даже на это ты больше не способен….. Вероятно, ты еще не насмотрелся в достаточной мере на человеческое дерьмо – иначе не мог бы не верить в Хорошее, присущее этим же людям.

За стенкой, в соседнем помещении, пока не слышно !никаких обычных шумов….. ?!Что ж это за посетитель такой, этот умник, который пробирался по коридору, нащупывая путь неестественно белыми, с россыпью светло-коричневых веснушек, руками, будто обрызганными говном, –: неужто в самом деле ?слепой. ?Требуется ли слепцам больше времени на подобные вещи….. Ты только теперь замечаешь, что уже довольно долго, прижав ухо к охряно-желтым обоям,

как бывало в 1е дни твоего – ну, признайся спокойно: *заточения=здесь* – внимательно прислушиваешься к происходящему в Той Комнате – : но слышишь только невнятные осколки шумов, шорохи-черепки, которыми швыряется далекая от тебя жизнь этого дома, – вот диктор программы новостей упорно вдалбливает в чьи-то головы свою хренотень, свистит чайник, хозяин чайника обращается к собаке, выдающей в ответ стандартную лающую тираду (примитивную смесь неоправданных требований & хныканья, которая всегда напоминает тебе о людях, из-за чего ты и не выносишь собак), – а после того, как все это затихает, & в промежутках между новыми шумами, когда ты задерживаешь дыхание, в тишине, – шум твоей собственной крови –:– Похоже, там-за-стенкой не происходит вообще ничего. ?Или в этом тихом, нарастающем&спадающем шуршании все-таки есть еще что-то, кроме шороха твоей крови, ?шелест долгой непрерывной беседы ?там=по ту сторону, ?за стеной, в Той Комнате, уже поглотившей так много разных звуков, шепотов, шумов. Темно-текущее, графитного цвета бормотание & светло-серая пена слов, этот-вечер=эта-ночь как Тогда моя Первая=здесь: Ночь Долгих Разговоров : мало верится, что может выйти что-то хорошее из таких тихих проникновенных бесед: !определенно нет. Уверен я также в том, что она, эта Женщина (которая в силу своей профессии обязана впускать в себя, среди прочего, и чужие слова), при каждой попытке овладеть ею подобным необычным образом опять обретает этот особенный взгляд: будто ее глаза когда-то давно расширились от удивления и с тех пор, застыв в этой «позе», неотступно смотрят на говорящего, как экран, поверхность которого способна вобрать в себя, отразить, растворить и потом отбросить в забвение любое событие – –

Ведь именно такими были глаза этой Женщины, которые ты в тот вечер, уже в 1-е мгновение вашей встречи, увидел сквозь распахнувшуюся дверь (свет из коридора, упав на темную лестничную площадку, прикинулся манящей светло-желтой тропой), увидел как самое 1-е, обращенное навстречу=тебе, – : глаза, словно бы пойманные в осеннее световое мерцание, в каком-то смысле олицетворяющие упорство, необходимость оставаться на месте, здесь=в этом доме & в этом городе, а рядом – 12-летняя девочка, дочь, – : необходимость переждать какое-то трудное время, которое даже не кажется ей худшим, нежели то, что было прежде, лучшим, впрочем, тоже не кажется, поскольку она, по всей видимости, уже давно утратила способность воспринимать свое бытие как поездку по туннелю, о котором известно, что он, как любая ночь, рано или поздно будет иметь какой-то конец = свет, – ведь взгляд Женщины выражает именно это: Догадку, что не будет никакого конца этим сумеркам, никакой настоящей перемены, которую стоило бы ждать, которой можно было бы терпеливо дожидаться; это даже не фатализм жертв кораблекрушения & флегматиков; скорее – всматривание в череду часов-и-дней-и-лет, воспринимаемых вне всяких представлений об упорядоченной последовательности, так что *ей* остается только смотреть на них, как если бы она глядела из окна поезда на проносящийся мимо, неизменно чужой ей ландшафт: скандируемый в ритме светло-коричневых телеграфных столбов, с внезапно показывающимися неуклюжими домиками, какой-нибудь мусорной свалкой, селом – светло-красным, кирпично-ярким посреди освещенной полуденным солнцем зелени, с долго тянущимися аллеями, отдельными группами деревьев –

крепкими косматыми лапами черно-зеленых лесов-хищников, которые бросаются за ней вдогонку; и эти пейзажи, окутанные серой кисеей пыли, так же по осеннему просветленны, недвижны, тихи и открыты, как глаза или как взгляд этой Женщины, с ее почти природным упорством, с давно вышедшей из моды решимостью – ничего не предпринимать, а только смотреть, смотреть, оставаясь в этой комнате, где она час за часом оказывается во власти воняющих потом, алкоголем & гнилостной слюной самцов, которые приходят сюда именно для того, чтобы овладеть ею, и которым я должен открывать дверь; самцов, которые чуть позже с хрюканьем, повизгиванием & хрипом выпускают семя в растянутые, пахнущие резиной & тальком кондомы (многие из этих-мужчин сразу после соития спешат в сортир, пописать, & наверняка думают, что кондом, который они там бросают, сам собой исчезнет, смытый струей воды, но в действительности он еще какое-то время плавает в унитазе, словно дохлая рыбка, в качестве, так сказать, атрибута здешнего запустения); эти-мужчины затем очень быстро улетучиваются, как удовлетворенное на данный момент желание, чтобы потом возвращаться вновь и вновь, в сменяющихся, но давно уже неразличимых обличиях, в сопровождении всегда одних и тех же типично мужских испарений – потных рубашек, пиджаков, зловонных носок, от которых резко & зооморфно перехватывает дыхание, – к этому примешиваются еще и те особые запахи, давно въевшиеся в поры их одежды & кожи, которые они приволакивают с собой как напоминание о своей профессии: специфические запахи служащих Контор&банков, день-деньской протирающих за письменными столами свои штаны, или – продавцов & кельнеров с вечно потеющими ногами, или – пролетарских «белых воротничков» всех наций, их напомаженных волос, или – обретающихся на задворках плебеев с обломанными черными ногтями, бедолаг, от которых за версту разит табаком-чесноком&смазочным маслом, либо просто не стираным, слишком долго носимым=-грязным мужским бельем и которые под этой коростой попеременно потеют & мерзнут, подобно гриппозным больным; & все это в конечном итоге сводится к смешанному аромату сигаретного пепла, пива & жаренной картошки, который, будучи постоянным атрибутом выдыхаемого воздуха, облачками вырывается изо ртов & в качестве, так сказать, второй кожи обволакивает нездоровые, разрушенные профессиональной деятельностью, «непроветренные», если можно так выразиться, тела, бледные словно рыбье брюхо, которые осторожно-неуклюже или: самоуверенно & так грубо, как если бы они были брошенными на постель мешками с углем, трепыхаются рядом с этой-Женщиной & на ней, в стандартном получасовом акте соития – со-временем, Прислушиваясь/у/Стены, я научился различать все его стадии, так же как с 1го взгляда в открытую дверь определял однотипность этих-мужчин, – и чьи вторжения в нее, в эту Женщину, с парадоксальностью природных законов всегда порождают и все больше&больше усиливают только ту=самую несгибаемую волю к терпению, что побуждает ее оставаться здесь, далеко очень далеко от Себя, покоряясь, с усталостью и неизменной сосредоточенностью, некоему трудно определимому долгу, как его могут ощущать именно женщины, по отношению, скажем, к своему нелюбимому ребенку, & при этом ею всегда движет только Одна, неотступная Забота: страх перед злодеяниями Толстяка….. который, в чем она непоколебимо уверена, покушается на эту-ее-жизнь, хочет окончательно уничтожить ее и ее ребенка. И она верит в это так же упорно, как

если бы была 1им из тех персонажей ветхозаветных – отчасти трогательных, отчасти чудовищных – историй, что верили в неодолимость Фатума & Греха, двух сил, которые под сияющей синевой архаического неба, возникая из скудной каменистой почвы их здешнего вот-бытия, во всякое время & неожиданно хватали этих жалких людишек за ноги, обрушивались на них как семь египетских казней, чтобы, сперва подвергнув их & всех их родичей тем вдохновленным ревностью, мелочно садистическим испытаниям, которые никто и никогда не может выдержать, не став душевным & телесным калекой, затем втянуть в водоворот безвозвратной деградации & окончательно погубить…..

В один из таких сумеречных предрассветных часов – сквозь закрытые шторы уже просачивался прохладный свет, но он пока еще с трудом расшифровывал очертания предметов в твоей комнате – ты впервые переспал с этой женщиной. Она вошла и, не произнеся ни 1ого слова, легла рядом (а я, в постели, уже какое-то время не смыкал глаз, так как давно потерял способность погружаться на целую ночь в благодатную темную заводь сна), и рядом с твоим лицом – отрывистые, будто пробормatываемые под теплым одеялом слоги, с вплетенными в них остатками ночных, обволакивающих, уютных теней, те самые издаваемые каждой женщиной звуки, которые неотделимы от такого рода ситуаций, которые не образуют настоящего слова, а скорее представляют собой акустическое прикосновение, повторяющуюся музыкальную ноту, и, можно сказать, рождаются непроизвольно, сами собой; она, когда ты при ее появлении поднял голову, очнувшись от своего злосчастного полубодрствования, протянула руку – и обняла тебя за шею – тонкое кимоно, которое было на ней, распахнулось и, раскрываясь все шире, от пупка вверх, до самого горла, позволило тебе увидеть сквозь воспалившиеся от бессонницы веки ее обнаженное тело, очень светлое в телесно-теплом, профильтрованном сквозь мягкие шторы свете, ее груди, которые напоминали молочного цвета плоды, а потом кимоно с шелковым искристым хрустом соскользнуло на пол, – и ты вдохнул запах ее уже согревшейся кожи, твой рот отыскал ее соски, они были на вкус как нежные грезы женщины, и плечи, и артерию, бившуюся у нее на шее, и ее губы, которые тотчас же приняли форму твоего рта, – а потом были ее руки, и кончики пальцев, и кожа, и потрескивание курчавых волос, и твои будто окоченевшие от холода пальцы, неловкие, запинающиеся, словно они заново учились трогать, как заново учат забытый иностранный язык; и что-то темное, влажное, и, 1 раз, ночной шепот – *ты должен делать это бережнее не так как те-дневные послушай попробуй-ка ртом тогда тебе легче будет показать на что ты способен* – :и кончик моего языка осторожно прикоснулся к губам женского лона – ощутил вкус ее плоти, вкус *корицы*, рдяно-пряный, а потом, в шелковисто-влажном нутре, по дневному теплом, – еще и привкус трав, земли, соли –.– Позже ее тело, светло распростертое, плавало в утреннем свете, руки заломлены за голову, и светел был взгляд, устремленный прямо на тебя и дальше, – она : я, совсем близко друг к другу – –

Посетитель, человек лет-пятидесяти=уже-немолодой, тело как плотный шар из Плоти Кожи & Жира, череп – по-видимости, без всякой шеи – посредством жирового валика присоединен к округлым плечам, однако лицо на удивление узкое и на висках приплюснутое, подбородок длинно и вяло свисает вниз,

сильные стекла очков позволяли *ему* по-лягушачьи таращиться на нас, пока он излагал свои пожелания; он их несколько раз настойчиво повторил & не забыл подчеркнуто громко отметить, что платит !тройную цену: а потому я должен наблюдать, Как он –. Этот тип (хотел казаться тебе) был разжиревшей копией последнего на Востоке Главы-Государства&Партии: и при этом смахивал на мерзкого проводника-спального-вагона, пристающего к школьницам, которые едут в поезде, с непристойными предложениями. Уже при Раздевании он захотел сделать нас, Женщину и меня, свидетелями, но ни один из нас не должен был до него дотрагиваться, не мог хотя бы даже стронуться-с-места: нам полагалось стоять как застывшим куклам, будто мы скованы колдовскими чарами, обездвижены, впали в столетний сон, о котором рассказывается в известной сказке: Только он, Толстяк, оставался живым и подвижным, не подвластным никаким чарам, – он подошел к Женщине, будто скототорговец, оценивающе ощупал ее груди, ягодицы, задрал ей юбку & жадно зыркнул туда –, указательный палец вбуравил глубоко между ляжками (Женщина не пошевельнулась) – потом обстоятельно его обнюхал и, не произнеся ни слова, отошел в угол; остановился у торшера & там, прежде всего, медленно спустил брюки, так что скомканный низ рубашки, распрямившись, накрыл ему колени, как если бы этот Чужак вдруг оказался одетым в бело-голубой полосатый халат. Ни единого слова так и не было сказано – только шорох ткани; *его* рот (губы плоские и слегка изогнутые, как у женщины) искривился в ухмылке, обнажив белесые остатки пищи в дырках между зубами; одновременно, пока падали брюки, на нас повеяло густыми запахами тепловатого жира & одеколона. Время года – «собачье лето»: тем не менее, на этом недоноске были белые кальсоны, толстые носки в коричневую полоску, на подвязках, & майка с длинными рукавами, тоже белая, которая, тесно обтягивая жирный живот, придавала этому типу сходство со Снеговиком (:я чуть не расхохотался – что было бы величайшей ошибкой, как мне объясняла Женщина, для человека такой профессии…..). И тут, как если бы он казался самому себе столь же комичным, каким его находил я, он, со своей стороны, начал громко смеяться: это был каскад пронзительных, далеко разносящихся звуков, какие могли бы вырываться из визжащего на высоких тонах полицейского громкоговорителя, – звуков похабных & фальшивых, как хихиканье субреток в варьете –: Смех оборвался так же внезапно, как начался. *Он* снял очки и осторожно положил их на тумбочку возле кровати, сильные стекла поймали свет лампы и отбросили на крышку тумбочки 2 желтых полумесяца с резко обозначенными краями. Лицо, теперь лишившееся очков, казалось беззащитным и голым, как если бы в ходе косметической операции с него сняли кожу, глаза беспомощно смотрели сами-в-себя, потом, как бы опомнившись, этот тип опять взглянул в сторону Женщины: Она поняла & принялась раздеваться, я же по-прежнему стоял в дверях, прислонясь к косяку.

И ты смотрел, как привычно эта Женщина раздевается, смотрел, как из падающих вниз облачений вырастает, тянется вверх ее нагая прямая спина, видел развертывающиеся лопатки и плечи, ягодицы, мускулатуру бедер, икр – и ее ступни, переступающие через колышущуюся ткань, будто выпархивающие из мягкого складчатого гнезда; и как она медленно, маленькими шагами, уходит: прочь от тебя, к этому Чужаку, – видишь все Пред-Ставление ее Наготы (твое место в кулисах), все Иллюзии, которыми она соблазняет: Его, ненавистного

Чужака – чья телесная плоть источала эти запахи, тепловато-липкие, как от чана, полного потрохов –, тем временем этот Чужак, одетый теперь только в длинные белые кальсоны, достал из кармана своего висевшего на стуле пиджака 1 музыкальный-CD. Его он теперь передал, выпучив глаза и полуоткрыв рот, Женщине, которая, нагая, опустилась на колени перед проигрывателем в нижнем отделении тумбочки, чтобы вставить CD. !Этого, похоже, Чужак и ждал. Он стал лапать нагую, сводчато-выгнутую, разделенную теневой линией позвоночника спину Женщины, косясь сквозь ее подмышки на грушевидные груди, – и 1 движением сорвал с себя подштанники, потом высвободил свои маленькие толстые ступни из эластичных ножных манжет, вновь выпрямился позади присевшей на корточки Женщины – короткие-жирные ноги напряжены, колени сдвинуты – и начал мастурбировать, суетливо теребя свой крошечный, вяло свисающий меж толстыми пальцами член – : Но когда Женщина, все еще сидя на корточках, наконец обернулась, член был уже твердым –: а в ее руке (как если бы она получила его в обмен на CD, от Проигрывателя) оказался кондом, который она и стала натягивать на член Чужака, напоминавший теперь удлиненную картофелину (и вздрогнувший от прикосновения – дрожь в силу законов перистальтики передалась жирному низу живота и потом волной побежала вверх, вверх, пока из разинутой пасти – в царившей до тех пор призрачной тишине этого по всей видимости точно рассчитанного, чисто механического действа – не вырвался 1ый звук: похожий на 1 фрагмент икоты, бульканья, хныканья), – тут же из темных орешеченных усилителей полилась первая музыкальная фраза: *Ah la fede ti manca* : Ты, так и стоявший прислонясь к дверному косяку, подобно Приведению, подобно Забытому на этом древнем Празднике-Мертвых, ныне инсценированном в честь Чужака, увидел, как *он* набросился на Женщину, набросился грубо, демонстрируя собственную силу, ты увидел, как он схватил ее и швырнул под себя, на кровать, – *Un bel dí vedremo levarsi un fil di fumo sull'estremo confin del mare. E poi la nave appare* – кровать, заскрипев, качнулась под этой тяжестью, Хмырь трахался зверски, будто хотел своим членом раздолбать на куски тело Женщины – несколько раз он оглядывался через круглое-мягкое плечо на меня, как жокей во время заезда быстро бросает взгляд назад, на своих конкурентов (или как в детстве, много лет назад, одним субботним вечером, когда ты еще жил у своих приемных родителей, & соседи, единственные, кто обзавелся собственным телевизором (гигантским бесформенным деревянным ящиком с экраном крошечного формата, размером с 1 школьную тетрадку, телевизор сразу после включения начинал вонять Пылью & Бакелитом, & все присутствовавшие мужчины=технически-грамотные тотчас вскакивали со своих мест & начинали возиться с Ящиком, правда, так продолжалось только до тех пор, пока он, Ящик, был новым, потом, в дальнейшем, корпус просто теплел, но уже не раскалялся), пригласили вас & еще целую кучу других соседей, по случаю этого своего нового приобретения, посмотреть вечернюю программу, и тогда как раз транслировали – в записи – из 1 бульварного театрика постановку одной-из-таких народных комедий (которые показывают до сего дня & которые с незапамятных времен балансируют на грани между глупостью и похотливостью –): Место действия – заштатный гарнизонный городок во времена К&К монархии, и ты сейчас помнишь

только 1 сцену, в которой неслыханно жирный актер в тесно облегающем костюме телесного цвета (своего рода ползунках, которые вообще-то должны были символизировать телесную наготу, но, поскольку этот театральный костюм морщился дурацкими складками, актер скорее напоминал гигантского тряпичного мишку) халтурно изображал некоего ротмистра, Ритт-Майстера, который, сохранив от своей фантазийной униформы только пояс & шлем с поникшим и похожим на метелку для смахивания пыли султаном в качестве, так сказать, единственных предметов одежды, хотя на самом деле все это было лишь дополнением к имитировавшему нагую кожу костюму, сидел задом наперед на наряженной под кобылу, то есть скудно задрапированной седлом с бахромой, стременами и уздечкой, статистке и, размахивая саблей & трубой, посреди тесных театральных декораций, беспомощно пытался проскакать вокруг темного дубового стола, одновременно подавая сигнал к атаке (а вся не нужная для этого кафешантанного номера мебель – низкий платяной шкаф, напольные часы, сервант – была просто нарисована на изображавших стены декорациях, так же как и обои; на тонких фанерных стенках, которые между тем, словно они должны были наглядно продемонстрировать буквальный смысл пресловутого «Так=что-Окна-&-Двери-Задрожали», со своей стороны, заметно подрагивали), причем этот Ритт-Майстер, догадавшись, что через замочную скважину за ним подглядывают хихикающая Горничная & Пристроившийся-за-ней=Коридорный (который, со своей стороны, то и дело задирал юбки этой Девицы выше ее задницы, так что становились видны белые, отороченные кружевами Панталоны & Подвязки, на что Публика каждый раз отзывалась одобрительным визгом & аплодисментами (: подобные театральные эпизоды и сегодня, как тогда, далеки от какой бы то ни было прелести, чувственного своеобразия и вдохновенного порыва, актеры просто разыгрывают их по определенным правилам & по слову-намеку или знаку, поданному помрежем, и как каждой=любой обнаженной статистке на любой театральной сцене мира присуще что-то кукольно-Неэротическое, а вместе с тем бутафорски=искусственное, Нечеловеческое: так и тогда, когда зрителям демонстрировали эти панталончики, эти подвязки для чулок, эту неправдоподобную обнаженную кожу : все это не вызывало никаких иных ассоциаций, кроме как с черными, будто нарисованными толстым куском мела линиями на светлых бакелитовых ляжках куклы-манекена в витрине текстильной лавки)), этот Ритт-Майстер, не слезая со своей задрапированной под кобылу статистки, вдруг торжествующе оглянулся на дверь с такой же ухмылкой, с какой в другой сцене, мошеннически играя, как всегда по вечерам, в карты, выкладывал на стол крапленых тузов – : Благодаря чему все Халтурщики=Комедианты в этот момент снискали у Публики (которая в результате 1 движения кинокамеры как раз появилась на серо-голубом мерцающем телеэкране: в полутьме зрительного зала, в рассеянном свете, распространявшемся от ярко освещенной сцены=вниз, отчетливо видны были только первые ряды тесно прижавшихся друг-к-другу Пиджаков и Шелковых-Блузок с перламутровыми-пуговками & сверкающими-брошками, ведь именно так любят наряжаться «на выход» жители маленьких городков и американцы, ну и еще лоснящиеся как окорока Лица Женщин&их-мужчин, глаза и рты глупо-похотливо распахнуты, визг & хрюканье, волны смеха в качестве акустических оргазмов & сучение ногами, посредством которого зрители, оставаясь на своих местах, неосознанно имитировали происходящее на сцене), в качестве

одобрительного отклика, такие громко-плещущие рукоплескания, что казалось, эти руки плещутся в мисках, до краев наполненных жирным бульоном) – *Poi la nave bianca entra nel porto, romba il suo saluto. ?Vedi: È !venuto* – (и сейчас ты вспоминаешь, как выглядела та Соседка/прямо/рядом/с-тобой на тахте, запах теплой кожи этого Сорокасемилетнего Эльфа, этой полнотелой Женщины, которая каждое воскресенье ходила вместе с твоей приемной матерью к утренней 10-часовой католической мессе, не пропуская ни одного раза, и которая, сидя теперь рядом/с-тобой на тахте, отчасти казалась тебе выхваченной прямо из крошечного телеэкрана & перемещенной в эту тесную комнатку в качестве непосредственного продолжения театральной Публики, ведь она и одета была точно так же, как те=там в полутемном зале, & ее узкая темно-синяя юбка задралась, обнажив бесформенную глыбу бедра, когда одна из толстых, словно набитых ватой, рук от удовольствия стала хлопать по туго натянутой юбочной ткани, а жирные выпуклости под шафраново-желтой блузкой затряслись, предавшись восторгу безудержного смеха) – *Io non gli scendo incontro. Io no* – (другая же рука, как будто бы Сущность Соседки вдруг раздвоилась, растопырила пальцы-колбаски и добросовестно, но тщетно пыталась прикрыть подолом похожие на брюквы колени –, а чуть позже, когда буря смеха утихла, и на телеэкране, и в тесной комнатке, та же Соседка, так сказать, голосом кающейся Совести, с наигранной озабоченностью спросила твою Приемную Мать, уже давно сидевшую неподвижно, словно чугунная статуя, как та думает, можно ли, собственно, *Такое* (тут она быстро кивнула головой с начесом, напоминавшим султан на шлеме актера и обильно сбрызнутым лаком для волос, который в тесной и разогревшейся от присутствия стольких людей комнате приобрел характерный запах разваренной рыбы, в сторону телеэкрана & потом в сторону тебя) *считать подходящим для Ребенка зрелищем* –) – *Mi metto la sul ciglio del colle e aspetto, e aspetto gran tempo e non mi pesa* – : и ты видишь, как этот спаривающийся Колосс-из-плоти со своей застывшей торжествующей ухмылкой опять отворачивается от тебя, к качающимся грудям Женщины=под-ним, видишь, как трясется жир на его боку (:это тебе не театральный костюм, стыдливо имитирующий наготу), и ты видишь на скомканном бархатно-красном покрывале тело Женщины, принуждаемое ударами члена к перистальтическим сокращениям, видишь рот Женщины, ее губы, которые кривятся в смехе, обнажая белые зубы, 1 рука на ее груди, пальцами другой Женщина нежно, на ощупь, гладит жирную спину этой сотрясающейся Глыбы-Плоти=над-ней – жемчужинки пота, похожие на капли маслянистого дождя, смахивает ее рука оттуда, с кожи молочно-белого Хряка –, ее глаза широко распахнуты, взгляд поверх круглого плеча Чужака устремлен прямо на тебя, немигающий, неотступный : Это уже давно никакое не выполнение «служебного долга», не профессиональная имитация никогда не испытываемого удовольствия – *È uscito dalla folla cittadina un uomo* – и, застыв в неподвижности у двери к Этому=Происходящему, как если бы, выпав из Времени, ты ждал Выстрела, из ее Взгляда, неотступно в меня целящегося, немилосердно, – завершающего попадания пули, удара, разрыва Кожи Тканей внутренних Органов – даже не имея шанса Рухнуть, покорившись не столько Боли, сколько осознанию собственной Беспомощности – ?наконец долгожданный Аут – *un picciol punto s'avvia per la collina* – : немигающий, неотступный : обжигающе резко взрезающий мои

глазные яблоки, дергающийся вперед-назад, как огнецветные канюли *peak control* на проигрывателе : ее глаза пунктируют, прокалывают мой взгляд в ритме этой вперед&назад тыркающейся и норовящей все под собой растолочь Мясной Глыбы, ослепнуть бы и не слышать больше ничего – *Io senza dar risposta me ne stará nascosta* – Ничего больше не видеть, быть слепым, слепым как свет, немым как блаженные камни. Не мигая, неотступно : как будто не довольно этой Смерти, еще одна : Вокруг шеи удавка, туго натянувшаяся мышца, резче и резче выступает под кожей, из легких – горячий комок воздуха, удушающий остатки дыхания, туже и туже петли удавки, кровь в слюну в пыль –: больше не вздохнуть, ослепнуть бы, онеметь, ?наконец задохнуться и в Аут – *e un po' per non morire* – не мигая, неотступно : и как будто все еще не довольно Смерти : этот !1 нерв ?или мускул (я не силен в анатомии) – там, под кожей ее щеки – обороняется – бьется – пульсирует – выбивает своей азбукой Морзе: мне СОвСем….. – и теперь уже вся половина лица – бьется – пульсирует – но неслышно – ?Что же будет – разжать пальцы – нерв ?или мускул (я не стал умнее от всех этих Смертей), не мигая, неотступно : ?Сколько еще Смертей, безысходных – уклониться нельзя : Смотреть Туда : Не Отводя Глаз – *al primo incontra, ed egli alquanto in pena chiamera, chiamera* – : *я этого не сознавал просто уже не мог в такое поверить* – она: прямо на тебя – не мигая – *что я* – неотступно : *что я тебя* – бело-пористая дряблая кожа на боку этого жирного Хряка, нервозно дергающегося, – *тебя* – и прямо между ее широко раздвинутыми ногами мужское колено величиной с ладонь, на него упал луч, чуть позже скользнувший по упругой коже бедру сильному мускулу в затененном углублении у вагины – *tutto questo avvera, te lo prometto* – *тебя* – ее белые зубы, обнажившиеся в смехе, – *Tienti la tua paura, io con sicura fede l'aspetto – я уже много-много лет просто больше не верил в возможность подобного, а теперь уже слишком поздно, для меня все кончено, Аут* – –

С последним содроганием *peak control* этой трясущейся, дергающейся, вперед&назад тыркающейся и норовящей все под собой растолочь Мясной Глыбы (1 серый пучок волос, взвихрившихся от усердно нагнетаемого возбуждения, торчком стоит на затылке) из носа вырывается 3х-кратный коротко-отрывистый крещендо-выдох *хмп ххммпп хххммммппп* : со стороны проигрывателя – шорох перематываемой назад кассеты, как если бы кто-то медленно вытаскивал из жилетного кармана старомодные часы-луковицу на тяжелой цепочке; жирный Хмырь – в уголках рта блестит слюна, волоски на спине и на ягодицах влажные & закрученные, слипшиеся, – проворно & ловко спрыгивает с Женщины & бежит на своих цилиндрических толстых ножках назад, в лихорадочно-желтый комнатный свет, из которого стекла & латунная оправа его очков с остервенением высекают искры –, маленькая комната загрязнена, оккупирована и инфицирована пóтом&спермой этого Колосса, нечистыми испарениями, которые подобно грязным тюлевым занавесям, развешанным по всему помещению, портят здесь свет и воздух. 1 мгновение посмотреть на этого прямо-стоящего в комнате жирного голого Хмыря (:И как бы хотелось !надеяться, что где-нибудь в этой просаленной Массе Плоти уже началось Умирание….. Сперва только 1 киста, какая-нибудь опухоль….. еще маленькая, но быстро увеличивающаяся, & потом две….. три….. потом их уже не сосчитать….. но еще долгий путь до 1ой режущей боли: Приступы Боли Губы пока еще крепко сжаты *Про!клятье мне так !больно* но !Не подавать

виду !Держать себя в руках *хмп ххммпп хххммммппп* Однако боли скоро насильно раздерут ему рот, и тогда: 1ый !крик, за ними последует много много других ! ! ! ! Остеосаркома Миеломная болезнь и Крики, непрерывные Крики !!!! –, Попытки спасения, позже, – но тогда уже будет слишком поздно: обычная механика Самомнения & Беспомощности: Скальпель + Рентгеновское Облучение + Химиотерапия = каша из человеческой плоти, скелет, уже пораженный & хрупкий, пожираемый костной болезнью, хотя недавно, здесь, на моих глазах, все это еще хотело трахаться, разъедаемый Раком скелет как сосуд с гноем, как мерзкий чан, из которого успеют еще выбрызнуться 2 3 сгустка жизненной энергии, под конец этой Сатировой игры…..), на уже скукожившемся члене вяло болтается наполненный водянисто-белой спермой кондом –, толстые лапы стягивают его, щелчок, & резиновая оболочка летит на пол: *–И опять: !Finito Rastelli* –, & еще раз: пронзительный, заполняющий все помещение смех субретки. Но ведь он в самом деле заплатил: тройную цену….. Ты все еще стоишь, прижавшись к дверному косяку (деревянная рама глубоко впечатала свой рисунок в твое плечо), и только с опозданием до тебя доходит, что Толстяк, когда покидал комнату – он почему-то вдруг очень заторопился, – сунул тебе в вырез майки одну=лишнюю денежную купюру –, и ты уже рванулся за ним, чтобы тяжелой хрустальной пепельницей размозжить череп этой жирной Свинье –; но тут дорогу тебе преграждает Женщина, очень решительно: – Это моя !Работа. Пойми: !Моя Работа. – Бумажной салфеткой она подбирает валяющийся на полу кондом, другой салфеткой стирает с ковра водянистое пятно спермы и выносит все это в прихожую, в сортир. На 1 мгновение, в дверях, когда она проходит мимо, мы – она : я – оказываемся совсем близко друг ׀ к-другу – –

?Или: это опять-таки был лишь 1 из твоих снов: ?Может быть ты, прислонившись щекой к стене, напряженно прислушиваясь к странному шелестению беседы в комнатке рядом, и сейчас заснул – как бывало раньше, после трудового дня, когда ты, возвратившись домой, хотел ненадолго прилечь, просто отдохнуть, а сам засыпал – и возникала эта череда неполноценных снов: коротких, горячечных, наполненных низостью, злобой & агрессивностью, всем этим уловом, попавшимся в твою рыболовную сеть: похожих на кадры & сцены из непонятно как смонтированного кинофильма, у которого к тому же испортилась звуковая дорожка, так что остались только эти поллюции, спровоцированные монументальными немыми фильмами, и все же они=все с такой же сверхъестественной точностью выпячивают каждую деталь, сверхъестественно резко очерчивая ее контуры, как эта только что сверкнувшая молния, которая на 1 Мгновение-Ока озаряет, одновременно разрывая на части, целый-ландшафт, деревья переплетения ветвей листья когтисто растопыренные с зазубренными краями или бархатисто-круглые как подушечки кошачьих лап – показывает животную сущность растений и сочленения между кирпичами с неаккуратными колбасками выступившего наружу строительного раствора распахнутые глаза и губы на застывших лицах и вставшие дыбом жесткие как солома волосы – высвечивает внутреннего Человека в Растениях, вдруг, в неожиданном многообразии своего плазматического сияния; так вот, эти кадры из твоих вечерних снов так ярко вспыхивают, сливаясь в единую панораму, и тут же снова гаснут, что кажется, будто ты на 1 секунду заглянул в глаза твоему собственному, затягивающему тебя тайфуну : В доме-напротив лишь время от времени

врывается то в одно, то в другое пустое помещение 1 кусачий огонек лишенной абажура лампы, когда очередной посетитель, желающий снять квартиру, входит туда, смущенно, разочарованно & уже ни на что не надеясь, ибо после той холодной Пыли&гнили, пропахшей кошачьей мочой, с которой он сталкивается повсюду на лестничных площадках, ему достаточно заглянуть в какую-нибудь 1ну из этих пришедших в полное запустение комнат со свисающими вниз обрывками выцветших обоев, похожими на мумифицированные листья умерших растений, & прогнившими, проломанными половыми досками, а также облепленными строительным раствором&штукатуркой коварными щепками – они подобно копьям целятся с потолка на входящего, – и у него пропадает всякое желание идти дальше, он только бросает еще 1 взгляд на окно: ни следа замазки & шероховатые бесцветные рамы, рассохшиеся под дождем&солнцем, & стекло, которое держится только благодаря крошечным ржавым гвоздикам, после чего может со спокойной совестью сделать свой вывод: *Премного!благодарен: Чтобы !я поселился в !таком клоповнике да еще за !такую цену: Он, видно, совсем !спятил: Этот Домовладелец=бесстыжая тупая свинья, которая хочет за !Мойсчет разбогатеть & затем холить свою жирную задницу, нажившись на моих деньгах & гарантированном праве на жилье : !Неет: !!Со-мной этот номер не пройдет: так и заруби себе на носу, глупое животное*….. и посетитель мгновенно исчезает, через какой-то промежуток появляется следующий, но и этот следующий таким же манером & так же быстро убирается восвояси (мы-то, Женщина и я, хорошо понимаем, !почему Толстяка устраивает такой сценарий: !Почему он делает все для того, чтобы Никто не решился по собственной воле переехать сюда или в один из соседних домов…..), а в результате этот Дом-напротив & еще несколько, поблизости от него, неудержимо разрушаются, умирают, гибнут – и при всем том кажутся такими величественно-трагичными и достойными сострадания, какими могут быть только умирающие дома….. : Однако теперь, благодаря !внезапно вспыхнувшему в окне там-напротив кусачему огоньку, я вдруг опознал !его: Толстяка, небрежно прислонившегося к оконной нише, слегка приподнявшего левую руку и своими жирными пальцами подающего какой-то знак….. в то время как его маленькие глазки на не лишенном изящества лице, неподвижные и холодные, были нацелены прямо на меня, как острия 2х буравчиков….. – и тут же исчезли: оба: человеческий силуэт и свет, та комната снова погрузилась во мрак, и взгляд мой, потеряв зацепку, соскользнул с графитно-серого оконного стекла – : А все же: Это !не сновидение, ты ведь !не спал, ты !бодрствовал: Ты ясно видел его, он снова в наших краях….. (:Но Женщине ты ничего не скажешь. Побережешь ее от страха, от паники. Может, все это было *не взаправду*: просто мгновенный промельк периодически повторяющегося сна, в котором он…... так часто является тебе.) Наверняка ты знаешь только 1но: Сегодня ночью, в1ые, я должен буду выбраться из этой квартиры, предпринять 1ую за время моего пребывания здесь настоящую попытку побега : да, именно попытку побега, хотя бежать я не собираюсь: Я просто должен во что бы то ни стало попасть туда-напротив, в запустение брошенного жилья, за окном которого на 1 мгновение увидел его – :!Там буду я ждать: Этого человека…..

Конечно, едва увидев !такое, ты тут же вскочил со своего стула-у-стены, рванулся к окну & уставился на дом напротив, ожидая, что *явление* повторится и

тогда ты уверишься, что то был не сон, не мысленный образ, порожденный твоим одиночеством, – – : Но ничего подобного не случилось. Окно-напротив в своем давно известном тебе убожестве оставалось немым и темным, ведь, как ты знаешь, комната и весь тот дом брошены, пусты, там разве что попадаются иногда кошки & крысы, да еще всякие мерзостные насекомые.

К тому времени, когда ты наконец отошел от окна, вновь уселся на свой стул-у-стены –: беседа в Той Комнате прекратилась. !Несомненно: темно-текущее бормотание & бледно-серая пена слов, тихих & проникновенных, исчезли. ?Значит ли это, что и невзрачный незнакомец (которого ты принял за слепого, поскольку он так неуверенно продвигался вперед, ощупывая коридорную стенку неестественно белыми руками) тоже ?исчез, испарился из квартиры, возможно, в то же самое мгновение, что и силуэт в окне напротив, в покинутом жильцами доме, – ?исчез таким же манером, как и появился: тихо, незаметно, почти бесшумно –.

– Все теперь изменилось.

Говорит Женщина, и ее голос звучит глухо, монотонно, как всегда, когда она принимает к сведению неизбежное, и выражение ее лица – еще одна попытка отодвинуться на какую-то дистанцию, отстраниться от этой новой беды.

– Ты должен уйти от-Сюда. И как можно скорее. Вот: твои вещи. Белье постирано, брюки & пиджак я отдавала в химчистку. !Одевайся. – Говорит она неожиданно требовательно, громко, поспешно & настойчиво: – Ты !должен !уйти.

Ты видишь ее лицо, близко склонившееся к твоему, видишь, что попытка избежать, путем внутреннего отстранения, опасности, которую она инстинктивно чувствует, ей явно не удалась. ?Повлияло ли на нее проборможенное придушенным шепотом сообщение странного незнакомца с белосвинцовой кожей. ?Или, может, она просто случайно, в ту же секунду, что я, посмотрела в окно, туда, где я увидел его=Толстяка, и ?тоже увидала его=там-напротив, пережив затянувшееся мгновение ужаса – : – Она все еще протягивает мне на вытянутых руках мою одежду, неподвижная, словно бы застывшая в этой позе забвения-о-себе, как, вероятно, случается иногда с теми путешественниками, которые, достигая какой-либо границы, всякий раз оказываются вынужденными бежать дальше, которые слишком часто уже наталкивались на то обстоятельство, что им Нигде и Никогда нельзя останавливаться надолго, и потому ими овладела та отупляющая усталость, которой подвержены только непрерывно путешествующие и непрерывно спасающиеся бегством; усталость, столь глубоко проникнутая отвращением и презрением, что эти люди даже уже и не ропщут на собственную судьбу, от них не дождешься гневных=беспомощных возгласов типа *какая !Свинья !Боже какая !бессовестная !Свинья* – они не станут в отчаянии метаться туда&сюда по тесной клетке своего жилища – :ничто в таком роде им не свойственно, а свойственна только 1на – & всегда одинаковая – последовательность чисто деловых реакций, ведь они, эти люди, уже вступили в ту трудно определимую стадию между привыканием к своим мытарствам и безропотным приятием таковых, что сравнима с сизифовым трудом механиков, которые изо дня в день, приходя на работу, пытаются устранять дефекты некоей машины, хотя им давным-давно известно, что у машины такого типа (а они уже иногда называют ее *своей* машиной) неизбежно, по причине устарелости этой модели & ее конструктивных особенностей, вновь и

вновь проявляются именно такие дефекты и так будет продолжаться вплоть до того дня, когда уже невозможно будет достать никакие запчасти (потому что машины такого типа окончательно устареют & их снимут с производства), или же просто – & это тоже произойдет как прямое следствие устаревания, усталости механизмов – вся=эта сложно устроенная громоздкая махина окончательно рухнет, развалится на куски. Я ни о чем ее не спрашиваю, она мне скажет сама, но я знаю, у нее найдутся доходчивые аргументы. Поэтому я молча беру у нее свои вещи, 1ну за другой (случайно касаясь ее рук: невесомых, холодных, как если бы их мускулы и кости были из стекла –), меняю строгий костюм (вероятно, когда-то принадлежавший ее покойному мужу) на собственную одежду –:на !твои вещи, которые ты так давно не носил, что теперь вспоминаешь, как после окончания воинской службы в 1ый раз смог сменить убогую=армейскую форму на нормальные гражданские шмотки, это было весенним днем, и ты в тот момент вдруг отчетливо увидал, что в деревья, траву, свет и небо возвращаются присущие им краски, как если бы гигантская рука Бури со свистом смела слои пепла с тлеющего под ними ландшафта и внезапно из-под всей этой свинцовой серости уже отошедшего в прошлое кошмара навстречу тебе вспыхнуло яркое живое разноцветье, и случилось это в один из тех весенних дней, которые, можно сказать, уже принадлежат лету, слепящему свету и жаркой небесной синеве – : – Да, но сейчас передо мной !глаза….. этой Женщины – эта !Тьма…..

– Дело – (неуверенно начинает она) – собственно, вот в чем: Если ты останешься, я больше не смогу публиковать свои объявления в «Фюрере» – это он мне сказал, тот давешний=посетитель, с веснушками. Знаешь, я ведь завишу от него; он один из тех, кто может загубить мой бизнес…… Видишь ли, к ним уже несколько раз поступали жалобы, на тебя. Особенно постарался тот, жирный, свихнувшийся на Марии Каллас….. Хотя кто знает, спасет ли меня, если ты сейчас – (Она не окончила фразу, замолчала.)

Ты уже полностью оделся. С дорожной сумкой у ног, как пассажир, ожидающий на перроне поезда, стоишь ты сейчас перед этой Женщиной, в квартире которой прожил ?Как-долго в качестве, можно сказать, пленника – :Нет, в обоих этих словах, *прожил* и *пленника*, ты тотчас улавливаешь фальшивый тон, угадываешь досадное несоответствие : Правильнее сказать, что рядом с этой Женщиной, во Времени, которое, возможно, в последний для тебя раз остановилось, сконцентрировавшись на том особом Прошлом, что принадлежит исчезнувшей Восточной Германии, ты со-присутствовал, точно так же, как, помнится, ты и во все-те-годы, что предшествовали твоей эмиграции на Запад, со-присутствовал рядом с разными женщинами, уже Тогда ощущая внутри=в-себе, в присутствии этих женщин, как и при всяком вообще общении с другими людьми, затягивающую воронку Пустоты – и отчаянную ярость, и яростное отчаяние, порождаемые каким-то безымянным, неутолимым Голодом. Однако именно в этот, сегодняшний день Время и Прошлое с внезапностью нежданно прогремевшего взрыва обрушились друг в друга, слившись в 1 точку, в 1 неделимую малость. – Что ж, значит, это конец, – услышал я собственные слова. – Да. Конец. Тебе придется уйти.

Она подтверждает, еще тише, чем раньше, когда голосом ее временно овладели ужас и гнев. И потом озабоченно спрашивает: – ?Где ты будешь сегодня-ночью.

Здесь, в этой озабоченности и растерянности, мы с ней встречаемся в последний раз: – Еще не знаю. Неважно. Отныне, куда бы я ни подался, повсюду будет одно и то же. – Случайность, наверное, но сегодня, когда мы с ней видим друг друга в последний раз, она одета так же, как и в тот 1ый вечер, когда я, будучи совершенно не в себе по причине алкогольного опьянения, наркотиков, зловещих происшествий, поднялся вслед за ее дочерью вверх=по лестнице и в струе света, брызнувшего сквозь проем распахнутой двери, впервые увидел ее, эту Женщину; и сейчас светлые брючки из тонкой льняной материи так же ладно сидят на ее бедрах, а темно-зеленый пуловер тесно облегает плоский живот, грудь и плечи – и сейчас, как тогда, ты не дотрагиваешься до нее, не пытаешься смягчить расставание двух тел прикосновением, которое в этом случае не могло бы быть даже тем поспешным порывом удержать мимолетную близость двух людей на каком-нибудь вокзале, когда Один, похоже, уже весь во власти только еще предстоящей ему Скорости Отъезжающего-Исчезающего-Стирающегося из пространств и времен, Другой же, который стоит среди ржаво-коричневой Каменной Крошки, среди Мазута & Железа Вокзала, выглядит околдованным, недвижимым и не способным причаститься к Скорости Путешествующего, а потому их слова и фразы уже теперь кажутся разорванными, скомканными, разметанными только еще приближающимся попутным ветром, и в результате невозможность говорить, соединяясь с невозможностью расстаться, мучительно растягивает последние минуты, которые остаются до действительного, воплотившегося в реальность, отъезда –; итак, вы не можете уже даже этого, ибо сейчас ваше соприкосновение было бы чем-то еще меньшим, чем воспоминание о соприкосновениях ваших тел в те остановившиеся, исполненные ожидания моменты (когда ты губами искал ее лоно, ощушал на языке вкус *корицы* и теплой женской плоти, а груди ее, блекло-светлые утренние плоды, словно притягивали твои ладони –). Ты быстро нагибаешься, чтобы взять дорожную сумку, обхватываешь пальцами кожаные ручки (они, деформированные многими путешествиями, привычно ложатся в твою руку, ты и вслепую мог бы их узнать, как каждый человек распознает отпечаток собственного тела в принадлежащих ему пиждаках и пальто), поднимаешь сумку с земли : только на 1 мгновение заглядываешь ты в лицо этой Женщины, в эти глаза….. в эту тьму….. – :потом резко отворачиваешься и начинаешь спускаться по старой лестнице, как каждодневные анонимные посетители, которые после поспешного соития так же поспешно сбегали вниз по ступенькам, торопясь вернуться в свою повседневность; ты не слышишь от нее ни единого слова, хотя она все еще стоит у двери, пока, спустившись на полтора пролета ниже, не исчезаешь из ее поля зрения. Потом до тебя все-таки еще 1 раз доносится ее голос, гулко разносящийся по лестничной клетке, в том же направлении, в каком движешься ты, – но *она* определенно имеет в виду не тебя, может быть, и не себя=саму (ты замираешь на истертой ступеньке, прислушиваясь к ее словам, которые так странно звучат в этом ожесточившимся=онемевшем безжизненном доме):

– Нет предела Алчности & Зависти тех, кто уже и так все имеет. Тот же, кто однажды увяз в Дерьме, !останется в нем навсегда. – (Слышишь ты ее голос, усиленный эхом) – Чем скромнее желания человека, тем меньше у него шансов их удовлетворить. У меня есть очень мало такого, на что я могла бы претендовать, что хотела бы сохранить, но кому-то кажется, что даже это малое – непозволительная

для меня роскошь. У меня есть 1 ребенок, которого я не хотела; мужчина же, которого я хотела и к которому была привязана, повесился. 2 анекдота в одной фразе. Я потеряла почти все. Сейчас я шлюха, но даже шлюхой быть долее не могу. У меня не остается ничего из того, что еще могло бы у меня оставаться….. – (На 1 мгновение она умолкает, потом:) – Может, мои желания просто уже не соответствуют этому-времени…..

Тебе нечего ей ответить. И ты продолжаешь спускаться вниз, а не возвращаешься к ней, потому что иначе тебе пришлось бы сказать, что твоя первая вылазка=первый-наружний-путь не будет долгой, те же пять этажей, но только вверх по лестнице: в Доме=напротив. Там я совершу нечто, что станет важным свершением и для нее тоже, хотя она никогда об этом не узнает. В Доме=напротив, на 5ом этаже, я буду ждать, *его*…..

Ты еще слышишь, как закрывается дверь. Женщина не сказала больше ни слова, подождала только, пока ты спустишься еще на половину лестничного пролета и ступишь на 1ую ступеньку после поворота (ступеньку с характерным скрипом): 1 короткая ступенька 1 короткий звук крякнувшего старого дерева как напоминание о давней близости. Уходящий, Расположиненный, один из Не-Мертвых, который молча бредет в этом пустынном пространстве и не может потерять зрение=свет-своих-очей, не может потерять слух, не смог даже обратиться в камень –, внезапно тебе вспоминаются все твои расставания с той другой Женщиной, ради которой ты, собственно, и приехал в Берлин, которую надеялся встретить – ?Как-давно-это-было; вспоминаются эти расставания = захлопывающиеся двери, каждый раз означавшие радикальный разрыв, удар, который подобен поспешному затаптыванию костра и после которого гаснет свет человеческой близости. Двери всегда оказывались ножами для нанесения окончательного разъединяющего разреза. Как та качающаяся дверь в пограничном пропускном пункте – на Фридрихштрассе, возле *Дворца Слез*; & желтоватой, нечистой, захватанной тысячами потных и грязных пальцев была ее деревянная поверхность – почерневшая и липкая, с облупившейся краской, в том 1ственном месте у края, за которое всегда поспешно хватаются руки, какую бы дверь они ни пытались открыть; & проход к двери наискось пересекал, или баррикадировал, аллюминиевый шлагбаум, как в каком-нибудь Мертвом Доме : эту дверь из фанеры, а может, клеёного картона, Уходящие, как, впрочем, и Остающиеся, могли миновать, только дав размашистую оплеуху *Судьбе*, & за этой фанерной или картонной створкой для *Не*-имеющего-допуска даже 1-лишний-шаг означал, в соответствии с извращенно-безрадостным демонизмом нашей низшей сатрапии, немедленный Арест & последующее Исчезновение; в тогдашнем лишенном теней неоновом мире бледные, как бы покрытые тонким слоем пудры или известки, прыщавые лица, качавшиеся над зелеными & серыми униформами, казались такими же бесцветными & на $^1/_2$ школярскими, как и вся=та Эпоха Шпиков & Торгашей, которая возводилась с Помпой Ожесточением & Яростью, а далее ее существование искусственно поддерживалось только с помощью бессчетных переливаний крови; картонная дверь, плоская и обслюнявленная, словно лицо идиота, – как!часто ты видел ту Женщину исчезающей за ней, качнувшаяся створка расчленяла образ *ее* тела на отдельные фрагменты – еще видна 1 рука, икра, ступня, краешек платья, ниспадающего легкими воздушными складками, мелькнул словно взметнувшийся на мгновение флаг – (и тогда тебе

казалось, что такого рода расчленение есть, в определенном смысле, отличительный признак нашего времени, если не признак этого=всего последнего века, уже достигшего края пропасти, которая ввергнет его в ближайшее тысячелетие: Разорванность, Расчлененность: во всех ее вариациях & различиях, которая не просто навязывала чиновнические, военные, инквизиторские аспекты всех-этих проверок чистоты совести & профессиональной пригодности, с самого начала *Эпохи Модерна* воздвигавшихся, как барьеры, между Жизнью и: Людьми и оставлявших у расчлененных характерные стигматы, следы перенесенных ими пыток & травм, но уже давно впечатывала такого рода шифры также в мышление и: чувства подвергавшихся расчленению людей, которые в результате и не могли уже, как тебе казалось, не испытывать рабской влюбленности во все фрагментарное, проявлявшейся даже в искусстве и в эротике…..) / Напиравшие сзади выталкивали тебя из этого потока=обратно, в Восточную Германию, и ты спешил к мосту через Шпрее, к защищенной решеткой (тяжелой, темной & непроглядной, как сны о бегстве и смерти) стальной арочной конструкции, которая изгибалась над рельсами, ведущими на Запад, – а оказавшись на другом берегу, смотрел на длинную цепочку вагонов, в надежде, что, ?может быть, через 1 из вагонных окон, сверкающих наподобие обнажившихся в улыбке зубов, тебе удастся еще 1 раз увидеть *ее*, пусть лишь на 1 мимолетное мгновение (и, конечно, это никогда не удавалось) / И была еще одна дверь, из рифленого стекла, за которой исчезла для тебя другая Женщина, так что ее образ разбился вдребезги, будто отражение на поверхности покрытого мелкой рябью светлого пруда, в котором, как тебе тогда казалось, она утонула. / И еще одна, мраморной белизны дверь, когда-то мягко закрывшаяся за тобой, – ее прикрыли с той деликатной сдержанностью и & с тем вежливым равнодушием, которыми очень богатые люди, владельцы так называемых *старых состояний*, умеют отгораживаться от внешнего мира, как если бы эти их качества были непроницаемой защитной стеной; тот день безмятежно блаженствовал в ранне-золотистом солнечном свете, в его теплом дыхании распускались первые грозди жасмина и сирени, а белая галька под твоими ногами напоминала о променадах между надгробиями барочного некрополя. /

Она больше не появится на пороге, не выйдет на лестничную площадку, да и ты ведь не остановился – то есть лишил себя последней возможности еще раз посмотреть на нее. Ты слышишь собственные шаги, скрип старых деревянных ступеней, как раньше, много недель подряд, слышал шаги клиентов (в доме царит тишина, если не считать уже замершего звука ее закрывшейся двери и твоих шелестящих шагов), теперь ты уподобился всем тем безымянным мужчинам на полутемной лестнице, твоя рука скользит по перилам, внизу, как ты помнишь, они заканчиваются резной головой дракона или, может быть, льва; сквозняк, вторжение воздуха Извне тем ощутимее, чем ниже ты спускаешься, потом ты ступаешь на исцарапанные, местами уже соскочившие со своих мест сине-зеленые плитки, заляпаные крошащимися комьями грязи&извести, а потом дверь подъезда распахивается в светло-коричневый Свет – : Как только ты выходишь Наружу, Шумовые Шлюзы открываются, и ты сразу ощущаешь на себе цепкую хватку Города. С этого момента каждый опять существует сам по себе, каждый одинок.

Перевод Татьяны Баскаковой

ТАТЬЯНА БАСКАКОВА

Сотворение мифа из сора повседневности: Райнхард Йиргль и его истории о *Крови, Сексе & Смерти*

Есть две реальности: одна из них – панорама вокруг вашей головы, другая – панорама в самой голове. И два реализма: описание панорамы вокруг головы (…) – и панорамы внутри головы (…). Первое – экстрареализм, второе – интрореализм.

(Анри Мишо, «Сюрреализм»)

Сила, рождавшаяся из незаконного присвоения слов, которые, подобно элементам металлической реки эскалатора, вдруг складывались в четкие фигуры : И возникало нечто Не-Бывшее-Прежде, существующее между Внутри и: Снаружи, Интер-Зона Слов, приплывших ?Бог-весть-откуда, это, и еще Искажения, и Сны : Чудища на 1 день. !Эти Образы давали мне совсем иное Знание, нежели то, которое давно не может восприниматься, ибо загорожено Повторениями всего уже тысячи раз Виденного, тысячи раз Слышанного.

(Райнхард Йиргль, «Прощание с врагами»)

О странностях йирглевских сюжетов и йирглевского письма

По-настоящему познавать что-либо – значит познавать главное, погружаться, проникать в него взглядом, а не с помощью анализа или слова.

(Эмиль Чоран, «Падение во время»)

Глаз будет препровожден на места его былых надувательств.

(цитата из Беккета – эпиграф к «Прощанию с врагами» Йиргля)

За пятнадцать лет, прошедших со времени объединения Германии, Райнхард Йиргль (р. 1953), инженер из ГДР (в 1978-1995 гг. он заведовал технической частью в берлинском театре «Фольксбюне»), ранее писавший «в стол» и не публиковавший своих произведений, стал одним из лучших и вызывающих наибольшие споры современных немецкоязычных прозаиков. Каждый его новый роман воспринимался как событие: «Прощание с врагами» (1995), «Собачьи ночи» (1997), «Атлантическая стена» (2000), «Незавершенные» (2003), да, собственно, уже и другие, более ранние книги («Мама-Папа-Роман», 1990; «Уберих. Комедия-протокол о смерти», 1990; «В открытом море», 1991; «Непристойная молитва. Книга мертвых», 1992). Творчество Йиргля было отмечено многочисленными престижными наградами: премией им. Альфреда Дёблина (1993), Магдебургской литературной премией (1994), Берлинской литературной премией (1998),

медалью им. Бобровского (1998), премией им. Йозефа Брайтбаха (1999), Кранихштайнской литературной премией и литературной премией Райнгау (двумя последними – в 2003 г.). В формулировке решения жюри о присуждении ему Кранихштайнской литературной премии говорилось:

> Райнхард Йиргль использовал годы вынужденного молчания, чтобы достичь в своих романах и повестях никогда прежде не виданной насыщенности художественного изображения […] Со времени Ханса Хенни Янна ни один другой автор не обладал такой пылкой верой в спасительную силу слова и мысли.

Совершенно особое место в современной немецкоязычной литературе отводят Йирглю и критики:

> От йирглевской словесной мощи перехватывает дыхание. Речь у него распоясывается и становится заклинанием против *Тьмы*.
>
> *(Эва Лайппранд, рецензия на «Собачьи ночи»)*

> Филигранная работа с языком, порождающая эффект отстранения […] Это повествование пытается построить для себя некое новое пространство, выставляя наружу обломки душевной жизни.
>
> *(Рон Винклер, рецензия на «Атлантическую стену», 2000)*

> Более виртуозных, ритмичных, богатых аллюзиями, сложных и одновременно убедительных произведений на немецком языке не появлялось со времен «Дней года» Йонсона. […] История, которую он [Йиргль] рассказывает, околдовывает своей безысходностью, потому что на уровне языка ей присущ неповторимый черный блеск, сопоставимый разве что с тем, что отличает новеллу Джозефа Конрада «Сердце тьмы». […] Занимающий 75 страниц монолог «О жизни в глубинах» (так называется вторая часть романа «Атлантическая стена». – *Т.Б.*) […] в языковом отношении относится к вершинам послевоенной немецкой литературы.
>
> *(Йохен Хориш об «Атлантической стене», в обзоре новых романов о Берлине, 2000)*

> Она, оказывается, еще жива – взыскательная, экспериментальная, бескомпромиссная литература, и Йиргль, несомненно, относятся к числу самых значительных ее представителей.
>
> *(Мартин Лухсингер, рецензия на «Генеалогию убийства», 2002)*

> Райнхард Йиргль, родившийся в 1953 г., – возможно, единственный настоящий литературный диссидент, который когда-либо был в ГДР. […] Созданный им образ прабабки Иоганны – это образ святой мученицы, будто высеченный из дерева, как персонажи Брехта, обрисованный в той благородно-сдержанной манере, какая была присуща Йонсону, и близкий к земле, как герои Грасса. […] Еще никогда послевоенная эпоха в истории Германии не изображалась с такой убедительностью.
>
> *(Ирис Радиш, рецензия на роман «Незавершенные», 2003)*

В тематическом плане Йиргль продолжает традицию немецкого философского романа (прежде всего, как мне кажется, – Ханса Хенни Янна), в плане языковом, более конкретно, – линию экспрессионистской прозы Альфреда Дёблина и литературных экспериментов Арно Шмидта. От Янна у него – стремление вникнуть, не останавливаясь ни перед чем, в самые мрачные глубины человеческой психики, в самые, казалось бы, несовместимые с «изящной словесностью» истории; избираемые им сюжеты подходят, как будто бы, для «желтой», но отнюдь не для «высокой» литературы: его книги изобилуют подробными рассказами о проститутках и убийцах (образ бывшего идеалиста, ставшего серийным убийцей, потому что он разочаровался в людях, из «Атлантической стены», – йиргловский вариант разработки одной из главных тем пьесы Янна «Пастор Эфраим Магнус»), об отцах, насилующих своих дочерей, о людях, которых вынудили сотрудничать со штази, и т.д.

Особенно показательна в этом смысле трилогия «Генеалогия убийства», создававшаяся в 1985-1990 гг., но впервые опубликованная в 2002-м (в виде факсимильного издания тиражом всего 300 экземпляров): первая ее часть, «Мама Папа Зомби» написана по материалам судебного процесса над двенадцатилетней девочкой из ГДР, убившей своих родителей; в основе сюжета второй части, «MER – остров порядка», тоже реальная история – создание властями ГДР, в 1982 г., в связи с распространением эпидемии на побережье Северного моря, карантинного лагеря для отдыхающих (фактически – аналога концентрационных лагерей); третья же часть, «Чемодан», сплошь состоит из гневных тирад одинокого старика, медленно умирающего в покинутом всеми жильцами доме в Восточном Берлине.

Однако от «желтой» литературы романы Йиргля отличаются именно богатством подробностей. Впечатление такое, будто Йиргль завороженно вглядывается в человеческие несчастья, отнюдь не оправдывая тех, кто их претерпевает, но – понимая, *жалея* своих героев, самим качеством письма (под «качеством письма» я имею в виду такую насыщенность этой прозы идеями, зрительными образами, переживаниями, которая обычно встречается только в лирике, но, между прочим, характерна и для учителей Йиргля, уже упоминавшихся Янна, Дёблина, Шмидта) делая читателю *прививку против толстокожести*. Вот что, например, говорится по этому поводу в «Собачьих ночах»:

> ?Сколько же еще Смертей, безысходных, – уклониться нельзя : Смотреть Туда : Не Отводя Глаз […] застыв в неподвижности у двери к Этому=Происходящему, как если бы, выпав из Времени, ты ждал Выстрела […] – даже не имея шанса Рухнуть, покорившись не столько Боли, сколько осознанию собственной Беспомощности […].

Это строки из описания полового акта проститутки и ее клиента, слова наблюдающего за этой сценой (по требованию посетителя) сутенера. В самом эпизоде нет, собственно, никакой нравственной оценки происходящего – или, вернее, *возможность такой (логической) оценки исключается, заслоняется ощущением ужаса, который рождается из иллюзии непосредственного зрительного восприятия* деталей вполне будничного соития, базирующегося на отношении к женщине *как к вещи*. Исходящее от этой сцены ощущение ужаса настолько сильно, живо,

что кажется: человек, которому свойственно такое отношение к женщине (не обязательно к проститутке) или к людям вообще, просто не станет читать это, не сможет дочитать до конца – а если дочитает, не сможет не измениться. И ведь ему ничего не объясняют – его только заставляют все до конца досмотреть, *увидеть*.

В «Незавершенных», книге, первая часть которой представляет собой историю трех немецких женщин, выселенных в 1945 году из Судетской области, ощущение зримости происходящего, читательского со-присутствия еще более усиливается за счет воспроизведения особенностей простонародной речи (включенной, отдельными вкраплениями, в монолог рассказчика, который вспоминает то, что слышал от своей бабушки и ее сестры):

> Обе женщины, Ханна & Мария, могли бы даже устроиться в Мюнхене, им объяснили, что для этого нужно только расстаться со старухой. Ибо для стариков никто не желал искать *полезного применения*….. Ошеломленная Ханна отказалась последовать такому совету. Поэтому им пришлось вторично пережить *депортацию*, снова дни&ночи напролет трястись в до отказа набитых теплушках: от Мюнхена через Дрезден в Лейпциг – и потом в Магдебург –
>
> > – а вокзалы-то и залы ожидания !полны-полнешеньки ты там шел чуть не по головам столько набивалось народу и дух от ево спертый хошь ножом режь !грязь=везде паразиты теперь таково и не представишь меня отых тошнило я ведь ишо бог-вессь-как-долго и не ела-то толком и помыцца нам было негде – мне уже совсем делалося невмоготу – Тогда билеты компоссировали раньше чем ты успевал сойти но я спросила энтого в красной фуражке нельзя ль мол мне чуток отдохнуть на перроне – А он грит женшина лучче вам оставацца со своим семейством в вагоне Мда потому как снаружи разгуливают одни-русские, а русские & женшины….. – Опосля в нашем поезде люди повыбивали все стекла заместо дров шли рамы & сидения поезд часами простаивал где-нибудь посередь перегона а ежели когда удавалось прилечь на полу уже через пару минут кто-нибудь заставлял тебя подняцца или наступал не глядя на твои руки-ноги потому как сам искал куды б присесть Так продолжалося часами – !часами – дни-ночи=напролет. И вот однажды поезд вдруг резко затормаживает. Бутто натолкнулси – на ?Шо. Мы все вперемешку с багажом ринулись к дверям крича. ?Шо ?!случилось. Оказалося мы проежжали под каким-то мостом и 1 из солдат сидевших на крыше вагона они ить тогда все чуфсвовали себя победителями & пили не просыхая так вот солдатик энтот на полном ходу стукнулся головой о мост и ево враз как метлой смело с крыши. Сразу понятное дело свистки крики. Чешские солдаты шо охраняли наш поезд рычат ВСЕМ НЕМЕДЛЕННО !ВЫЙТИ !ВЫЙТИ ИЗ ВАГОНОВ !ВСЕМ НЕМЕЦКИМ СВИНЬЯМ. Мы делать нечаво пососкакивали на щебенку. А снаружи чехи со своими винтовками целяца в нас & кричат-кричат & перебегают с места на место. Солдатик тот лежит рядом с рельсовым путем и уже не шевелица, на щебне и рельсах

полно кровищи. Какой-то мушшина с нашево транспорта хотел было подойтить & помочь но чех тут же навел на него винтовку подумал верно он ишо хужее сделает тому-бездвижно-лежащему. Чех энтот все кричал размахивая своей пушкой КАЖНЫЙ 6-Й БУДЕТ !РАССТРЕЛЯН. Нам всем велели построица в 1 шеренгу руки за голову и встать на колени в канаву сбоку от рельс. Я тогда подумала !Теперь !все. Здесь нам и приидет конец. Отмучились. Но тут раздалася команда !ПО ВАГОНАМ !ТРОГАЕМСИ. И мы потом благополучно доехали до самово Магдебурга. А чешский солдатик тот скончалси ишо до границы. – И так далее.

В Магдебурге они смогли переждать зимние месяцы 1946 года, январь и февраль, потому что власти *принудительно вселили* их в 1 из пострадавших от бомбежки домов. В уцелевшем боковом флигеле пожилая неприветливая вдова вынуждена была предоставить 3 женщинам жилплощадь: 1 комнату с голыми стенами, почти без мебели, без печки. *Беженцы как понос – никому не в радость.* Так выразилась вдова & выволокла из комнаты 1ственную кровать. 3 женщинам пришлось спать прямо на полу, на продавленных половицах. Январь тогда только начался, а кирпичная кладка вокруг оконных рам расшаталась, стекла были разбиты, через щели между тонкими досками, которыми наспех заколотили дыру, в комнату задувало снег, в 1ственной ванной (она же уборная) замерзала вода. Лежа на прохудившихся, подванивающих сырой плесенью матрасах, под тонкими, пропитавшимися грязью армейскими одеялами (подобранными где-то среди руин), 3 женщины, мучимые холодом и постоянными сквозняками, лишь ненадолго забывались коротким сном. А по утрам в комнате тонким слоем лежал снег – замена воде в замерзшем водопроводе.

Что значит «богатство подробностей»? Начну с того, что истории йирглевских («неприятных» для литературы) маргиналов вписаны в историю конкретной страны, Германии, и – по причине своей провокационности – наиболее наглядно обнажают те духовные травмы, которые пережили все немцы, пережил сам Йиргль, да и оплетены эти истории множеством других, гораздо менее подробных, но соотнесенных с ними историй «обыкновенных» людей. Все истории корнями своими уходят в прошлое, и если прочитать романы Йиргля как некий единый текст, можно выделить несколько повторяющихся от книги к книге, наиболее важных для этого автора сюжетных «узлов»:

(1) История вынужденных переселенцев, немцев, после войны «выдворенных» из Судетской области и навсегда оставшихся лишенными родины изгнанниками на той новой земле, куда они попали, – в ГДР. (Наиболее подробно – в «Прощании с врагами», где речь идет о муже и жене, и особенно в «Незавершенных», где рассказывается о семье, состоявшей из восьмидесятилетней старухи и двух ее дочерей – переживших коллективизацию, пытавшихся наладить свою жизнь в маленьком городке у железной дороги, умерших в нищете и одиночестве.)

(2) История женщины, матери главного персонажа (рассказчика), которая, поскольку любила мужчину, оказавшегося в ГДР «вне закона» (человека, который мальчишкой, в конце войны, попал в отряд эсесовцев, но очень скоро из этого

отряда дезертировал), была фактически брошена этим мужчиной, бежавшим в ФРГ, и сама оказалась в положении преследуемой, лишившись возможности воспитывать собственного ребенка/детей. (В «Прощании с врагами» и «Собачьих ночах» эта женщина подвергается аресту и затем ее помещают в сумасшедший дом, в «Незавершенных» она, внучка той самой восьмидесятилетней старухи, просто бежит в Берлин, чтобы попытаться начать новую, более счастливую жизнь, устраивается там на службу, а ребенка своего оставляет под присмотром бабушки и бабушкиной сестры.)

(3) История рассказчика, сына этой женщины, выросшего не с матерью, а у бабушки и ее сестры или у приемных родителей – в том и другом случае, у тех самых изгнанников, бывших переселенцев, которые передали психологию изгнанничества и ему; история его попытки найти настоящую родину – уехав в ФРГ и/или обретя такую родину в любви, в мире своего воображения, в книгах. («Прощание с врагами», «Собачьи ночи», «Незавершенные».)

(4) История возлюбленной рассказчика, преданной им (потому что он уехал в ФРГ и – пусть и не по своей вине – так и не нашел способа забрать туда ее, обеспечить там для нее возможность существования) и/или предающей его: потому что, измученная существованием в ГДР или в той вымороченной местности, в которую Восточная Германия, по мнению Йиргля, превратилась после падения Стены, эта женщина готова решиться на все, лишь бы уехать на Запад, обеспечить себе человеческую жизнь, – на брак с нелюбимым человеком, на проституцию, – но в результате только попадает в порочный круг, из которого нет иного выхода, кроме смерти. («Прощание с врагами», «Собачьи ночи».)

(5) История брата-близнеца рассказчика, тоже влюбленного в эту женщину, который *не* уехал за границу, но все равно ничем не смог помочь любимой женщине, не смог даже избежать ненавистного для него сотрудничества со штази. («Прощание с врагами», «Собачьи ночи».)

Иногда эти сюжеты несколько – не очень значительно – варьируются: так, в «Незавершенных» жена рассказчика предает не его самого, как мужчину, но *его дело*, поскольку «старомодный» идеализм мужа, унаследованный им от бабки и прабабки, вечных изгнанников=неудачников, несовместим с ее представлениями о комфортной жизни, с духом нового (после объединения Германии) времени – стремлением прежде всего заботиться о прибыльности того, что ты делаешь. В «Атлантической стене» речь идет о брате (рассказчике) и сестре, об их человеческом сближении, но история сестры – типично йиргленская: брак с любимым человеком, в какой-то момент распавшийся (этот человек, актер и бард, идеалист-неудачник, потерявший работу после падения Стены, потом становится серийным убийцей), роман с обеспеченным, годящимся ей в дедушки мужчиной и вытесняющее все прочие чувства желание оторваться от своего прошлого, уехать в Америку, начать там новую жизнь. И – второй сюжет: новый лесбийский брак матери главных персонажей (брата и сестры), брак с женщиной из Западной Германии, которая тоже пыталась оторваться от своего страшного прошлого, приехав в социалистическую Германию, и история которой у Йиргля рассказана так, что высвечиваются многие стороны и феминистского движения, и идеологии западных «левых» образца 1968 года…

Но романы Йиргля читаются как единый текст даже не из-за повторяющихся сюжетов – из-за самой материи йиргловского письма, как кажется, свободно перетекающей из одной книги в другую: письма откровенно философичного, скандально публицистического и вместе с тем высокохудожественного, то есть имеющего строгую литературную форму, тщательно, сложно и *красиво* (шокирующе красиво, если вспомнить, о чем здесь рассказывается) выстроенного. Все йиргловские тексты *избыточно* богаты деталями «литературного декора» (если считать «литературным декором» – точка зрения, которую я не разделяю, – все то, что не относится к рассказываемой истории). Для Йиргля это принципиально важно. Ибо он, как он сам говорит (в статье «Поэтический потенциал алфавитно-числового кода в прозе»), ищет «возможности и пути, которые позволили бы прозаической литературе выстоять в столкновении с пустопорожней болтливостью обобществленного языка». Он сознательно противопоставляет стершейся повседневной речи, речи *коллектива*, речь литературную, причем в крайней степени *индивидуализированную*:

> Для моего письма характерно стремление к максимальной субъективности текста, с точки зрения как содержания, так и формы (обусловленное стремлением к субъективности переживаний и событий); поэтому эмоции, проистекающие из переживаемой реальности, переносятся – посредством языка и различных способов его письменной фиксации – в эмоциональный план текста не просто так, а в сгущенном, концентрированном виде.

Для передачи своего *синкретического* – философского, художественного и вместе с тем ориентированного прежде всего на актуальную ситуацию – мироощущения Йиргль выбирает очень удачную форму (давно, впрочем, в литературе известную): монолог (или: соединение нескольких монологов). Ситуация, в которой произносятся эти монологи, каждый раз очерчивается неопределенно, допускает разные толкования, но ясно одно: человек, который их произносит, не может быть объективен, он находится в некоем кризисном состоянии, близком к горячечному бреду, и потому сильно искажает те конкретные истории, которые время от времени рассказывает. Для Йиргля интересны не столько сами эти истории, сколько их отражение в сознании. Одни и те же истории поворачиваются разными гранями, предстают в разном освещении. Монологи фрагментарны, мозаичны: рассказываемая история может прерваться в любой момент, рассказчик переключается на события, происходившие в совсем другое время, или перемежает свой рассказ рассуждениями обобщающего (мировоззренческого) характера, гневными тирадами – «поношениями» окружающих и мироустройства вообще, в духе Томаса Бернхарда. Читатель же оказывается в положении, когда ему приходится очень внимательно следить за всеми перипетиями такого монолога, осуществлять *работу чтения*, прикладывать большие усилия, чтобы проникнуть во внутренний мир этого Другого=Говорящего. Автор намеренно затрудняет для читателя процесс чтения: нескончаемо длинные или, наоборот, короткие и отрывистые фразы (иногда прерываемые инородными вставками: как в упоминавшейся уже сцене полового акта, где курсивом набраны слова звучащей –

одновременно с монологом рассказчика – арии из «Мадам Батерфляй») воспроизводят реальный ритм то замедляющегося, то ускоряющегося мышления, знаки препинания, употребляемые Йирглем не традиционно, а в соответствии с изобретенной им самим системой (опирающейся на систему знаков Арно Шмидта, тоже нетрадиционную, разработанную в свое время для тех же целей), как и другие особенности йирглевской орфографии, *задерживают внимание читающего* чуть ли не на каждом слове, принуждая вдумываться в интонацию, эмоциональную окрашенность отдельных смысловых единиц речи; в результате читатель не просто прочитывает, но *проживает* этот монолог – в том же смысле, в каком, скажем, танцор проживает музыку, под которую танцует; то есть читатель вступает в диалог с текстом, сила воздействия («заразительность») которого – по сравнению с литературными текстами обычного, среднего уровня, – многократно повышена. Чем же хочет «заразить» своих читателей Райнхард Йиргль?

Если мы теперь отвлечемся от мрачных и жутковато-гротескных житейских историй, рассказываемых Йирглем, и всмотримся в саму – покрывающую все эти разнородные истории, вкупе с «приложенными» к ним философскими или публицистическими отступлениями и гневными тирадами, – черно-блестящую, как кажется Йохену Хоришу, «чернолаковую» поверхность йирглевского письма, мы увидим, что «лак» этот как раз и стягивает все лежащие под ним слои, рисунки художественных образов и арабески абстрактных рассуждений, в одно целое: в не имеющую глубины *плоскость* мифа. Миф не имеет глубины потому, что в нем все происходит *здесь и сейчас*, все, о чем повествует миф, вместе с тем бесконечно повторяется, как повторяются времена года, и, следовательно, все это чрезвычайно/равно/актуально значимо – для каждого, кто еще способен адекватно воспринимать мифы. Шокирующей красотой своего языка, а также другими способами (соположением отдельных мотивов в пространстве/мозаике книги, прямыми литературными аллюзиями) Йиргль возвышает грязные ошметки повседневности, *нашу будничную повседневность* до уровня мифа, или греческой трагедии, или гностических и библейских текстов (античные трагедии и сакральные тексты – тоже разновидности мифа); он пытается *заразить читателя мифологическим мышлением*, то есть *научить его видеть значимость каждого мгновения жизни*, значимость того выбора, который делает в это мгновение человек. Подобно многочисленным древнеегипетским божествам, которые с легкостью меняют свое обличье, но все являются ипостасями, эманациями одного или немногих верховных богов, персонажи и «антураж» произведений Йиргля в конечном счете редуцируются до очень немногих фигур: Женщина и Мужчина (или: Человек вообще) – Недочеловеки – Мертвые – природная и самим же человеком созданная Среда (Туман, Ночь, Дождь, Время, Город, Вещи и т.д.). Неслучайно у персонажей Йиргля, как правило, нет имен. Они – фигуры Вселенского Кукольного Театра… Герой (рассказчик) в «Собачьих ночах» употребляет эту метафору, рассказывая о своей давнишней поездке в поезде:

> … все это длилось часами, как разыгрываемая в скудно освещенном купе пантомима Упорно-желающего-заснуть, призрака среди других призраков, которые, в свою очередь, разыгрывали, откинувшись на спинки диванов,

ту же самую пантомиму, делали те же жесты, изредка прерываемые, как цезурами, храпом, как если бы этот поезд, торопившийся из, может быть, последнего летнего вечера к первому туманному осеннему утру, вез с одной ярмарки на другую механических марионеток, а поскольку их механизмы в результате тряски & раскачивания слегка повредились, они теперь с той особой сонливостью, которая бывает свойственна именно автоматам, без конца и без толку повторяли отведенные им в кукольном спектакле роли…

Приведенная цитата, разумеется, отсылает к парадоксальному эссе Генриха фон Клейста «О театре марионеток» (1810), где речь идет о том, что совершенствование этих кукол (или – развитие человеческих индивидов?) может привести к двум противоположным результатам:

> […] Однако же он полагает, что и эта последняя доля духовности, о которой он говорил, может быть отнята у марионеток, что их пляска может быть целиком переведена в царство механических сил и воспроизведения, как я это и предполагал себе, с помощью коленчатой ручки.
>
> (с. 514)

> – […] Мы видим, что чем туманнее и слабее рассудок в органическом мире, тем блистательнее и победительнее выступает в нем грация… Но как две линии, пересекающиеся по одну сторону от какой-либо точки, пройдя через бесконечность, пересекаются вдруг по другую сторону от нее … так возвращается и грация, когда познание словно бы пройдет через бесконечность; таким образом, в наиболее чистом виде она одновременно обнаруживается в том человеческом телосложении, которое либо вовсе не обладает, либо обладает бесконечным сознанием, то есть в марионетке или в боге.
> – Стало быть, – сказал я немного рассеянно, – нам следовало бы снова вкусить от древа познания, чтобы вернуться в состояние невинности?
> – Конечно, – отвечал он, – это последняя глава истории мира.
>
> (с. 518)

Мир Левиафана или ...?

?Может, боги всегда выходят из образов Боли (...) ?Откуда у нас эта демоническая забывчивость, ?Откуда этот избыток Веры & Надежды на то, что не будет больше Повторов в этом всегда себя & Все повторяющем, халтурно сработанном, кровавом=скабрезном=банальном 3х-грошовом романе под названием История.....

(Райнхард Йиргль, «Прощание с врагами»)

Имей мы смелость не только смотреть в лицо происходящему, но и приостановить бешеный бег хоть на мгновенье, этой минутной передышки, этой всемирной паузы было бы достаточно, чтобы осознать глубину подстерегающей нас бездны, и тогда порожденный этим прозрением страх быстро превратился бы в молитву или плач, то есть в некий спасительный порыв.

(Эмиль Чоран, «Разлад»)

Однако как это Йиргль отваживается предлагать новый миф в эпоху, когда над изящной словесностью тяготеет проклятие Теодора Адорно: «Писать стихи после Освенцима нельзя»? Йиргль (как в свое время Пауль Целан) это проклятие игнорирует. Точнее – пытается ему что-то противопоставить. Что-то, что можно определить простым словом «честность». Во-первых, он совершенно упраздняет для себя такое понятие, как запретные для литературы темы или сферы человеческого опыта. Он пишет о *нынешней* Повседневности. И обо всем, что важно для ее понимания. Во-вторых, он нисколько не стесняется своей «литературности»: умения создавать яркие, в духе Дёблина и Арно Шмидта, образы, откровенно играть аллюзиями, по-своему, неожиданно поворачивая уже стершиеся, казалось бы, символы – потому что для него, как для того же Шмидта, литература есть одна из важнейших сфер человеческого опыта и потому что, переосмысливая чужие символы, он вступает в диалог с теми, кто их употреблял до него. Герой «Незавершенных» после объединения Германии открывает книжный магазин, в котором устраивает публичные чтения, и объясняет свое решение так:

> Из-за как правило непреодолимого противоречия между моей потребностью в книгах и: их недоступностью в-годы **Г**овнюков**Д**илетантов**Р**аздолбаев во мне незаметно, вместе с раковой опухолью, росло упрямство: Из-Бранные имена разрешенных тогда авторов и их тщательно протертые сквозь ситечко сочинения были для меня все равно что обед без пищи, 1 насмешка. Поэтому я посещал так называемые «нелегальные чтения» в частных квартирах, на чердаках, в задних помещениях пивных. [...] Но и сегодня = в годы **Ф**уфлогонов**Р**аздолбаев**Г**овнюков книги и их авторы никому не любы, поскольку их Язык представляет опасность для ГОСУДАРСТВА & помеху для РЫНКА, ОБА стремятся поэтому подчинить его себе посредством по!разительно выгодных коммерческих предложений, ведь ГОСУДАРСТВО & РЫНОК всегда добиваются того, чтобы Язык отображал только ИХ=САМИХ в ИХ ВСЕМОГУЩЕСТВЕ.
>
> *(«Незавершенные», с. 190)*

Применение необычных – незабываемых – метафор к самым обыденным ситуациям и вещам заставляет *увидеть* эти события и вещи в новом свете – распознать их подлинный трагизм:

> И все же именно такое вот-бытие останется моим уделом на всю жизнь, здесь ли или в другом месте & тем не менее всегда одинаковое: Рабочее-вот-бытие, и Ощущение, будто меня медленно выжирают изнутри маленькими, дерьмовыми ложечками…..
>
> *(«Собачьи ночи», с. 110)*

> Жирные пальцы обхватывали, погребали под собой стаканы с водкой, и в пьянстве, этом разжиженном коммунизме, ОНИ ощущали себя Пролет-Ариями […] Эта страна теперь – труп, медленно пожираемый другой страной, смертельно больной: которой трупный яд заведомо не принесет исцеления.
>
> *(«Прощание с врагами», с. 198)*

Йиргль не считает нужным отказываться от литературы, потому что, как сказано в «Прощании с врагами» (с. 196), «*Вырождение начинается там, где отсутствует Воля к Духовности*», где не находится никого, «кто бы поднялся и назвал дерьмо дерьмом».

Мир, который он рисует, очень жесток, и неслучаен интерес Йиргля к Недочеловекам («усредненному» человеку, против которого как раз и направлен монолог актера-убийцы из «Атлантической стены» – «Удешевленная человеческая плоть….. О жизни в глубинах»), к историям тех, кто оказался «на краю»:

> […] Жизнь на Краю – там, где экзистенции никогда не могут реализоваться, даже как возникающие в сознании образы, даже как химеры, а застревают в том 1ственном состоянии, которое в этих КрайнихОбластях (:?!Но что значит *Край*, если пресловутые «Окраины» охватывают, похоже, четыре пятых всего человеческого сообщества, подобно тому, как четыре пятых поверхности земного шара покрыты водой), кажется, является константой: в состоянии постоянного возобновления примитивной механики жизни, строго нормированной возни в фундаментах, в подвалах, в машинных отделениях вот-бытия – такого вот-бытия, которое чем дальше тем больше сводится к редукциям: от счастья к довольству – от довольства к сытости – и наконец к пищеварению как таковому :и эта низшая ступень знает в дальнейшем лишь повторения себя-самой, и Ничто уже не остановит этот нежащийся в тепле Распад, это гнилостное Брожение, это распространяющее вонь Загнивание – :не уничтожит этого Молоха, эту Свалку для остатков Всего того, что могло бы стать Человеком – –
>
> *(«Прощание с врагами», с. 186)*

> !Люди: Все-эти прошедшие годы ВАМИ же и скомканы, Мне-ничего=Тебе-ничего, ВАМИ же и отброшены, как засопливленная скатерть, Год-за-Годом !просто отбрасываются !прочь – Как если бы это было !Ничто – И !После

> !Все еще можно будет !исправить – это-Сейчас, оно, мол, просто Предварительная-Программа; а Настоящая-Жизнь: !Еще-только предстоит – – !ха!-ха: Поцелуйте себя в !задницу, !Идиоты: !Это=Настоящее у нас уже позади, !именно !Это, дорогие мои, и было Нашей-Жизнью –, теперь она уже почти закончилась, и другой не будет. […] –: Да давайте хотя бы взглянем в зеркало, посмотрим, что осталось от нас : Глаза Морда весь Облик : выстроившиеся на перекличку огрызки; законсервированные школьники, спившиеся, страдающие от болей в желудке, вечно невыспавшиеся, еще с молодых ногтей привыкшие повторять глупости взрослых, охрипшие и озлобившиеся; банда мерзких марионеток, которые выглядят так, будто их только что вытащили из кучи говна – – : Наш *Прекрасный Новый Рабочий Мир* представляет собой один-единственный лагерь уничтожения, но без тех преимуществ, которые были в таких лагерях….. : Этот Рабочий Мир: превращает людей в крыс, причем наихудшего сорта.
>
> *(«Собачьи ночи»)*

Йиргль прямо подхватывает те характеристики этого мира – и мира вообще – о которых впервые заговорил Арно Шмидт: он употребляет выражение «социалистическая Лемурия» («Прощание с врагами», с. 189) – «лемурами», то есть духами умерших, Шмидт в «Каменном сердце» называет чиновников, – несколько раз поминает в своих романах Левиафана, злое божество, правящее, согласно Арно Шмидту, миром, создает свои страшные параллели к шмидтовским картинам беспощадных природных законов (в «Прощании с врагами»: чайки, вырывающие куски мяса и внутренности из еще живых, запутавшихся в водорослях рыб, хищники, пожирающие в амазонских джунглях привязанную к столбу лошадь, и т.д.). Он показывает, что, в общем, во все времена действовали законы, пригибавшие человека к земле, вынуждавшие его соответствовать таким природным=звериным законам (эпизоды из истории испанских конкистадоров в «Прощании с врагами»), обрекавшие на одиночество и цинизм, ибо: «!Нет никакого выхода в пустынном краю Войны без Фронтов, Одиночества как Профессии & Холодности как последней достойной формы Выживания» («Прощание с врагами», с. 193). Повторяет он и шмидтовский образ засасывающего водоворота, Мальстрима, расшифровывая его так: «… в этом Мальстриме, в этом гигантском крутящемся котле Несчастья & Смерти…» («Прощание с врагами», с. 235).

И все таки… У Человека, описываемого Йирглем, всегда остается возможность СОЙТИ С ПОЕЗДА (поезда Истории, поезда деловитой суеты), чтобы на какое-то момент ВЫПАСТЬ ИЗ ВРЕМЕНИ и погрузиться в свое (индивидуальное) прошлое, чтобы вспомнить самого себя. Эти эпизоды в йирглевских романах всегда кажутся одновременно очень реальными и мифическими. Вот как, например, говорится об этом в «Прощании с врагами» (брат рассказывает о своем брате, вернувшимся в город, где он вырос, чтобы убить любимую им женщину – прекратить ее бесполезные нескончаемые страдания):

> Уже долго я знал, что в нем зреет одно желание: Во время поездки на поезде, когда этот поезд застрянет посреди какого-нибудь перегона, просто взять и выйти – неважно в каком месте, там, где случится остановка.

Тогда 1воначальная, вполне определенная & заранее запланированная цель будет отброшена ради возможности выбора самых разных путей. […] В то время брат уже начал свое погружение в глубины 1ночества, в те области, где Вещи становятся Химерами, а Химеры – Вещами. Где сами Пути и есть Цель. И такое желание, 1нажды (как я знаю) высказанное им вслух, с тех пор уже не покидало его. […] *История на какой-то момент задержит дыхание* (думал он), *и Время превратится в Пространства*.

(«Прощание с врагами», с. 260-261)

Сходный эпизод «выпадения из времени» есть и в «Собачьих ночах»:

… я стоял один посреди туманного моря: и, казалось, различал в этом блеклом мареве отдельные фрагменты ив – нас, меня и их, как обломки кораблекрушения, незаметно сносило куда-то во тьме & тишине. Здесь=внутри бег часов, похоже, тоже замедлился. Или: может, это было не что-то, связанное с самим Временем, а нечто находящееся *под* ним, своего рода шлейф из Тишины и Безмолвия, *Гладь* вроде той, что возникает за кормой быстро рассекающего воду судна – везде вокруг Пена & Волны, и только в этом маленьком треугольном пространстве за кормой корабля сохраняется спокойная стеклянистая поверхность, без каких-либо водоворотов или течений, – на 1 мгновение.

(«Собачьи ночи»)

Герой «Прощания с врагами», сойдя с поезда, попадает в разрушенный дом, связанный, как оказывается, с историей его семьи, и там вспоминает свою жизнь, прежде чем совершить убийство женщины, которую любит. Герой «Собачьих ночей» (его брат?) тоже попадает в руины разрушенного дома на бывшей границе между ГДР и ФРГ и тоже вспоминает там свою жизнь: его лихорадочные воспоминания – реальность, преобразованная бредом, – заполняют весь объем романа. Однако прочитать обе книги можно и так, что руины – лишь метафорическое описание внутреннего пространства сознания, загроможденного обломками, оставшимися от уже пережитых катастроф и неудач. В «Собачьих ночах», например, говорится:

… как всегда всякая Речь между людьми способна обрести только форму Руин … и, тем не менее, отсутствующие в ней части такого рода построек могут быть не только восполнены посредством Фантазии, но даже и достроены, расширены, превращены в буйно разросшиеся гротескные барочные лабиринты, контуры которых растворяются, теряются в Забвении…..

(«Собачьи ночи», с. 196)

Выпав из времени, рассказчик «Собачьих ночей» в конце концов попадает в некое условное пространство, напоминающее потусторонний мир: на берег моря, где солнца не видно, а есть только ровный свет, вечный полуденный час, где он, как ему мнится, встречает людей (при ближайшем рассмотрении оказывающихся грубо сделанными куклами), близких ему, но уже умерших. Интересно,

что описание этого странного мира явно перекликается с одним местом из «Волшебной горы» Томаса Манна (Глава седьмая. Прогулка по берегу моря):

> Идешь, идешь… никогда ты с такой прогулки вовремя не вернешься домой, ибо ты и время – вы потеряли друг друга. […] и мы бредем, бредем, а пенные языки накатывающих и отступающих валов пытаются лизнуть наши ноги. […] Глубокая утоленность души, добровольное забвение… Мы идем, идем… Долго ли? Далеко ли? Стоя на месте – идем вперед. Ничто не меняется при нашем шаге, *там* – все равно что *здесь*, *раньше* – все равно что *теперь* и *потом*, в безмерном однообразии пространства тонет время, движение от точки к точке – уже не движение, тут властвует тождество, а там, где движение перестает быть им, там времени уже нет.
>
> Учители средневековья утверждали, что время – иллюзия, что его течение в формах причинности и последовательности – лишь восприятие наших органов чувств, особым образом построенных, истинное же бытие вещей – это неподвижное «теперь». Бродил ли он по берегу моря, этот «доктор», которому впервые пришла подобная мысль, и ощутил ли на губах легкую горечь вечности? Во всяком случае, повторяем, мы говорим здесь о вольностях, каким предаются во время каникул, о фантазиях досуга, – дух нравственности же пресыщается ими так же скоро, как здоровый человек – лежанием на теплом песке.
>
> *(Томас Манн, «Волшебная гора»)*

> Я вышел к морю, к крайней оконечности того острова, о котором так много рассказывал отец. Теперь я видел Все: Остров Людей Море – –
>
> Я знаю, *я мог бы в любое время вернуться из этого вечного лета*, из этого нескончаемого полуденного часа обратно в туман, пройдя по тропинке, ведущей из черноты земли к насыпи у реки, ко все еще неподвижно стоящему на рельсах и ждущему меня поезду […]. Путь обратно будет не лучше и не хуже, чем путь туда. […]. *Если бы я вернулся, то и там ничто не стало бы лучше, и ничто – хуже, чем прежде*. Но ведь ничто и не принуждает меня отправляться в обратный путь, ничто не гонит прочь от берега Моря под Нескончаемой Синевой этого Полуденного Часа, от клочка земли, помещающегося между прибрежными соснами и колючими кустарниковыми зарослями, в зелени которых светятся красные цветы. *В том, что я прежде называл моим телом, уже скоро воцарятся то глубокое умиротворение и та радость, что характерны для наслаждающихся долгими летними каникулами* и запечатлеваются даже на лицах детей, вместе с благодатью светлого забвения –
>
> Я ложусь в траву и песок у кромки открытого моря и поднимаю свой взгляд вверх, к небу. Жить только одним днем. Мое воспоминание, 1ственное, которое доставляет мне удовольствие, – это воспоминание об одной короткой прогулке, много лет назад, в марте. Освещенная солнцем дорога убегает далеко в светлое утро, я иду по ней один, отец мне обещал летнюю поездку на море, это было за несколько недель до его смерти. Вода Земля Ветер, в воздухе привкус весны, светлое сияние. Всего один такой

> счастливый день за всю жизнь. У меня были разные возможности, даже больше, чем я мог бы желать, но я из-за собственного безволия не воспользовался ни 1ой из них. Лежа навзничь в траве и чувствуя спиной тепло мягкого песка, я отпускаю свой взгляд – отвязанный освобожденный отпущенный он наконец устремляется туда, к тому далекому своду, где в потоках света творится никогда прежде не виданное: Нескончаемая Синева – – –
>
> *(Райнхард Йиргль, «Собачьи ночи»;* курсив мой – *Т.Б.)*

Йиргль как будто бы даже полемизирует с Манном: в отличие от последнего, он совсем не противопоставляет «вольности, каким предаются во время каникул» («фантазии досуга») «духу нравственности». Напротив, именно во время прогулки рассказчика по этой зачарованной местности что-то в нем меняется и он начинает по-иному относиться к людям, становится способным на «прощание с врагами» (прощание с идеей врага):

> Переходя от одной группы к другой, я раз за разом распознаю в грубо сварганенных масках сходство с людьми, которых когда-то хорошо знал; среди них попадаются родственники, друзья и те, кого я презирал, – как мне кажется, еще совсем недавно. Правда, имена их всех я забыл; но единственное чувство, которое я испытываю сейчас к этим людям, думая о том времени, когда они еще были такими же живыми, как я, – это сожаление, что я никогда не пытался относиться к ним с бóльшим состраданием.

И вообще, едва спрыгнув с поезда, он, видимо, перестает ориентироваться на свое эгоистическое «я», что выражено даже в грамматическом строе предложения, в отсутствии какого бы то ни было подлежащего, местоимения: «И оставил поезд, который вот уже несколько часов неподвижно стоял на рельсах, решительно спрыгнул с подножки, чтобы продолжить свой путь пешком» (на этом фраза заканчивается). На содержательном уровне этому соответствует – в последних строках – странное отделение взгляда от самого видящего человека: «я отпускаю свой взгляд – отвязанный освобожденный отпущенный он наконец устремляется…».

Ясно, во всяком случае, что речь идет не о каком-то потустороннем мире, но об особом состоянии души, из которого, когда хочешь, можно вернуться (или – вовсе не возвращаться), которое *ничего не меняет в окружающем*, но меняет что-то в самом человеке.

Это *событие преображения* (в момент – в результате – ухода в свой внутренний мир) настолько интересует Йиргля, что описывается в его романах (во всяком случае, в тех, что были созданы после 1995 года) *многократно* – можно сказать, и составляет их главный сюжет. Не только, как уже говорилось, весь текст «Собачьих ночей» есть монолог человека, оставшегося наедине с собой внутри «Руины», но и сам этот монолог включает целый ряд воспоминаний о других похожих ситуациях. В «Прощании с врагами» мы имеем дело уже с двумя такого рода монологами (обоих братьев), включающими в себя, среди прочего, и воспоминания о том, как чувствует себя в зачарованном пространстве безвременья – для него страшном – ребенок (речь идет о церкви, которая описывается

посредством почти тех же образов, что и странный пляж в «Собачьих ночах»). В «Атлантической стене» через такого рода событие проходят *все* персонажи: героиня (затворившаяся на этот раз не в «Руине», а во вполне реальной комнате, в квартире своего брата, – первая часть), маньяк-убийца (вторая и третья части), стареющий писатель, уехавший в Америку, и его сын (четвертая часть). Роман «Незавершенные» опять-таки можно понимать как сплошной монолог человека, смертельно больного раком, который после неудачной операции проводит последнюю ночь в больнице и собирается, уже подстроив все для убийства собственной жены – которое неминуемо произойдет, если окажется, что она действительно его предала, – бежать «в плоть провинции».

Такое событие у Йиргля всегда есть результат не «каникулярного настроения», но острейшего жизненного кризиса, и чем оно закончится, заранее не известно (чаще всего, здесь, – заканчивается или должно вскоре закончиться смертью); однако суть этого события заключается в том, что человек собственным волевым усилием вырывается из мира Левиафана, перестает подчиняться его законам. И это принципиально важно:

> Ибо не Хорошее и не Дурное в людях представляет собой действительную опасность, но проистекающее из ушлой Бесстрастности неуловимое, безграничное Ничто….. Так и получается, что большинство Живущих по обе стороны от Книг уже давно мертвы, хотя умереть им еще только предстоит.
>
> *(«Незавершенные», с. 164)*

Потому что Паук-Время – метафора, часто встречающаяся в произведениях Йиргля, – постепенно высасывает жизненную субстанцию из человека-мухи, и процесс этот вступает в завершающую стадию, как только человек перестает сопротивляться, утрачивает способность испытывать желания:

> …Паук БезЖеланий, слушай: ОН уполз во тьму без !своих книг, но, подобно дикому зверю, – не смирившийся. Сейчас плохое время для мелких грез; только большие, подгоняемые гложущим раком грезы обещают Момент Истины. Так же обстоит дело и с *Обманчивым Счастьем*, и со *Счастьем-Обманщика*: нельзя рисковать своим *внутренним телом*, но при этом нужно стремиться получить от ВсегоМира Все…..
>
> *(«Незавершенные», с 251)*

Время «высасывает» в первую очередь тех, у кого не осталось желаний, а то странное место, где человек остается наедине с собой, есть единственное пространство, где желания могут сформироваться. Поэтому герой «Незавершенных», вспоминая о своих детских фантазиях, может сказать:

> Так рано формируется в сердце пространство для желаний, и так же – Стрела-Греза об Иной-Жизни.
>
> *(«Незавершенные», с. 163)*

Самое удивительное, что, согласно Йиргу, возможность войти (ускользнуть) в свое внутреннее пространство у человека остается всегда. Соотношение

между миром Левиафана и миром Руины в «Собачьих ночах» выражено метафорой-лейтмотивом: проход, закрытый непреодолимой на первый взгляд решеткой, в которой, однако, имеется отверстие, лаз:

> Решетка перед входом как в последний вечер: плотно-плотно пригнанные друг к другу & теперь как тонкие сухожилия врезанные в ГлыбуТумана вертикальные металлические прутья, которые, будучи прикрепленными к 4хугольной массивной раме, как будто бы совершенно закрывают выход из Руины, если не считать 1 отверстия в видном отсюда-изнутри левом нижнем углу –, они, похоже, были здесь с незапамятных времен, с того момента, когда Кто-то впервые озаботился тем, чтобы держать закрытым Вход & Выход этой Руины. Отверстие, тем не менее, достаточно велико, чтобы я или Другие могли проползти во Внутренность Руины & выбраться из нее […] теперь эта решетка перед входом в Руину казалась такой, как если бы, кроме меня, очень долгое время !никто здесь-внутри не бывал. Но ведь это был не закрытый проход, а калитка, оставленная – видимо, по недосмотру – открытой, через которую столь Многое могло ускользнуть и в которой столь Многое могло исчезнуть…..
>
> *(«Собачьи ночи»)*

«Постисторический» миф об Осеннем человеке и о силе Слова

Стремление влить в слова свежую кровь, жажда привнести в них новую жизнь предполагают фанатизм и умопомрачение: любая словесная демиургия развивается за счет трезвости... (...) Человек теряет доверие к словам и начинает покушаться на их устойчивость лишь тогда, когда заносит одну ногу над бездной.

(Чоран, «Искушение существованием»)

И все же пока я способен мыслить Образами – ?!понимаешь – Страх не одолеет меня – :Хотя и Фантазия уже не свободна – не свободна от обломков, руин...

(Йиргль, «Собачьи ночи»)

Миф, который создает – во всех своих произведениях – Райнхард Йиргль, это миф, оправдывающий (реабилитирующий=легитимизирующий) литературу: МИФ О СЛОВЕ. Потому что человек, затворившийся в Руине, не может мыслить иначе, как в *словах-образах*, («живые») слова и образы, с точки зрения Йиргля, нераздельны.

«Безъязычие» свойственно, по Йирглю, именно «Недочеловекам», безоговорочно принимающим мир Левиафана. Для этой среды характерно:

> Своего рода самопогребение в Платоновой пещере Безъязычия, где есть только Тени и Осязаемое в форме Пеленок Какашек & теплой Кашки –
>
> *(«Прощание с врагами», с. 203)*

Или – что почти равнозначно безъязычию – слово используется в той же среде самым примитивным образом, как «шумовая дубина», как оружие в борьбе одного дикаря против другого:

> !Ха: !Наконец-то ты достал Другого, он обнаружил свою !слабину –:!Теперь можно Слово – как заплесневелую доску из двери сортира – вырвать & замахнуться им, !Вмажь!Наддай, & заколачивать – всю матерщину – в уши Другому, ржавыми гвоздями, пока тот не взвоет & не закричит […]
>
> *(«Собачьи ночи»)*

Главные же герои Йиргля говорят потому, что их побуждают к этому боль, отчаяние, страх, не осуществившаяся или разрушенная любовь. Даже оставаясь наедине с собой, в Руине, они обращают свои страстные монологи *к кому-то* – к умершим и живым, к самым близким или к случайным собеседникам. Им кажется (зачастую справедливо), что ничего исправить уже нельзя. «[…] – я сказал Все, но это Ничем мне не помогло», – жалуется герой «Собачьих ночей». Говорение для них мучительно, но именно в процессе говорения они осознают свои прежние

ошибки – в частности, и в обращении со словом. В этом смысле очень показательна история, которую рассказывает главному герою «Собачьих ночей» забравшийся к нему в Руину (чтобы вызволить его оттуда) его начальник, прораб строительного отряда, а в прошлом архитектор. Речь идет о том, как этот человек попытался спасти свой распадающийся брак, с максимальной откровенностью высказав жене все то, что он хотел ей сказать:

> Говорение & Говорение, длящееся=часами, как если бы я обязан был Все-что-случилось & Все-что-еще-может-случиться упаковать в слова, высказать, назвать по имени, проложить путь вокруг этого=Всего, Здесь & Сейчас, в этой отдельной палате женского отделения Charité, ничего не скажешь, выбрал местечко – :Чтобы это=Все не разразилось над нами, тобой и мной, внезапно, чтобы не достало, не прикончило нас, или: того хуже: чтобы не оставило нас жить дальше….. Мертвыми Стариками – […] !Вдруг: в !1часье весь мой страх куда-то улетучился – !прочь – рраз-и-нет-его – фьюить – словно вылетевшие из головы привидения – как если бы !на-самом-деле его !никогда и не было – А все из-за той волшебной формулы: *Все опять будет хорошо* – –
>
> *(«Собачьи ночи»)*

В ответ женщина (эта сцена происходила в больнице) просит мужа вообще больше к ней не приходить. И спасти действительно ничего не удается, но теперь архитектор знает, по крайней мере, в чем была его ошибка – в том, что, говоря о себе, от своего имени (пусть и с самыми благими намерениями), он не вглядывался в Другого, *не видел* его, не хотел примириться с его – другого человека – свободой:

> Я ее и не видел-то толком. Как я и нашего мальчика, нашего ребенка, уже толком не воспринимал. […] К ?Чему, ради всего святого, подобные ссоры, ?вечные претензии к Другому, *Ты !должен это – А этого !не должен*, *!Я всегда !Ты же никогда* – : ?Разве мы не могли бы оставить друг друга в ?!покое : ?Разве не мог бы я оставить в ?!покое *ее*, хотя бы теперь, когда уже близился конец наших отношений […]
>
> *(«Собачьи ночи»)*

Нечто подобное происходит и с двумя братьями из романа «Прощание с врагами». Один из них (тот, что любил безответно) научается в процессе своего говорения признавать право любимой женщины на свободную – от его любви – жизнь; и оба брата, каждый из которых пытается мыслить мыслями другого, говорить словами другого, похоже, преодолевают таким образом – в мучительных, экстатических, парадоксальных монологах-от-имени-Другого – свою взаимную смертельную вражду:

> *Теперь, за несколько шагов до своей Смерти, я вижу эту Природу как точнейшую форму Женщины. И понимаю теперь, почему Женщина может не говорить Мужчине ничего. Глядя на эту Гору, эту Чащу, этот Туман, Дождь и*

Снег высоко в Небе за Облаками я распознаю !ее Совершенство и ее Укрытие – в котором !она скрывается, уходя к=себе-самой, к своему Средоточью.

(с. 211)

Я, приконченный, как говорится, моим Убийцей, моим, как говорится, Братом, стану его Существованием. Стану его Речью. !Осторожно Ловушка. Когда я буду говорить, я буду говорить от его имени. Внимание. Таковы Правила этой Игры.

(с. 225)

Один Голос из Тьмы Смерти, говорящий, претворяющий Тьму в Светлость Говорения. Это Ловушка. Потому что он принимал *Эхо* своего собственного Голоса за *другой* Голос. … Моя Речь состоит из Отголосков его Речи. Это Ловушка.

(с. 226)

Слово, ставшее Плотью. Плоть + Образ *Женщины*. Ради которой я приехал сюда. Чтобы рискнуть совершить Убийство. Ловушка. После останется только Слово. […] Я говорю. В Клетке Освобождения, просветляя все Темноты Речи. В непрерывном Повторении Смерти. Я начну. Снова начну. Говорить. Превосходно. У меня получается. Я говорю. Говорю от имени моего Убийцы. Еще 1 ловушка. И еще. Вещи и Химеры. Появляются.

(с. 229)

Герой «Собачьих ночей», пристально *наблюдающий* – без мыслей, с одной только болью – за тем, как клиент по скотски обращается с проституткой, которая (посредством шантажа) сделала его самого своим заложником и сутенером, в процессе этого наблюдения впервые осознает, что он жалеет=любит ее, а позже все-таки облекает свои наблюдения в слова:

[…] отличительный признак нашего времени, если не признак этого=всего последнего века, уже достигшего края пропасти, которая ввергнет его в ближайшее тысячелетие: Разорванность, Расчлененность: во всех ее вариациях & различиях, которая не просто навязывала чиновнические, военные, инквизиторские аспекты всех-этих проверок чистоты совести & профессиональной пригодности, с самого начала *Эпохи Модерна* воздвигавшихся, как барьеры, между Жизнью и: Людьми и оставлявших у расчлененных характерные стигматы, следы перенесенных ими пыток & травм, но уже давно впечатывала такого рода шифры также в мышление и: чувства подвергавшихся расчленению людей, которые в результате и не могли уже, как тебе казалось, не испытывать рабской влюбленности во все фрагментарное, проявлявшейся даже в искусстве и в эротике…..

(Собачьи ночи, 345-346)

Эпоха Модерна, Современности, – «влюбленность во все фрагментарное», ориентация на массу, а не на индивида, поверхностность, неподлинность мыслей

и чувств… На заре этой эпохи, но когда все эти ее черты уже намечались, Рильке в «Записках Мальте Лауридса Бригге» писал:

> Я учусь видеть. Не знаю, отчего это так, но все теперь глубже в меня западает, не оседает там, где прежде вязло во мне. Во мне есть глубина, о которой я не подозревал. Все теперь уходит туда. И уж что там творится – не знаю. […]
> Желание умереть своей собственной смертью встречается реже и реже. Еще немного, и оно станет такой же редкостью, как своя собственная жизнь. […]
> Помнишь невероятное стихотворение Бодлера «Une Charogne»? […] Что еще должен был он написать, когда над ним разразилось такое? Его дело было увидеть в ужасном, с виду отталкивающем – сущее, единственно важное сущее. У нас нет ни выбора, ни права отбора. […] Ужасное – в каждой частице воздуха. Его втягиваешь в легкие вместе с прозрачностью; но в тебе оно оседает, твердеет, острыми геометрическими краями врезается в органы […] Одно неловкое движение – и снова взгляд идет сквозь знакомое, дружественное и за обманными утешными контурами ловит очертания ужаса. […]
> Я кое-что предпринял против страха. Всю ночь я сидел и писал […]. Сами воспоминания ведь мало чего стоят. Вот когда они станут в тебе кровью, взглядом и жестом, безымянно срастутся с тобой, вот тогда в некий редкостный час встанет среди них первое слово стиха и от них отойдет.

Йиргль и его герои, почти через столетие после Мальте Лауридса Бригге (первые наброски к роману Рильке датируются 1904 г., завершена же книга была в 1909 г.), тоже *учатся видеть*, тоже *вглядываются в ужасное* и тоже – *чтобы побороть свой страх* – начинают *вспоминать и писать*, пишут=мыслят *кровью, взглядом и жестом(=своими поступками)*:

> Здесь тебе не истории о героях и не плутовской роман – а только Заботы Животного & извечно-Человеческий Вопрос *Зачем все это зачем* – !Но !эти Глаза: они остаются, вопреки кровавому потоку времен, вопреки всем фотокарточкам с обгоревшим краем, – похожие на порой возникающие в сновидениях безжизненные леса и на расщепленные ущельями скалы : !эти !Глаза : как они глядят – пронизывающе печально загнанно и отчаянно – Воскресный вечер, изнемогший у края позднелетней грозы, все часы утекли в грязно-бурую заводь застоявшихся туч, свет, застрявший в оконном стекле, ржав тускл & горяч, как конфорки кухонной плиты –, и упрямство ребенка – Мать ведет его за руку домой – в эти душные моменты уходящего воскресенья бесконечно повторяет детский=настойчивый вопрос *Ну скажи: Зачем Все это зачем*, и в лице Матери, замкнутом & спокойном, эта женская забота […]
> Ярость & Нежность, пресловутое Безумие вечных Детей –:– так вот и расщепляются Деревянные-ручки Оконные-рамы Крышки-столов – на пластины, на деревянные страницы некоей Книги, которая непрерывно пишется

> Незаметно Навеваемым, тем Сором Повседневности, которого страшились Классики & и потому со страхом избегали подобного Зияния, как и в своих скульптурах они со страхом избегали изображения телесных отверстий […]
>
> *(«Собачьи ночи»)*

В «Собачьих ночах» возникает поистине мифический, странный персонаж – «этот бесконечно пишущий=этот Осенний человек». Почему он назван «Осенним» – не потому ли, что, по мысли Йиргля, живет в эпоху конца Истории, конца Модерна, заката современной цивилизации?

Если прочитать «Собачьи ночи» как повествование о неких *внешних=происходивших в реальности* событиях (а когда мы только приступаем к чтению, ничто, как будто бы, такой трактовке не противоречит), его содержание можно вкратце изложить так: рассказчик, потерявший работу инженер, записался в отряд, который должен сносить руины в бывшей нейтральной полосе, на бывшей границе между ГДР и ФРГ. Он узнает, что в руинах живет некий умирающий старик, который непрерывно записывает что-то на обрывках обоев, – и забирается в руины, желая узнать, что в наше неподходящее для писательства время может побудить человека к подобному занятию. На следующее утро рабочие начинают сносить дом и инженер получает смертельное (?) ранение от случайного взрыва.

Однако по мере углубления в текст граница между реальностью и нереальностью делается все более зыбкой. Уже следующий абзац после рассказа о проститутке, клиенте и сутенере (практически завершающем первую часть книги) начинается с фразы: «?Или: это опять-таки был лишь 1 из твоих снов […]». Конец же романа вообще допускает множество интерпретаций. Инженер ничего не может найти в темноте и проводит ночь у входа в Руину, вспоминая собственную жизнь. На рассвете он обнаруживает лишь кучу обрывков бумаги, то ли действительно исписанных чьей-то рукой, то ли просто представляющих собой обрывки газет, журналов, документов (но и в таком качестве составляющих мозаичную хронику человеческих жизней?). Он теперь сомневается в существовании Осеннего человека, предполагает, что этот образ есть лишь выдумка местных крестьян (то есть новый миф?), и в конце концов отождествляет с Осенним человеком себя самого: если верить его словам, это он провел сколько-то дней в Руине, записывая на обоях историю своей жизни = роман, который читатель держит в руках. Погибает ли он? Просто ли бредит? Или вся история есть бред (химера) самого Йиргля? Как ни удивительно, эти вопросы отступают на второй план, и конец романа прочитывается как притча *о писательстве как таковом*, о мучительности этого процесса, о связанном с ним ощущением безнадежности:

> И опять это длилось долго, очень долго. Прежде чем *я* начал понимать: *Мое* сердце бьется в ритме сердца чужого, сердца Чужака, который, как *я* слышал, никак не может умереть. *Моя* жизнь – только мрачный сон, который снится кому-то, Лихорадочно Бредящему. Паутина из каракуль, натянутая чужой рукой, многочасовая Охота, со Злобой Ненавистью & Яростью, по угодьям дерьмовой бумаги. И Ничего не остается в конце, *Я* – только тень,

которую держат на тонком поводке Письменности; призрак, который должен изображать жизнь, но каждый шаг которого направляется чуждым ему Тоническим Размером, и так до последнего слова. И даже *мой* теперешний ужас уже пред-писан заранее, как этот наступающий день. А эти Письмена, они исчезнут в тумане – из утра – распадутся на клочья. Где-нибудь в этой Бумажной Горе, в этом *пэчворке* из лоскутьев напрасно растраченной Жизни, *я*, наверное, мог бы прочитать о Тумане, о Ненависти & Ярости некоего Мертвеца, который никак не может умереть и пытается растянуть еще оставшиеся ему часы, создавая *пэчворк* из лоскутьев напрасно растраченной жизни. *Я пишу, следовательно, я существую*. […]
…те заметки, которые *я* поспешно набрасывал в Темноте кровоточащей рукой в какой-то другой, придуманной жизни –, и я стал поспешно читать, пока от сырости и от боли, вызываемой написанным *мною* же, письмена не начали расползаться у *меня* на глазах, читал заметки, оставшиеся от понапрасну растраченных ночей, когда была поймана в сеть каракуль *моя* мушиная жизнь – и потом высосана Пауком Времени –, *я* сидел в эту ночь, как и в предыдущие ночи, прислонясь к стене, недалеко от входа, от влажной каменной кладки тянуло холодом, и озноб, будто на паучьих лапках, пробегал по *моей* коже. : *Я* сидел совсем-один, оцепенев в неподвижности, ?Как-долго, поблизости от входа во Внутренность Руины и у края этой Бумажной Горы….. и все Написанное здесь, для того, чтобы протянуть *мои* часы 1ночества от одной Ночи-в-Руине до другой, было давно забыто и еще раньше стало *мне* чужим, так что все это, разорванное на клочки и валяющееся здесь, теперь лежало в *моих* руках как Чужое *мне*, сотканное из туманно-бледного света: *Все эти найденные мною кусочки Жизни, состоящие из Ярости Отчаяния Шума & Крови, громоздящиеся грязно-бесцветной Горой, – все это ?действительно ?написал….. ?я* –. Тот Взрыв, который покалечил, порвал *мою* руку, покалечил, порвал и *мое* последнее деяние, *мои* письмена, эту паутину из неразборчивых строк, и кровь из *моей* руки допишет то, что *сам я* уже не смогу дописать […]

И все-таки: даже если, как следует из притчи, «этот бесконечно пишущий-=этот Осенний человек» всего лишь *смотрит* на *мусорную кучу Повседневности*, всего лишь соединяет (в своем сознании) обрывки *чужих* слов и *чужих* жизней, деятельность его, по мысли Йиргля, чрезвычайно значима, ибо осуществляется *вопреки* главным порокам современной эпохи – ее разорванности, фрагментарности, безъязычию:

То, что мне оставалось, была работа над Деталями, против Тоски и против Знания о Смерти: Смотреть, Познавать : ту самую Сумму, увидеть которую я когда-то стремился, я мог бы отыскать только в собственной голове.

(«Прощание с врагами», с. 140)

Сила, рождавшаяся из незаконного присвоения слов, которые, подобно элементам металлической реки эскалатора, вдруг складывались в четкие фигуры : И возникало нечто Не-Бывшее-Прежде, существующее между

Внутри и: Снаружи, Интер-Зона Слов, приплывших ?Бог-весть-откуда, это, и еще Искажения, и Сны : Чудища на 1 день. !Эти Образы давали мне совсем иное Знание, нежели то, которое давно не может восприниматься, ибо загорожено Повторениями всего уже тысячи раз Виденного, тысячи раз Слышанного.

(Прощание с врагами, с. 142)

Но, ?может, такое – ими же самими инсценированное – Умирание Вещей среди Мусорной Кучи было все же не хамством, не местью и не сатирой […] а – столь простым, что его можно голыми руками ухватить, Учением, усвоить которое (не говоря уже о том, чтобы выполнять) способны, тем не менее, лишь Немногие: терпеливо выжидать – оставаться стойкими и тихими – среди всех завихрений Раскаленного Пепла Деловитости, Суеты & Распоясавшегося Праха ДЕЛАТЬ то, что всегда понималось как Искусство Самосохранения […]: оно никогда не было чем-то стабильным, устойчивым, и только в Ретроспективе, в Воспоминании вспыхивает и гаснет перед нашим мысленным взором Все то, что когда-то могло осуществиться, но так и не осуществилось – –

(«Собачьи ночи»)

Миф об Орфее, вернувшемся из ада, и о «собачьих ночах»

В эту ночь было у него страшное сновидение – если можно назвать сновидением телесно-духовное событие, явившееся ему, правда, в глубоком сне, но так, что вне его он уже не видел себя существующем в мире. Местом действия была как бы самая его душа, а все происшедшее ворвалось извне, разом сломив его сопротивление – упорное сопротивление интеллекта, пронеслось над ним и обратило его бытие, культуру его жизни в прах и пепел.

(Томас Манн, «Смерть в Венеции»)

И формула Спасения звучит так: Что я могу помыслить, то существует.

(Райнхард Йиргль, «Прощание с врагами»)

Странно, что большинство немецких рецензентов и критиков видят в «Атлантической стене» только «черный блеск», апокалиптическую фантасмагорию. Между тем, это самая оптимистическая из книг Йиргля, возрождающая миф об Орфее – человеке, познавшем преобразующую, магическую силу слова и, как-никак, вернувшемся из мира мертвых. Для обращения Йиргля с мифами характерно, что с историей Орфея так или иначе отождествляются все герои этого романа (как раньше отождествлялась с распятым Христом мать рассказчиков «Прощания с врагами» и даже отвратительный «Толстяк», которого убивает – в своем воображении? – рассказчик из «Собачьих ночей»), – правда, отождествление это в каждом случае имеет свои особенности и не во всем совпадает с античным мифом.

Муж героини, бывший актер, потом серийный убийца и беглый пациент психиатрической лечебницы, когда-то снимался в фильме «Орфей и Эвридика», провал которого и стал переломным моментом в его жизни, началом деградации, конца:

> Моим последним выступлением на склизком паркете культуры был один фильм. *Орфей & Эвридика*. *Орфей* – я. Тогда как раз начиналась эпоха Перелома, веселое время. Каждый был готов заняться любым дерьмом. Но для Орфеевых песнопений не находилось ни денег, ни Эвридики. Фильм исчез в архивах, как позже и сам я – в психиатрической клинике. […] Для меня после этого уже не осталось никаких перспектив.
>
> *(с. 239)*

Тем не менее, уже накануне гибели, в какой-то грязной канаве, где он проводит ночь, этот человек не может удержаться от страстного монолога, *от воспоминаний о своем прошлом*, которые только и позволяют ему ощущать себя собой, личностью, и – от желания выйти из внутреннего затворничества «наружу», к людям:

> Руины моих пространств. Они должны оставаться. […] Я говорю образами. […] Вон & Наружу. Чтобы ИХ=Наружних учить Умиранию. И у НИХ=Наружних учиться Умирать. ИХ смертью. Потому что. Упущенное мною в-Жизни. В-Смерти=я могу обрести вновь. А там посмотрим. Опять посмотрим. Пойдем дальше. Всегда все движется дальше. […] Обернуться. Посмотреть назад. Как когда-то, будучи *Орфеем*, я. Посмотреть на себя самого в моем умирании. В моем прежнем свете. В моем последнем сне. Посмотреть старыми осенне-светлыми глазами. […] Я не Орфей. Чтобы сразу все прояснить. Я не погибну из-за Женщин & Плуга. Я никогда не забывал о работе. И. Я никогда не забывал о ней. Этой женщине. Но я ее потерял. […] Улыбаться, как если бы я уже умер. […] Как ?я. Я пока остаюсь собой. Остаюсь равным себе. С этим еще не покончено. Я пока остаюсь.
>
> *(с. 270-273)*

«Эвридика», которую любит этот человек, не возвращается с ним из ада потому, что сама этого не хочет. Точнее, она *возвращается, но – без него*. О ней, этой женщине, подробно рассказывается (голосом ее брата) в первой части романа. О том, как, смертельно устав от жизни в стране, «где во все времена Поражение было & до сих пор остается самой вездесущей, легче всего приобретаемой формой жизненного опыта: в Германии, неважно, времен ли шовинистического разгула, или разделения государственности, или этих-последующих-лет» и где «сами фундаменты жизни не назовешь иначе как Руинами» (с. 319), она пытается уехать в Америку, чтобы начать там новую жизнь, но эта ее попытка заканчивается полным провалом (таможенники нью-йоркского аэропорта, придравшись к документам, высылают ее, сразу после прибытия, обратно в Германию). И, главное, о том острейшем духовном кризисе, который она переживает по возвращении, запершись в одной из комнат квартиры своего брата. Для нее это буйство в запертой комнате, где она заново осмысливает свое прошлое, равнозначно спуску в ад:

> Ночи как борьба. Они рвали на части, и душили, и не освобождали от дня, как и дни не освобождали от ночей. […] для человека, омываемого всеми водами, оставалась лишь немилосердная, режущая Просветленность….. […] Все=!Это !никогда не было только Сном. И Все=Последующее будет рассказами из Жизни….. после великого Прощания. […]
>
> Ибо эти часы&дни ее добровольного затворничества в моей квартире должны были стать для нее, так сказать, обеззараживанием, Холодным Самоотречением, Внутренней Гражданской Войной, Восстанием ее Тела против Всего, что до сих пор было для этого тела определяющим. […] Так что она при живом теле должна была допустить, чтобы этот молочный свет в комнате охватил & пропитал все=эти ее зараженные Чужой-Волей внутренности, как если бы она=сама и вправду хотела пройти через наполовину религиозную, наполовину каннибальскую церемонию очищения, то есть это свое сокровеннейшее нутро при живом теле препарировать, рассечь на бессчетные тончайшие слои […] & для этого нужен был скальпель !неслыханной МУЗЫКИ […]
>
> *(с. 30-31 и 42)*

Однако в результате такой «внутренней гражданской войны» в ней вызревает некое желание, или решение:

> Здесь=в этой задушенной жизни ты !не останешься. Ты уже скоро !очень скоро отважишься на новую попытку. Ты начнешь все=Это еще 1 раз, & !лучше, чем прежде. Я – – –
>
> *(с. 46)*

После чего начинается период ее долгих разговоров с братом, сближения с ним. А потом она все-таки уезжает в Америку…

Согласно Йирглю, это чудо обретения сил для новой жизни происходит благодаря Слову:

> *!Да, и, может быть, все дело именно-в-!этой Силе, которая выходит из Слов, и которая, едва появившись, уже способна !творить Реальности – в Демиургической Силе Слов –; !Да, и ты, наверное, уже почувствовала, что теперь, начав говорить, не можешь прервать свой Рассказ = поток своих Желаний […]*
>
> *(с. 183)*

Последняя часть романа представляет собой безумный диалог между отцом и его взрослым сыном, целиком заполняющий одну бессонную ночь. Дело происходит в загородном доме под Нью-Йорком, куда отец, шестидесятилетний немецкий писатель, приезжает по приглашению своего сына, которого не видел пятнадцать лет, – чтобы провести там остаток жизни.

Хотя речь идет именно о разговоре, а не о сне, многие детали описания этой ситуации перекликаются со сновидением Густава фон Ашенбаха, героя новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции», – сновидением, которое Манн характеризует как «телесно-духовное событие»:

> […] Местом действия была как бы самая его душа, а все происшедшее ворвалось извне, разом сломив его сопротивление – упорное сопротивление интеллекта, пронеслось над ним и обратило его бытие, культуру его жизни в прах и пепел. Страх был началом, страх и вожделение, и полное ужаса любопытство к тому, что должно совершиться. Стояла ночь, и чувства его были насторожены, ибо издалека близился топот, гудение, смешанный шум: стук, скаканье, глухие раскаты, пронзительные вскрики и вой – протяжное «у», – все это пронизывали и временами пугающе-сладостно заглушали воркующие, нечестивые в своем упорстве звуки флейты, назойливо и бесстыдно завораживающие, от которых все внутри содрогалось. Но он знал слово, темное, хотя и дававшее имя тому, что надвигалось: «Чуждый бог». Зной затлел, заклубился, и он [Ашенбах] увидел горную местность, похожую на ту, где стоял его загородный дом. […] Велико было его омерзение, велик страх, честное стремление до последнего вздоха защищать свое от этого чужого, враждебного достоинству и твердости духа. […] В унисон с ударами литавр содрогалось его сердце, голова шла кругом, ярость охватила его, ослепление, пьяное сладострастие […]. И его душа вкусила блуда и неистовства гибели.

У Йиргля очень похожим образом (даже с упоминанием «звуков флейты») описывается *грозовая ночь* – одна из многих, о которых в конце романа сказано:

> Черные железные ночи – вырванные весенними и осенними грозами из упорной непоколебимости этой холмистой земли – оглашенные завываниями, как если бы собаки сгоняли эти ночные часы в отары окрашенных в цвет ночи годов, как если бы гнали их прямиком сюда, в такое вот построенное из тонких досок укрытие, в 1 загородный дом, из окон которого свет-4угольник по ночам иногда изливает свое желтое сияние.
> Ничего больше. Только это.
> И – вой, будто бы бродячих собак, которые бегают где-то посреди трепещущей поверхности Ночи и которых, кажется, притягивает к себе это самое пятно света, вероятно, внушающее им обманчивую надежду на пристанище. Время от времени этот неизвестного происхождения вой прекращается, как если бы все голосящие в темноте вдруг разом одумались –. Как если бы инстинкт, унаследованный ими от диких предков, предостерегал их от этого света, как он всегда предостерегает от ловушки, от засады, которая может скрываться в насыщенных туманом сумерках. Но они, тем не менее, кинутся на этот свет, этот последний оставшийся здесь свет, – кинутся вместе с черными порывами ветра, в какую-то одну из возвращающихся из Вечности ночей; они почувствуют неотвратимость Рока, почуют близость засасывающего водоворота, ведь все живущие чувствуют, как их вовлекают в свой водоворот мертвецы, затаившиеся в земле и в Ночи, и: тем не менее, не прекратят своего штормового бега – ибо они уже преодолели свой страх.
> Только иногда, вот как сейчас, эти Завывания=Снаружи ненадолго стихают, как если бы некое гигантское Существо должно было перевести дыхание. […] Борьба против бессонных ночей есть последняя остающаяся человеку борьба с последним оставшимся у него врагом.
>
> *(с. 448-441)*

Именно в одну из таких «собачьих ночей» и происходит в романе Йиргля «телесно-духовное событие» разговора отца и сына, радикально меняющее (как это случилось и с персонажем новеллы Манна) жизнь того и другого. То была, по словам старого писателя, «Ночь Прощания с определенным возрастом и со всей жизнью….. прежде» (с. 448).

Как и в новелле Манна, эта ночь заполнена опьянением, выплесками самых разных эмоций, страхом. Старый писатель в начале разговора думает о том, что давно уже перестал быть писателем – а может, никогда им и не был; что в самолете он влюбился в молодую женщину – героиню первой части романа – и потом ее потерял; что у сына есть основания ему мстить. Но постепенно он со все большим вниманием начинает прислушиваться к тому, что хочет сказать его собеседник, начинает бояться *за него*. И сын рассказывает ему свою историю, *историю Орфея* (каковым является любой – ведущий себя так – человек):

> Меня обрадовала серьезность, ожесточенное упорство этого Мужчины, который теперь отстаивал !свою правоту, в споре со Временем и с собственными напрасно прожитыми годами, вооружившись острыми кирками слов,

> как если бы он собирался, следуя некоему сомнительному плану, именно в-!этот-час разгрести обломки стен & кирпичную крошку, а потом извлечь из отравленных недр земли, на бледный солнечный свет, и сделать зримым все то, что за эти прошедшие годы у него пропало.
>
> *(с. 390)*

Сын рассказывает, как, почувствовав надвигающийся крах своего семейного счастья, он заподозрил жену в неверности и пришел на место назначенного ею – какому-то незнакомцу (?) – свидания, на **Центральный вокзал**. Оказалось, что свидание носило деловой характер – жена стала заниматься посредническим бизнесом – но само это ее увлечение модной пустой деятельностью было воспринято Сыном как худшее из возможных предательств, как ее падение. Вокзал описывается Йирглем одновременно как Храм Истории и как ад:

> Как собор, посвященный мертвым богам из таких же мертвых времен […] храм, в котором воздвигли свои виртуальные алтари божества Стяжательства & Коммерческого Вампиризма […] [одно из мест] старо-европейских театрализованных игрищ, где люди Здесь&сегодня участвуют в такого рода все=дневном Возрождении Истории со всей ее Помпезностью & Китчем-Мертвых, где такие Историо-Махеры в опьянении справляют свои порочные Оргии […] здесь, следовательно, и следует искать вход в лежащее под миром **Центральное**-Машинное-Отделение […] Ибо единственным Подлинным посреди всех Обманов & Симуляций было и остается Расставание – эта невзрачная, расчлененная на множество жестов из Всех-прошедших-лет & Всех-человеческих-историй, реальная Смерть.
>
> *(с. 338-347)*

У него возникает желание убить жену, он даже договаривается с наемным убийцей, но, пройдя все подземные этажи вокзала – все круги этого ада – в последний момент отказывается от такого намерения. Однако вернуть свою Эвридику к прежней, объединявшей их двоих близости он не в силах.

По ходу разговора выясняется, что оба собеседника, отец и сын, поражены одной и той же болезнью – отсутствием стимула для продолжения жизни:

> [Сын:] Мой порок это моя пустота. Я пуст внутри. ?Понимаешь. Я больше не понимаю, что побуждает других людей….. двигаться дальше.
>
> *(с. 354)*

> [Отец:] …я понял, !что означает действительное=ужасное старение человека: это когда он сдается, приспосабливается ко всему Уже-Данному = Всему тому, что он успел накопить для себя в виде Прошлого и Жизненных Неудач, в результате медленного, едва заметного Привыкания, – после чего все Подлинное в человеке истребляется & разрушается […] [он превращается], так сказать, в комфортабельно устроившуюся жертву кораблекрушения, и вся дальнейшая его жизнь будет лишь пресным […] воспоминанием-о-былом.
>
> *(с. 344)*

Спасительным средством для них становится, опять-таки, Слово, речевое общение:

> Но было ведь еще одно Все-Спасительное средство: Речь. ?!Что другое оставалось у меня кроме Речи, этого Свиста в Чащобе Необходимости-жить-дальше, где сбиваются с пути все Боящиеся …
>
> *(с. 342)*

> Цель всякого Говорения – познать самого себя – предполагает необходимость Перевода. Который извлекает из слов пресловутый Яд-Равнодушия, и в результате людям требуется меньше времени, чтобы как-то повлиять друг на друга.
>
> *(с. 376)*

> !Должно же обнаружиться какое-то сходство со мною=самим в этом чужаке; моем сыне, в которого, как никак, я вписал – в котором продолжил записывание – себя самого […]
>
> *(с. 400)*

Йиргль повторяет, даже наглядно разворачивает метафору Томаса Манна из «Смерти в Венеции»: слова о том, что «телесно-духовное событие» «обратило его [Ашенбаха] бытие, культуру его жизни в прах и пепел». Вспоминая о том, как встреченная им в самолете женщина (героиня первой части романа) рассказывала ему о своей жизни, Писатель характеризует поток ее речи как «огненный ландшафт Повествования, в котором не звучит никакой конкретный голос, ни ее, ни другого человека, но звучит, скорее, голос самого Повествования, который и продолжает говорить дальше, так что пламя Повествования вспыхивает все ярче, воспламеняясь от-себя=самого» (с. 412):

> И после на такой очищенной земле, поверх пепла, оставшегося от всех разочарований, от всего, оказавшегося несостоятельным, & от всех былых колебаний, которые и заполняли до сих пор такую пассивную жизнь, теперь, когда все это было сожжено дотла, смогла возникнуть Новая-Жизнь – по крайней мере, в ее, этой Женщины, Мышлении & Воле.
>
> *(с. 413)*

В новелле Манна событие погружения в себя, то есть в мир своих не подвластных разуму инстинктов, приводит героя к жизненной катастрофе. По Йиргю, напротив, аналогичное событие – погружение в себя, в свое прошлое, но только с последующим осмыслением=проговариванием (выражением в слове) увиденного в этом адском мире – дает реальную надежду на воскресение к новой жизни:

> В конце последнего Слова – после того, как все сказано – начинается Счастье или Отчаяние, но уже иного рода –
>
> *(с. 441)*

> Другим-Людям нужно: такое место, где Историю можно было бы смыть очистительной струей, чтобы она вновь обнаружилась где-нибудь еще, но

> теперь в виде отдельных историй. Питаться & Испражняться, Слушать & Писать: последнее называется Пищеварительным Процессом Души.
>
> *(с. 410)*

В конечном счете мир героев Йиргля делится на две категории: Орфеев и Тримальхионов (или, что то же самое, Людей и Недочеловеков = послушных марионеток Истории). Подобная дихотомия, резкое противопоставление «исторического» и «неисторического» миров приводит на память «Игру в бисер» Германа Гессе:

> Мировая история – это гонка во времени, бег взапуски ради наживы, власти, сокровищ, тут весь вопрос в том, у кого хватит силы, везенья или подлости не упустить нужный момент. А свершение в области духа, культуры, искусства – это нечто прямо противоположное, это каждый раз бегство из плена времени, выход человека из ничтожества своих инстинктов и своей косности в совсем другую плоскость, в сферу вневременную, освобожденную от времени, божественную, совершенно неисторическую и антиисторическую.

Сын и Отец в «Атлантической стене» возвращаются к жизни, так и не вернув своих Эвридик, своего былого счастья, но, тем не менее, возвращаются: Сын принимает решение вернуться, вопреки всем тенденциям времени, из Америки в Германию; отец же оказывается Орфеем вовсе не потому, что когда-то написал роман о современном Орфее и Эвридике, по которому был снят фильм, но потому, что, оставшись в одиночестве, находит в себе силы написать новую книгу: эту самую, «Атлантическую стену». С ними обоими происходит некая душевная метаморфоза – пресуществление в новое, положительное качество накопленного опыта разочарований. О чем-то подобном писал, еще в девятнадцатом столетии, Уолт Уитмен:

> Если кого я люблю, я нередко бешусь от тревоги, что люблю напрасной любовью,
> Но теперь мне сдается, что не бывает напрасной любви, что плата здесь верная, та или иная.
> (Я страстно любил одного человека, который меня не любил, и вот оттого я написал эти песни.)

Новый миф или возрождение мифа? Казак и другие собеседники Йиргля

Ибо мы – точно из того же теста, что и те, лежащие в могилах, и обстоятельства, в которых мы живем, делают возможным, чтобы мы – на время – приютили у себя и тех, других, лишь по видимости не похожих на нас

(Альфред Дёблин, «Исторический роман и мы»)

Это, должно быть, для вас Временные Туннели между Сегодня и: Тогда, места, в которых Все возвращается

(Райнхард Йиргль, «Незавершенные»)

Если присмотреться внимательнее к романам Йиргля, станет очевидным, что он ведет (литературный) диалог с некоторыми писателями – своими предшественниками. Да он, в общем, совсем не скрывает этого, даже называет имена и произведения, к которым хочет привлечь внимание – того же Клейста, например. Или – прибегает к весьма прозрачным аллюзиям, включает в свой текст легко узнаваемые символы, четко ассоциирующиеся с определенными авторами. Выше уже шла речь о полемике Йиргля с Томасом Манном. Здесь я хотела бы остановиться на трех моментах: на обращении Йиргля к произведениям, созданным в Европе во время и непосредственно после Второй мировой войны, то есть тоже в кризисный период, в чем-то, видимо, схожий – по его представлениям – с периодом после объединения Германии; на его отношении к американскому искусству, в частности, к драматургии 40-х годов; на йиргловской оценке позиции Эмиля Чорана.

Йиргль, Жан-Поль Сартр и Герман Казак

Похоже, нечто подобное йиргловской версии мифа об Орфее – о необходимости возвращения человека к своему прошлому, погружения в себя – возникло (или обрело особую актуальность) именно в военной и послевоенной Европе, когда все связи с прошлым для очень многих людей оказались разорванными.

В 1940 г., в немецком лагере для военнопленных, **Сартр** написал **пьесу «Мухи»**, премьера которой состоялась в оккупированном Париже в 1943-м.

Интересно, что Сартр тоже обращается к античному *мифу* – мифу об Оресте и Эвридике. Одна из главных тем этой пьесы – тема изгнанничества=отсутствия корней.

Изгнанник Орест, вполне благополучно живущий в счастливом городе Коринфе, завидует жителям Аргоса, где он родился, хотя жизнь их кошмарна – настолько кошмарна, будто они живут в царстве мертвых:

> ОРЕСТ. А кто я? Что могу дать я? Я едва существую: из всех призраков, блуждающих сегодня по городу, я – самый призрачный. Я испытал призрачные увлечения, преходящие и бесплотные, как пары.
>
> *(с. 141)*

Но и у самих жителей Аргоса уже давно нет живой памяти о прошлом – она заменена выхолощенными ритуалами, абсолютизирующими их прошлую

вину; как говорит в пьесе бог Юпитер, «пока взор их прикован ко мне, *они забывают смотреть в себя*» (с. 159; курсив мой. – *Т.Б.*). Символом такой неподлинной жизни у Сартра становятся мухи – незабываемый образ, навсегда вошедший в мировую литературу:

> ПЕДАГОГ. Да, мухи Аргоса, кажется, куда гостеприимнее людей. Вы только посмотрите на них, посмотрите! *(Показывает на глаза идиота.)* На глазу, как на торте, – целая дюжина, и он еще блаженно улыбается – доволен, что ему сосут глаза. А из этих гляделок и впрямь сочится какая-то белая жижа, точно скисшее молоко.
> ЮПИТЕР. […] Пятнадцать лет назад их привлекла в город вонь падали. С тех пор они жиреют. Лет через пятнадцать они, пожалуй, станут ростом с лягушонка.
>
> *(с. 95-96)*

Йиргль, для чьих мифов тема подлинной и неподлинной жизни очень важна, заимствует сартровский образ мух и делает его одним из *лейтмотивов*, проходящих через *все* разбираемые здесь романы. Более того, он этот образ развивает. В «Собачьих ночах» образ мух отчасти используется точно в сартровском смысле:

> – Я себя все время спрашиваю: ?Неужели я уже привык к скотству здесь=у-нас, и: ?куда подевались они, эти стаи мух, которые прежде атаковали нас десятками тысяч, будто собирались нас всех сожрать….. […] –
> – Сам подумай, каждая из этих навозных мух – маленькая интеллигентная бестия, & они прекрасно понимают, кто и когда становится беззащитным. : Мы разговариваем, и: пока длится разговор, не можем быть легкой добычей для паразитов. Тот же, кто идет на уступки & показывает свою слабину, у того действительно дела дрянь. […] эти здешние мухи определенно говорят по-немецки.

А отчасти – мухи *отождествляются* с людьми («Недочеловеками»):

> ОНИ производят из такого Дерьма все больше Дерьма, которое служит ИМ пищей, как этим мухам….. здесь-внутри забродившие помои & гнилые остатки пищи используются как сырье для дальнейшего производства, что позволяет ИМ !процветать […]
>
> […] из этой Цело=Купности Низости Грубости & Сентиментальности, в которой мы все увязаем, как мухи, прилипшие к клейкой ленте, могут возникать только Мерзости и Ужасы…..

В «Прощании с врагами» один из братьев, уехавший на Запад, после объединения Германии возвращается на территорию бывшей ГДР, в город, где он вырос, и видит овощную лавку – полуподвальное помещение, которое в детстве внушало ему страх, потому что у двери в это помещение всегда вились стаи мух. В романе эта лавка изображается – воспринимается героем – как вход в Аид, и мухи становятся символом мертвенности, неподлинности уже не человека, но целой страны:

> И вновь я вернулся в тот квартал маленького города, где дома в грязно-неподвижном сепиевом сиянии теснятся вдоль берега реки + где стоит та

> самая овощная лавка, как будка привратника у входа в один из отсеков подземного мира. […] Туда. Где экзистенции не могут состояться. Где пребывают наши отцы. В центр страха. Из не осмысленного времени. К овощной лавке, этой пещере, наполненной гнилью, внутри которой время превратилось в окоченевшие гнилые отбросы.
>
> *(с. 94)*

Наконец, в «Атлантической стене» (одна) муха становится своеобразной виньеткой-заставкой, разделяющей отдельные фрагменты повествования в первой части: повествователь от первого лица, брат героини, наблюдает сквозь задвинутую желтую штору как бы театр теней – он следит за попытками мухи выбраться из паутины, колышущейся по ту сторону окна; эта история имеет для него и символический смысл: здесь акцент (изначально сартровского) образа смещается в сторону вопроса о том, может ли отдельный человек-муха порвать опутывающие его тенета времени=судьбы, должен ли он повторять такие попытки, несмотря на их кажущуюся (?) обреченность:

> Муха из-за собственных попыток вырваться на волю оказывается все крепче и крепче скованной паутиной…..
>
> *(с. 12)*

Борьба с пауком (внешними обстоятельствами) для мухи оказывается одновременно борьбой с собой:

> […] как если бы эта муха должна была обороняться не только от реального паука, но дополнительно еще и от паука-фантома, от паука собственного страха […] как если бы паук и: муха теперь стали 1им…..
>
> *(с. 47)*

И в какой-то момент мухе все-таки удается вырваться на волю, но она почти сразу же попадает в другую паутину, после чего теряет волю к сопротивлению, гибнет; эта ситуация преподносится в романе как парадигма человеческой судьбы:

> Может быть, резкий Ветер=Снаружи тем временем смел все облака с каменно-синей небесной площади – солнечные лучи сверху ударили в окно и высветили тонкий черный орнамент из паутины как герб, огненно-светлым был фон, воздух, – никогда прежде не виданная сияющая желтизна –
>
> *(с. 139)*

Потому что, как говорит в другой части романа актер-убийца – о людях, которых он не успел убить:

> Но. И все-остальные мухи. Которых я не убил. Необозримое множество остальных. ОНИ будут пожраны. Будут опутаны и высосаны Пауком-Повседневностью.
>
> *(с. 229)*

Йиргль заимствует – видимо, у Сартра – и образ человека-призрака, живого мертвеца, не способного направлять собственную жизнь, вообще жить:

> И, может быть, там – или где-то в другом месте – я замерз, превратился в призрака, всегда окруженного расставаниями и неудачами, как

собственной тенью, испытывающего постоянную потребность возвращаться назад, рыться в остатках прошлого, чтобы найти в них то, что могло бы состояться: какую-нибудь жизнь.

(«Прощание с врагами», 107)

И Ничего не остается в конце, *Я* – только тень, которую держат на тонком поводке Письменности; призрак, который должен изображать жизнь, но каждый шаг которого направляется чуждым ему Тоническим Размером, и так до последнего слова. И даже *мой* теперешний ужас уже пред-писан заранее, как этот наступающий день.

(«Собачьи ночи»)

В «Прощании с врагами» появление людей-призраков объясняется тем, что призрачна сама их страна: ГДР и Восточная Германия после объединения. Уезжая на Запад, один из братьев четко сознает, что пересечение границы означает для эмигрантов безвозвратное расставание со всем, что было им дорого: «… мы будем мертвее мертвецов» (с. 157). Возвращаясь же после объединения Германии в родной город, он еще из поезда видит «призрачную пустоту остановленных фабрик» (с. 91) и понимает: «*Региону, который держится только на потреблении, пришел конец*» (с. 92); «за годы моего отсутствия это место превратилось в гниющую свалку, в нем уже много лет назад вымерли и люди, которым можно было доверять, и доверие к людям вообще, огни потухли, крыши & стены обвалились –» (с. 176).

У Сартра человек-призрак Орест, вернувшись в родной город, обретает живую плоть, совершив некий поступок, взяв на себя ответственность за все происшедшее – и происходящее – в его городе. Вечным изгнанникам Йиргля возвращаться, по сути, некуда, и исправить они ничего не могут. И все же они возвращают себе корни, способные привязать их к жизни: находя их в *воспоминаниях* о близких людях (тех, кто еще не утратил понятия долга, чести, – как, например, прабабушка, бабушка и сестра бабушки главного героя в «Незавершенных»), в *мире книг*:

Тем, чем для твоей бабушки была *ее-родина, Комотау*, для тебя стала *твоя-родина, Книги*.

(«Незавершенные», с. 196)

Йирглеваские герои заняты «созданием внутреннего масштаба; самовоспитанием с целью обретения духовности» («Прощание с врагами», с. 203); это люди, которые «искали надежду & находили утешение в сотворении слов» (там же, с. 77). И в этом позиция Йиргля резко расходится с позицией Сартра, выраженной в «Мухах», ибо для Ореста важно именно действие, поступок, а книжная культура, которой он владеет, есть все-таки нечто оторванное от жизни, непосредственно с ней не соприкасающееся:

ПЕДАГОГ. А культура, господин? Ваша культура принадлежит вам, я подбирал ее для вас с любовью, как букет […]. Разве я не давал вам с детства читать все книги, чтобы приучить вас к многообразию человеческих суждений […]? […]

ОРЕСТ. Да нет. Не могу жаловаться: ты дал мне свободу нитей, оторванных ветром от паутины и парящих высоко над землей: я вешу не больше паутинки и плыву по воздуху.

(с. 105-106)

Гораздо ближе к йирглевским мифам другая книга, написанная в 1946 году его соотечественником **Германом Казаком: «Город за рекой»**. Тематическая близость, близость отдельных мотивов и образов в данном случае настолько велика, что порой возникает искушение назвать йирглевскую «тетралогию» римейком фантастического романа Казака – но правильнее все-таки сказать, что произведения Казака и Йиргля соотносятся как короткая музыкальная пьеса и написанная по ее мотивам большая симфония.

Герой романа Казака (его зовут Роберт) получает предложение поступить на должность архивариуса в некоем Городе за рекой и, приехав в этот город, приступив к работе, постепенно осознает, что попал в «промежуточное царство» (с. 213), населенное мертвецами – общается он там главным образом с людьми, которые при жизни были близки ему: любимой женщиной, своими родителями и т.д. То есть он погружается в собственное прошлое. С другой стороны, наблюдая за происходящим в «городе за рекой», он учится как-то по-новому смотреть на жизнь, отделять важное от неважного – и, как со временем выясняется, должен будет потом вернуться в обычную жизнь, в реальность послевоенной Германии, переполненной бездомными беженцами, чтобы рассказывать людям о том, что он понял, чтобы написать книгу об увиденном. Главная цель его деятельности – попытаться истребить у слушателей «косность духа и сердца» (с. 302). В этом смысле он похож на йирглевских Орфеев, хотя Казак его с Орфеем не отождествляет.

Важно, что, в отличие от Сартра, Казак (как до него Герман Гессе – цитировавшаяся выше «Игра в бисер» была написана в 1943 г.; а после него – Арно Шмидт) придает огромное значение памяти – в том числе памяти, запечатленной в письменном слове, то есть культурной традиции, которая, по его мнению, только и может объединить в одно осмысленное целое разрозненные песчинки отдельных человеческих судеб, как и придать осмысленность индивидуальной судьбе:

> Тот, кто мог сказать нечто выходящее за пределы повседневности, вынужден был сойти сперва в промежуточное царство и заручиться связью жизни и смерти. Его дух должен был суметь освободиться от телесной оболочки, чтобы пребывать в недрах Архива и стать пайщиком памяти.
>
> *(с. 254)*

> – Нет ничего важнее поддержания памяти в людях, – продолжал Комиссар размеренным сухим тоном […] – Жизнь отдельного человека коротка и нередко предоставляет слишком малое пространство для развертывания судьбы. Люди оставляют после себя много непережитого – того, что не нашло выражения. Их существование поэтому несовершенно [другой вариант перевода: не завершено. – *Т.Б.*]. […] То, что мы называем искусством, есть не что иное, как живая традиция духа. Храмы и статуи, живописные полотна и песни – это непреходящее, то, что переживает людей и народы, но вернее всего служит духу письменное слово.
>
> *(с.44-45)*

Йиргль подхватывает эту мысль в романе «Прощание с врагами», когда рассуждает о «банальной» (повседневной) жизни и о письмах возлюбленной обоих братьев, которые были «такими обескураживающими, таинственными=темными и банальными, какой может быть только жизнь Безымянных» (с. 200):

> […] и они, эти письма, если и принадлежали когда-то к какому-то континууму (если вообще возможен континуум в человеческой жизни, ведь: ?кто знает, сколькими маленькими, крошечными смертями повседневно и ежечасно ломается любая конкретная жизнь, разрывается на отдельные островки, а мы едва это замечаем…..), то ничего об этом континууме сказать не могут, а говорят – как раз о другом, о прерванном, об отрезанном, об отброшенном, о незавершенном, которое 1но только и может быть обозначено, и получается своего рода *Белая Речь*, белая и пустая, как промежутки в ее письмах, которые вовсе не случайно остались не заполненными словами, а потому (как я, думая за него, предполагаю), что никакой другой речи для себя эти промежутки и не могли найти: пустота, шероховатая пепельная белизна бумаги была 1ственной доступной для них формой рассказывания – *(с. 200)*

Не завершена – в этом Йиргль соглашается с Казаком – любая индивидуальная человеческая жизнь; свой последний роман Йиргль так и назвал – «Незавершенные» – и в самом тексте несколько раз прозрачно намекает на то, что имеется в виду:

> Все остается не прожитым до конца…
>
> *(с. 208)*

> Она ощущала саму себя не завершенной, да и не имеющей начала, ощущала себя – вместе с плотью, которая в ней росла, – 1 обломком, выпавшим из тела времени
>
> *(с. 150)*

> Ты завершишь без меня все то, что со мной неизбежно останется незавершенным.
>
> *(с. 247)*

По Казаку, соответственно, Город за рекой – город памяти – представляет собой руины (руины не сбывшихся человеческих надежд), отчасти заполненные мусором; это место вне времени печально, как сама жизнь:

> Тщетно пытался он [Роберт. – *Т.Б.*] разглядеть хоть что-нибудь за окном: там все тонуло в призрачной туманной синеве. […] И хотя прошло, может быть, всего несколько минут, пока трамвай не остановился снова, он потерял ощущение времени. […] Оглядевшись вокруг, он обнаружил странную особенность: у домов, рядами расходившихся от площади, были одни только фасады, так что сквозь зияющие проемы окон виднелись кусочки неба.
>
> *(с. 34-35)*

> События, в которые он оказался втянутым с первого дня своего пребывания в городе за рекой, утратили видимую связь. Пережитое представало перед ним разорванной картиной, в виде клочков и обрывков, которые, как осколки, больно ранили память. Временами его охватывала какая-то особенная тоска, когда им слишком ясно и тревожно осознавалась сиротливость и бесприютность жизни.
>
> *(с. 204)*

Йиргль, как уже отмечалось, делает руины (руины памяти) и мусорные свалки сквозными лейтмотивами своей «тетралогии». Его «места памяти» тоже неизбывно печальны, ибо, как сказано в «Атлантической стене», «для людей, уже омытых всеми водами, остается только немилосердная, ранящая просветленность» (с. 31).

И все же Казак, а вслед за ним и Йиргль, верит в «магическую силу слова» («Город за рекой», с. 251), верит в огромную значимость того, что происходит в сознании человека. Об этом однажды беседуют Роберт и его возлюбленная Анна:

> – Ты думаешь, – сказал он после некоторого молчания, – что мы переживаем действительность лишь в наших представлениях?
> – Я уже не чувствую больше никакой разницы – проговорила она распевно. – Грезы и явь – это только разные обороты круга, в котором мы движемся. […]
>
> *(с. 210)*

В другом месте романа та же мысль раскрывается в беседе архивариуса Роберта с мертвыми солдатами:

> – Возвращайтесь назад, за реку! – сказал архивариус. – Не ради себя возвращайтесь, как вы хотели, но ради живых. Как духи являйтесь им в сновидениях, во сне, в этом состоянии, которое так сходно с вашим. Предостерегайте их, напоминайте о себе и, если нужно, мучайте их. У вас в руках ключ сюда. Настоящее вашей смерти могло бы спасти будущее жизни. Овладевайте смертными, будите их мысли и чувства!
>
> *(с. 241)*

Йиргль, по существу, целиком принимает концепцию Казака, но – подробнейшим образом ее развертывает. У него, правда, получается, что в «Город за рекой» может попасть любой человек – и в любой момент. Интересно, что в самом конце «Собачьих ночей», когда рассказчик попадает в странное пространство, где он переживает некое просветление, описание его «прибытия» туда явно стилизовано под описание первых (и последних) впечатлений Роберта от Города за рекой:

> Когда поезд, сбавив скорость, медленно въехал на большой мост через реку, сразу же за которым была конечная станция, Роберт подошел к окну купе и напоследок окинул взором оставшийся позади берег. Вот и добрался до места! Вздохнув, он поглядел вниз, под мост, на глубокое ложе реки, по которой проходила граница.
>
> *(«Город за рекой», с. 33, первые фразы романа)*

> Каменистый ландшафт лежал в сумеречном свете. Не было ни дня, ни ночи. Вокруг была одна только мутная белесая мгла. В воздухе плавали редкие рваные клочья тумана. […] Тяжелый и липкий туман стлался над ущельем, закрывая серой пеленой крутые каменистые склоны. Из глубины его доносились глухие звуки бурлящего потока.
>
> *(«Город за рекой», с. 293)*

> И оставил поезд, который вот уже несколько часов неподвижно стоял на рельсах, решительно спрыгнул с подножки, чтобы продолжить свой путь

пешком. Небо мгновенно опять затянулось тучами, серые щупальца испарений ощупывали луга и поля вокруг застывшего в ожидании поезда, и неподвижность тумана опять погрузила день в ватную немоту. […]
Справа, с другой стороны, у подножия насыпи (как бы выныривающей между двумя островками тумана), река: маленькие серые волны бьются о камни – ветра нет, ГлыбаТумана лежит и над этой водой, непроницаемая и крепкая.

(«Собачьи ночи»)

Йиргль, Теннеси Уильямс и Юджин О'Нил

В «американском» романе Йиргля, «Атлантической стене», название последней – четвертой – части, «Большой Центральный вокзал. Конечная остановка: Поиск-Себя» (*Grand Central Terminal. Endstation Selbst-Sucht*) перекликается с немецким названием пьесы **Теннеси Уильямса «Трамвай Желание»** (*Endstation Sehnsucht*), написанной в **1947 г**. В пессимистической пьесе Теннеси Уильямса, где противостоят два мира – внешний мир, бездушная повседневная реальность, воздействующая на человека, постепенно ломающая его, и внутренний мир героини, Бланш Дюбуа, упорно сопротивляющейся этому внешнему воздействию, Йиргля, возможно, привлекает утверждение силы и ценности второй, внутренней реальности, а также то определение, которое Уильямс дает этой второй реальности именно как динамичной, оказывающей сопротивление силе:

БЛАНШ: А что противостоит смерти? Желание, любовь.

(с. 106)

В пьесе Уильямса, так же как в более поздних по времени написания романах Йиргля, герои делятся на тех, кто такой внутренней реальности не признает и, соответственно, живет подобно мертвецу или животному (Бланш говорит о муже своей сестры, Стенли Ковальском: «Ведет себя как скотина, а повадки – зверя! Ест как животное, ходит как животное, изъясняется как животное! Есть в нем что-то даже еще недочеловеческое – существо, еще не достигшее той ступени, на которой стоит современный человек», с. 58), и других, для которых собственные представления и фантазии – опора, за которую хватаются от отчаяния, но которая никакого успеха не гарантирует (гарантирует только – пока она существует – сохранение живой личности).

Йиргль, так же как Уильямс (и, конечно, как многие другие, как тот же Казак, представитель маргинального в послевоенной Германии «магического реализма»), изображает *одновременно обе реальности*, внешнюю и внутреннюю, фокусируя свой интерес преимущественно на последней. Любопытно, что Бланш в пьесе Уильямса как будто бы формулирует принцип такого подхода к действительности (и – основанного на нем литературного направления):

А я не признаю реализма. Я – за магию. […] Да, я говорю не правду, не то, как есть, а как должно быть в жизни.

(102)

Название **пьесы Юджина О'Нила «Долгое путешествие в ночь»** (написана в **1940 г.,** поставлена и опубликована посмертно, в 1956-м) несколько раз прямо упоминается в «Атлантической стене» (например, на с. 19 и 23, в рассказе

героини о ее первом путешествии в Америку, прервавшемся сразу на таможне, – как метафора, обобщающая этот негативный опыт). Еще важнее то, что последняя, четвертая часть «Атлантической стены» может быть прочитана как римейк «Долгого путешествия». В автобиографической пьесе О'Нила изображены один день и ночь, на протяжении которых не происходит почти ничего, кроме разговоров между членами семейства Тайронов: отцом, матерью и двумя сыновьями. Разговоров очень напряженных, но суть которых не сводится к тому, что автор, скажем, показывает причины упадка этой семьи, вскрывая суть вины каждого из персонажей. На недостаточность подобной трактовки указывает уже посвящение пьесы, обращенное к жене Юджина О'Нила:

> […] Это дань признательности за твою любовь и нежность, утвердившие во мне веру в любовь. Благодаря этой вере я наконец-то смог рассказать о моих умерших близких и написать эту пьесу – написать ее с глубоким состраданием ко всем четырем мучающимся Тайронам, понимая и прощая каждого из них. […]
>
> *(с. 135)*

В пьесе действительно идет речь о том, как жизнь ломает людей – ломает всех без исключения персонажей «Долгого путешествия»:

> МЭРИ. […] Жизнь коверкает каждого из нас, и тут ничем помочь нельзя. Она меняет нас исподволь, прежде чем мы успеваем спохватиться, и эти перемены заставляют нас быть другими, поступать по-другому, пока наконец между тем, какие мы есть, и тем, какими мы хотели бы быть, не вырастает непреодолимая стена, и мы навсегда теряем свой жизненный идеал.
>
> *(185)*

И все же главное здесь – событие бескомпромиссно откровенного общения, событие, в ходе которого каждый возвращается в свое прошлое, находит там себя прежнего, *лучшего*, вновь обретает способность быть снисходительным к другим, любить их. Такое событие (или: ряд таких событий) происходит не только с интеллектуалом Эдмундом, который описывает его – если можно так выразиться, перевернув хронологическую последовательность, – совершенно «в йиргlевском духе»:

> ЭДМУНД. Все мои лучшие воспоминания связаны с морем. […] на какой-то миг я почувствовал, что меня нет, что бренная жизнь покинула меня. […] Не было ни прошлого, ни будущего – лишь ощущение покоя, гармонии и неистовой радости бытия. Я слился воедино с чем-то неизмеримо большим, чем моя собственная жизнь или даже жизнь человечества – с самой Жизнью! […] И вот наступает упоительный момент полнейшей свободы. Меня охватывает ощущение блаженного покоя, точно кончились все скитания и достигнута последняя гавань; душу переполняет радостное чувство причастности к чему-то высшему, обычно недоступному людям с их низкими, жалкими, алчными надеждами, мечтами и страхами! […] Как будто какая-то незримая рука снимает с твоих глаз пелену и ты видишь самую сущность вещей, а не их привычную внешнюю оболочку! […] А затем та же рука

опять опускает тебе на глаза пелену, и вновь ты чувствуешь себя одиноким скитальцем, который на ощупь бредет в тумане, сам не зная, куда и зачем!
(с. 278-279)

В результате такого же – происходящего с ним – события пересиливает свою злобу к младшему брату пьяница Джейми:

ДЖЕЙМИ. […] потому что тот узник был мертв внутри, он и должен был убить любимую. [Говорит он, комментируя «Балладу Редингской тюрьмы Оскара Уайльда. – *Т.Б.*] Мертвец во мне надеется, что ты не выздоровеешь. Пожалуй, он даже рад, что маме так и не удалось выкарабкаться! Ему нужна компания, он не хочет быть единственным покойником в доме. […] Но только не забывай меня. Помни, что это я предостерег тебя – ради твоего же блага. […] Так что поезжай и выздоравливай. Не умирай, ладно? Ты же для меня – все в жизни. […]
(с. 293-294)

Вступается за старшего сына, которого он как будто ненавидит, старый Тайрон:

ТАЙРОН. […] *(Полный жалости к нему.)* Только не принимай ты все это слишком близко к сердцу. Пьяный, он всегда чернит себя, выпячивает свои худшие черты. А на самом деле он всем сердцем предан тебе. Это единственное хорошее качество, которое еще осталось у него […].
(с. 295)

Даже безнадежная наркоманка Мэри, жена Тайрона, вернувшись в прошлое, из которого уже не может выйти, находит там для себя опору – свою девическую веру, свою земную любовь:

Я ведь тогда ясно увидела, как дева Мария улыбнулась мне и благословила меня на монашество. […] Это было зимой, когда я училась в выпускном классе. Потом весной со мной что-то произошло. А, вспомнила. Я полюбила Джеймса Тайрона и была очень счастлива какое-то время.
(с. 304-305)

Видимо, для Юджина О'Нила небезразлично, что Мэри (в самом конце пьесы) находит в своем прошлом именно эти, а не какие-то иные чувства, потому что в другом месте он заставляет свою героиню произнести слова: «Ведь прошлое это и есть настоящее. Оно же и будущее» (с. 210). Имеется ли в виду то прошлое, которое актуально во внутренней реальности? Которое, значит, человек может изменить (взглянув на него под каким-то другим, новым углом зрения), тем самым изменив свое настоящее и будущее?

Как бы то ни было, Йиргль строит последнюю часть «Атлантической стены», явно опираясь на опыт «Долгого путешествия» – создавая крайне напряженный диалог между отцом и сыном, описывая событие их общения, которое в его романе действительно, как уже говорилось, приводит к изменению не только внутренних реальностей того и другого, но и внешних обстоятельств их жизни.

Еще раз о методе Йиргля. Йиргль, немецкие экспрессионисты и Эмиль Чоран

Йирглевский творческий метод не укладывается в те понятия, о которых говорил Анри Мишо (его высказывание приводится в первом эпиграфе к статье): Йиргль, похоже, соединяет «экстрареализм» и «интрореализм», потому что его больше всего интересует *мир слов и воображаемых образов* – но именно как *посредующая субстанция*, позволяющая «внутреннему» миру *активно* воздействовать на мир «внешний». Создавая собственный миф, он намеренно напоминает читателям о некоторых (не только тех, которых я здесь упоминала) своих предшественниках, уже подступавшихся к этой теме, намечавших ее контуры. Однако для него (в отличии, скажем, от Казака и Уильямса, даже от О'Нила, у которого этот прием встречается, но значительно реже) слово и зрительный – эмоционально окрашенный – образ составляют единое целое. Героиня «Атлантической стены» обосновывает свои симпатии к американскому искусству, ссылаясь именно на такую слитность слова и образа:

> […] американцы в своих фильмах, так же как и на своих художественных выставках, используют реальность не для того, чтобы ее истолковывать, но чтобы ее !показывать. […] Ибо реализм американцев – чисто мифический, доисторический, выставляющий на обозрение сам=себя. […] – не как в Европе – не для того, чтобы через себя *!пред*-ставлять что-то, лежащее на глубине, некий второй, скрытый смысл, какую-то социальную правду….. Но: этот фальшивый американский гламур гораздо *правдивее*, чем поиски правды в фальшивой Европе.
>
> *(«Атлантическая стена», с. 52-53)*

Это высказывание касается, как будто бы, способа отображения внешней реальности. Но для Йиргля важна и необычность, *(псевдо-)наглядность самих слов / словесных описаний*, ибо каждое необычное словосочетание, относящееся к привычному нам предмету или явлению, есть маркер изменения внутренней реальности, пусть и едва заметного, – доказательство (для читателя) возможности существования иного, «необывательского» взгляда на мир. Насыщенность романов Йиргля такими странными, поражающими воображение характеристиками будничных феноменов сближает его с дискретной – прерывавшейся и возобновлявшейся вновь – традицией немецкой экспрессионистской прозы. Приведу лишь несколько примеров-параллелей (их можно было бы умножать до бесконечности):

> *(Объяснение абстрактных понятий через конкретные «зримые» образы)*
>
> Из напитавшихся благовонным дымом коридоров ужасный слух выскользнул черной кошкой – крадучись и прижимаясь к стенам; пересек дворы; оттолкнувшись задними лапами, высоко подпрыгнул – и обернулся летучей мышью, шире расправил крылья; издавая пронзительный свист, полетел, уже как желто-серая комковатая туча, к горизонту, закрыл собою все небо.
>
> *(Дёблин, «Три прыжка Ван Луня», 1913)*

… она [груда выброшенных вещей] раз-и-навсегда рухнула в Провал Катастрофы, и, сперва распространяя это свое Болото только на непосредственно Ближайшее, Примыкающее, затем расползается дальше и дальше, незаметно и постепенно, как если бы она была мокнущей Раной, размягчая и превращая в гнилостную грязь также и все Окружающее=Округу…..

…когда была поймана в сеть каракуль *моя* мушиная жизнь – и потом высосана Пауком Времени…

(Йиргль, «Собачьи ночи», 1997)

(Описание человеческих качеств/эмоций как самостоятельных сил)

…она вывозила на эти прогулки свое откровенное тщеславие: смотрела сквозь окутывавшие ее покрывала и занавеси паланкина на других дам и при этом испытывала смешанное чувство отвращения, ненависти, иронии [о подруге Желтого Колокола].

(Дёблин, «Три прыжка Ван Луня», 1913)

…и упрямство ребенка – Мать ведет его за руку домой – в эти душные моменты уходящего воскресенья бесконечно повторяет детский=настойчивый вопрос *Ну скажи: Зачем Все это зачем*…

(Йиргль, «Собачьи ночи», 1997)

(Описание процессов, происходящих во внутреннем мире человека)

Его воображение, всегда готовое к крайностям, долго измывалось над сердцем, омраченным тенью беды. Но теперь, по крайней мере, Густав мог не выставлять напоказ свои внутренние раны: они были заклеены пластырем.

(Янн, «Деревянный корабль», 1949)

И дальше опять плавание в пенящемся, холодном и склизком семейном соусе, в этом бульоне, полном гнилых остатков испорченных настроений

(Йиргль, «Собачьи ночи», 1997)

Я уверен – хотя никто мне этого не рассказывал, – что почти все члены экипажа видят тебя в своих снах. Но они – всего лишь обычные деревья, стоящие в некотором отдалении от нас. Они не выдернут свои корни из земли, на которой выросли. С ними не произойдет никакого чудесного превращения.

(Янн, «Деревянный корабль», 1949)

…во-круг-нас стало по-настоящему темно –, как если бы эта крикливая и кружащаяся птичья банда вылетела…. непосредственно из дурацких мозгов всех этих людей : Эти полные идиоты сами устроили !настоящую бурю…

(Йиргль, «Собачьи ночи», 1997)

(Описание сил природы)

Вечер: зловещий и красивый! Огненно-красные и белесые клочья тумана внезапно появлялись из-за стволов деревьев словно контрабандисты с

пылающими факелами, с серебряной утварью в руках; они собрались вместе и держали совет в низине, поросшей серой травой…

…несколько раз ко мне неуклюже подкрадывался Ветер и взлохмачивал волосы, как грубоватая девочка-возлюбленная; даже когда я пошел по нужде в кусты, он увязался за мной…

Дождь на швейной машинке прострачивал козырек фуражки, теребил меня пальцами за плечо и при этом еще умудрялся выстукивать морзянку…

(Арно Шмидт, «Черные зеркала», 1951)

Ночь потонула в тумане – Дробные шаги Дождя стучат по потрескавшемуся кирпичу где-то в глубине Руины, меж дырами в каменной кладке натягиваются шпагаты Ветра; потом Ночь еще раз выходит из берегов, как река в половодье, окрашивая часы и минуты дегтярной тьмой…

Дождь опять принялся за старое, побрел в своем шуршащем плаще сквозь кусты, древесные кроны и травы, отчетливо & неестественно громко раздавались его шаги в этой тишине, оставшейся, как казалось, без Призраков Людей & Машин. Я схватился за правое ухо, потом – за другое : я слышал шуршащие прикосновения его грязных пальцев к моей коже…

(Йиргль, «Собачьи ночи», 1997)

Для этих трех авторов – Дёблина, Янна и Шмидта – тема воздействия внутренней реальности на реальность внешнюю (для Шмидта – также в более узком понимании, как воздействие литературы на человеческую жизнь) является *основной*, проходящей сквозь все их произведения; отсюда – и интерес к экспериментированию со словом.

Много размышлявший о «конце истории» **Эмиль Чоран** смотрел на будущее литературы пессимистически:

Останется освободившийся от бремени истории и совершенно обессиленный, уже не мнящий себя исключительным человек с опустошенным сознанием, которое нечем заполнить. […] Протрезвевший и одряхлевший, он не захочет и не сможет измышлять новые ценности и иллюзии взамен рухнувших.

(«Разлад», 1979, с. 167)

То, что литература должна будет погибнуть, возможно и даже желательно. Зачем растягивать этот фарс, состоящий из наших вопрошаний, из наших проблем, из наших тревог? Не предпочтительнее ли в конечном счете нацелить нас на существование в качестве автоматов?

(«Искушение существованием», 1956, с. 222)

Чтобы писать, нужен хотя бы минимальный интерес к миру; кроме того, нужно верить. Что слова могут если не передать мир, то хотя бы коснуться его, – а у меня нет ни этого интереса, ни этой веры.

(Записные книжки 1957-1972 гг., с. 382)

> Мой идеал письма: навсегда заглушить поэта, которого в себе носишь; стереть малейшие следы лирики; перешагнуть через себя, отречься от взлетов; затоптать любые порывы и даже их конвульсии.
>
> *(Там же, с. 378)*

Йирглю, явно хорошо знавшему произведения Чорана, разделявшему многие его суждения и оценки, касающиеся современной эпохи, такое отношение к литературе и вытекающая из него творческая манера (фрагментарность, минимализм) чужды, более того, кажутся опасными. В «Прощании с врагами» (с. 105) один из героев вскользь замечает, что Чоран, «исполнившись сладострастного Гнева & гневного Сладострастия, сам направляет нож в сторону убийства». Йиргль пытается делать именно то, что Чоран считал едва ли возможным: «измышлять новые ценности и иллюзии взамен рухнувших», тем самым возвращая литературе, слову их «доисторическую» роль магической – то есть способной преобразовывать внутреннюю и внешнюю реальности – силы, превращая их в ощутимо присутствующие в нашей жизни новые мифы.

Книги Райнхарда Йиргля цитируются по изданиям:

Abschied von den Feinden. Carl-Hanser Verlag, 1995
Hundsnächte. Roman. Carl-Hanser Verlag, 1997.
Die atlantische Mauer. Carl-Hanser Verlag, 2000.
Die Unvollendeten. Carl-Hanser Verlag, 2003.

Рецензии цитируются по публикациям:

Eva Leipprand. *Reinhard Jirgl. Hundsnächte.* Carpe librum – rezensionen (см. в Интернете).

Ron Winkler. «Keine Vorstellung von der Topographie des Paradises», *Berliner LeseZeichen,* Ausgabe 08 + 09 / 00 (ñ) 2000.

Jochen Hörisch. Vereinigung ohne Einigung. Neue Berlin-Romane – und Reinhard Jirgls grosser Wurf. In: *Neue Zürcher Zeitung,* 19.4.2000.

Martin Luchsinger. Mamma Pappa Tsombi. In: *Frankfurter Rundschau,* 19.09.2002.

Iris Radisch. Mund zu, wenn Gänse auffliegen. Reinhard Jirgl und die Wiederentdeckung der Familie. In: *Die Zeit,* 30.04.2003 (¹ 19).

РАУЛЬ РУИС

В ПОИСКАХ ОСТРОВА СОКРОВИЩ

«…И заново рассказать
легенды старины седые
так, как слагались они
во времена былые».
Р.Л.Стивенсон

(Предисловие к испанскому изданию «Острова Сокровищ»)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

Я португалец. Уже давным-давно я не говорю на родном языке и горжусь этим, хотя так до сих пор и не могу сказать двух слов ни на каком другом. То есть, чувствую я себя вдвойне португальцем. Если честно, я мог бы изъясняться по-французски, но, побывав в Испании, кажется, совсем утратил дар речи, и потому эти воспоминания, написанные на «lengua franca», был вынужден поручить перевести моей подруге из Барселоны (все зовут ее «француженкой»), коль скоро «Пеликан» все равно временно закрыт. И быть может, благодаря сезону дождей – сколько веков не было его в моей жизни! – кое-какие подробности, забытые за более яркими (смею сказать) событиями, всплывают, точно утопленники, из прошлого. Я так и сказал: «прошлое». Именно это слово пришло мне на ум в эту самую минуту. Я слышу голос «француженки», она зовет меня. Я вижу ее в конце аллеи: за столом, освещенным «a giorno» керосиновой лампой, с карандашом в руке, над тетрадью в клеточку, она готова записать по-французски мои многоязычные воспоминания. Я слушаю гром; кричат во дворе мои дети; я закрываю глаза и чувствую: сейчас хлынет ливень. И я сажусь в гамак и вызываю из памяти образы прошлого. Но внезапно это слово – «прошлое» – заслоняет все. Да. «Прошлое», – произношу я вслух, и образы, былые и нынешние, меркнут, и только властный голос гостя звучит у меня в голове.

Я снова слышу: «Прошлое». Да. Это говорю я:

– *En los nidos de antano no hay pajaros hagano*.

Стук кулака по стойке бара и голос гостя:

– Прошлое – это сейчас, сударь…

– *Coutinho*…

По-английски, да, они говорили по-английски, мой отец и гость говорили на языке, запрещенном моей матерью. Была непроглядная ночь. В дальнем углу бара отец и гость беседовали за рюмкой водки. Кажется, в первый раз я видел отца пьяным. В первый и последний раз.

– Иди сюда, – позвал он. – Это мой сын.

– Вижу, – кивнул гость. – Хорошо спал, малыш?

– Он засыпает где угодно, только не в своей кровати.

– Отлично. Вот настоящий флибустьер, – сказал мне гость, – не правда ли, сударыня?

И тут я увидел мать. Как? Она все это время была здесь и ничего не сказала? Нет, сейчас-то она, конечно, не смолчит, ведь именно так она заставляла себя любить. Я посмотрел на отца. Вот так сюрприз! Он ее в упор не видел. Черт побери! Это он-то, трус из трусов, запросто беседовал с незнакомцем, да еще по-английски.

И тут я понял, что моя мать оцепенела от ужаса. Она шевельнуться не могла. Она увидела нечто необычайное. Сколько? Две тысячи, нет, три тысячи долларов. Я помню, пачки были рассыпаны по полу, и безымянный кот играл с ними…

В этот миг ветер ворвался в дом, и нас окутала тьма. Я понял, что мать ощупью идет на кухню за спичками. А гость уже поджег пятидолларовую банкноту и направился к туалету.

– Чьи это деньги? – шепотом спросила мать.

– Наши, – равнодушно отозвался отец.

Минуту-другую мы слышали пение гостя. Потом он возвратился. Это был теперь совсем другой человек. Бледный. Улыбающийся. Суровый, как Новый завет.

– Да, – сказал он. – Прошлое – это сейчас.

А потом, обращаясь к моей матери:

– Мое почтение, сударыня.

И еще, по-французски:

– Как жаль, сударыня, какое огорчение.

В ту ночь я так и не смог уснуть. Гость в своей комнате не ложился. Он расхаживал взад и вперед и громко разговаривал сам с собой. Тогда впервые я услышал, как был упомянут «глаз». И еще – «орел». Что это такое – глаз? Кто это такой? Это был друг, предатель, человек из общества. А что такое орел? Это организация такая, банда. Много позже, слишком поздно я понял, что глаз и орел – это одно и то же и один человек.

Два часа пробило, три часа, а гость все продолжал свой монолог. Временами он умолкал. Иногда пел. Обо что-то стукался, взвывал. Он в буквальном смысле слова «убивал время».

Но к чему оттягивать мучительное признание? Речь идет о моей матери. В самом деле, о моей матери и незнакомце. Она была там, она хотела все знать. О деньгах, конечно, но и о других вещах тоже. Вот и я захотел все услышать, все увидеть. Из комнаты этажом выше это возможно. Если повезет, я поднимусь по лестнице, не наделав шума, и – «увижу». Была бы Божья щелка – и я все узнаю. Я не должен забывать о Божьих щелках. Только в одно я свято верю по сей день – вот во что:

«Там, где что-то происходит, там, где решается твоя судьба, всегда есть щелка, которая поможет тебе все узнать и все увидеть в свое время».

Я так и сказал: «в свое время».

Я поднимался по лестнице. Что за глупость была – дать каждой ступеньке имя. Мужское, женское. Пьер, Пола, Андре, Мария. Да еще и назначить цену. Три, пять, десять, восемь. Двадцать две ступеньки стоили вечности, целой жизни стоили они. И все-таки мой отец проснулся. Теперь и он был здесь. Он запалил не банкноту, а тетрадь. Я узнал ее: это была бухгалтерская книга гостиницы. И это

отец, всегда считавший каждый грош. Взял и все сжег. А потом – что же он мне устроил, Господи! Надолго предстояло мне это запомнить. Но что я мог понять? Я не мог отвернуться от этого зрелища, такого, увы, невнятного. От скольких бесполезных объяснений избавила нас в дальнейшем неминуемая смерть отца! А что же я? А мне тем временем Божья щелка открыла суть приключения, ожидавшего меня – один, два, три, двадцать два раза в жизни. Да, это правда, речь пойдет о моем приключении, единственном, о котором я должен поведать детям, моим детям, здесь, в Богом забытой деревушке на экваторе.

Да. Мне не след рассказывать сказки. Хочется, чтобы жизнь моя, несмотря ни на что, была примером в назидание.

И все же я должен это сказать. В тот вечер я кое-что понял – и прожил целую жизнь. Я скажу, что увидел тогда в Божью щелку: книгу в окружении неких предметов. Ладно, чтобы больше к этому не возвращаться: это были стеклянные шарики. В общем, тот самый глаз, о котором упоминал гость в своем монологе. Я видел книгу и дюжину глаз – рассыпанные по полу, как игральные кости, они зорко следили за мной.

Наутро этажом ниже громко храпели. Я первым поднялся открыть ресторан. К полудню ждали автобус с туристами, на сей раз немецкими. Шел дождь, как всегда в этих краях. Было холодно. Кто бы мог подумать, в тропиках! Я почитал своим долгом, спрятавшись в со знанием дела выбранном месте, слушать жалобы:

– О Боже, в тропиках – и дождь!

– Даже снег, смотрите!

А вы как думали? Впору было пожалеть этих туристов из северных стран, столкнувшихся с нашей зимой.

– В тропиках бывают холода, сударыня, а как же. И снег идет в тропиках, а вы как думали?

В те далекие времена мы забавлялись как могли. Но вернемся к туристам того дня. Трое слуг суетились вовсю. Они кричали «караул», сами не слишком в это веря. Часов в одиннадцать пожаловала мать. Она сияла. Держалась госпожой, улыбалась всем. Мне первому. Даже ничем не выдала своего удивления при виде меня. В других обстоятельствах она хотя бы для виду сразу же спросила бы:

– Как, ты не пошел в школу?

К чему? Она прекрасно знала, что в школу я больше не пойду никогда. Она уже это знала.

С туристами все прошло как нельзя лучше. Я показал им пещеры, старый порт, дорогу никуда. Я знал, что говорить и знал, как может позабавить моя речь людей образованных. Почти всегда находился кто-нибудь, кто брал меня под крыло, – старая дама или парочка молодоженов. На сей раз в этой роли выступил пожилой господин. Все почему-то смотрели на него с любопытством. Я долго не мог понять, что он слепой. Он так нарочито отставал от группы и делал вид, будто ему интересно только то, что далеко, очень далеко. А потом его и вовсе потеряли из виду. Гид встревожился.

– Слепые приносят беду, – вздохнул он.

Он знал, что говорит. Его отец был слеп, и ему это дорого стоило.

Темнело, а слепой все не объявлялся. И затягивались же иной раз шутки этих туристов! Фонарей, они требовали фонарей! И жандармов!

– Минуточку, вы не у себя дома!

– Немного терпения, пожалуйста.

Отец суетился, он обрел свою стихию в несчастье ближнего. Пропал слепой. Пришлось звонить в полицию десять раз, не меньше. Отправили машину за рыбаками. В общем, зашевелились, я был доволен. Звонить-то могли хоть в армию, хоть в пожарную команду, все равно я один знал побережье как свои пять пальцев, мог с закрытыми глазами обшарить все заповедные зоны. Те, где «пело». Ужин пришлось готовить на всех. Туристы хранили гробовое молчание. Им хотелось разгадать загадку свиста. Надо сказать, в тот вечер «земляки» разошлись вовсю. Трудно было понять, где кончаются причитания рыбацких жен и начинаются серенады пещер.

Жандармы прибыли перед самым ужином. Они долго беседовали с отцом.

– Есть у кого-нибудь фотография слепого?

Да, теперь его только так и называли – «слепой». Я ни во что не вмешивался – ждал. Потом поднялся к себе, меня сморило, и я раз в кои-то веки уснул в своей кровати.

Не знаю, сколько времени прошло; разбудил меня ветер. Кто-то отворил окно.

– Ты уже выспался, малыш. Ты же знаешь, нехорошо спать днем. Придет ночь, а у тебя сна ни в одном глазу, верно?

Незнакомец курил трубку и смотрел в окно на берег.

– Ищут, все ищут. Как по-твоему, что могло случиться с нашим слепым?

– С вашим слепым? – не удержавшись, переспросил я.

Он усмехнулся:

– Экий ты быстрый, малыш, – и встал.

– Знаешь, сдается мне, что тебе и вправду пора уснуть, только уж уснуть по-настоящему. Ты когда-нибудь спал «по-настоящему»?

И уже он душил меня своим носовым платком, из которого, почудилось мне, выпал стеклянный глаз. Я рванулся в последнем усилии. Но грезы уже неслись во весь опор к нашим берегам.

Я долго не мог понять, что этот визг, к которому подошло бы искаженное страхом лицо старой английской дамы, был ничем иным, как смехом моего отца. Он хохотал, хохотал. Туристы уезжали. Незнакомец пил в углу бара. Я видел: он караулит меня. Он и моя мать. Они были как-то связаны через меня. Теперь-то я знаю, что такое эфир, но тогда меня это раздражало. Я был будто в вате, еле передвигая ноги, нащупывал одну за другой мои ступеньки. Они скрипели, да, но как изменилось все! Все теперь скрипело.

– Его нашли.

Отец опять захохотал. На этот раз он смеялся по-настоящему. Преувеличенно громко.

– Замолчи, старина! – нахмурился незнакомец.

– Вот еще! Вот еще! – фыркнул отец.

– Иди сюда, – позвала мать.

И принялась вытирать пятна крови.

Он был в бинтах. Он кровоточил, а рука его тем временем делала воздушные жесты. Безо всякого стыда она вспархивала так и сяк, манерничала. А уж смех…

– Замолчи, не то опять получишь.

– Ради бога! – взмолилась мать. – Мальчик здесь.

– Мне-то что с того, – отвечал на это незнакомец.

– Уйди, – попросила мать.

– Нет, пусть останется, – возразил отец. – Пусть непременно останется. Все это падет на него, разве не так? Он станет последней жертвой. Зачем же скрывать от него правду?

– Какую правду? Правды в этой истории нет, – произнес незнакомец.

– Да ну? А я-то думал, что правда – вот она, – сказал отец. – Вот и говори после этого, что правда-истина не слепа.

Незнакомец ударил отца. Я отвернулся и убежал со всех ног. Бежал я долго. Остановился только на берегу. А рыбаки-то были еще там. Оно и понятно. Хоть на что-то пригодились все эти огни.

Я узнал Васко. Склонившись над водой, он выслеживал рыб с электрическим фонарем.

– Иди сюда, – сказал он мне. – Хочешь?

И показал лучшего краба из своей корзины.

Сделав вид, будто не заметил моих слез.

– Что творится, – вздохнул он, – сгинул бедняга, да? Может, для него оно и лучше! Жить, не видя ничего вокруг – это же мука мученическая. Такая штука – жизнь.

– Его нашли?

– Слепого? А куда торопиться?

– Но…

– Куртку его нашли, бумаги и все прочее. А тело – нет. Самоубийство…

Меня звала мать, но я слышать ничего не хотел. Я ушел. Переночую не хуже, чем дома, там, в ущелье, в горловине Полифемо. Еще минут пять мать звала меня, потом я, кажется, услышал голос отца и незнакомца тоже. Но я был уже далеко, внутри, в глубине ущелья… Полифемо пел. И я снова уснул. Разбудила меня тишина. День обещал быть прекрасным. Я дрожал, живот подвело от голода. И все равно нас ожидал прекрасный день. Ошибки быть не могло. Когда земляки поют, это добрый знак. Туристы сегодня к нам не пожалуют, а погода будет замечательная. Мне хотелось петь, и я уже было затянул серенаду, свою любимую серенаду земляков, как вдруг услышал человека. Он говорил, конечно, все о том же оке и еще о какой-то книге. Я чуть не завопил, увидев его. Это был отец. Он обливался кровью и шел наощупь. Крик застыл у меня в горле, когда глубочайшая тишина воцарилась в утробе Полифемо. Солнце вставало над морем, и тишина ножом вонзалась в горло ему и мне. Но что, собственно, он делал здесь? Да еще в выходном костюме, мало того – в праздничном, который был на нем в день его свадьбы! Вот только шел этот человек и вправду как-то чудно. Что-то выпало у

него из кармана, и, когда он резко оглянулся, я увидел слепого, переодетого отцом при параде. Какой стыд и какое странное чувство – ненависть. Слепой был жив, мой отец его спас. Они разыграли самоубийство. Как в цирке. Но почему же я не заговорил с ним, не сказал, как я рад видеть его живым, не помог бежать?

Он выбрался из пещеры на диво ловко. Вскоре я потерял его из виду.

Начал накрапывать дождик. Я смотрел на синее небо, слушал пение земляков. А он, слепой, уверенно шел к улице, что вела к вулканам. Мне захотелось остановить его, но все было уже предрешено.

– Нет, – сказал он, – довольно. Скажи мне, где я.

– Все вас ищут, – ответил я, – все. О вас говорят по радио. Думают, что вас нет в живых.

– И как же это вышло, что я жив?

Говорил он тоже чудно. Безо всякого стыда подражал португальскому акценту отца. Преувеличенно, как он.

– Малыш, – произнес он наконец, – малыш. Настало время нам с тобой потолковать, не так ли? Они все знают, те, кто тебя послал. В этом мире всегда нужно иметь посредником ребенка, чтобы договориться. Не так ли, мой мальчик? Подойди же, приблизься! Ты мой единственный… как бы это сказать?… мой друг. Мне большего не надо. На тебя вся моя надежда, не так ли? Ты здесь?

– Да, – ответил я сухо.

– Приблизься же. Иди сюда, иди же.

Я видел, как он гримасничает, видел, что он изготовился скрутить мне руку. Как же он был глуп.

– Иди сюда, – не унимался слепой.

И тут я сделал то, что, думалось мне, я не смогу сделать никогда. Я бросил в него камень. Не успел он опомниться, как следом полетел второй, потом третий. И еще, я уж не помню, сколько. Он вопил. Я знал, что теперь никто не подойдет близко. Он тоже это знал.

– Ладно, – сказал он, – твоя взяла. Твоя и твоих присных. Там поглядим. Когда-нибудь ты поймешь.

– Я уже понял, – ответил я.

Солнце уже не на шутку обжигало нам лица. Он и я – мы смотрели в одну точку. По крайней мере, так мне видится эта сцена. На незыблемую, вековечную мраморную доску смотрели мы. Вот, что на ней можно было прочесть: «Здесь жил Р.Л.Стивенсон, бессмертный автор «Путешествия на Мадейру» в 1872-1873 гг.».

Глава II

Не один день прошел, прежде чем мы с матерью смогли поговорить. Что до отца, он раз и навсегда отказался выходить из своей комнаты. Объявил себя окончательно и бесповоротно отсутствующим. Бедняга, никогда еще он не присутствовал так ощутимо в жизни гостиницы. Он требовал к себе мать. Бил ее. Говорили, что он ничего не ест. Незнакомец сорвался и уехал, вроде бы на континент. Но его видели в Фунчале. Да, он был здесь. Он не переставал следить за нами.

На что похожа жизнь двенадцатилетнего ребенка, которому навязали роль великого инквизитора? Он задает вопросы, ему отвечают. Его не гонят, однако же он гуляет сам по себе, смертельно скучает, слоняется. Никаким правилам приличия не подчиняет он больше свою жизнь.

На что похоже воскресенье такого ребенка? Этот день, вечный на свой лад… Знай я, что в будущей жизни придется довольствоваться этим леденящим отсветом, бросил бы все тогда, но ведь в каком-то смысле я и так все бросил.

Вы еще увидите, я был не один. Приятели из деревни подпитывали мои мечты. Говорили, что они со мной заодно.

А потом однажды незнакомец вернулся. Он оброс бородой. Он очень переменился, улыбался все время. Он возвратился к нам чудесным зимним днем и остался насовсем. Через три дня после его появления отец выздоровел. Он тоже теперь все время смеялся. Все трое стали неразлучны. Мало-помалу незнакомец взялся за дела гостиницы. Не спал он никогда. Считал-подсчитывал, колдовал. И читал вслух грозовыми ночами. Да нет, пел он, пел по-писаному. Так было до дня попугаев. Откуда взялись у нас попугаи? Я потом узнал, что понадобилось сделать нашу гостиницу поэкзотичнее. Грех было не использовать для этого название нашей улицы. И однажды я узнал, что гостиница отныне будет называться «Баллантрэ».

Мой отец незаметно стушевался. Мать же очень скоро погрязла в какой-то вялой скаредности, притворяясь, будто прозревает вполне реальные хищения там, где их быть никак не могло. Опять она притворялась, к вящей радости дышавшего на ладан отца.

А тем временем кровавые пятна расплывались повсюду: на лестнице, на стенах во всех комнатах. Их, конечно, стирали, но они были как заговоренные. Эти пятна, проступая вновь и вновь, приобретали все более знакомые очертания. Каждый видел в них то, что хотел видеть, в том числе черты будущего. Клиентов становилось все меньше, и всем было ясно, почему.

В июле я заболел. Лихорадка скрутила меня, когда я затирал самое стойкое пятно. На стене, почудилось мне, вырисовывался профиль слепого, его лицо, словно спроецированное моим отрицающим жестом. Я увидел его, слепого. Я ощутил в руке тяжесть камня, который снова готов был бросить. А потом все вытеснило другое чувство: я поднимался ввысь, один.

И мне довелось наконец услышать смех отца. «Эта дама» смеялась для меня одного. Несколько ночей кряду смех был со мной безотлучно. Я видел кровь, но слышал пятна. Они плясали, потрескивая и гибко извиваясь. Прекрасные в своем плавном колыханьи.

Зато цвет ночи оставался неизменным. Ее синева порой удручала меня, но какое отдохновение!

Придется все начать с начала.

Итак, незнакомец вернулся. Он прогуливался с утра, слонялся после обеда и спал по ночам. Вечерами он уезжал на такси в Фунчал. Ездил он играть. И, кажется, часто выигрывал. Иногда он брал с собой мою мать.

Существует ли мышечная память? Конечно; вот она, эта боль в такт постыдному воспоминанию, но она-то как раз и отдаляет ту сцену, заставляя говорить о другом. Ай! Мое колено, ай! Победоносное шествие по лестнице. Я перестал спать

ночами, я был уверен, что теряю кровь, когда полная луна глядит в мое окно, рассекая силуэты солдатиков итальянской кампании. Я не спал и в ту ночь, правда, не спал, однако шествие и барабаны были сном. И не приходится сомневаться в том, что боль в коленях ограничила передвижения.

Побои. Мне следовало ожидать, что будет темно. К чему зажигать свет, слепому он не нужен. Но тот, другой. Там были оба. Они направились прямо ко мне. Как засосало под ложечкой, как зазвенело в голове! После того удара кулаком в живот мне никогда уже не стать прежним. Нет, дело не в боли, она приходит потом; провозглашение намерения – вот что трудно проглотить, именно проглотить. Они били долго и больно. Били и были довольны. А шествие все продолжалось, потому что и другие, да, именно так, другие, отец, мать и тот, другой – «другие» – подоспели следом с самым страшным оружием – безучастностью (и теперь боль вызывает у меня другое чувство – стыд).

– Закончили?

Это был незнакомец, единственный, кто еще мог все прекратить.

– Вы удовлетворены?

– Он это заслужил, – сказал мой отец.

Мать с отсутствующим видом смотрела на меня. Но пальцы ее двигались куда-то не туда. Она считала. Подсчитывала.

– Вот и ладно, – сказал слепой, – мы в расчете, малыш. А ты, – повернулся он к незнакомцу, – надеюсь, не откажешь в любезности принять от меня подарочек. Держи!

И он достал черный платок.

– Уф! Вот оно что! – вздохнул слепой.

Он был бледен. Он смотрел на меня и знал, что все знали. Или, того хуже, что рано или поздно возьмут свое подозрения, не здесь, далеко-далеко от нас. Подозрения. Только в них и было, в сущности, дело.

Отскрипели ступеньки, и набатом проснулась повсюду боль. Снова воцарилась тишина. Сколько же сердец билось во мне? В колене сильнее всего, но еще и внизу живота, и в челюсти.

– Партию в покер?

Они давно ушли, когда мать начала свой рассказ.

– Сынок, ты должен знать, все, что с тобой произошло, – судьба, и только. Но это все к лучшему. Бить они умеют, тебе ничего не повредили. Сам убедишься, завтра все уже забудется. Сам убедишься, мужчины как дети. Все проще простого. Дело в том, что у твоего отца было кое-что в прошлом. Не подумай, ничего криминального, но времена меняются. Что было вполне законно вчера, сегодня наказуемо. Твой отец – человек чести. И хороший отец, знай. Но эта история выбила его из колеи, понимаешь? Он давно все это забыл. Совсем забыл, что эти люди живут на свете. Так что сейчас он сам не свой, да и я тоже. Но, говорю тебе снова, бояться нечего. Спи крепко, дай я еще раз тебя поцелую.

Они смеялись. «Как в старые добрые времена», – реготал кто-то. Они мешали мне спать. И тогда я кое-что почувствовал. Именно так: кое-что. Не более того. Пробежавшую по коже дрожь. Холодную пену. Мне было страшно. После

боли мой страх опережал события. Отныне и навсегда. Я вот о чем: с чего вдруг незнакомец поднимался к себе один? Он не устал, об этом говорили ступеньки – уж я-то знал их музыку. Нет уж, надо мне подняться наверх посмотреть. Я эту науку превзошел в совершенстве. Никто ничего не услышит. Ведь до сих пор никто и не чаял, что я все видел через «Божью щелку».

Незнакомец достал револьвер. Тщательно почистил его и куда-то ушел. Далеко-далеко грянули выстрелы, и я проснулся.

Голос.

– Мальчишка, где мальчишка?

Ясно, что мне никак не успеть добежать до своей спальни.

– Ушел.

– Вы же сказали, что дали ему таблетки.

Заверения.

– Да успокойтесь же!

– Ах ты, тварь! Шлюха! Где мальчишка?

Раз десять они поднимались по лестнице. Потом все стихло. Мать плакала. Этажом ниже незнакомец вошел в свою комнату. Стал расхаживать взад-вперед. Все начиналось сызнова. Он читал книгу. Я не мог заснуть и умирал от усталости. И вот тут-то тишину нарушили звуки. В кишках заурчало, ну да, в кишках, да еще как оглушительно. Мне хотелось есть, боль и голод душили меня. И еще хотелось плакать. Но эти звуки, как было их заглушить?

Готово дело. Незнакомец отложил книгу. Огляделся. И медленно, очень медленно устремил взгляд вверх. Его глаз видел дальше моего, дальше глаза Божьего. Улыбался ли он? Уже да и еще нет. Серьезность положения возобладала над простейшими рефлексами. Он достал свой револьвер и прицелился в глаз.

И выстрелил. Пуля пробила потолок, и я смог наконец уснуть. Там у нас по сю пору говорят о тех достопамятных вечерах. Что только не говорилось! Что только не замалчивалось! Многие и многие воскресные дни в будущем, замурованном в этих камнях, погребенном под этой незрячестью. В нашем краю зрят в корень, оттого выстраивается ледяной лабиринт, и если в нем оскользнешься, то это на всю жизнь.

Ради чего же все затевалось? Где-нибудь это должны были знать, по крайней мере, в доме. Даже (и особенно) благодаря тому подобию траура, который сносил я в последующие недели. Вас никогда не убивали? Знайте же: это – опыт. Я познал его уже назавтра, в том, как моя мать отводила взор, в разнузданной и непристойной радости отца. Во взгляде – «глаза в глаза» – незнакомца. Ах да, я забыл, отныне он звался «капитаном». Впредь я буду говорить о капитане – и не иначе. Но, конечно же, будет лучше, если я начну с похорон. Да, разбудив меня, безымянный кот выскочил в окно и убежал куда-то к морю. Там, на берегу, застыв, как мои вырезанные солдатики Итальянской кампании, папа с мамой постигали в полудреме законы матери-земли. Под началом капитана они хоронили тела двух моих палачей.

Но вернемся к коту. Его агония, надо полагать, баюкала меня в моем загробном сне. После выстрела у меня стало два ока. Нет, три, было ведь три выстрела.

Последним, наверно, и ранило кота. Я огляделся. Никому и в голову не пришло искать меня в моем уголке. Вот и отлично. Кот смотрел в окно, дышал он с трудом. Он умирал с достоинством. Какая отрешенность! Я совершил ошибку, когда хотел его погладить; он оцарапал меня, и от этого неизысканного жеста к нему вернулся страх. Он забегал во все стороны. Жаль, картина была стоящая. Но вот ведь как свойственные человеку слабости, точно зараза, передаются всем, кто на его стороне. Пришлось мне смотреть этот спектакль. Он с мукой раздирал себе нутро, извиваясь в отчаянных корчах. Я хотел было выбросить его в окно, но последнее наитие заставило его соблюсти законы сцены. Он выскочил сам и скрылся.

И вот я взираю сверху на происходящее там: по своему обыкновению, мой отец взял на себя грязную работу. Как аккуратно откидывал он лопатой черный песок! Как старательно, в каком хорошем темпе нырял в омут своих душевных терзаний! Целую вечность спустя он заговорил. Сам с собой, разумеется. Это был знак. Мать снова принялась донимать его завуалированными упреками. Опять она устремилась на поиски женственности – все равно какой. А капитан, их зеркало, – как кротко скручивал он папироску, как вдумчиво считал своих мертвецов! Ну да, это были они, слепой и тот, другой. Да, это моему отцу была пожалована привилегия оскорбленных. И это – не последняя несуразность. Слепой, если позволено мне будет так выразиться, видел все. Он один делал честь происходящему. Красавчик, образина, не более того. А тот, другой – мне до сих пор смешно. Его похоронили по стойке «смирно». Можно не сомневаться, был он всю свою жизнь учителем. Он не видел белого света, все застило знамя. Но удивительнее всего, хочешь – не хочешь, придется мне это сказать, отвратительнее всего, да что я говорю, самый ужас – это было отсутствие крови. Ни капли. Это я, наверно, преувеличиваю. Но нет, повторяю, ни капельки, а между тем там, где был я, наверху, в укромном уголке, под тремя моими всевидящими очами растекалась во все стороны кровь. Преступление не совершилось у меня наверху, но здесь воняло кровью, тогда как эти продырявленные тела были скупы на свои соки. Казалось, и тут сработал «закон молчания».

Я сказал, что они говорили. Бубнили монологи, но временами, как бы случайно, выплывал диалог. Было потешно – глухая тетеря, было обидно – острый язык. Класс, одно слово! Нетрудно догадаться, что я кипел от ярости. Наконец мой отец вылез из ямы. Тела опустили туда – и все. Сверху забросали дерном. Еще несколько минут – и они могли уснуть в объятиях друг друга. Но, верно, у них остались еще дела, потому что они пошли в контору и что-то обсуждали там до полудня. Счетная машина работала безостановочно.

Глава III

Вокруг меня стояла тьма. Я знал это; было, наверно, часов шесть утра. Курился дым повсюду над островом в этот вторник жертвоприношения. Я убежал в горы. Никто меня не видел. Один раз я остановился, только один, и долго оглядывался. Грузовичок ветеринара едва не переехал меня. Вот что пришло мне в голову: каждая моя нога – умирающий кот; это из-за мурашек. Но они не умерли, мои ноги, нет. Они царапали пустоту вокруг себя, хотели поиграть с лунными шариками,

с коленными чашечками. Что за утомительная прогулка! Надо было действовать или схорониться, и не мне застывать перед мертвой коровой, едва вышедшей из своей молочной могилы. Все путается теперь. Еще стояла темень вокруг боен, а остров уже горел. Кто-то узнал меня, но я не стал отвечать на призывные жесты, чересчур, на мой взгляд, энергичные. Я ушел. В чем я чувствовал себя виноватым?

Все утро я проспал под открытым небом.

Да, остров горел. Жара, пожары, запах горелого мяса. Я проснулся, почувствовал голод. Если идти точно по прямой к заснеженной горе, можно было встретить приятелей, которые часто устраивали там пикники. Но – никого! Я сбился с дороги, сам виноват. Никогда у меня не хватало терпения хорошенько исследовать остров. И вот теперь я был обречен ходить по кругу.

Мне встретились две или три группы туристов. Да, я и теперь помню все это очень ясно, «в свете ночи». Луна была ледяная, ночь синевы смертельной, а остров кишел людьми, как мои ноги мурашками: дороги, ведущие в Фунчал, заполонили машины и автобусы с туристами, озабоченными и улыбающимися, точно слепые. Как сейчас вижу все это «в ночи». Вижу в тишине лунный холод, пронзающий хрип зарезанных животных. Последующие недели будут отмечены воспоминаниями, уже застывшими в этой пристальной тишине, однозначно обличавшей мою семью.

Я пришел домой около девяти часов вечера. Меня ждали. Искали меня повсюду, сказали они. И повсюду меня видели. Я стал очень популярен. Не могу не признаться, что испытал облегчение: все, абсолютно все вернулось в привычное русло. Ни малейших следов какого бы то ни было беспокойства. Они только играли, для меня, надо полагать, но игре этой не было конца. Кажется, я был наказан. Все уселись за стол, тут-то облегчение и нахлынуло. Что был вечер, что за посиделки! Смеялась, обливаясь потом, честная компания. Мой отец запел. Да-да, запел тонким, пронзительным голосом:

Treis hommenes no ataud do morto
E una garrafa de ruhm…

Поначалу я смеялся. Эта песня была мне тогда незнакома, и я не мог знать, в какой лабиринт ориентиров заведет нас она. Откуда мне было знать, что она открывает нам двери в ту самую историю, которую я рассказываю сейчас.

Капитан подхватил припев по-английски, потом моя мать – по-французски. Настала моя очередь. Я поднялся, медленно, торжественно, готовый запеть, готовый войти навеки в это братство живых мертвецов. И тут из горла моего вырвался другой голос, выше, тоньше остальных. Я раскрывал рот, но голос шел откуда-то со стороны, и не один голос, а два, три. Все расхохотались. Они покатывались со смеху, а в моей голове пели тысячи голосов. Я хотел было уйти. Распахнул дверь, и хор попугаев встретил меня, охваченный полнейшим смятением. Их стало много, десятки. Все пели пиратскую песню. А за моей спиной люди присоединили к хору свои голоса.

Рука капитана тронула мои волосы. Я чувствовал его дыхание. Он пристально смотрел на меня, он увидел и догадался.

– Кто тебя оцарапал?

– Кот.

– Какой кот?

– Безымянный.

Капитан отвесил мне оплеуху. И от второй оплеухи застыл как вкопанный.

– Не сметь касаться моего сына без разрешения!

Кто бы мог это сказать? Мой отец!

Капитан вздохнул, выпил. И все пошло как прежде в этом лучшем из миров.

Ночью я не мог уснуть. Я все слышал. Я научился видеть в темноте. Я говорил себе: я вижу благодаря слепому. Все, чего он коснулся, о чем догадался, что просчитал, покуда дрался, пропиталось его липким светом. Я говорил себе: я вижу глазами безымянного кота, и поэтому не буду знать покоя, покуда мне не выпустят кишки. И еще я говорил себе: все видят, что я вижу, глаз Бога есть и в моей спальне, за мной следят и скоро разоблачат мнимое мое ясновидение.

Я ушел «видеть». Там, наверху, среди отживших свой век игрушек, одиноко светился глаз Бога, едва скрытый швейной машинкой и парой сапог. Внизу, в свежеокрашенной комнате, капитан читал книгу. Он ждал, это было очевидно.

По всему выходило, что ждал он меня. Не успел я лечь и приникнуть глазом к одной из трех щелок, как занавес поднялся. Вошла моя мать, и завязался странный разговор:

– Ваш сын что-то видел, он знает.

– Знает – что?

– Больше нас, да-да, он знает больше нас.

Мать расхохоталась.

– И что за блажь у вас катить бочку на моего сына? Можно подумать, вы ревнуете.

– Вам, должно быть, чертовски этого недостает.

– Чего?

– Ревности.

– Какой вздор!

Капитан схватил ее, притянул к себе и поцеловал. Вот тут-то началась самая странная часть их спектакля. Они кружили друг вокруг друга. Словно исполняли сцену для невидимого зрителя. А зрителем этим был я. Я ничего не понимал.

– Довольно, хватит ребячиться, – сказал капитан. – Поговорим лучше о наших делах.

– Ваш ход, – ответила мать.

Долгую паузу прервал слабый кашель.

– Уже! – произнес капитан.

– Я же вам говорила. Не бойтесь, он может видеть все, но ничего не слышит. Ну же!

Капитан вздохнул и опять поцеловал ее.

– Что ж, – сказал он. – Надо действовать. Он нас опередил, успел снестись с остальными.

Он говорил, а сам все гладил и гладил ее ногу.

– С остальными? Я думала, эта проблема решена…

– Слепой? Ему крышка, но у него было достаточно времени, чтобы предупредить орла, а значит…

– Это верно, надо действовать быстро, – согласилась моя мать.

Теперь оба были полураздеты. Они играли «в замедленном темпе». Я понял, что мой отец все видел через щелку в стене, расположенной справа от сцены.

– А как же мой муж?

– Что – твой муж?

– Я не могу вот так его оставить!

– Почему?

– Ты не знаешь моего сына, он – чудовище… он убьет его. Он и тебя убил бы, если б мог.

Капитан рассмеялся гулким и убедительным смехом.

Ему и вправду было весело. Он все пытался повернуться спиной к отцовской щелке, чтобы не погубить атмосферу, но это было слишком заметно.

Они поняли, что пантомима утратила все свое очарование. Что придется прибегнуть к крайностям. Я закрыл глаза. В мое тогдашнее представление о морали такие вещи не укладывались. Но как я мог узнать, если ничего не видел? И как вынести то, что я слышал, не поступившись хотя бы одним взглядом?

– Нет, я не шучу. Надо действовать. Мне не хочется его убивать, я вообще не люблю убивать. И потом, все равно нельзя убить совсем.

Балет продолжался. Скрип пошел по всему дому. Я говорил уже, на какой тайной связи строятся мои воспоминания. Этот особняк служил в прошлом тюрьмой и начальной школой; монастырем и почтой. Дом тоже, на свой лад, «сообщался». Эта связь параллельных миров озвучивала каждый тайный шаг. Так было со мной, так было со всеми. И только это мне запомнилось, только скрипы, скрип на скрипе.

Благодаря этому каждый день имеет свое лицо, которое я мог бы узнать из тысячи. Я в точности вижу порой тот или иной день, в целом и в частностях, когда, на беду, эта беззаконная гармония воцаряется в моих ушах. Любой пустяк может вызвать ее: чиркнет спичка, затормозит машина, прозвучит смех и хлопок закрываемой двери. Так и этот день видится мне со всеми его мертвецами при свете керосиновой лампы, порождение осатанелой бури.

Пантомима внизу тянулась, тоскуя от собственной глупости, ужом на солнце. Эти двое сговаривались только ради удовольствия продемонстрировать оборотную сторону своих замыслов.

– Нет, я знаю, ты никогда не осмелишься. Их слишком много.

– Ладно, тогда поделимся.

– Чем, мой милый?

– Этим.

«Это» находилось в небольшой суме, которая лежала как раз в углу – на то была воля Божьего ока.

Суму эту я уже где-то видел. Нет, это была не та, что у слепого. Но она походила на другие, виденные мною в прошлом, у других друзей моего отца.

Тому было несколько месяцев. Старые друзья пришли проведать его воскресным днем, в декабре, незадолго до Рождества. Они принесли подарки. Я получил тех самых солдатиков итальянской кампании и статуэтку, привезенную

из Африки. Красивую фигурку, которую определенные мысли – хоть я и гнал их из головы – заставили меня зарыть в дальнем углу сада… надо же, совсем рядом со злосчастными трупами. Я знал, что все это когда-то отзовется. И это когда-то было где-то, здесь и сейчас.

Друзей было трое, они пришли с женами, тремя шумными дамами, одетыми в ни то ни сё. Из чего напрашивался вывод, что это – испанки. Они остались у нас и провели всю ночь с моим отцом за игрой в карты. Мне показалось, что отец проиграл, – нет, не деньги, что-то куда более существенное. Та карточная партия стала у моих родителей излюбленным поводом для ссор. Это превратилось в ритуал.

Однажды я в простоте душевной спросил мать, какова была ставка в той пресловутой игре.

– Его душа, быть может, – обронила она в ответ с рассчитанной небрежностью.

И по тому, как мертвенно побледнел отец, я понял, что она ни на йоту не преувеличила.

Стало быть, он проиграл свою душу.

Душу или не душу, но проиграл он жену. Она без конца повторяла ему это на множество ладов. Да, это даже стало ее любимой шуткой. Как называется человек, который ставит на кон свою жену?

Только много позже я понял, что он отрекся от своих прав. Что это были за «права»? Грандиозность этой мизансцены говорила мне о строжайшей тайне и помпезности, которыми эти люди умели себя окружить. Да, тайна была, но тайна, придуманная a posteriori. Деньги, сбережения. Но ведь сбережения – это лишь оболочка для пустоты. И только эта пустота могла унять их раж в предпринятых ими безумных поисках.

Нет, на все они не отважились. Зрелище было в целом вполне пристойное. Однако придерживались они своего репертуара с трогательным постоянством, которое даже у меня, в мои лета, в конце концов вызвало улыбку. Сколько усилий, чтобы скрыть тайну, – которую ведь предстояло еще придумать целиком и полностью.

– Убить, речь идет об убийстве.

Воровство, убийство, минута была коротка, а стряпня тяжела и пережарена. Они убили единственно ради удовольствия убить, теперь требовался повод. Найти его должен был я.

Следующую сцену легко было предвидеть: те же и мой отец в сером костюме.

– Ну-с, – сказал капитан, – здесь теперь входят без стука?

– Только так, – проронил отец с горечью, прозвучавшей неубедительно.

– Что ж, – кивнул капитан, – поговорим.

– Оделись бы сначала, – поморщился отец.

– Не мужик и никогда им не будет, – вздохнула мать.

Сверху, как видел ее я, эта семейная сцена производила странное впечатление.

– Ладно, разбирайтесь без меня.

Капитан ушел. Он оставил открытой дверь туалета, чтобы все было слышно. Его, я думаю, все это очень веселило.

Оставшись с матерью наедине, отец поцеловал ее. Погасил свет. Мне казалось, я вижу сон; это было так непохоже на все, что я потом прочел. Они возились, стонали; я закрыл глаза. Потом вспыхнул свет: мать стоя и отец на коленях мерились взглядами. Они увидели друг друга впотьмах и вот теперь мерились взглядами вслепую. Все оказались на своих местах: капитан покатывался со смеху, а я – я тоже смеялся, от души. Вот еще что: они держались метрах в семи друг от друга, не меньше. Лед был сломан. Игра возобновилась; они заговорили, оба разом. И вместе ушли. Я понял, что отъехала машина, когда еще не стих в ушах их смех.

Прикатила машина, не та, другая. Я спустился и посмотрел в окно. Да, это была другая машина. Из нее вышли двое и направились к дому. Надо было что-то делать. Чтобы добраться до Мануэля, я должен был пересечь улицу, Антония же была мне ни к чему. Я поднялся по лестницам в отцовский кабинет. Я знал, где он хранит свой револьвер. Послышались голоса:

– А мальчишка?

– Черт с ним!

Нет, револьвера там не было. Его не было нигде. Я спустился.

Оставалось ружье. Охотничье ружье. Открывая дверь кухни, я что-то задел, разбилась вдребезги бутылка. Весь дом отчаянно заскрипел. Они были в гостиной. Они знали, что я здесь.

– Малыш, где ты?

– Не бойся, мы друзья твоего отца.

– Его здесь нет, проснулся, наверно, от стука. Где тут свет?

Я, наконец, нашел ружье, но как знать, заряжено ли оно?

– Малыш, иди сюда! Сейчас зажжем свет, ты, надеюсь, не против.

Я услышал брань. Один из гостей упал.

– Здесь кто-то еще.

– Думаешь? Краб, что ли, опять шутки шутит?

– Краб, это ты? Покажись! Понял, что я хочу сказать? Нам о многом потолковать надо, слышишь, краб?

– У тебя нет ничего дурного на уме, мы знаем, краб, мы к тебе всей душой, иначе разве я пришел бы сам? Орел, сам знаешь, просто так с места не сниметсся! Орел – он одного терпеть не может – сниматься с места зазря, понятно?

– Ну что, краб, мир?

Я держал ружье, я не мог думать ни о чем, кроме ружья.

– Кто здесь?

Собеседнику изменило спокойствие.

– Выйдешь ты или нет, черт тебя побери?

И тут они наконец зажгли в кухне свет. Я уронил ружье. Оно выстрелило само.

Я увидел перед собой отца. Да, я не знал, кто этот человек, а это был мой отец – весь в крови, дрожащий. Он рухнул наземь.

– Господи! – произнес второй. – Что ты наделал. Только не это. – Он поднял тело и вышел с ним. – Что ты наделал!

На полу из лужи крови смотрел стеклянный глаз. Только теперь я понял, что стою совершенно голый.

Глава IV

На другой день с утра пораньше я собрал чемоданы. В них нашлось место всевозможным вещам: сначала я аккуратно уложил свои рубашки, носки, свитер. Потом что-то вдруг заставило меня все выкинуть. Я наполнил чемодан мылом – все куски мыла и флаконы шампуня, какие только нашлись в доме, поместились в мой новый чемодан. А потом стукнуло: почему бы не книги (я, между прочим, никогда ничего не читал), и опять все выкинул. Так повторялось пять, шесть раз. Светало. Автобус отправлялся в половине седьмого. Я затруднился бы сказать, что у меня в чемодане. Он был тяжелый, а как же иначе. Вещи – уложенные, выложенные, разбросанные по дому – перемешались в моей голове с другими, почему-то оказавшимися в чемодане. И почему, кстати, я сказал «мой чемодан»? Я наполнил их несколько. Три оставил на втором этаже, еще два валялись у двери кабинета. Последний – возле кухни. Да, в них поместился весь дом. Бумаги отца, духи, и еще – галстуки, их было больше всего. И наконец – револьвер. Но попал ли он в тот чемодан, что был при мне?

Каким-то чудом в автобусе никто меня не знал. Как будто я был уже далеко. Ни Пауло, ни Антония не видели, как я уезжал. Я занял место в конце автобуса – и путешествие началось, словно фильм. Вскоре я уснул, а когда проснулся, мы были недалеко от Фунчала. Рядом со мной говорили по-английски. Речь шла все о том же «крабе».

– Они и на этот раз выпутаются? Ты правда так думаешь?

Этот голос был мне знаком. Меня они, похоже, не заметили. Настроение у них было отличное. Они приканчивали бутылку виски, судя по всему, не первую за день. Я готов был поклясться, что это не те же, что прошлой ночью. Но в таком случае сколько же их? Я не отважился сесть прямо. Они сидели как раз передо мной. За время пути я услышал еще кое-что из их разговора. Обрывочные сведения вразброд. При попытке собрать их воедино, головоломка выстраивалась во что-то очень банальное, темное и невеселое.

Мои родители – злодеи. Это бесспорно. Они преступники. Или же ведут какую-то игру. Или же, или…

Они вышли у порта. С чемоданами. Я не мог дать им уйти (не спрашивайте, почему). Их разговор – они говорили о моей семье. Лис – это был мой отец, а Лили – моя мать.

– Уф! Ты же знаешь, Лили ни за что не согласится.

– Вот увидишь.

– У нее было одно на уме, и она получила, что хотела. Теперь ей остается только ждать, когда умрет… В общем она счастлива!

– Если поглядеть на ее походку…

– А что у нее за походка?

Они пили пиво в портовом кабаке. Я был рядом, затаился и слушал, сидя на своем чемодане.

– Вот и он.

– Давно пора.

– Что это ты делаешь?

Главарь схватил меня за горло.

– День добрый.

– Кто этот мальчишка?

– Он следил за вами?

– Спокойно, орел, спокойно…

Как я мог спутать его с моим отцом? Он был меньше ростом, зато куда шире, а в движениях проворнее. Он улыбался доброй улыбкой – ну просто мальчик из церковного хора, отмахивающийся от более чем заслуженных похвал.

– Ладно, это был несчастный случай, согласен. А теперь ты откроешь этот чемодан.

Рана у него была не тяжелая – царапина на лбу. Он носил черную повязку.

– Нет, не здесь. Составь-ка нам компанию. Ты голоден? Пойдем к нам, кажется, еще остались пироги, правда, «сука»?

Один из двух молодчиков открыл глаза. Он витал где-то далеко. Какую-то долю секунды все смотрели на нас. А потом каждый возобновил привычные движения в замкнутом кругу. Да, время остановилось. Собрать головоломку можно было и так, и сяк, и этак! Все прикидывались, будто в упор не видят, как орудуют похитители, в то время как самая длинная на свете похоронная процессия расползалась по площади, черной от платьев святош. На помощь! Это я сделал назло, издеваясь. Все, абсолютно все повернулись к нам спиной в ритме вальса, да как слаженно! Ни одного лишнего движения, каждый выпивал слишком рано или слишком поздно, по жесту на брата, каждый замыкал свой круг. Как сейчас вижу того господина рядом с крабом, я еще нарочно толкнул его, проходя, а он, глядя точнехонько в противоположную сторону, извинился: пардон, мадам, отчего залились краской все вокруг нас. В общем, они уводили меня под шумок мимо злосчастной похоронной процессии, сквозь спешащую толпу, из которой глядели – для меня одного – гневные глаза моей матери. Она и не думала отворачиваться. Я видел ее в самой середине этой рваной сети, ткани движений, расползающейся на нити.

– Нет, – сказала она, – только не это.

Я рванулся вперед, в принципе как бы к ней, но на самом деле к этой несуществующей толпе, что располагалась близ сыров.

– На помощь!

Ладно.

Пора уже наконец сказать, что этот козырь благоприятствовал моим априорным данным при всем ничтожестве и убожестве школяра из провинции.

Конец сцены я предугадал. Они разбежались во все стороны. Звуки духового оркестра придали картине красок. Я, в сущности, от души забавлялся. Но не тут-то было. О да! Я бежал теперь по улицам, стремясь к холмам. Банановые плантации утихомирили бы мою душу. Но, верно, были какие-то шкалы, чтобы все спрямить. Все остановились. Где же она, эта граница?

– Иди сюда, – сказал старик. – Иди сюда, малыш. Супчику хочешь?

Театр одного актера, точно вам говорю. Десять минут спустя я сидел перед старичком и прилежно ел суп, а между тем, в полнейшей тишине, вся банда ворвалась в каморку вышеупомянутого сапожника.

– Дайте ему хотя бы доесть суп! – потребовал старик.

Уважение они проявили, что да, то да. Сами решили не открывать чемодан без моего согласия, раз уж он мой.

– Вот и мы! – объявил сука.

– Чемодан ждет тебя!

Я доел суп и подзадержался, раскидывая незавершенные улыбки направо и налево.

– Чемодан, – произнес удушливый голос: он любил стушевываться до шепота в темных переулках, вот и стал таким.

И тут грянул взрыв. Что же все это могло означать? Всевозможные пары обуви, пепельницы, улики и многое другое. Оправы для очков, множество банок с вишнями. Нашлась, правда, и бутылка виски.

– Что ж, все это пригодится, – заключил голос. – Остается хоть что-нибудь понять в этих бреднях. Что ты знаешь, чего ты, собственно, хочешь от нас?

Я успел перемножить в голове фигуры, которые предстояло расставить по местам в недалеком будущем. Они меня одолели.

Через несколько часов я пришел в себя.

Они все еще были здесь и вдумчиво рассматривали крошечные пятнышки крови. Повинуясь инстинкту, я прикинулся мертвым.

– Что будем делать с мальцом?

– Надо спросить у его матери…

– Уф! У этой…

– Да ясно же, что чемодан – это ловушка. Теперь-то все видели ее на площади, это ловушка, точно вам говорю.

Я лишь чуть-чуть приоткрыл глаза и весьма приблизительно представлял себе происходящее. Один из них, сильно смахивающий на обезьяну, суетился больше всех. Он размахивал револьвером, держа его не тем концом, и то и дело колол орехи. Мальчишки, да и только! Но чего они хотели от меня?

– Надо было отыскать следы, хотя бы следы в этой сраной дыре!

А я, весь как один, прикидывался мертвым.

– Чуть беды не случилось, надо все-таки что-то делать и побыстрее!

– Что за банда, ей-богу!

– Он все слышит, он не спит!

– А нам-то что с того?

Тут я вдруг понял, что говорят на разных языках. Но я почему-то все понимал. Точно, понимал. И, кажется, улавливал колебания злодейских помыслов.

– Убьем его!

– Не стоило бы, но…

– Скажешь тоже! А! Понятно, что у тебя на уме, боишься хозяина.

– Уф! Орел, сам знаешь, давно уже не летает.

– Ну, вот и орла поминаем. Летает он, уж несколько часов летает… Ручаюсь, он уже далеко…

– Боже правый! А как же блинная?

– Брось, с этим покончено!

И тут они замерли. Позвольте, я помогу вам проникнуться этой неповторимой минутой: один сидел за маленьким столиком, на котором копошились огромные живые крабы, другой в углу с отсутствующим видом изучал какую-то карту, еще один перебирал улики, то есть, я хочу сказать, вещи из моего чемодана. А старик с супом жадно ловил каждую увертку, каждую нелепицу, точно ткач, стуча ложкой, чтобы обозначить паузы. Ну да, надо же было как-то скрыть приезд машины.

Чем больше я думаю и раздумываю, тем сильнее все запутывается в моей голове. Может, они уже были там? По такой-то дороге они приехали неимоверно быстро. Да, это были они, моя мать и все остальные.

Кроме одного.

Полчаса спустя я спал в самом роскошном гостиничном номере, какой мне только доводилось видеть в своей жизни. Мать рассказывала мне сказки. Она делала это, чтобы я уснул, но, добившись своего, будила меня, чтобы продолжить.

Очень скоро я принялся задавать вопросы: да, его больше нет, бедняги. Но это я знал. Итак, надо было жить дальше без отца. Я стал сиротой. Как в сказках матери (она уже рассказывала новую, опять про птиц).

Дальше рассказ пойдет о сироте.

О перелетных птицах.

Итак, он умер. Но… каким образом? Я уснул за полночь. Мне снились, конечно же, последние события (в каком-то смысле я и сейчас вижу их во сне). Все смешалось в моей голове – так же смешается все и в будущем. Придется принять это за правило: мне так и не удалось выпутать их лица из клубка подозрений, которые кружили в бездонной пучине, ослепляя. Один раз мне привиделся спящий краб: в чистом виде страх. Он менял маски одну за другой. А между двумя масками плакал. Я просыпался дважды или трижды и каждый раз видел, как плачут три моих лица в трех зеркалах номера, а сам я хохотал, как безумный. Но все скажут, что я преувеличиваю, как всегда.

– Он притворяется, но на самом деле его глубоко потрясли последние события.

На этот раз говорили так близко, что я поневоле встревожился…

– Он проснулся!

– Да, сударыня, он больше не дрожит…

– Я чуть с ума не сошла от этого смеха!

– Это шок, сударыня. Вам тоже следовало бы отдохнуть.

– Нет, доктор, у меня много дел. Мне надо бежать.

– Мама!

– С добрым утром, мой маленький, до свидания, доктор.

Я даже не успел оценить ее новую прическу.

– Ну-с, мой мальчик, пора нам потолковать. Я доктор Берштейн. Я в отпуске. И я им дорожу. Объяснили бы мне, почему никто их моих коллег не пожелал тобой заняться. Ты не знаешь? Если я расскажу тебе, как провел вчерашний день, быть может, моя точка зрения и для тебя кое-что прояснит, верно? Говорят, это часто помогает. Итак, вот тебе моя история.

Я – доктор Алоизиус Берштейн, странное имя для француза родом из Венесуэлы, чьи родители были уроженцами Шанхая. Но все это совершенно неинтересно, не правда ли? Мне почему-то кажется, что мы с тобой еще не раз успеем в будущем рассказать друг другу свои жизни, правда? А вот то, что нас сейчас занимает, должно уместиться в старый добрый двадцатичетырехчасовой цикл. Да, малыш, yesterday я еще ничего не знал о жизни, о нашей жизни. Я помню, это ведь было только вчера, помню-помню… Я решил выйти на рассвете, не люблю ранних прогулок, но вчера… В общем, прокатились вокруг света…

Он замер в растерянности. Он сочинял, все происходило не так и не в том порядке.

– Тебя смущает мой взгляд? Он всех смущает. Еще в раннем детстве у меня нашли исключительно редкую форму дальнозоркости. Я вижу все, что происходит за сотню метров и дальше. Только кривизна земного шара может воспрепятствовать моей бесцеремонности. Да, малыш, бывают такие люди. Так вот, чтобы я мог сосредоточиться на занимающей нас теме, мне нужен вот такой взгляд, бегающий, чуть косящий, из-за которого я незаслуженно приобрел репутацию лицемера. Но стоит мне сфокусировать взгляд – «я вижу». Или, вернее, что-то начинает происходить там, куда я смотрю.

Его прищур и мигание раздражали меня. Так самодовольны бывают только последние трусы.

– Ты понял, о чем я, не правда ли? Как только я фокусирую взгляд, что-то имеющее отношение к нам совершается… там, далеко.

– Я понял.

– Отлично, я так и знал. Ты все-таки заговорил со мной. А от того, что я тебе сейчас расскажу, ты, надеюсь, онемеешь до конца своих дней. Так на чем мы остановились? Ах да! Мы остановились… там!

Теперь он сфокусировал взгляд. Значит, это была правда. Там что-то происходило. Что-то имеющее отношение к нам. Я посмотрел туда, куда смотрел он. Сначала я ничего не увидел. Ничего особенного. Рядом с ними трое по-праздничному одетых крестьян читали одну и ту же газету. Собака играла с мертвым голубем. Но да, да, теперь я видел: там был бар, именно оттуда «эти люди», как же их называть, эти не-туристы похитили меня. Теперь они были там. С чемоданом. И… повторяли ту сцену. Между тем, приходилось признать очевидное: меня там не было. Я не пришел на встречу. Что же они делают? И похоронная процессия тут как тут.

– Бедный мой мальчик, это несут твоего отца. Но, – продолжал доктор, – я отвлекся от рассказа. Как я уже говорил, был очень ранний час, когда я решил совершить прогулку. Это мой последний отпуск, и я не хотел упустить ни минуты, ни секунды. Сначала я отправился к набережной. Обожаю гулять по набережным. Это мне столько всего напоминает. Да, кстати, говорил я тебе, что в твои годы я тоже жил в этом месте? Ну вот, предположим, я вспоминал, закрыв глаза, безвозвратно ушедшее детство, как вдруг голос, вернее сказать, отголосок, донесшийся из этого далекого прошлого, вернул меня в наш горестный мир. На помощь, звал этот голос. Я открыл глаза и все увидел. Это был, конечно же, ты. В окружении этого блестящего общества. Тебя увозили в машине. Мне захотелось

узнать подробнее, что происходит, и я закрыл глаза. Говорил я тебе, что у меня исключительно тонкий слух? Я слушаю и слышу на большом расстоянии, но всегда не то, что вижу. Надо еще добавить, что у меня, к несчастью, два уха и им никогда не удается слышать одно и то же. Это означает, что я навеки обречен слушать два разговора, внятность которых зависит от их неслаженности. Когда-нибудь ты поймешь, что я вдобавок обладаю маятниковым мозгом, и, может быть, тогда разгадаешь причину моей печали.

Теперь доктор говорил сам с собой. Я, по правде сказать, слушал его в пол-уха, поглощенный абсурдным спектаклем, покинутым публикой за двадцать четыре часа до начала.

– …как я уже говорил, мои уши донесли до меня два разных разговора, между которыми я по идее должен был бы метаться, ничего не понимая. Но, представь себе, я понимал все, абсолютно все. Один отсылал к другому. А то, что мне не удалось уразуметь сразу, дошло до меня сейчас… если ты понимаешь, что я хочу сказать.

Он посмотрел на меня иронически; его пассеизм придавал духу. Я в самом деле видел там, как разворачивается строем похоронная процессия. Она образовала что-то вроде буквы U вокруг места событий (где был я). Все в черном, кроме, разве что, моей матери. Но это действительно была она. «Не-туристы» суетились, бегали туда-сюда с карманами, набитыми всякой всячиной. Я слышал доносившиеся откуда-то издалека бесцеремонные звуки. Выстрелы я слышал, если быть точным. Видел, как люди разбегаются в разные стороны. Маленькой толпы хватило, чтобы заполонить просторную площадь. И закрывались одно за другим окна. В эту минуту «тот самый» солнечный луч упал безнаказанно с небес.

В моей комнате доктор невозмутимо продолжал:

– Одним ухом я слышал выжимки разговора, старательно повторяемого слово в слово: «Это он, – говорил один, – это краб, вот во что он, краб, превратился, – прислуга, нянька при сопляках».

А левое ухо, между тем, гневно отвечало: «Нет, мы не можем дать ему уйти, он нас видел».

«Но где же… – шептало другое ухо, – и что он мог видеть, зачем нам рисковать, это же глупо!»

А то ухо гнуло свое: «Поймите, без него мы никогда не найдем того, что ищем».

А то – свое: «Не верю я в эти россказни. Мне осточертели аэропорты. К чему все это? Зачем?»

А то в ответ: «Алмазы».

У доктора был измученный и опустошенный вид.

– Вот и все, – сказал он, помолчав. – Все. Теперь, мой мальчик, мне бы хотелось задать тебе один вопрос. Где алмазы?

Я посмотрел на площадь с похоронной процессией. В задних рядах, глядя с рассчитанным равнодушием, я увидел моего отца, следовавшего за собственным гробом. Он улыбался, а во рту его, едва заметный среди вставных зубов, поблескивал большой алмаз.

Глава V

Спустя неделю после событий, повлекших смерть моего отца, я вернулся на свое место за стойку портье. Голова у меня шла кругом: не меньше сотни туристов в день; горы было не узнать. А мать вьюном вилась вокруг гостей. Все быстро привыкли к чудачествам доктора, его жалели за комплекс вины. Подумать только, преступление! Тягчайшее! И это преступление, и многие другие я готов был простить доктору. Но его доброта была лукавой, как местное вино. Его действия, лишенные всякой корысти, могли унести больше жизней, чем все автострады вместе взятые. Принести больше бед, чем все римские утопии. В конечном счете, между его благими преступлениями и импульсами филантрофага всегда оставался этот легкий трепет, таивший в себе маниакальность, который и составлял его обаяние. Но был еще другой. Тимоти Моретти, его спаситель, прибыл вместе с ним. И остался. Моя мать была в восторге. А почему бы нет? В конце концов, это они как нельзя лучше все устроили, поместив в рамки рациональности, я бы даже сказал, неукоснительной каузальности события, самой природой которых был хаос, а действующей причиной – скука.

Тимоти Моретти, валлиец из лесов, именуемый «спасителем», в прошлом чиновник Ее Величества на островах. Истинный знаток затерянных уголков. Гонконг был его пунктиком, а роковым для него ляпсусом стало слово «пидор». К этому мы вернемся завтра.

Я неизбежно должен был рано или поздно оказаться в центре их изысканий. Они позвали меня. Снова зашла речь об алмазах. До этого я с ними двух слов не сказал. Только время терять. Они почуяли и мое любопытство, и благожелательность к ним, непрошенным гостям.

– Мы знаем, что ты знаешь больше, чем сказал нам.

– Да и нет, – перебил его доктор.

– Верно, – перебил его Тимо.

– Все-таки, ты что-то слышал, ведь так?

– Что же, например?

– Говори, скажи хоть что-нибудь, нам все может пригодиться.

– Пригодиться для чего?

– Господи боже! Только не говори, что ты отказываешься внести свою лепту в дело!

Тимо улыбался, да, но о его ярости можно было судить по побелевшим ногтям.

– Я ничего не знаю. Две недели назад…

– Недурное начало, – кивнул доктор.

– Тихо! Так ты говоришь… две недели назад?..

Какой балет вытанцовывали руки этих господ! Они ждали от меня всего, а мне нечего было им сказать.

– И это все? Врешь!

Было темно, значит, я молчал не один час. Я был в крови. Значит, меня били. Туристы уже уехали. Значит, кто-то другой о них позаботился.

– Он очень хорош, просто чудо, этот новенький.

Это пришла моя мать. Она была в черном, она смотрела на меня, сжав губы, а ее голос шел со стороны. Она усмехалась по-вдовьи, не имея на это права. Ее тело плавно колыхалось, подавляя превосходством. Безумный смех терялся где-то в кухне.

Дама в черном поцеловала меня.

– Он, верно, растерялся, бедняжка, он ведь даже не знал о твоем существовании.

– И правда, – произнесла дама в черном своим замогильным голосом. – Ты уже не узнаешь свою тетю? Ах ты, мой бедненький. Вот увидишь, мы с тобой поедем в Париж. И ты забудешь весь этот кошмар.

А я смотрел на другую, в красном, белокурую, более чем белокурую. Моя мать расхохоталась.

– Бедняжка, не узнает меня. Он не знал, что волосы у меня белее снега. Да, малыш, теперь-то твоя мать уже не молода, но волосы у нее побелели в двадцать лет.

– Да, – подтвердила тетя, – когда умер наш отец в Тунисе.

Так значит, это была она, моя тетя, сестра-близнец. Она казалась чем-то удрученной.

– Я ухожу, сударыня. До завтра.

Какой-то мальчик чуть постарше меня невозмутимо взирал на нас.

– Уходишь? Но еще рано! Задержись-ка ненадолго. Ладно? Вот он будет работать за тебя в твое отсутствие. Поздоровайся с ним.

Я смотрел на вновь прибывшего, не видя его. А он не сводил глаз с моей матери.

– Ну что, он все вам рассказал, чертенок?

– Ровным счетом ничего!

– Надо же, а ведь несколько дней назад только об этом и говорил. Правда, во сне.

– В этом-то вся и разница, сударыня.

– Ничего, терпение, – сказала мать. – Жарко, надо чего-нибудь выпить. Антуан, принесите нам напитки. Все хотят пить.

– Но как же алмазы, Моретти?

– Хватит, вы всех достали вашими алмазами!

Никто не зажег ламп. Время от времени свет фар больших туристических автобусов выхватывал из сумрака величественные тени каменных гостей.

– Ладно, с меня довольно.

Это сказал Моретти, он был в ярости. Он уходил.

– Да что это на вас нашло? Постойте!

Это доктор побежал за ним вприскочку.

– Один другого хуже, – пробормотала мать.

Другой мальчик смотрел на нас, и с его губ не сходила презрительная улыбка. Мать схватывала на лету.

– Расскажите же нам! Что вы обо всем этом думаете? Вы можете сказать нам много интересного, я уверена.

– Сударыня, я очень, очень рад, что работаю у вас.

Внизу друзья-приятели выясняли отношения с неиссякаемым пылом. Вот тогда-то и состоялась некая церемония. Ее разыграли как по нотам все и никто. Этим «никем», как будет ясно в дальнейшем, был кот, наше все для всех, наш джокер, гарант и соблазн. Там, наверху. Виденный и перевиденный.

Две сестры сидели теперь за пианино, ни для кого выстукивая на клавишах грядущий вальс. А я в полном одиночестве напивался мадерой, никем не замечаемый и слишком занятый тем, чтобы обособиться.

При первых же звуках вальса вновь прибывший вышел из своей роли, не произведя ни малейшего шума. Застенчиво следуя ритму, он зажег свечи. И принялся танцевать – один. Тогда доктор и Моретти вернулись на цыпочках в комнату и тоже стали танцевать, каждый в своем углу. Так они кружились довольно долго. С закрытыми глазами. И тогда я сказал себе: что если кто-то оттуда, сверху, смотрит на нас? Сердце мое забилось.

Глаз, глаз Бога. Повинуясь инстинкту, я посмотрел на потолок. И увидел глаз. Я завопил. Все ходило ходуном.

– Никому не двигаться!

Они уставились на потолок, все как один. Все было перерыто. Все мои игрушки разбросаны. Повинуясь инстинкту, я посмотрел вверх. И опять увидел глаз.

Довольно! Я поднялся по лестнице. Я должен был увидеть. Но нет, никого! Следы, правда, имелись. Я снова посмотрел вверх: кто-то открыл маленькое окошко, выходившее на крышу. Все были на улице. Стоял крик. А меня занимала только одна вещь. Та вещь, что висела на руке капитана.

– Малыш, – сказал капитан. – Мне очень жаль, что пришлось использовать твоего кота таким нехорошим образом. Но это было забавно, до чего же это было забавно!

Он посмотрел в сторону и стал умирать, но никак не мог умереть совсем.

– Я ухожу, малыш, далеко ухожу, очень далеко. Вот, возьми, я возвращаю тебе твоего кота. Он немножко порвался, но все же стоит на него взглянуть.

Смех душил его. Он попробовал встать, с трудом сделал шаг-другой и упал на крышу.

Я остался стоять с котом в руках. Боже милостивый, и правда, ради этого стоило сделать крюк. Распоротый, выпотрошенный, набальзамированный кот благоухал лавандой. А внутрь кто-то аккуратно поместил шесть, семь, восемь… стеклянных глаз.

– Иди сюда! – истошно кричала мать. – Будут еще землетрясения! Придется ночевать на улице!

Но я был уже далеко оттуда. Меня переполняло чувство величия подлинно захватывающей автаркии.

– Это кот! – кричали они. – Дайте же нам кота, черт возьми!

Я так и сделал.

Изо всех сил я раскрутил кота за хвост и запустил его на улицу, не задумавшись над разыгранной шуткой. Тишина. Наступила глубокая тишина.

Там, внизу, один глаз разбился. И из кошачьего нутра высыпалось не меньше дюжины крошечных алмазиков.

На остаток вечера нам нашлось занятие, мы приводили в порядок дом. Никто об этом не говорил, но одни только почти невидимые алмазики заполонили остаток их жадных жизней блаженным желанием.

Эти алмазы – я знал, что они ускорят события. Тем более следовало взвешивать каждое слово, каждый жест. Наверху доктор и Моретти допытывали умирающего, но безуспешно. Нет, он не умирал на улице. Хуже, много хуже! Он кололся, кусков набралось на добрую сотню несобранных головоломок.

Около полуночи доктор зашел к нам в кухню, где мы расположились на случай новых землетрясений.

– Он заговорил? – спросила мать.

– Говорил все больше о вас, сударыня, – сухо ответил доктор, – и еще…

– Что еще?

– Я имею в виду кое-какие африканские воспоминания.

– При чем тут Африка?

– Оказывается, вы вроде бы познакомились с вашим мужем где-то в Африке.

– Мне особенно нравится это «где-то».

– Что ж, политика… В конечном счете вас интересует политика, сударыня.

– Политика, что за вздор!

– Пари держу, вас это очень даже волнует… где-то!

– Ну, хватит! Слушать больше не желаю ваши намеки!

– О чем? Для меня этот план «Атлантида» – темный лес. Я никогда не читаю газет, палимпсесты меня раздражают. Так что можете часами распространяться о силовых отношениях и государственных переворотах. Во всем этом пустословии меня, смею сказать, интересует только одно – алмазы.

– Вот уж действительно, – фыркнула моя мать, – нашли интерес!

– Позвольте, сударыня! Мой отец был ювелиром.

– Ах вот оно что! Алмазы напоминают вам о детстве, понятно!

Тут снова тряхнуло.

– Ах, бедняга, – вздохнул доктор, – он этого не переживет. Он не выносит землетрясений. Говорит, что это единственное на свете, чего он по-настоящему боится, не считая коммунизма.

– Идите сюда, доктор! – позвал Моретти.

Они пробыли наверху еще час. За это время земля содрогнулась два или три раза. Я крепко спал, когда вошел доктор.

– Он хочет видеть малыша. Никого больше, – сказал он холодно, глядя на мою мать. – На сей раз кроме шуток.

Комнату освещала только одна свеча. В окружении наших теней капитан отходил.

– Иди сюда, – сказал он мне. – Иди, посмеемся вместе. Ты умница, ты больше поймешь за минуту, чем эти два олуха за всю жизнь. Иди сюда, я расскажу тебе. Я тебя, знаешь ли, очень люблю. Ты – наш, это видно сразу. Я отчаливаю, мне осточертел этот гнусный мир, оставляю вам ваши вулканы и ваши прогнившие

демократические режимы. Я ухожу. Ухожу с песней. Но прежде чем я уйду, ты должен дать мне обещание. Ты не можешь мне отказать – ведь это я убил твоего отца. Низкопоклонников, знаешь ли, ненавижу. У меня от них трясучка начинается. Кстати, доктор, боюсь, нам нужна еще бутылка. *Rapido, outra garrafa por fabor*! А ты сиди смирно и не плачь. Это неправда, твоего отца убил не я. Мне следовало бы его убить. Хотя, заметь, вышло как лучше. Ну-ну, не плачь. Я даже пытался его спасти, когда нашел в туалете, а ведь, видит Бог, меня от повешенных блевать тянет. Да прекрати же наконец реветь! Было бы о чем! Я уверен, что он тебе даже не отец. Вот что я тебе скажу, и заруби это себе на носу: от трусов все беды на свете. Когда трус преставится, за это стоит выпить!

А я вовсе не плакал. Я не мог плакать.

– Ну же, выпей глоточек, это виски, вреда не будет. Твое здоровье! Так о чем бишь я? Ты меня слушаешь?

– Я должен вам что-то обещать, капитан.

– Ах да, обещание. Никогда не женись, понял? Особенно, Боже упаси, на негритянке. И еще вот, возьми, это тебе. Это все, что я имею: моя библиотека. Я мог бы стать образованным человеком, ты не знал? Ты должен дать мне обещание.

– Еще одно?

– Последнее. Прочти внимательно все эти книги. Если ты это сделаешь, без обмана, то станешь несметно богат. Как я. Но выполняя одно обещание, не забывай другое.

– Про негритянку?

– Smart Boy[1], – усмехнулся капитан. И уснул.

Подошел доктор и сказал:

– Он еще жив.

Потом он осмотрел мое наследство. Было его немного.

– Сколько же наш друг читал!

– Ничего удивительного, – отозвался доктор и побледнел.

Он взял в руки одну книгу и тотчас выронил ее.

– «Мейн Кампф», – равнодушно обронил Моретти. – Я не читал. Интересно? Я хочу сказать, действительно так страшно?

– «Как завести полезные знакомства и преуспеть в делах», «Тайны соборов», «A noite ficou atras de Jan Valtan», «Всемирный жид», «Нефтяной заговор», «Летающие тарелки и Атлантида», «Остров сокровищ».

– Опять!

– «Галльская война», «Катары», «Третий глаз»…

Капитан мучительно хрипел.

А потом началось землетрясение. Настоящее.

– На улицу, – сказал доктор.

Их как ветром сдуло. А я не мог уйти, завороженный страхом капитана. Он встал на ноги. Подпрыгнул раз, другой, можно было подумать, что он танцует. Потом, держась за стену, посмотрел на меня в упор и произнес: ты мой сын… Попытался усмехнуться, но рот его открылся на непомерную ширину. Закрыть его он не мог.

1 Смышленый мальчик (англ.)

Я захохотал как безумный. Он кинулся на меня, схватил за горло, притянул к своей разинутой пасти. Потом крутанулся и бросился в окно.

Ни один дом в деревне не рухнул.

Назавтра был праздник.

Глава VI

Полицейские приехали через три дня. Они долго говорили с моей матерью и тетей. Ни доктора, ни Моретти в доме не было. В конце концов они уехали ни с чем. У матери было заплаканное лицо. Она прошла мимо меня, даже не взглянув, и надолго заперлась в своей комнате. Тетя осталась со мной, вид у нее был серьезный и решительный. Повеяло прощанием навсегда. Но что за важность, я уже пришел в себя, все представлялось мне логичным и уместным, мировой порядок смотрел на меня алмазными глазами нового дня. Как заиграл в этом свете наш затерянный уголок! Оставалось только прочесть газеты, чтобы все это как следует уложилось в голове.

Тетя говорила, говорила, говорила. Ее хриплый и теплый голос запомнился мне пронзительным «друг мой милый», обращенным, несомненно, к кому-то, кто находился очень высоко и далеко в ее головке, много выше и дальше, чем я. С голосом связывались ноги – одна закинута на другую, – а с тем, что ему предшествовало, был связан запах, с которым мы еще встретимся.

– Бывают в жизни такие моменты, – говорила тетя, – такие моменты… Бывает такое… Надо бы, надо было, и все-таки…

Ее ноги запомнились мне словом «до завтра». И даже строгим «послушай меня хорошенько».

Я понял, что моя мать уедет. Ее увезут полицейские. Из-за всех этих мертвецов в саду или еще где-то. А я должен уехать с тетей. Нет, это уж слишком. Я решил, что убегу, на этот раз без чемодана. Денег я накопил достаточно, чтобы прожить несколько месяцев. Попробую перебраться на континент.

Пора было прогуляться.

Там, вдали, снова пели лихие ребята. Почему бы не наведаться в последний раз? Хотя прилив уже начался, еще можно было забраться в «Горловину», туда, где вихрились ветры. Фонарь у меня был. Я уверенно шел вперед. Через некоторое время я тоже запел – последнюю песню, которую слышал от отца.

– «…и бутылка рома…»

– Я знаю эту песню, – сказал вдруг кто-то.

– Да ну?

– Это пиратская песня.

– Кто вы?

– Нас не так давно знакомили.

– Понятно, вы – тот, кто будет вместо меня в моем доме.

– В каком-то смысле да. Вам это, надеюсь, не слишком неприятно?

– Нет.

Он был по другую сторону пещеры, и я видел, как движется его керосиновая лампа.

– Что вы здесь делаете, – спросил он, «другой». – У меня-то свои резоны, я хотел свести счеты с жизнью. А вы?

– Я думаю.

– О чем?

– О жизни. И о смерти. Обо всем, что с нами происходит.

– Понятно, – кивнул «другой». – Все это уже не имеет никакого значения. Скоро я буду далеко.

– Я тоже, – сказал я. – Очень далеко.

– Не дальше меня. Я буду мертв.

Он долго молчал, потом заплакал. И, размахнувшись, швырнул свою лампу в море.

– Да вы с ума сошли! Где вы?

– Я еще здесь. Могу я вам задать один вопрос – очень, очень личный?

– Валяйте.

– Вы кого-нибудь на этом свете любите?

– Да, наверно. Отца, мать.

Он исступленно захохотал.

– Я тоже, – выговорил он, – я тоже.

– Ну и что?

– Так поделитесь со мной. Ваша мать… вы ее любите, сами сказали. Что ж. Расскажите мне о ней.

Тут я все понял.

– Сожалею, но мне нечего сказать.

– Действительно, нечего.

Наступила долгая тишина. Я смотрел, как он исполняет что-то вроде пантомимы.

Каждое движение обладало странным свойством делать вас зеркально глухим. Это длилось долго и было еще надолго! Я непременно должен рассказать про эту тишину. Она состояла из волн, я отчетливо различал их. И я видел тесную связь волн и движений. Пантомима началась кружением, тотчас повторенным глубокими водами пещеры. Я увидел накатывающую высокую волну, ощутил ветер, словно пощечину. И горловина поглотила звуки. Разбились, переливаясь всеми цветами, волны. И, повинуясь пантомиме, скрылись брызги-осколки, и пещеру наполнила защитница-тишина, лишь бесшумно плясали тени от керосиновой лампы, которая никак не могла затонуть.

И тогда он прыгнул.

Я видел, как он ушел под воду. Точно эхо, едва намеченный прощальный жест лег тенями на стены горловины. Лампа затонула. И сразу же все звуки слились в некое подобие «мажорного лада», который не мог, однако, перекрыть голос моего врага.

– На помощь!

Я повернулся в своем углу. Он позвал еще два или три раза. Теперь его голосу вторили лихие ребята. Горловина подавала сигнал тревоги. Я был спокоен,

зная, что ему не продержаться до прихода спасателей. Рыбаки спешить не любят, ни одной ложки супа они не оставят недоеденной, чтобы помешать судьбе сделать свое черное дело.

Судьба, я читал ее в каждом движении вод, мне хотелось выкристаллизовать каждый миг отчаяния. Мой враг не сводил с меня глаз. Он больше не говорил, только бормотал невнятно. Это было признание. Как может ребенок так много всего понять за столь короткое время?

Губы тонущего мальчика подталкивали меня все дальше, туда, за грань. Он неслышно шептал мне о своих чувствах к моей матери. Демонстрировал в последнем подводном поцелуе то, что принадлежало им двоим. А я, кажется, улыбался. Я всего лишь не мешал ему тонуть. Но Боже мой, как же это затянулось! Его гримасы грозили лишить всей прелести преступление, занимавшее нас. Я гнал его от себя, повторяя: «Умри, умри!»

И он наконец понял. Стал спокойнее, лицо его в последний раз исказилось в поцелуе – теперь уж наверняка прощальном. Он застыл, и волны унесли его. В эту самую минуту вбежали рыбаки и заполонили пещеру. Я, наверное, стоял в театральной позе, потому что грянули аплодисменты, усиленные горловиной. И тут огромная волна вернула к моим ногам окровавленное тело врага. Я было попятился, но водоросли, которыми он был весь покрыт, опутали меня. Я упал на него, и ледяная вода полилась из его рта.

– Жив! – крикнул кто-то. – Он спас его!

И новый взрыв аплодисментов грянул над уснувшей деревней.

Ему уже дышали рот в рот. Рыбаки суетились. А я смеялся. Мне дали выпить, и я развеселился. Шутка вышла славная. Что скажут наши добрые рыбаки, узнав из уст самого утопленника, что я хотел его убить? Я решил, что с меня довольно. Вышел и направился к гостинице.

Я не заметил машины и замер на месте, когда вспыхнули фары.

– Зайчик…

Я узнал голос доктора.

– Иди сюда. Надо потолковать. Только не здесь. За домом следит полиция. Идем.

Он повел меня в гостиницу напротив. Трое рыбаков выпивали у камина. Увидев меня, они зааплодировали.

– Ты стал популярен, как я погляжу.

– Да ничего такого. Я хотел убить человека.

– Сильно! Ты весь промок. И кровь идет.

Так значит, это была кровь.

– Ну, так что?

– Ничего. Я должен сказать тебе пару слов. Мне надо срочно уехать в Фунчал. Меня ждут, и может статься, что в скором времени мы все отправимся туда.

– Куда – туда?

– Туда, куда поведешь нас ты.

– Я? Я должен вести вас куда-то?

– Я уверен, что ты сможешь, если вправду захочешь, показать нам дорогу туда.

– Но как, но почему, но…

– Где твои книги? Я имею в виду книги твоего отца.

– Моего отца?

– Книги капитана.

– Не знаю, где-то дома.

– Так вот, надо обязательно их забрать. Сейчас же.

– Но… мы ведь не можем войти в дом.

– Все в мире относительно.

– Через неделю.

– Это поздно. Сейчас. Идем.

– Я не могу.

Доктор пристально посмотрел на меня. Этот взгляд был мне знаком. Взгляд капитана в день его смерти. Доктор улыбнулся.

– Малыш, – сказал он, – ты, наверно, озяб, да? Порой мы, взрослые, бываем слишком суровы с вами, слишком многого требуем. Мы так легко забываем, что ребенок – это всего лишь ребенок, такой слабенький, такой…

– Да, – перебил его я. – Я слаб, я зол, я хочу спать. Надеюсь, вы это заметили.

– Конечно, заметил. Я врач, ты не забыл?

– К тому же меня ждет тетя, она, наверно, беспокоится.

– Она ведь, если я не ошибаюсь, живет у вас?

– Да, но ей не разрешается ничего трогать и тем более выносить из дома.

– Никто ничего и не тронет, ничего важного. Ты просто подменишь одну вещь другой, точно такой же. Вот и все.

– Какую вещь?

– Даже не вещь, а книгу.

Доктор очень осторожно достал из кармана экземпляр «Острова сокровищ».

– Тебе наверняка знакома эта книга.

– Я ее еще не прочел.

– Тебя не спрашивают, прочел ты или нет, придурок!

Он был бледен, весь дрожал. Вдруг он рассмеялся.

– Да ты все понимаешь. Я вижу. Опять я дал себя провести, и кому – мальчишке! Решительно, я полный, ну просто полный идиот.

– Я должен идти, тетя велела мне вернуться пораньше.

– Так ведь все равно уже поздно. Давно уже поздно. Ни к чему слушаться тетю. Да и вообще, тетя – что это за птица?

– Я ухожу…

– Постой.

На сей раз это была она – моя тетя.

– Вот, возьми свитер, холодно. Пора, доктор, охранник спит. Пьян в стельку.

– Вы ангел, сударыня! – воскликнул доктор.

– Полезай в окно, малыш. Оно открыто. Твои книги лежат на кровати матери. Держи.

Она взяла книгу из рук доктора и дала ее мне. И поцеловала меня. Долгим поцелуем. Дело было сделано. Теперь он мог вертеть мною, как хотел. И она это знала. Я бегом пересек улицу. Обогнул дом. Охранник и в самом деле спал, раскинув руки, разинув рот, в позе исполнителя оперной арии. Была ночь полнолуния.

В доме царил величайший беспорядок: такой бывает, только когда вещи переставлены и переложены. Здесь все перерыли, все обыскали. Все будет перерыто и обыскано снова, еще дважды, трижды. Вещи заняли свои места, временные настолько, насколько это можно себе представить. Знакомые места побуждали меня двигаться быстро, перестановка же стала причиной падения. Я замер, ожидая, что сейчас проснется охранник, но вместо окрика «Кто здесь?» услышал ледяной смешок. Я медленно поднялся по лестнице. В последний раз я шел, ведомый скрипом, который был мне колыбельной в ночи детства. «Это не я поднимаюсь, – говорил я себе. – Это мой отец, моя мать. Это капитан. Все, кого здесь нет, со мной…» Скрипы множились у меня в голове. Я смотрел, я созерцал бесформенную груду старательно разбросанных книг. Было, кстати, видно, что кто-то оставил вешки, чтобы знать, если что-нибудь тронут без разрешения. Нужная книга была наполовину скрыта за «Тайнами соборов». Торжественным жестом я заменил ее, но замер от раздавшихся смешков, затаив дыхание.

– Т-с-с!

Их было двое. Я узнал суку; другой стоял в тени, но его голос слишком о многом мне напоминал. Это он был сторонником крайних мер. Это он меня однажды ударил.

– Ты что-то ищешь?

– Мои книги.

– Книги? Ну-ка покажи.

– Да, старина, книги – и только. Видно, зря добирались в этакую даль. Что только будет, когда расскажем орлу!

– Вдобавок придется забрать его с собой.

– Это еще зачем?

– Мало ли… Орел захочет задать ему пару-тройку вопросов, по крайней мере, я так думаю.

– Ты вообще много думаешь.

– А что с ним делать? Не убивать же.

Они посмотрели на меня. Потом один подошел ближе и погладил мои волосы.

– Видишь ли, малыш, я знаю, кто ты такой, но ты не знаешь, кто я.

– Ну, начинается, – вздохнул второй.

– Да, начинается. Имею я право сказать моему сыну, кто его отец?

– Малохольный!

– Тихо!

Кто-то поднимался по лестнице. Они выхватили револьверы.

– Сейчас посмотришь, каков твой отец. Ручаюсь, что ты в жизни ничего подобного не видел.

– Да ты и вправду больной на голову, – нахмурился второй.

Нет, больным он не был, он был уже мертвым. Второй запаниковал. Он трижды выстрелил, не целясь, а четвертый раз – в меня. И выскочил в окно – я это видел.

Я услышал еще выстрелы – и потерял сознание.

Глава VII

Все, что я вам сейчас рассказал, произошло у меня в голове в следующие две недели. Глубинная логика и логика плоская и фальшивая мучительно переплелись, как две сестры-близняшки, вцепившиеся друг другу в волосы. Так, допустим, что я все забыл. Я убежден, что я – взрослый. Без моего ведома какая-то чужая жизнь, вымышленная от начала до конца, внедрилась в меня с лихорадочно убедительной расчетливостью. Мне не терпелось стать этим взрослым, мнившим себя мной.

– Ладно, предположим, что ты и есть твой отец, – шептал мой внутренний голос. – Предположим, ты действительно убил меня. Но как же вышло, что ты живешь в моем раненом теле?

– Я завладел телом моего убитого сына, – отвечал я без особого убеждения.

Небесная синева лишь придавала правдоподобия такому положению вещей. Но закатное солнце слепило меня, усыпляло, и воспоминания об умершем расползались по углам дома.

Где я был?

Я падал. Это единственное, что я знал наверняка. Я падал, а перед этим выстрелил в того, кого тоже считал своим сыном.

Тоже?

Внизу кто-то играл на пианино. Я попытался встать. Я шел по облакам, увлекаемый вальсом.

Среди сонма призраков я увидел себя в зеркале, которое удалялось от меня куда-то к неосвещенным зонам дома. Сколько же было в этом доме дверей! Из-за одной, приоткрытой, и неслась музыка. Я вошел в салон-библиотеку. На пианино играла моя тетя, а Моретти с доктором танцевали. Повсюду были книги. Книга. Речь шла об одной только книге.

– Вот и он наконец-то! Живой!

Тетя перестала играть и поцеловала меня долгим поцелуем.

– Через неделю он будет совсем здоров. Я так и знал. Он у нас крепкий.

– Малыш, – причитала тетя, – бедный мой малыш. Тебе повезло, ты это знаешь? Как же тебе повезло!

Я не понимал, почему они говорили «живой». Я ужасно устал.

– Иди ложись. А если вдруг проснешься и почувствуешь себя лучше – вот возьми. Почитай немного, тебе пойдет на пользу.

Я машинально взял ту единственную книгу и вернулся в свою комнату. Тетя проводила меня.

– А мама?

– Она сейчас далеко, уехала на время.

– А мы уедем?

– Не сразу. Сначала надо закончить эту историю.

– Какую историю?

– Сокровища и все прочее. Тебе потом объяснят. Спи.

В этот вечер я еще раз проснулся около полуночи. Внизу бранились. Моретти был вне себя.

– Они не имеют права. Мало ли что военная база! Мы должны туда попасть!

– …визы…

– Обойдемся. Нам помогут.

– …сезон дождей…

– Я англичанин, сударь…

– Рипли, с вашего позволения.

– Я англичанин, мистер Рипли. Я люблю острова и дождь.

– Не могу с вами согласиться, сударь…

– Моретти, с вашего позволения…

– Месье Моретти, я француз и не люблю безрассудных затей. Таких, как эта. Я – француз.

– Я тоже француз, мистер Рипли, но я еще и еврей. Я люблю… деньги? Нет. Славу? Возможно. Величие? До известной степени. Думаю, что я люблю безрассудные затеи. Такие, как эта, вы правы…

– Ладно, допьем эту бутылку.

Все были мертвецки пьяны. Моя тетя тоже сидела с ними.

– За то, чтобы это никому больше не послужило.

– Ваше здоровье.

Стало быть, все решено. Они все отправляются на поиски сокровища. Но что это за остров сокровищ? Надо было прочесть распроклятую книгу. Я открыл ее. Через две минуты она выпала у меня из рук.

Несколько недель я почти не выходил из дома. Спал днем, просыпался, когда темнело, и слушал разговоры взрослых. Говорили до поздней ночи. Мало-помалу головоломка собиралась. Каждый раз, перед тем как уснуть, я открывал книгу. И каждый раз откладывал ее. Мне было страшно.

Однажды вечером они ушли, когда было еще рано. Я остался один и смог наконец прочесть книгу. Я прочел ее всю и решил, что все понял. Мальчишки, да, меня окружали мальчишки. Они, стало быть, хотели отправиться на поиски сокровищ, но на какой остров? Что скрывалось за всей этой историей?

В мое окно ударился камешек. Потом другой. Я вышел в коридор. Мне было страшно. Из окна тетиной комнаты я посмотрел вниз – там кто-то был. Он свистнул и бросил еще камешек. Теперь я его разглядел – это был мой враг, воздыхатель матери.

– Привет, – крикнул он, – не прячься, я тебя видел. Иди сюда, надо поговорить.

Когда я спустился, враг обнял меня и поцеловал.

– Спасибо, – сказал он, – мне все рассказали. Ты спас меня.

– Это неправда. Наоборот, я хотел тебя убить.

Он засмеялся.

– Ты мог бы. И должен был. Но какой смысл, если я сам хотел умереть?

– Верно, – согласился я.

– Теперь я раздумал умирать, я хочу жить, чтобы спасти честь твоей матери. Имей в виду, все, что пишут в газетах, – ложь. Твоя мать – прекрасная женщина. Умная, честная, настоящая дама.

– Она сейчас далеко.

– Как – далеко? Она здесь, у меня с ней назначено свидание.

Он привел меня на улочку, выходившую к порту. По другую сторону причала был хорошо виден грузовой корабль.

– Осторожно, полиция следит за нами. Но твоя мать придет, через пять минут она будет здесь, она мне обещала.

– Я ничего не понимаю.

– Неважно, ты увидишь.

Он умолк и задумался. Он был где-то далеко, с ней. Подходящий момент, чтобы убить его. Мы стояли у самой воды. Я знал, что он не умеет плавать. Я вскочил и толкнул его. Он отпрыгнул и сделал пируэт.

– Ты хотел, чтобы я упал в воду? Да? Ты ревнуешь? Какой смысл сталкивать меня в море? Ты же знаешь, что тебе придется прыгать следом и спасать меня, потому что я не умею плавать. Ну, зачем?

– Мне не нравится, что ты говоришь о моей матери так фамильярно.

– Я люблю ее.

– Этого нельзя.

– Почему?

– Не знаю. Может быть, ты и прав.

– Конечно, я прав. Она – красивейшая женщина в мире.

Наступила пауза.

– Моя тетя тоже очень красива.

– Возможно. Но это совсем другое дело. Она более…

– Что?

– Не сердись, но, на мой взгляд, она немного вульгарна. Ты влюблен в нее, если я правильно понял?

– Нет, не в этом дело, просто она, по-моему, очень мила.

– Ты видел ее голой?

– Нет.

– Тогда ты не можешь знать.

– А ты – ты видел мою мать голой?

– Конечно.

– Ну, и?…

– Я тебе уже сказал. Она – настоящая дама. Ходит так, будто одета, честное слово, будто в платье, как твоя тетя. Я хочу сказать… Даже и не поймешь, голая она или одетая, вот она какая.

Да, моя мать была на причале. Она махала кому-то красным платком, прощаясь. Она махала, прощаясь, моему врагу.

И тогда я сбросил его в воду. Пока другие оказывали ему помощь, которой он не заслуживал, я вернулся домой и перечел последние главы книги.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I

Из немалого количества астрономических данных (хотя нетрудно понять, что все эти скрупулезные описания движения звезд и завуалированные намеки на греческую мифологию попросту прикрывают изрешеченные тела мужчин и женщин после «зачистки», что имела место утром 21 мая 1967 года, кровавой бойни, оставившей неизгладимый след в судьбе одной тропической республики, стремившейся к самоопределению и сохранившей, несмотря на это, до наших дней название «остров сокровищ»), из всего этого сонма расчисленных звезд и млечных чисел я запомнил следующий тезис (стр. 35): «За каждым бестселлером, за каждой детской книгой, имевшей читательский успех, кроется священный текст»; и дальше (стр. 97): «Небо – подлинная карта кладов», а чуть ниже: «Мы должны найти связь между движением звезд и перипетиями волшебной сказки».

Книга Стивенсона была досконально изучена, прочитана и перечитана тысячу раз. Она послужила образцом для карты, с которой нам предстояло пуститься на поиски острова, где (это будто бы знал доктор) была та пещера, копия неба. А звезды и планеты в этом небе были, как нетрудно догадаться, сделаны из алмазов – настоящих алмазов. Где, спрашивается, можно было отыскать такое количество и такое многообразие камней, чтобы изобразить, хотя бы приблизительно, небесный свод? Доктор будто бы знал и это, но скрывал свои догадки, усмехаясь и ссылаясь на провалы в памяти.

Идея хорошая. На данный момент она, правда, была лишь подозрением, гениальной догадкой, как повторял Моретти. Очень жаль, что величайшие на свете идеи капризны и почему-то предпочитают посещать самые что ни на есть тупые головы. Да, Тимоти Моретти числил себя недалеким, и доктор принял это за неопровержимую данность: идея гениальна, а автор глуп, что как нельзя лучше устраивало доктора, гения без идей. Тем не менее партнеров для их затеи найти оказалось нелегко.

– Нет, нет, нет. Не может такого быть. Это невозможно, это смешно, и вообще это – чушь собачья.

Хулитель цедил слова сквозь листья островного табака, который он спешил смешать с жевательной резинкой, стоило посмотреть на него косо.

– Насколько я понимаю, он не согласен, и меня это удивляет, – сухо обронил Тимоти.

– Перед нами так называемый француз, – фыркнул доктор, – он путает логику со здравым смыслом.

– Я нахожу книгу увлекательной, во многом забавной. С сугубо военной точки зрения в ней написаны очень верные вещи. Мысль, что книга может таить секрет, нравится мне чрезвычайно.

Капитан следил за тем, как движутся руки остальных, и был прав: слова рисовали грядущие радости, а пальцы уже считали мертвецов; каждый мертвец стоил алмаза, целое состояние сплеталось из этих затейливых движений. Ковер-самолет готов был к взлету, невзирая на злополучную жевательную резинку.

– …в книге полным-полно ляпсусов и несуразностей.

– …в этом и состоит ее прелесть.

– Хотите знать, где находится этот остров, согласно книге? Так вот, недалеко от Шотландии.

– Прелестно.

– По данным, почерпнутым из книги, составить карту невозможно.

Доктор где-то витал; ясное дело: он, вероятно, услышал далекие голоса, чем-то ему угрожавшие. Доносились они из прошлого, из иных миров или из порта, – догадаться было невозможно (но так или иначе, они пожирали его мозг). Он сделал колоссальное усилие, чтобы вернуться к нам. После болезненной гримасы, исказившей небо и оставшейся на первой полосе газеты, которая горела в камине, он с трудом произнес:

– Мы располагаем достаточными сведениями, чтобы поверить в обоснованность дивного делириума господина Моретти.

– Скажите ему, мы убеждены, что, хоть книга и является порождением богатейшей фантазии мистера Стивенсона, другие люди впоследствии использовали содержащиеся в ней сведения, чтобы спрятать подлинное сокровище.

Доктор ухитрился воспринять слабое подобие отголоска из некоего потустороннего мира, в котором он пребывал.

– Я думаю, мы слишком много внимания уделяли тому факту, что… – сказал он и впал в забытье.

– Но все ли вы знаете, капитан?

– Нет.

– Ну вот. А должны бы знать, не правда ли? Даже ребенок, вот хотя бы он, и тот бы понял.

Но он не смотрел на меня. Он смотрел в огонь. Уже целую вечность горело там лицо мальчика. Доктор принялся тихонько напевать пиратскую песню.

– Там поют, – произнес он недобрым голосом.

– Говорят, что Стивенсон под конец жизни использовал ориентиры из этой книги, чтобы спрятать свою прославленную коллекцию старинных монет. Это ни для кого не секрет, об этом писали в газетах. Многим современным пиратам эта книга служила картой, когда они прятали свои сокровища. Более того. С некоторых пор поговаривают о существовании некой мегалокарты кладов, если найти ее, можно узнать местонахождение сразу всех кладов мира – их триста шестьдесят пять.

– Звучит заманчиво, – с сомнением протянул капитан.

И тут доктор вскочил и выбежал прочь. Его далекий голос еще долго оставался с нами.

Это был он, пресловутый ковер-самолет, о котором я только что думал; его основа из Ариадниных нитей пыталась со всем почтением задушить нас, а голос, между тем, просачивался в наши уши, шепча бездыханно:

– Я теперь уже далеко. Где? Я не знаю. Мое правое ухо зовет меня в порт, где поджидают убийцы без сучка и задоринки, левое зовет в горы, где ждет один убийца, одноглазый. Об этом двойном кровопролитии расскажут завтрашние газеты. Знайте, что моя смерть, если ей будет сопутствовать точно такое же двойное убийство, вернет меня к вам невредимым и это будет последняя моя жизнь.

Лишь бы я не убивался в поисках выхода, подвергая эту последнюю жизнь опасности. Да, я знаю, отголосок моей истории не много вам скажет, разве только то, что я уже далеко. Я всегда мечтал о бегстве через мой двойной слух.

До сего дня то, что я слышал правым ухом, было равно тому, что я слышал левым. Таким образом, я твердо знал размеры моей тюрьмы. Лишь три месяца назад в моем акустическом пространстве возникло своеобразное эхо между словами, звучащими в унисон. Благодаря этому резонансу я стал легче и, главное, экономнее в пространстве, то есть я хочу сказать, что сейчас только обертона проникают в мои пределы и могут (иногда) вырвать меня из моего оцепенения, которое вы принимаете за учтивость. Их душераздирающая музыка влечет меня в сторону левого уха и правого одновременно. Однако же всякий раз мне приходится выбирать. Это худшее, что могло со мной случиться. К тому же мы в провинции, и все то, что говорится вокруг, меня касается. Все возводимые на меня наветы зовут. Я смотрю вокруг, и низшая точка каждой из моих крайних величин воплощается и увековечивается в слове мщения. Я погиб.

Доктор появился вновь. Впервые я видел его пьяным, и своим бессвязным бредом он смог добиться от капитана единственного доброго слова, которое я когда-либо от него слышал:

– Доктор, – сказал он, – вы поэт. Я уверен в этом, потому что понимаю все, что вы говорите. Да, у моряков и поэтов много общего. Все, сказанное вами, прекрасно и одновременно очень полезно. Я тоже живу узником всего, что я слышу справа и слева. На меня тоже безжалостно возводят наветы, я окружен злодеями и убийцами, подлыми душонками. Ваша речь убедила меня, по крайней мере, в одном. Вы и я – вместе мы сумеем вовремя пресечь любой мятеж. Да, доктор. Я не прощаюсь, мы еще вернемся к этому разговору.

– Мне странно слышать это от вас, – поморщился Моретти. – Мятеж в двадцатом веке? Вы вправду в это верите?

Капитан выругался и ушел.

Вот тут-то и вернулся доктор. Он был бледен, на лице распласталась свежая рана. Ни дать, ни взять осьминог, утонувший в банке с вареньем.

– Красивая у вас рана, доктор, – сказал Моретти.

Решительно, мягкий сумрак и далекая гроза сделали наши души терпимыми и любопытными.

– Меня хотели убить.

– Кто?

– Кот, – сказал доктор. – Меня заманили в кухню с помощью заминированного кота. Я успел выбросить его в окно, прежде чем он взорвался, бедняга.

– Я не слышал взрыва.

– Он совпал с раскатом грома.

– Что-то все больше и больше совпадений в этом деле.

– Вот! – вскрикнул доктор. – Вот он опять!

В дверях гостиной стоял, пристально глядя на нас, черный кот.

– Бежим отсюда, скорее, сейчас он снова взорвется!

– Вы думаете, он способен взорваться семь раз?

– Бог мой, это другой, другой!

Сколько же их было? Три, четыре?

– Семь котов. И все взорвутся, бежим скорей!

Их как ветром сдуло.

Я остался один среди оголодавших котов. Они сгрудились вокруг камина и замяукали, глядя в огонь. Их было только шесть, и что-то заставило меня присоединиться к ним. Они даже не заметили моего присутствия. Они смотрели на горевшую в камине мою фотографию.

Это был я и в то же время не я. Снимок в старой газете, кто-то похожий на меня головокружительно сгорал, непонятно чему улыбаясь. Это был мой отец. Статью в газете легко можно было прочесть. Фотография отца наклонилась и стала читать написанное вверх ногами. Я прочел следом:

«Вчера вечером в ливанской пиццерии имел место чрезвычайно серьезный инцидент, навсегда опорочивший одно из самых посещаемых мест в нашем городе. В среду, одиннадцатого, около полудня человек лет тридцати занял столик и потребовал обед. Ему принесли меню, однако в этом меню вместо блюд значились имена людей, разыскиваемых полицией. «Вот дежурное блюдо», – сказал официант и ткнул пальцем в имя самого клиента, который, тотчас поняв, что попал в западню, принялся палить из пистолета во все стороны и ранил несколько случайных посетителей. Хозяину ресторана пришлось пристрелить его из охотничьего ружья».

Фотография моего отца сморщилась и захохотала.

– Кто ты? Убийца или убитый? – спросил я его с заговорщическим видом.

– Это было в твой день рождения, – ответил он. – Я купил фейерверк. Ты ведь любишь фейерверк? – спохватился он встревоженно.

– Обожаю, – заверил я.

– Что ж, happy birthday, – сказал он и исчез.

Коты стали весело взрываться.

– Спасибо, папа, ты замечательно придумал.

– Я рад слышать это от тебя.

– Я и не знал, что фейерверк может мяукать. Да так громко.

– Правда? Это, верно, очень дорого стоило.

– Очень, очень дорого.

– Еще раз спасибо тебе. О Боже, мы забыли позвать маму! Она ужасно рассердится.

– Боюсь, что да.

– Давай ничего ей не скажем?

– Давай. Omerta.

– Omerta.

Глава II

Только я закончил чтение «Признаний африканской женщины», как от мощного взрыва вылетели стекла. Молочно-белый язык вспыхнул посреди бушующей бури. Растревоженный город проснулся, осветился и опустел одновременно с моим

левым глазом. В больнице меня навестил дядя. Сам он с детства испытал все мыслимые невзгоды. От него я узнал, что имею право требовать компенсации.

– Глаз – штука дорогая, – сказал он и, не считаясь с приличиями, долго заговорщически подмигивал мне.

Так я окривел. Мою охоту к чтению это только распалило. Не считаясь с запретами, я ухитрился раздобыть газеты и узнал из них, что сын женщины, которую я любил больше всего на свете, еще жив. Он сильно обгорел, и было мало надежды на то, что его удастся спасти.

Я непременно должен был его навестить.

В побегах я поднаторел с малых лет, так что мне не составило труда в тот же вечер улизнуть из больницы и еще до полуночи я был в клинике для богатых.

Там, на четвертом этаже, лежал обгоревший мальчик. Ему сделали три операции. Он с трудом дышал, и вдохи, и выдохи его перемежались хохотом безумца. Он вращал глазами, видимо, не в состоянии ни на чем сосредоточить взгляд. Моего присутствия он как будто не заметил. Моим долгом было сделать то, что я сделал: я сел перед ним и начал читать вслух «Признания африканской женщины».

«Звезды – моя родина», – говорила она, представляясь. О происхождении своей семьи она узнала благодаря одному роману, написанному в конце восемнадцатого века.

В этом романе, написанном ломаным языком и пересыпанном забавными находками, рассказывается о том, как, где-то году в 1770, два французских дворянина прибыли в Мали. Их сопровождала небольшая свита, состоявшая из трех египтян, португальца и двух мальтийцев. Они привезли с собой гроб и сразу же по прибытии похоронили его, сообщив созванным для этого вождям, что намерены произвести земляные работы на холме, расположенном неподалеку от могилы. Весьма дорого заплатив за право воздвигнуть на этом месте храм, они немедля принялись за дело и выкопали вокруг холма несколько рвов, после чего возвели укрепление.

Строительство продолжалось целый год.

К несчастью, мор выкосил большую часть отряда. Выжили только оба француза и один мальтиец. Они решили отправиться восвояси. За год они успели обзавестись друзьями среди туземцев, поэтому неудивительно, что перед отъездом один из вождей преподнес им в дар юную принцессу. Они пообещали, что увезут ее в Европу, выдадут замуж за принца и вернутся не позднее, чем через год, с европейской принцессой, чтобы отдать ее в жены африканскому принцу.

Путешественники отбыли, и вскоре все забыли о них. Развалины храма-укрепления поглотили пески. Но прошло несколько лет, и в те края снова прибыл белый отряд. Он состоял из молодых солдат, босых и оборванных, сопровождавших юную светловолосую девочку. Ей было не больше четырнадцати лет, да и свита выглядела ненамного старше. Не обращая никакого внимания на охотников, которые вышли их встретить, юноши затеяли нечто вроде игры в жмурки, чем сильно всех озадачили. Затем они попросили напиться и смешали воду,

которую им подали, с каким-то сиропом цвета крови, еще посмеялись и поболтали, не удостоив даже взглядом ошеломленных такой наглостью охотников, легли вздремнуть в тени единственного дерева в округе. Проспали они до следующего утра.

Когда их разбудили, чтобы предложить скромный завтрак, девушка наконец заговорила с охотниками. Она обратилась к ним на их языке и произнесла довольно длинную речь. Видно, девушка заучила ее наизусть и потому не ожидала того, что произошло, едва лишь она умолкла: охотники увели ее в хижину и хлестали там плетьми до вечера. Затем ее раздели донага, закутали в покрывало, которое (но об этом стало известно много позже) изображало небесный свод, и отвели в ближайшую деревню, где отдали в жены одному из охотников. Юношей же, сопровождавших ее, несколько дней спустя убили, следуя указаниям, которые она сама дала, не ведая того.

Год белая девушка прожила среди охотников. Она была беременна, когда, дойдя до предела отчаяния, решила бежать. Пять дней шла она по пустыне, а на шестой разрешилась девочкой. Она закопала еще живую малютку под засохшим деревом, всю ночь молилась над ней, а поутру вскрыла себе вены. Когда снова стемнело, пришли гиены и сожрали ее.

Гиены вернулись туда и на следующую ночь; видно, они учуяли зарытого младенца и откопали его. Приняли ли гиены девочку в свою стаю, или ее спасли лихие люди пустыни – этого никому никогда не узнать. Известно только, что, когда она явилась в деревню своего отца, чтобы отомстить, о ней уже ходили легенды и во множестве песен воспевались ее подвиги целительницы и укротительницы звезд. Свита из слепых гиен сопровождала ее, и от ее смеха смолкли все барабаны. Дочь кинулась к отцу, и все думали, что она хочет его обнять. Отрубив ему голову, принцесса взяла ее в руки и дунула в губы. Тут произошло нечто необычайное: она подбросила голову высоко вверх, губы отца раскрылись, и из них вырвался душераздирающий вопль, от которого все почему-то рассмеялись. В этот миг случилось затмение солнца, и никто не посмеет отрицать, что заслонила солнце не луна, а голова охотника. Как бы то ни было, голову так никто никогда и не нашел, а тело было растерзано гиенами, и куски разбросаны в семь равноудаленных точек, отмеченных еще в пору работ первой экспедиции.

Сделав свое дело, дочь гиен скрылась; удерживать ее никто не посмел. Прошло три года, и не меньше сотни хвалебных песен было сложено во славу ее. На третий год, в конце сезона дождей, разнесся слух, что юная принцесса появилась в наряде воина, чтобы с оружием в руках дать отпор работорговцам. Со всех концов сходились охотники, чтобы примкнуть к ее войску. Мятеж бесславно закончился два года спустя. Охотники были разбиты и во исполнение ритуала, напомнившего о конце других войск, обращенных в бегство пять веков назад отрядами султана, совершили самоубийство с проклятиями в адрес отрядов губернатора.

О принцессе же вот что рассказывает песня, которую и по сей день поют гриоты в тех краях:

«Во время одной страшной битвы, в которой не сносили головы не меньше трех тысяч работорговцев, охотники нашли спрятавшуюся за тушей убитого верблюда чернокожую рабыню дивной красоты. Было решено отдать ее в жены

одному из старейших вождей племени (ибо таково было необходимое условие при освобождении любой рабыни). Однако вмешался предводитель охотников, напомнив тому, что у него уже есть четыре жены (ни для кого не был тайной истинный пол предводителя, но согласно обычаю ему полагалось иметь по меньшей мере трех жен). Предводитель заявил, что, если ему посмеют не отдать эту рабыню, он готов бросить войско и уйти навсегда. Тут только все заметили, что пленница и предводитель похожи как две капли воды.

С тех пор они были неразлучны. Иса (так звали принцессу-освободительницу) надышаться не могла на Муну – пленницу. Об их противоестественной любви сложили песни гриоты, и в считанные месяцы она вызвала смятение и ярость в мятежных племенах. Вскоре войско Исы было обращено противником в бегство. Это первое поражение совпало с началом великой суши, которая продолжалась три года. В это же самое время мор стал косить туземцев. Никто больше не сомневался, что это Иса и Муна своей любовью прогневили звезды, и было решено сжечь их на жертвенном костре. Только в день жертвоприношения, когда жрецы уже приступили к делу, обнаружилось, что Муна – мужчина. Он сказал, что его мать – африканская принцесса, которую отдали в жены дворянину Версальского двора (который на самом деле был актером, исполнявшим роли принцев в операх, что давались для короля) и что взамен белая принцесса (в действительности юная актриса из той же труппы) согласилась стать женой одного из братьев черной принцессы. Сыном черной принцессы был Муна, дочерью актрисы – Иса. Стало быть, они приходились друг другу двоюродными братом и сестрой.

После долгого спора, речь в котором шла о двойных звездах, было решено отпустить обоих, и влюбленные навсегда покинули королевство охотников».

Так вот, женщина, которую я любил больше всего на свете, та самая «африканская женщина» была уверена, что она – правнучка Исы.

История могла бы на этом закончиться, но есть еще эпилог (написанный, сразу видно, кем-то другим, не столь склонным к ярким и цветистым метафорам), в котором говорится, что от союза Муны и Исы родилось семеро детей, три мальчика и четыре девочки. Ни один из них не дожил до трех лет. Их унесла неизвестная хворь, – больше ею никто не болел. По словам автора эпилога, дети высыхали, становясь похожими на фигурки из песка, и через несколько недель, без боли и мук, рассыпались в пыль, и ветер уносил их. Иной раз в воздухе оставалось висеть лицо, словно облачко, а с наступлением ночи эти лица фосфоресцировали в темноте и становились почти неотличимы (до того вечными они выглядели) от звезд небесных. Порой светящиеся черви копошились среди мерцающих пылинок, и с небесного свода смотрели лица мертвых детей, насмешливыми гримасами веселя и пугая крестьян. Иса и Муна решили не заводить больше детей. Они прожили вместе тридцать лет, кочуя из деревни в деревню, Муна пел, а Иса рассказывала истории.

Однажды их пригласил к себе один старый охотник и попросил Ису рассказать самую длинную историю, какую она только знает. До сих пор ни одна из ее историй, с какими бы то ни было перипетиями, не требовала больше часа внимания. И она решила собрать воедино все истории и перемешать их с перипетиями

собственной жизни. Она начала свой рассказ. Время шло, и все новые и новые истории, можно сказать, рождались в ее устах; они на глазах росли, жили и умирали. Охотник, заслушавшись, позвал всех своих жен и всех детей. Так они и сидели, окружив старую женщину, которая разрешалась историями, лишь иногда прерываясь на час, чтобы поспать или поесть. Так прошла неделя, другая третья. Миновали три месяца, четыре. К концу четвертого месяца Иса обнаружила, что она беременна и скоро родит. Никто не заметил ее положения, так обуяла всех жажда историй, так заворожили нескончаемые перипетии.

Один только Муна видел все и все понял. Ему дано было лицезреть таинство женщины, оплодотворенной собственными фантазиями. Хоть он и знал многие истории жены, его тоже заворожили новые перипетии, которые она придумывала по ходу повествования. Он плакал и смеялся, очарованный приключениями Исы и Муны. Однажды ночью, спустя месяц после того, как Иса начала свой рассказ, Муна почувствовал, что в шатре появились новые слушатели. Они были невидимы, но он слышал их, ощущал, чуял. Ему трудно было это признать, но то были его собственные умершие дети, рассеянные по небу. Все они пришли послушать свою мать. Они пришли навсегда. Как внемлющее созвездие. Рассказчица вдыхала их, и они становились духом истории; они были голосами героев, они ублажали и тревожили слушателей, вызывая то смех, то страх. И они же вновь сделали плодовитым чрево своей старой матери.

Десять месяцев рассказывала Иса свою историю. Ее беременность была уже всем заметна, но никого не удивляла: она тоже стала частью истории. Прошло двенадцать, четырнадцать месяцев. Крылатая молва привлекла паломников со всей округи, а потом и из соседних стран. Городу дали новое имя, он стал называться «город, где витают истории». Так прошло два года. На третий год в сезон дождей Иса поняла, что скоро умрет. Она хотела закончить свой рассказ, но было поздно: вместе с дождем новые истории прихлынули к устам Исы. Она поняла, что истории убьют рассказчицу. Тогда, в отместку, Иса решила сама убить свои истории. Она замолчала. Великая тишина наступила в деревне. Она длилась целый день. Стих дождь, смолк гром. И мало-помалу слушатели осознали, что все они тоже стали немы – безвозвратно немы. Они поняли, что истории навеки сковали их языки. Прошла неделя, как Иса умерла, а охотники, их жены и дети все сидели неподвижно, не ели, не пили. Сидели и медленно умирали.

И тогда заплакал ребенок.

Муна вскочил на ноги, своим острым мечом рассек живот жены и извлек младенца. Он показал его охотникам и провозгласил: «Вот мой сын, сын моих детей. Вот мой отец, мой дед. Его зовут Бесконечный». Грянул и прокатился долгим эхом по деревне хохот, и все враз заговорили: они сами стали рассказчиками. И деревня отныне называлась «деревней рассказчиков».

А Муна и Бесконечный исчезли, и никто никогда их больше не видел.

Вот что рассказывала африканская женщина. Бесконечный, уверяла она, был ее дедом.

Когда я закончил чтение, было почти три часа ночи.

– Я приду завтра вечером, – сказал я. – До встречи.

Я был доволен собой. Что ни говори, а на свой лад я отомстил.

Глава III

И я пришел завтра, и послезавтра, три дня кряду я приходил читать обгоревшему мальчику «Признания африканской женщины». Пока я читал, его глаза не отрывались от моей пустой глазницы. Когда же чтение было окончено, я счел нужным добавить кое-что от себя:

– Это была твоя мать…

– Моя мать, – повторил он.

Опять посмотрел на мою глазницу и усмехнулся:

– Глаз Бога…

И тогда я, отныне единственный обитатель этой ледяной и прозрачной пещеры, решил покончить с этим раз и навсегда. История африканской женщины потрясла меня сильнее, чем все последние события. Я должен был отправиться на поиски этой женщины, я любил ее, я ее ненавидел. Особенно невыносимо было думать о ее глазах.

– Увидев глаз, он стал совсем маленьким. Теперь он в нем живет, – вещал загробный голос.

Истинная правда: рисунки на стенах этой просторной пещеры походили на недреманные звезды. Эти алмазы, опороченные искусным освещением, воспетые завываньями (но кто это завывал – не я ли, из своего далека, еще и сейчас подражаю воплям умирающих?) – и были тем, что надлежит впредь именовать «сокровищем».

– Когда он посмотрел на себя в зеркало, он завопил…

– Как это?

– Да, доктор, он испугался своего глаза. Правда, нам не удалось найти более подходящего цвета.

– Какого он цвета?

– Зеленого, доктор.

– Какой ужас!

– Мы не нашли ничего лучше, но стоит ли из-за этого расстраиваться?

Огромная раковина стала вращаться вокруг меня, рисунки на стенах закружились в вихре, увлекая меня вверх. Нет, то была не раковина, а купол собора, и меня уносило к горним высотам: к свету пронзающего глаза. Из самой его середины падали мне на голову темные камни. Нет, не камни то были, скорее птицы, сбитые влет жаром алмаза. Но какого алмаза?

– Он все время повторяет слово «алмаз», доктор.

– У него губа не дура. Это, верно, целое состояние.

– Вы думаете, это правда?

– Правда, друг мой, правда.

– Он просыпается, доктор.

Они были здесь оба – доктор и кто-то другой, кого называли доктором.

– Уж извини, мой мальчик, ничего другого не нашлось, придется тебе привыкать.

Я увидел в зеркале свое лицо. Ничего не скажешь – стеклянный глаз на этом мертвенно-бледном лице, моем лице, «смотрел». На меня. Он видел во мне кого-то иного.

– Ну вот, опять, доктор.

– Но это же немыслимо, в конце концов, – чтобы человека гипнотизировал собственный глаз?

– Это не совсем его глаз, доктор.

– Чей же он?

– Покупной. Он поносит его, пока мы не найдем глаз цветом поскромнее.

– А я был бы рад носить такой чистый глаз.

– Перестаньте, доктор.

Тут вошел грузный человек почти двухметрового роста и раскатисто захохотал.

– Ну, как себя чувствует наш герой?

– Сынок, – сказал доктор, – нам надо кое о чем потолковать.

– Да, – согласился другой. – Во-первых, что ты здесь делал?

– Он читал.

– Это я знаю, но с какой стати? Беспокоить человека на смертном одре с единственной целью прочесть ему непристойные признания его матери – какова наглость!

– Ему это было необходимо.

– Вот как? И зачем же? Он умирает, знаешь ты это?

– Да, знаю, туда и дорога, вот что я скажу.

– Ну, это уж слишком!

– Он пытался убить меня.

– Ничего удивительного, – сказал доктор. – У этого мальчишки весьма своеобразное чувство юмора.

– Он хотел убить меня дважды.

– Ты знаешь почему?

– Я любил его мать.

– В твои годы?

– Мне пятнадцать лет.

– Маловато. Ей под сорок.

– Дело не в этом. Он что-то знает и хочет во что бы то ни стало от нас это скрыть.

– Сомневаюсь.

– Когда его нашли, в левой руке у него был алмаз.

– Вот оно что, – сказал я. – Ну, так я ничего не знаю. Это он вложил его мне в руку.

– Он же не может двигаться!

– Еще как может, он запустил в меня пепельницей.

– Это меняет дело.

– Это ничего не меняет, доктор.

– Стало быть, это он.

В комнату неслышно скользнула женщина. Она стояла, наполовину скрытая ширмой. В руках у нее была рукопись той женщины, которую я люблю.

– Вы прочли? – спросил доктор.

– Это ужасно, я даже не подозревала, какую жизнь вела моя сестра. Я… я…

– Это и правда скандал, – сказал тот, другой. – Но я уверен, что все это от первого до последнего слова – чистый вымысел.

– Еще не легче!

– Больше всего тревожит то, что нет и намека на раскаяние.

– Это скорее успокаивает. Вот только…

– Я понимаю, куда вы клоните.

– Эротические сцены – это отвлекающий маневр.

– Час от часу не легче!

– В этих мемуарах кроется нечто в высшей степени пристойное.

– Какой кошмар!

Голоса стрекотали где-то вдалеке. Я видел из глаза, как объясняются эти люди там, вокруг постели. Видел я и себя: я встал, и те замерли, прервав свой танец. Я видел себя мельком, полускрытого неподвижными фигурами, тоже замершего, будто в ожидании. Дорогу мне преградило зеркало.

– Он спит, он бредит, – перешептывались те.

– Бросьте, он просто себе нравится, вот и все.

– Ему нравится глаз.

– Смотрите-ка! Доктор, идите сюда, вас это должно заинтересовать. Подойдите, ближе, еще ближе. Взгляните на глаз.

– Интересно.

– Что это?

– Как будто что-то бесконечно малое наблюдает за нами из глаза.

– Что же?

– Земляной червь.

– Мне отвратительна больничная нагота.

– Ничего страшного, сударыня, ему ведь нет и пятнадцати. В его возрасте эрекция не направлена.

Вращался, кажется, мой глаз. Он вошел в орбиту. И я сам кружился до головокружения вокруг камеры-клары.

– Это не червь, скорее пчела, замурованная в глазу. Или, вернее…

– Говорите же.

– Глаз.

– Еще один!

– Этот глаз – механизм. Надо его вскрыть. Помогите мне, доктор.

– Постойте, осторожно, он кусается!

– Что вы делаете? Не смейте трогать больного! Вон!

Я проспал весь день. Меня с трудом добудились, чтобы выставить вон. Я пришел к дяде и увидел приколотую к его двери записку. Мой дядя уехал. Куда-то далеко.

Я никогда не доверял письмам с минимумом отличительных признаков. У этого не было ни орфографии, ни каллиграфии, его написал не некто, а никто. Подумав, я решил зайти с черного хода. Дом был ограблен, но как-то безлико.

Без повода, без цели, без особого желания. Все осталось на местах, в том числе и дядя – он спокойно занимался своими делами. Мой дядя был человеком слова. На толкование того единственного слова, которое он запомнил, наверно, еще до рождения, ушла вся его жизнь. Слово это было «деньги», и обозначающий его иероглиф – зрячая ладонь – был прибит над дверью кухни; это единственное, чего не хватало в доме после ограбления.

– Искали деньги, а нашли только иероглиф, – усмехнулся дядя.

– Это ты написал записку?

– Левой рукой?

– Без подписи.

– Значит, я, – отозвался он из своей пирамиды. – А что в ней было, в этой записке?

– Ты написал, что уехал.

– Далеко.

– Вроде бы.

– Значит, я.

– Ты уезжаешь?

– Возможно.

Он наконец зажег свет, и я увидел страх на его лице. Он знал, что ему грозит опасность.

– Но я же ничего не сделал. И ничего не видел.

– А что ты хотел увидеть?

– Ничего.

– Значит, все правильно. Ты и не мог ничего увидеть.

– Объясни мне тогда, зачем они приходили?

– Кто?

– Одноглазый и его дружки. Что им от меня было надо? Зачем они дали мне это? Им бы все у меня украсть, а они сунули вот это мне в руки. Этот-то, наверно, фальшивый, а остальные…

– Что – остальные?

– Думаю, настоящие.

– И что же?

– Я их проглотил.

– Как проглотил?

– С супом: ложку за маму, ложку за папу.

– Был среди них маленький старичок?

– Да, он-то как раз хуже всех.

– А одноглазый?

– Человек с зеленым глазом?

Тут он в первый раз посмотрел на меня. И понял наконец, чего он боится, – подумал, что понял.

– Как ты, – произнес он. – Им бы все у меня отнять, а они вместо этого все мне дали.

– Они учли твою боязнь, – сказал я, чтобы заполнить паузу, зияющую у него в животе.

– Я не боюсь, я просто хочу кое-что понять, вот и все. Вот как было дело: они пришли, учинили у меня шмон. Могли бы все забрать, но и не подумали, а мой бледный вид их ужасно насмешил.

Теперь он видел только мой глаз, а я видел только его взгляд.

– Ты хочешь убить меня, правда? Я сглупил, да? Я выдал свою тайну. Ты знаешь, что я ношу на себе несметное богатство, так почему бы нет? Лови момент, давай же, чего ты ждешь?

В руках у него уже был нож, и он выписывал им вензеля в воздухе.

– Дядя, дядя, Бога ради, отдай мне нож!

Глаза его закрылись. Когда же он успел пораниться? Он завопил как оглашенный:

– Спасите, помогите, племянник хочет меня убить!

Он прыгал со стула на стул. Я смотрел на него, и мне было смешно. В конце концов, он упал.

– Ну вот, – произнес детский голос. – Поздравляю, капитан.

– Придется все здесь отмывать.

– Да, – сказал я, – мой дядя трусоват.

– Поэтому вы его убили?

– Стоило бы. Лучше помоги-ка мне все отмыть.

– Я-то думал, только малые дети дрищут так красочно.

– Хорошее дерьмо, а, капитан?

– Дерьмо как дерьмо, хороши алмазы.

– Значит, надо пройти через это, чтобы добраться до алмаза?

– Да и то не всегда удается.

Я взял дядины деньги и дал ему одну банкноту.

– Спасибо, – поблагодарил мальчишка, – спасибо, капитан.

– Бери.

– И это тоже?

Он смотрел на алмаз с опаской.

– Когда отмоешь его хорошенько, он не будет вонять дерьмом.

– Я вам не верю, капитан.

– Откуда ты знаешь, что я капитан?

– Вы носите глаз.

– Верно.

Глава IV

Надо полагать, одноглазость осенила в тумане тубулярной благодатью молодожена-пожарного. Первое, что он сделал при виде простоволосой и почти нагой невесты перед всей этой двуглазой публикой, – к вящей радости калек в охваченных пламенем окнах, – закурил сигарету, от которой и затлел эфемерный огонек.

Верно говорят, что где пожарные, там и пожар, но чтобы обычный окурок повлек столько безобразных увечий, – такого я и представить себе не мог. Со свойственным мне благоразумием я предпочел закрыть глаза. Однако, имея в

наличии только один, я счел своим долгом повторить движение дважды и в промежутке увидел вот что: невеста была подмочена собратьями пожарного, ее новоиспеченный муж скакал на одной ноге вокруг своего протеза, больные в восторге размахивали костылями и культями, инвалиды из Африки распахивали свои набедренные повязки, а единственный безногий без дураков пускал слюни и загибался. И все это у самого порога преступления, в моем доме.

Разумеется, квартал уже несколько часов как оцепили. Свадьба была лишь предлогом, и дождь из пожарных брандспойтов не мог скрыть настоящего дождя, всерьез зарядившего с небес.

Я покинул авансцену, проскользнув между двумя ливнями, которые никак не могли соприкоснуться.

Я был спасен – по крайней мере, в тот момент я так думал. Мне следовало исчезнуть навсегда. Ни на что не похожий запах восточной пиццы распорядился иначе.

Вот как случилось, что одноглазый – другой, настоящий – встретился со мной. Он был как брат, он был всецело поглощен кулинарным шедевром – пицей-глазуньей, в чьем единственном желтке без затей отражался трепет жизни человеческой в лице меня недостойного.

– Заходи, – сказал одноглазый, не взглянув на меня. – Как оно там, полыхает?

– Да, – кивнул я.

– Надо бы запретить играть свадьбы под водой, ты не находишь?

– Спасибо, – сухо ответил я.

– За что?

– Глаз очень красивый.

– Ну, знаешь!

Он был бледен.

– Ну знаешь, ты поспешил, право же, поспешил.

– Спасибо за него.

– Он мертв?

– Да, дважды мертв.

– Понятно. Это не я его убил.

– Это было бы уж совсем глупо.

– Не правда ли? Да я вообще никого не убивал.

– Рад это слышать. Боюсь, что не могу сказать того же о себе. Фигура речи, не более.

– Хочешь пиццу?

– Только за этим я и пришел.

– Я тебе не верю.

– Знаю.

Из угла четверо мужчин в галстуках слепили меня россыпью перстней.

– Я верну тебе книгу. Она аморальна, но поучительна.

– Дай мне ее.

– Сначала поешь.

Пиццерия опустела, как по команде цереминиймейстера, к концу пожарной свадьбы. Другие пожары влекли толпу к холмам. Праздник был в разгаре.

– Стало быть, ты хочешь уехать, – сказал одноглазый.

– Да, капитан.

Он пришел в ярость.

– Никогда не называй меня так, понял?

– Понял.

Тем временем четыре галстука, оставшись одни, негромко переговаривались, и шелестящий их шепоток означал непременную прелюдию к серьезным делам. Началась вроде бы потасовка, без ножей и без огонька; они то ли танцевали друг с дружкой, то ли сводили счеты.

– Набивают руку, – сказал одноглазый.

– В чем?

– Пф-ф, чем они только не занимаются.

– Всем одновременно?

– Это их слабость. Я хотел перемен. У меня нет больше сил. Нам нужны люди вроде тебя. Юные, с идеалами, не тронутые заразой. Они-то ни во что больше не верят. Идем. Я тебе кое-что покажу.

В мансарде были башмаки – видимо-невидимо. Вся эта прорва висела и пахла человеческой жизнью.

– Я обожаю башмаки, – сказал он мне. – Они очень много для меня значат. На самом деле я свое детство из-за них загубил: каждый башмак, вплоть до самого маленького, – это очередное разочарование, по сю пору меня преследующее.

Из отверстой пасти больших сапог вырывался ропот, хрустально-чистый и яростный звук. Казалось, комната заиндевела.

– Вот то самое, – сказал он.

Оказывается, это он испещрил самые похабные сцены в книге учеными пометками и непомерно раздутыми цифрами. По-моему, это был лишь предлог, дабы прикрыть наготу персонажей книги.

– Первое, что бросается в глаза, это частое употребление слова «член» и не менее частое – числа семь. Это очевидный намек на наше сообщество, в котором семь членов.

– Всего лишь семь.

– Это поначалу нас там было только семь. После пришлось делить издержки.

– Он знает все.

– Кто? Мальчишка? – Он усмехнулся. – Какая разница, он же мертв.

– Еще нет.

– Знаю, но он теперь урод и, при его-то самолюбии, носа на улицу не высунет с такой образиной.

Я открыл книгу наобум. Речь шла, как водится, об оргии: несколько мужчин и одна женщина. Мужчин было семеро.

– Женщина считается за ноль, – сказал одноглазый.

Сначала мужчины были с ней втроем, потом вдвоем, и наконец она осталась одна.

– 320.

Затем она была с одним, потом с двумя. Остальные трое смотрели.

– Трое наблюдателей – это число, на которое нужно разделить сумму.

И вот свершилось – цифры, лишенные всякой телесности, весело вспыхнули перед двумя глазами, его и моим, возбуждая в нас некую ненасытную тягу; они словно говорили: алмазы, сокровище, смерть. Они словно говорили: прощайте, пора. Счастливого пути.

– Ты понял?

– Да, капитан.

– Эти дурни думают, что в книге есть все. На самом же деле нужно совместить две книги. Если оставить их одних, они заведут нас Бог весть куда.

– Заведут нас?

– Ты отправишься с нами.

– Вы уверены?

– У тебя не будет выбора.

– Надо полагать.

– У них есть книга с пометками покойного Молины, у нас – книга Лили с пометками твоего отца.

– Какого отца?

– И то верно, все время забываю, что ты пришлый в этой истории.

– Это значит, что я для вас тот, кто должен сыграть роль…

– Ты будешь нашим кандидатом.

– Как это – кандидатом? На что?

– Ты будешь и там, и здесь.

– Скажите сначала, мальчик, который сгорел, должен был…

– Заменить тебя…

Он был мастер перетолковывать самые очевидные вещи.

– Ты переночуешь сегодня здесь.

– Отказаться я не могу.

– Это верно.

Казалось, он не имел больше корысти в этом деле. Он озирался, как потерянный ребенок. Я понял, что в пасти башмаков жили крысы – вредители памяти и грызли понемногу чистые воспоминания. Густая толпа, скинув беснующиеся фраки, уже взяла первые ноты бродячей мелодии. Одноглазый, в ослеплении от такой строгости тона, как прилежный ученик внимал мышиной музыке. Сколько же было музыкантов в этом оркестре воспоминаний? Наверно, столько же, сколько алмазов в небе над островом. Они пересчитывали их посредством средств, исходя из числа простого, но вдохновенного. Песня мышей широко шуровала в голове у одноглазого, то здесь, то там вырывался пронзительный стон, пронзая его стеклянный глаз.

Бред продолжался до рассвета.

Я проснулся от запаха собственной рвоты. Одноглазого не было. Кто-то запер меня в комнате, – наверно, по рассеянности. Я обнаружил лестницу, она

вела на крышу. Пришлось призвать все мои силы, чтобы открыть маленькую дверцу. Непроглядная тьма воняла, вонь леденила, лед царапал. Молочно-белые крылья сбивали прокисший воздух. Сухой и вежливый хлопок в ладоши приветствовал огонек моей спички.

Орлы были здесь.

Даже сегодня мне хочется верить, что это была демонстрация автоматов.

Я едва успел прикрыть свой единственный глаз, как они уже терзали мои руки. Сколько их было – пять, кажется, орлов. Мне почудилось, будто я вижу смех и галстук-удавку на повешенном теле. И снова хлопок прихлопнул меня. Я готов был выпрыгнуть в крошечное оконце, все лучше, чем это, но, на мое счастье, крыша выходила на заброшенную террасу. Я шел по трепещущему облаку голубиных перьев.

– Иди сюда, – позвал он.

Он был там, на крыше, сидел, пригнувшись. Он всматривался в даль. На меня не счел нужным даже взглянуть.

– Иди сюда, – повторил он.

– Да, орел, – ответил я.

Он улыбнулся.

В полдень пиццерию заполняли портовые служащие. На этот раз возникла необходимость выделить специальный столик для трех агентов судебной полиции. Было найдено тело моего дяди; меня искали. Орел велел мне остаться в комнате с башмаками, покуда его будут допрашивать. Около половины третьего, когда уже закрывали, пришли доктор и атлет.

– Сюда, месье Моретти, – пригласил орел.

– Закрыто?

– Только не для вас, входите же.

– Хотелось бы сразу к делу, – сказал Моретти.

– Все готово, – заверил его орел. – Ждут вашего решения.

– Мое уже принято, – заявил доктор.

– Правда? И кто же это?

– Сюрприз.

– А что остальной экипаж?

– Есть, – сказал орел.

– Я верю вам, – кивнул доктор. – Господин Сильвер знает, что делает.

Орел покраснел.

– Пока нет, – возразил он.

Он держал доктора за горло.

– Я понял, – прохрипел доктор. – Довольно, сударь.

– Ладно, – кивнул Сильвер.

Он посмотрел на меня. Он знал, что отныне я тоже буду звать его Сильвером.

Он вдруг стал на диво обходителен.

– Хотите поесть?

– Пока нет. Подождем.

Сильвер сделал мне знак войти.

– Вот сюрприз, о котором я говорил вам по телефону.

– Какой же это сюрприз, мы уже осматривали его в больнице.

– Ну, и…?

– Стареват.

– Как это – стареват? Что вы хотите этим сказать? Он же еще ребенок.

– Если угодно.

– Но…

Теперь Сильвер побледнел, как полотно, и задрожал всем телом.

– Вас это удивляет? – спросил Моретти.

– Нет, но…

– Вот он, – сказал доктор. – Мы готовы, бразды правления переходят к нам.

Вошел мальчик. Он шагал медленно, и было очевидно, что его сияющие башмаки покорили сердце Сильвера.

– Наконец-то, – вздохнул он. – Такова жизнь.

– Что происходит?

Сильвер посмотрел на меня долгим взглядом и печально покачал головой.

– Твоя кандидатура не прошла, – сказал он.

Мальчик тоже посмотрел на меня.

– Добрый день, капитан, – поздоровался он и медленно, очень медленно подмигнул.

Глава V

Птицы заполонили корабль наших грез в один прекрасный день четвертого сентября, между одиннадцатью утра и семью вечера, в час того самого острова. Что капитан трусил, стало очевидно много раньше, когда он увидел, как Сильвер и наши друзья будто бы доставили арсенал, уже оговоренный в наших соглашениях. Должен сказать, что никогда еще механизм грядущей битвы не был таким отменно ржавым, – настолько, что вызывал у головорезов чувство тревоги, потерянности, ощущение чудовищной показухи, призванной в конечном итоге спровоцировать прессу.

Вот так внезапно все ощутили причастность к этой экспедиции, спроворенной на скорую руку, в облаке дыма, на размытом судне. Дым окутывал нас, и причиной тому были не только плохо работающие двигатели. Была еще и нежная любовь тумана к морской посудине, доведенной до ума Моретти, человеком, ни на что не сгодившимся.

Капитан был вне себя. Несмотря на это мальчик только что журналистов с собой не привел. Все об этом говорили. Но о чем? Я был уверен, что ничего, ну просто ничего не было задумано заранее в этой экспедиции, для которой так тщательно подбирались кадры. Известно, что птицы слетаются на птиц. Тьма чаек, легион воробьев преследовали нас еще несколько дней. Была даже грозная туча попугаев, к великой радости Сильвера, корабельного кока.

Через два дня после нашего отплытия мне было поручено присматривать за мальчиком. Я решил было, что мне не составит труда разговорить его на любую тему, которую выберет он сам, или поиграть с ним в какую-нибудь игру, или, к примеру, спеть. Напрасный труд: он уже тогда был нелюдим, играл только с собственным телом, а его руки являли собой целое представление. Когда с ним заговаривали, он делал вид, будто не слышит, или, хуже того, смотрел на кого-то несуществующего позади собеседника. Он обращался к нему самым серьезным образом, искажая лицо немыслимыми гримасами в расчетливой своей простоте. Это был актер (сегодня всякий, кому известны правила игры, не удивился бы: прослушивания стали в наши дни расхожей монетой). Он выучил свои реплики и знал, что у меня и в мыслях не было той игры, что занимала его.

Я готов был на все махнуть рукой, когда он вдруг сам заговорил со мной.

– Друг мой, – сказал он, – чрезвычайно тяжко, поверьте, для того, кто был, как я, связующим звеном в данной операции, отвлекаться на все эти перипетии, которые не были предусмотрены хотя бы за минимальный срок? Не правда ли, капитан?

Было заметно, что его снедает желание выйти из игры и дать себе волю.

– Все же глупо и совершенно излишне шпионить за тем, кто в свою очередь шпионит за вами.

Очевидно, из нас двоих играл кто-то один не в ту игру.

– Видишь ли, малыш, – сказал я тоном отеческим и дурацким, – моя игра никак тебя не касается. Как тебе прекрасно известно, я в свое время наделал глупостей и теперь вынужден скрываться.

– А-а, та история, – кивнул он. – А знаете ли вы, что алмаз был хорош?

– Ну и что?

– А то, что история вышла чертовски серьезная! Алмаз стоит очень дорого. Так я купил свою должность.

– Какую?

– Вот эту.

– Я вам не верю.

– Все покупается, не правда ли?

– Тебе виднее.

– Мне виднее. Более того, я готов пожертвовать моим последним алмазом – вот он, – если ты поможешь мне разгадать одну загадку, причем, вне зависимости от игры, которая, кстати, интересует меня лишь из чисто профессиональных соображений.

– Какая же это загадка?

– Кто такой Мидас?

– Я не знаю.

– Я так и думал. Никто не знает. Однако я уверен, что ты один мог бы к нему подступиться.

– Почему?

– Потому что он упустил мое место.

– Он – ребенок?

– Он упустил его в свое время.

– Когда?

– Бедный мой малыш, я боюсь, что эти олухи упустят свой шанс. У них и не такие из рук уплывали. Вот вы – вы настоящий.

– Настоящий – кто?

– Настоящий Джим Хокинс. Но не будем об этом, сейчас я хочу, чтобы вы погрузились туда, в те глубины, где скрывается этот окаянный Мидас, который не дает мне спокойно спать.

– Он здесь?

– А где же еще? Это его обязанность – доносить обо всем, что связано со мной. В данный момент он слушает нас. Иначе как мог бы он передавать в своих донесениях наши диалоги в эту самую минуту?

– Вы на диво циничны!

– Вы обращаетесь ко мне на «вы» – это хорошо. Не люблю фамильярности между людьми, которые через несколько дней, от силы недель без зазрения совести убьют друг друга.

– Вы так думаете?

– И да и нет. Я ведь Джим Хокинс третьего поколения. Я прекрасно знаю, что меня ждет.

– Вот как? А зачем вообще здесь я?

– О, я понимаю, людям случайным трудно освоиться в этой игре. Но если вы поможете мне в моих поисках, я обещаю не называть вас Израэлем Хендсом. Соглашайтесь, я вас очень прошу.

Он снова стал ребенком.

– Помогите мне, я боюсь.

– Мне надо подумать.

Да, я видел Джима Хокинса плачущим. Да, я согласился выполнить самую нелепую миссию, какую только можно возложить на человека. Я согласился шпионить за самим собой.

Тогда я этого еще не знал и обшарил весь корабль сверху донизу. За оружием, за тропическими фруктами, за хищными птицами, за истлевшими попусту ширмами отыскалось нечто вроде оазиса. Плюшевая пальма, несколько пластмассовых верблюдов и еще – письменный стол, совсем маленький.

– Я ждал вас, – произнес чей-то голос.

– Я вас искал.

– Я все слышал, все видел.

– Как это?

– Я профессионал.

Он рассмеялся зловещим смехом.

– В отличие от вас.

– Я знаю.

– Вот как? Вы, может быть, честный человек?

– Еще нет.

– Тем лучше, – сказал он.

Пуля оцарапала мою левую ногу. Я решил, что будет благоразумнее разбить лампу. Под покровом темноты оживились птицы. В мгновение ока они заполонили оазис.

– Почему вы это сделали?

– Потому что я люблю свое ремесло. Мой час не пробил. Я еще полон сил. Я не дам себя так просто прикончить.

– Я вовсе не хочу вас убивать.

– Все так говорят.

– Я не лгу.

Я зажег фонарь.

– Где вы?

– Угадайте.

Я искал повсюду, но безрезультатно. Я замерз, проголодался. И съел одно яблоко.

– Надо полагать, вы так и не прочли книгу.

– В общем, нет.

– Это, знаете ли, необязательно, кое-кто даже утверждает, что лучше вовсе ее не знать. Но если это правда, возможно ли, чтобы вы не нашли меня сразу?

Над этим стоило задуматься.

Он вышел из бочки с яблоками. Очень довольный собой.

– Этим Джимом Хокинсом должен был быть я. Но нет на свете справедливости, по этой-то причине я и хочу вас убить. Трудно совершить несправедливость большую, чем эта, не правда ли?

– Правда.

– А вот и нет, вы ошибаетесь. Есть нечто еще более несправедливое. Убедитесь.

И он пустил себе пулю в лоб.

Всплеск крыльев испуганных птиц увенчал выстрел. Естественно было бы бежать. Кричать. Вместо этого я взял яблоко прямо из руки мертвеца и, откусывая понемногу, залез головой вперед в бочку, где нашел во мраке сон и с ним последние слова Мидаса.

– Мне было порою дано торопить события в гонке за сокровищем. Предвидеть некий крутой поворот, пробел, время от времени повергавший в замешательство чересчур усердных игроков. Я никогда не ошибался, определяя, какую роль тот или иной кандидат мог бы сыграть в истории. Для этого мне достаточно было услышать, как он поздоровается. Даже люди случайные, те, которые были уверены, что не играют никакой роли и, стало быть, переживают подлинное приключение, становились, сами того не зная, жертвами моего злокозненного чутья. Я придумывал для них роль, и мне даже не было нужды втискивать ее между репликами постоянных исполнителей: достаточно было представить себе интригу, развивающуюся за тридевять земель от их игрового поля, чтобы поймать их в мою сеть и подтолкнуть к вульгарнейшей смерти.

Да, я злой. Все, кто занимал мое место прежде, были злыми. Неделю назад мне сочли нужным сообщить о решении, принятом, по всей вероятности, несколькими месяцами раньше. Нет, меня вовсе не хотели выбросить за борт (что, впрочем, было немыслимо в такой организации, как наша). У них не хватило мужества меня убить. Чтобы освободиться от моего неудобного им присутствия, они избрали предусмотренный уставом путь: мне вырвали глаза. У меня не было

выбора: продолжать писать я не мог, пришлось смириться с жалкой ролью слепого. Между тем, я знаю, что уже трое слепых фигурируют в списке очередников и мои шансы принять участие в следующем цикле «острова сокровищ» отныне сильно снизились. Поэтому я предпочел уйти с достоинством. Всю жизнь я добросовестно служил товариществу приключений и ветеранов Африки и останусь верен ему до конца моих дней. Я не уйду со своего поста. Мой преемник, когда он заступит на место, найдет все в полном порядке.

Его голос стал еле слышным. Даже во сне. Разбудил меня Сильвер.

– Вот, тебе принесли ужин. До восьми утра ты должен выдать нам положенные десять страниц.

– Кто вам сказал, что я умею писать?

– Птичка.

– Орел?

Он рассмеялся.

– Я думаю, придется мне рассказать тебе мою жизнь. Не все окончили свои дни так, как наш друг.

Я провел там три долгих года. Самых долгих в моей жизни.

Правду говорят: это хуже, чем тюрьма.

– Это и есть тюрьма.

– Вовсе нет, скорее наоборот. Тебе придется бывать повсюду. Нужно, просто необходимо, чтобы ты знал нас лучше, чем мы сами. Чтобы каждая реплика, которую ты нам дашь, удивляла нас, поражала. Надо страшиться грядущих дел. Надо страшиться тебя – больше, чем Судьбы. Ты – наше будущее.

– А могу я убить вас всех?

– Это было бы неосмотрительно с твоей стороны. Взгляни на беднягу Мидаса.

– Верно.

– Ты боишься?

– Да.

– Ты прав. Всегда надо бояться, тогда ты всегда сможешь придумывать для нас увлекательные приключения. Признаюсь тебе, на этот раз я что-то всерьез заскучал.

– Чего вы, собственно, от меня хотите?

– Справедливости, веры, воображения. Нужно, чтобы этот остров был.

– А что, его может и не быть?

– Это зависит от тебя.

– Я уже ничего не понимаю. Так острова не существует!

– И да и нет. Приз достался счастливцам всего лишь два раза за десять лет. И это стоило нам добрых полусотни мертвецов.

– Все-таки у вас есть карта.

– Книга – улови разницу. Возможности достичь цели весьма ограничены.

– Я понимаю.

– Но не забывай, что тот, кто решает за нас в наших делах, – всегда лицо случайное. Так что, даже если мы на верном пути, есть риск на каждом новом повороте пойти ко дну. В буквальном смысле.

– А кто решил мою судьбу?

– Мы. Наша была очередь.

– А в следующий раз?

– Боюсь, что следующего раза не будет. Но я чувствую, я просто уверен, что на этот раз он от нас не уйдет.

– Кто?

– Приз.

– Благодаря мне?

– Надеюсь.

– Эта история начинает мне нравиться.

– Давно бы так, – кивнул Сильвер. – Поспеши, твой ужин остынет.

– А вы не расскажете мне вашу жизнь?

– В следующий раз. Это долгий рассказ, к тому же жизней у меня много.

В тот же вечер я решил устроить славный бунт.

Глава VI

Итак, я сделал выбор: рассказывать историю в прошедшем времени всегда затруднительно, если знаешь, что она еще не произошла. «На крайний случай, – говорил я себе, – лучше подойдет настоящее, да и играть легче». И я начал: «На корабле люди Сильвера собираются в каюте неподалеку от камбуза. Все смотрят на море. Видят, как птицы кружат над кораблем – это значит, что мы уже недалеко от игрового поля. А вот и мальчик, он идет в нашу сторону, пересекает палубу, не видя нас, – но он знает, что я здесь. Вот его уже не видно. И почти тотчас же он появляется в кают-компании. Он голоден. Наконец он находит бочку с яблоками. Наблюдатель подает знак людям Сильвера. Кто-то произносит громко и нарочито театрально: «Нет, не надо, мы не можем его убить!» А кто-то другой возражает: Можем, так надо». И т.д., и т.п.

Но вот мальчик уже действует. За каких-то полминуты он находит, находит сам (очко в их пользу). Теперь они все здесь. Они спорят. Волнуются. Стало быть, бунт состоится. Они голосуют. Готово, дело сделано. Предложение Сильвера принято большинством голосов. Подавляющим большинством. Они расходятся по одному. Мальчик медлит, не действует (очко в нашу пользу). Он уснул.

Все это я предвижу.

Однако я знаю: предвидеть детали рискованно. Я бы даже сказал, это профессиональная ошибка: один шанс на десять, что он будет действовать таким образом. Но слишком поздно, это уже написано моей рукой, и свидетель, читающий эти строки по мере того, как я их пишу, так или иначе засчитает очко не в мою пользу (я слышу его смех: он догадался, что я сейчас напишу. Он опять смеется, закуривает, ходит взад-вперед).

Остальные ждут сигнала, чтобы приступить. Вот они идут. Смятенные, встревоженные, они чувствуют: что-то затевается. Иные думают, что чем раньше люди Сильвера начнут действовать, тем больше будет у них шансов на победу. Но мнения разделились. Не правда ли истинная, что уже дважды поднятый без должной подготовки мятеж имел гибельные последствия для пиратов и завоевания морей вообще? На этот раз погода благоприятствует. «Хорошие» действуют

по-взрослому: без паники, без шума. Воцаряется страх, но так надо: ведь бунт – один из трех моментов игры, когда игроки рискуют жизнью. Один только мальчик не видит риска, и все понимают, что это один из факторов, способных дать преимущество пиратам. Мальчику смешон страх доктора, он кажется ему притворным. И это вызывает – не может не вызвать – вспышку гнева у капитана и слезы у доктора.

Вот что я предвижу в этот осенний вечер.

Назавтра я был зрителем и критиком действа. Мои прогнозы сбылись: все, что я предвидел, разыгрывалось перед моими глазами поразительно точно и умилительно беспечно. После истерики доктора на палубе появился мальчик и направился прямо ко мне.

«Верно подмечено», – сказал он и что-то вложил мне в руку. Он все же сообразил завернуть алмаз в черную тряпицу, на которой было написано мелом: увольте. Бедняга зашел чересчур далеко. Он слишком много знал. Общеизвестно, что нет ничего опаснее, чем менять местами стадии игры (должен сказать, вчера я предвидел, что напишу эти строки сегодня).

По прошествии двух дней я стал принимать себя чересчур всерьез. Это я тоже предвидел. Но как мог я написать вещи, которые так трудно было предугадать: происшествие в машинном отделении, падение Израэля Хендса и принятое командой «хороших» решение покинуть корабль…

Итак, все это было предсказано три ночи назад, а то, что я хочу предсказать теперь, будет столь же неожиданно, сколь и неизбежно.

Теперь я пишу каждый день, я предрекаю события в совокупности, места, полные находок, душевные терзания и параллельные перипетии, а проверить все это некому. Но не суть важно. Я попал в западню и только теперь начинаю понимать кое-что из загадочных слов покойного Мидаса.

Пираты отпраздновали это подобие победы большим пиром с обильными возлияниями. В нужный момент я встал и удалился со сцены. Должен сказать, я предугадал, что произойдет десятью минутами позже.

Потери оказались велики: двое погибших, которых бросили в топку. Надежды найти беглецов больше нет.

Мой дар ясновидения не остался тайной кое для кого из членов экипажа, и они поглядывали на меня с любопытством и какой-то бабьей жалостью. Свидетель менялся четырежды. В принципе роль его проста: проверять истинность написанного и составлять еженедельный отчет по лоции. Написанное мною за день называют текущим листом. Каждое утро его размножают и раздают игрокам. В конце дня на коротком собрании подводят итоги и следуют далее.

Игроки коренным образом переменились ко мне, когда я стал описывать их сокровенные помыслы. Тотчас поднялся ропот (я это предвидел), но в конечном счете любопытство все же одержало верх.

В данный момент я работаю следующим образом: пишу сначала цепь событий, не вдаваясь ни в замыслы игроков, ни в подробности их действий, – это называется *экшн*. Затем я описываю потаенные замыслы каждого, изменения,

могущие произойти в последнюю минуту, варианты действий, вытекающие из возможных ошибок в игре. Совокупность ошибок и составляет в итоге действие. Ошибки эти определяют глубинный ход событий. Эти события представляются мне некой субстанцией, текучей, но чрезвычайно тяжелой. Из этой субстанции возникают вдруг неожиданные очертания, лишенные причин, – события истории. То есть, история есть все, что препятствует игре.

Зачем же играть в игру, если она так утомительна и так опасна?

Я знаю, грядет тот далекий день, когда все события моей жизни обступят меня исступленной толпой. Я произнесу речь, в которой назову каждое событие по имени и фамилии. Затем все они строем промаршируют передо мной как на военном параде. Этот парад и будет моей жизнью. С одним недостатком – она будет бесконечна. Придется, стало быть, придумывать игру. С единственным правилом: каждому событию должно достаться слово из моей речи. Тогда, расположившись в парке, обширном и безмятежном, они произнесут, по порядку появления в речи, каждое предназначенное ему слово. И к концу речи мне покажется, что жизнь у меня была насыщенная и короткая.

Я позволяю себе это отступление, потому что писать пророчества мне запретили. В роли рассказчика я пробыл всего лишь несколько дней. Достаточно, чтобы сойти с ума от грядущих дел. Как бы то ни было, в силу этого я оказался изолирован от всего экипажа. Никто не заговаривает со мной, никто не хочет знать своего недалекого будущего.

К чему теперь говорить о последнем моем видении? Это было вчера ночью, я спал. Сон, снившийся мне ночь за ночью, все отчетливее, вдруг стал ослепительным: передо мной лежала пустыня. С белого, как бумага, неба падали слова. Вот они: тот остров не в море. Он расположен далеко от игрового поля. В этот миг я ясно видел заброшенную крепость и слышал голос той, кого я люблю больше всего на свете. Она звала меня.

Назавтра я решил покинуть корабль. План побега я разработал самым тщательным образом и, предвидя его успех, действовал спокойно и без суеты. Да, для меня приключение под названием «остров сокровищ» было окончено и начиналась настоящая игра. Однако в назначенный день план мой провалился самым нелепым образом. Я намеревался бежать во время одной из стоянок на пустынных островах, окружающих архипелаг сокровищ. Надо сказать, что с некоторых пор у меня появилась в моих прогнозах дурная привычка не смотреть направо. А между тем справа, недалеко от корабля, стояла на якоре яхта, и люди Сильвера решили взять ее на абордаж.

Экипаж яхты не оказал никакого сопротивления. Сильвер поднялся на борт с неким Нарваэнсом – который до сих пор не играл никакой роли в описываемых мною событиях. Он ненавидел меня, я это знал, и, хотя мой преемник счел нужным дать ему несколько незначащих выходов и даже две ключевые реплики, видел во мне виновника своего, так сказать, положения на полку. Бедняга, слово «полка» его и убило. Когда-нибудь придется заглянуть в бездонный колодец архивов острова сокровищ. Там, в крутейшем этом маринаде, мы, возможно, найдем объяснения несчастий, свидетельствующих о силе изреченного, прикоснемся к подвижным сводам, раскрывающим все ужасы, связанные с

одним-единственным словом. Слово «визит» заполнило целые кладбища – вернее, то, что называют кладбищами они: бескрайние и безмятежные песчаные отмели, на которых живут лишь хищные крабы. Как уже было сказано, не я придумывал перипетии в тот день. Поэтому нельзя возлагать за меня ответственность за злосчастное происшествие, послужившее причиной смерти Нарваэнса. С другой стороны, я хочу поблагодарить писаря, который изложил все предшествующее в акте, составленном для лиссабонской конторы, которого я включил в свои личные воспоминания как опровержение распространившимся повсюду слухам. Зарубите себе на носу, все полторы недели, что мне пришлось оставаться на месте, я воздерживался от какого-либо намека, прямого или косвенного, на взрывоопасное слово.

Мы привезли Нарваэнса во время сиесты, чтобы избавить хотя бы спящих от жуткого зрелища разрозненных частей, достойной экспозиции останков с отпечатком злых шуток: в глазницы его были вставлены долларовые монеты; обезображенная голова торчала из неузнаваемого зада, огромный живот соседствовал с зеленоватой рукой, с которой предварительно срезали умную татуировку, чтобы налепить ее на язык, свисавший между тестикулой и ухом и аккуратно приколотый к пятке; его плечо было перемазано экскрементами, они же обрамляли левую ляжку, украшенную многочисленными сосцами (их было больше двух, точно). Все это было совсем не смешно, и мой план бегства рухнул. Что же все-таки случилось? Ничего страшного, если верить Сильверу. Просто недоразумение: у бедолаги якобы некстати слетело с языка слово «полка». Вообще не стоило его произносить, а особенно в тот момент.

Я потерял нить событий в тот самый час, когда меня отстранили от обязанностей писаря. Насколько я понял, в этой игре мы выигрывали в три этапа. Один мертвец против трех этапов – вот так, выбор был сделан. В конечном счете, бедняга Нарваэнс все же сказал свое слово.

В тот же вечер весь экипаж пришел ужинать. Капитан, мексиканец-обрубок, в котором любовь к высоким ампутациям пересилила ненависть к низменным подсадкам, описательно хохотал. Остойчивая осанка, которой он без устали любовался в зеркалах, убедила его в собственных задатках заправилы, и все три часа, что длился ужин, он всеми правдами и неправдами пытался вывести разговор на свою излюбленную тему: Бенито Серено[1]. Будучи ветераном острова сокровищ (он побывал на четырех разных и, хотя его яхту вывели из игры, остался на правах вольного зрителя), он ратовал за преимущества запретной игры.

– Мне странно слышать от вас такое! – воскликнул Сильвер. – Бенито Серено – не игра. Я называю такие вещи бессмысленной бойней.

– Стало быть это не настоящая бойня.

– В крайнем случае, бойня виртуальная.

– Не говорите мне, что вам нравится клуб самоубийц!

– На худой конец предпочитаю «потерянное время».

– Почему бы нет! Педераст педерастом и останется.

1 «Бенито Серено» – роман Германа Мелвилла.

Почему бы не Улисс, почему бы не Асперн.

Я плыл в незыблемых водах моего единственного глаза. Под свинцовым куполом внемлющего, хоть и равнодушного неба наши люди мчались на всех парусах к моим сбывающимся прогнозам. Я видел, как их сбивает в кучу заурядное зверство, которого они отнюдь не заслуживали.

Я ничего больше не видел – я вспоминал. Остановившиеся в подвешенном состоянии пули были точками отсчета в этом пространстве, пересеченном двумя реками, которые не могли слиться. Я представил картину так: пули, пересмотренные моим глазом-иллюминатором, – точки, а эти солнечные плевки – пространства души. Душа равна телу – вот как, между двумя залпами, я записал свою теорему. Названия романов играли роль охранных грамот, каждый штатный исполнитель роли нырял в это море брани за рыбой-жестом. Затем, по инстанции смерти, был предписан долгий путь наверх: через четыре стихии – или католические добродетели, – через пять потенциальных предикатов, через титульный лист, туда, к горним высям, в то сказочное место, где все грядущие преступления обретут покой.

Результатом стычки стали три никчемных смерти. После двух часов переговоров Сильвер и Мендоса заключили мир. Вдвоем они отправились прогуляться по острову. Кто-то разбудил меня перед рассветом. Было решено отплыть на яхте. Вот так. В полдень Сильвер созвал общий сбор. Он сообщил о своем намерении включить в нашу игру главу романа, которую, по его словам, обожал: Бенито Серено. Мы будем играть в ней восставших рабов, а Мендоса выступит в роли капитана.

За три недели мы обошли все острова в поисках противника. Два абордажа сорвались в последнюю минуту. Боевой дух упал, но мы держались. Все играли в карты.

Однажды, после полудня, мы проснулись все разом посреди сиесты. Иные взгляды не могут обмануть, и восставшая плоть каждого из нас была тому доказательством. Все сходились в одной точке, нельзя было не признать эту очевидную истину. Стоило закрыть глаза – и образ одной-единственной женщины повел танец, породив самое жгучее подозрение, какое только сохранила моя память. Она была богиней для нас всех. Она чеканила этот недвижный танец, увлекший нас к образу более, чем обнаженному.

Нас обманули. Сильвер не открыл нам всей правды: эта женщина не принадлежала ни острову сокровищ, ни Бенито Серено. Она была «Она».

– Да, это – «Она»! – воскликнул Израэль Хендс.

Сильвер сразу смекнул, что ему нет никакой корысти скрывать правду любой ценой. В тот же вечер мы воочию увидели воплощение танца. Это была она, сестра той, кого я люблю больше всего на свете.

Она произнесла приветственную речь. Сказала, что почитает за честь играть с нами. Она прикинулась обнаженной танцовщицей и сразу после этого скрылась, а затем появилась вновь, в присущем ей лунном обличье.

Мы плыли несколько недель. Однажды в бурю сбылось мое пророчество: спасательная шлюпка с беглецами явилась нашим взорам; то был фокус, на какие

горазды волны тропических широт. Они буквально упали на палубу яхты: мальчик, доктор, сквайр и капитан.

Надо было все начинать сызнова. Стало очевидно, что игра будет вновь узаконена. Сильвер распорядился немедля отправить депешу в Лиссабон, и уже назавтра действия возобновились.

Своим спасением я обязан фантазии писаря с тропических широт. Вести игру выпало Мендосе, и первой его идеей было устроить изнасилование единственной женщины на борту. Сильвер воспротивился, но по правилам игры он должен был спросить мнение всего экипажа. Он не был поддержан своими людьми, изнуренными множеством романов без женщин.

Изнасилование началось около трех пополудни. Когда настала моя очередь, почти весь экипаж уже спал вповалку на палубе. Все лежали в причудливых позах и вместе создавали впечатление утонченной ненасытности. Они были желтым ветром, уже чреватым далекой бурей. Их тела словно смирились, поартачившись, с живучим и необлаченным обличьем птичьего помета. Все они были мертвы, но я еще не знал этого: искусство ясновидения порождает скепсис. «Она» ждала меня в своей каюте. Она не была обнажена.

– Флаг вам в руки, – сказала она беззлобно.

В каюте лежали Израэль Хендс, Ролдан и Микс.

– Зрители вас смущают?

– Я вовсе не намерен вас насиловать, – ответил я. – Я католик.

– Это что-то новенькое!

Мне послышался смешок, от которого кровь застыла в жилах.

– Вам это, я полагаю, доставляет удовольствие, – сказал я.

– Еще какое.

И она расхохоталась как безумная.

– Сколько же католиков на этом судне?

– Я один.

– Полноте, друг мой, полноте.

– Да что вы?

– Да. Все как один джентльмены.

– Это же прекрасно.

– Молодой человек, я женщина особенная.

– Вы жалеете, что вас не изнасиловали?

– Я не выношу непоследовательности! Обещают одно, делают другое. Теперь уже слишком поздно.

– Для них.

– Да, для них. Выпей. – Она показала мне стакан.

– Нет, я, пожалуй, предпочту остаться живым.

– Ну, ты даешь!

Кто-то хихикнул в шкафу на полке.

– Полка!

Я понял. Она сказала слово. Она убила их всех.

– Занятно, – сказал я. – В воздухе пахнет сексом. Что вы все-таки сделали?

– Я изнасиловала их, – ответила она, зардевшись.

– Вы?

– Нет, не я. Он сделал это для меня.

– Да ну?

– Он… ну, то есть, эта «штука»…

Она распахнула дверцу шкафа. Куча тяжко дышащей требухи, разящая одеколоном и помадой, возвышалась передо мной.

– Опять враг, – сказал я. – Не бойся. Я тебя простил.

Женщина завизжала. Клянусь, я ничего особенного не сделал. Только воткнул глаза изверга в каракатицу, служившую ему носом, и отрезал его раздвоенный член своим швейцарским ножом.

Уходя, я услышал голос женщины:

– А я думала, вы друзья.

– Да, – ответил я. – В прошлом.

Эпилог I

Этот печальный конец не остановил экспедицию. Я хотел увидеть своими глазами то, что я так неумело предсказал. Избавлю вас от перипетий дальнейшего плавания. Оно заняло десять лет моей жизни и будет предметом следующего тома мемуаров, которые я пишу в настоящий момент.

Да, я нашел остров. Он не в архипелаге островов сокровищ, а посреди пустыни. Нет, это не оазис, это руины крепости XVIII века. Я не нашел сокровища, я никогда и не думал его искать. Я провел там десять лучших лет моей жизни с женщиной, которую люблю больше всего на свете.

Там я научился играть на пианино.

Конечно, в ту пору я был моложе и резвее. Это было в прошлом.

Эпилог II

Я даю разрешение на публикацию этой книги, которую написал мой отец за несколько месяцев до того, как принял добровольную смерть в огне. Надеюсь, что она послужит неопровержимым доказательством для тех, кто все еще отрицает его глубокое психическое расстройство. Мой отец был так болен, что любил свои раны, как любят огонь. Знайте, что, когда он в последний раз навестил меня в моей камере и я попенял ему, что он не читает мне свои мемуары, он сухо ответил: это мемуары не мои, а моего отчима. Он считал себя инкарнацией своего отчима, знаменитого антрополога, от которого мне досталась бережно мною хранимая коллекция цветных глаз.

Я выражаю ему благодарность за то, что он предал огню свои ожоги, и за то, что доставил мне удовольствие, сделав это напротив тюрьмы, в которой я живу.

Огонь – моя страсть, и он это знал.

Перевод Нины Хотинской

Интервью* журналу «Positif»

«Positif». […] *По поводу «Города пиратов» вы говорили о сюрреалистическом влиянии. Действительно, на ум приходят такие поэтические произведения, как «Бульвар Сен-Жермен, 125» Бенжамена Пере и «Свобода или Любовь» Робера Десноса с их свободным сочетанием образов и идей. Как возник замысел этого фильма?*

Рауль Руис. Тут и в самом деле есть заранее выбранные нарративные куски. Я хотел достичь соответствия – как все изгнанники, я очень занят поиском соответствий – с романами Лезамы Лимы, писателя, который меня просто восхищает. Эта система, сочетающая чувство экстравагантности и дурной вкус, позволяет нам примириться с нашей латиноамериканской сущностью. На нашем континенте есть все – от старых колымаг до утопии. Лезама Лима освоил все это посредством стилизации. Он жертвует целые страницы низкопробному подражательному модернизму, тому течению, которое черпало вдохновение во французской поэзии конца века. Снимая «Город пиратов», я отчасти следовал его примеру. Но здесь еще и страстная любовь. У меня есть определенная склонность к копролалии[1], любовь к матерщине. Чтобы дать вам представление о том, что я пытаюсь делать, напомню, как начинается один из рассказов Лезамы Лимы. Это описание чисто тропической послеполуденной жизни: женщина ждет мужа, дети играют. И вдруг автор ввязывается в описание игры теней на двери и ручке этой двери, которую хозяйка дома весь день усиленно полирует. Появляется четкое отражение подручных диктатора, убивающих ее мужа. Совершенно неожиданный переход: набившая оскомину банальность – диктатор – вводится через мимолетное отражение.

«Positif». *Вы часто говорили, что вам не слишком нравятся доминирующие в Латинской Америке культурные течения, например, приверженность неореализму или диктатура документального кино, которую на какое-то время установила Аргентина. Какое наследие признаете вы? Что явилось стимулом для вашего творчества? Группа чилийских сюрреалистов во главе с Браулайо Аренасом и Энрике Гомесом-Корреа?*

P.P. Нет. Я был с ними знаком, но они на меня не влияли. Это сейчас я с интересом читаю сюрреалистические тексты. Привлекает меня сюрреализм повседневной жизни, такая логика поведения, которая от нас постоянно ускользает. Поэтому я сознательно избегаю всяких объяснений, ограничиваясь показом определенной манеры поведения. В конце концов, это стало сюрреалистическим техническим приемом. Например, двое людей что-то обсуждают в кабаке:

* *Extraits. Par Michel Ciment, Hubert Niogret, Paulo Antonio Paranagua,* Positif, *№ 274, décembre 1983 [Отрывки. Записали Мишель Симан, Юбер Ньогре, Антонио Паранагуа, «Positif», № 274, декабрь 1983]*

1 *Непрерывное произнесение неприличных слов* (прим. перев.).

один из них время от времени хватает бутылку и разбивает ее о голову собеседника; разговор начинается вновь, потом разбивается очередная бутылка. Я хотел показать, что сам диалог не имеет ничего общего с тем фактом, что они бьют друг друга бутылкой по голове. В чилийской культуре мне дороже всего страстная любовь к бессмыслице. Весь наш юмор основан на резкой смене уровней языка. Напротив, мы в Чили совсем не увлекаемся игрой слов, тогда как аргентинцы, подобно французам, от нее без ума. Еще один близкий мне чилийский аспект культуры – это почти вольтеровское отношение к фантастическому. Фантастическое существует, происходят удивительные вещи, но мы в них, если можно так выразиться, не верим или, по крайней мере, сохраняем определенную дистанцию – верим, не позволяя себе удивляться.

«Positif». *«Три кроны матроса» – это фильм, который развивается по спирали, используя глубину площади барочным образом и приводя в движение пространство. Но «Город пиратов», наоборот, состоит из тщательно скомпонованных планов, где пространство предстает почти таким же, как на полотнах Дали.*

P.P. У меня часто бывает так, что исхожу я из одного, а достигаю совершенно иного. Вот недавно я снял для Бобура фильм о Дали, «Страницы каталога» и, сам того не ведая, узнал много нового для себя. Мне сразу сказали, что в этом фильме нужно следовать за страницами каталога, я же сделал фильм *о* каталоге. Для тех пейзажей, что я нашел в Португалии, требовались определенные типы кадрирования. Затем лица и одежда людей, которые, в конце концов, прекрасно совпали с некоторыми картинами Дали – не только по причине сюрреалистического расположения или фантастического аспекта, а просто потому, что мы находились на морском берегу, дома были белыми, а наши герои имели сходство с персонажами его картин. И потом, если снимаешь море при помощи поляризованных фильтров, чтобы приблизиться к Техниколору, вступаешь в сферу Дали. Я прихожу в экстаз, когда могу взять банальные общие места и переработать их. К примеру, в связи с одним фильмом мне сказали: «Как вы смеете использовать зеркала после Кокто?» Я думаю, что можно таким же образом использовать сюрреалистические приемы, которые вышли из моды, но остаются очень полезными, как старые камеры. Между прочим, я люблю снимать старыми камерами: они могут сделать то, на что современные камеры уже не способны. Так же и Дали – даже после Хичкока его еще можно использовать.

«Positif». *Чаще всего вы делаете кадрирование в сверхклассической манере, отвергая необычные углы. Однако иногда разрушаете эффект реальности, показывая, например, на первом плане огромную ногу.*

P.P. На сей счет у меня нет каких-то четких представлений, но это следует рассматривать совокупно со сценическим расположением. Когда я смотрю видеоклипы и особенно театральные постановки, я понимаю, как любой зритель, что они разыгрываются в рамках заранее определенного расположения. Например, в «Гамлете» Кармело Бене все разыгрывается вокруг большой кровати. Декорация вступает в игру, она сама по себе сценарий. Точно так же в видеоклипе

каждый кадр может оказаться новым расположением, которому подчинена песня, иногда вполне банальная. Я говорил себе, что точно так же, как Эйзенштейн делал кадры-картины, играя с пластическим аспектом объектов, можно было бы добиться даже большего, играя с кадрированием и точкой обзора, с расположением как таковым. Каждый кадр стал бы отдельным расположением, и не пришлось бы решать проблему монтажных переходов. Чтобы действовать таким образом, имеются две возможности: либо совершенно плоское расположение, так что видны все вещи, сконцентрированные в центре, либо отказ от кадрирование в пользу совокупного кадра, который становится несколько экстравагантным, необычным. Играешь то с одним, то с другим, переходишь от одного к другому. Это экстравагантно – особенно после нарративного кадра. Я делаю это отчасти для того, чтобы избежать кадрирования. Кадрирование означает неизбежное присутствие оператора, а это болезнь специфически европейская и, прежде всего, французская. Только во Франции я видел операторов, которые при съемке интервью заняты тем, что пытаются уравновесить объекты в кадре, как если бы на него смотрели, как на картину. Помню, что у нас люди, влюбленные в кино, начинали с обсуждения концепции кино у Ортеги-и-Гассета. Когда он впервые посмотрел фильм, то сказал, что это совсем не похоже на картину. В картине образ зависит от кадра. В кино образ выходит за пределы кадра, обладает центробежной силой.

Когда я работал на французском телевидении, меня страшно удивляли две вещи. Операторы, подобно всем операторам мира, злоупотребляют крупными планами. Они начинать двигать камеру во всех направлениях. И говорят, что следует немного ускорить темп. С другой стороны, они очень хорошо выстраивают первый кадр. Не понимаю, зачем, ведь в любом случае его приходится вырезать при монтаже. 80% усилий во французском кино тратится впустую на споры о том, как уравновесить объекты в кадре: персонаж чуть правее, чуть левее, бутылка пива чуть поближе или чуть подальше. Если это так невероятно важно, стоило бы снимать двумя камерами одновременно. Но это все устаревшие концепции.

«Positif». *«Расположения» заставляют нас вспомнить о музыкальных структурах с вариантами…*

P.P. Расположение предполагает, что образ в некотором смысле начинается с нуля в каждом плане. Сколько фильмов, столько и образов, если уж договаривать до конца. С другой стороны, в «Городе пиратов» я впервые попытался – хотя думал об этом и прежде – использовать музыку не в качестве лейтмотива, не для того, чтобы создать определенную атмосферу или охарактеризовать персонаж или ситуацию посредством музыкальной темы, вводя ее раньше или позже, как это часто делают, а сделать музыку эмоционально самодостаточной, независимой от образов, используя ее для соединения двух эпизодов, которые в принципе не имеют ничего общего. В «Городе пиратов» я взял для сцены с маленьким ребенком довольно зловещий вальс, который затем использовал в другой сцене, не имеющей с первой ничего общего, но они оказались связаны благодаря музыке. Это вынуждает работать со многими музыкальными темами и вставлять их заранее, чтобы выявилось различие между ними. Это может принести большую пользу, музыка же становится нарративной величиной. Но необходимо, чтобы

образы разных сцен не имели между собой ничего общего и чтобы связь устанавливалась посредством музыки. В этот момент и достигается множественность эпизодов. Фильм в каком-то смысле становится полифоничным. Есть несколько связей, несколько эпизодов, которые надо выстроить, исходя из заданных величин. Визуальные соответствия – это другой аспект. Здесь следует добиваться соответствия: два кадра, имеющие одинаковую длительность и о чем-то напоминающие. Однако чтобы понять это, приходится, к несчастью, смотреть фильм несколько раз. Приходится рассчитывать на видеомагнитофон.

«Positif». *Много ли вы видели в Чили американских фильмов класса Б?*

P.P. Я понял, что в этой сфере являюсь просто эрудитом. Я видел почти половину фильмов, снятых Реджинальдом Ле Боргом и Фордом Бибом. В Чили мы смотрели все серии «Капитана Марвела» и «Флэша Гордона».

«Positif». *Это и было вашим культурным багажом, когда вы стали делать кино?*

P.P. Нет, только в детстве. Когда мы начали делать кино, самой сильной эмоциональной мотивацией было вот что: «Мы будем снимать какие-то места, и, увидев их, чилийская улица ощутит эффект узнавания». Парижа мы не знали, следовательно, связи не возникало. Привычный говор усиливал национальную монолитность нашей культуры. Как-то раз я попытался объяснить это одному молодому чилийцу, который хочет снимать фильмы в Чили. Но сейчас это уже нельзя делать так, как прежде. Есть телевидение, которого мы не знали. Мне было двадцать лет, когда в Чили появился первый телевизор. Программы новостей, репортажи сделали банальным это поэтическое переживание – отправиться на край света и даже самой материи, пытаясь отыскать некие тайные знаки. Сейчас аудиовизуальный массив, повседневное присутствие телевидения с его прямым звучанием окончательно создали своего рода барьер, который нужно преодолевать, быть может, посредством эстетического шока. Быть может, в этом одна из причин того нового маньеризма, который присутствует везде. Кажется, я так и не ответил на вопрос, но я забыл исходный пункт!

«Positif». *Взаимосвязи с к американскими фильмами класса Б.*

P.P. В неделю мы смотрели по пять-шесть фильмов. Были программы из четырех фильмов, по жанрам: сначала сериал (эпизод из «Капитана Марвела» или «Флэша Гордона), затем музыкальный фильм, потом драматическая комедия, исторический фильм и, наконец, детектив. Мы проводили у телевизора все послеполуденное время, и так было везде, поскольку фильмы продолжались около часа. Хотелось бы вернуть эту наивность. А еще нас привлекало полное отсутствие правдоподобия, глупость этих фильмов. Люди радостно переживали все перипетии сюжета, беспрерывно болтали, смеялись, когда какой-нибудь персонаж в шляпе падал в пропасть и оказывался внизу все в той же шляпе, которая не сдвинулась даже на миллиметр. Когда нам было десять лет, мы предпочитали «Флэша Гордона», главным образом, за его ляпы – некоторые из них были

воистину поэтическими. Мы вступали в более непосредственный диалог с образом, но впечатления это не производило. Когда я смотрел «Плащаницу» или «Камо грядеши», все было иначе.

«Positif». *Вы как-то сказали, что эти глупости порождают некий обмен между зрителем и изображением.*

P.P. Это своего рода договор, обоюдное презрение. Производитель говорит: будем кормить публику глупостями, потому что она глупа. Публика говорит: все люди, которые делают такие фильмы, идиоты.

«Positif». […] *Еще одна связь с классом Б, приключение…*

P.P. Мне бы очень хотелось снимать настоящие приключенческие фильмы, настоящие мелодрамы, но одному это сделать невозможно. Это невозможно сделать в рамках авторского кино, потому что оно неизбежно насыщается значениями. Такие фильмы нужно делать быстро, их надо делать много, переходить от одного к другому – именно это дает отдачу, легкость, стиль. Если бы мне дали снять серий тридцать неважно чего, у меня обязательно получилось бы, причем без потери многозначности, но с приобретением новых возможностей – визуальных, нарративных, кинематографических. Я убежден, что как раз сейчас рождаются некие новые силы в этих галактических сериалах от трехсот де шестисот эпизодов каждый, придуманных бразильцами из Глобо. Потому что сериал из шестисот эпизодов уже не может иметь истории, поскольку их нужно много – больше, чем в «Далласе» – и почти с одними и теми же персонажами. Это настоящие галактики. Единственное, что необходимо – найти таких персонажей, которых словно бы знаешь. В такую мелодраму можно включать все. Именно массив дает возможность поработать с материалом – очень свободно и не теряя отдачи. Но это не для меня.

«Positif». […] *Какой литературный источник вдохновил вас на создание «Города пиратов»?*

P.P. Как я уже сказал, отправной точкой был Лезама Лима. Не какое-то отдельное произведение или глава, а нарративные приемы. А хотелось мне сделать «Алкион» Пьера Эрбара. Я уже второй раз пытаюсь сделать «Алкион». Первый раз это было в Голландии. Тогда я не смог. Мне пришлось снимать «На спине кита». Во второй раз, когда все было готово, мы обнаружили, что «Алкион» продан другой студии, которая сделала телевизионный фильм. За две недели до съемок мне пришлось полностью поменять сценарий.

«Positif». *Что заинтересовало вас в «Алкионе»? И что осталось от этого в «Городе пиратов»?*

P.P. Здесь два аспекта. Во-первых, аспект серии Б. Это ведь история для нищего продюсера – три персонажа на необитаемом острове. Формула классическая. Аспект, который меня интересовал, это возможность говорить о резне конкретно и в то же время косвенно, поэтическим образом. Это была знаменитая

сцена: двое детей убегают из дома в поисках приключений, попадают на необитаемый остров, словно новые Робинзоны, но речь идет об острове Поркероль. Там они находят следы пребывания людей, потом кладбище. Они начинают рассматривать надписи на могилах: родился в таком-то году, умер в двенадцать лет, родился в таком-то году, умер в десять, восемь, одиннадцать лет. Это кладбище детей. Потом они узнают, что на этом острове была детская колония, что произошел бунт и что многих детей, скорее всего, убили. Они встречают охранника, которому кажется, что один из двоих детей является реинкарнацией вожака мятежников. Словом, это фильм, где косвенным образом говорится о том, что затрагивает такого человека, как я. С другой стороны, имеется достаточно фантастических элементов, чтобы работать с такой формой кино, которая меня очень интересует. Этот фильм можно рассматривать как некий сюрреалистический коллаж из нескольких лубочных картинок. Сначала видишь ребенка, который убил всех членов своей семьи, потом видишь историю любви ребенка и гувернантки, еще одна лубочная картинка. Они вместе отправляются на необитаемый остров. Вся игра построена на исчезновении ребенка и появления безумца в некоем замке.

Это две истории о подростках в духе классической подростковой литературы, и, в конечном счете, этот мятежник становится своего рода Питером Пэном, но в то же время он – диктатор, уступивший соблазну фашизма. Если выявить все элементы, составляющие фильм, это элементы с очень простой символикой, чья сила в том, что устанавливается связь между нарративными лубочными картинками и визуальными образами, которые являются антиподами предыдущих образов – скорее сюрреалистических. И есть еще один аспект. Это больше, чем отсылка к Мурнау. Я хотел сделать то, что Мурнау назвал «меланхолическим рассветом». Это означает, что надо снимать в тот момент, когда занимается заря, появляется солнце, все становится прекрасным, потому что светлеет очень быстро. Потом камеру оставляют на том же самом месте и снимают в момент наступления сумерек. При наложении кадров все становится более печальным. Если есть дерево или стена, любой объект – он становится темным, хотя солнце встает. Это двойной эффект. В данном фильме мы не смогли этого сделать, это пригодится для другого фильма, но желание сделать нечто подобное было постоянным, и исходило оно из желания показать пейзаж во всем, что есть в нем странного. Другие же визуальные отсылки, если они вообще есть – это художник Фридрих.

«Positif». […] *Вы часто говорите, что именно короткометражные фильмы позволили вам сделать ту или иную вещь. Что такое короткометражка для вас? Пробный шар или возможность поэкспериментировать с разными вещами?*

P.P. И то, и другое. Обычно, сняв полнометражный фильм, я сознаю, что мог бы сказать то же самое за три или пять минут. Тогда я это делаю и экспериментирую, имея в виду другой фильм. Короткометражки – это начало и конец определенной трактовки.

«Positif». *Вы часто говорите, что полнометражные фильмы каждый раз являют собой некий вызов и эксперимент с техникой расположения. В «Трех кронах моряка» это уже не идея фильма, а план идеи…*

P.P. По поводу этого фильма один продюсер в шутку сказал мне, что это рекламный ролик, нечто вроде каталога тех вещей, которые я мог бы сделать, если бы кто-то захотел в дальнейшем использовать меня в качестве режиссера. Если вы дадите мне сценарий, я могу сделать ту или иную вещь… Словно вокруг истории существуют альтернативы, которых внутри самой истории на самом деле нет. Думаю, что здесь еще и личная проблема. Поскольку в фильме самым непосредственным и прямым образом представлено изгнание, а это затрагивает меня лично, я старался сохранить дистанцию с помощью искусственных приемов, чтобы не впасть в излишний сентиментализм.

«Positif». *Сентиментализм для вас – это соблазн?*

P.P. Да, а разве это не видно?

«Positif». *Еще один личный аспект: море. Ваш отец был моряком.*

P.P. Как и мой дед, и мой прадед. Очень долго я не осмеливался снимать фильмы о моряках, портах, кораблях. «Калюш» – это корабль мертвецов. И даже там я не посмел использовать миф. Обратил его в шутку. Обычно корабль мертвецов представляет собой корабль-призрак, и это всегда парусник. А здесь баржа, что, на мой взгляд, забавно. Мой отец посмеялся бы.

«Positif». *Вернемся к чувству, к той дистанции, которую вы хотите установить, к роли риторики относительно чувства, к равновесию между эмоциональностью и формализацией.*

P.P. Конечно, с первого взгляда понятно, что в моих фильмах есть игра – игра ума, игра слов. И есть проблема риторики. По-настоящему интересоваться риторикой я стал только в Европе и по причинам вполне практического свойства. Это позволило мне приобщиться к культуре европейских стран. Прежде я встречался лишь со случайными элементами риторики, а не с риторикой как таковой. Если посмотреть на иммигрантов, которые приехали до меня, как Ионеско, мне кажется, что его также интересовало все, что есть ущербного в риторике, ее скрытая бессмыслица, то есть абсурд. Ну, а меня интересовала, прежде всего, сама проблема риторики. Нужно встать на латиноамериканскую точку зрения в отношении газет. Будем исходить из факта, что они всегда лгут, даже когда говорят правду. Вся реальность начинает казаться неправдоподобной, и это именуют риторикой, потому что риторика становится реальностью – в том смысле, что это всего лишь форма, лишенная содержания. С другой стороны, в Европе некоторые риторические формулы соответствуют реальному положению вещей, оставаясь при этом риторическими.

Например, автомобиль – это вещь, которую производят в Европе. Есть связь между производством автомобиля и тем символом роскоши, каким является автомобиль. Это больше не отживший символ, а составной элемент реальности. Следовательно, связь между реальностью и риторикой очень крепка. Вот что приводит в экстаз меня, как и любого латиноамериканца: связь между

символами и реальностью. Много раз мы обсуждали это с другими чилийцами, причем все говорили о латиноамериканской мифологии и ее богатстве.

Наша проблема – прямо противоположная. Это отсутствие веры, своеобразная негативная мифология. В Чили я знавал людей, которые не верили в реальность полета на Луну. Они говорили: это выдумка американского империализма. Некоторые отрицают существование китов, хотя их ловят и едят. Есть один остров: его можно увидеть из Вальпараисо перед дождем. Все его видят, он находится вон там, это обычное оптическое явление. Но все называют это мифом, суеверием. Хотя его можно увидеть, а потом обязательно начинается дождь. Эти очевидные вещи, в которые не верят, составляют самую мощную и самую противоречивую мифологию в Чили. На меня, как на любого чилийца, сильнейшее впечатление производит тот факт, что мифы и риторические жесты, даже когда они забавны, даже когда они представляются забавными тем людям, которые их делают, связаны с обыденной жизнью. Думаю, что это не только в Чили. Я помню одну фразу Хорхе Луиса Борхеса об испытанном им шоке, когда он узнал, что хорошо знакомые ему люди, которые были у него частыми гостями, называются «леваками» и многократно описаны в книгах. Открытие этой связи между реальностью и мифом всегда впечатляет.

«Positif». *Почему вы думаете, что эмоциональность, составляющая очень большую часть латиноамериканской культуры (музыка, песня, традиция мелодрамы) должна быть незаметной на экране? В ваших последних фильмах проявляются очень сильные, противоречивые, можно сказать, безудержные чувства. Почему вы думаете, что эмоции следует фильтровать?*

P.P. В число негативных мифов входит убеждение, что эмоций не существует. Это будто бы имитация с целью извлечь какую-то выгоду. В Латинской Америке много говорят о чувстве, но чилийцы в этом смысле не отличаются особой чувствительностью. Они скрывают чувства и пытаются отрицать само их существование. Один из друзей сказал мне: «Чилийцы никогда не влюбляются, потому что стыдятся этого». Если можно говорить о чувстве, то лишь в таком роде. Нам всегда не по себе. Мы раздражительны. Это нечто вроде национальной болезни: на все чувства, включая гнев, мы смотрим косо. Говорят, что склонность к насилию присуща детям или женщинам. В смысле отношения к женщинам это особый континент. В Латинской Америке, действительно, существует мелодрама, но ходят на нее только женщины. Мужчины смотрят тайком. В моем случае это другая сторона проблемы. Показ чувства означает, что не будет его ощущения. Ощутить его можно, если оно показано косвенно, показывать прямо нельзя никогда. Быть может, это не совсем верно, но мне кажется, каждый раз, когда в кино что-нибудь представлено явным образом, это сразу же исчезает. Человек, посмотревший фильм, полагает, что все понял. Одна из самых моих любимых систем в сфере кинематографической эмоции состоит в том, что нужно заставить поверить, будто вещь, которую начинаешь смотреть, банальна и проста. Публика устраивается поуютнее, и внезапно получает нечто прямо противоположное. Некоторые вещи воспринимаются как ляпы, но это было сделано специально. Я получаю огромное наслаждение от фильмов Хичкока, в частности, из-за этого. Он с этим постоянно

играет. В «Птицах» есть персонажи, которые совершенно не реагируют на стаи птиц, захватывающих город.

«Positif». […] *Вам ведь нравятся каталоги и библиотеки?*

P.P. Да. Это одно из чисто латиноамериканских предпочтений, хотя я не знаю, по-прежнему ли это так. Первоначально это объяснялось тем, что было мало книг и их очень берегли, следовательно, читали и учили наизусть. Это была роскошь, по крайней мере, в Чили. Я помню одного своего друга, обладавшего огромным культурным багажом, но багаж этот был приобретен в маленькой деревне, где имелась только одна библиотека с двумя сотнями названий. Мой друг одолел их к одиннадцати годам. С одиннадцати до двадцати, когда он уехал из деревни, ему удалось выучить их наизусть, и вся полнота мира свелась для него к этим двум сотням книг. Он стал образованным человеком именно в этом смысле: его энциклопедизм фактически сократил мир до одной довольно скромной библиотеки. Когда освоишь эти две сотни томов, начинаешь комбинировать, прибегать к ассоциациям, и это создает впечатление гигантского культурного багажа. Хорхе Луис Борхес, несомненно, обладает громадным культурным багажом. Но если внимательно прочесть некоторые из его сочинений, увидишь, что он постоянно цитирует «Испано-американский словарь»: четверть его ссылок оттуда, чего он, впрочем, и не скрывает. Я говорю об энциклопедизме, потому что везде в Латинской Америке наблюдается это стремление создавать энциклопедии, везде есть идея Суммы. Рикардо Пальма сделал это в Перу, энциклопедисты Центральной Америки – почти современники французов, они появились в конце XVIII века. Есть также Альфонсо Рейес, Педро Энрикес Урена, а также Лезама Лима, Маседонио Фернандес. Все это люди, которые разделяют одну поэтическую цель: говорить о культуре как о совокупности данных, сохраняемых в библиотеке. Иногда, как в случае с моим другом, маленькой библиотеке. Потом появляется идея сочинить библиотеку – создать энциклопедию. В моем фильме «Никто ничего не сказал» (*Nadie dijo nada)* один эпизод происходит в трех громадных залах, где высятся целые горы книг. И книги эти принадлежат так называемой «Чилийской энциклопедии». Это разного рода сочинения о Чили, написанные для энциклопедии. Для нее делались вещи неслыханные: например, каждому профессору философии заказали статью, в которой следовало изложить свои мысли и убеждения. Там были тысячи различных философских систем, многостраничные каталоги объектов, хоть как-то связанных друг с другом, все извращения любой энциклопедии там наличествовали. Для каждой буквы завели отдел. И между ними было соперничество, устраивались футбольные матчи между буквой H и буквой N. Потом имеется еще и проблема заучивания: посмотрите, как много есть людей, которые целые страницы запоминают наизусть, что дает ложное впечатление культурного багажа. Впрочем, это своего рода культура, даже если сама суть культуры теряется в стремлении тасовать науки и сведения, устанавливать ассоциативные связи – иногда извращенные, иногда гениальные – между двумя элементами, которые не имеют между собой ничего общего. Именно поэтому во Франции часто говорят о заштампованном мышлении применительно к Латинской Америке: сразу видишь латиноамериканского интеллектуала, который рассуждает о теории относительности и, начав с Сервантеса, заканчивает цитатой из Бретона.

«Positif». *Когда вы цитируете Маседонио Фернандеса, Борхеса, даже Лезаму Лиму, это несколько отличается от изначальной энциклопедии: и дело тут не только в познаниях, здесь сказывается очень сильное игровое начало…*

P.P. Вот именно. Если принять такой латиноамериканский подход к энциклопедии, убеждаешься, что идеи Новалиса…

«Positif». *Но это тоже поэт. Мы здесь думаем скорее о Ларуссе, во Франции авторы энциклопедий не слишком склонны к игре…*

P.P. Игровой аспект рождается из ситуативной аберрации, из ситуативной деформации. Я говорю о «Чилийской энциклопедии», которую хорошо знаю. Или об «Истории Гондураса», в которой было пять глав: они добрались только до греков, даже до Рима не дошли, Европа отсутствовала полностью, но это все равно именовалось «Историей Гондураса». В «Истории Чили» Энсины было тридцать пять томов; еще одна история Чили, написанная в 1885 года Бульнесом, имела около десятка томов, и в каждом – примерно тысяча двести страниц…

«Positif». *Мы чаще встречались во время показа старых, а не новых фильмов.*

P.P. Да, верно, но это случайность.

«Positif». *Но вы, стало быть, пересматриваете некоторые фильмы. Вы говорили о Мурнау…*

P.P. Постоянно. История кинематографа – это не настоящая история, это пародия. Сначала кино было одним, потом изменилось, стало другим, потом опять другим. Фактически, это происходило медленнее. Но возникает впечатление, будто кому-то пришло в голову, что у кино должна быть история, следовательно, время от времени нужно что-то менять, двигаясь в придуманном направлении. Так, долгое время господствовала идея, что надо стремиться ко все большей реальности, и все этому следовали: техники, лаборатории, где создавались новые кинопленки, режиссеры. Кончилось же это крайним натурализмом. Потом в какой-то момент история кино прекратилась, и мне кажется, что сейчас это становится очевидным для всех. Это означает, что надо делать кино, а не пытаться войти в его историю с какой-нибудь новой идеей, которая что-нибудь добавит к тому понятию, какое имели о кино прежде. Я интересуюсь старыми фильмами, поскольку там есть то, что было слишком поспешно заброшено – некоторые утерянные подходы, технические приемы. Появление новой волны, к примеру, было в этом смысле катастрофическим. Во Франции это привело к потере большинства специалистов, умевших образцовым образом выстроить кадр, хотя зачастую без всякой отдачи, но это, впрочем, уже другая проблема. Кадры выстраивали с таким блеском, что при возврате к этим способам можно было бы делать совершенно разные фильмы. Для этого нужно просто изучить кадры подобного типа, реальные возможные марли, сетки, фильтра. Только благодаря Анри Алекану эти возможности были осознаны, и началось их осмысление как теоретической проблемы. Также у Пенлеве, в научно-документальном кино, можно многое

почерпнуть для художественного фильма. У меня был один проект – не знаю, куда его пристроить, быть может, в следующем году мне удастся выкроить минутку – проект снять растительного «Фауста», с персонажами-растениями. Мой друг-ботаник рассказывал мне истории про растения, которые враждуют между собой, ненавидят и убивают друг друга. И о растениях, совершающих деяния шекспировского размаха, чтобы оградить свои права, привилегии свои и своих детей, предпринимающих соответственные усилия и затевающих войны с целью защитить себя. Поскольку такое случается в основном с травами, действие происходит очень быстро. Я подумал тогда о триллере, о детективе с растениями. Возможно, «Фауст» или, что лучше, «Гулливер», потому что в физическом облике растений есть нечто фантастическое. Если снимать кадр за кадром, с помощью технических приемов, характерных для научно-документального кино, можно добиться впечатляющих результатов. Я не знаю, как обстоит дело с дисциплиной у таких актеров, как растения, возможно, у них есть склонность вылезать из кадра, потому что камера двигаться не может… Я подумал о «Фаусте», поскольку там имеются появления и исчезновения, чудеса, растения, которые возникают мгновенно, как грибы, в их перемещениях к свету есть нечто дьявольское… Это позволяет играть в чудеса на основе полного натурализма. И еще обыграть некоторые идеи Гете о растениях: это также и Гумбольдт.

«Positif». *Вы упомянули новую французскую волну. Можно вспомнить, что в Латинской Америке новое кино также в некотором роде убило мелодраму и старую комедию…*

P.P. Это верно, но были ли они убиты или уже мертвы? Ведь Глаубер Роша никогда не нападал на народную мелодраму, он боролся скорее с вторжением американских фильмов, которое в то время, впрочем, уже шло на убыль.

«Positif». *Он нападал на народную комедию, которая в Бразилия была равна мелодраме. Для него это был враг номер один…*

P.P. О да! Но как-то раз он мне сказал, что враг номер один – это Фред Астор. Он постоянно менял врагов номер один…

«Positif». *Вы говорили о стереотипах на французском телевидении. Вы сняли фильм об истории Франции, увиденной сквозь призму радиоспектаклей и романов с продолжением. С другой стороны, в «Гипотезе об украденной картине» или в «Трех кронах матроса» можно обнаружить концепцию истории как фигуративного искусства. В свое время вы были очевидцем чилийских событий, вы видели, как зарождалось кино Альенде – кино, пытавшееся показать Историю, которая совершается здесь и сейчас. Что вы думаете об этой проблеме представления Истории?*

P.P. Я предпочел бы обсудить ту проблему, которую мы начали обсуждать: соотношение между фактом культуры и реальностью страны. Картину нельзя сделать безнаказанно, это будет иметь последствия. Тогда как наша концепция культуры исходит из того, что нужно только тратить и что это в любом случае созвучно, если можно так выразиться, природе. Есть одно высказывание о мексиканской

истории, применимое ко всей остальной Латинской Америке: история действует методом отсечения головы, время от времени мы начинаем с нуля. Впрочем, охотно используется и другая фраза: надо все забыть, начнем все сначала.

«Positif». *Это сказка про белого бычка…*

P.P. Да, мы возвращаемся в исходную точку. Это часто называют революцией. Настоящая революция состоит в том, что все подвергается сомнению и начинается сначала. Это не означает, будто делают нечто другое, напротив, делают ровно то же самое, что прежде, но иногда с другой целью, иногда с той же самой. Прочитав впервые историю Францию (поскольку фильм сделан по учебникам, это монтаж), я был поражен сходством с историей Чили, история обеих стран начинается одинаково. У вас были галлы, у нас арауканы, эти варвары отличались доблестью – используются одни и те же формулировки. Понятно, говоришь себе, чилийцы скопировали историю Франции, и это верно. Но нужно видеть, в какую эпоху. История как литературный жанр в Чили – современница истории как литературного жанра во Франции. Чили изобрели почти одновременно с Францией. Я говорю об изобретении стереотипов французской истории к середине XIX века: выдать центральную власть за главную движущую силу истории – это изобретение Мишле, Виктора Гюго, творцов фикции, которая именуется историей Франции. История Чили начинается параллельно, возможно, на десять-пятнадцать лет позже. Это очень противоречивые явления. Потому что в одном случае это соответствует некоему типу поведения, даже если это было изобретено в качестве литературного жанра, как во Франции. В Чили, напротив, это не соответствует ничему. Именно эти взаимосвязи между культурой и истиной, возможность играть с ними – вот что меня привлекло. Когда смотришь «Гипотезу об украденной картине», видишь сцены, в которых нет ничего особенного, но они едва не вызвали скандал. Естественно, всегда можно сказать, что я думал о других странах, в которых связи между культурой и реальностью столь же тесны, крепки, взаимозависимы, как в социалистических странах, где нарисовать картину означает совершить настоящее преступление, или в католической Церкви, где эта связь существует без видимой причины. Ибо картина, даже в непрочном обществе, не может быть опасной. Я отказываюсь в это верить. Даже допуская, что социалистическое общество, которому угрожают и внешние, и внутренние враги, само по себе настолько слабое, что должно бояться не только любого протеста, но и любого разнообразия. Это необъяснимо, но так происходит. Что касается истории Франции, меня упрекали в том, что я был недостаточно критичен и не показал, как плохо ее преподают, как много в ней лжи, искажений, умолчаний. Но совпадения текстов и стереотипов привели меня в такой экстаз, что это показалось мне ненужным. Достаточно насытить текст визуальными стереотипами, чтобы понять, на каких взаимосвязях он держится. Дети рассказывали легенду, которая основана на реальных фактах. В истории Франции есть восхитительные моменты, созданные для такого рода мизансцен. Например, рыцарь Баярд сражается с двумя сотнями испанцев, защищая мост Гарильяно. В этой мизансцене за недостатком средств мы использовали пятнадцать человек. Было видно, насколько это невозможно в условиях рукопашного боя тех времен. Мизансцена становилась отрицанием того самого текста, который призвана была иллюстрировать и прославлять.

Интервью* журналу «Miroirs du cinéma»

Рауль Руис. Если верно, что поэзия создается не с помощью концепций или идей, но с помощью слов, которые обладают некой силой, то можно сказать, что кино создается с помощью жестов и объектов, пространственных игр, возникающих благодаря соединению этих двух понятий. В таком ракурсе религии представляют собой механизмы, придающие ценность объектам и функционирующие посредством жестов. Только это и интересует меня в религиях, потому что я не принадлежу к числу верующих. Все религии, исповедуемые на Западе, интегрировали проекты, призванные изменить мир, и равным образом движения различных политических партий изобрели концептуальные механизмы, которые получили название «идеологии» и были также предназначены для преобразования мира. Использование религии означало, стало быть, метафору для осуществления транспозиции в какое-то другое место – которое, впрочем, никому не принадлежит, поскольку сегодня гораздо меньше верующих и исполняющих обряды, – и это место представлялось мне некой *ничейной землей*, где можно было показать, что такое идеологический механизм, в чем может он принадлежать любой тенденции и как функционировал бы самостоятельно. Применительно к разрыву, который произошел между религией и верой, я воспользуюсь выражением Честертона: «С тех пор, как люди перестали верить в Бога, они верят любым бредням». Объектов больше нет, но функция веры продолжает существовать. И более всего поражает то, что этот механизм всегда был содержанием сам по себе. Именно это заинтересовало меня в новелле Кафки «Исправительная колония», где обыгрывается двусмысленность механизма одновременно «холостого» и ни с кем не связанного. Механизм используют так же, как он использует нас. Современное искусство в значительной части порождено этим взаимодействием механизма и того, кем манипулируют: можно было бы сказать – механизма и его штуковины. В «Исправительной колонии» закон, написанный на теле персонажа, не исходит из какой-то высшей инстанции – это всего лишь закон, принятый человеческими существами и вступивший в силу благодаря изощренным системам медиации.

Но я никогда не верил в объективное существование человеческого тела. Как любой добрый чилиец, я верю, что тело – это мусорный бак, к которому приставили голову. Это мешок с нечистотами. Я очень уважаю нечистоты. Я воображаю вымышленную систему вселенной, называемой «телом», как ряд объектов или кусков говядины, которые и являют собой тела наших предков (и наши тела тоже). «Протопластический Адам» каббалиста Лурии – персонаж, долго меня забавлявший, – воплощает представление о мире как о гигантском человеческом теле, внутри которого живут люди. Или же крохотное тело Гулливера – развлечения такого рода, связанные с изменением масштаба, всегда приводили меня в экстаз. Но каждое отдельное тело в его садомазохистских взаимоотношениях сразу

* *Propos recueillis par Jacinto Lageira*, Parachute, *№ 67, 1992 [Записал Хасинто Лагейра, № 67, 1992]*

заставляет меня подумать… о тропических фруктах. И, следовательно, об импорте/экспорте, следовательно, о колониализме, экономике, потреблении тел. В июле этого года я устрою в Научном городке Ла Вийетт (Париж) четыре инсталляции с птицами и фруктами, интерпретирующие воображаемое «ультрамарино», воображаемое заморское, воображаемое странствий, привозных продуктов, магазинов, где торгуют экзотическими товарами. Я сам стараюсь получить эмоциональное впечатление от вкусов и запахов, принадлежащих другим культурам и другим регионам мира. Это понятие импорт/экспорт гораздо ближе к идеям Фернана Броделя, нежели Маркса. Я собираюсь показать радость и страдание импорта/экспорта в его экономическом и воображаемом аспектах, поскольку все связано с вещами конкретными, которые можно есть, нюхать, осязать, это вещи, которые тело может усвоить. На самом деле, слово «тело» меня смущает. Быть может, потому что в нем всего два слога. В фильме «Реальное присутствие» персонажи во время ужина заболевают чумой, на их телах появляются бубоны, и один из них начинать читать наизусть басню Лафонтена «Зачумленные животные». Это также аллюзия на идеи Арто: «вопль», крики, которые не слышны. Для меня же это всего лишь вопрос облачения. Речь идет о том, чтобы одеть объекты, тела, но не перемещать их. Тела, которые скорее похожи на куски испорченного мяса или на комиксы. В конечном счете, это всего лишь шутка. Но я отношусь к шуткам очень серьезно.

У меня, кстати, имеется одна космологическая теория о существовании мира: я полагаю, что мир был создан как шутка, и с этой точки зрения нет ничего серьезнее шуток. Каждый раз, когда рождается какая-нибудь убийственная теория, она является как шутка, чтобы, в конце концов, превратиться в осязаемую реальность. Словно в шутку, кто-то говорит «Бог существует», люди начинают верить в его существование, затем возникает религия, вот тут-то все и начинается. А кто-нибудь другой заявляет, что «мы все равны», изобретается нечто очень красивое, именуемое «коммунизмом»; мало-помалу шутка становится все более серьезной, она разрастается…, и механизм уже функционирует сам по себе. Идея, что исток любого явления заключен в шутке, меня не слишком веселит. И не надо воспринимать это как некое надувательство, которое предполагает, что вещь обретает большую ценность за счет другой. Есть хороший рецепт, пригодный для большинства случаев: каждый раз, когда нечто появляется как шутка, это серьезно, и наоборот. В моем фильме «Лживые глаза» чудо, которое в действительности противостоит религии, воспринимается как шутка. Чудо всегда шутка: Бог создал законы природы, считается, что он сам – часть ее, а потом происходят чудеса, словно Бог занимается «корректировкой стрельбы», чтобы исправить положение дел, когда люди, эти творцы свободы, ошибаются и заблуждаются. Наконец, шутки, подобно логике, находятся «вне мира»: можно заниматься логикой, не обращая внимания на вещный мир, однако нельзя заниматься логикой, не прибегая к шуткам. Все эти соображение, наверное, не имеют значения для обыденной жизни, но в моих фильмах это часто действует.

Кино – это механическое зеркало, обладающее памятью. Это зеркало разновременное, его темпоральность и точка зрения постоянно меняются, но его Нарцисс остается неизменным. Просто поражаешься, сколько есть способов войти

в это зеркало, включающее в себя другие зеркала, в котором можно путешествовать и делать массу других вещей! Мы будем всегда *ограничены* этим ограниченным кривым зеркалом – этим кино, способным отравить зрителя, заразить его своей узостью. Все рассуждают о концепции кино как искусства трансфигурации и фотогеничности, но в нем есть также упрощение, а способ, каким кино упрощает вещи, делает их плоскими, поражает гораздо больше, чем способ превознести их. Аспект фотогеничности менее интересен, чем аспект преступности: через свои механизмы кино убивает все, к чему прикасается, показывает все на одном плане, на одной линии, как в «теории». Кино – это уплощение реального мира. Поначалу приходишь в экстаз от его способности осознать это, однако очень быстро убеждаешься, что это уплощение трагично. Я не часто получаю удовлетворение от сделанных мною фильмов, но всегда прихожу в экстаз от зрелища, которое мне предлагает кино, от его способности уничтожить все, показывая одновременно несколько состояний дежа-вю во всех его разновидностях.

Многие мыслители, начиная, по крайней мере, с Бергсона, утверждали, что кино принимает в расчет длительность, энтропию, работу смерти, смену времен. Но верно ли это? Столько длительностей сосуществуют внутри одного кинематографического кадра, что очень трудно осознать, как они аннигилируются, уничтожают друг друга, становятся хищными. В некоторых моих фильмах, кстати, значение имеет тема времени не текущего, но прошедшего, поэтому уплощение совершается не в том, что предстает настоящим, а в том, что уже произошло; можно смотреть на вещи и под таким углом зрения. Иногда пытаешься найти, посредством различных отступлений в прошлое, недостающие вещи, и тогда это другая игра – игра с неполнотой. Если в коллекции картин есть недостающий элемент («Гипотеза об украденной картине»), это неполнота. Само кино, по определению, неполно. Делаешь дубль и говоришь «режьте!», в действительности фильм должен был бы продолжаться бесконечно…, но нет! Переделываешь другой план и говоришь «режьте!»; вот тут-то и сцепляешь намертво два разных живых объекта, которые, между тем, продолжали свою жизнь. Понять такой «ляп» довольно просто при монтаже: достаточно дать дублю продлиться чуть больше, чем обычно, и зрители спрашивают, что происходит, почему это не отрезано; в этот момент мы отрезаем и сразу чувствуем, что это должно было бы продлиться еще немного. Если снять целый фильм с подобными планами, можно увидеть необычное и странное во всем их объеме. Профессора из киношкол станут тупо повторять, что фильм плохо смонтирован, ведь они полагают, что у каждого кадра есть «точка падения», которая дает возможность отрезать в определенном месте и переходить к другому кадру. Но именно эту точку падения и следует сохранять, поскольку она питает хищников. Она позволяет осознать ту множественность кинематографических длительностей, которой можно воспользоваться. Мыслители, рассуждавшие о длительности в кино, настойчиво поднимают эту проблему, но заметно, что они никогда не держали в руках пленку и не ведают, что целлулоидный кадр сделан из лошадиных костей.

С другой стороны, я убежден, что все уже было снято в снах наших предков задолго до изобретения кино. Сейчас я читаю роман Мишеля Жуве «Замок сновидений» и вижу, что отчасти продолжаю его линию. Он развивает гипотезу о том,

что сон – это мир, отличный от пробуждения, и его функция – управлять переходом из одного мира в другой. Как сказал бы Сведенборг, управление это осуществляется с помощью соответствий и трансформаций. У сна имеются эпизоды и архетипические формы монтажа, существовавшие до эры кино. Например, такая форма: крупный план/направление взгляда/объект, увиденный человеком, который смотрит/реакция этого человека проявляется во сне, до кинематографического кадра. Это восхитительная неполнота, присущая сновидению и кино. Уже давно различают кино/сон и кино/память. Но в случае кино/памяти речь идет о зеркале, обладающем способностью вспоминать; в системе сна кино как раз разбивает зеркало. И все же мы ищем один кадр. Что до меня, то я склоняюсь, скорее, к сочетанию обоих систем: мне кажется, что кино функционирует как память сна и как зеркало событий, которые изображаются достаточно странными для того, чтобы оторвать их от механистической жизни, от зрелища, и придать им функцию соответствия – здесь я вновь использую выражения Сведенборга.

Меня очень интересуют классические функции мозга: ощущение, восприятие, память, воображение, сознание. В кино такими проблемами уже давно перестали заниматься, говорят все больше о «публике» и о «точном попадании». Снова эти хищники! Знать, *что делается* в кино – вот вопрос, которым почти никто не задается. Что касается меня, я размышляю скорее о вещах, оторванных от кино как классической дисциплины, и когда я работаю над какой-нибудь концепцией, сам не знаю, будет ли это пьеса, фильм, текст, инсталляция или государственный переворот (пусть хоть удар молнии). Это любопытно, ведь сейчас очень популярны теории об искусствах чистых и нечистых, причем кино попадает в категорию нечистых – следовательно, не считается подлинным искусством. А вот живопись, напротив, принадлежит к чистым (см. Сюзанну Лангер). Даже кино, некогда сумевшее, невзирая на свою нечистоту, найти собственную специфику, все больше и больше отрывается от самого себя и включается в игру, где сосуществуют прочие искусства, которые также становятся нечистыми – лишенными объекта, плоти, тела, даже нечистот! И сам человек становятся чем-то неустойчивым. Например, виртуальные образы – это имитации или сигналы мозговой деятельности, и в этих образах нет ничего соблазнительного.

Экономический дискурс представляет собой еще одну иллюстрацию этого отрыва: все работают с графиками, тенденциями, векторами, алгоритмами. Между тем, экономика создавала теорию денег, циркулирующих с целью покупки соблазнительных вещей. Но пока этого отрыва не происходит в экономике – которую всегда считали большой кокоткой, верящей только фактам, – в искусстве это уже произошло. В настоящее время я пытаюсь сделать фильм о мифологии денег. У меня уже есть идеи… и договор! У меня есть деньги, чтобы снять кое-что о деньгах!

В некоторых течениях современной науки – в частности, в математике и, более конкретно, в теории игр Джона Конвея – наметилась тенденция входить в конкретику самого научного объекта. Это огромные абстрактные существа, которые могут становиться лицами и конкретными телами. «Игры жизни» Конвея – всего лишь компьютерная анимация игры с точками: если сближаешься с одной точкой – умираешь, с двумя точками – сопротивляешься, с тремя – создаешь

новую точку, некоторые фигуры воспроизводят сами себя, другие смыкаются в кольцо, третьи умирают или становятся вечными. Иногда это очень большие фигуры с широкой амплитудой движения. Но в данном случае концепты не менее сложны, хотя наука всегда стремилась свести совокупность явлений к некой формуле, синтезировать их в более простые элементы. Мы же видим науку, для которой концепты *являются* объектами изучения. Объект и символизация объекта – это одно и то же. В подобной теории речь идет о крайностях, когда формулировка есть всего лишь разъяснение правил самой игры. Игра не разъясняется: имеются правила, и по ним следует играть. Каждый изобретает правила по собственной воле. Информатика сделала возможным появление «суждений», в которых абстрактные объекты обретают такую же консистенцию, как у мультипликационных персонажей в кино. И круг замыкается.

Что до меня, то я работаю над моделями, где разыгрывается несколько игр: это «четверные» или «пятерные» игры, которые обретают индивидуальность в играх с другими индивидуумами, разыгрывающими столько же или меньше игр, и эти объединения индивидуумов представляют собой набор игральных костей с различным количеством граней. Это нечто вроде бродячего стада, пасущегося на бесконечной равнине, где с одной стороны находится стена с дырой, и это не что иное как нулевое число, в котором две функции числа разделены. Иными словами, одна из них имеет «эффект остановки» (… 3, 2, 1, 0), а другая – «эффект зеркала» (… 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3…). Короче говоря, все эти стада, словно странствующие зоны, заменяют концепцию точек, что предвидел уже Уайтхед, который в своей книге «Процесс и реальность» предложил заменить концепцию «точки» концепцией «региона». Почему бы не представить тогда игру в виде странствующих регионов, внутри которых было бы определенное или неопределенное количество костей с определенным или неопределенным количеством граней, причем внутри каждой кости были бы другие кости в определенном или неопределенном количестве, но имеющие каждая свою тенденцию, например, тенденцию стремиться к нулю, иными словами, кости… фальшивые, а внутри этих фальшивых костей еще и «тенденциозная пыль», приводящая к «переменчивому» действию. В придуманных программистами механизмах «машина Тьюринга» отставлена в сторону, там работают без памяти или же с объектами, которые сами являются памятью механизма, но это объекты действующие и функционирующие посредством симпатии, посредством любви. Любви, осмысляемой в музыкальном плане, имеющей ряд серий, которые согласуются или не согласуются. Следовательно, эти механизмы служат для того, чтобы играть полифонические системы – прекрасные, но совсем не обязательно полезные. Это может показаться трагичным, но если представить эти механизмы в качестве переходных, то все не так уж серьезно.

Перевод Елены Мурашкинцевой

ТЕОРИИ

УИЛЬЯМ БЕРРОУЗ

ГРАНИЦЫ КОНТРОЛЯ

Растет интерес к новым способам контролировать сознание. Существует версия, что Сирхан Сирхан[1] подвергся постгипнотическому внушению, когда сидел, трясясь от страха, на мармите в кухне отеля «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, в то время как некая женщина держала его и шептала ему на ухо. Есть сведения, что методы изменения поведения испытываются на проблемных заключенных и пациентах лечебниц, причем зачастую без их ведома. Доктор Дельгадо[2], которому удалось остановить разъяренного быка, дистанционно управляя электродами в бычьем мозгу, уехал из США, чтобы в Испании продолжить свои эксперименты на человеке. Технократический аппарат контроля Соединенных Штатов имеет под рукой новые методы – промывка мозгов, психотропные наркотики, лоботомия и более утонченные формы психохирургии; если их применят в массовом порядке, 1984 Оруэлла покажется милой утопией.

Но основным инструментом контроля по-прежнему являются слова. Просьбы – это слова. Аргументы – это слова. Приказы – это слова. Ни одно из известных контролирующих устройств не может работать без слов, и любое контролирующее устройство, которое попытается это сделать, полагаясь единственно на внешнюю силу или физическое управление сознанием, вскоре натолкнется на границы контроля.

Главная загвоздка в работе контролирующих устройств заключается в том, что Контролю нужно время, чтобы осуществить контроль. Ибо контролю необходимо сопротивление или согласие; иначе он перестает быть контролем. Я *контролирую* загипнотизированного субъекта (по крайней мере, частично); я *контролирую* раба, собаку, рабочего; но если я каким-то образом устанавливаю *полный* контроль (вставляя в мозг электроды, например), то мой подопечный немногим отличается от магнитофона, камеры, робота. Вы не *контролируете* магнитофон – вы его *используете*. Если не забывать об этом отличии, станет ясно, что тут-то и таится загвоздка. Все системы контроля пытаются сделать контроль как можно жестче, но в то же время, если бы они добились полного успеха, контролировать было бы нечего. Представим, что система контроля установила электроды в мозгах всех

1 Сирхан, Сирхан (р. 1943) – палестинский террорист. 5 июня 1968 в лос-анджелесском отеле «Амбассадор» убил сенатора Роберта Кеннеди. Был приговорен к смертной казни, но по просьбе Эдварда Кеннеди она была заменена на пожизненное заключение. Неоднократные прошения Сирхана об условно-досрочном освобождении отклонялись. (здесь и далее прим. перев.)

2 Хосе Мануэль Родригес Дельгадо (р. 1915), испанский нейрофизиолог. В 1950-73 гг. работал в США. Эксперимент с разъяренным быком, которого Дельгадо успокоил, действуя радиосигналом на вживленный в мозг быка электрод, был проведен в 1965-м году и получил широкую известность.

будущих рабочих, как только те появились на свет. Контроль теперь полный. Даже мысль о восстании неврологически невозможна. Не нужно никакой полиции. Не нужно никакого психологического контроля – просто нажимай кнопки для достижения необходимого возбуждения и действий.

Когда больше нет сопротивления, контроль теряет всякий смысл. Крайне сомнительно, что человеческий организм смог бы вынести полный контроль. Ничего бы не было. Никаких людей. *Жизнь – это воля* (побуждение), и рабочие не были бы больше живыми, – возможно, в буквальном смысле слова. Концепция внушения как метода контроля предполагает, что контроль является частичным, а не полным. Вам не нужно что-либо внушать вашему магнитофону, равно как причинять ему боль, воздействовать физически или убеждать его.

В системе контроля индейцев майя, где священнослужители хранили всемогущие Книги о сезонах и богах, календарь был рассчитан на неграмотность рабочих. Современные системы контроля рассчитаны на всеобщую неграмотность, поскольку они действуют через средства массовой информации – настоящий обоюдоострый инструмент контроля, как продемонстрировал уотергейтский скандал. Системы контроля уязвимы, а средства информации по своей природе неконтролируемы, – по крайней мере, в западном обществе. Альтернативная пресса – это новости, и альтернативное общество – тоже новости, именно так их воспринимают средства массовой информации. Монополия, которой некогда пользовались Херст и Люс[1], рушится. В действительности же, чем более герметичной и на вид успешной является система контроля, тем более уязвимой она становится. Слабость, присущая системе майя, заключается в том, что они не нуждались в вооруженных силах, чтобы контролировать своих рабочих, и в результате оказались без армии, когда она им понадобилась, чтобы сразиться с захватчиками. Таково правило социальных структур: все ненужное атрофируется и через некоторое время приходит в негодность. Лишенные военной практики – не забудьте, что у индейцев майя не было соседей, с которыми можно было ссориться, – они утратили способность воевать. В «Каперсе Майя» я предположил, что такая система герметичного контроля могла быть полностью дезорганизована и разрушена одним-единственным человеком, имевшим доступ к контрольному календарю, от которого все больше и больше зависела система контроля, тогда как обычные средства подавления приходили в негодность.

Рассмотрим ситуацию контроля: десять человек в спасательной шлюпке. Двое вооруженных самозваных лидеров заставляют остальных восьмерых грести, а сами распоряжаются провиантом и водой, придерживая большую часть для себя и распределяя лишь скудную долю, достаточную, чтобы остальные восемь могли грести. Лидеры теперь *вынуждены* установить контроль, чтобы сохранить выгодное положение, которое они не смогли бы удержать без него. В этом случае способ контроля – сила, обладанием оружием. Освободиться от контроля удалось бы в том случае, если бы над лидерами взяли верх и отобрали у них оружие. Случись такое, разумнее всего было бы сразу их убить. Таким образом, лидеры,

1 Уильям Рэндольф Херст (1863-1951) – газетный магнат; Генри Люс (1898-1967) – основатель журнала «Тайм».

начавшие политику контроля, должны продолжать ее ради самосохранения. Кому в таком случае нужно контролировать других, как не тем, кто защищает при помощи такого контроля положение относительного превосходства? Зачем им нужно устанавливать контроль? Потому что они утратили бы свое положение, превосходство, а, скорее всего, и жизнь, если бы ослабили контроль.

Теперь рассмотрим принципы, которым следует контроль в шлюпочном сценарии: два лидера вооружены, скажем, револьверами 38-го калибра – двенадцать выстрелов на восемь потенциальных противников. Они могут спать по очереди. Как бы то ни было, они должны заботиться о том, чтобы восемь гребцов не сообразили, что их собираются убить, когда покажется земля. Даже в этой примитивной ситуации принуждению сопутствуют обман и уговоры. Они утверждают, что высадятся в точке А, оставив остальным достаточно еды, чтобы те добрались до точки Б. У них есть компас, и они разбираются в навигации. Короче говоря, они постараются убедить остальных, что это кооперативное предприятие, в котором все работают для достижения одной цели. Они могут также делать уступки: увеличивать рацион пищи и воды. Уступка, конечно, означает сохранение контроля, то есть права распоряжаться запасами пищи и воды. Убеждениями и уступками они надеются предотвратить согласованное нападение восьмерых гребцов.

На самом деле они собираются отравить питьевую воду, как только покинут шлюпку. Если бы все гребцы это знали, они бы взбунтовались, невзирая на преимущество противника. Теперь мы видим, что другой существенный фактор контроля состоит в том, чтобы скрыть от контролируемых истинные намерения контролеров. Распространим шлюпочную аналогию на Корабль Государства: немногие нынешние правительства смогли бы выдержать внезапное нападение всех своих неимущих граждан, а такое нападение спокойно могло бы произойти, если бы намерения правительств были предельно ясны. Предположим, лидеры шлюпки построили баррикаду, смогли выдержать согласованное нападение и убили восьмерых гребцов. Тогда им пришлось бы грести самим, и один не был бы защищен от другого. Так и современное правительство, вооруженное мощным оружием и подготовленное к нападению, могло бы стереть с лица земли девяносто пять процентов своих граждан. Но кто бы выполнял работу, кто бы защищал его от солдат и техников, необходимых, чтобы производить и применять оружие? Чтобы контролировать успешно, нужно достичь баланса и избегать ситуаций, при которых придется применять силу против всех. Это достигается путем различных методов психологического контроля, так же сбалансированного. Методы подавления и психологического контроля постоянно улучшаются и совершенствуются, и все же мировые противоречия никогда не были столь широкомасштабными или таким опасным для контролеров, как сейчас.

Все современные системы контроля пестрят противоречиями. Посмотрите на Англию. «Никогда не заходите слишком далеко в каком бы то ни было направлении» – вот основной постулат, на котором зиждется Англия, и в этом есть определенный здравый смысл. Тем не менее, избегая одного безвыходного положения, они попадают в другое. Все, что не продвигается вперед, направляется к выходу. Что ж, нет ничего вечного. Время – это то, что заканчивается, а контролю нужно время. Англия попросту застыла на время и медленно идет ко

дну. Посмотрите на Америку. Кто в действительности контролирует эту страну? Сложно сказать. Конечно, одна из самых могущественных контрольных групп очень богата, поскольку имеет возможность манипулировать всей экономикой. Тем не менее, ей было бы невыгодно учредить или попытаться привести к власти слишком уж фашистское правительство. Стоит применить силу, и власть денег рухнет. Вот еще одна загвоздка контроля: защита от защитников. Гитлер сформировал СС, чтобы защититься от СА. Проживи он дольше, вопрос защиты от СС возник бы сам собой. Римские императоры находились во власти преторианской гвардии, которая за один лишь год убила двадцать императоров. Кстати говоря, ни одна современная индустриальная страна не становилась фашистской без программы военной экспансии. Но больше некуда разрастаться – спустя сотни лет колониализм ушел в прошлое.

Не может быть никакого сомнения в том, что в Америке за последние тридцать лет произошла культурная революция беспрецедентных размеров, а поскольку Америка теперь стала образцом для всего Западного мира, революции происходят повсюду. Другой фактор – средства массовой информации, которые во всех направлениях распространяют культурные тенденции. Тот факт, что эта всемирная революция произошла, показывает, что контролеры были вынуждены пойти на уступки. Конечно, уступка – это все еще сохранение контроля. Вот вам десять центов, а я оставлю себе доллар. Ослабим цензуру, но помните, что мы можем все развернуть обратно. Что ж, в наши времена это под большим вопросом.

Уступка – еще одна загвоздка для контроля. История показывает, что как только власть начинает делать уступки, обратной дороги нет. Они могли бы, конечно, взять все уступки обратно, но это вдвойне увеличило бы риск революции и усилило угрозу открытого фашизма, что крайне опасно для нынешних контролеров. Может ли при такой неразберихе возникнуть ясный политический курс? По всей видимости, нет. Средства массовой информации оказались весьма ненадежным и даже предательским инструментом контроля. Они неуправляемы из-за своей потребности в НОВОСТЯХ. Если одна газета или ряд газет, принадлежащих одному владельцу, сделает некий сюжет сенсационной НОВОСТЬЮ, другая газета его обязательно подхватит. Любое введение правительственной цензуры в информационных службах является шагом в сторону государственного контроля, шагом, который денежные мешки предпринимают с большой неохотой.

Я не хочу сказать, что контроль уничтожает сам себя автоматически, и что протест, таким образом, не нужен. Опасней всего правительство становится тогда, когда оно выбирает пораженческий или явно самоубийственный курс. Меня обнадеживает, что проекты изменения поведения человека разоблачались и прекращались, и, конечно, подобное разоблачение и гласность могут существовать и впредь. По сути, я утверждаю, что у нас есть *право* настаивать, чтобы все научные исследования стали предметом публичного рассмотрения, и чтобы не было такой вещи, как исследования под грифом «совершенно секретно».

ОНО ПРИНАДЛЕЖИТ ОГУРЦАМ

Есть свидетельства, что в результате магнитозаписи, сделанной без заметного входного сигнала, на пленке возникают непонятно откуда взявшиеся голоса. «Голосовой феномен создается магнитофоном и микрофонами, расположенными обычным образом и использующими чистые пленки. Во время записи не слышно никаких звуков, но при воспроизведении раздаются слабые голоса неизвестного происхождения». («Справочник паранормальных открытий», 1975) Речевые диаграммы и спектрограммы голоса наглядно подтвердили, что это действительно записанные голоса. Самые полные сведения об этом содержатся в книге Константина Родива «Прорыв», 1971.

Эти голоса – вполне подходящая тема для Школы Развоплощенной Поэзии имени Керуака[1]. Перед тем, как обсудить эксперименты Родива, я опишу эксперименты, осуществленные Брайоном Гайсиным и Иэном Соммервилем за двенадцать лет до издания «Прорыва» и, разумеется, до того, как он был написан. Эти эксперименты начинались не на магнитофонах, а на бумаге. В 1959-м Брайон Гайсин сказал «Литература на пятьдесят лет отстает от живописи» и применил технику монтажа к печатному тексту. Эксперименты с нарезками были опубликованы в 1959-м в книге «Остались минуты».

Последовательно мы нарезали Библию, Шекспира, Рембо, нашу собственную писанину – всё, что оказывалось под рукой. Мы сделали тысячи нарезок. Когда вы разрезаете и переставляете слова на странице, появляются новые слова. И слова меняют смысл. Слово «призванный» (например, в армию), вставленное в контекст чертежей или договоров, дает совершенно иной смысл. Новые слова и измененные смыслы заложены в процессе нарезки и могут быть предугаданы. Однако появлялись и неожиданные результаты. Когда вы экспериментируете с нарезками в течение длительного времени, некоторые из разрезанных и переставленных текстов словно говорят о будущих событиях. Я разрезал статью, написанную Джоном Полом Гетти[2], и получил: «Нехорошо судиться со своим отцом». А год спустя один из его сыновей подал на него в суд. В 1964-м я сделал нарезку и получил то, что казалось в то время совершенно необъяснимой фразой: «И вот вам мерзкий кондиционер». В 1974-м я поселился на чердаке со сломанным кондиционером, который разобрали, чтобы поставить новый. У меня на полу лежало триста фунтов сломанного кондиционера – мерзкая, никому ненужная штука, тяжелая и большая, возникшая из нарезки десятилетней давности.

Следующим этапом были нарезки магнитозаписей. Брайон первый сделал этот очевидный шаг. Первые магнитофонные нарезки были простым продолжением нарезок на бумаге. Вы записываете, скажем, десять минут на магнитофоне. Затем мотаете пленку назад или вперед без записи. Остановите произвольно и врежьте фразу. Насколько произвольно это «произвольно»? Наше сознание может не уловить, что врезка, возможно, не была произвольной. Эти

1 Школа Развоплощенной Поэзии имени Джека Керуака действовала в Институте Нарропа, основанной Алленом Гинсбергом.

2 Джон Пол Гетти (1933-2003) – миллиардер-филантроп.

манипуляции на магнитофоне создают новые слова посредством меняющегося наслоения, так же как новые слова создаются при помощи нарезок на бумаге.

Мы продолжали исследовать возможности магнитофона – нарезали, замедляли, ускоряли, воспроизводили, медленно перематывали пленку, проигрывали несколько дорожек сразу, смещали их вперед и назад при помощи двух магнитофонов. Экспериментируя с замедлениями, ускорениями, накладками и так далее, вы получаете новые слова, которых не было на первоначальных записях. Существует множество способов создания слов и голосов на пленке, которые не попали туда при обычной процедуре записи – слов и голосов, которые вполне определенно и отчетливо распознаются подавляющим большинством слушателей. Я получил слова и голоса, записывая лай собак. Не сомневаюсь, что с дельфинами можно добиться гораздо большего успеха. Слова могут появиться на записях капающих кранов. На самом деле почти любой звук, если он не слишком однообразен, может производить слова. «Каждое дуновение ветерка, казалось, нашептывало Луизе… Ветви деревьев, стучащие в ее окно, словно бормотали: *убей, убей, убей*». Что ж, ветви, возможно, в самом деле, бормотали именно это, и вы можете услышать это на магнитофонной записи. Все, что вы слышите и видите, существует для того, чтобы быть услышанным и увиденным.

Некоторое время назад ко мне в гости пришел молодой человек и сказал, что сходит с ума. Уличные вывески, случайно подслушанные разговоры, радиопрограммы, казалось, каким-то образом обращались к нему. Я сказал ему: «Конечно, они обращались к тебе. *Ты* видишь и слышишь их». Через несколько лет мы с Иэном Соммервилем и Стюартом Гордоном очутились на рю де Винь, неподалеку от Пляс-де Франс в Танжере. Впереди шла пара немолодых арабов – очевидно, деревенские бедняки, горцы. И один повернулся к другому и сказал: «ЧТО ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ ДЕЛАТЬ?»

Мы все это слышали. Возможно, арабские слова случайно так прозвучали. Возможно, это был случай согласованного сканирования. У меня был приятель, который «спятил» в Танжере. Он улавливал личные послания в арабских радиопрограммах. Это более субъективный феномен индивидуальных примеров сканирования. Я говорю «более», чтобы не предлагать альтернативу либо/либо или субъективный/объективный, поскольку весь феномен является как субъективным, так и объективным. В конце концов, он ведь слушал радиопрограммы.

Теперь рассмотрим экспериментальный метод Родива. Эксперименты проводились в звуконепроницаемой студии. Запускали новую чистую пленку и включали запись. Затем пленку перематывали, экспериментатор слушал в наушниках, и на пленке оказывались записи вполне различимых голосов и слов. Родив записал 100000 фраз, произнесенных этими голосами. Речь почти вдвое превышает обычную скорость, а звук ритмически пульсирует, точно стихи или песня. Голоса говорят с различными акцентами и на разных языках, фразы зачастую совершенно неправильные с точки зрения грамматики… «Ты я друзья. Где остановился?» – звучит, точно речь мальчика-проститутки в Танжере. Прочитав образцы голосов в «Прорыве», я был поражен приметами характерного стиля, свойственного речи шизофреников, сходством с бессознательными высказываниями, нарезками и бредом, вроде последних слов Голландца Шульца. Многие голоса исходят якобы

от мертвых. Гитлер, Ницше, Гете, Иисус Христос, – все известные люди, но у многих из них умственные и творческие способности заметно ухудшились. Гете – не тот, кем он был. Гитлер при жизни говорил внятней и больше. В каком-то плане процедура записывания голосов является формой изощренного электронного спиритизма, а спиритизм – один из аспектов экспериментов с нарезками, которые я описал. Лучший способ связаться с кем-либо – разрезать и переставить его подлинные слова? Конечно, за успехами в обычном театре, где декламируют Шекспира, следует какая-нибудь невыносимо плохая поэзия. Существует ли на самом деле связь с мертвыми – риторический вопрос, поскольку нет никакого способа доказать это или опровергнуть.

Я отметил стилистическое сходство между голосами, записанными Родивом, бессознательной речью, шизофренической речью, словами, произнесенными в бреду, и нарезками. Это не относится ко всему материалу в этих областях, – зачастую он может быть совершенно банальным и непримечательным. Например, часто повторяющаяся фраза в книге Родива: «Натопите баню, едет компания». Это не эзотерический шифр, а просто намек на латышский обычай. Когда они ждут гостей, кто-то идет в баню и растапливает печь. Это вопрос выбора материала – что стилистически интересно, а что может содержать обращения личного или пророческого значения. Вот несколько примеров бессознательной речи из записей моих собственных снов:

«Мы можем появиться, когда над трещинами ложатся тени. Здесь вам нужны черные деньги. У нас все еще нет имен. Вам нравится теряться или патрульные машины? Символ черепа и символ мыла крутятся на одной оси. Ты можешь сохранить лед? Инспекторство Канады барабанит в дверь. Полагаю, вы думаете, что Миссури – это глыба. У вас военно-воздушный аппетит. Медвежья берлога – в Чикаго. Подсознание, имитированное сладкой ватрушкой. Жестянка томатного супа в Аризоне. Где голые трубадуры стреляют в сопливых бабуинов. Зеленый – это мужчина, наполнять – это мальчик. Я могу взять лачугу где угодно. Книга под названием «Продвинутая грубость». Космонавт по имени Платт. Первая высадка американцев на Марсе. Жизнь – мерцающая тень с насилием до и после нее. Хороший неудачник всегда уступает контроль ради того, какой была бы ситуация, если бы контроля не было, чтобы в нем оглядеться».

А вот два примера сновидческого жаргона: унция героина – это «пляж». «Ехать на верблюде» – бессознательный сленг для ебли. К сожалению, у меня нет под рукой примеров шизофренической речи. Помню только два: «Со мной творится докторство». Стилистически похоже на «инспекторство Канады». И: «Радиус радиус… этого достаточно».

А вот некоторые фразы из книги Родива. Я взял их из того, что можно назвать минимальным контекстом, иллюстрации ради: «Настроения здесь немертвые. Тут прощелыги. Мы здесь из-за вас. Нам всем не терпится пойти домой. Наша политика – смерть. Возьмите с собой могилу. Идет жуткий снег. Мы видим Тибет в бинокли народа. Дайте подкрепление. Ослабьте стопор. Иногда только родина любит. Я дорогой. Мы начеку, стража многочисленна. Вы принадлежите, вероятно, огурцам. Телефон со скрытным товарищем. Трудно на поезде «А». Прикрывающий огонь. Пришлите указания. Вы без драгоценностей? Идет лекция. Мы привыкли

к нашим больным. Хватит обороняться. Переходи в наступление. Оставьте это в полном снаряжении. Сделали явно очевидным. Прошу использовать студию, обусловленную для вас. Фауст, доброе утро. Я требую наши права. Это теткин язык. Удостоверение личности. Это разрешено. Пистолет – наш человек. Это действующее. Даже волки здесь не живут. В битву. Долгая жизнь пролетает. Мы запаливаем. Здесь плохо. Здесь птицы горят. Пахнет действующей смертью. Образованный варвар, дело будущего. Поверьте. Разъединенные. Здесь вечность. Далеко-далеко существует. Вы контракт. Вы в соли? Мы повсюду искали человеческие существа. Ах, хорошо, море. Профессор небытия, тело – это свидетельство духа. Естественный ключ. Язык – это мы. Доктор отправляется на рынок. Добрый вечер, приятель, вы делаете мумии по стандарту? Этого достаточно. Обоснуйте утвержденное. Названный в плохое время. Это действующее даже в середине. С биноклями на границе, вы все же должны поставлять нашу одежду. Приготовьте в ванной брюки. Почему вы немец? Очистите землю. Новая Германия. Гитлер – хорошая паразитирующая гнида. Вы воровали с ним лошадей? *Yo siento*. Мужчина терзает. *Buena cosa*, чувак. Одухотворите *plata*. Спешите делать флейты. Факты нас видят. Я практически здесь. Удачная переправа. Земля распалась».

Комментарий: «Мы видим Тибет в бинокли народа». В 1970, приблизительно в то время, когда были сделаны эти записи, я написал рассказ о китайском патруле, который находит тибетский монастырь, захваченный ЦРУ, чтобы испытать радиоактивный вирус… «Йенг Ли изучал деревню в свой полевой бинокль…»

«Вы принадлежите, вероятно, огурцам». Не знаю, многие ли из вас знакомы с термином, которым обозначали ЦРУ: «завод солений». «Он работает на заводе солений» означает, что он цээрушник. Думаю, это определение встречалось в «Тайме» или «Ньюсуике». Ну, огурцы солят, так что не будет слишком большой натяжкой утверждать, что под «огурцами» подразумевается ЦРУ.

«Телефон со скрытным товарищем». Следите за тем, что вы говорите по телефону – огурцы подслушивают.

«Вы без драгоценностей?» Возможно, имеются в виду лазеры, которые делаются с применением драгоценных камней.

«Повяжите смерть – Повинуйтесь смерти». Сродни последним словам Голландца Шульца: «Я не хочу гармонии. Я хочу гармонию».

«Вы в соли? Мы повсюду искали человеческие существа». Соль может означать что угодно основное. В таком случае – поскольку голоса отделены от телесной оболочки – имеются в виду, вероятно, человеческие тела. Ваша кровь, как известно, имеет солевое содержание морской воды – «Ах, хорошо, море». Теперь, скажем, фраза «Вы в крови?» привнесла бы вампирский оттенок.

«Вы воровали с ним лошадей?» Немецкая пословица, означающая «Вы ему доверяете?»

«Одухотворите *plata*». Родив считает это выражение необъяснимым. Очевидно, он не знал, что *plata* – на распространенном испанском жаргоне означает деньги.

«Удаачная переправа. Земля раздроблена». Несколько лет назад ученые составили проект космического корабля, приводимого в движение атомными

взрывами позади него. Что ж, это стало бы причиной разрушения земли; продвижение к более здоровым областям.

Публикация «Прорыва» в Англии вызвала заметное волнение. Один из редакторов, Питер Бэндер, позднее издал книгу «Голоса с пленок», где описывал реакцию английской публики. Были статьи в прессе, радио– и телепрограммы, много выступлений за и против. Некоторые утверждали, что если это голоса мертвецов, то они, по-видимому, обитают не в небесных сферах, а в космическом аду. Следовательно, голоса могут быть обманчивыми, пристрастными, даже явно злонамеренными. Ну а чего они ожидали? Хора ангелов с дельными советами по фондовой бирже? Другие утверждали, что контакт с голосами опасен, ссылались на черную магию и вызывание нацистскими лидерами низших астральных существ. Статья, написанная парапсихологом Гордоном Тернером, служит типичным примером линии «опасно для непосвященных». Статья Тернера была ответом на статью некоего Касса, который утверждал: «Если между этим и следующим миром открыта дверь, то массы людей, вооруженных дешевыми радиоприемниками и гонконгскими магнитофонами за пять фунтов, в нее проникнут, невзирая на Гордона Тернера, Папу Римского и правительство».

А вот Тернер: «Я уверен, что «Прорыв» не нужно было издавать. Неужели Касс считает, что для всех безопасно подвергаться такого рода влиянию? Неужели у него нет ни малейшего понятия о том, насколько это может быть опасно?» Опасно кому, собственно? Когда люди начинают говорить об опасности, заключенной в популяризации знаний о парапсихологии, они, как правило, пытаются монополизировать эти знания. По-моему, лучшая гарантия против злоупотребления таким знанием, это его широкое распространение. Чем больше людей о нем знает, тем лучше.

Родив считает, что существуют три теории, объясняющих голоса: 1) Их каким-то образом запечатлевает на пленке электромагнитная энергия, порождаемая бессознательным исследователей или людей, с ними связанных. 2) Голоса внеземного происхождения. 3) Голоса исходят от мертвых. Затем он отказывается от первого пункта, теории запечатлевания, так как она «технически невозможна». Мне кажется, что мы находимся в области, где определение «технически невозможно» (с точки зрения того, что мы знаем о магнитной пленке и о том, как звуки и голоса обычно на ней остаются) больше неприменимо.

Помните, что ваш банк памяти содержит в себе записи всего, что с вами когда-либо случалось, включая, разумеется, ваши собственные слова. Нажмите определенную кнопку, и прозвучит выпуск новостей, который вы слышали десять лет назад. Под гипнозом люди в подробностях вспоминали разговоры и события, происходившие давным-давно, и это подтверждают свидетели. Загипнотизированные могли вспомнить в точности, что говорили им врачи и медсестры во время операции, а такое воспоминание (особенно если оно угрожающего или унизительного толка) может быть крайне неприятным…

– Одно наверняка – выглядит он неважно.

– Кровавая каша…

– Зашейте ее, этот случай неоперабельный.

– Зажимы, сестра, кровь хлещет из него как из свиньи.

– Приготовьте пациента к сердечной инъекции.

– Пора всем выпить, он умирает на операционном столе.

Эти бессознательные наблюдения записываются и хранятся в банке памяти пациента в таком объеме, что могут сделать его больным навечно. В рождественском выпуске «Эсквайра» за 1971 год была статья под названием «Будущий шок»: доктор Чик – который проводил гипнотические эксперименты с прошедшими операцию и обнаружил, что они запоминают каждое слово и звук в операционной комнате – советовал, чтобы во время операции соблюдалась тишина. Ибо то, что пациент слышит во время операции, добавляется ко всем его пленкам с записями страха, боли, беспомощности и враждебности, всех ужасных, пугающих, омерзительных вещей, с которыми он когда-либо сталкивался во сне или наяву, в сознательном или бессознательном состоянии с момента своего зачатия.

Каждый человек, с которым вы когда-либо общались, пусть и очень коротко, сохранился на кинопленке и магнитофонной ленте. Посмотрите эти фильмы, и вы заметите, что определенные слова и образы повторяются чаще прочих. Грубый клерк в Гонконге весьма похож на грубого клерка в Нью-Йорке, и оба произнесли одну и ту же фразу, сообщая, что у них нет того, что вам нужно: «Никогда об этом не слышал».

Чем больше вы смотрите, тем больше сходство со старым заезженным фильмом – приятные голоса и злобные голоса, хорошие парни и плохие парни, все те же войны от каменного века до бесконечности…

«Мы мужчины или беззубые старцы? До каких пор мы будем позволять мерзким замбезийцам воровать нашу рыбу?»

«Мы свободные люди и не можем безмолвно наблюдать за происходящим». Пора хорошенько спрятаться, и чем глубже, тем лучше. «И я говорю России, опасайся ярости терпеливого человека». Удачная переправа. Земля распалась. Старые пленки войны. У всех нас есть миллионы часов таких записей, даже если мы сами никогда не пользовались оружием. Пленки войны, пленки ненависти, пленки боли, пленки счастья, пленки печали, пленки радости, – все они крутятся в бетономешалке голосов.

Родив отвергает второе альтернативное объяснение голосов (что они внеземные), поскольку «они слишком банальные». Что ж, нет оснований думать, будто у нас есть монополия на банальность. Его объяснения служат примером ошибочного подхода или-или. Категорически исключив первое и второе объяснение, он останавливается на номере 3: голоса исходят от мертвых. Я мог бы предложить другие возможные объяснения: голоса – это воспроизведение записей, хранящихся в банках памяти экспериментаторов.

Психиатры говорят нам, что любые голоса, которые человек слышит в своей голове, там и берут свое начало, и что у них нет и быть не может инородного источника. Вся психиатрическая догма, заключающаяся в том, что голоса – это порождение больного рассудка, подвергнута сомнению голосами внешнего происхождения, которые объективно и наглядно отображены на пленке. Так что психически больные пациенты, быть может, настраивались на глобальную и межгалактическую сеть голосов, причем некоторые использовали самое современное электронное оборудование. Оно принадлежит, вероятно, огурцам.

Пятьдесят лет назад эксперименты в Норвегии показали, что голоса могут проецироваться непосредственно в мозг субъекта с помощью электромагнитного поля вокруг головы. В то время эксперименты находились в начальной стадии. Так что все мы, возможно, ходим под магнитным куполом предварительно записанных слов и изображений, а Родив и другие экспериментаторы попросту подключаются к этим записям.

Смогли бы вы с помощью ваших нарезок, наложений и микширования оборвать и уничтожить предварительные записи вашего собственного будущего? Можно ли стереть или изменить все предварительно записанное будущее человеческой расы? Не знаю – посмотрим. И не позволяйте старым льстивым голосам оттеснять вас… «Есть определенные вещи, сынок, которые людям не дано знать – «*типа что мы делаем* – «Сынок, ты бы упал замертво от одного запаха завода солений и других подобных заводов в других странах». Сделайте из него омлет, пока он не вылупился. *Что это?* Карты у него в руке – одна из немыслимых тайн, и другие игроки не видят их, а он сгребает фишки и говорит, что фишки – это его карты, миллиард на столе.

LES VOLEURS[1]

Писатели работают со словами и голосами точно так же, как художники с красками, но откуда берутся эти слова и голоса? Из многих источников: услышанных и подслушанных разговоров, радио и телевидения, газет, журналов, а также *других писателей*; вспоминаю фразу из одного старого ковбойского рассказа в дешевом журнальчике, прочитанном несколько лет назад – не помню точно, где и когда: «Он смотрел на нее, пытаясь прочитать ее мысли – но ее глаза были старыми, незапуганными, нечитаемыми». Вот это я стащил.

Эпизод с Окружным Управляющим в «Голом завтраке» стал результатом знакомства с Окружным Управляющим в Колд-Спринге, штат Техас. В сущности, это была переделка его монолога, который в то время показался мне просто скучным, поскольку я еще не знал, что я писатель. Во всяком случае, не было бы никакого Окружного Управляющего, если бы я сидел сиднем в ожидании «собственных слов». Все вы встречали рекламного агента, который собирается оставить мирскую суету, запереться в хижине и написать Великий Американский Роман. Я всегда говорю ему: «Не отрывайся от информации, шеф – она может тебе пригодиться». Сколько раз я застревал на сюжетной линии – не вижу, куда ей продвигаться; вдруг кто-то заскакивает ко мне и говорит о бразильской рыбе, питающейся фруктами. Я построил на этом целую главу. Или покупаю книгу, чтобы почитать в самолете, а там ответ, а заодно и замечательная фраза «мелодично бесчеловечные голоса». У меня был сон с такими голосами, перед тем как я прочитал «Большой скачок» Ли Брекетта, и тут я нашел эту фразу.

Посмотрите на сюрреалистические усы Моны Лизы. Просто глупая шутка? Задумайтесь над тем, куда эта шутка может привести. Я пять лет работал с

1 Воры (фр.)

Малькольмом МакНилом над книгой «Здесь Ах Пуч», и мы использовали ту же идею: Иероним Босх в качестве фона для эпизодов и персонажей, взятых из кодексов майя и трансформированных в современные аналоги. То лицо в Дрезденском Кодексе Майя будет в этом эпизоде барменшей, а здесь мы можем использовать Бога-Стервятника. Босх, Микеланджело, Ренуар, Моне, Пикассо – крадите все, что видите. Вы хотите, чтобы в вашем сюжете возник особый свет? Возьмите его у Моне. Вам нужны декорации 1930-х? Используйте Хоппера.

То же относится и к литературе. Джозеф Конрад великолепно описывал джунгли, воду, погоду, так почему бы не использовать его слова как фон в романе, действие которого происходит в тропиках? Сценарий такого-то, описание и фоновые съемки от Конрада. И, конечно, вы можете похитить чужих персонажей и поместить их в другие декорации. Весь диапазон живописи, литературы, музыки, кинематографа в вашем распоряжении. Возьмите монолог Молли Блум и отдайте вашей героине. Все равно это происходит постоянно; сколько раз нас пичкали Ромео и Джульеттой, а Камилла заработала в «Юных Любовниках» сорок миллионов. Так давайте же воровать открыто.

Первый раз я применил этот принцип в «Голом завтраке». Беседа между Карлом Питерсоном и доктором Бенвеем создана по образцу беседы между Разумовым и советником Микулиным в «Глазами Запада» Конрада. Конечно, между Бенвеем и Микулиным нет никакого сходства, но форма беседы, пристрастие Микулина к незаконченным предложениям и эллипсам, а также финал беседы используются буквально и сознательно. В то время я не задумывался обо всех последствиях.

Брайон Гайсин продолжил этот прием в неопубликованном эпизоде из своего романа «Процесс». Он *дословно* взял часть диалога из научно-фантастического романа и применил в похожей сцене. (В научно-фантастическом романе шла речь о безумном ученом, который изобрел черную дыру, в которой сам исчез). Я, признаюсь, был слегка шокирован таким явным и *очевидным* плагиатом. В ту пору я еще не окончательно отказался от поклонения оригинальности, хотя, конечно, в нарезках и монтаже скрыта вся возвышенная концепция тотального воровства.

Понимаете, моим сознанием все больше и больше овладевала идея слов как *собственности* – «собственных слов» – и, следовательно, глубокое отвращение к тяжкому греху плагиата. Оригинальность была великой добродетелью. Вспоминаю мальчика, которого уличили в копировании статьи из журнала, и этот ужасный случай обсуждался шепотом… впервые мрачное слово «плагиат» отпечаталось в моем сознании. Почему в рассказе Джека Лондона писатель застрелился, когда обнаружил, что он, сам того не зная, содрал работу другого писателя? У него не хватило духа быть писателем. К счастью, я был сделан из более стойкого или, по крайней мере, более пластичного материала.

Брайон говорил, указывая мне на то, что я крал годами:

– Откуда это – «глаза старые, незапуганные, нечитаемые»? И это – «непреклонный авторитет»? И это – «эстетствующий тип, никаких принципов». И это – и это – и это? – Он смотрел на меня сурово.

– *Vous êtes un voleur honteux…* кабинетный вор.

Так мы составили манифест…

Les Voleurs

Выбирайтесь из кабинетов и идите в музеи, библиотеки, памятники архитектуры, концертные залы, книжные магазины, студии звукозаписи и киностудии всего мира. Все принадлежит вдохновленному и убежденному вору. Все художники в истории от наскальных живописцев до Пикассо, все поэты и писатели, музыканты и архитекторы предлагают ему свои творения, надоедая, точно уличные торговцы. Они избавляют его от скучных умов школьников, от тюрем некритического почитания, от мертвых музеев и пыльных архивов. Скульпторы протягивают свои известняковые руки, чтобы получить живительную трансфузию плоти, тогда как их обрубленные конечности пересаживаются Мистеру Америке. *Mais le voleur n'est pas pressé* – вору некуда торопиться. Он должен убедиться в качестве товара и его пригодности для своей цели, перед тем как выразить своей кражей высочайшее почтение и благодарность.

Слова, цвета, свет, звуки, камень, дерево, бронза принадлежат живому художнику. Они принадлежат любому, кто может их использовать. Разграбьте Лувр! *A bas l'originalité*[1], бесплодное и самоуверенное эго, которое, создавая, запирает нас в тюрьму. *Vive le vol*[2] – чистая, бесстыдная, совершенная. Мы ни за что не отвечаем. Крадите все, что видите.

Перевод Игоря Карича

1 Долой оригинальность (фр.)
2 Да здравствует кража (фр.)

ВСПОМИНАЯ ДЖЕКА КЕРУАКА

Джек Керуак был писателем. То есть писал. Многие из тех, кто называет себя писателями и чьи имена стоят на обложках, на самом деле не писатели: они не умеют писать, подобно тореадорам, выделывающим пассы в отсутствии быка. Писатель был там, иначе он не сможет об этом написать. И, собираясь туда, он рискует своей жизнью. Я имею в виду то, что немцы метко назвали Духом Времени. К примеру, такой хрупкий мир духов, как фитцджеральдовский век джаза – эти печальные юноши, вечера со светляками, зимние мечты, хрупкие, хрупкие как его фотография, сделанная в двадцать два года – Фитцджеральд, поэт джазового века. Он отправился туда, записал всё и вернул своему поколению читателей, но так и не нашёл дорогу назад. Целое поколение странников вышло из «На дороге» Керуака и отправилось в Мехико, Танжер, Афганистан, Индию.

Что писатели, а я ограничусь применением этого термина к писателям-романистам, стремятся сделать? Они пытаются создать вселенную, в которой жили или хотели бы жить. Чтобы описать её, они должны отправиться туда и принять условия, на которые они, возможно, не рассчитывали. Иногда, как в случае с Фитцджеральдом и Керуаком, эффект, производимый писателем, проявляется немедленно, словно поколение ждёт, что о нём напишут. В других случаях возможна задержка во времени. Научная фантастика, к примеру, может осуществиться. Как бы то ни было, описав вселенную, писатель делает её возможной.

До какой степени писатели способны воплотить и воплощают свои произведения в так называемой реальной жизни, и насколько это помогает в их ремесле – вопросы открытые. То есть, становится ли ваша вселенная более похожей на реальность или вы делаете реальность её частью? Победитель не получает ничего. Например, стремление Хемингуэя разыгрывать наименее интересные аспекты своих произведений и становиться собственным персонажем, как мне кажется, скверно отразилось на его творчестве. Проще говоря, если автор утверждает, что сам неплохо делает то, что делают его герои, он лишь ограничивает их возможности.

Однако писатель всегда извлекают выгоду даже из того, что делает плохо. Я был, всего одну неделю – моя язва напоминает о себе, когда думаешь об этом – весьма неуклюжим ассистентом вора-карманника. Я решил, что недели достаточно, у меня просто не оказалось должной сноровки.

Шатаемся по пустырям на окраинах Бруклина с Моряком после стычки с гулякой (так он назвал пьяных) в конце Флэтбуша: «Копы вышибут из нас дерьмо… будь готов». Я вздрогнул, не желая быть готовым, и прямо там решил свернуть экземпляр «Таймс», которым прикрывал Моряка, когда тот забирался в карман. Мы всегда пользовались одним и тем же выпуском – он говорил, что люди начнут читать, удивятся, сообразив, что газета месячной давности, и не заметят нас. В чём-то он был философ, этот Моряк… но хватило недели, чтобы я получил то, к чему должен был «быть готов».

«Вон один… и патрульная машина». Мы сворачиваем на пустырь. Я умею видеть себя со стороны, – так вот, я был похож на испуганного обывателя, который вцепился в свой чемодан, пока мимо с рёвом проносятся Ангелы Ада.

Это может показаться трусостью – укрыться на пустыре, когда мне следовало приобрести опыт избиения тощим копом-коротышкой с лицом, изрытым шрамами от прыщей, который наблюдает из патрульной машины, карие глаза пылают – ну, Моряку бы такое пришлось не по душе, как и Белому Охотнику перспектива быть разорванным львом на куски.

Фитцджеральд сказал однажды Хемингуэю: «Богачи не похожи на нас с тобой».

«Да… у них больше денег». И писатели не похожи на нас с вами. Они пишут. Ты не сможешь описать историю, если тебя убьют. Так что писатель не должен стыдиться, если придется несколько минут прятаться на пустыре или в углу комнаты. Там он писатель, а не персонаж. Нет ничего более иллюзорного, чем главный герой писателя, герой, которого читатель принимает за самого автора, который, не больше и не меньше, делает то, о чём пишет. Но этот главный герой – просто точка зрения, которую выбрал писатель. По сути, главный герой становится ещё одним персонажем книги, но обычно заметить это сложнее всего, потому что по ошибке его принимают за самого писателя. Для автора он наблюдатель, которому часто неуютно в этой роли из-за того, что никто не считается с его присутствием. Он вызывает подозрение в мире не-писателей до тех пор, пока не сможет вписать их в свой путь.

Керуак говорит в «Тщеславии Дулуоза»: «Я – не я, я просто шпион в чужом теле, воображающий все эти игры в песочнице, детишек в поле, где пасутся коровы, рядом с церковью Святой Риты…» Джек Керуак уже познал писательство, когда я впервые встретил его в 1944-м. Ему был двадцать один; к тому времени он уже написал миллион слов и полностью посвятил себя избранному делу. Именно Керуак постоянно уговаривал меня написать книгу и назвать её «Голый завтрак». Я ничего не писал со времён средней школы и не помышлял о писательстве, и так и сказал ему: «У меня нет для этого таланта…» Я пробовал писать несколько раз, выходила от силы страница. Перечитывая написанное, я чувствовал усталость и раздражение, отвращение к подобной форме деятельности, какое, должно быть, возникает у лабораторной крысы, когда та выбирает неверный путь и получает в наказание укол в центры недовольства. Джек мягко настаивал, что талант у меня есть, и я должен написать роман «Голый завтрак». На что я отвечал: «Не хочу ничего слышать о литературе».

Пытаться вспомнить, где и когда это было сказано – всё равно, что вспоминать что-то из кучи старых фильмов. Кажется, что со времён сороковых прошёл не один век. Я вижу бар здесь на 116-й улице и сцену пять лет спустя, в другом веке. Моряк в баре, шатаясь, проходит мимо как намек на «Голый завтрак» и обвиняет нас – там были Аллен Гинзберг и Джон Кингсланд – в насмешках над швейцарским флотом. Керуак был хорош в таких ситуациях, просто потому что не был враждебным. Или это было в Новом Орлеане, или в Алжире, если быть точным, где я жил в деревянном доме у реки, или это было позже в Мексике у озера в парке Чапультепек… там есть остров, где вяло сидели тысячи стервятников. Их вид поразил меня, ведь я восхищался их слаженным полетом – одни проносятся в нескольких футах от земли, другие виражами поднимаются выше, маленькие чёрные крапинки в небе – а затем, распознав пищу, обрушиваются вниз как торнадо.

Мы сидим на краю озера с едой и бутылками пива… «Голый завтрак – вот единственное название», – сказал Джек. Я указал на стервятников.

«Они отступают, как старики в Санкт-Петербурге, Флорида… Валите поищите себе немного падали, ленивые ублюдки!» Выхватив револьвер 45-го калибра с блестящей рукояткой, я разнёс шестерых из них в облака чёрных перьев. Остальные стервятники взмыли в небо… Мы разыгрывали с Джеком подобные вещи, и несколько эпизодов, которые позже появились в «Голом завтраке», возникли из этих сцен. Когда Джек приехал в Танжер в 1957-м, я решил использовать это название, и значительная часть книги уже была написана.

Вообще, на протяжении долгих лет моего знакомства с Керуаком я никогда не видел его по-настоящему озлобленным или враждебным. То, как он улыбался в ответ на мои возражения, напоминало улыбку священника, который знает, что рано или поздно ты придёшь к Господу – куда ты денешься без Эскадрильи Шекспира, Билл.

Когда я был маленьким, я решил стать писателем. В девять лет я написал нечто под названием «Автобиография Волка». Это раннее сочинение написано под влиянием – настолько сильным, что тут попахивает плагиатом – небольшой книжицы, которую я как раз тогда прочитал, «Биография Медведя Гризли». Его преследовали всякие напасти, в том числе гибель любимого друга… в конце этот бедный старый медведь плетется в долину, которая, как он знает, полна ядовитых газов, полумёртвый… Представляю эту картину в красно-коричневых тонах: долина, полная жёлтых азотистых испарений, в которую вваливается этот медведь, точно преступник, которому отказали в помиловании, в газовую камеру. Для моего волка надо было придумать новый ход, и вот, опечаленный потерей всей своей семьи, он сталкивается с медведем гризли, который убивает его и съедает. Позже я написал нечто под названием «Карл Кренбэри из Египта», но из этого так ничего и не вышло… Нож сверкнул в тёмной лощине. Со скоростью света Карл В. Кренбэри выхватил автомат из воронёной стали…

Всё это писалось мучительно, от руки, очень тщательно. Сам процесс письма стал настолько болезненным, что я не мог больше ничего сделать для Карла Кренбэри, наступали Тёмные Времена – в те годы я готов был заниматься чем угодно, только не писать. Частный детектив, бармен, уголовник… Все эти начинания с треском провалились, но писатель связан не успехами или неудачами, а лишь наблюдениями и воспоминаниями. Тогда я не собирал материал для книги. Я просто не мог ничего делать достаточно хорошо, чтобы жить на это. В этом отношении Керуаку было легче. Ему не нравилось, но он занимался этим – работал на фабриках и железных дорогах. Я официально проработал торговым агентом четыре недели. И отличился тем, что был уволен с оборонного предприятия во время войны.

Керуаку, возможно, это удавалось лучше, потому что он рассматривал работу как средство купить себе время на то, чтобы писать. Скажите, сколько книг написал автор… считайте, что примерно в десять раз больше осталось в столе или выброшено. И я расскажу вам, как он проводит время. Любой писатель много времени проводит в одиночестве и пишет. Таким я и помню Керуака – писатель, который рассуждает о литературе или сидит в тихом уголке с блокнотом и пишет от руки. Ещё он очень быстро печатал. Казалось, он только и делал, что писал, и больше ни о чём не думал. Он никогда не хотел заниматься чем-то другим.

Если вам показалось, что я говорю больше о себе, чем о Керуаке, то это потому, что я пытаюсь объяснить ту особую роль, которую в моей жизни сыграл Керуак. В детстве я забросил писательство, потому что не смог, по-видимому, вынести то, с чем приходится сталкиваться каждому писателю: всё то плохое, что он напишет до того, как у него получится что-нибудь достойное. Интересно было бы собрать все худшие работы какого-нибудь писателя – это продемонстрирует то давление, которому писатель подвергается, чтобы писать плохо, то есть вообще не писать. Это давление – отчасти заложенная в детстве необходимость ощущать себя белым американцем-протестантом (в моём случае) или (в случае Керуака) франко-канадским католиком.

Писатели в определённом смысле обладают очень большим влиянием. Они пишут сценарий для фильма реальности. Керуак открыл миллионы кофеен и продал мужчинам и женщинам миллионы пар «ливайсов». Вудсток берёт начало из его страниц. И если бы писатели смогли объединиться в очень тесный союз, мы бы просто завоевали мир с помощью слов. Мы могли бы сочинить собственные вселенные, которые были бы так же реальны, как кофейня, пара «Ливайсов» или вечеринки джазового века. Писатели могли бы завладеть студией реальности. А значит, им нельзя позволить узнать о собственных возможностях. Керуак понял это задолго до меня. «Жизнь – это сон», – сказал он.

«Мои записи о рождении, записи о моей семье и её корнях, мои спортивные достижения в вырезках из старых газет, мои записные книжки и опубликованные книги абсолютно нереальны; мои собственные сны – вовсе не сны, а порождение моего бодрствующего сознания…» Значит, это и есть мир писателя – сон, который на мгновение стал реальным на бумаге, вы почти способны прикоснуться к нему, как в финалах «Великого Гэтсби» и «На дороге». Обе книги выражают мечту, подхваченную поколением.

Жизнь – это сон, в котором один человек может появляться в разное время в разных ролях. Задолго до встречи с Керуаком мой друг из средней школы и колледжа, Келлс Элвинс, постоянно уговаривал меня писать и говорил, что я не подхожу для чего-то другого. Когда я работал над дипломом в Гарварде в 1938-м, мы вместе написали рассказ «В тенях предвечерних», который спустя много лет я почти дословно воспроизвёл в «Нова-Экспрессе». Мы разыгрывали сцены, сидя на боковом крыльце белого дома, который снимали вдвоём, – именно там и родился Доктор Бенвей.

– С вами всё в порядке? – крикнул он, усаживаясь в первую спасательную шлюпку вместе с женщинами. – Я врач!

Годы спустя в Танжере Келлс рассказал мне правду: «Я знаю, что мёртв, и ты тоже…» Все писатели мертвы, и все их сочинения посмертны. Все мы на самом деле – по ту сторону могилы, и никаких вам почестей… (Я просто пишу обо всём этом так, как думаю, в манере самого Керуака. Он говорит, что первый вариант всегда лучше.)

В 1945-м или около того мы с Керуаком работали вместе над романом, который так и не был опубликован. Часть материалов этого потерянного опуса Керуак использовал позднее в книгах «Городок и город» и «Тщеславие Дулуоза». В то время безымянная серая тень персонажа Уильяма Ли начала приобретать

очертания: Ли, который присутствует ровно настолько, чтобы увидеть и услышать всё, что он использует для описания какого-то эпизода или персонажа двадцать или тридцать лет спустя. Нет, он не был там как частный детектив, бармен, хлопковый плантатор, вор-карманник или истребитель; он был там в роли самого писателя. В ту пору я этого не знал. Керуаку, похоже, было известно об этом с рождения. И он рассказал мне о том, что я уже знал, а это единственное, о чём можно рассказать другому.

Я говорю о той роли, которую сыграл Керуак в моём сценарии, а роль, которую я сыграл в его, можно понять из загадочно-помпезных описаний Старого Быка Ли, с легкостью перенесенных в сцены с Карлом и доктором Бенвеем в «Голом завтраке». Возможно, Керуак понимал, что я не включал его в число моих персонажей, но разумеется, он тот самый анонимный Уильям Ли, о котором говорится в нашем романе – шпион в чужом теле, где никто не знает, кто и за кем следит. Стоя у чёрного хода, Ли был там полноценным писателем. Так что Доктор Бенвей сказал мне то, что я знал и так: «Я врач…»

ПОСЛАНИЕ УМНИКУ

После того, как пару лет назад я стал преподавать писательское мастерство, мои собственные писательские способности пришли в полный упадок. Я не мог сдвинуться с мертвой точки, и мой юный ассистент-идеалист переживал, что я сижу у себя в квартире и решительно ничего не делаю – что было чистой правдой. И это (как говорят французы) породило вот какую мысль: а *можно* ли научить ремеслу писателя? Не наказывают ли меня Музы за дерзость и вопиющую опрометчивость, с которой я открывал тайны совершенно невосприимчивой аудитории – точно раздаешь стодолларовые банкноты, и тут выясняется, что всем вокруг они совершенно незачем… Также я понял, что образ «Уильяма Берроуза» в сознании моих студентов имеет мало общего с реальностью. Они были разочарованы, когда на занятиях я появлялся в пиджаке и галстуке. Полагаю, они ожидали увидеть меня абсолютно голым, с пристегнутым искусственным членом. В общем, сплошное разочарование.

«Писательское мастерство» – что это вообще означает? Будь моя воля, я бы сделал все, чтобы каждый из них свернул с этой дороги. «Стань лучше водопроводчиком, – хотелось мне завопить, – и твой гребаный гигантский холодильник будет забит копченой олениной, холодной водкой и минеральной водой «Малверн», ты будешь пялиться в свой цветной телевизор с дистанционным управлением и ласкать на коленях ствол тридцатого калибра, ожидая, когда начнется сезон охоты и все добропорядочные граждане попрячутся в подвалах, обложившись мешками с песком. Или стань врачом ради всего святого – стоит прослыть лучшим спецом по жопам, и можешь не волноваться, что через год ни одна задница не будет нуждаться в твоих услугах». Только вот, возможно, ни одна задница в новом году не купит мою книгу…

Ну ладно, может, двоих или троих студентов отговорить не удастся. Мой совет: если сумеете хоть что-то заработать, найдите хорошего агента и специалиста

по налогам и не забывайте: славой сыт не будешь. Ты не сможешь писать, пока не *хочешь* писать, и не сможешь захотеть, если у тебя на самом деле нет такого желания. Скажем, ты – доктор с неплохой практикой. Сегодня ты себя скверно чувствуешь – проблемы в семье и прочие неприятности, которые даже трудно определить – ну просто тебе очень херово, – ты суешь в рот таблетку хлорофилла, чтобы сбить запах после трех рюмок (старая сука растреплет по всему Палм-Бич: «Боже мой, да он *напился*…») Ладно, продержаться вполне можно, и нечего рассусоливать – четверть грана морфия каждому пациенту; неважно, что с ними такое, зато им мгновенно полегчает и они объявят меня лучшим коновалом. Ну а если нагрянут агенты по борьбе с наркотиками, я скажу им: «Вообще-то я уезжаю работать на острова Бахрейн, так что забирайте мою практику и засуньте себе в жопу». Я хочу сказать, что даже если у вас нет желания заниматься медициной, вы можете продолжать делать это. Та же история, если ты адвокат: нет желания заняться чьей-то тяжбой, просто попроси отсрочку и потом валяйся и кури себе дурь целый месяц на острове Мартас Вайнъярд.

В других профессиях всегда можно прикрыть нежелание работать, но литература, которой вам неохота заниматься, не стоит и ломаного гроша. В этом деле есть много преимуществ; само собой, можно плавать на шикарной яхте на свою виллу на Багамах или двадцать лет преподавать английский на курсах Берлица, сочиняя Великую Книгу, прочесть которую никто не сможет. Джеймс Джойс писал великую прозу – «Мертвые», «Дублинцы» – но разве мог он на этом остановиться и сочинять изящные рассказы о жизни несчастных ирландских католиков до конца дней своих? Случись такое, его наверняка бы наградили Нобелевской премией. Никто ведь не пожалуется врачу: «Слушай, Док, ты величайший в мире спец по жопам, много благодарных пидоров снова можно выебать, но надо бы тебе придумать что-то *новенькое*…» Конечно, не надо; это ведь все та же старая жопа. А вот писателю приходится придумывать нечто новое, иначе он вынужден выдавать стандартный продукт – тот или иной. Так, я мог бы писать стандартные романы про диких мальчиков в духе голубого Питера Пэна, год за годом выпускать нечто вроде сериала о Тарзане; а мог бы написать «Поминки по Финнегану». И вот, ко мне приходит эта идея о сыщике и Городах Красной Ночи… *Quien sabe?*[1]

Или взять, к примеру, шоу-бизнес; сегодня ты возглавляешь хит-парады, вся богема от тебя без ума… как Дуайт Фиск, который исполнял жуткие двусмысленные песенки в тридцатые годы – «Тот тип щипнул меня у Астора, прямо за сценой, и несколько дней твою мать никто не видал, мой бесценный; теперь, моя юная крошка, ты знаешь о жизни немножко – у Астора, прямо за сценой» – да кому теперь на хрен сдался этот бред? Но вы не найдете ни одного врача, адвоката, инженера или архитектора, которому придется либо быть чемпионом мира в своем деле, либо тупо стоять на углу и торговать галстуками. Ни один атомный физик не думает об увольнении, ибо одни люди всегда хотят истреблять других в массовых масштабах. Само собой, его холодильник набит колбасой и минералкой, точно как у водопроводчика. Все у него в порядке: гранты, стипендии, радуга над могилой и надгробие, сияющее в темноте.

1 Кто там? (исп.)

Художник, однако, в определенной степени свободен. Возможностей у писателя довольно мало, зато у него есть свобода, – по крайней мере, на Западе, господин Евтушенко. Обдумайте это как следует. Хотите вы просто быть голосом власть предержащих? Чем больше власти, тем меньше свободы. У политика фактически вообще нет никакой свободы. Меня часто спрашивают: «Что бы вы сделали, если б стали президентом? Что бы вы сделали, если б оказались диктатором Америки? Что бы вы сделали, будь у вас миллиард долларов?» Как говорил мой покойный друг Ахмед Якуби, «этот вопрос не личное мнение». Точнее будет спросить: «А как *вам удалось стать* президентом, диктатором, миллиардером?» Ответы на эти вопросы определят то, что вы будете делать. Ведь на эту должность не переносятся по мановению волшебной палочки: чтобы ее занять, необходимо предпринять конкретные шаги, и на каждом из этих шагов делать уступки и платить свою цену.

Возьмем микрокосмический пример: мое скромное желание стать заведующим канализацией в Сент-Луисе, и мои мальчишеские фантазии о том, что бы я сделал, окажись на этом посту. Эти мечты вкратце изложены в эссе, которое я написал для журнала «Харпер» в ответ на вопрос: «Когда вы перестали мечтать стать президентом?» Я представил себе тихую синекуру, жульнические контракты по прокладке труб, мой дом, полный томных порочных молодых людей, о которых пресса отзывается как «о лакеях при дворе его величестве Султана Канализации». Наверняка я удержусь на посту благодаря той грязи, которую собрал на губернатора, и буду проводить ночи в диких оргиях, или сидеть себе и курить косяк у шерифа, наслаждаясь вонью, идущей из прорванных труб на мили вокруг.

Но почему именно меня должны назначить заведующим канализацией? Обязанности номинальные и никаких навыков не требуют. Мне не дадут эту должность благодаря моим познаниям в канализации или способностям справиться с этой работой. Тогда почему? Наверное, я долгое время работал для Партии и заслужил награду. Однако и мне придется кое-что дать взамен. Допустим, я перетянул голоса на выборах, и, стало быть, заслужил небольшую премию? А может, они ожидают, что я приму на себя всю вину за сделки с водопроводом. Раз так, придется быть бдительным и не подписывать что попало. Возможно, они ждут, что я отстегну что-нибудь в предвыборную кассу, ведь я вполне мог отхватить им кусок пирога, общаясь с богатыми мира сего. Одно несомненно – они потребуют от меня кое-что взамен.

Так вот, незаконная сделка с дешевой прокладкой труб потребует участия подрядчиков, аудиторов и целой армии подстав, посредников и прикрытий, и все должно быть оплачено услугами и наличными. И значит, в моем доме не окажется томных и порочных юношей – в него набьется толпа курящих сигары, сосущих виски и воняющих политиканов и их посредников. У меня что-то есть на губернатора? Лучше мне поостеречься, как бы у него не нашлось чего-нибудь на меня. Заведующий, как жена Цезаря, должен быть вне подозрений: само собой, вне подозрений в сексуальных оргиях и наркотиках. Было бы безумием с моей стороны не поладить с шерифом. Конечно, можно на него положиться, чтобы уладить штраф за неправильную парковку, но лучше держаться подальше от его

конфискованной марихуаны, если только меня не прикроет кто-нибудь из начальства. Сумей я даже выбить пару ребят из спецподразделений для охраны канализации от саботажа коммунистов, они окажутся отнюдь не юными красавцами. Скорее всего, придется иметь дело со слабоумным зятем шерифа, который не годится и в ночные сторожа, и еще двумя или тремя отчисленными из полиции и охраны.

Ну а если я не могу делать то, что хочется, заведуя канализацией, еще меньше у меня возможностей на посту президента Соединенных Штатов. Я ведь немедленно распущу армию и флот, а весь оборонный бюджет пущу на строительство центров сексуального развития, верно? Легализую марихуану? Аннулирую запрет на въезд в страну азиатов? Упраздню подоходный налог для художников и взвалю налоговое бремя на богачей? Долго я проживу после этого.

Думаю, Ричард Никсон войдет в историю как самый настоящий народный герой, окончательно уничтоживший нездоровую идею поклонения образу президента и сумевший вернуть американцам чувство здорового пренебрежения и скептицизма.

Перевод Михаила Гунина

коллекция

ГАБРИЭЛЬ ВИТТКОП

СОН РАЗУМА

…поскольку вы просили меня поведать эту историю. Если бы Боб оставался в живых, он бы наверняка сам рассказал вам об этом. Не помню уж, как нам пришла в голову эта идея, я лишь чувствую вновь охватившую нас тогда скуку, усталость, смутное, но сильное желание сделать то, что принято называть злом. Я имею в виду некую тоску по жестокости, но не ту, с веревками и ремнями, слишком уже пресную на наш тогдашний вкус, а скорее такое злодеяние, об извращенности которого могли бы судить только мы. Зная Боба, вы, несомненно, заметили его склонность преступать границы, тот способ существования, в котором выражалось его отчаяние, его наивность, который был точкой, где его гордыня смыкалась с его смирением.

Мы были в Мадриде, как я вам уже говорила, жили несколько дней вдвоем в пустой квартире, которую нам оставил Фред, – две плохо обогретых комнаты, выложенных разноцветными плитками мрамора, в современном доме, где слышишь только хлопанье дверей лифта и никогда не встречаешь ни одной живой души. Мы устали даже разговаривать, хотя идеи Боба и язык, казалось, позаимствованный им у Суинберна, ничуть не потеряли присущего им блеска в те несколько месяцев, что оставались до его смерти. Мы побывали уже во всех музеях, и нам неохота было идти туда по второму разу. К тому же на нас давила какая-то тяжесть, предпраздничная вязкость, отбивавшая всякую охоту к прогулкам. Даже в Мадриде сволочная природа Рождества нависла над нами своей зубастой пастью. Тогда – уж не помню, по какому поводу, – Боб принялся говорить об R.

Для справки: в Мадриде есть некое католическое учреждение, где уже полвека находят приют все человеческие и не вполне человеческие чудовища, от которых отказались люди. Фонд R. не располагает никаким постоянным капиталом и висит на ниточке ежедневных пожертвований. Туда ходят как в зоопарк, так что монашки привыкли к роли сопроводительниц, и их подопечные, спасенные от ярмарочных балаганов, все же не вполне убереглись от посторонних взглядов.

– Мы не показываем их всех сразу, а самые интересные экземпляры у нас в подвале, – признаются монашки не без циничной наивности.

– Изучение монстров захватывает и даже, пожалуй, забавляет, – рассказывал Боб. – В Лондоне я какое-то время дружил с одним врачом, который их коллекционирует. Его уродцы, к сожалению, мертвы, но их препараты занимают целую большую темную комнату, отделяющую гостиную от ванной. Мы провели там немало прекрасных часов. Например, возьмем изысканный случай *spina bifuda*, когда голова погружена в торс, эпителиальная пластина и позвоночный канал обнажены, позвонки лишены шпорцев. Впрочем, иногда такое построение оказывается жизнеспособным. Чудовища, «менее редкие, чем чудеса», могут

быть необыкновенно крепкими физически. Что же касается циклопов, то они очаровывают меня тем, что их череп имеет лишь одну глазницу, которая сообщает организму некую благородную симметрию, обнаруживая поразительно логичное соотношение общего замысла и мелкой детали. Жаль только, что у всех циклопов над глазом есть небольшой *proboscis*, нарост, который следовало бы удалить…

Он продолжал некоторое время в том же духе, с наслаждением описывая многочисленные случаи двуглавости, подолгу останавливаясь на изображении маленьких восковых лиц, отмеченных непередаваемой болью, скрюченных конечностей, хрупких и сморщенных членов:

– Какое-то лунное одиночество по ту сторону стекла, другое измерение, которое превосходит даже смерть.

Сначала я не могла понять, к чему он ведет, хотя и чувствовала в его словах желание сказать нечто большее.

– Надо перечитать труды Этьена и Исидора Жофруа Сент-Илэр по тератологии. Можно заметить, что, подобно зоологии, эта наука рассматривает некие основные формы, которые затем разветвляются в классы и отряды. Чудовища, монстры – это не произвольное явление, бесцельный фарс природы; напротив, это ее отборные произведения, в которых она явила особое внимание к деталям. Именно поэтому, несмотря на весь интерес, который вызывают мертвые препараты, в тысячу раз предпочтительней наблюдать их живыми, в движении, как заморских зверей.

Он тяжело поднялся – усталость от жизни давала о себе знать в последние месяцы – и вышел в соседнюю комнату. Я и сейчас словно вижу его черный силуэт против света в дверном проеме, когда он переступал порог. Я слышала, как он долго разговаривал по телефону, но он и словом не обмолвился о содержании этого разговора, когда вернулся ко мне.

Прошло несколько дней, заполненных чтением, скукой и теми движениями, которые не имеют другого вкуса, кроме грусти. Я знаю, вы не раз задавались вопросом о том, что нас связывало с ним. Я и сама в то время не могла бы точно определить природу этой связи, которая казалась мне абсурдной и неуловимой. Теперь я знаю, что Боб любил меня прежде всего за тот пыл, с которым я разделяла его химеры, бросалась вместе с ним в его бездны.

Итак, в те дни тоска по злу оказалась живучей, словно опасный зверь, затаившийся внутри нас, как в логове. И если я молчала об этом, то Боб изрекал время от времени какой-нибудь выспренний и темный оракул, а я лишь догадывалась, что всё тянется в том же самом направлении, к той сухой жестокости, о которой я вам говорила.

За три дня до Рождества, когда мы завтракали, он выпалил с места в карьер:

– Мне было трудно убедить их принять идею праздника у монашек в заведении R. Я им представил нас как двух филантропов, желающих скрасить угрюмую жизнь чудовищ. Сначала тетки отказывались, давая понять, что денежное пожертвование в размере стоимости праздника устроило бы их больше. Тогда я пообещал и милостыню, и праздник. Наверное, монашки посоветовались со своим духовником. Они согласились, но с условием, что праздник будет происходить после

обеда и закончится к ужину, чтобы, по их словам, не нарушать установленный режим дня. Они не расспрашивали меня о деталях, так как нелюбопытны, но они ждут нас завтра в 14 часов. Кажется, там и старики есть.

Весь следующий день шел снег, и всё обволакивал холодный бледно-серый свет.

R. оказалось длинным зданием неопределенного стиля, гнойно-желтого цвета, с плоской крышей, с решетками на окнах. В коридорах плавал запах застоявшейся похлебки, искрящиеся гипсовые святые стояли на страже с букетами искусственных цветов у ног.

Прием, который оказали нам монашки, отдавал смесью услужливости и смутной подозрительности. Старые и молодые, сухие и тучные, они напоминали больших нетопырей, которые, кувыркаясь, скользили по стенам широкими крыльями. В голосе у них было что-то хриплое и бархатное.

– Вам понадобится смелость, большая смелость, – повторяла настоятельница, когда мы передавали ей чек. – Много смелости понадобится. Они ужасно пачкаются. Некоторых надо кормить с ложечки, а у одного рот такой маленький, что его можно кормить только рисом, по зернышку, по зернышку. Вот какие вещи на свете бывают. Некоторые целыми днями занимаются тем, чего не следует делать, но это отнюдь не грех. Они не могут грешить, они ведь чудовища, предостережение Божие. Много, много смелости нужно…

Питомцев заведения собрали в залу, выкрашенную коричневой краской, середину которой занимал большой стол, а в углу стояла фисгармония; между окнами был прибит огромный Христос – казалось, он распят прямо на стене.

Дюжина стариков и старушек сидела в компании полутора десятков монстров.

Монстры. Чудовища. Мне хотелось бы придумать для них слово, которое давало бы им другое измерение, в то же время сохраняя обещание, понятие, выдвигающее новые возможности какого-то другого плана, на который намекал, быть может, Боб, когда говорил о заспиртованных препаратах. Я чувствую, что термин настолько общий как чудовище, монстр, не передает ни разнообразия явления, ни его тайны. Чудовище: извращенный образ сказочного соития, плод Сатурна, несмотря на монструозную систему, о которой говорил Боб. Да, я знаю, можно всё свести к тривиальности, вспомнить о генетических синдромах, об отклонениях в развитии зародыша… Предложить, созерцая обитателей R., думать меньше о Гомере и больше о Барнуме.

Если бы я не знала о вашей любви к описаниям, я никогда бы не рискнула взяться за подобный рассказ, и даже сейчас я сомневаюсь в своих способностях. Я могу лишь перечислять. Там была огромная микроцефалка в грязной рубашке. Женщина, страдающая ожирением, в старом платье в цветочек; знаете ли вы картины-близнецы Хуана Карреньо де Миранда «*La Monstruosa Desnuda*» и «*La Monstruosa Vestida*»: «Уродка обнаженная» и «Уродка одетая»? Жирная была одновременно и той и другой, ибо ее нагота проступала как вода сквозь бедную хлопчатобумажную ткань. Кроме этих двух чудищ там были три карлика, один из них горбатый. Один случай фокомелии – знаете, такие люди-тюлени, которых

раньше показывали в цирке, у них жирные ладошки растут прямо из плеч? Этот носил женский чепец и курил сигару, которую ему кто-то дал. Женщина-обрубок ползала на запястьях, ее седые волосы были заплетены в косички. Несколько большеголовых кретинов. Один случай гипертрихоза, совершенно потрясающий: волосы спадают с середины лица длинными прядями, кое-как подрезанные ножницами, затем распространяются по плечам, а посреди этой невероятной гривы – горячие грустные глаза. Гном с хитрым и веселым лицом, скелетические члены, брюхо как у клеща; его вез в кресле-каталке двадцатилетний мужчина, на груди у которого был привязан полотняный мешок, где копошилось что-то живое. Скоро вы узнаете, что это было. Наконец, то, что на ярмарках называлось «женщина-паук»: молодая девушка, передвигавшаяся на четвереньках, нормальная и даже красивая до пояса – я вспоминаю болезненную тонкость ее лица, роскошные черные волосы – но с коленями, обращенными назад, с ногами, согнутыми под прямым углом, уродливое положение, поднимавшее ей таз.

Таковы они были, в этой зале с забранными решетками окнами, в тусклом свете зимы, порожденные сном разума. Ибо, если даже предположить, что природа изготавливала их методически, сам этот метод был маниакальным бредом, черным безумием.

Наши ящики с шампанским и корзины с печеньем уже принесли. Пузатая монахиня, прямо-таки сизая от переполнявшего ее здоровья, хлопнула в ладоши и сказала несколько слов благодарности. Другая, очень пожилая, пробормотала что-то неразборчивое и, усевшись за фисгармонию, заиграла задыхающийся хорал, а другие монашки и старики тут же затянули слова. Чудовища притихли, но мы догадывались, что они с напряжением ожидают чуда. По знаку сизо-баклажанной монахини две дебилки в теплых халатах, с жидкими волосами, закрученными в шиньон, принялись раздавать наши подарки: апельсины, нательное белье, мелкие деньги. Старики утирали слезы или притворялись, что утирают. Уродцы проявили страстный интерес к своим подаркам, показывали их друг другу или ревностно защищали, когда не хотели меняться. Воцарилось волнение, легкий беспорядок. Мы воспользовались этой минутой, чтобы открыть первые бутылки.

– Никакого алкоголя, алкоголь здесь запрещен! – попыталась запротестовать молодая рыжеволосая монашка, но было уже поздно.

Шампанское неудержимо, как поток лавы из вулкана, это самое дионисийское из всех вин. Во мгновение ока чаши монстров наполнились. Да, перед ними стояли случайные чашки всех размеров, от толстых фаянсовых цвета охры для приготовления травяных настоев, до помятых алюминиевых армейских кружек. И вдруг полилось что-то новое, золотистое, пузырящееся и щекотное, с приятным запахом и волшебным именем, которое не каждому из них доводилось даже слышать. Они упивались этой ангельской мочой, словно лакричной настойкой.

Действие оказалось ошеломляющим. Первыми оживились старики. Вообразите себе, там ведь было сборище полутрупов, кожные мешочки в черных чехлах, развесистая язва, братская могила. И всё это готово было вспыхнуть великолепной течкой, половым буйством. Одноглазые старухи, проглотившие

собственный рот, запевали жестокие романсы, вспоминая юность. Нетопыри пытались их успокоить: ну, хватит, хватит же…

Но нет, старухи целовались, плача и смеясь до потери дыхания. Чудовища рыгали. Что-то загоралось в их глазах, далеко, как в глубине тоннеля, маленький рыжеватый отблеск. Чтобы погасить его или раздуть, они безмолвно тянули кружки к нам. Они сразу поняли, где источник.

– Хватит уже! Довольно! – протестовала молоденькая монашенка, но ах!

– Выпейте, сестра моя, ведь сегодня Рождество нашего Спасителя. Шампанское – это не алкоголь… а нечто гораздо хуже…

Ведь мы наливали и нетопырям, заметьте…

В три часа было уже так темно, что пришлось зажечь единственную лампочку, свисавшую со свода на проводе, мелкое усталое светило, которое выхватывало своим меловым кругом причудливые формы на угольном фоне, словно лунной ночью выступающие из полной тьмы скалы.

После стариков самыми пьяными были карлики. Они почуяли беззащитность кретинов и набросились на них с жестокой решительностью. Слышались жалобные крики и визг.

– А музыки-то у нас нет, – сказал львиноподобный человек, чей голос прозвучал неожиданно чисто из-под покрывавшей лицо гривы.

Я отметила, что на нем были туфли с пряжками, дамские туфли на высоком каблуке.

– Фисгармония! Ах, нет, только не это! Да, да! Ничего в этом нет плохого!

Монахиня с сизым лицом заиграла вальс из «Веселой вдовы» на фисгармонии. Вы когда-нибудь слышали «Веселую вдову» на фисгармонии? Старухи, старики, чудовища плясали все вместе, все, кто только мог двигаться, и даже те, кто не мог. Кавалеры на костылях старались поспевать за движением танца. Никто не умел вальсировать, это было копошение изуродованных насекомых, судороги агонизирующих, хоровод слепых, оглушенных ударами молота. Чтобы было удобнее, жирная задрала платье до бедер и прикрепила булавками, она тоже хотела танцевать. Великанша тяжело топталась, прижимая к животу полураздетую старуху, неописуемые груди которой торчали из корсажа. Некоторые танцевали в одиночку, закрыв глаза и закинув голову назад, как дервиши. Другие собирались по трое или по четверо, образуя расплывающиеся уродливые круги.

Разгул нарастал. Фисгармония ревела, затем испускала душу, чтобы с новой силой пуститься в какофонию шабаша. Ссоры вспыхивали между монахинями и между питомцами пансионата, скандально разрастались и лопались, как пузыри. Гнилостный запах распространился по зале. Среди звезд из золотой бумаги, иголок рождественской елки тапки намокали в лужицах то ли шампанского, то ли мочи, блестевших в свете лампочки. Огромные тени населяли полумрак сводов своими гротескными жестами и опадали, как хлопья сажи, вдоль стен, пронизанные пламенные взглядами, как у стаи волков, ибо под бельем из серой фланели со штампом заведения угадывались желания и влечения. Привязанные к

одинокому наслаждению, замкнутые в постоянной фрустрации полового чувства, питомцы – или, если хотите, заключенные R. – казалось, в первый раз познали распущенность. В первый и в последний раз. Столько теней. Одна лампочка на потолке. Такой могильный запах. Изысканный час, что медленно опьяняет нас. Тут и там пронзительные крики. Стоны, сдавленное кудахтанье. Кто-то кричит, кричит, кричит в плотном куске темноты. Этот крик раздается часто в памяти моих снов, вниз и вверх, возродился, погас, задохнулся, забил – фонтан неисчерпаемый боли. Я никогда не знала, и я знала всегда: девушка-паук. Если вы задумаетесь о позе, диктуемой ее сложением… Старуху тошнит под столом. Развалившись по лавкам, локтями в раздавленных пирожных и пролитом шампанском, нетопыри забыли свою природную скромность. Строгость их монашеского одеяния нарушена, чулки спадают спиралью на старые мужские башмаки.

Боб и я по молчаливому соглашению готовились уйти, когда одна из групп в углу залы привлекла наше внимание своим неистовством. Мы приблизились. Я не нахожу слов, чтобы описать зрелище, представившееся нашим глазам, которые отказывались верить…

В центре круга обезумевших зрителей мужчина, о котором я вам уже говорила, снял мешок на торсе, скрывавший близнеца-паразита. Можете ли вообразить? Представьте себе таз, грудную клетку и атрофированные конечности – не хватало пальцев рук и ног – существа величиной с десятимесячного ребенка, который выходил из грудной кости взрослого. Кормясь от хозяина, такой организм без головы, без самосознания, обладает между тем собственной системой кровообращения и выполняет самостоятельные движения. Этот, под воздействием алкоголя, сучил искривленными ножками в ритме сумасшедшего велосипедиста; его недоразвитые ручонки хватались за торс брата, который, весь красный, хохотал клокочущим смехом горгульи. Меловые пятна электрического света неровно освещали паразита, чья гладко натянутая кожа блестела как воздушный шар, играли на лицах веселящихся ночных чудовищ, зажигали стекла, которые одна старуха носила как пенсне. Присутствующих развлекал не столько вид близнецов – уж наверное, он был им знаком, сколько те жесты, которые производила эта ужасная машина из плоти, трясясь под их взглядами. Ну да, конечно, *the goose*…

Мы с Бобом сбежали, как воры. В машине, которая отвозила нас домой, он взял меня за руку.

Я уже заканчивала это письмо, когда вспомнила еще одну вещь. Вечером после посещения R., Боб пил быстрыми глотками, как он делал всегда, когда хотел скорее напиться. Затем он повернул ко мне свое такое красивое еще лицо и сказал незнакомым голосом:

– Когда жалость нестерпимо мучит меня, что остается мне, как не кидать камни в тех, кто ее вызвал?

ЦЕНА ВЕЩЕЙ

Худой, согнутый, как складной нож, человек с дымчатыми глазами созерцает паутину. Шелковые нити – это каналы, впадающие в другие каналы, и, сходясь к собственному центру, город геометрически упорядочивается, план города – это и есть Амстердам. Здесь он жил тысячу лет тому, десять месяцев назад, серый, как жесть, горящий желанием крыльев. Ибо я горел желанием иметь крылья, даже когда опьянялся здесь древними яствами: мелкой камбалой в сметанном соусе, слоеными пирожками, имбирными пирожными, засахаренной айвой. Я приносил жертвы этому тяготению, которое отрицало мою душу и, нисколько не умаляя беспокойства, напротив, усугубляло его, доводило до состояния болезненной антитезы, как язык, терзающий больной зуб. Икар падает вниз головой на фоне желтого неба. В этой паутине вкус ржавчины от старого замка́ наполняет рот терпкостью: вкус ломки. Что-то связано, заткнуто, механизм не работает. Во снах бывает: забыто слово, утерян жест, не совершен обряд, покров лежит на том, что должно быть явлено, отсутствие переходит в казнь, ломка, ад верующих. Древняя клеточная память, самые глубокие старые сны всё-таки живут в нем. Я – агатовый шарик, пронизанный млечными путями, разноцветными дорогами, черными нитями, которые привязывают меня к моему прошлому. Я палимпсест, словно изглоданный червем беспокойства и забвения.

Город хотел бы научить его покорности, но воды говорили об уходе. После одиссеи, о которой вполне можно забыть, вот он – на борту «Дамары», стотонного судна (голландской, кстати, постройки), старой развалюхи, курсирующей под индонезийским флагом между Ломбоком и Флоресом.

Свободный человек, как бы там ни было, даже если он освободился только от худшего. Ночью он спит по два часа. Потом весь день чихает, размазывает сопли, плачет. Он может зевнуть двадцать раз подряд. Он слышит в глубине себя землетрясения и войны. Внутри него расстреливают вопящих жертв. Машины бурят его мозг. Ледяные судороги, мятная дрожь, ртутные спазмы тормошат его плоть. Противная клейкая масса заполняет рот. Но главное: главное, я слышу запах падали, в которую скоро превращусь, зловонное семя. В мире есть только один запах, достаточно сильный, чтобы прогнать эту вонь, только один, темный, горький, жирный. Придется жить в состоянии ломки еще много дней, но мужества ему не занимать. Фильм можно смотреть с любого места в любую сторону, мистер Танг поднимает трубку.

Негоциант в Макассаре, мистер Танг высок и толст. У него короткое дыхание, он любит человечество. Он продает туристам безделушки из твердого камня, плохую яшму, непристойные стеатитовые статуэтки, например, три черепахи друг на друге. Он продает натуральный жемчуг, семена или причудливые брелоки на вес, а также розовые бриллианты и девственные жемчужины поштучно. И кроме всего этого мистер Танг продает Сок Небесного Цветка, хотя сам никогда его не употребляет.

Прокрутим пленку обратно. «Дамара» возвращается с Комодо, острова гигантских варанов. В аспидной ночи Сумбава выглядит сумрачно, увитая, как

гирляндой, желтой змеей лесных пожаров. Члены экипажа спят, завернувшись в саронги, и даже матросы-китайцы, которые допоздна упрямо играют в шахматы и собирают свои пешки, только если слишком высоко поднимется волна, спят, бросившись навзничь, открыв полные тени рты, черты их лиц вылеплены слабым неверным светом палубы. Стук машины заглушает дыхание моря.

Сто лет назад – скажем, лет сто – опиум был дешевле алкоголя в английских городах, и бедняки травились им, чтобы заглушить голод.

Звук навязчив, то ли тиканье часов, то ли шорох травы. Ветка дерева, черная бронза, зеленая патина, возникает пейзаж. Тысячелетний дракон поднимает минеральную, растительную голову, раздвоенный язык дрожит непрестанно. Черные глаза – глаза провидца, ягоды, полные бдительным соком, чернилами, которые записывают всё. Эйфелева башня, тело, вознесенное высоко вверх на вытянутых ногах, залитое солнцем, шея торчком, он качается из стороны в сторону. Вот он разбегается, набрасывается, резким клевком хватает кусок кишки, вытягивает рывками, разматывает. Звук пилообразных челюстей.

Выращиваемый в большой петле Меконга, Небесный Цветок Лаоса дает людям свой сок, который затем сплавляют по вниз течению на лодках-сампанах. Ночью, в каком-нибудь извиве дельты, его перегружают на маленькие катерки, которые устремляются в сторону Сингапура, избегая мин, как ловкие танцоры. От Сингапура до Макассара путь превращается в лабиринт. Расходы растут. Мистер Танг вздыхает. Телефон дребезжит.

Внизу, в кабине сплошь расчерченной черными и голубыми электропроводами, нет воздуха. Зеркало раскачивается, царапая перегородку. Прежний обитатель оставил стопку стихотворений, сложенных, как блины, на углу обтянутого клеенкой столика. *Pergi ke bulan…* Улетим на луну… Человек по имени Питер ван Хоог ничего не ест, его всё время рвет, пот обильно смачивает корни волос. Экипаж не заблуждается насчет его состояния, но им всё равно. Гигантские вараны не интересуют Питера ван Хоога, но он сумеет пробраться к острову Комодо на борту «Дамары», и там, в печальной и пустынной бухте Соро Лианг, ловцы жемчуга передадут ему пакет. Я привез железные коробки, герметичные коробки. Поскольку это сырец, придется мне жить с ним, не прикасаясь к нему, даже не открывая коробок, чтобы понюхать, морской воздух ему ни к чему. Вернуться в Биму, одноглазый город, затем кошмарный полет – он кошмарен всегда – до Сурабайи. И затем еще нужно будет его мыть, вымачивать, варить, процеживать… Расходовать потихоньку, курить *дросс*, беречь каждую капельку, тогда, быть может, запас долго послужит тому, кто потерял время и выбросил пространство…

Только одна деревня на неприютном острове, усеянном обломками, над которыми изредка пролетит ворона или белоголовый коршун. Комковатая почва рассыпается под ногами, сезон дождей превращает ее в трясину. Соломенная мечеть, заброшенное кладбище, заросшее желтой травой, чуть-чуть горькосоленой воды. У обитателей острова серая кожа; солнце обесцвечивает их волосы до того бледного оттенка, который можно видеть на крышах из иланг-иланга. Ангелы, танцующие там, посеребренные пеной изо рта, увенчанные лихорадкой и паразитами, носят имена холера, туберкулез, малярия, столбняк… Кроме ловцов жемчуга и перламутра, которые останавливаются на острове, когда

грозит буря, остров посещают лишь австралийские и японские зоологи, так как морские течения и скалы Малых Сундов делают доступ к нему полным опасностей.

Сначала он работает художником, дизайнером, на текстильной мануфактуре недалеко от Шеллингвуда, местечка, пахнущего снегом и половой тряпкой. Однажды ему предлагают провести шесть месяцев на острове Ява, чтобы изучить, каким образом можно перенести узоры батика в промышленный орнамент европейских хлопчатобумажных изделий без потери их самобытности. По истечении шести месяцев он увольняется и находит на одной из фабрик Сурабайи должность, равноценную той, что он занимал в Голландии. Он вызывает к себе жену, блондинку, которая немедленно начинает толстеть и приобретает от жары пурпурный цвет, но лишь когда она окончательно приковывает его к себе ребенком, он уходит от нее навсегда. Новорожденный ребенок – это освежеванный заяц, алый, липкий, с синими прожилками, с беловатыми пятнами, гной под натянутой тонкой кожей, непристойной пленкой, в которую набиты мясные обрезки. Вопрос богословов тщетен, как соляной столп. Душа появляется медленно, и так же медленно она уходит, часто весьма задолго до смерти. Душа трехмесячного щенка более реальна, чем душа новорожденного человеческого младенца.

Состав сырца: 5-15% морфина; 1,5-12,5% наркотина; 0,5-3% кодеина; 0,1-0,5% папаверина; 0,3% тебаина; 0,2% нарцеина; другие растительные алкалоиды, не говоря о прочих химических составляющих. После переработки в *чан-ду*, курительный опиум, он содержит не менее 12% алкалоидов.

Пористый скелет с лицом постаревшего ребенка, узким и сухим, с пергаментными висками, лицом, похожим на раковины, те хрупкие структуры, обломки которых усеивают пляжи. Для него все двери открыты, все швартовы отданы, сила телесного тяготения побеждена. Его душа обширна, как море. Он скопец.

Впрочем, жена не ставила мне это в вину. Ее привели в отчаяние мой провал на работе, после которого меня уволили, и огромные расходы на опиум. Она сказала, что не может больше выносить этот климат. Взяла ребенка, вернулась в Амстердам и теперь живет у своей матери в высоком кукольном доме, выкрашенном в черный цвет и пахнущем чаем. Эдит носит передник и играет на клавесине, но она играет на нем как на гармошке или аккордеоне, потому что наша нидерландская музыка всегда или ярмарка, или богослужение. Холостой пастор аккомпанирует ей на блокфлейте, а красная шапочка, желтоволосый ребенок делает вид, что разглядывает картинки, слушая их барочный кошачий концерт.

Он потерял место в обществе, утратил общительность – вот ведь слово для заик. Опиум – единственная его путеводная нить, водораздел, поверхность воды, где он плавает, леска для ловли на глубине. Он обращает взгляд к бухте Соро Лианг, высматривая из тысячи окон своего карточного дворца прибытие ловцов жемчуга. Он ждет, что какое-то неведомое пока вещество проявит фотоснимок его жизни, даже зная, что наступит день – который будет хуже, чем сейчас – когда его черные и зеленые дворцы, в которых ныне раздаются возвышенные гимны, превратятся в ад, «в ужас мщения, в Илиаду невзгод», когда сброшенные с небес ангелы будут падать на землю дождем: но ломка – это уже ледяное чистилище. Легкий, как дерево на плаву, со страданием, отпечатанным

в угольных знаках, прозрачный, рыхлая известь, завернутая в полотно, Питер ван Хоог скоро поплывет меж ветвей, парусов и муаров путешествия в глубь себя, по волнам безымянной музыки.

Ратна, говорит он, Ратна была похожа на звук арфы, чье пение еще привязывало меня к этому миру, не умаляя другого, истинного мира *чан-ду*. Я больше не слышу ее в моем нынешнем состоянии, но опиум, который приносит всё из далека-далёка, вернет мне ее, после искупления. Я не имею в виду догму, под искуплением – моим и Ратны – я понимаю пляшущее взаимопроникновение времен и царств.

Ведь я специально для вас приготовил этот чудесный пакетик, *an extraordinary bargain, indeed, but cash.* У меня большая семья, два сына, они учатся, паразиты, в Лозанне, а всё так дорого в наше время, позвольте также напомнить, что я вам уже предоставлял огромный кредит. Итак, только наличными…

Не зная, что за ним наблюдают, варан заглатывает свою добычу, он разевает пасть на 180°. Бесконечная череда наблюдателей и наблюдаемых, от одного вида к другому, от одного царства к другому, от одной вселенской бездны к другой.

У меня оставались деньги лишь на то, чтобы прожить несколько месяцев, не отказываясь от опиума. Я остановился в Сурабайе, огромной, плоской, воняющей нефтью и живущей в неоновом свете вывесок компании Пертамина. Я поселился в сумрачном пригороде и нанял прислугу, от которой ничего особенно не ждал. Двенадцатилетняя Ратна предпочитала не работать на какой-нибудь прядильне, а смахивать метелкой пыль, открывать кокосовый орех ударом пробойника, ходить за дешевой стряпней в китайскую обжорку. Ратна была индуисткой, и пока я курил, она часто напевала *Рамаяну*, носовое мурлыканье, внезапно переходящее в горловой хрип. Но еще чаще связывала нас черная лента полной тишины. Ратна, эфемерная и бессмертная, как Цветок, единая и многообразная, хрупкая, исчезающая, невинность мира. Светлый ангел неуловимой наружности, Ратна любила меня, и я любил ее в совершенном целомудрии Небесного Цветка. Но на другой планете и шкала ценностей другая, ибо я ненавижу сестер милосердия, презренных сиделок, дьяконесс, знахарок. Ратна, которая умела поджечь для меня шарик опиума на игле, не имела ничего общего с этими милосердными шлюхами. Смотрите, сейчас как будто всё сгорит. Сухой сезон.

Стоит сухой сезон, и пейзаж напоминает австралийские степи, до которых от острова не более 500 миль. Стайки маленьких какаду вспархивают среди пепельных акаций, колючих кустов, деревьев, скелеты которых торчат на лиловатом фоне вулканических уступов. Всё тускло, за исключением редких орхидей под мышкой у эвкалипта. Примятая на узкой ленте тропинки, которой островитяне ходят за дровами, трава ждет знака, чтобы превратиться в пламя. Держа в правой руке кинжал-*керис*, в левой веревку, за которую он тянет козленка, крестьянин идет быстрым и мерным шагом, избегая задевать нити, протянутые между деревьями пауком-нефила. Обрывистая с одной стороны, песчаная впадина поднимается среди зарослей кустов, растущих на противоположном склоне. Обитатели острова спускаются туда с козленком. По какому произволу привезли его сюда на лодке,

больного от страха и качки, с глазами, изъеденными мошкой, чтобы он окончил свой краткий век под ножом мясника, в этой песчаной впадине, принесенный в жертву гигантскому варану? Всё очень быстро. Дрожащий крик, всхлип, рывок. Синеватые глаза, глаза цвета мыльной воды, козленок лежит в пыли, на шее красный цветок. Его потрошат со свистом рвущейся ткани, разбрасывают внутренности палкой. На фотографии будут видны два мясника, расходящиеся в разные стороны, как актеры, покидающие сцену.

Она надела красный цветок себе на шею, сделала прическу, оделась в лиловое платье, на пальце у нее колечко, которое ей подарил хозяин. Сидя на цементных ступеньках, она запрокидывает голову, словно жертва, она улыбается небу. Ее кожа – золотой шелк, по которому вьется серебряная кайма, световая нить вдоль ее рук, шеи, плеч. Губы настолько полные, что ей трудно закрыть рот, он остается приоткрытым, так что виднеются зубы. Она живет настоящим, не думая о будущем, но боится богов. Два ее старших брата мечтают о японском мопеде.

Удушливо тянутся часы. Геккон *токи* испускает заунывный крик. Человек делает знак: *ора*! Варан! Ничего не видно. Ничего не слышно. Один и тот же пучок жухлой травы столетиями отпечатывается на сетчатке, в двух дюймах от лица. Засада навострилась пылающим лезвием, варан здесь, невидимый и неслышный. Обоняние сообщает ему обо всем. Он знает всё. Он всегда приходит вовремя.

В бесконечной дали он видит себя, немого, покрытого солью, крылатого. Он видит себя на дне лиловой бездны. Он видит себя в клубах пара. Его ум постигает всё, если только он не схвачен и не пожран беспощадной ломкой. Да, у меня были эти деньги, да, у меня была сумма в рупиях, в точности соответствующая той сумме в долларах, которую требовал мистер Танг за *extraordinary bargain*, за этот запас, которого хватило бы надолго, надолго тому, кто не замечает времени.

– Я чрезвычайно сожалею, что вынужден заставить вас совершить эту поездку, но вы понимаете, что бдительность властей… (и всё это на тайном языке, черными знаками Небесного Цветка). – *But cash.* Только наличными.

Не позднее завтрашнего дня – или вчерашнего – он увидит корабль на якоре в бухте Соро Лианг, спустится и сядет в сампан. Другие вараны приходят вслед за первым, уходят, возвращаются, сменяют друг друга у козленка, оголяют кости, хватают кишки, рвут куски мяса. То, что было существом козленка, изменяется, распадается, меняет форму, как облака на закате, превращается в существо каждого из варанов. Оно разделено и умножено, клеточная арабеска, танец молекул. Его душа плывет в темных потоках, бесформенная, забытый образ самой себя.

Зачатый, выношенный, вскормленный в пурпурной тайне, изверженный в соленой родильной слизи, облизанный, вспоенный молоком, дышащий, отринутый, похищенный, унесенный, связанный, зарезанный, выпотрошенный, пожранный. Таков козленок.

Но есть древний закон:

Существует определенный миг, когда всякая жертва знает в точности, что с ней произойдет, когда жертвоприношение предстает перед ней в малейших деталях, застыв, как образ, навеки.

У Ратны безнадежная семья. Старухи с красными от бетеля ртами, молчаливые страшные отцы, болтливые матроны. Еще у нее есть братья, шалопаи в джинсах, оба с цветком плюмерии за ухом, с длинными ногтями, с яшмовым перстнем на мизинце. Гегек и Сукрака самые упрямые из братьев. Они задолжали торговцу мопедами и настояли на том, чтобы семья приняла решение забрать Ратну. Предложение увеличить ей жалование было отвергнуто, отправить ее работать на фабрику они тоже не хотят, им нужна сразу крупная сумма.

Rumah merah, Красный Дом, находится на пути от Сурабайи к Моджокерто, это ровная дорога, идущая вдоль посадок арахиса. Каменный дом стоит среди арековых пальм, и большая вывеска кока-колы указывает на то, что это кафе. Прямо с улицы вход в зал с вестминстерскими часами, с холодильником, работающим от керосиновой лампы, с ширмами, покрытыми картинками *pin-up girls*. Клиентура набирается из рабочих нефтеочистительного завода, бродячих торговцев, водителей трехколесных такси и в особенности мясников. Даже полицейские заходят освежиться в это кафе, которое никогда не пустует. У стойки можно купить жетон, старый жетон нью-йоркской подземки, *token*, попавший сюда неведомыми темными путями. Тогда один из негодяев отворяет заднюю дверь.

Питер ван Хоог выписывает чек «за жемчуг». Его последняя крупная сумма. Это всё. Остаются лишь несколько рупий на жилье и скудную еду. Он прячет в карман чек, который завтра он отошлет в Макассар.

Когда он спросил у них о цене, они назвали сумму, равную стоимости двух мопедов. Они нарочно удвоили цифру. Напрасно пытался он торговаться. Они разглядели печаль в его взгляде. Я не располагаю такой суммой. Подумайте. Бесполезно, я не могу. Ну что ж, тогда…

Тогда приходится пробираться по коридору вдоль кухонь и прачечных, где священнодействуют тощие старухи с мерзкими ухмылками. Это не сводницы, сводниц тут нет, всем делом заправляют мерзавцы.

Это они в конце коридора принимают жетоны и впускают клиента во двор. Двор разевает драконью пасть, двор из черной лавы, по правую сторону – отхожие места, по левую – псарня. В глубине, под козырьком – клетки с решетками, как у хищников. Ряд клеток, в каждой из них дверка для клиентов, которые сидят на корточках в ожидании своей очереди и курят трубки *кретек*, а мерзавцы расхаживают, постукивая себя по ноге рукояткой кнута. Вечером рыжеватый фонарь бросает жирные отблески на землю, вымощенную лавой. Запах жареной рыбы, гвоздики, затхлого пота, позора. Брань и стоны, лязг ключей в замках. В каждой клетке – циновка, рваные тряпичные подушки, ведро. Заведение не держит мальчиков, только девочек от 10 до 14 лет. Распухшие, часто лишенные пищи, с потухшим взглядом, они бессильно лежат на циновках. Каждая принимает в день от шестидесяти до восьмидесяти клиентов, но недолго, несмотря на то, что они поразительно выносливы.

Легко отстаивать принципы на словах. Осуждать без лицемерия те жестокости, которые видел и в которых нашел источник тайной и неожиданной сладости, уже труднее.

Вечер. Она только что дочитала песнь, в которой злой демон Равана похищает Ситу, когда у входа затормозил мопед. Невнятные приветствия, затем Гегек, старший, велит Ратне собирать вещи. Ее бьет сильная дрожь. Она послушно выходит из помещения, а Питер ван Хоог остается наедине с ее братьями. В кармане у него всё еще лежит чек, пальцы мнут его, *an extraordinary bargain*. Гегек упрямо смотрит поверх ограды сада, как будто что-то там увидел. Сукрака ковыряет кожу вокруг ногтей и насвистывает. Ратна возвращается, неся в руке узелок. Гегек кивает ей. На цементном крыльце она оборачивается к Питеру ван Хоогу, протягивает руку и застенчиво гладит на прощание его пальцы. Ее глаза зовут на помощь. Она считает его всесильным. Он молчит. Она тоже. Она кажется еще меньше, чем обычно. Сукрака сжимает ее руку пальцами в дешевых перстнях.

Но есть древний закон:

Существует определенный миг, когда всякая жертва знает в точности, что с ней произойдет, когда жертвоприношение предстает перед ней в малейших деталях, застыв, как образ, навеки.

И я не хочу снова попасть в паутину, я хочу сберечь крылья, я не хочу вещей. Он обращается к матросу, который только что поймал еще трепещущую рыбу. Матрос не понимает, улыбается и говорит: да-да. Кок изрыгает проклятия в своем закопченном камбузе. Стук машины заглушает слова Питера ван Хоога, который надтреснутым голосом с надтреснутым смешком цитирует Оскара Уайльда: *Self-sacrifice should be forbidden by law*. Самопожертвование нужно запретить законом.

Разумеется, он имеет полное право пожертвовать кем-то, если речь идет о его жизни. О его жизни, но и о его погибели, даже если бы Ратна тоже стала его погибелью, постепенно превратившись, как ранее Эдит и желтоволосое дитя, в помеху его существованию. В то же время, судьба Ратны не может не волновать, потому ли, что она возбуждает сострадание, или потому, что ее жертвенность вызывает в воображении отвратительно сладострастные картины, причем первая возможность нимало не исключает второй.

Стоящее на якоре в Соро Лианг, черной бухте, где море всегда плохо пахнет, судно ловцов жемчуга выделяется серым силуэтом на утреннем небе. Одетые в американские куртки, с большими часами-браслетами на запястье, четверо мужчин расположились на песчаном берегу, готовя чай на костре, сложенном из старых досок. Приплыв из Флореса или Манггараи, они ловят жемчуг самостоятельно, продавая добычу в Макассар, а иногда и в Гонконг. Они приглашают Питера ван Хоога выпить с ними чаю и отдают ему небольшой пакет, тщательно упакованный в пластик. Мистер Танг выполняет свои обязательства крайне скрупулезно.

И еще: Питер ван Хоог не знает, что пакет у него украдут из каюты в тот же самый день, и он уже никогда его не найдет.

Перевод Анатолия Величко
под редакцией Игоря Пильщикова

ТОМАС ЛИГОТТИ

БЕСЕДЫ НА МЕРТВОМ ЯЗЫКЕ

Кончина твоя достойна жизни твоей
Овидий

I

Переодевшись после работы, он спустился вниз порыться в кухонных ящиках, с грохотом перебрал столовые приборы и утварь. Наконец, нашел то, что искал. Нож для разделки мяса, праздничный нож, его обычное орудие многих лет. Ножик-женушка.

Сперва он сотворил глаз, вырезав треугольное отверстие кончиком ножа и аккуратно вытащив мякоть. Зажав в руке лезвие, провел двумя пальцами по его тупой стороне, стряхивая мякоть из глаза на предусмотрительно расстеленную возле раковины газету. Второй глаз, нос, кричащий овальный рот. Готово. Правда, придется еще вручную вычистить наполненную семенами волокнистую сердцевину и вставить толстенькую церковную свечку. Веди их, святой огонь, сквозь тьму и невзгоды. Ко мне. К крошке-малютке.

Он высыпал несколько пакетиков со сладостями в большую миску для картофельных чипсов, прикасаясь то к одному, то к другому: круглые карамельки, терпко-кислые леденцы, шоколадные конфеты для детей. Некоторые надкусил, распробовав вкус начинки. Еще чуть-чуть. Не слишком много, потому что некоторые коллеги за спиной уже называли его толстожопым. И аппетит бы испортился перед праздничным обедом, с которым он надеялся управиться до темноты. Завтра надо подумать о диете и более простой пище.

Когда стемнело, он вынес тыкву на крыльцо, водрузил ее на маленький, но высокий столик, накрытый давно не используемой по назначению простыней. Он обвел взглядом их старый квартал. За оградами других домов и фасадными окнами светились причудливые лица новоприбывших. Праздничные гости, зашедшие переночевать, даже не надеясь дожить до завтрашнего дня. Дня всех душ. Отец Микивиц служил раннюю заупокойную мессу, – наверное, он успеет посетить ее перед работой.

До сих пор никаких детей. Погоди. Вот, бегут по улице: чучело, робот и – кто еще? – белолицый клоун. Нет, это не существо с головой-черепом, как он сперва решил, бледной, с пустыми глазницами, наподобие луны, холодно сияющей в ясную ночь. Застывшие брызги звезд.

Лучше зайти в дом. Скоро они появятся. Замерев в ожидании за дверным стеклом с миской конфет в руке, он нетерпеливо перебирал пригоршню сладостей и смотрел, как они падают одна за другой обратно в миску, – пират, наслаждающийся добычей… Пират с седоватой щетиной, с повязкой, закрывающей выбитый глаз, «Веселый Роджер» и скрещенные кости на фуражке, несущийся по дорожке к дому, взбегающий по деревянным ступенькам веранды, игрушечная абордажная сабля, торчащая из брюк.

– Шалость или конфетка.

– Так-так-так, – проговорил он, повышая голос с каждым следующим «так», – да это ведь Черная Борода. Или Синяя Борода, я вечно забываю. Но ты же совсем безбородый, не правда ли?

Пират застенчиво покачал головой.

– В таком случае мы должны звать тебя Безбородым, пока ты не начнешь бриться, по крайней мере.

– У меня есть усы. Шалость или конфетка, мистер, – сказал мальчик, нетерпеливо протягивая пустую наволочку.

– И впрямь славные усы. Ну, тогда держи, – он насыпал горсть конфет в мешок. – И перережь для меня несколько глоток, – прокричал он, когда мальчик развернулся и убежал.

Ему не надо было произносить эти слова так громко. Соседи. Нет, никто не слышал. Сегодня ночью улицы наполнены гуляками, все на одно лицо. Прислушайся к голосам, что раздаются по всему кварталу, к музыке, только подчеркивающей тишину и промозглую бесконечность осени.

Вот еще появились. Славненько.

Шалость или конфетка: тучный скелет, раздувающийся от жира под своими маскарадными костями. Какое несчастье, особенно в этом возрасте. Толстожопый на кладбище и в школе. Этому побольше конфет.

– Спасибо большое, мистер.

– Вот же, бери еще.

Скелет грузно спустился по ступенькам, истончающаяся в темном ничто фигура, уменьшающееся до чуть слышного отзвука шуршание бумажного пакета с конфетами.

Шалость или конфетка: младенец-переросток, в слюнявчике и пинетках, с прыщами на детском лице.

– Что ж, агу, агу, – сказал он ребенку, пока тот ссыпал конфеты в свой распахнутый конвертик. Ребенок усмехнулся, ковыляя обратно, – мешковатые, свисающие сзади пеленки, – вновь исчезая во тьме, из которой он вмиг появился.

Шалость или конфетка: малютка-вампир, лет шести, не больше. Помахал рукой маме, ожидающей на тротуаре.

– *Очень* страшно. Твои родители могут гордиться. Ты сам сделал весь этот грим? – прошептал он. Малыш молча посмотрел вверх; глаза, обведенные пятнами сурьмы. Маленьким пальчиком с покрытым черным лаком коготком указал на фигуру, стоящую недалеко на улице. – Мама, да? Ей нравятся кислые леденцы? Конечно, нравятся. Вот чуточку для мамы и еще для тебя, хорошеньких красных пососать. Это то, что вы, страшные вампиры, любите, не правда ли? – закончил он, подмигнув. Осторожно спустившись вниз, дитя ночи вернулось к своей матери, и они направились к следующему дому, пополняя безликую череду своих предшественников.

И другие приходили и уходили. Инопланетянин с сопливым носом, парочка вонючих привидений, астматический тюбик зубной пасты.

С каждым ночным часом процессия увеличивалась. Поднялся ветер, и рваный воздушный змей пытался вырваться из хватки вяза на другой стороне улицы. Поверх деревьев октябрьское небо оставалось ясным, словно этой ночью

его кто-то натер до блеска. Луна превратилась в затуманенный отблеск, голоса внизу постепенно затихали. Все меньше и меньше ряженых дурачились на улицах. Эти наверняка будут последними, кто поднимется на крыльцо. Все равно конфет почти не осталось.

– Шалость или конфетка. Шалость или конфетка.

Занятная парочка. Очевидно брат и сестра, может близнецы. Нет, девочка выглядит старше. Привлекательная пара, особенно невеста.

– Ну, поздравляю жениха-девицу и невесту-юнца. Я сказал это шиворот-навыворот, знаю. Все потому, что вы сами шиворот-навыворот, не так ли? Кто это придумал? – спросил он, насыпая конфеты, точно рис, в сумку наряженного в смокинг жениха. Что за лица, такие чистые. Сияющие звезды.

– Эй, а вы почтальон, – сказал мальчик.

– Очень наблюдательно. Ты женишься на умничке, – сказал он жениху.

– Вы почтальон, я тоже заметила, – ответила та.

– А как же. Вы сообразительные ребята. Да вы, детки, устали, наверное, гуляя всю ночь.

Дети пожали плечами, толком не зная, что такое усталость.

– Я знаю, сам только закончил разносить почту по всем этим улицам. Я делаю это каждый день, кроме воскресенья, разумеется. Тогда я хожу в церковь. Вы, ребята, ходите в церковь?

Похоже, что да. Правда, не в ту, в которую нужно.

– Кстати, там иногда бывают пикники и всякие такие вещи для детей. Послушайте, у меня есть идея…

Полицейская машина медленно ехала по улице, прочесывая фонарем пространство между домами напротив. Пропал кто-нибудь из ряженых, похоже.

– Пустяки все это, ребята. Шалость или конфетка, – сказал он резко, бросив конфеты отшатнувшемуся жениху. Затем повернулся к невесте, отдал ей все, что осталось в большой миске, сохраняя при этом деланно безучастное выражение лица. Покраснел ребенок или это просто отсвет от фонаря-тыквы?

– Идем же, Чарли, – позвала его сестра снизу.

– Счастливого Дня Всех Святых, Чарли. Увидимся в следующем году. Может, где-нибудь поблизости.

На секунду он задумался о чем-то другом. Когда он усилием воли вернулся к реальности, никаких детей уже не было. Не считая воображаемых, в своем роде совершенных. Как тот мальчик и его сестра.

Он оставил свечу догорать в тыкве. Пусть вовсю поживет на своем недолгом веку. Завтра она будет мертва и выброшена вместе с другими отходами, – огарок, играючи отправленный в пакет для мусора. Завтра… День всех душ. Пойти утром с матерью в церковь. Сойдет за еженедельное посещение, день священного долга. Не забыть еще поговорить с отцом М. по поводу похода на футбольный матч с группой ребятишек.

Дети. Их ежегодный маскарад закончился, грим смыт, костюмы убраны. Когда он выключил свет на нижнем и верхнем этажах и лежал в постели, он все еще слышал «шалость или конфетка» и видел их лица в темноте. Они пытались раствориться в его сонном сознании, но он возвращал их вспять.

II

– К-к-онфетку или м-м-м-онетку, – голосила троица мерзких, хлюпающих носами бродяг. В этом году было намного холоднее, и он надел голубовато-серую шерстяную форму, в которой обычно разносил почту.

– Чуточку тебе, и тебе, и тебе, – приговаривал он уже отработанным тоном. Бродяги были не особо благодарны за подаяние. Теперь они ничего не ценят. Все так быстро меняется. Забудь об этом, закрой дверь, порывы ледяного ветра.

Несколько недель назад вязы и красные клены в округе поразил преждевременный холод, они сбросили всю листву. Теперь еще тучи затянули небо, зловещий фиолетовый полог, сквозь который не проглядывала ни одна звезда. Без снега не обойдется.

На празднике в этом году было гораздо меньше детей, да и из тех, кто пришел, немногие постарались придумать костюм. Просто намазали лицо сажей и отправились попрошайничать в повседневной одежде.

Все кажется таким другим. Весь мир утомился, неумолимая машина цинизма. Внезапно умирает твоя мать, и тебе полагаются два выходных. Когда ты возвращаешься, людям наплевать на тебя еще больше, чем прежде. Странно, что ты способен ощутить потерю чего-то, что прежде не казалось важным. Сварливая старушонка умирает… И ни с того, ни с сего это чувство величественного отсутствия, будто немилосердная королева освободила престол. Разница между ночью с одной-единственной мерцающей звездой и беззвездным, удушающим мраком.

Но вспомни дни, когда она… Нет, либо хорошо, либо ничего. Пусть мертвые сами – и т.д. и т.п. Отец М. все замечательно устроил в похоронном зале, и не было смысла разрушать то безупречное чувство завершенности, которое потрудился придать священник земной фазе существования его матери. Так зачем же теперь возвращаться к ней в мыслях? «Ночь мертвых», – вспомнил он.

На соседних улицах уже почти не осталось пришельцев с того света. Собиратели подаяния разбрелись по домам. «Можно все запереть до следующего года», – подумал он. Нет, погоди.

Вот и они опять, появились так же поздно, как и в прошлом году. Сними пальто, неожиданный толчок тепла. Согревающие звезды вернулись, вновь сияя подлинным светом. Как они светились, эти две маленькие точки в темноте. Их звездная сила струилась прямо на него, яркий поток. Теперь он был даже рад, что праздник выдался таким унылым в этом году, предвосхитив нынешний восторг. То, что они нарядились в прошлогодние костюмы, было чудом, о котором он и мечтать не смел.

– Шалость или конфетка, – сказали они издалека, а затем повторили призыв, когда человек, стоявший за стеклянной дверью, вместо ответа продолжал просто смотреть на них. Затем он распахнул дверь.

– Привет, счастливая парочка. Рад снова вас видеть. Вы помните меня, почтальона?

Дети обменялись взглядами, и мальчик сказал:

– Ну конечно.

Девочка хихикнула, и от ее смеха ему стало еще лучше.

– Ну, год спустя вы снова здесь, в тех же самых нарядах и готовы к свадьбе. Или она только что закончилась? В таком случае это совсем ни к чему. Что будет в следующем году? А после? Вы никогда не повзрослеете, понимаете, что я хочу сказать? Ничего не изменится. Вас это устраивает?

Дети постарались понимающе кивнуть, но вместо этого только пошевелились, вежливое недоумение на лицах.

– Да и меня устраивает. По правде сказать, я бы хотел, чтобы все перестало меняться для меня еще давно. Так или иначе, как насчет сладкого?

Конфеты были розданы, дети говорили ему «спаси-и-ибо» точно так же, как дюжину раз в других домах. Но прямо перед тем, как им было позволено продолжить свой путь, он вновь привлек их внимание.

– Эй, мне кажется, я видел, как вы играли у своего дома, когда я проходил мимо с почтой. Такой большой белый дом на Пайн Корт, да?

– Неа, – ответил мальчик, осторожно спускаясь по ступенькам веранды, старясь не запнуться о край своего платья. Его сестра уже в нетерпении ждала внизу. – Красный, с черными ставнями. На Ясеневой улице. – Не дожидаясь его реакции, он присоединился к сестре, и жених с невестой бок о бок двинулись дальше по улице, потому что, похоже, поблизости больше не было гостеприимных домов. Он смотрел, как они уменьшаются вдалеке, постепенно растворяясь в ночи.

Холодно здесь, закрой дверь. Смотреть было уже не на что; он успешно запечатлел встречу для своего мысленного фотоальбома. Как бы там ни было, их лица сияли даже ярче и чище в этом году. Возможно, они и в самом деле не изменились и уже никогда не изменятся. «Нет, – подумал он в темноте своей спальни. – Все меняется и всегда к худшему». Но сейчас в них не произойдет никакой внезапной перемены, не в его мыслях, по крайней мере. Вновь и вновь он вспоминал их, чтобы убедиться, что они были прежними.

Он завел будильник, – завтра надо проснуться к утренней мессе. На этот раз никто не будет сопровождать его в церковь. Придется идти одному.

Одному.

III

На следующий Хеллоуин выпал ранний снег, тонкий слой белизны, покрывшей землю и деревья, оставившей повсюду мертвенно-бледный отпечаток. Она мерцала в лунном свете, холодная пена. Сияние на земле отражали редкие звезды сверху. Безобразная давка снежных туч с запада угрожала вмешаться, разделив отблеск и его источник, превратить все в тусклую пустоту. Все звуки были звонкими от мороза, превратились в крики перелетных птиц в безлюдных ноябрьских сумерках.

«Еще ноябрь не наступил, а посмотри на это», – подумал он, вглядываясь в стекло парадной двери. Так мало людей на улице, еще меньше гостеприимных домов, закрытые двери и погасшие огни на верандах заставляли их слепо брести дальше. Да и у него самого пропал задор, он даже не выставил фонарь-тыкву – маяк своего убежища.

Да и как дотащить эту тяжелую штуку, когда такое приключилось с ногой? Одно удачное падение с лестницы, и он стал получать пособие по инвалидности от государства, мог месяцами не выходить из своего одинокого дома.

Он молил о наказании, и его молитвы были услышаны. Не нога сама по себе, причинявшая лишь физическую боль и неудобства, а иное наказание – одиночество. Так его наказывали в детстве: изгнанный в холодный каменный подвал – совсем темный, если не считать света, просачивавшегося в запыленное окошко. Он стоял в том углу, как можно ближе к свету. Именно там он однажды увидел муху, попавшуюся в сеть паука. Он смотрел и смотрел, и вот, наконец, паук вылез полакомиться жертвой. Он досмотрел все до конца, окаменевший от ужаса и омерзения. Когда все закончилось, ему захотелось кое-что сделать. Все удалось. Изловчившись, он сумел схватить паучка и вытащить из паутины. Он на самом деле ничего не почувствовал, разве что недолгую щекотку на сухом языке.

– Шалость или конфетка, – услышал он и с трудом поднялся, чтобы проковылять к двери. Но праздничная присказка доносилась откуда-то издалека. Отчего же она на какой-то миг показалась такой близкой? Нарастающее эхо его воображения, где далеко – это близко, вверх – это низ, боль – удовольствие. Может, лучше запереться на ночь? Похоже, в этом году совсем немного детей играют в свою игру. Теперь уже остались только самые бестолковые, отставшие копуши. Ну, вот один из них.

– Шалость или конфетка, – чуть слышно произнес мягкий угасающий голос. По ту сторону двери стояла искусно наряженная ведьма, теплый черный платок и черные перчатки в придачу к черному одеянию. Старая метла в одной руке, мешок в другой.

– Тебе придется подождать секундочку, – крикнул он с дивана, стараясь подняться, опираясь на трость. Боль. Хорошо, хорошо. Он взял со столика полный пакет сладостей и был готов отдать все его содержимое маленькой даме в черном. Но затем он узнал ее под желтоватым гримом мертвеца. Будь осторожен. Не делай ничего особенного. Притворись, что не знаешь, кто это. И ни слова о красных домах с черными ставнями. Ни слова о Ясеневой улице.

Хуже того, на тротуаре виднелся силуэт кого-то из родителей. Позаботиться о безопасности последнего живого ребенка. Но, может, были и другие, хотя он видел только брата и сестру. Осторожно. Сделай вид, что не знаешь ее; в конце концов, ее костюм сильно отличается от того, что был на ней последние два года. И, самое главное, ни слова о сам знаешь ком.

А что если невинно спросить, где ее маленький братик? Ответит ли она, что он был убит, или, возможно, что он мертв, или, может, просто-напросто, что его больше нет, в зависимости от того, в каком свете родители представляли все это дело. В любом случае, лучше об этом не знать.

Он открыл дверь ровно настолько, чтобы протянуть конфеты и невыразительно произнес:

– Держи, ведьмочка. – Слова как-то вырвались сами собой.

– Спасибо, – ответила она шепотом, вечным шепотом страха и опыта. Похоже на то.

Она отвернулась, пошла вниз, метла глухо стучала позади нее по ступеням. Старая, потрепанная, никуда не годная метла. Как раз то, что нужно ведьме. И то, что нужно непослушному ребенку. Мерзкая рухлядь вечно на своем месте в углу, орудие наказания, что всегда под рукой, всегда в поле зрения ребенка, до тех пор, пока не превратится в навязчивый кошмар. Материнская метла.

После того, как девочка и ее мать исчезли из виду, он закрылся от всех, – теперь, пережив такие напряженные минуты, он был рад одиночеству, которое совсем недавно его пугало.

Темнота. Постель.

Но уснуть он не мог, хотя и видел сны. Между сном и явью в его воображении возникали ужасы, нелепая вереница образов, напоминающих отвратительные фрагменты из старых рассказов в картинках. Неузнаваемые лица, нарисованные чересчур яркой краской, суетились перед его мысленным взором, абсолютно ему неподвластные. Все это сопровождалось чередой звуков, точно в «павильоне смеха», возникающих, казалось, где-то между его мозгом и залитой лунным светом спальней. Приглушенный гул отчасти радостных, отчасти испуганных голосов звучал фоном в его воображении, перемежаясь донельзя отчетливыми криками, в которых слышалось его имя. Это было плохо различимое подобие голоса его матери, лишенное сейчас каких-либо реальных свойств, позволивших бы определить его как такой, оставаясь одним лишь понятием. Голос звал его из глубин его памяти. «*Сэм-ю-эл»,* – кричал он со страшной, непонятно откуда взявшейся назойливостью. И вдруг: «*шалость или конфетка».* Слова превратились в эхо, мало-помалу изменяя свой смысл: «Шалость или конфетка – встретимся деньком ясным – ясени, ясени». Нет, не ясени, другие деревья. Мальчик гулял среди больших кленов, был окружен ими. Знал ли он, что в ту ночь за ним следовала машина? Паника. Теперь не потеряй его. Не потеряй его. Вот же он, с другой стороны. Деревья что надо. Хорошие старые деревья. Мальчик обернулся, и в его руках было беспорядочное переплетение бечевки, чьи концы простирались до самых звезд, которыми он начал управлять будто в игре с воздушными змеями, игрушечными самолетиками или летающими куклами на веревочках, вглядываясь в ночь, тщетно зовя на помощь. Снова послышались крики его матери; потом вмешался еще один голос, превращаясь в отвратительное невнятное единство мертвых голосов, бормочущих вдалеке. Ночь мертвецов. Все мертвые говорили с ним одним голоском-голосочком.

– *Шалость или конфетка,* – послышалось вновь.

Но это уже не казалось частью его бреда. Слова будто раздавались откуда-то со стороны, поскольку их звук прервал его полусон и освободил его от этой страшной тяжести. Толком не проснувшись, оберегая поврежденную ногу, он ухитрился оторвать себя от влажной простыни и ступить обеими ногами на твердый пол. Это успокоило. Но вот опять:

– *Шалость или конфетка.*

Это снаружи. Кто-то у двери.

– Иду, – крикнул он в темноту, осознавая от звука собственного голоса весь абсурд сказанного. Сыграли ли месяцы одиночества странную шутку с его рассудком? Слушай внимательно. Может, это больше не повторится.

– *Шалость или конфетка. Шалость или конфетка.*

– Шалость, – подумал он. Но придется пойти вниз, чтобы убедиться. Он представил озорно смеющеюся фигуру или фигуры, которые шмыгнут в темноту, стоит открыть дверь. Хотя надо поторапливаться, если он хочет застать их там. Проклятая нога, где же трость? Наконец, он нашел свой халат в темноте и накинул на голое тело. Теперь справиться со злосчастной лестницей. Включи свет в прихожей. Нет, так он предупредит их о своем появлении. Разумно.

Он управлялся с лестницей достаточно хорошо, учитывая его скорбное положение. Ни то, ни другое, ни скорбь ночи[1]. Скорбь ночи. Мертвой ночи. Ночи мертвецов.

С удивительной сноровкой калеки он неторопливо продвигался по лестнице, ставя трость на каждую ступеньку для опоры, перед тем, как ступить на нее. «Внимательнее, – сказал он своим мыслям, которые принялись странно блуждать в темноте. – Смотри под ноги!» Чуть не свалился. Наконец, преодолел последнюю ступеньку. Звук доносился от главного входа, что-то вроде приглушенного смеха. Хорошо, они все еще там. Он мог поймать их и разуверить себя в своих фантазиях. От тяжкого спуска по лестнице он задыхался и совсем потерял уверенность.

Стараясь как можно больше сократить время между двумя движениями, он повернул замок над дверной ручкой и распахнул дверь как мог внезапно. Холодной ветер просочился по краям внешней двери, задувая мимо него прямо в дом. На крыльце не было никаких следов ребячливого шутника. Погоди, все же были.

Ему пришлось включить свет на крыльце, чтобы все разглядеть. Прямо перед дверью кто-то швырнул на цемент фонарь-тыкву, – мягкая корка разлетелась на множество кусочков по всему крыльцу. Он открыл внешнюю дверь, чтобы посмотреть поближе, и сильный ветер ворвался в дом, проносясь над его головой на ледяных крыльях. Что за порыв, закрой дверь. Закрой дверь!

– Маленькие мерзавцы, – произнес он очень отчетливо, пытаясь уменьшить ощущение хаоса и бреда.

– Кто, малю-малюточка? – раздался голос позади него.

Сверху, на лестнице. Небольшой силуэт, судя по всему, с чем-то в руках. Оружие. Ну, у него, по крайней мере, есть трость.

– Как ты сюда проник, малыш? – спросил он безо всякой уверенности, что это был именно малыш, учитывая его странный, непонятный голос.

– Сам ты малыш, сынок. Никак я сюда не проникал. И никакого Сэмми-Мэмми. Это у меня просто личина.

– Как ты сюда проник? – повторил он, все еще надеясь установить разумную манеру разговора.

– Сюда? Я уже был поблизости.

– Здесь? – спросил он.

– Нет, не здесь. Там-та-та-там. – силуэт указал в окно на вершине лестницы на постоянно меняющееся небо. – Красота, не правда ли? Ни детей, ничего.

1 «Пусть ни дождь, ни снег, ни жара, ни скорбь ночи не остановят этих посыльных от скорого выполнения своих обязанностей» – девиз американской почтовой службы.

– О чем ты? – спросил он с воодушевлением сновидца, ибо только обыденность сна помогала ему сейчас сохранять рассудок.

– О чем? Я ни о том и ни о чем, придира.

«Ни о том и ни о чем», – подумал он, радуясь вернувшейся связи с реальным миром грамматических правил. – Ни о том и ни о чем: два пустых зеркала, возводяющие пустоту друг друга в бесконечную степень, ничто, сводящее на нет ничто».

– Ни о чем? – повторил он с вопросительной интонацией.

– Ага, и отправляешься ты в ничто.

– Каким это образом? – спросил он, крепко сжимая трость в предчувствии близкой развязки.

– Каким образом? Не беспокойся. Ты уже сам позаботился о каким-тимтим… ШАЛОСТЬ ИЛИ КОНФЕТКА!

И внезапно существо бросилось на него в темноте.

IV

На следующий день его нашел отец Микивиц, который уже звонил ему, не увидев этого добросовестного прихожанина на утренней заупокойной мессе, как это было заведено. Дверь была широко открыта, и священник обнаружил его тело у подножия лестницы, халат и белье в нелепом беспорядке. Видимо, бедняга снова свалился, на этот раз насмерть. Бесцельная жизнь, бесцельная смерть: «Кончина твоя достойна жизни твоей», – как писал Овидий. Так думал священник, хотя на похоронах произнес совсем другую речь.

«Но почему же дверь была открыта, если он упал с лестницы?» – позднее задался вопросом отец М. В ответ на это полиция выдвигала теории о неизвестном злоумышленнике или злоумышленниках. Рассматривая преступление, они думали о мотиве мести, который был отброшен после неофициальных показаний священника. Идея мести такому человеку была слишком притянутой за уши, если совсем не бессмысленной. Да, бессмысленной. Тем не менее, мотивом не было ограбление, и мужчина, судя по всему, был избит до смерти, возможно, своей собственной тростью. Дальнейшее обследование показало, что над трупом было совершено насилие, но при помощи чего-то куда более длинного и грубого, нежели трость, заподозренная ранее. Сейчас они искали нечто вроде метлы, вероятно, очень старой, расщепленной и прогнившей. Но они никогда не найдут ее там, где ищут.

ОСЕННЕЕ

Когда все в природе умирает, благоухающе снисходя на землю, мы одни оживаем. После того, как свет и тепло покинули мир, когда всякий печален на могиле природы, мы одни возвращаемся, чтобы составить им компанию. В это время года мы возрождаемся. Мягкий шелест летних деревьев превратился в сухое потрескивание на леденящем ветру, и у нас в ушах начинает звенеть, когда мы лежим безрадостно в глубине наших постелей. Пожухлые листья царапаются о наши двери, зовя нас из одиноких домов.

Мы выскальзываем из теней неуверенно: уютно погружённым в забвение, нам не очень нравится быть извлеченными на жгучий воздух для забавы какого-нибудь бедокура, какого-нибудь космического шутника, мастера розыгрыша. Но, возможно, найдётся старая ферма, где некогда изобильные, тщательно вспаханные поля лежат сейчас неухоженные и покинутые всеми, кроме нескольких случайных стебельков. Мы осматриваем место действия и улыбаемся тем, что осталось от наших ртов. Теперь, под острым серпом месяца, мы жаждем удовлетворения.

Мы ненавидим живущих не больше, чем ночь ненавидит день; подобно им, нам было дано задание, которые мы должны выполнить как можно лучше. И всё же, пробужденные, мы способны чувствовать, мы безнадёжно суеверны относительно уклонения от определённых обязательств, ибо от некоторых из них не может отречься даже власть посмертной летаргии.

Поэтому, ночами, когда ледяной дождь капает с карниза, когда сметены все преграды света и изобилия, появляются наши лики, чтобы преследовать и мучить. Сгорбленные силуэты в дверных проёмах, таящиеся по углам сборища, чахлые призраки в погребах и на чердаках – внезапно освещённые вспышкой молнии! Или, возможно, озарённые меркнущим огоньком свечи или нежной голубой волной лунного света. Но на самом деле нет никакого шока, никакого изумления. Невезучие свидетели нашей безумной правды уже наполовину помешаны от страшного предчувствия. Наш ужас ожидаем, учитывая жуткие особенности сезона.

Когда мир становится серым на своём пути к белизне, каждое бьющееся сердце зовёт нас своим страхом; и, если нам позволяют обстоятельства, мы отвечаем. Мы забираем как можно больше с собой в могилу, потому что таково наше задание. Наш жестокий цикл не зависит от сезона природы: мы идем своей дорогой, отщепенцы материи, жаждущие оборвать фарс всех времён года, естественных или сверхъестественных.

И мы всегда мечтаем о том дне, когда угасают все огни лета, когда каждый, подобно высохшему листу, соскальзывает в прохладную почву бессолнечной земли, и когда даже краски осени блекнут в последний раз, растворяясь в пустынной белизне вечной зимы.

Перевод Кристины Лебедевой

BLOG

АЛЕКСАНДР МАРКИН

ДНЕВНИК UNTERGEHER'A

23 декабря 2002 г.

У меня желчекаменная болезнь. Сидели на кухне с матерью. Мать зачитывала вслух список запрещенных продуктов: запрещается употребление алкогольных напитков. Также запрещены: пикантные сыры, сыры с плесенью, колбаса, ливерная колбаса, сырокопченая колбаса, консервированное мясо, красное мясо, копченое мясо, вяленое мясо, мраморное мясо, жирное мясо, гусь, утка, тетерев, вальдшнеп, бекас, перепел, фазан и проч. дичь (оленина, кабанина, мясо лося), копченая рыба, жирная рыба, анчоусы, кочанная капуста, савойская капуста, красная капуста, квашеная капуста, зеленый перец, огурцы, тыква, редис, редька, некоторые виды грибов, фенхель, бобовые, острые приправы, включая горчицу, кетчуп, перец, жгучий перец, соусы, голландский соус, белый соус, красный соус, соевый соус, черный кофе, кофе с молоком, жареные блюда, дрожжевое тесто, слоеное тесто, замороженное тесто, клецки из брынзы, яйца, уксус, яблочный уксус, винный уксус и т.д. Когда я с ужасом спросил: «А что же можно?», в дверях, словно *deux ex machina*, появилась бабушка (она обычно стоит в коридоре и подслушивает за разговорами на кухне, потому что думает, что на кухне мы с матерью разговариваем исключительно о ней, а любому человеку, конечно, всегда интересно, что о нем говорят другие; бабушка не догадывается, что когда она стоит в коридоре, на кухне видна ее тень) и деловито произнесла: «Можно лечь в могилу!» Как и большинство больных людей в ее возрасте бабушка пессимистка. Мать говорит, что у бабушки *старческая депрессия*.

…

Comme ils sont beaux les trains manques!

26 декабря

Говорят, никто не понимает женщин лучше, чем пидоры. Но вот что меня смущает: как же пидоры могут понимать женщин, если у них не бывает менструации?

27 декабря

Бессонница.

2 января 2003 года.

Начиная с новогодней ночи, ебался втроем (с Денисом и Ирой). Секс, особенно групповой, меня утомляет. Когда сегодня под утро они решили иметь половые сношения в очередной раз, я пошутил насчет размеров денисова члена. Ира засмеялась, секс прекратился, Денис обиделся, встал, натянул штаны и уехал. Потом уехала Ира. И вот что странно: мы два дня из постели не вылезали, а в кухне – куча грязной посуды.

…

Мыл посуду и думал, что в *Веймаре* летом прошлого года, когда я по вечерам ходил к в *Погвиш-хаус* к Алексу, происходило что-то подобное тому, что творилось в доме *Фрейда*, когда к нему в гости приходил молодой *Юнг*: флюиды нереализованного *либидо* вибрировали в воздухе, и в кабинете Фрейда от этого, кажется, с полок падали книжки. Каждый раз, когда я сидел в гостях у Алекса, в его руках лопался стеклянный стакан. Один раз Алекс сильно порезал осколками свою музыкальную руку. В конце-концов пришлось купить целый набор новых стаканов.

3 января

Мир сложно утроен. Простота в нем либо невозможна, либо кажимость. Правда, когда кажется, что все сложно, это уже, *как говорят*, шизофрения.

5 января

Ф. Гундольф пишет Штефану Георге (5 дек. 1911 г.): «Великий естествоиспытатель Иоганн Мюллер (ученик Гёте) покончил самоубийством, а все потому, что чем больше он проникал в глубины природы, тем меньше мог снести ужасное в ней. Когда однажды из морского огурца на свет появились тысячи маленьких улиток, он застрелился».

…

Разговаривал с одним знакомым о *любви*. Говорю: любовь, это – *невроз*. Он: *любовь-невроз* только у тебя. И еще в фильмах *Вуди Аллена*.

…

Когда выходил из метро, у коллектора у выхода сидели и грелись семь абсолютно одинаковых бродячих собак.

…

Мать рассказала (полушепотом) душещипательную историю про то, как она отказала в юности одному красавцу, в которого была влюблена, и который был влюблен в нее. Она отказывалась ебаться с ним до свадьбы, и поэтому он ездил к сестре своего лучшего друга, и та забеременела, и ему пришлось на ней жениться. Накануне свадьбы он, пьяный, пришел к моей матери и сказал, что если она скажет, что любит его, то он не будет жениться. А моя мать сказала: *вот еще, какие глупости*! Потом его жена умерла. А потом, если бы они с матерью снова встретились, у них уже ничего бы не получилось. Удары судьбы, *говорят*, сделали его импотентом. Вот такая банальная история.

6 января

На глаза попалось название книги о Р. Вагнере: *Penetrating the Wagner's Ring*.

7 января

Плохо спал. Приснился жуткий сон. Зато потом замечательно провел день. Сначала я ничего не делал, потом ел, потом снова ничего не делал, потом спал, потом гулял на морозе, потом опять лег спать.

8 января

Холодно. Ходил по улицам, полностью обмотав лицо шарфом. Был похож на фашистов (французов?) под Москвой.

14 января.

Вернулся из дома отдыха. Ездил с Денисом. В первый день пребывания удивился тому, что в 23:00 в корпусе отключают электроэнергию. Во второй день сразу же после завтрака легли спать. (Каждый на своей кровати, разумеется.) Вечером проснулись, пообедали и пошли в сауну. Пришли из сауны и курили траву. Денису и его друзьям было весело, а я от травы становлюсь депрессивным. В третий день к Денису приехала какая-то знакомая и он сразу же стал с ней флиртовать. Но сразу она ему, кажется, не дала: вечером он провел у нее три часа, а потом пришел, возбужденный, заперся в ванной, включил воду и дрочил. В четвертый день после завтрака читали в журнале *космополитен* про женский оргазм. На прогулке Денис извалял меня в снегу. Играли в пинг-понг. После ужина знакомая решила дать Денису. Денис чистил зубы, подмывался, менял трусы и жевал жвачку. Я выпил литр водки, смешанной с пивом. Курил траву, грустил. Потом выпил виски. В отчаянии приставал к Денису. Не помню, как заснул. Проснулся в заблеванном туалете. Кто-то разговаривал со мной. Оказалось, изумрудная царица. Она читала мне вслух стихи и говорила, чтобы я за ней записывал, потому что она приходит редко, а свои стихи вообще никогда никому вслух не читает, только мне. Она сказала: иди, возьми бумагу и карандаш и запиши мои стихи. Я дополз по колышущемуся полу до своей сумки, достал карандаш и блокнот и стал записывать. Кончил записывать, изумрудная царица исчезла. Спал тревожно. Наутро выпил аспирин. За завтраком посетители дома отдыха казались мне особенно печальными.

15 января

Бессонница.

19 января

В пятницу поехал на дачу кормить нашего дачного кота *Брамса*. Обычно на даче круглогодично живет мой дедушка (бабушкин первый муж) со своей женой, но в эти выходные они уехали в Москву и оставили кота одного. В субботу играл на морозе в футбол с соседями по даче, пытался кататься на лыжах, читал и спал. Вечером бродил по дачной округе и попал под грузовик (отделался синяком на спине и испачканной одеждой). В воскресенье за мной приехал Денис.

22 января

Поездки к родителям на ужин, через всю Москву, с юго-востока на северо-запад (из *Текстильщиков* в *Строгино*), стали для меня ежедневным ритуалом. Сегодня сидел – невыспавшийся – целый день над статьей, которую надо бы написать. Потом смотрю в окно: темно. Взглянул на часы: половина восьмого. Быстро собрался и поехал. Приехал к родителям, выпил кофе и отправился обратно.

25 января

Юная лаборантка пыталась уговорить меня поставить одному студенту, ее мужу, хотя бы тройку, иначе их медовый месяц будет сорван: на каникулах они отправляются в свадебное путешествие, и пересдачи будут совсем некстати. Обещала сделать все, чего я ни пожелаю, и, казалось, готова отдаться прямо на столе зав. кафедрой.

26 января

Лаборантка продолжает мне льстить в надежде на чудесный медовый месяц. Назвала сегодня мою туалетную воду божественной и сказала, что чувствует: человек, который пользуется такой туалетной водой непременно должен быть справедливым, честным, добрым и благородным. И как она только до такого донюхалась?

…

Одна студентка рассказала, что *Франц Штернбальд* совершил свое путешествие из Германии в Италию на машине. Говорю ей: а если немного подумать? Она подумала и радостно воскликнула: ой, ну конечно на поезде!

…

Приехал Денис. Пошел в туалет. Расстегнул ширинку, достал член, постоял у унитаза, а потом говорит: оп, кажется, я забыл, как нужно ссать. Немудрено, когда ебешься чаще, чем ссышь.

27 января

Пошел в гигантский торговый комплекс. Его год назад построили напротив родительского дома. Раньше из окон нашей квартиры можно было видеть дачи, поля и широкую Москву-реку. Теперь видим три гигантских железобетонных прямоугольника. Вблизи и внутри намного ужасней, чем из окна. Мегаломания отечественных нуворишей поражает. У входа устроили фонтан, который работает даже зимой. Из него бьет горячая вода. Внутри бесконечные пространства, живые пальмы, лианы, имитации горных ручьев (а в них резвятся экзотические рыбы) и бассейн. Вовсю заливаются невиданные птицы, записанные на магнитную ленту. Пустые магазины. Витрины. Стеклянные лифты. В магазинах продавцы, которые сходят с ума от обилия окружающих их невостребованных вещей.

…

Лаборантка украдкой ущипнула меня за попу.

28 января

«Откуда проистекает ужасное отвращение в человеке показываться таким, каков он есть, и в спальне, и в своих тайных мыслях? В физическом мире все открывается друг другу, показывает себя таким, как есть, и при этом весьма откровенно. По нашим понятиям, вещи в отношениях друг к другу являются всем, что они есть на самом деле, а человек – нет. Он, по-видимому, является тем, чем

он быть не должен. Искусство скрывать себя, или отвращение показываться нагим духовно или морально, простирается удивительно далеко.»
« Самая лучшая крепость против ударов судьбы – могила»
(Лихтенберг)

29 января

На прогулке Денис рассказал, как на прошлых выходных он что-то понюхал и покурил, и перед ним разверзлись новые пространства и совершенно необычно обострились все чувства и ощущения.

…

Мою двоюродную сестру убил в приступе белой горячки сосед-алкоголик. Бил ее ножом. Насчитали 35 ножевых ранений. Следователь попросил привезти в морг большой кусок полиэтилена, чтобы завернуть тело. Иначе, сказал, развалится.

«Снег кружится. Белый и чистый, как простыни на ложе новобрачных…» – Не обращая на реплику Семена продолжала Даша.

По загадочной улыбке Семен моментально догадался, чего от него хочет свежеиспеченная супруга.

«Да ты просто поэтесса!» – Воскликнул он, и тут же решил ухватиться за дежурную фразу каждого добропорядочного мужа, – «Но, зайка, я так устал на работе…» – Он решительно встал из-за стола.

«Нет, нет… У нас еще остался десерт», – сказала Даша. Она тоже встала из-за стола и подошла к Семену. Даша прижалась к нему, и Огородников почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в пах.

«Что это?!» – Испуганно воскликнул он.

«О…» – Даша взяла своего мужа за руку и поднесла ее к своему кружевному платью, – «Пощупай! Нравится?»

Семен не без интереса нащупал под скромным, но роскошным дашиным платьем продолговатый твердый предмет.

«Боже мой!» – Воскликнул Семен, – «Это же мужской половой орган! Ты что, мужик?» – На мгновение растерявшись, испуганно предположил он.

«О нет, дорогой, не угадал… Пошли в спальню, я тебе покажу…»

«Нет, нет, подожди», – Продолжая ощупывать Дашу, произнес Семен.

Ощупывания, однако, были слишком интенсивными, по-мужски грубыми. И в конце-концов предмет выскользнул из-под платья и упал на пол.

«Ой, ой», – произнесла Даша, нагибаясь за огромных размеров эбонитовым фаллоимитатором.

Но Семен опередил ее. Он быстро поднял дилдо с пола, покрутил его в руках и рассмеялся:

«Надо признать, очень оригинально! Слушай, а мне понравилось! А как же ты его прикрепила?»

«Просто, лейкопластырем», – смущенно произнесла Даша.

[© *Татьяна П***а.* «Танец окровавленных лебедят». М., 2002 г. Стр. 74. (Серия: «Королевы иронического детектива»)]

31 января

Купил себе корзинку для грязного белья.

Февраль

4 февраля

Был сегодня в книжном магазине. Подслушал псевдоинтеллектуальные разговоры молодых гуманитариев. Они полчаса стояли с одухотворенными лицами у книжки одного модного французского философа и обсуждали его концепции. Я подумал, что они, наверное, сумасшедшие, потому что если бы у этих интеллектуалов было все в порядке с головой, то *a)* они бы не принимали всерьез французских философов, *b)* защитили диссертацию и поскорей уехали бы с родины.

…

Мой дом стоит ровно напротив еще одного, точно такого же дома. Ночью, с биноклем, можно наблюдать, что происходит у соседей. Почти как у Хичкока.

8 февраля

Бессонница. Бардак в квартире. Иногда кажется, что ужасно каждый вечер приезжать в пустую квартиру. А иногда – ничего. Все люди вокруг кажутся мне красивыми. Часто плачу, когда слушаю музыку.

12 февраля

Рядом с домом раньше был клуб строителей. В годы перестройки его арендовала секта. Потом секту запретили, разогнали. Здание опустело. В выходные его снесли. Теперь перед моим домом огромный пустырь и груды строительного мусора. Экскаваторы загребают мусор, а грузовики вывозят мусор на свалку.

…

Всю ночь рассматривал в бинокль, что происходит в доме напротив.

17 февраля

Заболел.

20 февраля

Time: 02:02 am
Грипп.

20 февраля

Time 8:13 pm
Ночью было совсем плохо. Температура поднималась до немыслимых высот. Клал на голову холодную тряпку. Пил жаропонижающие таблетки. Лежал в постели и понимал, зачем нужна совместная жизнь: чтобы ухаживали за тобой, когда тебе плохо. Заснул. Проснулся, подошел к окну и стал смотреть в бинокль, что происходит в квартире, за которой я обычно наблюдаю по ночам. Там живет, кажется, пидор. Он долго ходил из комнаты на кухню и обратно. Потом сел за стол. Стал

изучать какие-то бумаги. Пока я ходил на кухню и делал себе чай, он, наверное, лег спать и выключил свет.

…

Утром ездил в медсанчасть. Сделали укол антибиотика. Дали с собой таблетки. Сказали, что так я выживу. Приехал домой. Услышал по телевизору, что в каком-то дальнем городе умер от гриппа двадцатичетырехлетний член сборной России по регби.

…

Ира рассказала по телефону, как ходила на презентацию австрийского номера *Иностранной литературы*, устроенную посольством. К столу в закусками и вином было не прорваться: престарелые голодные литературоведы и переводчики образовали плотное кольцо, как немцы вокруг Ленинграда в 1941 г. Смели все закуски под чистую в первые же минуты фуршета.

21 февраля

Сегодня меня начал занимать вопрос: почему некоторые мои знакомые, особенно те, с которыми я занимался сексом больше, чем один раз, и имена которых начинаются на *Д* и *Е* и *В*, имеют обыкновение подходить после секса к окну, и подолгу стоять у него и смотреть в него. Я почему-то думал, что это связанно с очень особенным ощущением: ночью, или рано утром, когда еще только сумерки, и в комнате горит тусклый свет, подходишь к окну, и твое отражение совмещается с тем, что за окном, с деревьями, домами, и кажется, что ты вмещаешь в себе тот мир, который за окном, растворяешься в нем. (Мне вспомнилось стихотворение одного немецкого поэта:

Моя душа – змееныш,
Мертвый давным-давно.
И только осенним вечером,
Когда сквозь голые сучья
Я посмотрю в окно
И вытянусь в рост,
До опадающих звезд,
Меня отразит, как в зеркале,
Унылый ночной норд-ост.)

Поделился сегодня со своим предположением с Ирой, а она сказала: дурак, у тебя же район опасный, они переживают, что с их машинами во дворе что-нибудь случится, вот и смотрят за ними.

23 февраля

Бабушку в понедельник положили на профилактику в больницу. Взяли у нее все анализы, сняли кардиограмму и т.п. Ее здоровье в порядке. Врач радостно сообщает ей: давайте мы вас выпишем, у вас все просто замечательно! А бабушка отвечает: нет уж, положили в больницу, так лечите!

Март

3 марта

Мать рассказала про свою знакомую, которая никак не могла определиться со своей неясной сексуальностью. А потом ее изнасиловал водитель автобуса. Она забеременела. Скрывала свою беременность. Читала книги по гинекологии и акушерству. Когда подошел срок, поехала к себе на дачу, и там рожала, одна, без помощи врачей.

7 марта

Какая чудесная была сегодня погода! Из института решил пройтись пешком до дома проф. Павловой. По дороге видел очень симпатичного водителя троллейбуса. Остановился и наблюдал, как он, надев большие брезентовые варежки, устанавливал слетевшие троллейбусные усы.
У проф. Павловой в гостях был четырехлетний внук ее нынешнего мужа. Сперва мальчик показался мне неприятным: маленький, а голова большая. Но потом он оказался очаровательным: живет с мамой и папой в Германии, постоянно лепетал что-то то по-русски, то по-немецки; я понимал, правда, только два слова *Scheisse* и *Arschloch*. Играл с ним в машинки, рисовал. Потом пили чай с его бабушкой и дедушкой. На прощанье он пожал мне руку.

…

Читал про деревья.
Клеменс Брентано рассказывал в одном письме Савиньи (в 1806 г.) о том, как они с Софи Меро (брентановой женой) гуляли по парку, и увидели дровосеков, рубящих старые липы. Софи расплакалась. Ей было жалко старые деревья. Вечером того же дня она умерла родами.

8 марта

Мне очень не нравится, когда *так называемые* друзья говорят, что я плохо выгляжу, что мне надо побриться, постричься, гладить рубашки, что я выгляжу помятым, уставшим, невыспавшимся, что надо больше гулять, соблюдать режим дня, правильно питаться и проч., и проч.
Бессонница.

9 марта

Данила: Хочется мне так думать или нет – этого я не знаю. Мои желания не на это направлены. Но себя-то ты не изменишь тем, что надеваешь личину какого-то невротического пессимизма. Посмотри в зеркало – увидишь, что тебе еще жить да жить и радоваться, вкушая плоды этого мира. Что ты, собственно, и делаешь.

12 марта

Утром решил разобрать елку, но когда пришел вечером домой подумал: а зачем? Скоро будут майские праздники, а еще через месяц – день независимости России.

13 марта

[Неприятная история]
В XIX веке жила Каролина фон Гюндероде. Она прочитала много книг и разбиралась в философии.
Сперва она влюбилась в юриста Савиньи. Но Савиньи женился на сестре Брентано, и мог предложить Каролине только дружбу. Каролина расстроилась и влюбилась в филолога Кройцера. А тот уже был женат на какой-то старухе и предложил Гюндероде жить втроем. Но как же разделить любимого человека со старухой? Бедняжке оставалось только побежать во время грозы на берег Рейна и зарезаться.

15 марта

Размышлял об *иллюзиях*.
Вспомнил про лекции *Жижека* в Веймаре. На первую лекцию народ просто ломился. *Жижек* оказался толстым дядькой с немытыми волосами. (Говорят, он просто плохо себя чувствовал). Он прекрасно говорит по-немецки, но лекцию читал на плохом английском. Каждое предложение начинал со слов *let's imagine…* и *what if…* Что само по себе, конечно, весьма научно, и, как я понимаю, и связано с *Лаканом*. На вторую лекцию пришли, кажется, только организаторы лекций *Жижека* в Веймаре.
Вывод: *Жижека* лучше читать, чем слушать.

…

К ночи приехал Дима. Пили вино. Дима рассказывал про свою жизнь. Я слушал. Ему очень трудно с женщинами, а (гетеросексуальную) девственность он терял целых два раза, один раз даже с проституткой, но, кажется, так и не потерял.
Уложил его спать на диване. Он долго ворочался и тяжело вздыхал.

17 марта

Любой текст видится мне, как сеть референциальных (?) кодов.

18 марта

Бессонница.
Выгляжу так плохо, что в метро мне уступили место.

20 марта

Пишу комментарии к *Дёблину*. Взял почитать автореферат одной новейшей диссертации про *Берлин, Александрплац*, думал позаимствовать оттуда каких-нибудь мыслей. Раскрыл. *Анизохронии атипичны для нарративной стратегии автора, время повествования удлиняется лишь за счет метадиегитических вставок <…> профанический нарратор репрезентирует план ординарного сознания (т.е. фрагменты вторжения гомодиегитеческого нарратора)*. Ах!

22 марта

В каком-то письме *Гёте* говорит об умершем *Шиллере*, что тот словно бы жив, и каждый раз предстает перед его внутренним взором, как лучи заходящего

солнца, которые постепенно исчезают по мере того, как солнце скрывается за горизонт.

…

Беньямин пишет: «Многосторонние связи между людьми в большом городе проявляются в активности глаз… До появления в XIX веке омнибусов, железных дорог, трамваев, люди были не в состоянии простаивать долгие минуты или даже часы, вынужденные разглядывать друг друга и не произнося при этом ни слова.» Читал, стоя на платформе в метро.

…

«Тупость часто бывает убранством красоты. Благодаря ей глаза становятся грустными и прозрачными, как чернота болота или как маслянистая гладь тропических морей.» (Бодлер)

23 марта

Сегодня я много размышлял о *поверхностности* и *поверхностях*. Мне отчего-то кажется, что быть поверхностным честнее, чем быть *глубоким*. Не только потому, что через поверхность, если стараться, можно проникнуть в глубину. Просто поверхности – все, что у нас есть. Поверхности связывают нас. Взгляд, отношения всегда скользят по поверхностям. Между людьми не может быть никаких глубинных связей. Потом: глубина разрушает все единства. Глубина разлагает. (Трупы опускают в могилы, в землю, в глубину, и они быстрей распадаются.)
О людях надо судить по внешности.
Наблюдая за людьми в отражениях, например, на стекле в вагоне метро, я получаю большое удовольствие.

24 марта

В метро. Ехал от родителей. В метро, прямо напротив меня сел крайне симпатичный парень. И я не знал, куда мне спрятать свой похотливый взгляд.
Порой получасовая поездка становится изощреннейшей пыткой, потому что хочется с кем-нибудь познакомиться, а не знаешь, какова будет реакция, другого человека, не знаешь, как это сделать и проч. Банально и печально: ежедневно имеешь тысячи возможностей изменить что-нибудь в своей жизни, или ничего не менять, но надо сделать тот или иной выбор, и выбирать чрезвычайно сложно.

25 марта

Пожалуй, *Вейнингер* прав: «Женщина есть ничто. Мужчина не может и не должен любить ничто. Только ничто способно полюбить ничто.»

26 марта

Бодлер утешает: «Чем больше человек просвещается в искусстве, тем меньше в нем похоти.» Значит, книги вполне могут стать эрзацом секса.
Nocturna versate manu, versate diuma.

…

В Москве сегодня была гроза.

27 марта

«Ученый вел уединенный образ жизни. Совершать многочисленные путешествия, походы в горы, ежедневные долгие прогулки его толкала тревога, которая охватывает домоседа, недовольного собой, пытающегося убежать от себя. У него было много знакомых, друзей, но не было семьи. Он любил общество женщин и страшно боялся их. Он льстил себе ролью всеобщего наперсника, «платонического Дон-Жуана» и мучился от комплекса сексуальной неполноценности. Основным занятием Амьеля было чтение – торопливое, жадное, бессистемное. Каждый день он просматривал полтора десятка газет и журналов, пять-шесть научных сочинений, стихи, романы. Уже после тридцати лет он стал сетовать на память, жаловаться, что от массы прочитанных второпях книг ничего не остается. Амьель был прекрасным собеседником. Статьи он писал с огромным напряжением, жаловался, что ему трудно организовывать материал. Желая быть всем: писателем, моралистом, психологом, эстетиком, философом, богословом, он был никем: читателем, интеллигентом, сверхквалифицированным потребителем культуры, тем, кто своим существом обеспечивает ее высокий уровень – и страдает от ощущения собственной ненужности. Жанр дневника – ловушка для автора. Многие авторы дневников жалуются на нехватку любви, ощущение неприкаянности, ненужности. Они сироты – в физическом и духовном смысле. Уход в себя – это уход от мира. Автор дневника управляется словами, а не вещами. Окружающие его физические объекты – лишь символы, знаки. И это становится причиной духовного кризиса: всякое понятие при логическом анализе переходит в свою противоположность. Личный дневник стремится уничтожить все другие произведения, вобрать их в себя. Амьель описывает свой дневник как наркотик, иссушающий душу, превращающий в сомнамбулу, переносящий из мира людей в мир грез. Дневник – это овеществленная память, он позволяет автору увидеть прежнего себя, сохраняет его образ для читателя. И он же разрушает естественные механизмы памяти, навязывает автору присутствие человека, которым он давно уже перестал быть. Дневник препятствует ретроспективному самоосмыслению, ибо, чтобы вспомнить, надо забывать. Дневник мешает нормальной эволюции характера. Нерешительность приводит к духовной всеядности, открытости к чужим влияниям, рождает созерцательное отношение к культуре, миру. Наблюдающий за собой делается эгоистом, ему не нужен другой; человеческие чувства гибнут. Дневник, отнимающий большую часть времени, заменяет жену, исповедника. Чем сильней очеловечивается дневник, тем больше деперсонализируется автор. Личный дневник рождается из комплекса неполноценности.»

(*Строев А.Ф.* Романская литература второй половины XIX в. Творчество Анри Фридерика Амьеля // История швейцарской литературы. Том II. М., 2002. Стр. 245)

«Этот взрыв в кабинете твоей любовницы-врача устроила я и мои новые сёстры-феминистки! Они тоже знают, что психоанализ – это антифеминистическая, фаллократическая теория. Психоаналитики хотели уничтожить женщин. Женщины для них – ничто! С психоанализом надо бороться самыми радикальными способами… А теперь прощай…»

«Ты уходишь?»

«Конечно, а что мне еще делать? А от тебя я вообще ухожу навсегда! »

«И неужели ты оставишь меня здесь? Прикованного наручниками к батарее?»

«Конечно, – услышал в ответ Артем, – более того, – возбужденно продолжала Настя, – ты не будешь долго мучаться. Я открою газ на кухне. Так что когда твоя манда-психоаналитик вернется домой и включит свет в прихожей – квартира взлетит на воздух! Впрочем, надеюсь, ты задохнешься и сдохнешь до того, как это произойдет… Прощай, дорогой.»

«Постой!», – в ужасе закричал Артем.

Но Настя никак не прореагировала. Она решительно пошла на кухню и открыла газ на всех четырех конфорках. А вскоре Артем услышал, как хлопнула за Настей входная дверь.

Газ с тихим шипением начал заполнять квартиру.

[© *Татьяна П***а.* «Танец окровавленных лебедят». М., 2002 г. Стр. 176. (Серия «Королевы иронического детектива»)]

30 марта

Разбирал шкаф с одеждой и обнаружил сиреневые шорты, сиреневую толстовку, много голубой одежды и голубые замшевые ботинки. Не переношу сиреневый и голубой цвета, однако как истинный гомосексуалист испытываю к ним подсознательное пристрастие.

Апрель

1 апреля

Time 1:44am

Накануне заходил к Даниле. У него в квартире делают ремонт. На вопрос о том, неужели это он сам передвигает всю тяжелую мебель из комнаты в комнату, он ответил: конечно, я же не могу тебя попросить мне помочь, ты же гнушаешься подобной работы. Когда я спросил его, откуда он знает, чего я гнушаюсь, а чего – нет, от ответил, если бы ты не гнушался, то не спрашивал бы, кто тут мебель таскает. Феноменальная логика.

1 апреля

Time 4:16

В нашем доме поселились веселые молодые люди. Кажется, они обкурились и вот уже третью ночь не дают никому в доме спокойно спать. Сегодня они выломали домофон, потом разломали оба лифта, теперь пилят лавочку у входа. Пилят и хохочут.

2 апреля

Ходил в местную поликлинику. Выписывал бабушке бесплатные рецепты. Просидел под дверями невропатолога четыре часа. Врач отказывалась выписывать бесплатные рецепты до тех пор, пока не увидела пятисотрублевую купюру, спрятанную в карте. Увидела и произнесла строгим голосом: сядь вон на тот стул

у шкафа, мальчик, подальше от меня, сейчас я все, что нужно выпишу. Положила деньги в карман. Выписала рецепты.

3 апреля

Студентки в пединституте подошли к *Кьеркегору* как-то очень по-житейски. На семинаре по *Дневнику обольстителя* стали выведывать у меня, почему все мужчины сначала соблазняют девушек, а потом сразу же бросают. От таких вопросов у меня на лице появилась необычная улыбка, и меня, кажется приняли за нового *Иоханнеса*.

4 апреля

Один мой школьный товарищ, который теперь зарабатывает на жизнь репетиторством, влюбился в свою ученицу. Он поведал мне сегодня, что потерял покой и аппетит, и, даже закрывая глаза перед сном, видит только *ее*. Спрашивал меня, что делать, будто бы я специалист по соблазнению учениц. Я рассказал ему о том, что учитель, который влюбляется в свою ученицу – сюжет, достаточно распространенный в мировой литературе, и заканчиваться он может двояким образом: либо влюбленные преодолевают все препятствия на пути к своему счастью и связывают себя узами брака, либо они сначала тайно связывают себя узами брака, но потом об этом узнают их враги (обычно родственники ученицы), разоблачают и наказывают влюбленных, часто – убивают, иногда вместе с успевшими народиться к тому времени детьми. Последний вариант развязки поверг репетитора в уныние, и он рассказал мне самое *ужасное*: мать ученицы – экстрасенс. Она работает в нефтяной компании (но не в отделе нефтеразведки, как я предположил). Из-за того, что у матери ученицы неожиданно открылись паранормальные способности, отец девушки ушел от них. Разве мужу надо, чтобы жена знала, что у него на душе? Репетитор видел мать-экстрасенса только один раз. Она пристально посмотрела на него проницательным взглядом. У репетитора пошли мурашки по спине.

5 апреля

Видел на автобусной остановке настолько красивого мол. человека и был так поражен его красотой, что чуть не потерял от этого сознание. Шел дождь, он был весь промокший, и это, естественно, придавало его красоте удивительный китчевый вид. Я поглощал его глазами, и мое сердце наполнялось невыразимой радостью.

…

…

10 апреля

Репетитор решил признаться ученице в любви. Правда его мучают сомнения, нужно ли это делать или нет. Когда он в прошлый раз признался в любви своей ученице, восьмикласснице, ее родители сразу же отказались от его услуг.

…

По дороге, проходя через стадион, видел мужика, который справлял малую нужду прямо посреди дороги и улыбался, рассматривая прохожих. В кармане у него настойчиво звонил сотовый телефон.

...

На лекции об Э. По случайно опрокинул на себя стакан минеральной воды. Все брюки мокрые. Говорю студенткам, пытаясь вытереться: видите, какие ужасы По выдумал? Александр Викторович даже обмочился от страха!

12 апреля

В метро. Поднимаясь по эскалатору, стоял за широкой спиной какого-то мол. человека в кожаной куртке. Темно-коричневая кожа его куртки, строчки бежевых ниток, резина поручня и металл эскалатора создавали удивительный ритм.

...

Вечером пытался поспать у родителей. Но не получилось. Наверху дрались соседи. Сын-спецназовец громко поколачивал свою мать. И отца. Слегка тряслась люстра. Вообще, у нас *ужасный* подъезд. Несколько лет назад соседей в квартире под нами задушили электропроводами и выбросили из окна. А полгода назад соседей двумя этажами выше изнасиловали, пытали, резали стеклами, а потом вынесли трупы, запачкав кровью лифт, и выкинули в яблоневом саду напротив.

13 апреля

Когда возвращался домой, в метро ехал какой-то, наверное, известный фотограф. Толстый, бородатый, неопрятный дядька с огромным рюкзаком. В рюкзаке у него лежало несколько фотоаппаратов, картонные коробки с фотографиями. Он доставал разные фотоаппараты и фотографировал сонных людей. Они возвращались, усталые, домой, или ехали в клуб, или спешили на свидания. Сфотографировал сидевшую напротив него армянскую пару. Справа от фотографа сидела девушка и пила пиво из банки. Он сфотографировал ее, попросил дать ему попить пива. Говорит, вы дадите мне пива, а я превращу вас в произведение искусства. Показывал ей свои фотографии, доставал их из большой картонной коробки. Потом сказал: Будете в Вене, заходите в *Альбертину,* там висят мои фотографии. Протянул ей пару своих фотографий. Сказал: Я – знаменитый фотограф! Еще мои фотографии висят в Риме. Пиво назад не отдал.

15 апреля

За окном прекрасная погода. Бессонница. Пытался выспаться днем, но в моей голове начали упорядочиваться разные научные мысли и мысли про жизнь, и я уже не заснул.

16 апреля

Когда ехал к родителям, встретил своего бывшего одноклассника. Раньше он занимался борьбой, был настоящим широкогрудым красавцем и посредством своей симпатичной внешности привил мне любовь к дзюдо. Мне до сих пор нравится смотреть по телевизору дзюдоистов, особенно итальянских, французских и голландских (если они не негры). Теперь Артем стал толстым, со здоровой расплывшейся рожей. Учится на стоматолога. Работает помощником стоматолога. Выглядит как мясник-алкоголик с колхозного рынка. В автобусе он от переизбытка радости общения клал мне тяжелую руку на плечо, а я не люблю, когда мне на плечо кладут руку.

20 апреля

В этот день в прошлом году, я, тогда с лысым черепом, пытался поехать из *Веймара* в *Эрфурт*. Была суббота, на площади перед вокзалом собралась многотысячная манифестация неофашистов. Я шел к вокзалу в белой рубашке, черных вельветовых брюках и коричневой куртке, и удивлялся, почему полиция проверяет мои документы через каждые два метра.

…

«Несколько дней назад повстречал трех жалких идиоток, они попросили у меня милостыню. Ужасные, отталкивающие своим уродством и кретинизмом, они не могли говорить, с трудом передвигались. Завидев меня, они принялись делать знаки, желая показать, что меня любят, улыбаясь, трогали руками себе лица и посылали мне поцелуи. В Пон-л'Эвеке моему отцу принадлежит луг, у сторожа дочь слабоумная; когда она впервые меня увидела, она тоже высказывала странную нежность ко мне. Я привлекаю сумасшедших и животных. Может, они догадывались, что я проникаю в их мир?» (Г. Флобер)

22 апреля

В сегодняшней газете *Коммерсант* обнаружил целых шесть отличных историй. Из каждой может выйти отличный роман. Готический, детективный или социальная сатира. Ах, сколько книг остаются ненаписанными! В большом количестве сюжеты для беллетристики можно брать также, подслушивая чужие разговоры в общественном транспорте. Сегодня, например, я слушал в автобусе, историю о трех продавцах в магазине спорттоваров. Они конкурируют друг с другом, кто продаст больше велосипедов. (Было так интересно, что я даже Флобера закрыл.)

…

Рассказал матери, которая удивляется, почему вокруг круглой клумбы в парке всегда собирается много народу, про рудименты архаического мышления и солярную символику.

…

Шел на автобусную остановку. У *макдональдса* встретил репетитора. Он стоял в белых брюках, куртке из кожзаменителя, с большим полиэтиленовым пакетом и алой розой в руках. Когда я спросил к чему весь этот ужас: белые штаны–пакет–роза, он объяснил мне, что ждет *ту самую* ученицу, и его лицо светилось радостью. Скромное репетиторское гетеросексуальное счастье.
(Позже я узнал, что ученица так и не приехала.)

24 апреля

Ах, почему мерзавцы, негодяи и всяческие злодеи так сексуально притягательны? Порой думаешь: никогда не будешь встречаться с негодяем. А потом оказываешься с ним, и воля полностью парализуется; и играешь по его правилам. Сидишь–стоишь–лежишь рядом, смотришь на него, осознаешь, как этот человек тебе противен, а ничего и не поделать; и ничего не сказать, потому что страшно. А потом мерзавец идет в душ и в туалет по малой нужде, и даже не спускает за собой. А ты все равно рад.

...

Репетитор мажет лицо сметаной, чтобы кожа его лица омолаживалась и румянилась. Зашел сегодня к нему в гости вместе с нашим общим школьным товарищем. Репетитор вышел к нам в несвежих трусах и с мордой, обмазанной сметаной. Наш школьный товарищ его увидел, и только и смог выговорить: пожалей нас, Маркин ведь и так нервный, а у меня слабое сердце. Репетитор снова рассказал про ту четырнадцатилетнюю девочку, которой он признался в любви. Ее мать, оказывается, не только отказалась от репетиторских услуг, но и отослала дочку на другой край Москвы, к бабушке, на квартиру, адрес которой репетитор так и не смог узнать.

29 апреля

«Встречи не случайны. Людские встречи не случайны. Уже самый факт встречи с другим человеком отчасти заложен в тебе» .

...

Сидел у матери; ждал, пока она ко мне выйдет, чтобы пойти вместе обедать. Читал газету. Слышу: меня зовет отдаленно знакомый голос. Поднимаю голову: бывшая сокурсница. Она в свое время написала диплом и уехала в Испанию. Занялась там изучением анархистов, сделал себе на них карьеру, нашла работу в левой газете и т.д. Приехала в Москву из Барселоны, где живет, чтобы поработать в архивах. Выглядит замечательно. Очень загорелая, сильно худая. Говорит, в Москве после *города Гауди* ощущаешь себя шизофреником. Теряешься. Не знаешь, что делать. *Я теперь как чужая*. А уехала вроде недавно. Поехала в архив. Станция метро странная. *Речной вокзал* или *Водный стадион*? Вышла и знаю, куда идти, смотрела карты в интернете, еще когда была в Испании, но куда идти понять не могу. Погода холодная, плохая, сбивает с пути. Все в Москве изменилось. Сегодня решила купить книжечку на автобус, подхожу к киоску, прошу: дайте мне книжечку. А мне протягивают две зеленые картонки с магнитной полосой посредине, а я помню, что книжечка это десять бумажных талонов, а теперь книжечка два талона, потому что они такие, как развернутая книжка, две страницы, раскладываются (складывает и раскладывает две иссушенные южным солнцем загорелые ладони вместе). А потом я зашла в автобус, и стала искать такие компостеры, чтобы эти зеленые билеты туда сунуть, думаю: наверное должны быть особенные компостеры, которые по магнитной полосе будут отмечать время посадки, стою как дурочка посредине автобуса и ничего не вижу, потом громко спрашиваю: а что делать с этими билетами, а мне отвечают: пробивайте, как раньше. А зачем тогда магнитная полоса?
Рассказывает, а взгляд у нее уже потерянный.

Май

1 мая

В метро все боятся атипичной пневмонии. Если в вагоне едет азиат, то вокруг него нет ни души.

2 мая

Пошли с Леной в кино. Потом гуляли под дождем. Лена говорит: представляешь, скоро все, может, начнут умирать от атипичной пневмонии, а мы вымокнем, заболеем и умрем от типичной. Так необычно.
Но у меня непромокаемый плащ.

3 мая

Встал в два дня. Позавтракал. Снова лег в постель. Прослушал все симфонии *Брукнера*. Думал о злой мировой воле. Поехал к родителям, кормить кота (родители на даче, кот без них скучает). Был ливень. Спал. Ливень закончился, я выглянул в окно и увидел радугу.

4 мая

В маршрутку запрыгнула старушка, сказала, что ветеран труда и тыла, хотела поехать бесплатно, но документов при себе не было. Сердобольный мужичок средних лет заплатил за нее. Она присела рядом с ним и стала громко жаловаться на свою безрадостную старость. Дочь-алкоголичка, изредка ее побивает, постоянно требует с матери денег, а пенсия маленькая; старушке в голову лезет только одна мысль: покончить с собой, разом избавиться от скотской жизни. Но в самый последний момент перед решительным шагом старушку начинают одолевать сомнения и страхи. Вдруг она умрет не сразу? Что если локомотив в метро (вход в метро для пенсионеров бесплатный) сомнет, но не до конца? И будет она одноногой старой инвалидкой. Или потравится, но не вся, будет лежать парализованная, живой труп на вонючей кровати, ходить под себя и бессильно зыркать на дочь алкоголичку и ее ебаря, дебошира. Если бы вы знали, как ей стыдно все это рассказывать! Позорить перед незнакомыми людьми свою дочку, родную кровинушку! Но такая тяжелая жизнь, и пенсия у пенсионеров маленькая. Нет ли у мужичка для нее ста рубликов?

…

Репетитор продолжает смазывать лицо сметаной. Лицо покрылось фурункулами.

5 мая

Ездил к Даниле. Данила поил меня виски. Уезжает на два месяца в Берлин и Гамбург. Слушали *Вагнера* и *Кармен* и думали, как же это *Ницше* мог их противопоставлять? Потом Данила сказал, что как бы *Брукнер* не старался, а у него все равно лирические места производят впечатление искусственно сконструированных (*а теперь послушай Бизе, у него все естественно*). Данила был чрезвычайно дружелюбен. Он хотел *любви*. Но о какой *любви* может быть речь, когда музыка так прекрасна?
Допил свой виски, поехал домой.
Данила меня ненавидит.

…

Московские улицы с их путанной, пугающей геометрией (есть ли она?) Московские дома, особенно на окраинах, неприспособленные для людей. Люди на этих

улицах, в этих домах. Город, невозможный для жизни. *Entsagung* – единственный способ противостоять напору гибнущего мира. Думаю о Роберте Вальзере.

7 мая

Ходил на прогулку с Денисом. Он себя неважно чувствует. Собирается лечь в больницу. Ездил к себе на дачу и обжег руку, когда жег прошлогоднюю траву. Потом помогали приводить в чувство сильно пьяного подростка, валявшегося на газоне.

…

В метро на мне пытался заснуть пьяный мужчина. Прижимался, сопел в ухо, дышал в щеку перегаром. Я перебрался в другой вагон. Там было много свободных мест, но все равно: напротив меня встал странный мужчина и при каждом рывке состава тыкался мне в нос своим причинным местом. Я поднял на него глаза и спросил, намекает ли он на то, что я должен сделать ему минет, или, может, он, наконец, сядет и не будет на меня наваливаться?

9 мая

Иногда идешь по улице и видишь человека, который разговаривает сам с собой. И думаешь: как хорошо, не ты один такой сумасшедший на свете. А потом оказывается, что это просто *hands-free*.

…

В метро со мной хотела познакомиться девушка. Я стоял в торце вагона, где трехместные сиденья. А она сидела и меня рассматривала, а потом стала спрашивать, что это за красивая картинка на обложке моей книги? Говорю: *Поцелуй* Климта. Она: а о чем книжка? Я пожал плечами, улыбнулся, говорю: вам наверняка будет неинтересно, это *Адорно*. Она: а какая сейчас станция? Я говорю: *Кузнецкий мост*. Она: значит мне сейчас выходить, а вам? Отвечаю: а я в метро с девушками не знакомлюсь.

13 мая

Сотни тысяч глаз открываются ежедневно свету,
Наполненные ожиданиями, светящиеся детские глаза,
И каждый день закрываются
Навсегда тысячи глаз, уставших от сияния дня.
И покойной горит
Над ними вечное
Одинокое, величественное, лучезарное пламя небес.
(Г. Реннер, «Сеятель», 1889?)

13 мая

Попросил у Дениса атлас звездного неба. Если бы у меня был такой атлас в прошлом году в *Веймаре*, то можно было бы сесть ночью на траву в парке и рассматривать звезды. Там такое звездное небо, какого нет нигде. Веймарское звездное небо даже и словами-то описать нельзя.

14 мая

Ехал к родителям из библиотеки. На одной из станций в вагон зашли два человека с большими спортивными сумками. Из их разговора понял: *настоящий* дзюдоист и его тренер. Ехали в *Шереметьево*. Крутили в руках свои билеты на самолет и заграничные паспорта. Красивый дзюдоист. Широкоплечий, тренированное тело, красивые руки, блестящие ногти. Обручального кольца нет. Он, казалось, излучал благородную простоту и тихое величие. Я стоял в паре сантиметров от него, смотрел то на него, то на его отражения. Вспотел от переизбытка эстетического удовольствия.

…

Выпил вина.
Посмотрел по телевизору бокс.
Сижу.
Думаю: каждый день что-то безвозвратно теряешь, и ничего не останется, кроме прочитанных книг.
Думаю, что у меня есть страх перед жизнью.
Думаю, если перестану есть и бриться, потеряю 30 кг. и зарасту щетиной, буду ли похож на *Кьеркегора* или ноги не похудеют?
Думаю, что слишком глупый.

…

Когда шел домой через стадион, видел, как в темноте одинокий бегун в белой майке нарезал круги.

16 мая

Водитель автобуса останавливается перед трамвайными путями. Едет трамвай. Вагоновожатая – миловидная худая крашеная блондинка лет сорока. Водитель автобуса сигналит ей, улыбается, машет рукой. Она останавливает трамвай, сигналит ему, улыбается, машет рукой. Потом солнце бьет мне в глаза. Ощущение счастья.

18 мая

Алекс пишет: «Только что вернулся из Нью-Йорка. У одного моего друга был день рождения, и мы пошли в очень темный бар. Там был еще один мой друг, очень близкий, я был два года назад у него свидетелем на свадьбе. И этот друг ни с того, ни с сего начал рассказывать мне свои гомосексуальные фантазии. Я до сих пор не могу понять, то ли он их выдумал, чтобы подшутить надо мной, или у него и вправду такие фантазии (стоит признать, весьма убогие; дальше поцелуев его фантазии не заходят). Я сказал ему, что у меня отвратительная многодневная щетина.»

…

Иду поздно вечером домой. Мимо – два красавца (хотя, признаюсь, в темноте не разглядел, красавцы ли?) – у каждого бутылка пива в руке. Один: я, бля, вот, бля, тоже, блядь, твоей, бля, суке, бля, про, бля, твои, блядь, похождения, бля, намеков, ебать, бля, накидаю, бля, как ты, бля, про меня, ебанный в рот, нарассказывал, в

пизду, про, блядь, то, бля, нахуй, с кем я, там, бля, блядь, ебался… Второй виновато молчит, смотрит себе под ноги.

19 мая

Денис говорит, у него подозревают рассеянный склероз.
Я говорил с одним своим другом, и вскользь затронули тему болезней мозга. Друг рассказал про коровье бешенство (губчатый энцефалит). Сначала в голове накапливаются неправильные белки, а потом мозги превращаются как бы в губку, но губчатость обнаруживается только после вскрытия. Последняя стадия болезни характеризуется постепенным расстройством мозгового кровообращения и угасанием умственных способностей. Инкубационный период болезни от пяти до тридцати лет. В 1997 г. Британия поставляла в Россию зараженное мясо, и все его ели. Всплеск смертей от коровьего бешенства ожидается в 2005–2010 гг. Умрет до 150 000 человек.

20 мая

На моих глазах два раза произошли автокатастрофы. Один раз две машины столкнулись на Садовом кольце, когда я шагал в ИМЛИ. Второй раз четыре машины столкнулись на МКАД, когда я шел в магазин. Оба раза – кучи битого стекла. Люди особенно не пострадали.

…

Оказывается, сильно ранит, когда любишь человека, а потом выясняешь, что он – заурядный, как все.

23 мая

Вечером гулял по парку с репетитором. Чтобы не содрогаться при каждом взгляде на репетиторское лицо (оно совсем плохое от сметаны), предложил пойти гулять в самую темную часть парка.

…

Играл в теннис на муниципальном корте. Играть там – почти что педофилия. Рядом школьный двор с турниками, на которых подтягиваются и крутятся различные молодые люди с развитой мускулатурой. Футбольное поле, по которому гоняют мяч смазливые старшеклассники. Вместо того, чтобы бить бэкхенды, отвлекаешься все время на какие-то юные тела.

26 мая

Рассказывал одному другу по телефону, что в пятницу к родителям приходил мастер, устанавливал новую электроплиту. Здоровый, смазливый, татуированный и наглый детина. Друг: ну чего, срочно начинаем плиты покупать?

…

«Говяжьи мозги варят 10–15 минут в слабосоленой воде с уксусом, кореньями и специями, охлаждают, снимают оболочку, нарезают на порции, затем погружают в смесь из муки и яиц и панируют в сухарной муке. Подготовленные таким образом мозги обжарить в хорошо разогретом масле в течение 7–8 мин. до

образования золотистой корочки.» (Книга о вкусной и здоровой пище. Одобрена Институтом питания Акад. мед. Наук СССР. М., 1952. Стр. 175)

…

Снилось, что сочиняю сценарии порнофильмов.

27 мая

Студенты пишут рефераты по истории зарубежной литературы.
«Стихотворения, написанные за период помолвки, свидетельствуют о том, что поэт считал свою жену избавлением от грешных пут. Но в августе 1871 г. в его жизнь вошло само воплощение пут грешных – Артюр Рембо».
«Ничего не осталось от той радости бытия, которая нашла отражение в ранних его стихах – на ее месте воцарилась дьявольская, богохульная, изменившаяся до неузнаваемости душа. Для всех поэт стал наказанием Господним. Его презирали за деньги, заработанные постыдным трудом. Но Верлен вновь начал верить в Бога, он возвращался к нему тем быстрее, чем больше спивался, опускался, погибал…»
«Английский народ любит Диккенса. Диккенс широко популярен и за пределами своей родины. Произведения его переведены. Обличительные образы, созданные Диккенсом, сохранили свою актуальность, и даже больше: приобрели еще большую остроту. Сочинения Диккенса получили в Советском Союзе более широкое распространение, нежели в других странах Европы, не говоря уже о капиталистической Америке».

28 мая

Те студентки, фигура которых может им это позволить, в летнюю сессию приходят на экзамен в модных ныне льняных брюках, тонких настолько, что под ними просвечиваются трусики, и в малюсеньких хлопковых топах на голое тело, так, чтобы я мог подробно рассмотреть их *Busen*. Прозрачность – главный тренд экзаменационной сессии. Но они, конечно, безуспешно пытаются помрачить мое сознание своими женскими достоинствами: моя пидорастическая злобность, отягощенная мизантропией и болезнью желчного пузыря, при виде студентки, выкладывающей во время ответа свои груди предо мной на стол, усиливается пропорционально размеру груди.

…

Одну мою коллега по отделу в ИМЛИ командируют в некий старорусский город принимать вступительные экзамены по английскому языку в военной академии. Вот повезло!

29 мая

Сегодня, с трудом проснувшись, надев на себя самую неглаженную рубашку, я вылетел из дома, чтобы вовремя попасть на экзамен. (Вчера я опоздал на полтора часа, и некоторым, особенно нервным студенткам за время, пока они в напряженном ожидании стояли перед дверьми аудитории, сделалось плохо.) На Люблинской ул. вечная пробка, до метро пришлось идти пешком, под палящим

солнцем, вдыхая выхлопные газы, которые, как принято считать, в сильную жару тысячекратно усиливают свои канцерогенные свойства.
В метро все проходившие мимо меня граждане загадочно улыбались. И сначала я думал, что это все сошли с ума от жары. Потом я подумал, что московские власти решили скрасить невыносимые условия пассажиров в московском метрополитене и пустили на особенно загруженных ветках веселящий газ, чтобы людям было весело, и их не возмущало отсутствие вентиляции.
А потом я обнаружил, что торопясь разглядывать груди своих студенток, я забыл застегнуть ширинку, причем не застегнул не только брюки, но и гульфик трусов. Так что полпути я был эксгибиционистом поневоле. Когда же я, обнаружив расстегнутые пуговицы, принялся их украдкой застегивать, и застегивая их, непослушные, пыхтел, краснел и потел от смущения, толпа из вагона схлынула, вагон остался полупустым, а я этого не замечал. А девушка, стоявшая рядом со мной заметила, что я копаюсь у себя в ширинке, расширила глаза до совершенно немыслимых размеров и ринулась в другой конец вагона, наверное, приняла меня за фроттериста.

…

Уровень нынешних студентов таков, что один дополнительный вопрос – и они оказываются на краю бездны незнания.

…

Одна из получивших *отлично*, кажется, помрачилась умом. Когда я, после экзамена, отнеся на кафедру ведомости, билеты и проч. решил посетить преподавательский туалет и справить малую нужду, она неожиданно выскочила из-за угла, бросилась на меня и стала целовать в щеку. У меня незадолго до этого прошел диатез на подбородке, и я сказал ей, чтобы она немедленно прекратила и отошла от меня подальше, а то у меня случится повторное инфицирование подбородка. Тогда она принялась ласково гладить меня по спине и спрашивать, что она для меня может такого сделать? Я строго ответил, что для начала ей надо бы отпустить меня пописать, а потом посмотрим. Заперся в туалете и сидел десять минут, ждал, пока она уйдет.

…

По радио. Диктор напряженным голосом сообщает, что на очередном заседании правительства была утверждена очередная программа социально-экономического развития Российской Федерации, согласно которой на три четверти сократится количество населения… (драматическая пауза, потом диктор кашляет)…-живущего за чертой бедности.

31 мая

«Миллионы ушей слышат волшебную мелодию, лживую или истинную, – мелодию универсальной грусти – и попадают под ее власть. Реально наличествуют только боль, только страдание, только смерть. Но они, как лучи, беспредельно распространяются в неизмеримое, рассеиваются во все стороны. Все лучи, и известные и неизвестные, выпевают в изнуряющем ритме эту мелодию гибели. И всякий, кто сам раскрывается ей навстречу, опускается на дно, сгорает, гибнет.

Возможно, самое изощренное достижение высшей власти состоит в том, что ее тихий голос присутствует повсюду. И мы, ее служители, в любое мгновение призываемы сразу ко всему. Но мы часто уклоняемся. Замыкаемся в себе. Только разве мы бываем настолько свободны или неуязвимы, чтобы нас не могла коснуться боль? Разве оказываемся хоть на миг вне досягаемости для смерти? Или разве когда-нибудь на земле царят мир и справедливость, разве ее состояние бывает настолько безупречным, чтобы мы моги отпустить из себя грусть?»
(Г.-Х. Янн, «Деревянный корабль»)

Июнь

2 июня

Воскресенье. Гулял по Москве.
Попал под ливень. Во время грозы рядом со мной упала огромная толстая ветка, оторвавшаяся от дерева.
Видел горизонтальную молнию.
У зоопарка на людей нападали вороны.

3 июня

Когда в метро кончилась книга, которую я читал, пришлось рефлексировать о жизни, но когда много думаешь о своей жизни, сильно расстраиваешься. Начал думать о *Беттине* и *Шлейермахере*. Стало значительно легче.

4 июня

Каждый вечер возвращаюсь домой в одно и то же время. Встречаю по пути домой одних и тех же людей: у выхода из метро всегда стоит женщина с серым бладхаундом, и кошка каждый раз перебегает мне дорогу, когда я иду через стадион. Вот только носки я меняю раз в день, а трусы – раз в два дня, поэтому полного *deja vu* не получается.

…

«Судьба есть господство, сведенное к своей чистой абстракции, причем мера разрушения равно в ней мере господства: такова судьба как несчастье.» (Т.–В. Адорно).

5 июня

Шел домой и у метро видел два милицейских микроавтобуса и лужи крови на асфальте.

9 июня

У Дениса все еще подозревают рассеянный склероз.

10 июня

Философ на войне. Фронтовые дневники *Витгенштейна*.
<Такого-то числа> Сидел в окопе, читал такую-то книгу, занимался онанизмом.
<Такого-то числа> Вылавливал вшей, занимался онанизмом.

<Такого-то числа> Занимался онанизмом.
<Такого-то числа> Занимался онанизмом, сидел в окопе, раздумывал над важной философской проблемой.
<Такого-то числа> Разглядывал солдата, симпатичный, занимался онанизмом, вылавливал вшей.

…

Сегодня шел на работу в ИМЛИ по Поварской ул. Заметил смешную старушку, шедшую по другой стороне улицы. В черных полусапожках, красном платье, с лицом, размалеванном, как у фарфоровой куклы (алые румяна, вишневая губная помада, темно-фиолетовые тени). Старушка бодро размахивала руками и, казалось, что-то бормотала себе под нос. Потом она перешла дорогу, и оказалась на моей стороне улицы, она, оказалось, не бормотала а пела. Веселую песенку на французском языке. В старушке я признал сотрудницу моего отдела, специалистку по французским сюрреалистам. Она весело крикнула мне: *привет*! помахала ручкой и пошла дальше по направлению к Институту, напевая свой *шансон* и весело размахивая руками. Я был от увиденного в таком ужасе, что решил не ходить на работу.

11 июня

Инструкция для больных рассеянным склерозом: «Если вы сами не в состоянии надеть презерватив, не стесняйтесь попросить партнершу надеть презерватив на ваш пенис. Она, несомненно, отнесется к вашей просьбе с должным пониманием.»
Вечером было очень красивое небо.

…

За ужином спрашиваю бабушку, не хочет ли она поехать в Храм Христа Спасителя посмотреть на мощи очередного святого, с помпой привезенные в Москву? Бабушка: я же сама как мощи, зачем ехать, если достаточно просто на себя в зеркало посмотреть?

…

Вечером спросил симпатичного мол. человека, подсевшего ко мне в автобусе сначала: который час, а потом: какой у него одеколон. Он смирно ответил на оба вопроса. Было неловко. Он не отсаживался. Я достал из портфеля «Фрагменты речи влюбленного» *Барта*, стал сигнализировать именем автора/названием книги. Но мол. человек был из тех, кому имена на обложках ни говорят ровным счетом ничего.

13 июня

В день независимости России с утра по телевизору ритуальные церемонии в духе тоталитаризма.
Вечером: заблеванное метро, автобусы-троллейбусы, полные пьяными мужиками, бритоголовые, несовершеннолетние девки с пивом, пидоры парами.
Праздник шагает по стране.

…

Вчера, в на Строгинском мосту наш автобус поравнялся с белым фургончиком, из окна которого высовывалась черная лохматая собачонка и лаяла на обгонявшие фургончик машины. За рулем сидел парень в черной нацистской каске, в черных очках, белой рубашке и черной лентой со свастикой на рукаве. Когда водители проезжавших автомобилей сигналили его собаке, парень вытягивал руку в нацистском приветствии. В автобусе всем было почему-то смешно.

15 июня

Удаляли зубной нерв. Перед посещением стоматолога от волнения проблевался. Доктор был хороший. Сначала мягким голосом рассказывал обо всех своих сегодняшних пациентах, потом держал меня за руку, а потом ласково вытирал кровь с моего подбородка марлевым тампоном, и другим – пот со лба и шеи. А вот трясти перед моим носом удаленным нервом было необязательно.

…

Волнительное проникновение бормашины в костную ткань. Если Фрейд соотносил вырывание зубов с символической кастрацией, то тогда понятно, почему он попросил смертельную дозу морфия после того, как ему удалили сразу полчелюсти.

…

Ощущение, что жизнь проходит мимо. Шел домой заметил, что большая луна, похожая на кусок масла, висит низко. Кажется, до нее можно было достать рукой.

…

С утра звонили студентки. Напросились в гости. 25 человек.

16 июня

В метро меня остановила сектантка с соответствующим лицом и стала крутить передо мной двуязычной библией, которую, видимо, хотела мне продать; спросила, что я хочу знать о библии. Я сказал, что знаю много, потому что изучал в своем вузе предмет *Библия и культура*. Я думал, что на этом наш с ней разговор окончится и хотел пойти дальше по своим делам. Но сектантка догнала меня, хотела обсуждать со мной библию. Спросила, что я думаю о *современном состоянии мира*, и я ответил, что мир на всех парах неумолимо мчится к апокалипсису. Она поправила меня, сказала, что апокалипсис – это откровение, а библия говорит о конце света *Армагеддоне*. Я парировал, что разницы никакой, мы все погрязли во грехе, и только второе пришествие Христа спасет мир от скверны и греха. Она довольно кивнула головой. Потом спросила, знаю ли я о знаках, которые возвещают о конце света? Я сказал: эти знаки записаны в откровении. Она таинственным шёпотом спросила: а что это за знаки? Я рассказал ей о Чернобыле и падающей звезде, реке Полынь и трех всадниках апокалипсиса. Тогда она решила потрясти мое воображение и сказала: а вы знаете, что Господь подает нам эти знаки уже с 1914 года? Я сказал: да, знаю, а перед первой мировой войной вообще в небе появились три кометы. Тогда сектантка спросила угрюмо: а знаю ли я, для чего в мир был послан Иисус? Что я думаю по поводу Иисуса? Знаю ли я по

какую сторону Иисус сидит у трона Господня в Царствии небесном? На что я отвечал: Как же Иисус может сидеть где-нибудь отдельно от Господа, если он с ним одно и то же? Этот вопрос поверг сектантку в уныние, потому что на мозгопромывочном сектантском семинаре ее такому не учили. Но она быстро нашлась и воскликнула, чуть не плача: нет, как же такое может быть? Иисус и Господь не одно и то же!

…

А вот замечательный случай: пошел в гости к одному другу. Когда в его подъезде приехал лифт и раскрылись двери, я увидел на полу огромную лужу мочи и пьяненького мужичка, который застегивал ширинку. Он заметил меня, посмотрел мне прямо в глаза и сказал, заплетаясь: совсем бля охуели суки, превратили лифт в сортир.

17 июня

На доске объявлений в Институте философии РАН висит инструкция:

Действия личного состава сотрудников Института и кафедры философии РАН по сигналу «Радиационная опасность»
ВНИМАНИЕ ГОВОРИТ ШТАБ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ИФ РАН!
По данным Штаба ГО через один час ожидается выпадение радиоактивных осадков в районе ИФ РАН!!!
В связи с этим:

1. Сотрудникам немедленно прекратить работу в ИФ РАН,
2. Немедленно провести йодную профилактику со всеми сотрудниками.
3. Надеть ватно-марлевые повязки.
4. Прекратить любую радиационную разведку.
5. Взять продукты, воду, документы и следовать в метрополитен на станцию «Кропоткинская» для укрытия в туннеле по направлению движения поездов к станции «Библиотека им. Ленина», на расстоянии от начала платформы от 118 до 125 метров
   Сообщаем, что в метрополитене от ИФ РАН будет находиться группа в составе 31 человека, из них:
   а) 10 человек
   б) 3 человека для получения и раздачи продуктов
   в) 12 человека (3 сан. поста)
   г) 6 человек для обслуживания санузлов
6. Просьба соблюдать организованность и тишину.

18 июня

В гости приехали 14 студенток. Пришли организованно, все сразу, внизу потрясли воображение околоподъездных старушек. Выпили много вина, ели сыр, маслины и оливки, овощи и фрукты. Торты, которые я вчера самоотверженно вез в метро в час пик ели неохотно. Осилили полтора, а еще полтора – не захотели. Одна студентка, Лада, надо признать совсем худенькая, говорит: куда нам столько тортов? У меня, кажется, уже даже под ногтями целлюлит. Разговаривали об

учебе, о пидорах, о сексе и любви, ранних беременностях. Почти у все студенток есть симпатичные старшие или младшие братья, и все почему-то то спортсмены, то милиционеры, то омоновцы, то следователи, то курсанты военных училищ.

20 июня

They are straight says granny

Most people with any sense have already figured out that onstage antics of Russian pop song-buddies Julia and Lena tATu are just a bid to get headlines. And confirming the theory is Lena's gran Asya Katina, who says that not only does Lena dislike kissing her fellow bandmate, but she's actually got a secret boyfriends back in Russia.

According to the Daily Star, Asya maintains that the tATu girls are in it for the money. She said: «The lesbian image is propaganda. It generated a lot of money but it's not true.»

In fact, Asya also pointed out that Lena doesn't even enjoy her onstage tonsil-tennis. «Lena had a hard time with the lesbian issue», she added, «She doesn't want to kiss Julia. It's hard for her.»

Thankfully, Lena has at least one thing to keep her happy; namely her secret boyfriend, and according to gran: «He's a completely normal young Russian boy.»

21 июня

В полдень был разбужен денисовой мамой. Вчера вечером я рассказал ему про новейшие исследования английских ученых о причинах рассеянного склероза (обнаружил в интернете). Когда я ушел, Денис, оказывается, заперся у себя в комнате, отказался ужинать, не пошел на вечернюю прогулку, а впал в печальное расположение духа и стал вспоминать, не болел ли он хламидиозом, который, по словам английских ученых, является главной причиной рассеянного склероза. Денисова мама сказала мне, что ее сын очень чувствительный и ранимый, и такие вещи ему больше не надо рассказывать, и даже наоборот: его надо всячески ублажать (в очередной раз сдать за него сессию в его институте?) и радовать. Его жизнь должна быть радостной, беззаботной и разнообразной, несмотря на предполагаемую болезнь.

…

Родители уехали на дачу, поэтому я обслуживал весь день свою бабушку. Удивительное дело: симптомы ее паркинсонизма начинают проявляться только тогда, когда просишь сделать ее что-нибудь по дому.

23 июня

Был на дне рождения репетитора. Странное дело: дни рождения *так называемых* натуралов лишены изысканности. Вот собралось там пять человек. Никакого разнообразия, ничего нового, каждый год одни и те же лица. На столе из года в год одна и та же, надо признать, малосъедобная еда. И ничего. Даже никаких девушек нет. Скучно до умопомрачения. И веселье от этого слегка печальное. Шутка вечера: именинник, который жутко боится своей мамочки, грузной религиозной фанатички, проектирующей бензозаправки, в ответ на предложение пойти помочиться на большой деревянный крест, который поставили в парке

напротив его дома (там будет очередная часовня) и так сфотографироваться, сказал: нет, я лучше буду гомосексуалистом, чем богохульником!

24 июня

«Хотя крысы в скоплении возбуждены в течение дня, ночью они, как и все другие крысы спят, сбившись в кучу, как можно ближе друг у другу; одинокие крысы, которые не могут прижиматься к другим, страдают бессонницей.» (*Сеннет Р.* Падение публичного человека)

…

Сегодня попал под ливень. Опаздывал на работу, вышел из метро, накрапывал дождик, я раскрыл свой фиолетовый зонт и пошел, но когда встал на переходе через Садовое кольцо, где днем всегда приходится ждать по двадцать минут, прежде чем зажжется зеленый свет для пешеходов, вдруг пошел град, который быстро перешел в ливень. Когда я оказался на другой стороне кольца, я уже был весь мокрый, несмотря на зонт. Почему-то не сообразил спрятаться в ближайшем кафе, быстро пробежал мимо, спрятался под строительными лесами напротив магазина одежды. Стоял, сложил зонт, смотрел, как крупные капли бьют по черному *Мерседесу*, как потоки воды несут большие доски, пластмассовые бутылки, пивные банки, бумаги. Рядом стояли двое, наверное, студенты Гнесинского училища, он и она, он рассказывал ей, что только вернулся из Киева, где выиграл конкурс молодых исполнителей, она поздравляла его, говорила, что сегодня дают стипендию, она идет с экзамена. Я смотрел на ливень и думал о том, какой я ничтожный в сравнении с этим дождем, вспомнил деревянную полку в прихожей в одной старой квартире, на нее хозяева квартиры, старые, мудрые люди, ставят зимнюю обувь (черные лакированные сапоги, черные зимние ботинки, валенки и т.д.) Потом мне показалось, что дождь стих, и я побежал дальше. Но – зря. Вся Поварская ул. была в воде. Сильно промок.

25 июня

Уже который день небо над Москвой в часы заката выглядит исключительно монументально. Мне нравится нынешнее лето.

…

Готовил ужин и ненароком вылил себе на розовую рубашку оливковое масло.

…

Очень боюсь быть неправильно проинтерпретированным. Странная фобия начинает постепенно поглощать все мое существо.

26 июня

«Никто ничего не замечал.
А ведь все обычно обнаруживается.
Но бывают, конечно, исключения.»
Читал *Слуньские водопады*. Чуть не расплакался от переполнившего меня ощущения счастья.

…

Видел жутко пьяного мужичка. Его шатало из стороны в сторону и вся автобусная остановка с тихим наслаждением наблюдала, как он стукался о фонарные столбы и т.п. Наконец мужичок упал под фонарь и больше не поднимался.
Стоит женщина с мокрым ковром, многократно сложенным и привязанным к сумке на колесиках, с ковра течет вода, и как кровь у *Маркеса* в известном романе, тонкой струйкой бежит по мостовой.
Женщина с мокрым ковром обращается к своему сыну, мальчику лет 12: Вот смотри, будешь пить водку, тоже будешь вот так на улице как животное, как этот дядя валяться.
Мальчик пищит с выражением ужаса на лице: нет, нет!

27 июня

У Дениса в офисе стеклянные потолки, в них видно небо. Денис говорит, что когда в понедельник был ливень, он полтора часа смотрел в потолок, говорит, было чудесное зрелище. У них новый офис, из бетона, дерева и стекла. Здание спроектировано так, что в нем соединены абсолютная прозрачность и социальная изоляция.

…

У Консерватории стояла огромная толпа, а мы с проф. Павловой договорились встречаться у касс, внутри. Пришлось искать друг друга снаружи. Но мы быстро увидели друг друга. Проф. Павлова сказала, что я, оказывается, стоял на том же самом месте, где в 1948 г. ждал кого-то Пастернак., когда она с отцом ходила на концерт Шостаковича. После войны ее семья жила бедно, и посещение Консерватории было единственным развлечением. Ну а Пастернак стоял себе и стоял. Ничего, особенно, кстати.
В первом отделении Венский филармонический оркестр, дирижировал Гергиев, отыграл вальсы и польки И. Штрауса, потом исполнили «Патетическую» Чайковского. Гергиев дирижировал блестяще. После такой музыки в таком исполнении все, что происходит в жизни становится как бы неважным. Павлова, сказала, когда мы выходили, что считает «Патетическую» лучшей музыкой о смерти. Ее отец видел Чайковского за несколько недель до смерти композитора. Отец был школяром, пел в синодальном хоре, Чайковский пришел, когда мальчики репетировали, посидел немного, послушал, и прошел дальше в одну из дверей.

…

На приеме в австрийском посольстве видел Гергиева в двух метрах от себя.

28 июня

Владимир Владимирович Путин покинул Британское королевство, и солнце сразу же перестало там светить, небо над Англией затянулось серыми тучами, многие матчи третьего круга Уимблдонского турнира по теннису пришлось отложить из-за дождя.

...

Денис заехал в гости. Говорит: Пушкин, как поэт, мало чего из себя представляет. Пушкин – это *чистейший продукт* грамотного *PR*. Представь себе, негритенок, черномазенький, а еще и стихи пишет! И какие складные! Это же наверняка в те времена было очень необычно. Все стали его читать и удивляться: как же так? внешность у мальчика, как у обезьянки, а стихи – русские.
Ума не приложу, откуда он все это взял, сам бы он до такого не додумался.
У Маши, симпатичной секретарши декана денисова факультета живут две собачонки: сучка пекинеса и лайка. Сучка пекинеса очень забавная, скоро будут щенки. Откуда он об этом знает? Был у секретарши в гостях, иначе как еще было ему сдать просто так сразу пять зачетов и два экзамена?

29 июня

Выдающийся день: в первый раз за долгое время просидел за работой 8 часов подряд.

30 июня

В метро ехала крайне занимательная рыжеволосая дама в кожаном ошейнике и охапкой, штук 30, искусственных красных маков. Она постоянно перекладывала свои маки так, чтобы они лежали определенным, только ей понятным образом.

Июль

1 июля

А *Теодор Дойблер*, оказывается, тоже был гомосексуалистом. В возрасте 49 лет он поехал к Грецию и там понял, что любит греческих мальчиков. Вернулся в Берлин, подружился с Гиршфельдом и начал под его руководством наверстывать упущенное.

2 июля

Девять дней, как родители одного моего знакомого вернулись из Берлина, где прожили пять лет. За эти девять дней в их жизни много чего произошло. Отец знакомого уже попал в больницу с гипертоническим кризом, потому что сильно разнервничался, стоя в пробке в жару. А мать зареклась ходить на улицу, после того, как продавщица в магазине обложила ее трехэтажным матом. Но самые тяжелые потрясения выпали на долю их йоркширского терьера с одним яичком. В *Шереметьево-2*, стоя в очереди на ветконтроль, он увидел настоящего питона, которого супруга одного олигарха везла из Цюриха в Москву. От ужаса терьер потерял сознание. Его вернули к жизни нашатырным спиртом и ветконтролировали без очереди. Жена олигарха всех успокоила, сказала, что питон домашний. Собачка отказывается справлять нужду на улице, потому что на московских улицах слишком грязно, шумно, да и вообще какая-то непривычная архитектура.

…

На полях *бедекера* 1899 г. нашел впечатления русского туриста о Берлине.
О деньгах: 10 p=21 ru
О королевском замке: (Красная орлиная комната) простыя стулья. (Тронный зал) Одна стена позолочена, другая – серебряная.
Дворец императрицы: Роскошный. Масса подарков изъ России. Круглый зал танцовальный–акустическiй. эхо много разъ.
Старый музей: 1) Antonio Allegri 2) Io und Jupiter – Corredgio
Голландские, фламанд. школа тенье, рубенсъ. Въ общем не интересно.
Нидерландскiя мастера – резъба изъ дерева.
Национальная галерея: Дорога смерти. Картины изъ Франц. войны
Музей Хоенцоллерн: Вещи изъ Иерусалима. Блюдо 1347 г. Фонтаны въ ком. Имп. Охотничьи ружья Вил. I
Этнографический музей: Необычн. Африк. маски
Пассаж-Паноптикум: Пассаж – магазины. Паноптикум: ерунда.
Аквариум: Прекрасныя рыбы и кораллы.
Цейгхаус: Очень интересны шляпа, шпага и пистолеты Наполеона. форма русских солдат.

4 июля

По первому каналу, кажется, была интересная программа про оккультизм и тоталитарные государства. Говорили об архаических обрядах и ритуалах и о том, как с их помощью можно влиять на массы. Очень весело. Жалко только, забыли проанализировать ритуалы нынешней власти.

8 июля

«Можно с большей долей уверенности сказать, что человек научился производить и потреблять опий намного раньше, чем, скажем, писать или считать до ста. Классический способ его получения – на не зрелых еще коробочках опийного мака делаются надрезы, затем застывшие капельки выступившего на них сока соскабливаются. Из опия можно выделить основное его действующее начало – морфин. Молекула этого соединения не то чтобы уж чересчур сложна, но обладает рядом свойств, крайне неприятных для химиков, пытавшихся установить его структуру. Этот процесс длился около ста пятидесяти лет. Его результаты в принятом нами бесформульном описании могут быть представлены следующим образом: вообразите себе молекулу фенантрена – этаких три сочлененных шестиугольных паркетины; над центральным кольцом перебросим мостик –CH2–CH2–N(CH3), – два крайних кольца соединим кислородным мостиком – O –. Останется только присоединить к этим двум кольцам еще по гидроксильной группе – OH, и готова структурная формула морфина!»
(*Галактионов С. Г.* Биологически активные. Серия: Эврика – Библиотека старшеклассника. М.: Детская литература, 1988)

11 июля

Бессонница. Когда укладываюсь спать, начинается психоз: начинаю бояться смерти. Не могу заставить себя закрыть глаза. Днем думаю об этом и понимаю: бояться, по сути, нечего.

…

Сегодня наблюдал закат, такой же, как и три недели назад. Жизнь состоит, так сказать, из простейших, постоянно повторяющихся структур.

…

«Йогические тексты говорят о важности подмывания ануса холодной подсоленной водой. Первые два месяца клизму лучше всего себе ставить утром по вторникам и четвергам. Потом – раз в две недели. Это помогает раскрытия чакры Муладхари – центра вдохновляющей силы. Йогические тексты осуждают тенденцию спешить в ванну сразу же по завершению любовного акта. Капли пота, проступившие на телах влюбленных содержат невидимые секреты и минералы. Их нужно впитывать друг из друга в течение часа».

…

Слушаю *Тристана и Изольду*. В комнату залетела шоколадница, села на колонке, сложила крылья и не хочет больше улетать. Тоже впала от *Вагнера* в транс.

…

В результате сегодняшней грозы в Москве пострадали три человека, один из них умер.

12 июля

Прекрасная погода. После дождя гулял в парке. Влажный воздух. Отражения в воде. Баржи. Слышно, как капитан отдает команды в громкоговоритель. Когда сегодня был ливень, стоял у открытого окна, потерявшийся, смотрел, как деревья сопрягаются единым ритмом стихии. Потом в мокром асфальте отражалось серое небо.

14 июля

Мать позвонила в половине второго ночи. Говорит, у них жуткий туман, даже дороги перед окном не видно.

…

«Мы подошли к окну, в стороне громыхало, и великолепный дождь пробегал порывами по земле, и самое освежительное благоухание поднималось к нам во всей полноте теплого воздуха. Она же стояла, опираясь на локоть, и взгляд ее пронизывал местность, она смотрела в небо и на меня, я видел, что глаза ее наполнились слезами, она положила свою руку на мою и сказала: *Клопшток!* Я погрузился в поток чувств, что излился на меня, как только она произнесла это слово. Я не мог вынести этого, склонился к ее руке и поцеловал ее, проливая блаженнейшие слезы».

15 июля

Говорил по телефону с Наташей. Она сказала, что теперь из десяти молодых театральных режиссеров девять будут гомосексуалистами, а из молодых актеров – даже одиннадцать из десяти. Это много. Это коробит ее католическую нравственность. Но она привыкла, скрепя сердце, потому что они все сейчас талантливые. Ее лучшая подруга влюбилась в польского режиссера, и хотела ради него оставить семью, а он оказался голубым. В первый раз по-настоящему влюбилась – и в голубого. Наташа говорит, давай ты напишешь пьесу, но чтобы без голубых и наркоманов, говорю: с удовольствием напишу про некро- или зоофилов.

15 июля

Time: 3:21 am
«What becomes interesting is to think about how easy it is for a heterosexual actress or actor to play someone who is homosexual, how that's somehow permissible, but for a homosexual to be out and portray a homosexual character it becomes sort of much more problematic for an audience to accept», she said, «As a species, we're so fixated and curious about this mystery of sexuality.»

15 июля

Time: 5:11 pm
Дни без просвета бессонные ночи, как зимние тучи проходят бессменной чредою
Вянет краса моя в тяжкой неволе, что позднюю осень березка, поникнув листвою
Жених ненаглядный, мой витязь прекрасный, томлюсь и нет сна и покою
Бледны мои щеки и очи потухли от слез, что льются рекою…

19 июля

На стоянке у супермаркета видел Р., бывшую одноклассницу, третью любовь. Она стояла у своего огромного джипа *BMW*, вытаскивала купленные ей продукты из сумок с логотипом этого супермаркета в пакеты с логотипом супермаркетов ее мужа. Муж запрещает ей покупать продукты в магазинах конкурентов. А ей это территориально удобно и дешевле. Узнала меня, стала улыбаться. Спросила, как мои дела. Ответил, что неплохо. Как дела у нее спрашивать не стал. Она была фотомоделью, и, судя по машине, размером с мою кухню, у нее все прекрасно.

22 июля

Интересно, почему в последнее время лица мужского пола в общественном транспорте, когда сидят, так широко раздвигаю ноги? У них, что, от жары распухают яйца?

…

Уезжаю на дачу.

24 июля

По вечерам дачные женщины фланируют по поселку со своими внуками и собачонками. Дедушка здоровается со всеми через забор.

25 июля

Моя двоюродная красавица-сестра 17 лет от роду явилась домой к пяти утра. Утром она часами простаивает у зеркала в ванной. Со мной не разговаривает. Дедушка тоже со мной не разговаривает. Как же, я отказался поливать газон!

…

Со вторника – и до сегодняшнего вечера ни одного симпатичного мол. человека. Только убогие малолетние школьники и рахитичные дети чиновников митинской префектуры. Зато сегодня вечером, когда пошел в магазин за молоком и творогом, у входа увидел такого исключительного красавца, что все дни, проведенные здесь за работой, показались незначительными.
Он стоял у входа в магазин, демонстрировал всем свой загорелый и тренированный *torso*. *Alle Achtung!* Слышал, как он разговаривал с кем-то, по всей видимости, своим соседом. Прекрасный низкий, слегка хриплый голос, который, как написали бы в дамском романе (читаю на ночь про английскую офисную работницу, которая поехала в круиз и встретила там норвежского красавца с бородой, широкой спиной и мощной грудью), *проникает в самые глубокие глубины одинокого сердца* и бросает в дрожь. Самое главное: на розовом поводке у красавца – маленький мопс. Наверняка, чтобы привлекать девушек. Если увижу его еще раз, наберусь смелости и тоже привлекусь.

…

Кажется, мое облысение проходит по дедушкиной, т.е. по мордовской линии.

27 июля

Выяснилось, что на выходные на дачи вообще-то приезжают очень симпатичные граждане.

30 июля

Уже в Москве. В магазине, ночью, только что. Стою, выбираю стиральный порошок. Мимо проходит мужик со своей женой и говорит ей громко: во, бля, совсем люди от жары охуели, смотри-ка, парень стиральный порошок покупает!

…

У входа в магазин симпатичные ребята босиком играют в *socks*.

…

«Знакомство с немецкой философией приводит м-ме де Сталь к убеждению, что человек должен жить, страдая (поскольку счастье не есть цель его жизни) и преодолевая страдание с помощью меланхолических чувствований и нравственного самоусовершенствования; большую роль в этом процессе играют литература и философия, исполненные меланхолии; литература, таким образом, давая выход мрачным чувствам, и даря утешение, предстает как некая замена самоубийства. Сталь определяет самоубийство как «кровавый траур по счастью», а славу – как «блистательный траур по счастью».»

Август

1 августа

Отвратительный день, отвратительное настроение.
Жизнь в последние недели – *Misere*.
Вечером – четыре часа играл в теннис.

…

Говорят, Марс сейчас так близко подошел к Земле, что его можно видеть невооруженным глазом. Пытался ночью найти его на небе, но так и не увидел.

5 августа

В *Доме книги* на Новом Арбате мой взгляд уткнулся сегодня в широкую спину одного мол. человека. Мой похотливый взгляд моментально обратил внимание не только на исключительную фигуру, смазливость и его крайнюю мужественность, такую, что она уже, как бы сказал *Гегель*, переходила в противоположное мужественности качество, но и на три кольца на двух руках. Мы все время *странным образом* пересекались в книжных лабиринтах второго этажа, и в один момент оказались настолько близко друг от друга, что у меня начали дрожать колени; я долго торчал в отделе философии, он тоже; он все время исчезал, а потом появлялся там снова, косился на меня. А я, разумеется, смотрел то на него, то в книги. Потом он взял в руки томик *Ницше*, стал его внимательно изучать, придвинулся ко мне. В моей голове прокручивались различные варианты действий: a) подойти и сказать: а у Ницше, между прочим, был сифилис; b) подойти и спросить: Вы хотите узнать что-нибудь о Сверхчеловеке? c) подойти и сказать: какой Вы охуенный парень! d) подойти и спросить, какие стероиды надо жрать-колоть, чтобы набрать такую массу. Но я, как обычно выбрал: e) поулыбался как идиот, крепко зажал под мышкой книжки и решительной походкой, не оглядываясь назад, направился к кассе. Потом шел по улице и пел *if only I could turn back time*.

…

«Партия рациональных просветителей активно высказывалась против эротической символики в садах и, в частности, против обнаженных статуй, выдвигая самые различные мотивировки. Подобная символика, утверждали они, вредит брачным узам, ибо при созерцании статуй Приапа, молодые дамы чрезмерно радуются, огорчая тем самым своих старых мужей. В размещении статуй видели и опасность онанизма, который «наносит вред и в конченом счете приведет к тяжелой меланхолии и самоубийству» Так начинается кампания за истребление эротических статуй <…> И так же, как в 415 г. до н.э. один афинский заговорщик из политических соображений отбил гениталии со статуй Гермеса, так и в конце XVIII в. блюстители нравственности поотбивали слишком вызывающие фаллосы у статуй. Готлиб фон Хиппель, друг Канта и бюргермейстер Кёнигсберга, пытался обосновать эти акции причинами географическими и наличием иного культурного социума: в то время как римляне, утверждал он, росли вместе со своими статуями, и в Риме никто не имел бы ничего против Приапа, взращенному в бедности немецкому народу с его протестантским духом, новые сооружения, аллеи, садовые украшения могут

показаться чуждым проявлением роскоши. Вывод бюргермейстера был весьма решителен: если тебе не нравится член, отбей его!»

6 августа

Звонил Денис. Что-то рассказывал, потом говорит: я сейчас на *BP*, в туалете, не могу член нормально достать, потому что одной рукой держу трубку и разговариваю с тобой, так что давай прощаться.

…

Сидел в гостях у одной переводчицы. Ее серый кот запрыгивал мне на колени и пытался лизать мороженое из моей тарелки.

8 августа

В метро. Еду домой. Рядом садятся две молодые женщины. Одна начинает спрашивать другую, делая большие глаза: ты помнишь, в нашем доме, в первом подъезде жил такой-то, ну такой, не высокий, симпатичный, ну, красивый парень… Ну такой весь из себя, такой… А помнишь, у него был лучший друг? Тоже красавчик, ну, с ним еще такая-то гуляла?..
(Я заинтересовался, думаю: сейчас скажет, что они оба оказались голубыми.)
А у них еще был приятель, помнишь?..
(Ну точно, думаю: сейчас наверняка расскажет про гомосексуальный *менаж а труа*.)
(Вторая с трудом вспоминает, кивает, и тут первая ее ошарашивает:)
Ну, короче, они поехали, там, к одному на дачу, в дождь, и все разбились на машине. Такая трагедия, такая трагедия! Насмерть. А какие все были красавцы! Обалдеть! Только один еще два дня пожил, и тоже умер, и тоже умер, представляешь? Но это что! – возбужденно продолжает она. – Помнишь, у нас был одноклассник такой-то?
(Ну этот уж, думаю, точно окажется *извращенцем*, как пить дать!)
(Подруга помнит, кивает)
Ужас, знаешь какой случился??? Он год назад покончил с собой. Повесился. Мать приехала из командировки, а он уже два дня как умер, на люстре висит. Жуть такая! А еще история, совсем ужасная.
(Думаю: ну что же еще может быть ужасней гомосексуализма?)
Помнишь, у меня был парень, такой-то, ну такой, который все время гулял, а мы с ним ведь жили, а потом разосрались. Ну он ведь женился, а потом ушел куда-то и пропал, и два месяца его не было, а потом этой манде, ну, его жене, пришла бумажка, ну, повестка, что он умер, и его даже похоронили как неизвестный труп, и что теперь его надо опознать. И, представляешь, его выкапывали. Она его опознала, как своего мужа, и потом его опять похоронили. Ой, нам пора выходить!

9 августа

Ставил в коридоре стеллаж для книг, на меня упал молоток, стукнул по голове. Потом безуспешно пытался понять, как работает дрель, и как с ней управляться. Филологи – люди, не приспособленные для жизни.

12 августа

Стояли на остановке с незнакомым мол. человеком, ждали маршрутку, и когда она стремительно подъехала, юноша посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: *жжжжжжжуууууууууууууууууххх*, а потом сказал: если залезешь туда первым, займи мне место. Я залез первым, занял место, приготовился общаться, но тут обнаружил, что напротив сидит моя мать. Пришлось втроем беседовать об абонементах в Консерваторию на новый сезон. Потом юноша с нами распрощался.

14 августа

Поздно вечером на *Чеховской*. Здоровенный грузин подходит к тетке в оранжевом жилете, работнице метрополитена, и спрашивает: *Жэнщина можна к вам обратиться*? Она: *Ага*. Грузин: *А гдэ тут туалэт*?

19 августа

Вот меня удивляет, как это разные симпатичные, даже красивые, малые умудряются находить себе таких некрасивых подруг? Сегодня иду по улице. Навстречу пара: мощный бурш со здоровыми татуированными бицепсами и проч., а рядом с ним, за ручку – неказистое, толстенькое, кривоногое стриженное под мальчика существо женского пола. Может быть таким образом красавец подчеркивает свою красоту? Или это я такой завистливый пидор?

…

Хочу как *Роберт Вальзер* написать несколько гениальных романов, а потом сказаться душевнобольным и жить всю оставшуюся жизнь в покое и тишине альпийского санатория, наслаждаясь прогулками по горным тропам в сопровождении биографа.

…

На автобусной остановке. Молодой человек с тортом. Видимо, идет на свидание. Смотрел на всех совершенно сумасшедшим взглядом, погруженный в свой сексуальный *daydream*. Каждую секунду глотал *Smints*. *No Smints no kiss*.

…

…

21 августа

«Тело Клюева отличалось от многих тел, ибо по воле бога или в результате игры природы его хромосомный набор исключал самую возможность естественного влечения. Увы, жестокая нетрадиционная ориентация изолировала Клюева от остального мира <…> Лирика в европейском понимании невозможна без культа Прекрасной дамы. Из него она и возникла. <…> Любовный роман Клюева был любовным романом во всех смыслах этого слова <…> В письмах Клюева к Есенину самым противоестественным способом соединяются мистика и плотское томление: «Милый ты мой, хотя бы краем рубахи коснуться тебя, зарыться лицом в твое грязное белье, услышать пазушный запах твой»»
(«Вопросы литературы» № 4, 2003)

26 августа

Видел в автобусе мать одного своего одноклассника, с которым я был дружен в последний школьные годы, а потом перестал с ним общаться, сразу же после школы; я запомнил его мать очень красивой женщиной, очень статной, она хорошо знала себе цену. И тут я увидел ее осунувшейся, очень постаревшей; она заговаривала в автобусе с людьми, пыталась им что-то рассказать, расспрашивала про их жизнь. Вышла на своей остановке, пошла к своему дому, сжавшись, подволакивая левую ногу, на ходу одевала ветровку. Я вспомнил: зимой кто-то мне рассказывал, что около года назад в ее квартиру ворвались грабители, вынесли из квартиры все, что там было, а ее связали, избили и насиловали.
Я потом целый день думал, что запросто заговаривать с незнакомыми людьми на улице можно только от отчаяния.

…

Мне нравится нынешняя погода; огромные серые тучи плотно закрывают небо. Можно ходить по темному парку, вдыхать влажный воздух, смаковать свое *так называемое* экзистенциальное несчастье.

…

Почему я люблю спать в одиночестве: две недели назад один приятель придавил своей восьмидесятипятикилограммовой массой мою левую руку, пролежав на ней полночи. Теперь у меня болит сустав, и я с трудом могу держать в левой руке, например, вилку.

…

Дневники Г. Гейма. Кого я больше люблю? Нелли П. или Аннамарию? Аннамария очень красивая, но Лили Ф. меня понимает, как никто никогда не понимал. Нет! Я люблю Хейди В., вернее, любил ее, потому что видел ее с другим, значит она меня не любит! Ах, как мне тяжело, за что такое наказание? такие муки! вчера видел Штенци, но до вчерашнего дня я ее долго не видел, поэтому когда в моей жизни появилась Мойра, я был ею будто бы ослеплен, но она не знает, какой я прекрасный внутри, а Аннамария знает. Никто на свете не мучается так, как я! Тайком шел за Гольдэльзе, встретил у кинематографа Нелли, о, моя печальная судьба! Мое сердце растоптано! Но Хильда понимает меня еще лучше, чем Лили Ф, она ведь так добра ко мне… и т.д.
Гейм был уверен в том, что он являет собой редчайшее сочетание внутренней и внешней красоты, но этого никто не замечает, и хорошо, потому что если бы все это заметили, то ему было бы худо, потому что когда человек хорош собой, и внешне, и внутренне, окружающие ему завидуют и такого человека изводят; он верил также в свое божественное происхождение: когда он причесывался, его эбонитовая расческа трещала электрическими разрядами и искрилась в темноте.
Письмо Гейма к издателю. Мне нужно поехать с одной молодой дамой на курорт, а у меня нет денег, поэтому вышлите мне 100 марок в счет моих будущих стихов, Вы же понимаете, что если у меня не будет любимых девушек, я не смогу писать стихи, а Вы не сможете их публиковать, потому что публиковать будет нечего, а значит Вам не заработать на моих книгах; еще я бы перепечатал свои новеллы

на машинке, и Вы тогда бы разобрали мой почерк, который не могу разобрать даже я сам, но у меня нет денег на машинистку.
Через неделю: Кошмар, на машинистку денег не хватило, нужно денег еще столько же, и еще немного, и тогда я пришлю Вам свои рукописи. (История с машинисткой повторяется затем еще много раз, а потом Гейм провалился под лед и утонул.)

…

[В метро.] Один и тот же молодой человек сперва ехал со мной рядом от *Беговой* до *Тушинской* (примерно в 17:48), стоял рядом и даже читал через плечо моего *Гипериона*, впрочем, от *Гипериона* ему, наверное, стало невыносимо скучно и он отошел, а потом я ехал с ним же от *Щукинской* до *Текстильщиков* уже после полуночи. Оба раза, когда мы вместе с ним выходили на поверхность, он внезапно исчезал, как будто таял в воздухе.

27 августа

«Я переписывалась с авторшей сюжета для оперы, известной модной писательницей. «Вы поймите мою героиню таковой, какова она есть», говорила писательница. И дело было сложное. Оно заключалось в том, что героиня любила своего жениха и, не найдя его в деревне, пошла его искать. На опушке леса она встретила парня, который сказал ей, что видел ее Ганса с прежней возлюбленной, с которой он пошел в лес. Обезумевшая от ревности невеста бежит в лес, и бежит изнемогая. (Причем бежать надо стоя на одном месте, т.к. все время сменяются декорации – плывя слева направо и показывая все красоты сказочного леса). Девушка бежит, иногда падая от изнеможения. Пред нею вырастают различные видения и лесные чудища во главе с лесным царем. Сцена идет почти два часа музыкального действия, к концу которого девушка доходит до крайнего возбуждения. Но вот опушка леса. Девушка падает, выбившись из сил, и оказывается по случайности подле тела своего жениха, который лежит с ножом в сердце. Кем убит, неизвестно. Трудно догадаться, убит ли жених, или все это бред сумасшедшей девушки. Одним словом: чтобы никто ничего не понял».

…

«В миллионы семей хлынула бесовская зараза в соответствии с пророчеством св. Лаврентия Черниговского: в красном углу вместо икон будут стоять «прилады» – устройства, через которые будет вещать Сатана. Для интеллигенции подготовлен соблазн медитации. Они популярны. Под медитацией разумеют не трезвое молитвенное размышление, как у Бетховена, а пребывание в особых состояниях принесенных с сатанинского Востока. Ее путают с молитвой. Сходство внешнее, но по существу они противоположны. Православная молитва вводит человека в четвертое базовое состояние мозга. Медитации не досягают сего. Великую чудотворицу схимонахиню Антонию в 1940-е гг. советские врачи лечили от веры. Но матушка молилась в любых состояниях и в состоянии наркоза. Это рассказал ее племянница. В православной молитве человек с богом, в медитациях его облепляют чужие духи. Музыковеды, филологи, искусствоведы, лишившие себя знаний святых отцов, не способны отличить молитву от медитации. В поп-культуре оккультная закваска неоспорима. Вотчина сатанизма – поп-музыка. Группы, поначалу хитро

кодировавшие имя Сатаны, теперь не скрывают связей с ним. Насилие звуковой нечистоты, тотальное оккультное растление оккупировало мир детства, оккультизм пронизал медицину, проник в систему образования. Но Россия – головная боль Антихристу. В ней все онтологично. Даже история.»

...

«Как хорошо после этого вечером скакать для собственного удовольствия с Алабандой на резвых конях по багряным от солнца холмам и переводить дух на вершинах, где ветерок играет гривами коней и приветливый шелест листвы вмешивается в наш разговор. Когда же мы возвращаемся в лагерь и сидим вдвоем, отдыхая в ласковой прохладе, какое блаженство протянуть в такую минуту друг другу руки! Алабанда сияет, как жених. Всякий раз, когда он взглядывает на меня, мне улыбается наш грядущий мир, и это до некоторой степени сдерживает мое нетерпение.» (Ф. Гёльдерлин, «Гиперион, или Отшельник в Греции»).

28 августа

У меня в ванной комнате поселилась бабочка-шоколадница. Ума не приложу, где она прячется все время, но когда я начинаю мыться, она неожиданно вылетает, и порхает, и садится на самые неожиданные места, раскрыв свои коричневые крылья.

30 августа

Привлекательная внешность мужчин способствует их коммерческому успеху.

30.08.2003, Лондон 03:40:33 Привлекательная внешность мужчины способствует его коммерческому успеху и продвижению по служебной лестнице, утверждается в последнем отчете исследователей техасского университета, статью о котором публикует International Herald Tribune. По данным экономистов и статистиков, мужчины, которые выглядят внешне лучше и привлекательней других, при прочих равных обычно зарабатывают на 5% больше, нежели их коллеги с менее удачной внешностью. При этом если речь заходит уже об очень непривлекательном внешне мужчине, то разница в зарплате с симпатичным коллегой может у него достигать 7%.

Вообще, согласно тому же исследованию, внешне привлекательные люди в среднем более успешно идут по жизни. Так, согласно опросам студентов университетов, выяснилось, что вызывающие приятное внешнее впечатление преподаватели и профессора пользуются у обучающихся большим уважением и авторитетом, нежели те, кто внешне менее заметен и симпатичен.
Примечательно, что вышеописанное значительно более применимо к мужчинам, нежели к женщинам. Оказалось, что на оценку женщин окружающими в их профессиональных качествах их внешние данные оказывают значительно меньшее воздействие, даже подсознательно, нежели на оценку мужчин.

…

«Покоиться некогда подле тех, кого любишь – отраднейшая из надежд, какую может питать человек, когда мысль уносит его за пределы жизни. Воссоединиться с близким своим – какая задушевность в этих словах.»
(*Оттилия*)

Сентябрь

1 сентября

Когда засыпал, в четыре ночи, за окнами были еще тучи. А утро: ясным и радостным. Московский мэр разогнал тучи, чтобы посещать школы и не мокнуть при этом под дождем. Надел твидовый пиджак, купленный на распродаже в Эрфурте, замечательный галстук и самую любимую рубашку. С радостным настроением отправился на работу в РГГУ.

…

Ходили с матерью отмечать день знаний, обедали в ресторане. На обратном пути встретили пару, молодого человека и девушку. Они выгуливали по Новому Арбату домашних кроликов, рыжего и белого. Мать сказала: смотри, какие милые кролики, и пара подошла к нам, и девушка сказал: хотите их погладить? Они хорошие и любят, когда их гладят разные люди. И мы погладили одного кролика, а второй кролик, оказывается, спал, и мы решили его не будить. Хозяева кроликов были, кажется, счастливы от того, что мы тоже любим кроликов.

…

Ну а вечером пошел дождь. Я был без зонта, и твидовый пиджак намок.

3 сентября

Денис решил заниматься йогой, чтобы, как он выразился, привести в гармонию душу и тело. Думаю: все-таки у него рассеянный склероз – разжижение мозга. Или это просто такая мода в среде *так называемых* менеджеров среднего звена.

4 сентября

После поздней пары поехал в Троице-Лыково. Гулял в сумерках. Кормил уток недоеденным пирожком. Смотрел (слушал), как плещется рыба. Вода течет в одну сторону, облака отражаются в воде, плывут в другую сторону. Когда облака уплывают, в воде отражается просто синее небо (je suis hante). На противоположном берегу люди гуляют в разные стороны. На воде тренируются гребцы. Сперва трое на красной байдарке: громко пели веселую песню, потом начали что-то кричать девушке, гулявшей в Серебряном бору. Пролетел вертолет. Потом появилась желтая шестерка с рулевым. Встали посреди реки и начали спорить, делать ли им то, что сказал тренер, или развернуться и возвращаться обратно. (От того, что мы сейчас сделаем тридцать гребков, наша техника не улучшится, почему другие этого сегодня не делали, а мы должны делать? – Потому что другие делали это вчера. – Внимание, надо поймать ритм!).

8 сентября

Нордау: «Вагнеровская музыка посвятила многих германофилов в сладостные тайны турецкого кайфа».

9 сентября

Сегодня на лекции по немецкому барокко начал рассказывать о науке, искусстве и проч. в XVI–XVII в., об истории термина барокко, и тут же одна въедливая девочка-филолог, выставив вперед свою заячью челюсть, сморщила очкастое личико и недовольно спрашивает: а что мы тут будем культурологией что ли заниматься вместо литературы?
Читать литературу по-немецки студенты, разумеется, не хотят. Говорят, наши знания немецкого языка нам не позволяют.

…

Решил пройтись пешком по Ленинградском проспекту от *Белорусской* до *Сокола*. Шел дождь. В районе Аэропорта наткнулся на денисову машину.

10 сентября

«Это здорово, Саша, что ты барокко читаешь, я даже представляю у кого. А когда мы Грифиуса проходили, то это была твоя книжка, кстати, я помню, ты молодец, про барокко ты еще, когда я была на втором курсе, какие-то ужасы рассказывал.»

…

После лекций приехал домой и беспробудным сном проспал четыре часа. Потом: безрадостные мысли.

11 сентября

Продемонстрировать окружающим свои недюжинные умственные способности можно прилюдно разгадывая кроссворды. Сегодня потрепанный юноша с бутылочкой пива в руке и его потасканная подружка с баночкой джин-тоника разгадывали в метро кроссворд. Сосредоточенное выражение их лиц выказывало исключительные мозговые напряжения. Вписывание разгаданных слов сопровождалось вздохами облегчения и очевидной и нескрываемой радостью. Когда же я решил посмотреть, что за слова отгадала эта пара, и чему они так радуются, и посмотрел, среди пустых клеток, моему взору открылись три слова: книга, стол, луна.

…

Обострение желчной болезни. Посоветовал репетитору мазать лицо не сметаной или кремом, а спермой. Говорят, в ней больше витаминов.

12 сентября

«Попытки превратить Гете в национальную святыню принимали в течение полутора столетий разные формы. Однако наиболее прямолинейно поняли свою задачу ответственные работники братской ГДР. Аккурат к нынешнему юбилею в анатомической коллекции национального музея Гете обнаружилась коробка с документами, коротко озаглавленная «Особая папка: мацерация Гете». Она содержит педантично задокументированное сообщение о вскрытии могилы Гете 2 ноября 1970 г. Нет, по этому случаю не проводили торжественных собраний и

шествий с несением портретов и транспарантов. Не устраивали приемов в пионеры и принятия присяги. Поздним вечером группа ученых и партийных функционеров, стараясь остаться совершенно незамеченной (романтическую парочку влюбленных, расположившуюся у входа в склеп автора «Мариенбадской элегии», прогнали взашей), проникла в княжеский склеп Веймара, где покоились останки Гете и Шиллера. Заперевшись, они вскрыли гробницу Гете с целью сохранения для вечности мощей великого поэта. Поскольку тело находилось в состоянии, уже не позволявшем произвести мумификацию, подобно останкам Ленина, которыми вдохновлялись немецкие товарищи, было решено законсервировать сохранившиеся кости путем мацерации, т.е. очищения скелета от истлевшей ткани. Для этого кости, вынесенные из склепа (выносить пришлось в два захода), тщательно отмыли стиральным порошком для тонкого белья (вот она немецкая аккуратность!). Попутно установили, что не хватает пяти костей. Сначала собирались соорудить специальный стеклянный гроб или даже заварить скелет в полиэтиленовый мешок, но потом ограничились тем, что просто упаковали его в поролон. Полуистлевший лавровый венок бережно сняли с некогда гениального черепа, вымочили в спирту и в ходе сложной технической процедуры восстановили из пластмассы, водрузив по окончании на старое место, теперь уже отмытое и очищенное от содержавшейся внутри «пылеобразной массы» (выражение по протоколу). Остатки одежды послали с соблюдением строжайших условий секретности в Берлин на экспертизу и реставрацию, но тамошние консерваторы их так и не вернули, видимо догадавшись об их знаменитом происхождении. Слава Богу никаких экспериментов над останками не производили, да и технологий недоставало. Ведь о клонировании в то время еще никто не подозревал, если не принимать во внимание полусумасшедшие видения Н. Федорова. Спустя почти три недели уже не какие-то бренные останки, а очищенный и упакованный в пластик скелет вернули обратно в склеп, предварительно выложив дно гробницы полиэтиленовой массой и заклеив потом сверху прорезиненной пленкой. Операция снова проводилась после наступления темноты. Все участники дали клятву молчать до гробовой доски.»

13 сентября

Признаки надвигающейся депрессии: склонность к продолжительным бесцельным прогулкам, осмысленное чтение Мерло-Понти, желание заплакать, когда перечитываю «Избирательное сродство».

…

Хотел поехать на дачу недели на две, оттуда ездил бы на лекции в понедельник и вторник. А потом вспомнил об учениках, с которыми занимаюсь немецким. Устаю от лекций, от почти механического повторения одного и того же материала: читаю одинаковый курс три раза в неделю. Ощущаю себя *шеллаком*.

…

В час ночи позвонил Денис с вопросом: сколько градусов у меня на термометре за окном.

14 сентября

Еще про паркинсонические симптомы у моей бабушки. Они начинают проявляться лишь тогда, когда ее просят сделать что-нибудь по хозяйству. Тогда (впрочем, совершенно незаметно для окружающих) у нее начинают дрожать руки; а когда ее просят пойти в свою комнату и смотреть сериалы про Изабеллу и Хуана там, а там, по ее мнению у телевизора слишком маленький экран и нет удобных кресел, бабушку вообще поражает дрожательный паралич, и она обнаруживает, что, против своей воли, не может встать с кресла. Нужно ли говорить о том, что дрожательный паралич продолжается ровно до того момента, пока серия не подойдет к концу?

16 сентября

После лекции та же девочка с заячьей челюстью о Бёме: зачем изучать невнятную писанину этого сапожника?

17 сентября

С утра гороскоп пророчил мне козни и происки тайных врагов. Тайным врагом оказалась моя соседка. Ранним утром, в мое отсутствие, она заменила замок на входной двери в наш общий блок, а когда я принесся домой, чтобы выпить кофе и распечатать перед работой лекции, выяснилось, что она не просто сменила замок, а сменила замок и куда-то уехала, не оставив новых ключей. Я потоптался у закрытых дверей, и помчался читать лекцию по памяти. О Гёте можно и без бумажек рассказывать.

…

На семинаре. Студентка пересказывает «Избирательное сродство»: а потом ребенок плюхнулся в воду и утонул. Оттилия в шоке, Шарлотта в шоке, Капитан в шоке… А потом, ну, это, она подмигнула ей из гроба и та свалилась с крыши.

…

Бабушка прочитала «Орландо», теперь читает «Дневники вора». Говорит, что гадость, но все равно читает.

…

В последнее время замечаю, что проявляют подозрительный интерес к мужским задницам в метро. Наверное, потому что осень.

…

Поставил на письменном столе фотографию Джеймса Дина.

18 сентября

Вечером гуляли в парке с репетитором. Наш путь по мокрым аллеям был усеян трупами дождевых червей. Видели нашего бывшего одноклассника Г. Г., одетый во все черное, стоял, прислонившись к фонарному столбу в монументальной позе и читал книжку. Я не был уверен в том, что этот сумрачный усатый мужчина, читающий книжку в мокром парке – наш Г., но репетитор сказал, что тут даже и сомневаться нечего, потому что он узнал Г. по его выдающейся заднице, а старым Г. кажется из-за неправильного освещения, и еще потому что Г. много пьет.

Потом мы отошли на безопасное расстояние, такое, чтобы Г. нас не заметил, и стали кружить вокруг фонаря, рассматривая Г. издалека. Он невозмутимо читал книжку. Жизнь его, как рассказал мне репетитор, печальна. Он не может найти работу, живет с матерью, сестрой, мужем сестры, который его изредка поколачивает, и малолетними детьми сестры; поэтому он много пьет, и читает книги, и не хочет бывать дома.

…

В метро напротив меня сидела молодая женщина и время от времени загадочно улыбалась. Сначала я подумал, что она сумасшедшая, а потом я понял, что она наблюдает за моим соседом на скамейке: он спал, потом просыпался, недоуменно озирался вокруг, и снова, сонный, откидывал голову.
Очень интересно смотреть за тем, на что смотрят другие; я сегодня понаблюдал немного, и обнаружил, что к задницам присматриваются почти все.

…

Вечером ученица, рассказав мне жуткую историю про своего делового партнера, который разбился неделю назад на машине, сам остался в живых, но стал инвалидом, а еще четверо погибли, сделала два упражнения, а потом наклонилась ко мне и спросила таинственным шёпотом: а когда наши занятия перейдут в более активную фазу? Пришлось заставить ее зубрить артикли.

22 сентября

Прочитал две лекции, и ощущение, будто бы весь день таскал мешки с цементом. Перед лекцией тренировался правильно и без запинки выговаривать имена *Хоррибиликрибрифакс* и *Дарадиридатумтаридес*.

23 сентября

По каналу *Культура* в очень научной программе рассказывали про *протосперматозоид*. Я ничего не понял, но было очень интересно.

…

Потом попытался поспать, но не получилось. Пошел дождь, я ворочался с боку на бок, капли дождя стучали по подоконнику и в окно, и я, как настоящий *меланхолик*, вместо того, чтобы спать, думал под этот стук о том, что в жизни все плохо; и чтобы уверить себя в том, что все и впрямь плохо, я иногда поворачивался к окну и смотрел на дом напротив, и на серое небо, а потом тяжело вздыхал и опять отворачивался, потому что вид из моего окна наводит на меня ужасную тоску.

24 сентября

Наступила осень. Самки *homo sapiens* начинают инстинктивно сопротивляться природному ритму. На увядание природы они реагируют массовым *Steigerung der Libido*. Слюнявят своих самцов, трутся о них бледными носами, трогают за самые сокровенные места. Когда все это происходит в общественном транспорте, окружающим, впрочем и самцам, это может доставить различные неудобства.

Сегодня, например, один гражданин ехал в метро, сидел и мирно читал *Новалиса*. А напротив него стояла самка, в которой с утра пробудились стихийные силы природы и ее самец. И самка своего самца всячески метила, и у того начали проявляться различные естественные реакции на подобное поведение самки, и он оттого, стал неловко загораживать от посторонних взглядов область причинного места полиэтиленовым пакетом. Грязный пакет опасно раскачивался в непосредственной близости от носа гражданина, читавшего *Новалиса*, тюкал книжку, мешал сосредоточиться гражданину на подготовке лекции о йенских романтиках.

…

Самыми несчастными оказались жители России. Несмотря на то, что в среднем россияне занимаются сексом 150 раз в год, лишь 59 % опрошенных удовлетворены своей личной жизнью.

…

Вечером забирал верстку, а потом стоял на троллейбусной остановке, и ко мне подбежала какая-то пьянчужка, ходила вокруг меня и требовала денег на водку, приговаривая при этом, какой я красивый, и каким невинным, добрым выгляжу. Потом стала приставать и к другим, говорила, что умеет играть на рояле и пела мурку. Потом ее прогнали. Алкоголизм разрушает мозг.

27 сентября

Наблюдал сегодня *wunderliche Erscheinung*: в самый дождь, когда я шел на почту и стоял, дожидаясь удобного момента, чтобы перейти улицу, на противоположной стороне возник мускулистый бритоголовый *lad* раннего студенческого возраста, весь промокший, в джинсах, кедах и с рюкзаком за плечами, и в мокрой белой майке, прилипавшей к тренированному телу и с забинтованной правой рукой. Он так решительно и смело ринулся переходить улицу, что я даже испугался, что он попадет под машину. А когда он быстро перешел, и я тоже переходил, то я шел медленно и все время оглядывался на него, и почти что выключился из реальности, и в конце-концов меня чуть не сбила машина.

30 сентября

В выходные Денис подрался. Его сильно побили. И его смазливая физиономия вся в синяках. Вечером он позвонил и спросил, правда ли, что если долго разговаривать по сотовому телефону, то нагреваются мозги? Говорю: не знаю, может быть, если есть чему нагреваться, тебе такое точно не грозит.

…

Еще Денис объяснил, что у нас с ним *вялотекущее партнерство*.

…

Слушал весь день *Малера* и к вечеру в квартире надо мной начали раздаваться странные звуки, будто тяжелые вещи на пол валятся. Или это соседи на стены кидаются?

Октябрь

2 октября

Очень некомфортно чувствую себя, когда меня пристально разглядывают лица мужского пола. Неприятно мне. Приходится подозревать их либо в том, что они пидоры, либо в том, что гомофобы, т.е. латентные пидоры, либо думать о том, что у меня что-нибудь не так с одеждой, и потом весь день нервничать, либо уверять в том, что я неслыханный урод, уродства и физические изъяны которого надо разглядеть получше, чтобы навсегда отложить их в памяти; ну ладно там, раз бросил взгляд, два, такое бывает, это нормально в человеческом обществе, но зачем пристально разглядывать человека пять–десять–пятнадцать минут, или бросать шесть–семь–восемь–десять коротких взглядов, и даже не знакомиться? Меня все это смущает, ведь я *more than ordinary*, ну разве не ношу остроносых ботинок, потому что от этого вида обуви меня тошнит, очень мнительный и почти что шизофреник. И на лбу у меня не написано, что я гомосексуалист.
А может быть, это просто реакция на мой тяжелый взгляд?

…

Sad but true: если у людей есть эмоции, то их надо беспощадно эксплуатировать.

6 октября

Имя покойного печатается жирным шрифтом, красной краской.

7 октября

Увидел в метро очередную порцию граждан, сосредоточенно читающих «Идиота». Подумал: а ведь пришло время уже и *Толстого* засериалить. Льва Николаевича, разумеется. Алексея Николаевича в советские годы ведь многократно экранизировали. Можно было бы и *Тургенева*, но у Ивана Сергеевича романы все-таки маленькие и, признаемся честно, немного старомодные, и еще слишком европейские. Пусть поэтому *Тургенева* экранизируют немцы или французы. А русские должны снять новую версию «Войны и мира»! Во-первых, роман огромный, серий будет так много, что хватит на год или даже на два, и серии можно на самом интересном месте прерывать. Во-вторых, в романе много героев, и от этого двойная польза: можно будет все найти по роли: и гениальной Будиной, и наиталантливейшему Безрукову, и его жене из «Магазина на диване», да и вообще всей «Бригаде», включая главного каскадера, который поставит трюки битвы при Бородине и сам появится в паре батальных эпизодов, скача на лошади, и Галкину (или как там зовут этого мужика из «Дальнобойщиков» с посконной красной рожей, который играет во всех сериалах подряд?) и великолепному артисту Певцову, и вообще всей, как говорят, *культурной тусовке*, а главное: все они будут мельтешить в одном сериале, и чтобы на всех посмотреть, нашему зомбированному телезрителю не нужно будет судорожно переключать каналы с одного на другой. И потом: обеспечен подъем патриотизма, повышен престиж людей в погонах, резко подскочит объем продаж романов Толстого, издателям тоже хорошо.

…

Рассказываю сегодня на лекции про барочную ритуальную поэзию, объясняю, когда кто-нибудь умирал, родственники покойного заказывали поэтам большие стихи, их читали во время похоронного обряда; родственники подробно рассказывали поэту обстоятельства смерти покойного, поэт потом все это описывал, находил символические соответствия и проч. Студентка: а что же писал поэт, если человек умирал от пьянства? Растерялся, говорю: не знаю.

…

Удивительно, с какой настойчивостью многие судят о других, полагаясь исключительно на свой опыт.

…

После программы «Жди меня», где сегодня воссоединились очередные любящие, любовь которых прервали на сорок пять лет жестокие жизненные обстоятельства, Денис потребовал сегодня, чтобы я разглядел в нем следы духовности, сентиментальности и прочей эмоциональной жизни. Проблема в том, что я сколько его знаю, никаких проявлений духовности в нем ни разу не замечал. (Может, просто, не туда смотрел?) Плакал он при мне только один раз, радовался тоже нечасто, обычно, когда я дарил ему новую рубашку или галстук, а на симфонических концертах – вообще спит.

10 октября

Шоколад не спасает от осенней меланхолии.

…

Мне в общем-то нравятся мои ноги, и этим я существенно отличаюсь от Кьеркегора, который весьма страдал из-за худобы своих ног.
Думал о почерке и о том, что почерк, как говорят, зеркало души (наподобие глаз?). Если это так, то у Дениса душа корявая, у Данилы прекрасная, а у меня – неразборчивая.

…

Сегодня Денис посмотрел на меня со своих 187 см. сверху вниз и сказал, что в последнее время я стал каким-то маленьким. Я ответил, что немотивированное человеконенавистничество может запросто обратить в ничтожного карлу даже такого возвышенного душой и помыслами человека, как я.

…

Кажется, лучше всего знакомиться с незнакомыми людьми в книжных магазинах; в последнее время книжные магазины кишат симпатичными молодыми людьми; главное – внимательно наблюдать, кто что просматривает, читает и покупает и не заводить знакомств с теми, кто держит в руках учебники по экономике, праву, физике, химии, руководства по работе с компьютерными программами, романы из серии *Спецназ* и т.п., Шопенгауэра и *Секс для чайников*.

15 октября

У репетитора умерла соседка по даче. Пошла на кладбище отмечать годовщину смерти мужа, и умерла прямо на могиле. Репетитора эта история привела в ужасное смятение, говорит, это соседку муж к себе забрал.
А у нас соседка по даче пошла в лес по грибы и тоже не вернулась. Умерла в лесу под сосной от разрыва сердца.

15 октября

Time:02:59 am
«Часто, как сегодня, я прихожу к заключению, что все метафизически кружится вокруг меня; мне кажется, что предметы и люди – все, меня окружающее, – всего лишь иллюзия чувств» (А. Соффичи)

…

«Все начинается, все прекратится. Жизнь на земле лишь эпизод; таким образом, возможно, все сущее лишь случайность, существование между небытием и ничто» (Т. Манн)

Рассказ про то, как я застрял сегодня в лифте

С утра поехал в РГГУ оформлять документы. Сперва ждал час, пока работницы отдела кадров, наконец соблаговолят немного поработать с простыми смертными, потом выяснилось, что им нужны программы читаемых курсов. Пошел копировать программы. На факультете, разумеется, в копировальных аппаратах нет порошка; общеуниверситетский копировальный центр на первом этаже закрыт, обед начался уже в 11 часов. Решил подняться на пятый этаж, в библиотеку. Долго ждал лифта. Лифт приехал. В него напихалось девять человек. Двери лифта закрылись. И только мы утрамбовались, лифт прошумел нам *гргргргргргр* и застрял. Сначала мы пытались открыть двери стандартными методами – понажимали на все кнопки, но все было напрасно. Кнопка вызова лифтера тоже не работала. А лифт не сказать, чтобы очень большой. Полтора метра на два, или даже меньше. И мы в нем вдевятером. Явная преподавательница, типичная лаборантка, пять студенток, все, к счастью, женственные, потому миниатюрные, я и здоровый студент, который занимал, как раз, может, четверть всего пространства, и об которого мне приходилось иногда тереться, от чего я смущался чрезвычайно.
Короче: ситуация как в одном порнографическом фильме: жеребец, извращенец и семь девушек в одном застрявшем лифте. Сперва мы с сильным юношей пытались сломить сопротивление двери, потому что хотелось дышать полной грудью (а некоторым еще и справить малую нужду) и все такое, а в лифте очень быстро стало душно. В порнофильме в этот момент все радостно скинули бы с себя лишние одежды и принялись бы трогать друг друга за детородные органы, а нам было тесно и страшно. Девушки начали доставать свои сотовые телефоны, но работали они не у всех. Преподавательница позвонила на свою кафедру и попросила поскорей позвать лифтера, или еще кого-нибудь, чтобы нас спасти. Потом, чтобы в кабину проник воздух, одна девушка догадалась достать из сумки зонтик и просунула его в щель между дверьми (до этого мы со спортивным

студентом попеременно расширяли нижнюю щель, чтобы шел воздух). Стало чуть свежее. Тут студенткам стали звонить их подруги, и спрашивать, что случилось, а снаружи к лифту подходили люди и интересом рассматривали нас в щель. Одна студентка, из тех, что были снаружи, задорно сказала другой: Маш, смотри, лифт *завис*! достала сотовый и начала обзванивать своих знакомых, сообщая им потрясающую новость про то, что, прикинь, на первом этаже завис лифт. Потом с той стороны к нам стали подходить мерзкие студенты и смеяться басом. Еще подходили сердобольные студентки и спрашивали не нужно ли нам чего-нибудь, и мы посылали их к охранникам и просили передать, чтобы охранники поторопили лифтера. Сердобольные студентки уходили к охранникам и больше не возвращались.

Потом к нам пришел охранник Сергей Иванович с дефектом речи и спросил, сколько нас там в лифте. Мы ответили, что девять. *Н-ну т-т-т-т-т-т-т-ог-г-г-г-г-г-г-г-д-д-д-д-д-да с-с-с-с-с-си-д-д-д-д-д-ит-т-т-е*, злобно сказал охранник и исчез…

К концу первого часа пребывания в лифте у студенток началась истерика, преподавательница нервно крутила ключом от аудитории, я мял неоткопированные бумажки, которые начали пропитываться моим потом и рассказывал студенткам про то, что в РГГУ, если ты застрял в лифте, то тебя сразу же отчисляют, потому что это страшнейшее преступление, страшнее только покурить в неположенном месте. Преподавательница успокаивала их, говорила, чтобы они мне не верили. У красавца беспрерывно звонил телефон и один из его разговоров (Привет, Дим, ага, правда, я сижу в лифте, ага… да… ну давай, целую) заставил меня прижаться к его телу еще сильней, а потом я шепотом попросил его замереть и не шевелиться, потому что когда он двигается, вырабатывается слишком много тепла, и всем сразу становится нечем дышать. Потом у всех начали отключаться телефоны. И беспрерывно рассказывать о нашем горе всему внешнему миру стало невозможно; тогда я рассказал всем застрявшим историю о том, как зимой, пять лет назад, я оказался (в десять часов вечера) запертым в факультетском туалете, как мой одинокий голос разносился по лабиринтам институтских коридоров, и никто не слышал меня, и лишь один преподаватель, который непонятно чем в РГГУ в такое позднее время делал, шел в сторону уборной и услышал меня и выбил своим мощным плечом дверь.

Потом мы начали по очереди садиться на корточки, потому что внизу было больше свежего воздуха, и одна студентка сказала, что просто так она не умрет, что она будет визжать перед смертью, и так громко, что пусть ее даже наш ректор, который, кажется, сейчас живет в Израиле, услышит. Но кричать не понадобилось, вскоре нас освободили, но мучения наши на этом не закончились: охранники заставили выйти нас чуть ли не с руками за головой, построили в ряд, слава богу лицом не к стенке, и отобрали у нас все документы. И стали заносить наши данные в компьютер, а потом заставили написать покаянное заявление, что мы больше не будем ездить в лифте вдевятером, потому что грузоподъемность лифта пять человек, а еще потому, что за последний год в этом лифте уже умерло два человека: один от сердечной недостаточности, а второй – от астмы, и хорошо, что никто из нас не умер.

18 октября

Иногда мне кажется, что по-настоящему можно любить только бесконечно далекого человека. Здесь, правда, меня смущает вот что: что значит *по-настоящему* в мире, где нет ничего настоящего, а, кроме того, как известно, любой человек, даже самый близкий, всегда далек.

…

В среду, когда я прогуливался по берегу реки в предзакатный час, ненадолго выглянуло солнце и осветило низкие свинцовые тучи; потом мгновение серебристо-голубое небо отражалось в окнах четырех новопостроенных высотных домов и тогда эти четыре архитектурных урода казались завораживающим произведением искусства. Воистину, природная красота способна высветить сохранившиеся в китче рудименты прекрасного.

19 октября

С Леной спасался от тоски в кафе. Ел суп. За соседним столиком сидели молодой человек и девушка. Все то время, пока суп готовился, и потом, когда мы его ели, молодой человек рассказывал своей спутнице о своей жизни и о жизни своих друзей, громко и не умолкая ни на секунду. Наконец Лена не выдержала, повернулась к молодому человеку и сказала: не грузите девушку, вы же ей не даете и слова сказать, и она вам потом не даст.

21 октября

Бессонница. Смотрю порно. Переводчик, как *аэд*, рассказывает, что видит. Мужик ебет грудастую бабу на газоне. Потом он поднимает и несет ее на стол. Баба говорит: *Du kannst stecken wochin du willst*! Переводчик: *а теперь давай на столе*!

22 октября

Странно, некоторые люди никогда не ели сырых шампиньонов.

23 октября

Отчитал три лекции с больным горлом, пропал голос и хотелось бы, чтобы он больше никогда не возвращался, но наверняка уже дня через три все снова будет в порядке.

…

У репетитора сегодня поминки по дальней родственнице, которая умерла год назад. Имя и отчество умершей совпадают с именем и отчеством одной из его учениц. Репетитор считает, что это тревожный знак.

24 октября

Сегодня смотрели с бабушкой программу *Народный артист*. Борис Моисеев давал советы начинающим певцам. Одному он посоветовал быть скупым в телодвижениях и жестикуляции, демонстрировать поменьше голубизны. А то, говорит, голубые на экране телевизора всем опостылели, от голубых по телевизору всех просто тошнит, скоро, заключил Борис Моисеев, простые телезрители будут

выкидывать свои телевизоры в окно, чтобы не видеть голубизны, которая прет со всех каналов.

…

В доме нет воды. Ни горячей, ни холодной, ни в батареях.

25 октября

Половину дня простоял у окна, наблюдая под *scherzo* восьмой брукнеровской симфонии, как падает снег и строят дом. Поехал к родителям через *Тушинскую*. На автобусной остановке русый коренастый парень с очень красивым лицом ласково смотрел мне в глаза, распаковывая пачку сигарет. В автобусе напротив меня сидел мужчина средних лет в шерстяных тренировочных брюках с желтыми лампасами, ковырял грязными руками у себя во рту и причмокивал. Я сперва хотел сказать ему, что если ковырять грязными руками во рту – будет стоматит, а потом понял, что этот мужчина умственно отсталый. Когда он вытащил руки изо рта, то стал всем улыбаться, смотрел на нас черными пустыми глазами и радостно смеялся.

26 октября

«Я не слишком ломаю себе голову насчет добра и зла, хотя в среднем нахожу в людях очень много добра. Большинство, согласно моему опыту, – это сволочь, исповедуют ли они вслух то или иное этическое учение или вообще никакое». (З. Фрейд)

…

Клеопатра: Вот этим вот большим крюком железным / Мозги Антония чрез ноздри нужно вынуть / Чтоб сохранилось лучше его тело.
(Lohenstein, D.C. von. Cleopatra. 1661)

27 октября

И без того бестолковый день закончился игрой в снежки и валянием на свежевыпавшем снегу. Как говорится у одного писателя: домой он вернулся грязным, вымокшим, довольным и разрумянившимся.

29 октября

Time:02:57 am
Subject: Смерть м-ме де Сталь

С тех пор, как в школе я написал доклад про *Глюка*, который заканчивался предложением о том, что однажды на лужайке *Глюка* хватил удар, мне нравится рассказывать про смерти великих людей. Конечно, теперь я знаю, что это, в общем-то, особый жанр, вдобавок ко всему снискавший себе популярность. Сегодня читал лекцию про *м-ме де Сталь*, и мне очень хотелось впечатлить студентов красочными описаниями того, как пятидесятилетняя, маленькая и толстенькая баронесса *Сталь-Гольдстейн*, только обручившаяся с молодым офицером *Рокка*, поднимается по лестницам *Лувра* на прием, устроенный *Людовиком XVIII* и тут – бац! – кровоизлияние в мозг, и главная мадам романтической эпохи падает и катится по

лестнице вниз, стукаясь головой о ступеньки, а потом болеет, еле шевелит языком и вскоре умирает. Но потом подумал и не стал ничего рассказывать. Зачем, подумал, пугать детей такими ненужными ужасами? Ну и к литературе это имеет мало отношения. А у каждого студента в жизни еще будет достаточно *своих* смертей.

29 октября

Time03:12 am
Subject: Половые железы или вечная жизнь?

28.10.2003 С помощью изменения генетического материала ученым из Сан-Франциско удалось продлить жизнь экспериментальных животных в шесть раз, сообщает Discovery Channel Canada. Гены Caenorhabditis Elegans были изменены таким образом, чтобы животные не реагировали на гормон роста IGF-1 (инсулиноподобный фактор роста). Кроме того, им удалили половые железы. Половые железы были удалены, потому что в предыдущем эксперименте – когда черви могли размножаться – почти всю свою длинную жизнь они проводили во сне. Однако ученые связывают это не с репродуктивной функцией животных, а с изменениями в их гормональном фоне. Как сообщают исследователи, достигнутые результаты эквивалентны продлению человеческой жизни до 500 лет. Причем, с сохранением двигательной активности.

30 октября

На моем этаже, в соседнем блоке, обнаружился весьма симпатичный сосед. Вчера он сидел на лестнице и курил, читая газету.

Ноябрь

1 ноября

В метро. Я почти дремал, когда в вагон вошел долговязый красавец-блондин в замшевом пальто цвета эспрессо и в коричневых лайковых перчатках. Сразу стало понятно, что в поздневечернем вагоне полным полно педерастов, потому что внимание большей части пассажиров мужского пола сразу же переключилось на этого молодого человека в замшевом пальто. А он, широко раздвинув длинные ноги, вальяжно развалился на скамейке, лениво осмотрелся и закрыл глаза. Иногда он открывал, правда, один глаз и, прищурившись, смотрел на кого-нибудь и улыбался. А мне было удобней всего его разглядывать, потому что он сидел напротив меня. Мне он тоже улыбался. Он был, наверное, весьма доволен тем, что на него, такого видного мужчину, смотрит почти весь вагон.

…

Вся прочитанная мною художественная литература научила меня только одному: *сдаваться*.

…

Очень тоскливо от того, что в последнюю неделю, скорее всего из-за ужасных вспышек на солнце, меня постоянно посещает мысль о том, как неудачна моя

жизнь; с другой стороны у многих в жизни ведь то же самое, или даже хуже, а в Африке, видел сегодня по телевизору, дети вместе с краснозадыми бабуинами, из одной миски, едят какие-то выкопанные грязные корни и даже не знают, кто такой *Гёте*.

…

Сегодня думал о том, что произнесенные слова – это мыльные пузыри, переливающиеся поверхности, которые лопаются сами по себе или соприкасаясь друг с другом.

…

Шел от метро домой и думал о тумане. *Dieser Nebel, dachte ich, kommt weil jede Sekunde Tausenden von Menschen in Moskau die weissen rauschartigen Wolken ausatmen*.

2 ноября

Данила: Когда берешь в рот у умного, то и себя чувствуешь умнее!
Многое стало ясно.

4 ноября

Начались школьные каникулы. Прямо с утра по телевизору на одном канале маньяк мучил женщину-психолога *Сигурни Уивер*, а по другому дядька в маске пилил старшеклассников электропилой и дрелью.
Когда я был маленький, нам в первый день каникул показывали мультфильмы.

…

Бессонница.

6 ноября

Бессонница; рассматривал в бинокль дом напротив, смотрел как двое в единственной неспящей квартире беседовали и курили, курили и беседовали. Потом они выключили свет, и я тоже пошел спать. Выпил две таблетки снотворного. Перед сном думал о шведском теннисисте *Бьорне Борге*, который, когда ушел из тенниса, начал испытывать психологические проблемы, и проблемы с женщинами, а потом выпил 34 таблетки снотворного, но его спасли шведские врачи, и об этом написали все мировые газеты, и даже *Советский спорт*, а *Борг* сказал, что и не думал кончать жизнь самоубийством, а просто очень хотел спать, не спится ему по ночам, потому что у него психологические проблемы и проблемы с женщинами, и ему его бессонница надоела. Потом *Бьорн Борг* решил вернуться в большой теннис, играл деревянной ракеткой, когда все уже играли графитовыми, и все время проигрывал, и тогда он решил уйти из тенниса и стал выпускать скандинавское нижнее белье белого и черного цвета.
И вот когда я подумал о нижнем белье, я наконец заснул…

…

Днем ездили с Денисом ко мне на дачу, где дедушка разводит кроликов. Денис смотрел на кроликов, а я деловито размышлял о том, что когда много кроликов –

это хорошо, кролики быстро растут и плодятся, можно будет их постепенно есть, а из шкурок выйдет целая шубка, шапочка, а, возможно, даже, и две шапочки.

…

«В то время Эрик жил на улице Монтань Сен-Женевьев и ему пришлось, расставшись с Ивом, под проливным дождем взбираться в гору; вода капала с кончика носа и ресниц, стекала за ушами и по спине, проникая даже в карман теплой куртки, куда он неосмотрительно положил сигареты. Эрик чувствовал, как они распадаются в темноте грязного сырого кармана – его мокрая скользкая рука не могла уберечь их от гибели.» (*Дж. Болдуин*. Другая страна)

7 ноября

Вчера, собираясь на дачу, надеваю пальто. *Денис*: в этом пальто ты похож не только что освободившегося *зека*.
Чтобы не походить на *зека*, наматываю вокруг шеи красный шарф. *Денис*: немедленно размотай, а то теперь похож на голубого.

8 ноября

Всю неделю мучительная бессонница.

9 ноября

Посмотрел последнюю часть *Матрицы*. Даже и не знаю, что теперь скажет *Жижек.*

10 ноября

Ужинал сегодня у проф. Павловой. Она рассказывала про архив *Ницше* в *Веймаре*. Когда она в нем жила, по ночам было очень страшно из-за призрака. Он ходит по этажам, стучится в комнаты, бубнит *Дионисийские дифирамбы* и хохочет. Самое страшное, говорит, жить над комнатой, в которой *Ницше* умер, там однажды один американский профессор чуть с ума не сошел. Проф. Павлова рассказывала это все красочно и всерьез.

11 ноября

Читал сегодня про дендизм и *Бодлера*. Великолепная подробность: *Бодлер* старил свои костюмы битым стеклом.

…

Данила: Всякое выяснение отношений с тобой ничем не заканчивается. Сколько помню тебя, ты всегда был таким.

…

За пять минут до лекции мне позвонил Денис и сообщил страшную новость: вчера поздно вечером он брил пах и случайно чуть не оттяпал себе опасной бритвой мошонку, порезался, и кровь текла. Я был невыспавшийся, и мне было смешно, потому как у Дениса был очень трагический голос; на лекции я время от времени выбегал в коридор и начинал громко смеяться.

16 ноября

Весь день читал *Георге* – «Ковер жизни и песни о грёзе и смерти с прологом». В первом же стихотворении поэту является обнаженный ангел с перстами, нежными, словно цветки миндаля и ожерельем из роз на шее, а с его волос падают на землю лилии и мимозы. Ну как перед такой красотой поэту было устоять?!

17 ноября

Чем более человек убог (чем более убогим себя ощущает), тем охотней он воображает, что мир вращается исключительно вокруг него.

19 ноября

Вчера целый день проработал в частной библиотеке, и потом добирался к родителям сложным путем от *Университета* до *Строгино* через *Кунцево*. Мне нравится ездить по вечернему городу в автобусе. Особенно поздней осенью. Зимой. Лучше – поздним вечером, когда в автобусе никого нет. На улице холодно, пронизывающий до костей ветер, а в автобусе тепло. Проезжаешь места, где никогда в жизни не был. Я полюбил автобусы, когда жил в Германии. Иногда мне было очень тоскливо, я садился в автобус, и катался из конца в конец, между городами, иногда целый день. Из Бохума в Эссен. Потом – на окраины Дюссельдорфа. Их Бохума в Веттер. А там – большое озеро, узкие улицы, и чаще, чем в Бохуме выпадает снег, потому что город выше в Рурских горах. Из Бохума в Зиген, где особенный воздух, всегда холодно и причудливый городской ландшафт, бесконечные подъемы и спуски. Вуппсрталь – а там – другое развлечение: подвесной трамвай, едешь, покачиваясь, от станции к станции, заглядывая в она домов. Из Кёльна в Бонн. Или по Кёльну, вдоль Рейна. Холод был непременной составляющей этих поездок. А вчера видел из окна автобуса великолепное зрелище: огромные недостроенные дома недалеко от Поклонной горы, словно гигантские темно-серые фаллосы, прорывающие рыхлую плоть тумана. А потом, на остановке, внезапный холод и удивительная прозрачность воздуха.

22 ноября

Бессонница.

23 ноября

Сегодня повторилась вчерашняя история: поспал немного и проснулся. Снилось, что я придумал идею телевизионного шоу, работаю главным редактором в творческой группе слезовыжимательной полудокументальной программы про молодых гениев, карьеры которых загубили тяжелые душевные расстройства. Пилотная программа была посвящена несуществующему архитектору, который проектировал небоскребы. Писал монологи для ведущей, обзванивал родственников сумасшедшего, подбирал фотографии в семейном архиве и проч. документальные материалы. Очень обстоятельный сон.

24 ноября

Видели на Кутузовском жуткую аварию. Искореженные машины, отвалившиеся колеса и оторванные части тела в лужах крови.

25 ноября

Ужасные полчаса в метро. Начиная с *Октябрьского поля* напротив меня сидел уставший и очень *smart* малый с умным лицом, я читал *Большие города и душевную жизнь* и даже боялся оторвать от книги глаза, потому что тогда моментально посмотрел бы на него и покраснел бы; но потом статья закончилась, и тогда я стал разглядывать его вельветовые брюки и ботинки, и потом рассматривал его в отражении, потому что я не могу смотреть на людей, которые мне нравятся, прямым взглядом. Потом я заметил, что он закрыл глаза, и решился на него посмотреть. Начал его изучать, увлекся, а потом понял, что он не закрыл глаза, а просто прищурился, чтобы понаблюдать за тем, что я буду делать, он заметил, что мне не по себе; мне стало стыдно, я покраснел, снова опустил глаза, опять начал рассматривать его ботинки, свои руки. А потом рядом с ним освободилось место, и я хотел подсесть к нему и познакомиться, но не смог. Вышел из метро и разозлился на себя, и у меня, наверное, даже поднялась температура, так он мне понравился. Пошел домой от метро пешком, и по дороге чуть было не разбил автобусную остановку от злости и бессилия. На мне была розовая рубашка и зеленый свитер, и их было видно из-под пальто.

…

В пединституте начал отличать одну студентку от другой. Правда не по лицам, а по типажам. Типажи из года в год не меняются: студентка-отличница-с-бледным-лицом, студентка-с-крутым-сотовым-телефоном, угрюмая-студентка-стерва, веселая-студентка-на-задней-парте.

…

«Маркиз де Кюстин был человеком глубоко ущербным, к тому же он был гомосексуалистом, что не способствовало социальной адаптации. И Кюстин, и Готье писали, что в уличной толпе непропорционально мало женщин, народные мужские лица отмечены правильной классической красотой (если бы это нашел один Кюстин, можно было бы усмехнуться, но Теофилю Готье поверим)». Автор статьи, наверное, упивается своим остроумием.

26 ноября

Путь того, кто боится дойти до цели, легко принимает форму лабиринта. (*Беньямин*?)

27 ноября

Когда каждый вечер в одно и то же время едешь в метро, и каждый раз в одном и том же вагоне, начинаешь встречать одних и тех же людей. Я, например, часто вижу одного тощего бородатого сумасшедшего в грязных кедах, черной курточке и желтой тенниске. Сегодня он зашел в вагон, нервно освобождая от фольги плавленый сырок, потом он уставился на меня своими бездонными черными глазами и сообщил, что *жизнь – хуйня*. Потом он откусил сырок, покачал головой, положил его рядом со мной, сказал, что сырок должен размягчиться, и стремительно бросился из вагона прочь. Состав долго простоял на *Щукинской*, и на платформе, тем временем, разворачивались любопытные события. И вот

какие. Сидя рядом с сырком, я наблюдал за тем, как один *hunk* в коричневой кожаной куртке правой рукой забивал в свой телефон номер молодого человека, которого он несмело обнимал левой рукой за талию; обнимаемый краснел и смущался, и что-то говорил, несмело улыбаясь, потом освободился из объятий, и стыдливо опустив голову пошел к выходу; а *hunk* выглядел очень довольным и возбужденно описывал круги по платформе. И я подумал, что в общем-то с любым красивым человеком легко поделиться своим телефонным номером. С другой стороны, может, оказалось, что у них одна девушка на двоих, и им нужно договариваться, когда и кто с ней будет встречаться первым. И потом красивый человек, с которым ты познакомишься в метро, всегда может оказаться злодеем или маньяком. Великая литература учит: видимость обманчива.

Декабрь

1 декабря

Студенты пишут о романе Гофмана «Эликсиры Сатаны».
«Первая часть романа насыщена яркими событиями (убийство Гермогена, убийство Евфимии, видениями Медарда). Медард проходит путь самопознания личности через расслоение натуры, а зло проникло во всю современную сущностью. Для романа характерны ретроскачки. Автор не поясняет ранение, которое Леонардо нанес ножом Аврелии. Когда он увидел обнаженную девушку, в нем уже проснулось нехорошее (второе) начало».

3 декабря

Готовился к собеседованию в швейцарском посольстве. Рано встал. Побрился. Погладил рубашку. Пытался заучить имена и названия ныне живущих швейцарских писателей. Выучил. Поехал. Оказалось не так страшно, как я себе представлял. Собеседование плавно перетекло в обед в посольской столовой.

4 декабря

Когда вчера ехал домой, видел в троллейбусе совершенно замечательного коренастого юношу-блондина в короткой джинсовой куртке на искусственном меху; куртка была расстегнута и под ней – голубая рубашка с принтом облаков; два серебряных кольца на указательном пальце и на мизинце левой руки, и золотой браслет на запястье правой, расклешенные джинсы; физиономия, конечно, обыденная, но мускулистый юношеский *Körper* заставил мое сердце биться сильней, стимулировал слюноотделение и непроизвольное дрожание ног. (Кто-нибудь скажет: да у него каждый день в общественном транспорте учащенное слюноотделение, на что я отвечу: на да, зато непроизвольное дрожание ног бывает только раз в неделю). Ну вот, я сидел, глотал слюни, а он стоял в 20 см. от меня. Когда на остановке *Люблинский рынок* в троллейбус хлынул поток пенсионерок с большими сумками, который запросто мог оттеснить от меня красавца в голубом, я решил уступить одной из рядом стоявших пенсионерок место, встать рядом с молодцем и даже приготовился уже задать волновавший меня вопрос, не холодно ли ему, вот так, в одной джинсовой

куртке и летней рубашке, на улице-то мороз; но старушка властно сказала: сидите, молодой человек, мне сейчас выходить, а юноша тем временем начал разговаривать с кем-то по *hands-free*.

…

Приезжала Ира. Рассказывала о бывшей жене своего нынешнего бойфренда. Бывшая жена увлеклась астрологией, и постоянно звонит своему бывшему мужу, чтобы сообщить ему, как расположились в его гороскопе звезды и планеты. Каждый раз звездные констелляции особенно благоприятствуют тому, чтобы дать бывшей жене как можно больше денег.

…

Новалис: Мы живем в огромном романе.

8 декабря

Сегодня с утра была замечательная погода: когда по небу бегут облака, и белые облака мешаются с темно-серыми, и между ними проступает голубое, а иногда начинает сыпать снег. В такую погоду хорошо валяться в кровати на даче и смотреть в окно, или гулять утром, когда только начинает светать по центру, по набережным Яузы или где-нибудь в районе Новокузнецкой. Смотреть, как белый дым из труб повисает в холодном воздухе.

…

namen gelten nur da wo sie als huldigung oder gabe verwiegen sollen und selten sind sosehr wie in diesem buch ich und du die selbe seele

…

Понял, что многое в жизни становится понятным только в какие-то определенные моменты; проясняется, и тут же снова становится непонятным.

9 декабря

Сегодня сидел со своим научным руководителем в каминном зале ИМЛИ. Камин там очень красивый, правда, кажется, нефункциональный со времени прихода большевиков к власти; как известно, пролетарским писателям и филологам, за исключением Горького, камины были не нужны. Научный руководитель задушевно рассказывал мне, как нужно жить. Главное: не работать помногу, потому что, вот, один литературовед был трудоголиком, спал по два часа в сутки и умер, не дожив до пятидесяти, еще он много курил, не курил бы, может, прожил бы подольше; а у другого великого литературоведа, с которым мой научный руководитель, между прочим, учился, были следы жесткого диатеза на лице; диатез – это ведь было типично для послевоенных детей, которым не хватало витаминов и хорошего питания. Все сокурсники моего научного руководителя, на лицах которых были следы жестокого диатеза, уже *ушли*. И великий литературовед тоже, он тоже был трудоголиком и мало спал. А перед сном надо чаще и больше гулять, ходить, например, вокруг дома, а если не гулять и не ходить вокруг дома, то пить феназепам, феназепам – лучший друг литературоведа, который хочет прожить долго; научный руководитель гуляет и пьет феназепам.

…

В выходные читал *Алевина*, «Das grosse Welttheater». Барочные люди были склонны к различного рода перевоплощениям и играм из-за страха. Страха перед пустотой. С тех пор, конечно, мало что изменилось, ведь если подумать, то 400 лет не такой уж и большой срок; но страхи множатся день ото дня, а, значит, быть собой, наверное, все трудней, ну и современная техника, разумеется, поощряет и упрощает возможность *не-быть-собой*; об этом, впрочем, говорили миллионы раз.

…

К выборам президента в нашем доме решили сделать ремонт; дом покрасят снаружи в оранжевый цвет, чтобы людям было веселее, и внутри зеленым. Красят дешевой ядовитой краской, у меня болит голова от ее запаха и аллергия, а откроешь окно – там тарахтят и дымят черным дымом строительные машины.

10 декабря

Мне очень нравятся каменные львы на крыльце бельгийского посольства, большие, спокойные, с большими лапами. И деревянный дом напротив – в нем жил поэт Некрасов. Когда я сегодня шел мимо этого дома, подумал, что если сосулька срывается с крыши и пробивает человеку голову насмерть, то в такой смерти много фрейдистского. Много фрейдизма и в смерти под поездом. Неслучайно Анна Каренина, как жертва патриархальных устоев российского общества XIX в., бросилась под поезд.

…

Декаданс дружбы с Денисом.

11 декабря

Time:02:41 pm
Бессонница.

Теперь хожу по квартире в пижаме, потому что не знаю, что делать, то ли снова лечь спать, то ли сесть за работу, то ли спуститься за завтраком в магазин.
То ли снова лечь спать.

13 декабря

Сегодня со мной в метро пытался познакомиться парень; но у него в руке была бутылка пива, а пиво в общественных местах, как известно, вызывает у меня *Ablehnung*. Сперва он пялился в мою немецкую книжку, а там на каждой странице сверху подписано, что она про гомосексуалистов, наверное, чтобы исследователи не забыли, про что они читают, а потом он стал у меня спрашивать, как проехать к *Речному вокзалу*, ага, когда мы уже в проехали *Таганскую* и подъезжали к *Волгоградскому проспекту*. Я загадочно поулыбался, сказал, что это совсем в другой стороне, и вскоре распрощался и вышел.

…

«Черный дневник» *Роджера Кейсмента*, борца за независимую Ирландию. В 1903 г. у него было 40 половых контактов, а в 1911 уже 340.

«XXX o! o! o! кончил быстро. Чудеснейшие *testeminhos*. Нежные, как шёлк. Большие и сочные. Очень хороший. Большой, длинный, толстый, очень хотел, насладился мною сполна. Встал в 5 утра. Принял душ & Агостино, а потом еще раз, снова и снова, он очень внимательный. Он сделал это со мной три раза, а потом три раза я был с двумя матросами – значит, за ночь, получается, шесть раз».

…

Мне по душе простой парень из деревни, с членами, налитыми молодецкой силой.
Мне не нравятся бледные и жеманные городские «королевичи»;
По душе мне стройный всадник на мощном скакуне или охотник,
Или матрос на палубе корабля. Но больше всего мне нравятся
Солдаты, юные воины, которые служат нашей отчизне;
Стройный ли это гвардеец с голубыми глазами в своем красивом мундире с блестящими пуговицами,
Или светловолосый гусар, с пушком над губой,
Который мужественными шагами, звеня шпорами, приближается ко мне.
Он еще не знает, как он прекрасен, и какой сильной властью обладает взгляд его ясных очей.
(К.-Г. Ульрих, прусский поэт, 1865)

15 декабря

Когда сегодня в вагоне симпатичный и, кстати, совсем не пидорского вида сосед слева обнял своего товарища и они стали прилюдно целоваться, а их третий спутник, тоже выглядящий абсолютно *straight*, дабы не мешать интимному моменту, отвернулся и стал пристально рассматривать присутствующих в вагоне мужчин, включая меня, я, от неожиданности, выронил карандаш, которым делал пометки в книге, поднял его, посмотрел на них еще раз и понял, что все это мне не снится.
Куда катится мир?

18 декабря

Нравится носить обручальное кольцо второго мужа моей бабушки, красавца, мясника. Муж был моложе бабушки на много лет, и после нескольких лет совместной жизни, был *weggeschickt*. Они, кажется, потом еще раз жили вместе, но больше не расписывались. А кольцо бабушка забрала. А я ношу его потому что у студенток начался предэкзаменационный гон и сиськотрясения; будущие преподавательницы литературы начали предлагать интимные свидания в обмен на зачет. Не сессия, а, так сказать, обсессия.

19 декабря

Ни одно окно в доме напротив уже не горит, по крайней мере с той стороны, которая смотрит на наш дом. У меня снова бессонница, очень устал от книг, в голову лезут дурные мысли, наверное, от того, что сейчас *Gesterstunde*.

…

«How can we know the dancer from the dance?»

20 декабря

Пока пил в аптеке кислородный коктейль, рассматривал витрины с медикаментами. Видел крем для рук и тела «Конопляный», а рядом – *Волшебный йод Павла Флоренского*.

23 декабря

Алекс пишет из Лондона, спрашивает, заметил ли я, что дни стали длинней.

…

Ходил вчера в Консерваторию, слушал третью симфонию *Малера*. На концерте – люди, которые раз в месяц, или реже, ходят слушать музыку по абонементу. Интересно, испытывают ли они своего рода радость, когда видят на концерте знакомые лица, испытывают ли незнакомые люди, которые раз в месяц встречаются на концертах, привязанность друг к другу? Ведь все так быстро меняется, на улице лица людей новые каждое мгновение, а тут вдруг все знакомые, вернее, конечно, незнакомые, но те, кого наверняка снова увидишь через месяц. Можно ли влюбиться в соседа по креслу, которого видишь на каждом концерте? Рядом со мной всегда сидит женщина, напоминает *Эрику* у *Елинек*, во время коды в финале второй части она начала учащенно дышать.

…

Еще ходил в кино. На заднем ряду заметил смазливого юношу, после фильма он потягивался и я рассматривал его ненароком оголившийся красивый живот.

24 декабря

Объявление у входа в издательский центр РАН: «В последнее время в городе осложнилась пожароопасная обстановка с проникновением посторонних лиц в здание, что привело к аварийным ситуациям и хищениям».

…

Писали сегодня со студентками пединститута тест. Заставил их положить сумки у входа и рассадил в особом порядке, чтобы они не могли списать друг у друга. Получив опросные листы одни студентки побледнели, стали теребить свои очки и мочки ушей, поеживаться и кутаться в пашмины, а другие смеялись, но уже не задорно, как на перемене, а нервно. Потом некоторые студентки, но не все, сообразили, что надо делать. Они стягивали с себя свитера и оставались в обтягивающий майках, с голым пупком, а майки все нежно-розового цвета, надписи *Love*, сердечки и блестки. Потом начались сиськотрясения, выходы в туалет, пройти надо как можно ближе к столу преподавателя. Я сидел с надменным видом, словно *Манфред* в замке на вершине горы, окруженной грозовыми облаками, и зловеще улыбался.

26 декабря

Ехал домой. На *Октябрьском поле* в вагон зашел *яппи*, в дорогом кашемировом пальто, пальто расстегнуто. Голубая рубашка, галстук. Сел рядом со мной, просматривал какие-то бумаги, доставал их из черной кожаной папки. А я читал

Георге. Сначала подсчитывал шипящие в одном стихотворении, а потом мне стало грустно, и я (с печально-просветленной миной на лице) стал перечитывать свои любимые стихотворения, которые я всегда читаю, когда мне плохо или грустно. Сначала *Traumdunkel*, потом *Ночь* в «Седьмом кольце», а потом *песни*. Когда я их читаю, я почти всегда плачу.

И тут я заметил боковым зрением, что бумаги уже давно убраны, а *яппи* читает Георге вместе со мной, и лицо у него серьезное и тоже печальное. Потом он спросил низком голосом, что это я такое читаю, я быстро перевернул книжку и показал ему обложку. *Stefan George. Werke I.* Он пробормотал: сильно, сильно. Мы еще немного посидели молча, а потом он поднялся и пошел к выходу. И потом он стоял у открытой двери, и смотрел на меня. Я оторвался от стихов и тоже смотрел на человека, которому понравился *Георге,* и улыбался ему.

29 декабря

Боюсь внезапно умереть на улице, не имея при себе документов, и, например, в грязной одежде. В рубашке с грязным к концу рабочего дня воротником. В нечищеных ботинках. В несвежем исподнем. Кажется, одержимость гигиеной и страх смерти появились на Западе приблизительно в одно время. Я где-то даже читал, что существует связь между тем и другим и капитализмом.

31 декабря

Утром ездил к Даниле. Посмотрел на роскошную сосну, которая стоит в комнате его тетки.

2 января 2004 года.

В канун Нового года бабушка, охая, рассказала о том, какая страшная судьба постигла одну ее бывшую соседку. Эта соседка больше других и в любую погоду сидела на скамейке у подъезда, смотрела кто в него входит, и кто выходит, и когда, и какие подъезжают машины, и поэтому была в курсе всего, что происходит в доме; и бабушка, бывшая управдом, ей звонила, и тоже все знала, даже уже живя на другом конце города. За четыре дня до праздника бабушка решила ей позвонить, поздравить с праздником, и заодно разузнать все новости за последнее время. Не дозвонившись, бабушка набрала номер другой своей бывшей подруги-соседки, которая тоже, в принципе, знает все, что происходит в доме, но не совсем все, потому что она круглый год занимается консервированием и вязанием и у подъезда сидит реже, в основном весной, когда консервировать почти нечего, или осенью, когда ей очень нужны пустые стеклянные банки, про которые она спрашивает у всех проходящих мимо жильцов. И вот бабушка позвонила этой другой подруге, и та ее ошарашила, сказав, что *всезнающая* соседка умерла, и сперва ее тело пролежало в пустой и пыльной квартире две недели, а потом еще две недели в морге, и даже начало разлагаться, потому что сыновья соседки, алкоголики, не сразу догадались, что их мать умерла, а только тогда, когда приехали к ней за деньгами на водку; они обнаружили разлагающееся зловонное тело, сдали его в морг, а денег на похороны у них не было. А потом они нашли деньги, и соседку сожгли.

Не сожгли, а кремировали, сказала моя мать.
Ну какая разница, парировала бабушка, мораль истории от этого не меняется.
Ну а я подумал: а у этой истории имеется мораль?

…

Когда я ранним утром первого января возвращался домой от друзей и зашел в магазин, то там весь персонал возбужденно обсуждал праздничное происшествие: за полчаса до Нового года на стоянке у магазина зарезали человека, правда не насмерть, а почти что насмерть. Охранник был возбужденным, а, может просто пьяным, попивая шампанское из бутылки, он советовал покупателям пойти посмотреть на лужи крови на стоянке перед магазином. Я, как покупатель, пошел и посмотрел.

…

В молодые годы меня очень занимали тоскливые ландшафты немецких шахтерских городов.

6 января

В приступе человеколюбия соорудил кормушку для птиц, наполнил ее овсяными хлопьями, гречкой и пшеном и повесил ее на балконе и утром почти час наблюдал за жизнью животных. Исключительное удовольствие. У них почти все как у людей. Прилетал даже снегирь, настоящий, с розовым брюшком.

…

Потом обедали с матерью. За обедом она рассказала мне о том, что в новогоднюю ночь у одной ее подруги умерла любимая болонка, долгие годы страдавшая диабетом; я подумал о стихотворении *Цветаевой* на смерть *Рильке*.

12 января

Покупали с Денисом учебники для его сессии. В книжном магазине принес показать ему вышедшую недавно книгу со своим предисловием. Он повертел ее в руках, посмотрел на название, на цену и пробурчал: а у нас разве есть такая в списке?

…

Был в РГБ. Там ничего не изменилось. Мне все время кажется, что это очень темное место, я почему-то уверен, что там, в грязных туалетах, младшие научные сотрудники, бедные студенты, книжные крысы и прочая интеллигенция в растянутых свитерах, пахнущих потом, кошачьей мочой и табаком тайно предается сексуальным утехам. Они оставляют на зеленом сукне столов в огромном читальном зале свои мудреные книги со схемами и чертежами, бродят между каталогов, выискивая друг друга, условными знаками и полунамеками договариваются о встрече, а затем, обуреваемые похотью, неслышными шагами спускаются вниз по натертым до блеска деревянным лестницам, запираются по двое в кабинках, или, если им не получается никого найти, онанируют в одиночестве, возбужденные флюидами знаний, разлитыми в воздухе главной библиотеки страны.

…

«Никогда человек не делается так способен к принятию истины, как в грустном, страдательном расположении духа. Тут в грусти отзывается вечность, закованная

в конечное, в грусти – самое высокое проявление божественности человека. Но грусть должна быть сознательная, и тогда она превратится в блаженство. Она только для того страшна, кто не жил духовно, кто не знаком еще с небом. Кто не страдал, тот не может истинно любить, потому что страдание есть освобождение человека от внешних ожиданий, от привязанности своей к инстинктивным, бессознательным наслаждениям. Итак, кто не страдал, тот не свободен, а без свободы нет любви, а без любви нет счастья, блаженства.»
(*М. Бакунин*, лето 1836 г.)

14 января

В фотоателье. Зашла старушка и стала рассказывать приемщице о своих проблемах. Потом сказала: сейчас я соберу маму и мы придем к вам, только вы скажите фотографу, что моей маме 92 года и на фотографиях, когда мы в последний раз фотографировались, она не поймешь на кого похожа, то ли мужик, то ли баба, а она хочет быть похожа на женщину, ну это ничего, моя тетя (она трагически погибла) четыре раза перефотографировалась на паспорт – каждый раз фотографии были все хуже и хуже; наверное, перед смертью начинаешь плохо выглядеть.

15 января

«В этой книге хотела бы я записать все тайные мысли, приходящие ко мне в безмолвные часы ночи, описать движение духа, созревающего в любви, словно под лучами полуденного солнца.
Хочу найти истину, а в ней присутствие возлюбленного; прежде я заблуждалась, думая, что он от меня далеко.
Любовь – это внутреннее пребывание в другом: я неразлучна с тобой, если правда то, что я тебя люблю.
Смотрю на волны, бьющиеся о берег, на спелые нивы, отражающиеся в реке, на нарождающийся день, на прозрачный туман, на дальние вершины, зажженные лучами восходящего солнца – и подобно пчеле, собирающей мед свежих цветов долины – взор мой везде находит себе любовь и носит ее тайно, и хранит ее в сердце, как пчела хранит свой мед.
Так думала я сегодня утром, ходя по берегу Рейна, и возбужденная этой бесконечной жизнью природы, ждала тихого вечера, потому что вечером тайный голос скажет мне: «Друг здесь» – и я высыплю перед ним, словно цветы, все дневные впечатления; я лягу на землю, и стану обнимать ее, эту прекрасную землю, носящую моего возлюбленного, и меня вместе с ним.»

17 января

На улице чудесная погода и деревья стоят, обсыпанные снегом. Пошел пешком до моста через парк. Меня всего засыпало снегом, и я думал об одном герое у *Хорвата*, которого тоже засыпало снегом, он замерз и умер; а Хорвата во время грозы на Елисейских полях в Париже убила большая ветка, оторвавшаяся от дерева.

18 января

У дальних знакомых моей матери погиб сын, старшеклассник, победитель олимпиад по химии и физике, спортсмен. Катался на лыжах по льда *между Троице-Лыково* и

Серебряным бором, и провалился. Мать рассказывает, когда юношу вытащили из воды, у него были открыты глаза.

Веймар

28 января

Живу один в большом архиве Ницше. В первую ночь слышал странные стуки, доносившиеся из мемориальной *Strebezimmer*. Думал: призрак неистово стучит на печатной машинке. Оказалось – громко работает газовый счетчик.

…

На заднем дворе дома три могилы.

…

Для того, чтобы вечером попасть в дом, мне приходится ждать, пока мимо проедет машина и посветит мне фарами. А иначе не видно, куда в калитке вставлять ключ. Такая темнота в округе.

29 января

Показывал сегодня немецким школьницам, на которых наткнулся, выходя из университетской столовой, садовый домик *Гёте*. Рассказывал им про парк. Сами немецкие школьницы, как выяснилось, про своего главного писателя мало что знают.

30 января

Когда вчера возвращался домой через кладбище (а уже были сумерки) подумал: мне так хорошо, так покойно, возможно так хорошо мне уже никогда не будет; и все в природе было тихо. И я подумал: не лучше ли умереть прямо сейчас?

Февраль

2 февраля

Вчера я ходил к могиле госпожи фон Штайн, почтить благородную возлюбленную Гёте. На кладбище я посмотрел вверх, на серо-золотое небо и на безлиственные ветви высоких платанов. Там, наверху, на тонких, почти невидимых ветках сидели вороны, похожие на высушенные черные ягоды, черные гроздья кричащих птиц. Тонкий снежный покров истаял за ночь, обнажив плодородную кладбищенскую землю. Я думал: черви едят под землей покойников, вороны клюют червей, мертвые, значит продолжают жить в этих воронах; вороны сидят на ветвях высоких платанов, или кружат в небе, и так даже грешники приближаются к далеким небесам.

…

Сегодня я был в парке. Когда я подошел к *Погвиш-хаусу*, мое сердце сжалось, будто бы в него вонзились шипы; с воодушевлением, с надеждой, смотрел я в окна, но они были темны и пусты. Пустой дом – покинутые окна – тоскливая

природа – пустое сердце. (*Что* хотел я увидеть?) Между тем, взошла луна – неправильная жемчужина, на вечности выложенная на блеклый голубой бархат холодного вечернего неба.

…

Вчера утром, в 10:30 меня разбудили настойчивые звонки в калитку. Выглядываю в окно: за садовой оградой стоят молодые люди с огромными рюкзаками за спинами, впереди выступает круглолицый дедушка в шляпе и очках. Это были паломники к *Ницше*. В пижаме пошел к ним. Мы хотим, сказал дедушка, увидеть комнату, в которой умер великий философ. Зимой комната, сказал я, а тем более так рано утром, а тем более в понедельник, закрыта, и ключей от нее у меня нет, но я могу показать вам столовую для стипендиатов, три туалета и кладовку. «Ах, как жаль!» – печально воскликнул дедушка.

5 февраля

В *Веймаре* много старых красиво разрушающихся домов.

8 февраля

Я писал текст доклада и иногда смотрел в окно, письменный стол стоит у окна; на улице бушевал ветер и гнул деревья.

9 февраля

Когда я иду на работу, я прохожу цветочный магазин, в витрине которого выставлены орхидеи, а потом прачечную, и ювелирные магазины, и кладбище с его воронами.

10 февраля

В первый раз в жизни задумался над тем, чем секс с русским отличается от секса с иностранцем.

18 февраля

Sehnsucht проникает в кровь вместе с местных воздухом.

…

Мать нашла 200 DM и прислала мне их в Германию вместе с открыткой. Поэтому я сегодня поехал в Эрфурт. Причем не в Эрфурт главной улицы, с магазинами в сотни раз лучше, чем в Веймаре, а в Эрфурт одноэтажных окраин и стерильных пространств. Там находится филиал Бундесбанка.

И вот я пошел по длинным улицам, потому что если бы я ждал трамвая, то я бы не успел обменять марки до закрытия банка, и смотрел по сторонам: прошел студенческое Schwulen-Wohngemeinschaft, над которым развевался огромный семицветный флаг, а потом сразу же – стадион; спортсмены местной хоккейной команды, почти все уже в шортах, бегали по парку, а тренер покрикивал на них и сторожил баулы с обмундированием, сложенные под деревом, и потом я проходил старые дома с витражными стеклами, и меня не покидало ощущение, что все вокруг – heimisch. И люди, и деревья, и утки под мостом через Ильм, и дома.

Потом я пришел к банку. Вокруг ни одного человека. Банк стоит на пустыре. Невидимые охранники впустили меня внутрь. Огромный стеклобетонный куб. Внутри – аромат кофе и свежевыпеченных булок смешивается с запахом стерильности. На стенах – новейшее искусство. Высокие потолки. Никого. Потом охранник вынес мне два конверта, голубой и серый и ручку. И исчез за невидимой дверью. В один конверт вкладываешь деньги, во второй – заявку на обмен. Вкладываешь один конверт в другой, запечатываешь, опускаешь в стальной ящик у выхода.
Там, где деньги, человек не нужен.

20 февраля

Романтические эксперименты с электричеством: Август *Шлегель* вставлял себе *катод* в задницу, а *анод* брал в рот, и так наэлектризовывался.

21 февраля

Вечерами холодно, и местные жители топят печи, или зажигают огонь в каминах. И когда гуляешь по темному городу, слышится сильный запах дыма, причем у каждого дома дым имеет свой, особенный запах.

24 февраля

«Ответное слово взял сам Евгений Кафельников, Марат Сафин, как только мог, отвлекал его (втихаря дергая за брюки). Господин Кафельников отвлекался, краснел, но продолжал говорить о разнице между друзьями и приятелями.»

Март

18 марта

В половине первого возвращался домой. В пристадионном парке, у дерева, стоял парень и справлял малую нужду. Было темно, и поэтому его хуй я не смог разглядеть.

19 марта

Атональная музыка исключительно красива, но заниматься под нее сексом совершенно невозможно. Все время отвлекаешься на нюансы.

…

В *Веймаре*. Вечер. *Fürstengruft*. Туристы в молчаливом почитании ходят туда-сюда, разглядывают гробы. Вдруг в склеп врывается шумная экскурсия немецких школьников. В первых рядах дебильный мальчик. Увидев на одном из первых гробов надпить *GOETHE*, он замирает, его глаза расширяются, он тычет в гроб пальцем и испуганно-брезгливо орет на весь склеп: Ist *ER* wirklich drin????!!!!!

20 марта

Решали с Денисом задачи по уголовному праву. Задачи такие:

«Грызлов нанес на почве ревности удар в область бедра Рыжкову. Ударом была перерезана артерия. Вследствие чего наступила большая потеря крови. Через час Рыжков от полученного ранения и большой потери крови скончался. Укажите форму и вид вины Грызлова относительно содеянного».

«Р., не имеющий детей, знал, что он является единственным наследником своей жены, больной шизофренией. Желая ускорить получение наследства, Р. в течение 10 дней вел с женой разговоры о самоубийстве, после чего она, наконец, повесилась. Дайте уголовно-правовую оценку действий Р.»

«К. вступил в половую связь с 17-тилетней студенткой А., обещав жениться на ней. Через месяц после этого К. заподозрил, что А. беременна. Чтобы избавиться от нее, К. пригласил А. в недельный туристический поход по таежным местам и скрылся, когда завел студентку в заболоченные труднопроходимые места вдали от населенных пунктов (оставив ее одну, без пищи, спального мешка и палатки). Через 3 дня А., блуждая по лесу, вышла к дому лесозаготовителей, что и спасло ее. Дайте уголовно-правовую оценку действий К.»

21 марта

Когда неделю назад я уезжал из *Веймара*, со мной случились различные замечательные вещи: сначала я шел забирать свои бумаги из кабинета, где работал, и увидел на крыше трубочиста, а на обратном пути трубочист уже шел по улице. Потом мой поезд опоздал на сорок минут, а на пути во *Франкфурт* мы стояли еще полчаса, потому что поезд переехал зайца и после этого отказал бортовой компьютер.
В аэропорт я примчался за двадцать минут до вылета.

22 марта

Некоторые люди – как дорогие вещи, очень хочется ими владеть, но непонятно зачем; в душе понимаешь, что лично для тебя они совершенно бесполезны, они тебе не нужны.

24 марта

Фихте учит: «Жизнь состоит из любви, и вся форма и сила жизни состоит в любви и происходит из любви, любовь соединяет разъединенное «я».»
Процитировал Даниле. Данила говорит: какие глупости, подмени в этом предложении слово *любовь*, например, на слово *белок*, и ничего в этом предложении не изменится. Подменил. И в самом деле: ничего не изменилось, только стало как-то более *научно*.

25 марта

Однажды зимним вечером поэт *Поль Целан* перечитывал произведения *Каролины Гюндероде*, потом пошел погулять и вдруг бросился с моста в Сену; стукнулся об лед и убился насмерть. А на его столе лежала раскрытая книжка *Гюндероде* с карандашными пометками. (Или это были стихи *Гёльдерлина*?)

26 марта

«Непреодолимая тяга человеческого сердца к блуду порождает страх одиночества». (*Бодлер*)

…

Бабушка: Майкл Джексон был негром. Но потом вылечился.

28 марта

Суббота была омрачена вот чем: лежишь после обеда в кровати, *cheek by jowl* рядом с человеком, который тебе нравится, пытаешься получать удовольствие, и тут тебе начинают рассказывать о своих проблемах; причем о всех подряд, прямо как на приеме у психоаналитика (ну понятно, горизонтальное положение располагает – недаром *Фрейд* всех своих пациентов на кушетку клал). И вот ты слушаешь. Про то, как ему тяжело жить и работать, про то, как бессовестно из него тянет деньги любимый человек, которым, разумеется, являешься не ты, про пугающую бесконечность вселенной и боязнь смерти. И так два часа, в течение которых ты понимаешь, что ебешься не с данным конкретным человеком, а с его якобы большими проблемами, и, кстати, надо заметить, что это только надуманные проблемы большие, а все остальное, честно говоря, – так себе. И тогда ничего не остается сделать, как вспомнить, что нужно срочно переделывать статью про *Макса Фриша* и натянуть на себя штаны, потому что во-первых, психоаналитикам за то, что они выслушивают про проблемы, платят деньги, и немалые, а во-вторых, если психоаналитик вступает в сексуальные контакты со своими пациентами, то это обычно нехорошо заканчивается: у него либо лицензию отбирают, либо случаются какие-нибудь неприятности, ну, например, пациенты на себя руки накладывают (см. фильм «The color of the night»).

29 марта

На лекции про Э. По рассказывал о Мари Бонапарт. И муж у нее был гомосексуалистом, и сама она была фригидной, пока ее Фрейд не вылечил, да и то не полностью, и сын ее ненавидел. А она взяла и выучилась психоанализу, а потом книжку написала про По. И придумала, что По был импотентом, а все потому, что его родителя – бродячие актеры – клали грудного младенца с собой в кровать, и он – еще несознательный – подслушивал и видел, как они там занимаются сексом, актеры же, народ простой и нескромный, младенец под боком им не помеха. Это сильно травмировало малыша По, и он стал импотентом и некрофилом.

Апрель

1 апреля

На семинаре начал оперировать фрейдистской терминологией. Студентки шокированы. Говорю: надо называть вещи своими именами. Есть, говорю, анальное удовольствие, а есть оральное; член – это член, а вагина – это вагина; и ручка, которую я держу в руке – это тоже член, только символический, и кусок мела, которым я рисую на доске механизмы вытеснения по *Фрейду* – тоже член, да и вообще, все вокруг нас имеет фаллическую и вагинальную форму, нужно только внимательно приглядеться. Тишина. Потом одна студентка спросила, а какое значение, имело учение *Фрейда* для истории. Отвечаю: оно высвободило вашу сексуальность. Студентка подумала и говорит: а вот когда показывают по телевизору голых женщин и мужчин, это что такое, высвобожденная сексуальность? Нет, отвечаю, это в нас комплексы формируют.
К следующему семинару просил подумать, почему *Бальзак* любил трости.

…

Рассказывал сегодня бабушке за ужином, как в позапрошлое лето вышел из кинотеатра *Художественный* и очень хотел справить малую нужду, и завернул в подворотню на *Новом Арбате*, а в подворотне мужики выбирали себе проституток, и сутенер светил на них фонариком, а я писал, весь сжался до незаметного состояния в темном уголке. Я за ужином возмутился, говорю, ужас какое падение нравов, в Москве ведь даже и не пописаешь спокойно в подворотне, везде проститутки. Спрашиваю: вот разве были проститутки про социализме? Бабушка отвечает спокойно, с достоинством: были, только скрытно.

3 апреля

Я: Холодно…
Данила: Да уж, придумали сделать столицу чуть ли не за полярным кругом, даже Лондон намного южнее Москвы.
Я: Предлагаю сделать столицей России Париж!
Данила: Поздно, об этом надо было думать в 1812 году!
Я: Между тем, в Париже есть даже русское кладбище.
Данила: Да где их только нет.
Я: На луне нет.
Данила: Зато там есть флажок, оставленный советским луноходом. Сейчас это был бы православный крестик.

4 апреля

«Любое мясо дает отрицательные последствия. Кровяная колбаса и свинина, копченая сельдь, омар и дичь противопоказаны. Чем крупнее рыба, тем больше в ней желатина и тем она тяжелее для желудка. Овощи вызывают изжогу, макароны – тяжелые сны; сыры, взятые в совокупности, плохо перевариваются. Стакан воды по утрам опасен. Название каждого напитка, каждого продукта сопровождалось предупреждением: «Вреден! Опасен! Остерегайтесь! Не злоупотребляйте им!» А какую сложную задачу представлял из себя завтрак! Друзья перестали пить кофе с молоком из за его вредности, а затем и шоколад, ибо шоколад – это «смесь неудобоваримых веществ». Оставался только чай. Но «люди нервные должны от него отказаться» <…>
Между тем многие из нас располагают аромальным хоботком, то есть длинною трубою, которая начинается на затылке и поднимается от волос до самых планет и позволяет нам общаться с духами Сатурна; тела неосязаемые все же вполне реальны, и между землей и космосом происходит беспрестанное общение, движение, обмен. Как стать магом? Необходимо подготовить себя особым режимом. Чтобы достигнуть состояния экзальтации, они бодрствовали по ночам, постились. В чаянии видений они сжимали друг другу затылок, сшили себе ладанки с белладонной и стали носить магический ларчик – коробочку, из которой торчал гриб, утыканный гвоздями; его надо подвязать на ленточку и носить у груди, у сердца.»
(*Г. Флобер*, «Бувар и Пекюше»)

6 апреля

Вчера ночью больше часа проболтал по телефону со своей бывшей студенткой. Она снимает квартиру в *Кузьминках* и звала меня бегать с ней и ее другом по утрам в парке. Проблема только в том, что мое утро начинается не раньше половины двенадцатого, а ее – в семь.

7 апреля

«Мысль о смерти поразила их. Они говорили о ней на обратном пути. Впрочем, смерти нет. Существа растворяются в росе, в ветре, в звездах. Становишься как бы частицей древесного сока, сверкания самоцветов, оперенья птиц. Возвращаешь природе то, что она дала тебе взаймы. Небытие, ожидающее нас в будущем ничуть не страшнее того, что осталось позади нас. Они пытались представить себе его в виде беспросветной тьмы, бездонной пропасти, полного исчезновения; все, что угодно, предпочтительней этого однообразного нелепого и безнадежного существования. Они занялись вопросом о самоубийстве. Что же дурного в том, чтобы сбросить с себя гнетущее бремя и совершить поступок, никому не приносящий вреда? Если бы такой поступок оскорблял Бога, разве нам была бы дана возможность его совершить? Это не малодушие, хотя обычно так считают, а прекрасное дерзновение – насмеяться, даже в ущерб себе, над тем, что люди ценят превыше всего. Они стали обсуждать различные виды самоубийства. Яд причиняет страшные страдания. Чтобы зарезаться, нужно исключительное мужество. При угаре часто случается осечка.»
(*Г. Флобер*, «Бувар и Пекюше»)

8 апреля

Иногда я бывают настолько *nonchalant*, что окружающие начинают сомневаться в том, что я педераст.

9 апреля

В автобусе совсем высокорослый юноша, наверное старшеклассник, с тонким станом и грациозной походкой, *эфеб* в модной серо-голубой курточке из мелкого вельвета и сумочкой поясом на худой попе ехал со своим другом. Друг сел. А эфеб стоял, нависнув над ним. А потом и около меня освободилось место, и стройный юноша с огромным блестящим перстнем на мизинце поспешил на свободное место, но тут водитель резко затормозил, юноша потерял равновесие и оказался у меня на коленях и посидел какое-то время на моем кожаном портфеле. Потом он, правда, быстро сполз с моих коленей на свободное место, два раза произнес мягким голосом *и-и-и-и-и-зззз-вин-и-и-ите-е*, манерно растягивая букву «и», сложил руки на груди и стал улыбаться и смотреть на своего приятеля. А приятель тоже улыбался и показывал на меня пальцем, наверное потому, что когда автобус затормозил, и юноша оказался на моих коленях, мое лицо (очевидно) просияло от удовольствия; я помню, я улыбался. Последний раз семнадцатилетний юноша сидел у меня на коленях очень давно; даже не знаю когда. (И сидел ли вообще когда-нибудь?)

...

А в метро на меня упал здоровый мужчина лет 30, от которого пахло темным пивом и потом, с грязными руками и в кожаной куртке, и мне было противно. А напротив сидела влюбленная разнополая пара и они держались за руки и целовались взасос. И мужчина, целовавшийся взасос был очень симпатичным, и я даже подумал, что мог бы заняться с ним сексом, и его целующийся вид меня даже возбуждал, но потом я заметил, что он держит в руках дамскую сумочку своей подруги, и что у него белые носки, а я ненавижу, когда мужчины носят дамские сумочки своих подруг, потому что дамские сумочки оттого и называются «дамскими», потому что они предназначены для ношения женщинами, т.е. дамами, поэтому эти сумочки обычно такие маленькие и изящные, а белые носки – это не только *моветон*, но еще и непрактично.

12 апреля

Сегодня в метро ко мне снова прижалась влюбленная пара, и три остановки подряд обдавала меня жаром своих разгоряченных тел, влюбленные по очереди топтали мои ноги, и в конце-концов мне это надоело. Я достал *Империю знаков* и положил желтую книжечку прямо на плечо молодому человеку и с невозмутимым видом стал как бы перечитывать любимые места. После того, как сладострастная девушка пару раз потерлась своей прыщавой щекой о книжку, она, наконец, поняла, что ей неудобно стоять ко мне так близко, и пара, к моему облегчению, отодвинулась. Краем глаза, однако, я наблюдал за другой парой; там девушка тоже слюнявила своего кавалера, и тот, украдкой, когда его визави начинала крутить головой по сторонам, брезгливо вытирал ее слюни со своего смазливого лица.

Потом в вагон ворвалась шумная компания из трех девушек и двух молодых людей во главе с коренастым керлем слегка за тридцать в темно-коричневой кожаной куртке. Он держал в руках котенка. От ужаса несчастное существо уже даже не мяукало. После того, как одна дама заметила, выходя, что котенок очень красивый и спокойный, керль стал крутить несчастным животным у меня перед носом и спрашивать, почему же я не восхищаюсь его котенком. Я сказал, что читаю, а когда я читаю, то не обращаю внимания на чужих котят. Тогда он грозным голосом приказал запуганному животному: насри ему в книжку! На что я парировал, что как бы котенок не обоссал модную кожаную куртку. Потом керль стал требовать, чтобы девушки, которые были вместе с ним, поделились с ним номерами своих телефонов; но девушки были не дуры (кому нужны мужчины с котятами?) Они сказали, что номеров у них нет, но зато они с удовольствием бы записали его телефон. И керль начал диктовать им свой номер, и девушки повернулись ко мне и сказали, что и мой номер с удовольствием бы записали тоже. Но тут состав стал подъезжать к *Текстильщикам*, и мне ничего не оставалось, как начать двигаться в сторону выхода.

13 апреля

По понедельникам, на заседания своего отдела в ИМЛИ я хожу как в театр. Причем там весьма посредственные актеры разыгрывают исключительно классику

театра абсурда. Я даже подозреваю, что мои престарелые коллеги по отделу – ведущие актеры нашего театра, всю неделю, со вторника до воскресенья, вместо того, чтобы заниматься своей работой, старательно штудируют опусы Ионеско или Беккета, чтобы в понедельник, ровно в 14:00, потрясти каждого, кому посчастливится оказаться в нашем Каминном зале, *умопомрачительным* – во всех смыслах этого слова – спектаклем.

Сегодня бородатый руководитель коллективного труда сказал, что он хочет создать первую в истории мирового литературоведения всеобъемлющую теорию авангарда, такую, какой еще не было нигде и ни у кого; сделав эту заявку, он стал зачитывать закваску, бродило своей теории. А закваска вот в чем: трудно считать простой случайностью то обстоятельство, что именно в 1918 г., сразу после революции, наука пришла к открытию того, что Солнце не является центром Галактики, т.е. нашей планетарной системы, потом нужно понять: мумия Ленина выражает не только код русской ментальности и символизирует не только законсервированный труп русского авангарда, но и удерживает в себе некий метафизический смысл, вытекающий из ментальности эпохи в ее вселенском масштабе, и здесь существенно само наличие мифологемы, а не ее персонализированность, задумаемся: «Я люблю вас, но не живого, а мумию!»

Потом мои коллеги задумались, и начали всерьез обсуждать эту закваску, а я незаметно выскользнул и отправился домой. Обсуждали до позднего вечера и наиболее прилежные сотрудники вернулись домой уже заполночь.

Одновременно с заседанием отдела в Зале заседаний, там, где гигантская литая голова Горького, выполненная в экспрессионистической манере, молодые медики, специально приглашенные дирекцией института, рассказывали аспирантам и престарелым сотрудникам о том, как лечиться без лекарств. Например, нажатием на определенные точки или иглоукалыванием. Азы экономии. Лекарства ведь нынче дорогие, а зарплата в академическом институте ведь совсем крохотная. А иголки можно купить в любом галантерейном магазине. И бритву, кстати, тоже. *Штифтер*, кажется, так и сделал.

…

Денис укололся моим значком члена общества *Гёте* с масонской символикой, а я сдуру рассказал ему про отца Маяковского, и Денис начал метаться по моей квартире в поисках йода и прочей дезинфекции. На уколотом месте, между тем, не проступило ни капли крови.

20 апреля

Мой отец верит в *метапсихоз* и считает, что наш рыжий кот, который любит его так сильно, что обычно не расстается с ним ни на минуту, на самом деле – реинкарнация его брата, умершего от рака как раз в тот год, когда у нас появился этот кот. У покойного были рыжие волосы, и кот рыжий. Последним доказательством в пользу переселения душ стала история с *Мартини*. После одного семейного праздника кот начал возбужденно обнюхивать пустую бутылку с *Мартини д'Оро*, а потом повалил ее на пол и принялся облизывать горлышко, а отец тут же вспомнил, что его покойный брат тоже любил *Мартини*.

…

Вчера с бабушкой случилась напасть. Когда никого не было дома, и свежеприготовленной еды тоже не было, и она от скуки начала смотреть телевизор, странная сила выбросила ее из кресла и повалила на пол. И она пролежала два часа. И не могла встать.
Сегодня к нам приходила участковая врач. Она внимательно слушала рассказы бабушки. А потом спросила, как бабушка лежала на полу, и бабушка показала как, а врач сказала, что бабушка неправильно лежала. Надо было лежать так-то и так-то, и медленно протягивать ноги в правильном направлении.

23 апреля

Денис сегодня долго размышлял на тему знакомств на улицах и в общественном транспорте и удивлялся, почему с ним в метро никто не знакомится. А потом он вспомнил, что на метро не ездит с 17 лет.

24 апреля

«Я думаю, что автору важно показать жизненный путь развратной женщины, Эммы, поэтому он так и называет свой роман – «Госпожа Бовари». Жизненный путь Шарля неинтересен, он такой же, как и у других, подобных ему людей. Эмма разрушает всю семью своим развратом, страдают все. Она вовлекает своими поступками других близких людей в пучины тоски и безысходности. Просто женщина – это нормально, но развратная женщина – это источник зла, ящик Пандоры, их (таких женщин) надо опасаться.»

28 апреля

Хочется поговорить, но не с кем, а если подумать, то и не о чем.

30 апреля

Time01:52 am
Если человек приезжает в гости починить многострадальный выключатель на кухне и через каждые десять минут повторяет, что у него идеально чистый член, значит ли это, что он хочет, чтобы ему сделали минет?

30 апреля

Time:02:23
Все чаще чувствую себя женой сельского врача.
Или сельским писарем.

Май

4 мая

Становлюсь политически и социально ангажированным. Помнится, вчера моими последними словами перед тем, как я заснул, была фраза о невыносимых ужасах капитализма.

...

На даче много новых кроликов, а когда мы пошли гулять в лес, то увидели пять одновременно совокупляющихся жаб; вечером, когда сидели у костра, к дому приходил ежик, мы пытались его поймать, а он спрятался; а в лесу, у реки, кроме совокупляющихся жаб, видели еще и выдру (или это был бобер?).

8 мая

Глядя на то, как за моим окном строится дом, задумался: а если крановщик, сидящий высоко в своей кабине, вдруг захочет справить нужду, малую или большую, куда и каким образом он будет ее справлять?

13 мая

Вчера. Иду из магазина домой через парк. Навстречу мне из кустов радостно выбегают два питбуля. Один, видимо постарше, толстый, вся голова в шрамах, обнюхивает мои сумки. Второй помоложе. Тот, который помоложе, начинает кружиться вокруг меня и лаять. Вижу, вдалеке стоит их хозяин. В одной руке поводки, в другой – бутылка пива. Говорю ему своим громким педагогическим голосом: вы бы собак своих как-нибудь забрали, а то я боюсь. Он отвечает: да они добрые. Не бойся.
Молодой питбуль рычит, лает, злобствует всем своим видом. Я еще раз говорю: утихомирьте своих собак, наконец. И тогда хозяин обращается, кажется, к своим питомцам с такими словами: блядь, да заткнитесь наконец, что же вы, пидоры, растявкались-то?

14 мая

Иногда хочется преувеличенно сильно переживать по всяким пустякам.

18 мая

Пообедав и совершив короткий визит в ИМЛИ, пошли с Ирой в кафе. Ира говорит, что нам, как почти что *богеме*, положено терять много времени в различных кафе. Меня, трудолюбивого педагога, причисление к *богеме* возмутило, но я не подал вида, а развалился на мягкой скамеечке в углу и стал ждать, когда мне принесут *сидр* и все остальное, но тут Ира начала стучать своей ногой по моей ноге и зашептала что-то про соседний столик. Я поднял свои глаза, как известно, часто опущенные из-за того, что у меня слабые шейные мышцы, и увидел, что за соседним столиком сидит молодой человек, и его можно было бы назвать *gorgeous*, если бы на самом деле он не был просто *godlike*. Белая футболка с красной надписью *Hungry* обтягивала складный торс и т.д. Разумеется, у меня даже не было и шанса познакомиться с ним во-первых потому что я сегодня выглядел исключительно *shabby*: невыспавшийся, в очень мятой рубашке, с немытой головой и проч. Во-вторых, потому что я прекрасно знаю, что существуют классовые различия, которые сведут на нет все попытки познакомиться человеком, стоящим выше тебя на социальной ступени, ну и наконец в отличие от него, я был не один, а знакомиться с кем-нибудь, когда ты не один, это крайне неуважительно к тому, с кем ты в данный момент находишься; почти как прилюдно обсуждать по сотовому свои личные проблемы.

Зато я мог понаблюдать за прекрасным молодым человеком. Смотрел, как он кромсал свой гречневый блин, держа нож в левой руке, потому что правой он что-то набивал в своем *пауэрбуке*. Он сделал несколько звонков, но Ира запретила мне прислушиваться к тому, о чем он разговаривал. Между прочим, я заметил, что мне было трудно схватить его единый образ, потому что он все время выглядел иначе, и я, например, не смог в итоге определить, сколько ему лет. Зато я заметил, что он тоже посматривает на меня, и совсем не на Иру и ее выдающуюся грудь, которая обычно привлекает мужскую публику. Иногда он постукивал по столику своими солнцезащитными очками. Был момент, когда в моей голове появилась мысль, не спросить ли его, *hungry=single*?
Потом я проводил Иру до метро, а сам поплелся к троллейбусной остановке, чтобы долго ехать от *Маяковской* до родителей, минуя метро, и терять свое время и дальше, но мои ноги понесли меня обратно к кафе, я видел в окно, что он еще сидит. Один. Постоял, посмотрел на него немного и пошел дальше.

…

В метро одному опившемуся пива молодому человеку стало плохо. Он сидел на полу, начал блевать, терять сознание и запрокидывать голову, и, казалось, вот вот захлебнется своей рвотой. Литровую пластмассовую бутылку с пивом, впрочем, он из рук не выпускал, держал мертвой хваткой. В вагоне была щуплая женщина кавказской наружности, скорее всего армянка, средних лет, в вечернем платье, наверное, возвращалась из театра. Наверное, врач. Она самоотверженно и по-деловому начала приводить парня в чувство. И даже отерла ему лицо от блевотины носовым платком, который достала из своей сумочки. Разумеется, что когда любитель пива пришел в себя и откашлялся, его первыми словами было: убери от меня свои руки, черножопая сука.

20 мая

Я проживаю свою жизнь: *a)* в страдательном залоге, *b)* в сослагательном наклонении.

…

Катались вечером с Денисом по парку на велосипеде. Велосипед был один, и катались мы на нем по очереди. И каждый, вобщем-то наслаждался своим вечерним одиночеством сам по себе.

23 мая

Хочу купить себе трость. С ней удобно медленно ходить по улицам. Ее можно вертеть в руках, когда хорошее настроение. По набалдашнику можно постукивать пальцами, когда сильно нервничаешь.
А еще тростью можно поколачивать нерадивых студентов.

24 мая

«Чем у Э. По гротеск отличается от арабеска? Не знаю. Читала произведения: 1. «Золотой жук» (о золотом жуке с помощью которого был найден клад, когда его опустили в глазницу черепа). 2. «Убийство на улице морга» – о обезьяне, убившей

мать и дочь, расследование этого убийства 2-мя друзьями. 3. «Заживо погребенные» повествование о литургических снах, когда хоронили людей, кого то удалось спасти, кого то нет, но все были найдены. 4. «Падение дома Ашеров», в котором брат хоронит сестру с другом, а она была еще живой. Падение дома от трещины».

…

Один мой коллега говорит: конец семестра это полная жуть, студенты нас ненавидят, кругом сглаз, порча и вообще абсолютный негатив.

25 мая

Бабушка поставила себе разогревать ужин, но засмотрелась сериалом и сожгла сковородку. Отец спрашивает ее, все ли у нее в порядке с головой. *Бабушка*: Это как же у меня в порядке с головой будет после двух инсультов?

…

Вечером *рандеву* с одним *amie*. Татуировка на левом предплечье, хорошая фигура. Не блондин, зато починил мне на кухне выключатель. Целовался с ним в публичном месте.

В последний раз я прилюдно целовался в публичных местах лет семь назад, в метрополитене. Со своей бывшей подружкой. Целование продолжалось, кажется, минут сорок или около того. Мне было очень противно, но я, существо, кроме прочего, мягкотелое и вежливое, тогда еще не мог сказать ей: хорош слюнявиться, пошла вон! Не умел я тогда и ловко втолкнуть ее в открытые двери подошедшего вагона с лицом, выражающим безмерную скорбь от расставания – подобный трюк я научился проделывать лишь несколько месяцев спустя, когда целоваться в метро стало совсем невмоготу, тем более, что давать она была согласна только после свадьбы. Но в тот вечер от нескончаемых подземных ласк меня избавил репетитор. Он внезапно появился из-за колонны и сказал: хватить уже сосаться! Я тут уже полчаса стою, за вами наблюдаю, не оторваться, а мне, между прочим пора домой.

Хотя, если подумать, заброшенные углы строгинского парка в одиннадцать часов вечера в будний день не очень тянут на публичное место. Зато вовсю заливались соловьи, и утки шумно шлепались на воду откуда-то сверху. И вдалеке, на противоположном берегу, прямо как в любовном романе, горел костер.

26 мая

Вечером не пошел от метро пешком, а проехал пару остановок в троллейбусе. Ловил не себе взгляды одного молодого человека. А потом, оказалось, он живет в моем доме. И мы ехали в одном лифте и улыбались друг другу. Я вообще-то еле сдерживал смех, потому что он поначалу очень даже сконфузился и оттого не мог найти кнопку моего этажа. Выходя, пожелал ему спокойной ночи.

…

Когда в дождь гуляешь по парку, слышно как капли стучат по листве.

29 мая

Если в вагоне поезда в метро вместе со мной едут еще 99 человек, то среди них вроде бы должно быть, по меньшей мере, еще 7–9 гомосексуалистов. И вот думается, что если истребить 10 гомосексуалистов, то ведь по большому счету мало что изменится. И даже мир (наверняка) не станет от этого лучше. А вот если внезапно исчезнет 90 гетеросексуальных процентов населения, то в метро будет, конечно, посвободней.

31 мая

Я сегодня целый день проходил по Москве в своих небесно-голубых замшевых ботинках. Для большого города, каким является Москва, происшествие, конечно, незначительное. Зато событие почти вселенского масштаба для меня, закомплексованного преподавателя зарубежной литературы.

Июнь

3 июня

Aujourd'hui les larmes, mais demain les cieux!

…

«Такие странности душевной жизни никак не могут привлечь нас, ибо подлинный характер предполагает наличие могущественного и сильного стремления к действительному миру и овладению им. Интерес к такого рода субъективным натурам, мысль и чувства которых всегда вращаются только вокруг себя, являются пустым интересом, хотя бы они и считали, что являются высшими чистыми натурами, что они раскрывают в себе божественное начало, обычно скрывающееся в глубочайших складках души, и показывают нам его в совершеннейшем неглиже.»
(*Гегель*)

5 июня

Водки совершенно не пил, только вино. Пьянел не сильно.
Танцевал плохо. Не особенно подвижен.
Временами немного красовался собой, мог встать в позу.
Был со всеми скрытен, не говорил о своих переживаниях, хотя они были видны на его лице.
Бы склонен к импульсивным поступкам.
Природу всегда любил очень глубоко.
Очень добрый.
Склонность воспринимать все в трагических тонах.
Сексуальная потребность выражена низко.
В 1913 г. под видом вечеринки была проведена тайная консультация психиатров для определения его умственных способностей.

8 июня

Сегодня, спустившись в метро и стоя на пустой платформе, подумал о том, что я, конечно, почти осуществил *так называемый* идеал неприметной жизни. Осталось только купить и установить у себя в комнате аквариум, поместить в него большой кусок дерева с дуплом и заселить его колонией *Isopteria technomyrmex*, потом плотно задернуть шторы (термиты не выносят дневного света); провести остаток жизни, наблюдая за жизнью термитов.
Когда я почувствую приближение смерти, то разобью аквариум, чтобы термиты вылезли из дупла и обглодали мое тело. Кости завещаю переработать в желатин и продать, расфасовав по маленьким пакетикам.

…

Читал Шопенгауэра.

…

Американские масс-медия в последнее время сосредоточились на карликах. Карлики, говорят нам, такие же люди, как и все остальные, только маленькие. Давайте признаем это; давайте будем относиться к карликам по человечески, будем их любить. Но как же тогда быть со всей той мифологией, связанной с карликами и складывавшейся вокруг них на протяжении тысячи лет? Что же, получается, в Средние века карликов просто так, ни за что отправляли в темницы, жгли на кострах и считали злобными, гнусными тварями? (Особенно, кстати, карликов-мавров.)

…

Очень часто получается так, что приходится общаться с теми, к кому равнодушен; те же, к кому испытываешь привязанность, живут жизнью, в которой тебя нет. Вроде как каждый вплетен в свою сеть социальных связей.

…

Заметил: когда я знаю, что у меня появляется перспектива рандеву, то в метро, когда я сижу, я держу свой зонт справа, с внешней стороны ноги. А в дни сексуальных фрустраций я ставлю зонт между ног. Фрейд, конечно, сразу бы меня раскусил.

…

Так странно: идешь по улице, смотришь на новые джинсы и благодаришь за них незнакомых тебе, далеких, прекрасных (и не очень) писателей прошлого.

12 июня

Вышел на балкон и смотрю на предрассветное небо, которое уже розовеет на востоке, и близкие дома, и на темные силуэты домов вдалеке на фоне розового и грязно-голубого, еще темного неба. Слышно, как вдалеке грохочет поезд. За свою жизнь я мог бы 10690 раз встретить рассвет, но, думаю, я видел ничтожно мало, по сравнению с этой цифрой рассветов, ну, может, 40–50, не больше. Да и вообще, человеку, кажется, привычней наблюдать закаты.

17 июня

Пришло время снова рассказать о репетиторе. Второй муж его тетки, массивный лысый мужчина средних лет с золотыми печатками на толстых пальцах,

продававший раньше запчасти для автомобилей, стал риэлтором и занялся *фэн-шуй*. Теперь он продает квартиры, а за дополнительную плату помогает еще и расставить в этих квартирах мебель по всем мудреным китайским правилам. О них он прочитал в двух очень, очень толстых книжках. Это очень трудные правила. Когда теткин муж помогает расставлять мебель, он ходит по комнате с особыми китайскими палочками в руках, которые позволяют ему чувствовать нехорошие энергии, еще он взглядом развязывает узлы и составляет китайский гороскоп. Репетитору, сказал он, обязательно нужно дружить с женщиной-огнем или носить красный кошелек, и тогда у него всегда будет много денег. Репетитор тоже хочет прочитать толстые книги про *фэн-шуй* и составлять гороскопы. Каждой гороскоп стоит 200 у.е.

Репетитор все еще любит свою ученицу. Он написал ей признание в любви и вложил его между страниц в учебник по высшей математике. Если ученица когда-нибудь откроет этот учебник, то она найдет там объяснение репетитора в любви, написанное мелким почерком, а если не откроет – то никогда не узнает, что репетитор ее любит, ну что же, значит, не судьба.

Когда он отвозил своей ученице учебник со вложенным в него признанием, то узнал, что бабушка ученицы тяжело больна; он видел, как она лежала в постели, словно бы мертвая, а рядом с ней сидела мать ученицы, практикующий экстрасенс из нефтяной компании. Она была погружена словно бы в транс, делала загадочные пассы руками, что-то бормотала и не замечала репетитора, который пришел с ней попрощаться. Репетитор мучается в безбрачии, ему поскорей нужна жена, обязательно фотомодель, желательно женщина-огонь.

18 июня

В метро громко разговаривают три девушки, одна говорит: Катя сказала, что Алена не хочет, чтобы кто-нибудь знал, что у нее гепатит.

…

Если в метро какой-нибудь сидящий напротив мол. человек, которого ты пристально разглядываешь, хоть и стараешься делать это как можно более деликатно, начинает понимать причину твоего к нему интереса, то происходят крайне забавные вещи: ты осознаешь, что он понимает, у тебя потеют ладони, не знаешь, что делать, потому что хочется разглядывать его дальше, но теперь уже неудобно, а он сперва тоже разглядывает тебя, но ты оказываешься, например, не в его вкусе, допустим, ты слишком старый и потрепанный, и тогда его взгляд становится надменным или вообще переключается на кого-нибудь другого, или же он краснеет и демонстративно начинает разглядывать девушек, иногда все же поглядывая на тебя. Короче, вариантов много.

23 июня

Иногда хочется написать сюда что-нибудь неприятное, например о том, каким беспомощным и бесполезным я, порой, себя чувствую. Но это мало кого заинтересует. Поэтому я, пожалуй, напишу о том, что сегодня за день я видел двенадцать беременных женщин и пятерых накачанных мужиков, двоих из этих пятерых я видел, когда ждал маршрутку. Один был рыжеволосый и с очень

благородными чертами лица, а второй был блондином, и я не знал, кого из них мне рассматривать подробней, потому что они шли в противоположные стороны.

Вальтер Шульц-Фадемрехт
Новеллы из цикла «Мои львы»
1. Felis leo L. = лев

В июне и июле 1949 г. я работал смотрителем в вольерах с птицами в Берлинском зоопарке. Но ввиду моих исключительных познаний в зоологии с 1 августа меня перевели к хищникам. Львы – ужасные хищники. Огромные пасти и бесконечная жажда убивать поразили меня до самых глубин души. В нашем зоопарке живут три африканских льва (с гривой) и одна львица. Уже в половине седьмого утра я выходил из дома. Поездка на трамвае к вокзалу «Панков–Финеташтрассе». Оттуда – 40 минут на подземке до зоопарка.
Потом я здороваюсь с главным смотрителем хищников Берлинского зоопарка господином Густавом Ридлем. Потом я скребком счищаю львиный помет. Львиные экскременты пахнут очень неприятно.

1. Ursus r arctos L. = белый медведь
Белый медведь – самое большое хищное животное на свете. Ежедневно он съедает 15 фунтов конины. Утром мы с господином Ридлем идем на хозяйственный двор, где должны забить двух лошадей, чтобы накормить ими хищников. Военнослужащие оккупационных войск тоже приходят в зоопарк.

2. Ursus europaeicus L. = бурый медведь
В зоопарке живут шесть бурых медведей, мяса им нужно меньше, чем белому медведю и львам. Известно, что в крайних случаях бурый медведь может быть вегетарианцем. Под новый год я попрощался со своими львами. У меня необычайно сильно болела голова, и поэтому я должен был снова лечь в больницу. Еще я попрощался с директором аквариума Вернером Шредером. Напоследок, он показал мне волшебную лягушку.
The end.

27 июня

Сегодня напротив меня в метро сидел пожилой казах, и в руках у него был какой-то народный инструмент, похожий на гитару. Казах, несмотря на шум, сосредоточенно настраивал его, наигрывая первые такты бетховенской *Оды к радости*. Он внимательно прислушивался к звукам, щурил свои узкие глаза. У него было коричневое лицо, и на пальцах правой руки, которыми он перебирал струны – длинные черные ногти.

28 июня

Жара. В маршрутке на соседнем со мной сиденье расселся жирный потный мужчина неопределенного возраста с красным лицом, с волосатыми ушами и в грязных брюках, от него пахло немытыми гениталиями. Он достал из портфеля книгу и начал ее читать. А читал он «Тошноту».

29 июня

В магазине J.Lo by J. Lopez феноменальные латиноамериканские примерочные. Пока Ира примеривала одежду и я ждал, пока она позовет меня застегивать какую-нибудь молнию, я сидел, полуразвалившись, на гигантском белом кожаном диване, окруженный зеркалами, хрустальными люстрами, такими же как в Колонном Зале Дома Союзов, ну, может, только поменьше размером, розовыми и золотистыми шёлковыми шторами, бордовым бархатом и прочей парчей и золотыми цепочками, спускающимися прямо с потолка. Несчастные продавцы! Они должны дни напролет слушать песни певицы с самой красивой попой на свете, смотреть ее видеоклипы на семи больших экранах, висящих под потолком, просматривать интервью звезды и разглядывать постеры с ее изображением.
Продавец в магазине «Адидас» – очень красивый спортивный юноша, долго провожавший нас печальным взглядом. Через стену – в магазине джинсовой одежды – одиноким продавцом работал просто симпатичный молодой человек с обольстительной жестикуляцией. Интересно, встречаются ли эти двое после работы? Судя по всему, они идеально подходят друг другу. Вообще, наверное, про жизнь так называемого Тропического парка бутиков можно нафантазировать потрясающий роман и назвать его, к примеру «Новое дамское счастье»; разумеется, описать в нем дам всех полов и возрастов, посещающих европейский оазис на окраине российской столицы. Можно, впрочем, ограничиться сценарием супермногосерийной теленовеллы «Любовь не купить». И чтобы побольше слез и поцелуев на фоне разнообразных товаров.
Когда мы шли вдоль огромных витрин с надписью SALE, с нами поравнялась семья нуворишей, и глава семьи, пузатый дядька в белой футболке в обтяжку и с толстой золотой цепью на шее спросил свою жену, почему на всех витринах написано *сале*?
Я подумал, что сале звучит почти что как SALVE – надпись на пороге дома Гёте в Веймаре. В Веймаре тоже торжествует коммерция. Гёте хорошо продается.

Июль

3 июля

В метро. В моем вагоне ехал коренастый молодой мужчина. Я не сразу заметил, что у него в руке окровавленный носовой платок, а потом увидел, что он весь в крови, и у него на бритом затылке почти что десятисантиметровое рассечение и запекшаяся кровь. От него сладко пахло алкоголем и кровью, и он с трудом держался на ногах. Вагон был переполнен, но на него никто не обращал особенного внимания, только старались подальше отодвинуться, чтобы не перепачкаться кровью. Когда мы подъезжали к *Беговой*, я сказал ему, что тут он может выйти и дойти до больницы. Больше я ничем не мог ему помочь, у меня даже не было с собой бумажных платков. Но он никак не реагировал на мои слова и проехал до *Октябрьского поля*.

…

«Потребность в обществе, проистекающая из пустоты и монотонности личной внутренней жизни, толкает людей друг к другу; но их многочисленные отталкивающие свойства и невыносимые недостатки заставляют их расходиться.» (*Шопенгауэр*)

6 июля

Сегодня проехал в маршрутке на четыре остановки дальше, чем обычно. Собирался знакомиться с загорелым мужчиной на соседнем сиденье. Не познакомился. Понурый побрел по мокрому асфальту домой.

…

С утра в новостях прочитал про маленького мальчика, который играл в прятки со своими братьями и сестрами, спрятался в барабане стиральной машины, а ее случайно (или не случайно) включили, и мальчик постирался и умер. Просто сюжет для трэш-фильма ужасов.

9 июля

Сегодняшняя поздняя поездка в метро была похожа на адское путешествие. Во-первых потому, что в вагоне, в котором я ехал, было необычайно много для такого позднего времени красивых молодых людей, а ехать в метро в окружении красавцев, это, конечно, страшное мучение.

Правда, на *Октябрьском поле* в вагон ввалились очень тучные мужчина и женщина, и мужчина с заплывшим жиром лицом в веснушках, и красными, маленькими неподвижными глазами, стал наклоняться к своей спутнице и говорить ей *Хрю-хрю*! Я сразу же подумал о скотобойнях, свиноферме и *Дёблине*, хотя и читал в дороге книжку о *югендштиле* с красивыми картинками. И мне стало страшно. Но они скоро вышли.

На *Пушкинской* вошел молодой человек в красной с цветами рубашке со своей девушкой. Она села, а он присел перед ней на корточки, и положил свои руки и голову ей на колени. А я вспомнил о том, как в *Кёльне* переезжал из пансиона, где я прожил месяц в маленькой квартире, в просторную квартиру в университетском небоскребе, с огромным балконом и большими окнами. До меня там жила бразильянка, и я пошел к ней за ключами, пришел и почему-то сел на стул, а она вдруг села передо мной на корточки и погладила меня по коленям своими тонкими смуглыми ладонями и эти ее прикосновения я никогда не забуду. А молодой человек с девушкой неожиданно встали и ушли в другой конец вагона, и позже оттуда раздались возмущенные вскрики, я повернулся и увидел, что молодой человек в красной рубашке обнимается и целуется с каким-то юнцом, и, он, как и девушка, а особенно молодой человек в красной рубашке, весьма доволен. А я покраснел, и мои щеки, кажется, были намного красней рубашки этого молодого человека.

А потом в вагон зашел пьяный юноша в грязных спортивных штанах и грязной серой футболке. Он шатался и падал на студента в джинсовом костюме и красных кроссовках, который сидел у самого края. А потом пьяный юноша повернулся к двери и стал блевать. Он блевал очень помногу и часто, и, казалось, из него выливаются реки, и еще, что он должен был бы выблевать все свои внутренности. А потом розовая блевотина стала растекаться по вагону, и прозрачные струйки, как змеи, стали подползать к обуви пассажиров, и пассажиры повставали со своих мест и стали пересаживаться так, чтобы не испачкаться. А я, хотя и был в

голубых ботинках, не стал пересаживаться, а пошел к выходу, потому что мне уже надо было выходить.

А когда я выходил, передо мной на эскалаторе стоял мужчина с накаченными бицепсами, в черной майке, черных брюках и черных кроссовках, и он надевал на себя черный рюкзак; надел его неловко, майка на спине собралась и обнажила белую кожу на пояснице. И я, не отрываясь, смотрел на этот кусок его голого тела.

…

Я строю склеп своему сердцу, чтобы оно отдохнуло; я прячусь в кокон, потому что вокруг зима; в блаженстве воспоминаний я ищу приюта от бури.
(*Ф. Гёльдерлин*, «Гиперион, или Отшельник в Греции»)

12 июля

Сегодня в метро по дороге от *Текстильщиков* до *Таганской* на меня наваливался какой-то подозрительный (сонный, белобрысый и помятый) юноша в милицейской форме. Он прислонялся своей ногой к моей ноге, и на нем были засаленные милицейские брюки. А в руке он держал фуражку, которая все время выпадала из его рук, потому что он дремал. И на левой руке у него была вытатуирована какая-то энигматическая пентаграмма. И заметив ее, я подумал о том, что этот юноша, конечно, совсем не милиционер, а просто предоставляет сексуальные услуги, и милицейская форма на нем, наверное, для возбуждения клиентов. Он принимал всю ночь участие причудливых сексуальных актах и извращенных садо-мазохистских играх, а теперь, изнеможенный, дремлет и прислоняется ко мне. Вот о чем я думал, глядя на неряшливого молодого милиционера. (Я, правда, все-таки сомневаюсь, что он был *настоящим* милиционером.) Когда он проснулся и встал на *Таганской*, чтобы выходить, я увидел, что у него нет кобуры, но за пояс, сзади, заткнуты наручники, почти непременный атрибут садомазохистских секс-забав.

13 июля

Чем обычный утенок (Anas strepera) отличается от туалетного утенка (Aix pissuara)? Только ли ареалом обитания?

…

Над городом собираются тучи.

…

Проснулся, а под окном - лужа. Ночью в раскрытое окно заливал дождь

14 июля

Гулял у реки. Видел переодевающегося в кустах пловца. Весь загорелый, а попа белая, как мрамор греческих статуй.

…

Стоял на высоком берегу реки. Сложил руки на груди, как Наполеон. Смотрел, как далекие дома полыхают закатными пожарами.

16 июля

Вагнер и эвтаназия

Нас задержала смертельная болезнь нашей собачки Пепса. Старость ее наступила на тринадцатом году. Она так ослабела, что мы не рисковали взять ее с собой в Альпы, так как перенесть трудности восхождения в горы она бы уже не смогла. Через несколько дней у ней началась агония. Она теряла сознание, ее постоянно схватывали судороги. Придя в себя, она поднималась и приходила в комнату жены, за ней ухаживавшей. Иногда она с трудом приплеталась к моему рабочему столу и падала без сил. Ветеринар заявил, что помочь уже ничем нельзя и посоветовал прекратить страшную агонию и освободить животное от страданий, дав ему немного синильной кислоты. Вскоре я положил конец мучениям бедного существа, на спасение которого не было никаких надежд. Я нашел лодку и отправился к знакомому молодому врачу. Он дал мне смертельную дозу, и в чудесный летний вечер я вернулся домой. Ночью Пепс спал, как обыкновенно, у меня на кровати, в корзине, откуда вылезал по утрам и будил меня, царапая лапками. Вдруг я проснулся от услышанных мною стонов: у собачки начались мучительные судороги. Затем он бессильно опрокинулся и замолк. Это мгновенье наполнило меня сознанием своей важности, и я невольно взглянул на часы. Час и десять минут ночи 10-го июля запечатлелись у меня в памяти, как миг смерти маленького друга, безмерно любившего меня.

Мы уехали в горы в сопровождении нового попугая, которого я купил в зверинце.

(Р. Вагнер, Моя жизнь, Ч. 3. 54: Смерть собачки)

22 июля

Когда шел днем к метро, мне навстречу шли мужчина и женщина, и в руках у мужчины был блестящий медный таз. Я посмотрелся в него, в надежде, что ко мне придет откровение, как к Бёме утром того дня, к вечеру которого он, якобы неграмотный, написал три четверти своей Авроры; но я увидел только расплывчатые очертания своего невыспавшегося лица. М-да, подумал я, время откровений прошло.

…

По дороге от родителей подслушивал в автобусе девичьи разговоры. Одна девица жаловалась своим подругам, откусывая бигмак, что у нее в офисе все начальники куда-то разъехались, даже самые маленькие начальники, и ей так от этого плохо, и делать на работе вообще нечего. Представьте, до чего я докатилась, говорила она, сегодня целый день красила ногти на ногах! Пиздец же!

25 июля

Qui est le monstre toi ou moi?

Август

1 августа

Сегодня в метро ехала девушка. В белых брюках и белом топе. Немосковского вида. Она, если честно, выглядела чуть-чуть по-проститутски вульгарно. На одной из остановок к ней подсел молодой человек. С простоватым красным лицом. Тоже, конечно, не москвич, потому что в черной майке и черных запылившихся ботинках. И он ей что-то говорил, улыбался, в общем, клеился. А она - то разговаривала с ним, то показывала всем своим видом, что он ей уже надоел. Но разве отстанет от девушки одурманенный пивом парень просто так? И он, конечно, не отставал.

А на Кузнецком мосту в вагон зашли еще два парня; судя по ухоженным лицам, правильным футболкам и шортам, конечно, московские. Студент и офисный работник, как я понял из обрывков их разговора. Тоже с пивом в руках. Один – крепкий, симпатичный, другой – длинноволосый и рыхлый. Рыхлый стоял рядом со мной и все время громко пукал, и когда он кончил пукать, ему надоело смотреть, как парень в черной майке клеится к девушке в белых брюках. И на переезде от Волгоградского проезда к Текстильщикам он сперва встал рядом девушкой и парнем в угрожающей позе, а потом вдруг неожиданно начал со всей силы молотить парня в майке по голове кулаком, и потом бить его ногами, тот даже не смог сразу среагировать и закрыться. А тот опять бил его со всей силы по голове. Пиво из его бутылки, которую он держал в руке, которой не бил, конечно, расплескивалось и на меня, и на белые девушкины брюки и вообще на всех, кто сидел рядом. Друг пытался его унять, но безуспешно. Потом мы подъехали к Текстильщикам, и люди стали выходить, и парень в черной майке тоже как-то выскочил на платформу, а те двое остались в вагоне.
А на платформе стоял милиционер. Я достал бумажные носовые платки и вытерся от пива. У меня все лицо было в пивной пене. И футболка. А оставшиеся в пачке платки протянул милиционеру и избитому парню. У него все лицо было в крови и, кажется, из ушей тоже текла кровь. Парень все время повторял, что у него в вагоне остался телефон. Он наверное раз десять это сказал.

Но милиционеров на их на милиционерских курсах, кажется, учат только одному: проверять регистрацию у лиц кавказской наружности и симпатичных девушек и брать у одних деньги, если те не хотят оказаться террористами, а других заставлять давать забесплатно, если те не хотят оказаться проститутками.

Вместо того, чтобы сообщить, по рации или по телефону – я не знаю, как это у них делается, – дежурному по следующей станции о том, что в вагоне едут хулиганы, избившие человека, он спросил меня, показывая на парня: может, надо его умыть? И мы пошли втроем в какое-то подсобное помещение, где была раковина и аптечка, и парень умывался, а потом я обтирал его лицо марлей, которую милиционер смачивал перекисью водорода; милиционер смотрел и вздыхал, и, надо признать, обтирание пьяного и избитого парня, это конечно, не самое приятное занятие, которое можно было бы придумать в субботний вечер. А парня тем временем переклинило. Он вдруг перестал интересоваться своим телефоном и все время спрашивал, за что его так?

5 августа

По переулку шла испанская семья, мама, дочка и три толстых испанца. И дочка бегала и прыгала туда-сюда то с тротуара, то на тротуар. И тут она увидела, что на дороге валяется дохлый голубь. Увидела и завизжала. А потом побежала к взрослым, схватила мать за юбку и потащила ее к мертвому голубю, и все время приговаривала bestia muerta, bestia muerta. (Или что-то подобное.) И я подумал: вот аттракцион: приехать в Москву и увидеть на улице дохлого голубя.

…

Бабушке сегодня хотелось варенья. А мать все банки с вареньем спрятала, чтобы бабушка их не ела. Бабушка ведь съедает баночку варенья в день, а иногда и две. И бабушка искала варенье, но не нашла, а потом села, грустная, и говорит: ах, где же у нас клубничное варенье? А мать ей отвечает: варенье спрятано в секретном месте до осени. Бабушка тяжело вздохнула и прошептала: ах, а если я не доживу до осени? Неужели я так и не попробую клубничного варенья?

9 августа

В маршрутке с пляжа ехал настоящий фауленцер. Загорелый. Симпатичный. С выгоревшими волосами. Со свернутой циновкой в руке, и с рюкзаком, и немного пьяный. Про таких песня All that she wants. И сидел он рядом с миловидной крашеной блондинкой. Он хотел с ней познакомиться и задавал ей разные вопросы. А она не хотела с ним знакомиться и шуршала полиэтиленовым пакетом. Он спрашивал ее, есть ли у нее друг, а она что-то бурчала себе под нос, и звонила по сотовому телефону, но ей никто не отвечал. И она расстраивалась. А потом она вышла. И пьяненький фауленцер стал сперва разговаривать сам с собой, а потом спросил у меня: вот Вы верите, что у нее никого не было? И я сказал, что конечно, не верю. И потом, сказал я (потому что по мол. человеку было видно, что он ждет, что я еще что-нибудь скажу) у нее крашеные волосы. Ну да, радостно подхватил мою критику фауленцер, и вообще в ней ничего хорошего нет. Только (он вздохнул), может, сиськи.

…

А в метро я видел сильно мускулистого парня в обтягивающей белой майке и красной бейсболке, который, наверное, много загорал в выходные, и его кожа была оттого неприятного розового цвета; а другой молодой человек (на другой ветке метро) стоял передо мной, и на его шее был виден кусок татуировки, и орнамент уходил под футболку, и очень хотелось посмотреть на татуировку целиком. Пришлось засунуть руки в карман, чтобы они сами не потянули край ворота его футболки.

10 августа

Сегодня по Радио России была радиопрограмма про маньяков. Сперва мужчина с ласковым голосом рассказывал про маньяка по имени Мясник. Мясник встретил девушку на платформе и позвал ее в гости. У него было карие глаза и чувственные губы и фигура атлета. И девушка с ним пошла. А в квартире Мясника девушка

увидела еще трех пособников Мясника. И они вчетвером ее изнасиловали. И девушка в общем-то не сопротивлялась. А потом девушка говорит, если мы сейчас с вами полюбовно не договоримся, я про вас расскажу милиционеру. И тогда Мясник убил ее. Груди девушки пожарили с луком и грибами и съели. А потом Мясника и его пособников поймали. Но осудили только Мясника (с чувственными губами), а остальных отпустили на волю. А потом ведущий поставил новую песню группы Раммштайн в ремиксе Пет Шоп Бойз. А потом начали звонить престарелые радиослушатели. Слушайте Радио России!

17 августа

Ехал сегодня в метро, погрузился в дрёму и фантазировал (как обычно фантазируют (согласно Фрейду) дети), о том, что я стал ничто. Но оказалось, что когда я есть, представить себе, что меня нет абсолютно невозможно.

Весь день провалялся в постели, пытался заснуть, но не получалось: вспомнил бабушку по отцовской линии. Как однажды стриг ей ногти, мне было 10 лет, она тогда болела, я поранил ей палец, и текла кровь. Когда она умерла, ее отвезли в деревню, где она жила, в ее дом, мне тоже надо было ехать, а я боялся; я спал в той же комнате, где стоял гроб и горели свечи, на одной кровати со своей другой бабушкой, матерью матери, прижавшись к ней, а брат отца всю ночь сидел у гроба. Я больше никогда не был в нашем деревенском доме.

Потом я вспомнил Йоахима, своего знакомого по Кёльну. Он был искусствоведом. Время от времени мы с ним и фрау Пенкерт, она была моим ляйтером в университете, втроем сидели в кафе японском саду у азиатского музея и пили чай. Йоахим был специалистом по африканскому искусству, и весной 1996, он поехал, кажется, в Гану. И там его застрелили. Не знаю зачем, но его родственники пригласили меня на его похороны. И был странный день: то светило солнце, то принимался дождь и сильный ветер. Йоахима хоронили в закрытом гробу. На следующий после похорон день мы с фрау Пенкерт пошли к нему в квартиру, которую уже надо было *очистить*. У Йоахима было много книг. Пенкерт выискивала книги, которые она ему одалживала, и те, которые он взял в университетской библиотеке, чтобы их вернуть. Я помогал ей. Вместе со своими книгами она прихватила три огромных фотоальбома Маплторпа, приговаривая: *гросе, гросе, негершвэнце дрин*. И еще первое издание *Negerplastik* Карла Эйнштейна. Я потом нес тяжелые книги… Еще я думал, каким далеким был голос бабушкиной сестры за день до ее смерти: она позвонила бабушке, а я снял трубку и она, пока бабушка шла из своей комнаты, поговорила со мной. Она умерла ровно два года назад. У нее был рак. А через две недели умерла отцовская тетка. Легла спать и не проснулась, и ее соседка все время повторяла: Шура вчера не ужинала, только сказала, что голова болит и пошла к себе, а я утром пришла ее будить, трогаю за плечо, а она уже коченелая.

А когда умирал Готфрид, он лежал на балконе, на своем коврике, тяжело вздыхал и пытался смотреть на солнце.

…

Ob die Welt ihrem Untergang entgegensteht? Verdient hat die's.

18 августа

По кухонной стене ползает страшный паук. А сперва он ползал по книжкам. Я не буддист, но убивать его жалко.

19 августа

Сегодня шел домой через яблоневый сад и видел женщину, сидевшую у коляски с ребенком на раскладном стульчике. Ребенок спал. Женщина тоже спала, опустив голову в коляску. У нее на коленях лежала раскрытая книга. Сильно пахло яблоками. На некоторых яблонях висело еще много зеленых яблок, отчего их ветви клонились к низу. Много коричневых гнилых яблок, уже покрывшихся плесенью, лежало в траве.

…

Потом катался на велосипеде в той части Строгино, где я бывал крайне редко, сразу же за мостом, напротив аэродрома, там, где река соединяется со шлюзами. Я всегда смотрю в ту сторону, когда переезжаю через мост, а сегодня, те, кто ехал через мост, могли видеть, как я разрезаю зеленые плоскости. Туда, кажется, хорошо заехать поздним вечером на автомобиле, и заниматься в автомобиле сексом, а потом сидеть у берега, вдыхать холодный сырой воздух, и смотреть, как мимо проплывают баржи. И на дальние огни. Многие так и делают.
Там скромная городская красота: зеленые деревья и поля, буро-прозрачная вода и геометрически-правильные дома на горизонте.
Было самое преддверие сумерек.

Я проехал мимо девушки и юноши, и нарушил их уединение: они лежали на подстилке, обнявшись. У него были сильные загорелые плечи и большие руки. Когда я проезжал мимо, юноша и девушка одновременно подняли на меня глаза.

Потом я проехал под мостом и оказался у Строгинской поймы. На берегу, где я сел, чтобы смотреть на воднолыжников, было много мусора, стеклянные, пластиковые и алюминиевые бутылки, бумага, пакеты из-под чипсов. Разорванные упаковки из-под презервативов. Увидев их, я почувствовал волнообразные приступы странного удовольствия, воднолыжники перестали меня интересовать, и я стал ходить в разные стороны и высматривать в траве упаковки из-под презервативов и думать о том, что нужно написать культурную историю презерватива. Про то, что они начали распространяться в Европе, наверное, в то же время, когда в домах детские комнаты стали отделяться от помещений для взрослых, а спальни от кабинетов. Что презерватив обессмысливает и аннигилирует природную функцию полового акта; ставит преграду между людьми – и мало ли чего еще можно написать про презерватив!? Если подумать, наберется на целый культурологический научный бестселлер с картинками.

20 августа

Воистину: the end is the beginning is the end

архив

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР

РАССКАЗЫ

Роберт Вальзер начал писать в самом начале XX века, а последние его тексты относятся к началу тридцатых годов. С 1933 г. Вальзер окончательно перестал писать, после того как занял комнату в психиатрической клинике Херизау, в которой провёл остаток жизни. Умер он двадцать три года спустя от сердечного приступа во время прогулки сквозь заснеженный рождественский ландшафт. Шизофрении – таков был его диагноз – у Вальзера однозначно не было, а была депрессия и нервное истощение, как свидетельствуют записи о его состоянии, сохранившиеся в клинике и теперь доступные для изучения. В начале 1929 г. по причине тяжёлого психического кризиса Вальзер добровольно стал пациентом лечебницы в Вальдау неподалёку от Берна. Четыре года спустя клиника получила распоряжение выписать нетяжёлых больных домой, либо отправить жить в деревню, где их принимали к себе в дом крестьяне. Вальзеру, среди прочих, предложили отправиться домой. Но своего дома у него не было, а сестра не согласилась жить вместе с ним. Ехать к крестьянам он категорически отказался. Его перевели против желания в Херизау, как предписывали нововведённые указания о том, что пациенты должны находиться на лечении по месту жительства. Здесь Вальзер перестал быть писателем, поселился на правах сумасшедшего, по его собственному выражению. Но не только усталость заставила его отказаться от писательства: с приходом к власти национал-социалистов Вальзер лишился публикаций в разделе фельетонов в немецких газетах, на гонорары от которых он пытался жить.

Герман Гессе как-то сказал, что «если бы такие писатели, как Роберт Вальзер, принадлежали к «ведущим умам», войны не случилось бы». Можно строить догадки, что именно он имел в виду, но очевидно, что эта фраза имела для Гессе политический смысл. Отказ самого Вальзера работать, отчуждение, абсолютное неучастие в политических разговорах – такая пассивность, в каком-то смысле, радикальней прямой критики. Это и подразумевал Гессе, произнося свою сентенцию. Нет смысла искать в текстах Вальзера критики общества, потому что его отношение к силе, к власти выражается не в сопротивлении и не в нейтралитете, а в нейтрализации самого понятия «власть». Невмешательство – не более чем молчаливая поддержка стороны силы, и оба писателя, Вальзер и Гессе, живя в нейтральной Швейцарии между двумя мировыми войнами, об этом отлично знали.

Если позиция Гессе, активного деятеля сопротивления, вполне однозначна, то о позиции Вальзера такого сказать нельзя. Уже одно выражение «ведущий ум», само собой разумеющееся для Гессе, в отношении Роберта Вальзера теряет всякий смысл. «Ведущий» по-немецки – «der führende» – от того же корня, что и фюрер. Через полвека после Гессе другой писатель, тоже нобелист, сказал о Якобе фон Гунтене (альтер эго Вальзера из одноимённого романа), что этот

персонаж – типичный потенциальный наци. Где один читатель видит у Вальзера выражение одной идеи, другой видит выражение её прямой противоположности. Однако противоположности отличаются друг от друга только знаком. Место Вальзера на этой шкале располагается где-то в пределе нуля: там, откуда идёт отсчёт всех иерархий и там, где иерархии теряют смысл. «Замок» Кафки – роман об иерархиях, их бессмысленности и об уходе от них – во многом обязан Вальзеру.

Главным свойством прозы Вальзера, пестрящей колоритными неологизмами, неправильностями, перегруженным синтаксисом, раздутыми фразами, тем не менее, является её неокрашенность, ненаправленность. Как поэзия Гёльдерлина, в которой сосуществует столько смыслов, что любой интерпретатор неизбежно сбивается на разговор о себе, проза Вальзера нейтральна, пока не вовлечена в интерпретацию: как химическое вещество, реагирующее на среду, в которую его помещает экспериментатор. Потому интересные интерпретации получаются не у тех, кто действует только методологически, а у тех, кто не лишён фантазии, кого чтение подталкивает к собственному творчеству. Недаром лучшее о Вальзере сказано писателями: Кафкой, Музилем, Беньямином, Канетти и позднее В.Г.Зебальдом и Эльфридой Елинек. Тенденциозные же трактовки прозы Вальзера невыносимо скучны. В семидесятые годы, например, в Германии было сделано несколько попыток интерпретировать Вальзера в марксистском ключе, как защитника рабочего движения. Нет ничего проще, чем прочесть, скажем, рассказ «Тобольд» как пародию на аристократию. Во вложенном в рассказ «Трактате» как привычки, так и внешность аристократов обобщены до полного абсурда, то есть, казалось бы, должны читаться как пародия, однако читаются скорее как отказ Тобольда рассказывать свои действительные наблюдения. Этот отказ может быть продиктован лояльностью, на которой Тобольд неоднократно настаивает. Но то, что он посылает трактат в газету свидетельствует, казалось бы, против его лояльности, а тем более – сам факт написания рассказа, обрамляющего «Трактат». В результате рассказ оказывается хитрым лабиринтом, в котором всякое утверждение – о двух концах. Схема лабиринта та же, что и в следующем отрывке: «Уничтожающий взгляд был мне, несчастному, наказанием по заслугам, хотя это ещё далеко не означало, что я, несчастный, был вынужден признать себя так уж целиком уничтоженным». Лакей и аристократка – это то иерархическое соотношение, в котором Тобольд и дама занимают соответствующие позиции, но Тобольд в позиции лакея стоит как бы рядом с собой: пусть это не игра, но его связывает только соглашение, которое он может расторгнуть. Он добровольно испытывает на себе обязательства лакея, не становясь лакеем как таковым. В этом Тобольд находит удовольствие. По сути, это такой же контракт как тот, что заключает Северин с Вандой у Захер-Мазоха, с той разницей, что у Вальзера исключён момент исполнения, и желание без конца заряжает воздух. Кстати, как и Захер-Мазох, Вальзер пишет о реально пережитом: в 1905г. он действительно несколько месяцев был слугой в замке Дамбрау, где оказался после окончания школы для слуг, послужившей ему материалом к роману «Якоб фон Гунтен».

Быть лакеем не значит работать. Для Вальзера это был опыт существования, примерка жизни, эксперимент по изучению власти в абсолютной иерархии

соотношения «слуга/хозяин». «История Хельблинга» (1913 г.) рассказывает о том, чего Вальзер всячески пытался избежать. Работа в конторе, ожидание конца дня и выходных, безрадостная помолвка: жизнь ничем не выделяющегося служащего равносильна смерти. Заботы Хельблинга пусты, жизнь его сводится к несуществованию, и рассказ заключается мечтой об уничтожении мира. В молодости Вальзеру пришлось некоторое время работать служащим в банке, переписчиком бумаг. В то же самое время он пытается сделать карьеру писателя, в 1905г. переезжает в Берлин и завязывает через брата, театрального художника Карла Вальзера, знакомства с берлинской богемой. Ему удаётся написать и издать три романа, которые продаются, но с трудом, хоть и обращают на себя внимание в писательской среде. Вальзер приходит к выводу, что не состоялся как писатель, и в 1913 г. уезжает обратно в Швейцарию. И это – только первый крах из той истории упадка, который представляет собой жизнь писателя. Не развитие мастерства, а последовательное отстранение от писательства делает Вальзера по-настоящему неповторимым автором. Через несколько лет после возвращения в Швейцарию его начинает мучить психосоматическая судорога руки, вызванная, как он говорит, ненавистью к перу. Чтобы преодолеть спазм, он разрабатывает «карандашную систему»: пишет карандашом микроскопическими буквами на обратной стороне счетов, полях газет, обрезках картона. С этого момента он уже не пишет романов, рассказов и т.д., а пишет только «написанное», точнее – «нацарапанное», «накарябанное», у него богатый набор слов для своей «писанины», которую он всячески избегает называть литературой, а себя – писателем, предпочитая «Schreiber»: писака, писец, переписчик. Вальзер придумал способ писать, не выходя за границы собственно потенциальности: карандашные «каракули» – только потенциально книги. Потому каждое отдельное произведение, написанное в карандашной системе, менее важно, чем сама эта система. Как Кафка, Вальзер был и писателем, и писарем. Но если Кафка служил днём, а писал ночью, то Вальзер, пусть дорогой ценой, преодолел такое разделение. Копирование и писательство слились для него воедино. Готовя текст к публикации, Вальзер переписывал его начисто пером, каллиграфическим почерком. Перо больше не доставляло ему таких мучений, как раньше. В 1924-28гг., до кризиса, приведшего его в клинику Вальдау, Вальзер написал множество фрагментов разной длины и в разных жанрах. Рассказы «Маскарад», «Как я провёл воскресенье» и «Деревенская история» написаны в это время. Поздние рассказы Вальзера напоминают сдуваемые ветром листки, лёгкие оттиски мира, которые «выглядят, как гравюра, совершенно ненатурально». В них отсутствует всякое понятие о силе, даже силе притяжения. Остаётся одна сила – ветер, грозящий поднять в воздух и унести вдаль. Роберта Вальзера можно смело назвать самым невесомым швейцарским писателем минувшего века.

Анна Глазова

ИСТОРИЯ ХЕЛЬБЛИНГА

Меня зовут Хельблинг, я сам рассказываю свою историю, потому что больше никто её, скорее всего, не запишет. Сегодня, когда всё человечество стало такое умудрённое опытом, не очень удивительно, когда кто-нибудь, как я, садится за стол и записывает собственную историю. Она короткая, моя история, потому что я ещё молод, так что у неё пока нет конца: мне ведь, по-видимому, предстоит ещё долго жить. Особенно примечательно во мне то, что я совершенно, почти чересчур обыкновенный человек. Я – один из многих, и вот это-то, мне кажется, странно. Мне кажется, что многие – это странно, и я всё время думаю: «Что они все делают, чем занимаются?» Я просто растворяюсь в массе этих многих. Каждый полдень, когда часы бьют двенадцать, я выхожу из банка, в котором работаю, и спешу домой, и все они спешат со мной рядом, один пытается обогнать другого, другой пытается шагать шире других, но невольно думаешь: «Все они попадут домой». И действительно, все они приходят домой, потому что среди них нет необычного человека, на чью долю мог бы выпасть успех не найти дороги домой. Я среднего роста и потому у меня часто есть повод порадоваться, что я ни примечательно низок, ни исключительно высок. У меня, таким образом, есть мера, выражаясь книжным языком. За обедом я всякий раз думаю, что мог бы для разнообразия обедать где-нибудь в другом месте, где застолье веселее, а еда не хуже, а, может быть, и лучше; а потом думаю о том, где же такое место, где еда получше сопровождается разговором пооживлённее? Я перебираю в памяти все городские кварталы и известные мне дома, пока не натыкаюсь на что-то, что мне может подойти. Я и вообще много внимания уделяю собственной персоне, более того – я всегда думаю только о себе, забочусь только о том, чтобы мне было так хорошо, как только возможно. Поскольку я из хорошей семьи, мой отец – уважаемый коммерсант из провинции, то многие объекты, которые пытаются достичь моей близости и рассчитывают на мои приставания, вызывают у меня всяческие возражения: например, они для меня недостаточно тонки. Меня не покидает ощущение, что во мне есть что-то драгоценное, чувствительное и хрупкое, что нужно беречь, а другие мне далеко не кажутся такими уж ценными и тонко чувствующими. Откуда у меня такие идеи! Я как будто недостаточно грубо сработан для этой жизни. Во всяком случае, мне это мешает отличиться, потому что когда мне, например, нужно выполнить поручение, я сначала полчаса, а то и целый час его обдумываю. Я размышляю и мечтаю про себя: «Ну что, приступить, или ещё немножко поколебаться, прежде чем приступить?» – а между тем некоторые из моих коллег, я чувствую, уже замечают, что я – человек нерешительный, в то время как заслуживаю слыть всего лишь человеком чувствительным. Ах, как превратно о нас судят. Поручения меня пугают, заставляют возить ладонью по крышке конторки, пока не обнаружится, что за мной уже насмешливо наблюдают, или, бывает, я тереблю себе щёки, хватаюсь за подбородок, провожу пальцами по глазам, тру нос и убираю волосы со лба, как будто задание состоит в этом, а не в том, что написано на листке бумаги, распростёртом передо мной на конторке. Может быть, я ошибся с профессией, но я искренне верю, что у меня в любой профессии вышло бы так же, я бы так же себя вёл и так же всё испортил. Из-за так называемой нерешительности я не

пользуюсь уважением. Меня зовут мечтателем и соней. О, у людей есть талант навешивать человеку незаслуженные ярлыки. Но в одном они правы: работу я не очень люблю, потому что воображаю, что она не слишком занимает и привлекает мой дух. Тут, правда, возникает проблема. Не знаю, есть ли он у меня вообще – дух, я не очень на это рассчитываю, поскольку мне зачастую приходилось убеждаться в том, что я веду себя глупо, когда мне дают поручение, требующее ума и сноровки. Это меня озадачивает и заставляет думать о том, не отношусь ли я к тем странным людям, которые умны, только пока сами себя в этом убеждают, и перестают быть умны, когда нужно на деле проявить ум. Мне приходит на ум множество здравых, прекрасных, изобретательных вещей, но как только их нужно применить на практике, они все куда-то улетучиваются, а я стою столбом, как незадачливый ученик. Поэтому мне не очень нравится моя работа: с одной стороны, в ней слишком мало места для моего ума, с другой стороны, она становится мне не по плечу, как только в ней появляется хоть намёк на что-то требующее ума. Когда думать не требуется, я думаю, а когда вынужден думать, я этого делать не в состоянии. По этой двойственной причине я всегда покидаю помещение конторы за несколько минут до полудня, а прихожу всегда на несколько минут позже других; за это я пользуюсь довольно дурной славой. Но мне это настолько безразлично, настолько несказанно безразлично, что они там про меня говорят. Я, например, отлично знаю, что они держат меня за дурака, но я чувствую, что если у них есть повод так думать, я никак не могу им в этом помешать. Я ведь и правда выгляжу по-дурацки – лицо, манеры, походка, речь и весь мой вид. Нет никаких сомнений, что глаза у меня, к примеру, выражают некоторое тупоумие, что вводит людей в заблуждение и заставляет сделать вывод, что мне не достаёт сообразительности. Всё моё существо несёт в себе что-то нелепое, а вдобавок тщеславное, мой голос звучит странно, как будто я говорю, не сознавая, что и действительно говорю. Меня окутывает сонливость, словно я не до конца проснулся, и это заметно, как я уже упомянул. Волосы я всегда гладко зачёсываю, и это, возможно, ещё усугубляет выражение упрямой и беспомощной глупости у меня на лице. Так я и стою за конторкой, пялясь по полчаса то в окно, то в помещение. Перо, которым я должен бы писать, лежит в моей досужей руке. Я переминаюсь с ноги на ногу, так как большей свободы движения мне не полагается, смотрю на коллег, не в состоянии понять, что в их глазах, бросающих мне косые взгляды, я – бессовестный жалкий бездельник, и улыбаюсь в ответ, если ловлю чей-то взгляд, продолжая безмысленно мечтать. Если бы я это мог: мечтать! Нет, у меня нет об этом никакого представления. Никакого! Я часто думаю, что если бы у меня была куча денег, я бы бросил работу, и, как ребёнок, радуюсь, что смог такое подумать, когда додумываю мысль до конца. Жалования, которое мне выплачивают, мне кажется слишком мало, и я даже не думаю о том, чтобы сказать себе, что за мой труд и этих-то денег слишком много, хоть и знаю, что результат моего труда практически нулевой. Странно, у меня совершенно нет таланта к стыду. Когда кто-нибудь, например, начальник, орёт на меня, я страшно возмущаюсь, потому что мне оскорбительно, что на меня орут. Я этого не переношу, пусть и убеждён, что заслужил выволочку. Я думаю, что сопротивляюсь упрёкам начальника, чтобы чуть-чуть затянуть разговор, если удастся, на полчасика, ведь тогда – из рабочего дня вычеркнуто целых полчаса,

т.е. на полчаса меньше скуки. Если коллеги считают, что мне скучно, то они правы: мне действительно ужасно скучно. Ведь ничего же интересного! Скучать и думать о том, как бы сделать перерыв в скуке: в этом, на деле, и состоит моя работа. Я так мало успеваю, что и сам думаю: «И правда, ты ничего не успеваешь!» Иногда я не могу справиться с зевотой, совершенно не преднамеренно, так что рот сам собой разевается к потолку, а рука неторопливо поднимается, чтобы прикрыть эту дыру. После этого мне может заблагорассудиться покрутить ус или постучать всей длиной пальца по конторке, прямо как во сне. Иногда всё это мне кажется бестолковым сном. Тогда я жалею себя до слёз. Но когда подобие сна рассеивается, мне хочется кататься по полу, упасть и удариться о край конторки, чтобы насладиться пожирающим время ощущением боли. Я не лишён душевной боли о своём состоянии, потому что иногда, навострив ухо, я слышу тихий, жалобный звук, похожий на голос матери, которая ещё жива и которая всегда считала, что из меня выйдет толк, в отличие от отца, у которого на этот счёт были куда более строгие правила. Но душа – слишком тёмная и бесполезная вещь, так что не думаю, что её высказываниями надо дорожить. Я ни во что не ставлю крики души. Я думаю, что человек только от скуки соглашается внимать всхлипам души. Когда я стою в конторе, у меня медленно начинают деревенеть конечности, так что хочется всю эту древесину разом поджечь: мебель и человек с течением конторского времени сливаются воедино. Время: да, тут есть над чем задуматься. Оно проходит быстро, но во всей свой быстроте вдруг словно сгибается дугой, вот-вот переломится, и вот уже будто и нет никакого времени. Иногда слышно, как шелестит время – как стая вспорхнувших птиц, или, например, в лесу: в лесу я всегда слышу шорох времени, и как там хорошо, потому что не надо думать. Но обычно всё наоборот: как мертвенно-тихо! Разве это может быть человеческой жизнью, когда человек не чувствует, что продвигается вперёд, к концу? Собственная жизнь на данный момент кажется мне достаточно бессодержательной, а уверенность в том, что она такой и останется, приводит к какой-то бесконечности, которая повелевает уснуть и не исполнять даже самых необходимых обязанностей. Так я и делаю: я делаю вид, что работаю не покладая рук, только когда чувствую несвежее дыхание шефа за своей спиной, когда он хочет уличить меня в безделии. Воздух, который он выдыхает, выдаёт его с головой. Этот хороший человек вносит в мой день некоторое разнообразие, поэтому я отношусь к нему вполне хорошо. Но что же заставляет меня так мало уважать свой долг и предписания? Я маленький, бледный, стеснительный, слабый, элегантный, капризный парнишка, полный безалаберной чувствительности, и если жизнь пойдёт наперекосяк, я этого не перенесу. Неужели меня не пугает мысль, что меня уволят, если я буду продолжать в том же духе? Как видно – нет, и как, опять же, видно – очень даже! Я чуть-чуть побаиваюсь и чуть-чуть не страшусь. Может быть, мне не хватает ума бояться, да, мне почти кажется, что детское упрямство, которое я пускаю в ход, чтобы добиться в первую очередь собственного удовлетворения, забывая об окружающих, – признак глупости. Однако: это соответствует моему характеру, который всё время диктует мне вести себя немного необычно, даже если в ущерб себе. Например, я в нарушение правил ношу в контору малоформатные книжки, разрезаю и читаю их, не находя при том удовольствия в чтении. Но это выглядит как изящное непослушание образованного человека,

претендующего на большее, чем окружающие. Я именно хочу быть чем-то большим, с рвением гончего пса стремлюсь к исключительности. И вот, я читаю книгу, а ко мне подходит коллега и задаёт вопрос, который, возможно, вполне уместен: «Что это вы там читаете, Хельблинг?» Меня такой вопрос раздражает, потому что в моём случае прилично продемонстрировать раздражительность, чтобы отпугнуть доверчивого вопрошателя. Я напускаю на себя очень важный вид, когда читаю, смотрю по сторонам на тех, кто наблюдает, как мудро кто-то занимается самообразованием, с великолепной медлительностью разрезаю страницы, даже совсем не читаю, но довольствуюсь позой погружённого в чтение. Таков я есть: головокружительно расчётлив в стремлении произвести эффект. Тщеславен, но с какой-то удивительно дешёвой непритязательностью при всём тщеславии. Одежда у меня бесформенная, но я часто меняю костюм, потому что мне нравится показывать коллегам, что у меня много разных нарядов и что я обладаю некоторым вкусом в сочетании цветов. Мне нравится всё зелёное, потому что этот цвет мне напоминает о лесе, а жёлтое я ношу в ветреные, лёгкие дни, потому что жёлтое подходит к ветру и танцу. Может быть, я в этом ошибаюсь, я даже уверен, что ошибаюсь, меня ведь каждый день ловят на ошибках. В конце концов, сам начинаешь верить в то, какой ты простофиля. Но какая разница, глупец ты или уважаемый человек, если дождь падает на голову одинаково как ослу, так и респектабельной фигуре. А тем более – солнце! Я счастлив идти домой в двенадцать дня в лучах солнца, а если идёт дождь, я раскрываю над собой обширный, пузатый зонт, чтобы не промочить шляпу, которую очень ценю. Со своей шляпой я обращаюсь ласково, и всякий раз, когда я прикасаюсь к ней с привычной нежностью, мне кажется, что я всё же счастливый человек. Особенно радостно водрузить шляпу поверх безупречного пробора, когда наступает вечер после рабочих часов. Это – неизменно любимое завершение дня. Моя жизнь состоит из сплошных мелочей, я себе это всё время повторяю, но всё равно не перестаю удивляться. Я никогда не считал нужным восхищаться великими идеалами человечества, потому что настроен скорее критически, чем восхищённо, за что мне моё же почтение. Я считаю унизительным повстречаться с длинноволосым идеалистом в сандалиях на босу ногу, в кожаном фартуке и с цветами в волосах. В таких случаях я смущённо улыбаюсь. Смеяться вслух, чего в таких случаях хочется больше всего, нельзя, да и, на самом деле, тот факт, что приходится жить среди людей, которым не по вкусу гладкий, как у меня, пробор, скорее способен разозлить, чем вызвать смех. Я охотно, а потому – часто злюсь, как только выдастся случай. Я отпускаю хамские замечания, хотя наверняка не обязательно срывать злобу на других, тем более что я знаю, что значит страдать от чужих насмешек. Но в том-то и дело: я не наблюдателен, не выношу из жизни уроков и до сих пор веду себя так, как в тот день, когда кончил школу. Во мне много школьничества и, наверное, так и останется на всю жизнь. Должны быть, наверное, такие люди, которые не способны к самосовершенствованию и у которых нет ни капли таланта учиться на примере других. Нет, я не занимаюсь самообразованием, потому что считаю ниже своего достоинства поддаваться жажде образования. Кроме того, я и так уже достаточно образован, чтобы нести трость с некоторой элегантностью, уметь завязывать галстук, держать ложку правой рукой и говорить в ответ на соответственный вопрос: «Спасибо, да, вчера вечером

было очень мило!» Так зачем мне дополнительное образование? Положа руку на сердце: я думаю, в моём случае образование столкнулось бы с совершенно неподходящим кандидатом. Мне до смерти хочется денег, удобств и почестей, вот и вся жажда образования! По сравнению с землекопом я кажусь себе страшно возвышенным, пусть он без труда смог бы спихнуть меня мизинцем левой руки в яму, где я бы весь измазался в грязи. Сила и красота бедняков в скромных одеждах не производят на меня впечатления. Глядя на таких людей, я всякий раз думаю о том, как мы хорошо устроились в нашей позиции превосходства, по сравнению с этими испитыми и изношенными простаками-рабочими, и сочувствие вовсе не закрадывается в моё сердце. Где у меня сердце? Я забыл, что оно у меня есть. Это, конечно, печально, но печалиться мне кажется некстати. Печаль уместна, если случилась денежная растрата, или новая шляпа не к лицу, или акции падают на бирже, да и тогда ещё нужно сначала разобраться, печаль ли это, и при внимательном рассмотрении станет понятно, что нет, не печаль, всего лишь преходящее огорчение, которое в два счёта рассеивается, как тучка. Это так – нет, ну как же это выразить это словами – это так поразительно странно, не иметь никаких чувств, даже не знать, что это значит, чувствовать. Что касается собственной персоны, чувства есть у каждого, но это по сути недостойные, а в отношении общественности – самонадеянные чувства. Но чувства к ближнему? Иногда всё же возникает желание задать себе этот вопрос, так что начинаешь чувствовать слегка ностальгическое желание быть хорошим, отзывчивым человеком, но когда же найти время? В семь утра? В пятницу, а потом всю субботу подряд я думаю о том, чем бы заняться в воскресенье, потому что в воскресенье обязательно надо чем-нибудь заниматься. Я обычно никуда не хожу в одиночку. Как правило, я присоединяюсь к компании молодых людей, как люди обычно присоединяются, это очень просто, просто идёшь вместе со всеми, хотя всем известно, что ты довольно скучный компаньон. Например, я еду кататься на пароходе по озеру, или иду на прогулку в лес, или еду по железной дороге в отдалённые красивые места. Я часто приглашаю девушек танцевать и знаю по опыту, что нравлюсь девушкам. У меня белое лицо, красивые руки, элегантный фрак с развевающимися фалдами, перчатки, перстни, трость с серебряным набалдашником, начищенные туфли и нежный, какой-то воскресный нрав, странный голос и горькая складка около рта, что-то такое, для чего я не могу найти подходящего слова, но что делает меня привлекательным в глазах девушек. Когда я говорю, слова звучат так, как будто их произносит человек значительный. Чванство нравится, в этом нет никаких сомнений. Что же касается танцев, то я танцую именно так, как танцуют те, кто только что закончил танцевальные классы: ловко, изящно, с точностью, но слишком быстро и без огонька. Я танцую с прилежностью и энергично, но не грациозно. Откуда взяться грации! Но я страстно люблю танцевать. Во время танца я забываю, что я – Хельблинг, потому что целиком превращаюсь в счастливое кружение. Контора и все тамошние мучения не всплывают в памяти. Меня окружают раскрасневшиеся лица, запах и блеск девичьих платьев, девичьи глаза смотрят на меня, я лечу: разве можно представить себе большую радость? Ну, так вот же: значит, я в состоянии испытывать радость хотя бы один раз в круговороте недели. Одна из девушек, которых я обычно сопровождаю, моя невеста, но она плохо обращается со мной, хуже, чем другие. К тому же,

она мне ничуть не верна, как я замечаю, и наверное, вовсе меня не любит, а я, люблю ли я её? У меня много недостатков, о которых я откровенно рассказал, но тут все мои изъяны и недостатки словно бы искупаются: я люблю её. Моё счастье, что я её люблю и часто из-за неё падаю духом. Летом она даёт мне свои перчатки и розовый зонтик из шёлка, и я покорно несу эту поклажу, а зимой я семеню вслед за ней по снегу с её коньками в руках. Я не понимаю любви, но ощущаю её. Добро и зло ничего не имеют против любви, ведь она ни о чём другом не подозревает, эта любовь, кроме как о самой себе. Как бы это получше сказать: я никчёмный и пустой человек, но для меня ещё не всё потеряно, потому что я действительно способен к любви и верности, хоть и имею достаточно поводов быть неверным. В лучах солнца я плыву с ней под голубым небом по озеру в лодке, гребу, улыбаюсь, а она тем временем как будто скучает. Ну, я ведь и действительно скучный тип. Её мать держит маленькую, жалкую пивную с несколько дурной репутацией, где я иногда просиживаю целые воскресенья, молча и наблюдая за ней. Иногда она нагибается к моему лицу, чтобы я мог запечатлеть поцелуй у неё на губах. Такое милое, милое личико. У неё на щеке есть старый, зарубцевавшийся шрамик, который чуть-чуть перекашивает ей рот, но только добавляет прелести. У неё небольшие глазки, и она хитро ими помаргивает, как будто хочет сказать: «Подожди, я тебе ещё покажу!» Она часто подсаживается ко мне на жёсткий, как в любой пивной, диван и шепчет мне на ухо, что это так приятно, быть обручённой. Мне чаще всего нечего ей сказать, потому что я боюсь ляпнуть что-нибудь не к месту, так что я всё больше молчу, хоть и очень хочу что-нибудь сказать. Однажды она подставила мне своё маленькое, душистое ушко: а вдруг я хочу сказать что-нибудь, о чём можно говорить только шёпотом? Я, дрожа, сказал, что не знаю, что сказать, и тогда она дала мне пощёчину и засмеялась, но не по-доброму, а с холодностью. С матерью и младшей сестрой у неё плохие отношения, и она не хочет, чтобы я дружил с малышкой. У матери красный нос от пьянства, она быстра, мала ростом, любит подсаживаться к мужчинам. Но моя невеста тоже садится за стол к мужчинам. Однажды она мне сказала: «Я уже не девушка», причём таким естественным тоном, что я не смог ничего возразить. Что я мог ей на это сказать? С другими девушками я могу проявить удаль, даже остроумие, а с ней сижу молча, смотрю на неё и жадно наблюдаю за всеми её ужимками. Каждый раз я сижу до закрытия, а то и дольше, пока она не отправит меня домой. Когда её нет, ко мне за стол садится мать и пытается выставить передо мной дочь в невыгодном свете. Я только отмахиваюсь и усмехаюсь. Мать ненавидит дочь, и очевидно, что они ненавидят друг друга, потому что стоят друг у друга на пути в достижении своих целей. Они соперничают, обе хотят заполучить мужчину. Когда я сижу весь вечер на диване, то все люди в пивной замечают, что я жених, и каждый обращается ко мне со словами поощрения, хотя мне это в достаточной мере безразлично. Малышка, которая ещё ходит в школу, читает рядом со мной учебник или пишет крупные, высокие буквы в прописи, а потом протягивает мне, чтобы я проверил написанное. До этого я не обращал внимания на детей, а теперь вижу, как они интересны, эти подрастающие существа. Тому виной любовь. Честная любовь делает человека лучше, будит в нём чуткость. Зимой она говорит мне: «Хорошо будет весной, когда мы будем гулять в саду», – а весной: «Мне с тобой скучно». Она хочет жить в замужестве в

большом городе, чтобы увидеть свет. Театр, маскарады, красивые костюмы, вино, весёлые развлечения, смеющиеся, разгорячённые люди – это ей нравится, восхищает её. Я, в общем, тоже восхищаюсь, но как она это всё собирается делать, я не понимаю. Я ей сказал: «Может быть, следующей зимой меня уволят!» Она широко раскрыла глаза: «Почему?» Что я должен был отвечать? Я же не могу описать ей весь свой характер на одном дыхании. Она стала бы меня презирать. До сих пор она думала и думает, что я человек с некоторыми способностями, пусть немножко смешной и скучный, но человек с положением. Когда я скажу ей: «Ты ошибаешься, моё положение чрезвычайно шаткое», у неё не будет никаких причин желать продолжения наших отношений, потому что это разрушит её надежды. Я оставляю всё как есть, я мастер спускать дело на тормозах, как говорится. Может быть, я добился бы успеха, будь я учителем танцев, ресторатором или режиссёром, или если бы занимался другим делом, которое связано с развлечениями, потому что такой уж я человек, такой танцующий, скользящий, делающий па, лёгкий, расторопный, тихий, всё время кланяющийся и тонко чувствующий, который имел бы успех на месте трактирщика, танцора, антрепренёра или кого-то вроде портного. Когда мне случается сказать кому-нибудь комплимент, я этому рад. Ведь это о многом говорит? Я делаю поклоны, даже когда поклонов обычно не делают – разве что глупцы и любители рассыпаться мелким бисером – так мне это занятие по душе. Для серьёзной мужской работы у меня не хватает ни ума, ни сообразительности, ни слуха, ни остроты зрения, ни чувства. Это мне не близко, так далеко – дальше всего на свете. Я хочу извлечь прибыль, но во мгновение ока и не затруднительнее, чем по мановению руки. Обычно страх работы мужчине не к лицу, но меня он красит, он подходит мне, хоть это и скорбное платье, но на мне оно сидит так хорошо, что, пусть скроено убого, я всё равно готов сказать: «Мне по фигуре», ведь и так каждый видит, что сидит безупречно. Страх работы! Но не буду больше об этом. Я всё время виню климат, влажный приозёрный воздух в том, что не могу взяться за работу и ищу в настоящий момент, ведомый этой идеей, места где-нибудь на юге или в горах. Я мог бы управлять гостиницей или фабрикой или заведовать кассой небольшого банка. Солнечный, открытый простор должен быть в состоянии позволить дремлющим во мне талантам развиться. Фруктовая лавка где-нибудь на юге тоже сгодилась бы. В любом случае, я человек, которому всегда кажется, что смена внешних обстоятельств способна изменить к лучшему обстоятельства внутренние. Другой климат обусловил бы другое меню обедов; возможно, мне именно этого и не хватает. Может быть, я болен? Мне не хватает многого, со мной всё не так. Может быть, я несчастен? Или обладаю необычной конституцией? Не болезнь ли то, что я постоянно задаюсь подобными вопросами? Во всяком случае, это не очень нормально. Сегодня я опоздал в банк на десять минут. Я уже не в состоянии приходить во время, как другие. Вот бы остаться совершенно одному на этом свете, только я, Хельблинг, и больше ни одного живого существа. Ни солнца, ни цивилизации, только я, нагой, на высокой скале, ни ветра, ни даже волны по воде, ни самой воды, ни ветра, ни улиц, ни банков, ни денег, ни времени, ни дыхания. Тогда, по крайней мере, не будет страха. Не будет ни страха, ни вопросов, и я никогда уже не опоздаю. Я бы представлял себе, что лежу в постели, вечно в постели. Так было бы, наверное, лучше всего!

1913

ТОБОЛЬД

Раньше меня звали Петер, поведал мне однажды странный тихий человек по имени Тобольд, и продолжил рассказ: Я сидел в закутке, писал стихи и мечтал о великой славе при жизни, о женской любви и прочих великих и прекрасных вещах. По ночам я не спал, но был рад бессоннице. Всегда бодр и полон мыслей я был. Природа, тайные тропинки сквозь луга и леса очаровывали меня. Я целыми днями фантазировал и предавался мечтам; и тем не менее, никогда не знал, к чему меня так тянуло. Как будто знал и одновременно – не знал. Но эту неопределённую тягу я страстно любил и никакой ценой не согласился бы с ней расстаться. Я мечтал об опасности, величии и романтике. Стихи, которые я сочинял, будучи Петером, я позднее издал под именем Оскара, когда представился подходящий случай и подошло время. Иногда я, как сумасшедший, смеялся над собой, был в настроении и отпускал шутки. В качестве господина Весельчака, т.е. в те минуты отличного расположения духа, я звал себя Венцель. В этом имени словно бы заключается что-то весёлое, юмористическое, миролюбивое и комическое. В качестве Петера я однажды окончательно отчаялся и с тех пор больше не писал стихов. Я внушил себе, что должен стать не меньше чем полководцем. Юношеские безумства. Я утонул в полнейшем унынии. Моим товарищам в те времена тоже приходилось несладко. Франц хотел стать великим актёром, Герман – виртуозом, а Генрих – пажом. Но они осознали всю смехотворность этих мечтаний, пали с постаментов смелых фантазий, стали солдатами и пошли на войну. А может быть, они стали мирными гражданами и служащими, точно не знаю. Я же, со своей стороны, раздираемый бесконечной тоской о том, что, должно быть, не гожусь для высоких предназначений в жизни, бросился в лес, который казался мне мил и пригож, и стал с рыданиями и мольбами призывать, в жажде скоропостижности, смерть свою, и добрая, милосердная смерть вышла из-за еловых стволов в завуалированном виде, чтобы задушить меня в объятиях. Бедная несчастная моя грудь проломилась, и погибло моё существо, но из умерщвлённого восстал новый человек, и этого нового человека впоследствии назвали Тобольд, и вот он стоит рядом с тобой и ведёт свой рассказ. В качестве Тобольда я предстал перед собой в возрождённом виде, да и действительно переродился. Я посмотрел на мир другими глазами; свежий взгляд поддержал во мне нежданно-негаданно силу и мочь. Надежды и перспективы, о которых я и не помышлял, бросились ко мне с объятиями и поцелуями, и жизнь вдруг распростёрлась перед отчасти вновь обретённой, отчасти заново сотворённой душой. Я прошёл смерть насквозь, чтобы очутиться в жизни. Потребовалось умереть, прежде чем я оказался способен жить. Совершив исход непосредственно из ужаснейшей утомлённости жизнью, я достиг лучшего понимания и наслаждения ею. В образе Петера я не обладал жизненной мыслью и настоящим восприятием жизни, и потому я умер. Как утомительна жизнь, когда в ней нет несущей, возносящей мысли, когда не знаешь созерцания, рассудительности, которая способна примирить с разочарованиями, приносимыми жизнью. Славе и тому подобным вещам я больше не уделял внимания, перестал замечать великое. Я нашёл любовь к мелкому и неважному, и, вооружённый этим видом любви, я стал воспринимать жизнь как нечто

прекрасное, справедливое и доброе. От честолюбия я отказался с радостью. Однажды я стал лакеем и в таком качестве поступил к графу в замок.

Кстати сказать, я довольно долго носился с этой затеей, с этой игривой мыслью, которая, правда, постепенно переросла в идею фикс. С господином очень изысканных манер, умным и уважаемым, я, как сейчас помню, имел при случае животрепещущий разговор на этот счёт. Какой безумной ни казалась или ни была в действительности эта идея, она засела у меня в голове и не давала покоя. Идеи умирают, когда реализуются, символизируются; животрепещущая мысль рано или поздно воплощается, превращается в жизненную действительность. «К лакейству, как мне кажется, вы мало приспособлены», – так сказал мне вышеупомянутый очень умный господин изысканных манер, на что я счёл себя вправе ответить: «Неужто необходимо быть приспособленным? Я, как и вы, убеждён в своей неприспособленности. Тем не менее, я намереваюсь добиться осуществления этой странной затеи, потому что это дело сокровенной чести, и этой сокровенной чести следует доставить удовлетворение. То, что я намерен осуществить в отдалённом будущем, в один прекрасный день может и обязано совершиться. Вопрос о моей подходящести кажется мне второстепенным. Вопрос, глупость это или нет с моей стороны, представляется мне таким же второстепенным, как и первый. Тысячам, а может быть, и десяткам тысяч людей приходят в голову идеи, но они их отбрасывают, потому что считают соответственное воплощение слишком хлопотным, неудобным, безрассудным, глупым, трудновыполнимым или бесполезным. По моим же понятиям, предприятие не лишено здравого смысла и полноценно уже в том случае, если требует известной смелости. Вопрос, имеет ли предприятие шанс на удачу, кажется мне, опять же, второстепенным. Вес и решающее значение имеет только то, сколько смелости и твёрдой воли будет проявлено, и то, будет ли предприятие вообще когда-либо предпринято. Так что теперь я буду делать свою идею правдой, потому что только это способно меня удовлетворить. Разумность ни при каких обстоятельствах не делает меня счастливым, во всяком случае, пока нет. Разве Дон Кихот во всём своём сумасшествии и смехотворности не счастлив взаправду? Не могу усомниться ни на секунду. А жизнь без странностей и так называемых сумасшествий – разве это вообще жизнь? Тогда как рыцарь печального образа превращал в правду сумасшедшую идею рыцарства, я, со своей стороны, превращу в правду идею лакейства, что, несомненно такое же, если не большее, сумасшествие. Какая мне польза слушать разумные поучения из ваших уст? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, как говорится, и я, соответственно, собираюсь по возможности увидеть и поучиться на опыте и в действии». Вот что, среди прочего, я сказал в ответ господину, очень изысканно и остроумно улыбавшемуся словам, которые мне заблагорассудилось высказать.

Я читал Ведекинда и Верлена, а также посещал разнообразные вернисажи. Время от времени я носил сюртук и лакированные перчатки и захаживал в элегантные кофейни, что, хочу признаться, мне доставляло удовольствие. Мои писательские склонности приводили меня к людям, которые по причине высокоразвитой интеллектуальности задавали тон свету, представляя интересы

современного знания и современной культуры. Я повстречал всевозможных любезных и значительных людей; правда, при виде их и от знакомства с ними мне в первую очередь вспоминалось, что необходимо всерьёз поторапливаться, чтобы и самому наконец достичь какого-то значения. Некоторое время я вёл себя, как молодые люди, живущие по законам новейшей и отпетой моды; однако этот образ жизни меня не устроил, а только укрепил меня в решении сотворить из себя что-либо законченное и поступить в определённую школу. Чтением этого добиться не получилось бы; необходимо было сделать решительный шаг. Однажды поздним летом я вышел на железнодорожном полустанке, у которого меня ждал экипаж. «Вы Тобольд?» – спросил кучер, и поскольку я ответил утвердительно, мне было позволено забраться в салон. Со мной в повозку поднялась приятная мадемуазель, она же барышня. С этого всё и началось.

К началу, кроме того, относится следующая сценка: когда мы въехали в нашем экипаже, он же грубая телега, во двор замка (я впервые в жизни видел что-либо подобное, в смысле, двор замка), мадемуазель, она же горничная, с достопримечательной ловкостью и проворством спрыгнула с повозки и поторопилась подбежать к молодому господину в аристократическом зелёном облачении охотника, коему она с весьма грациозным, в некотором смысле старофранцузским книксеном и исполненным почтительности поклоном поспешно и изящней некуда поцеловала аристократически протянутую ручку. Целование рук меня, новичка в замке, настолько же смутило, насколько удивило. «До странности старомодные обряды у них тут», – как мне показалось, был я вынужден пробормотать себе под нос. Как вскоре после того выяснилось, изящный молодой господин, рука которого подверглась поспешному и верноподданническому поцелую, был секретарь, он же личный писарь графа, по происхождению датчанин, человек, о котором я при случае ещё кое-что порасскажу. А меня, предававшегося наблюдениям, из полезной или бесполезной задумчивости вырвал, наоборот, самым неизящным приказом хам и грубиян первейшего сорта: «Давайте!» Грубый неизящный хам был, как я тут же узнал, управитель, комендант или кастелян замка, поляк и гроза всей прислуге, который мне вначале никак не мог понравиться, но которого я впоследствии полюбил за грубость. Что мне оставалось, как не повиноваться с усердностью и дружелюбием в ответ на «давайте»? Кастелян был начальник, и баста!

Десятью, а то и меньше, минутами позже я стоял в просторных и прекрасных покоях, а напротив стоял в полумраке господин, которого я уже имел честь представить и который нам поэтому уже немного знаком, а именно – тот секретарь, нежный бледный датчанин, который с тихим датским выговором и утончённо-приглушённым голосом, как можно услышать, вероятно, только в замках, произнёс в мой адрес следующее: «Вы Тобольд, не так ли, и с сегодняшнего дня заступаете на службу к графу в качестве лакея. Надеемся, что вы будете усердны, добросовестны, точны, прилежны, вежливы, честны, трудолюбивы, обязательны и во всякий момент готовы выполнять приказ. Ваш внешний вид удовлетворителен, будем надеяться, что и вести себя вы будете соответственно. С настоящего момента вы должны стремиться к смягчению и изяществу во всех движениях.

Угловатость и шумливость в замке как были неугодны, так и останутся. Будьте любезны зарубить себе на носу. Помните: не следует поднимать голос, а жесты должны быть изящны и отточены. Отполируйте все шероховатости, если таковые ещё остались в вашей манере поведения. В первый же день проверьте, удаётся ли вам ступать по полу с крайней осторожностью. В этом отношении господин граф очень уязвим. Будьте расторопны, ловки, точны, внимательны и не шумите. В остальном же мой вам совет: изображайте покой и холодность. Вы всё это моментально освоите, поскольку, к счастью, не выглядите глупцом. Ступайте». Всё это было сказано тихим, полным благородства, почти усталым и сонным голосом. Я поклонился вполне соответственно атмосфере замка и с таким изяществом, как если бы жил в семнадцатом или восемнадцатом веке, и вышел вон на цыпочках.

Датчанин говорил в нос и прононсом, как пичужка. Совсем по-другому, чем кастелян, он же проклятый поляк, который говорил по-немецки так, словно презирал этот язык и пытался его всячески за это наказать. Но при этом он всё же был милый, хороший, добрый парень. Правда, он так занялся моим воспитанием, как меня в жизни никто не воспитывал. «Пойдите сюда, Тобольд», – говорил он каждую минуту, или: «Куда вы делись, Тобольд?» Он преследовал меня по пятам, как охотничий пёс. «Ну-ка, поторопитесь», – бросал он мне, или так: «Шибче, шибче, кому говорю!» «Когда я вас зову, Тобольд, – говорил он, – вы обязаны уже быть на месте, раз-два, поняли? А когда я ещё только собираюсь вас отослать, вы должны понять без слов и испариться, прежде чем я успею скомандовать. Быстрее ветра, прочнее стали! А если станете вешать нос, то мы оба пропали. Учитесь у меня, Тобольд, чтобы потом вы могли эти знания применить и реализовать. И не надо долго думать! Вы должны в любую минуту быть готовы ко всему, как огонь, однажды запалённый и теперь вечно полыхающий сам по себе. Всё! Шагом марш!» Такими и подобными фразами погонял он меня. Однажды он чуть было не дал мне пощёчину за то, что я курил в своей комнате вместо того, чтобы заниматься делом. Вломился в дверь как дьявол и словно бы совсем уже собрался меня обесчестить. Но я осторожно отвёл его руку, сверля при том его лицо взглядом красноречивее иной пламенной речи. Мы стояли совсем рядом, лицом к лицу, носом к носу, и когда я сказал: «Даже не думайте», он вдруг стал нежен и осмотрителен и даже чуть не расплакался. Чтобы целиком воспользоваться представившимся случаем, я тотчас же постучался к секретарю и обратился к нему, в ответ на вопрос, что мне угодно, с просьбой уволить меня, и по возможности немедленно, из замка и положить конец моей лакейской службе: «Я сыт по горло и ничего не желаю так горячо и незамедлительно, как со всей решимостью повернуться спиной к этому замку».

– И почему же? – спросили меня с изяществом и сдержанностью.

– Потому что кастелян человек грубый и потому что я не для того сюда приехал, чтобы сносить грубости, – ответил я с вызовом.

На что мне ответили не более как: «Нам не угодно вмешиваться в подобные дела, и мы вынуждены от всей души, но и со всей серьёзностью просить вас удалиться и снова спокойно приступить к работе. С кастеляном мы поговорим».

С проклятым грубияном поговорили; теперь мне было его почти жаль, потому что я на него пожаловался, хотя, возможно, в том и не было такой уж срочной нужды.

Парк и деревня источали очарование, и мало-помалу настала осень. Мне выдали ливрею, т.е. фрак, которым я теперь очень гордился. Мало-помалу я избавился от всякой робости и стал, напротив, вести себя с вызовом, самоуверенно и дерзко. Однажды камердинер ощутил, что вынужден, по причине оскорблённой чести, прочесть мне нотацию, причём в столовой зале и во время обеда, когда мы, все четверо слуг – кастелян, камердинер, первый и второй слуга – были заняты сервировкой. В течение приёма пищи всё происходило, естественно, чинно, благородно и в высоком стиле. Я как раз собирался поднять высокую стопку чистых тарелок и отважно отправиться с этой горой на ладони вкруг стола, за которым сидели и пировали господа. Камердинер, этот представитель кодекса пристойности в замке, увидел, на что я собираюсь осмелиться, и, убедившись в серьёзности моего намерения, подошёл ко мне и негромко сказал с укоризненной, пеняющей миной: «Мы не делаем подобных трюков. Я вынужден дать вам понять, что у вас мало представления о чести и достоинстве. Вы состоите на службе в благородном доме, а не в каком-нибудь ресторане. Поскольку вы, видимо, не в состоянии отдать должное этому различию, о чём можно только сожалеть, я обязан хотя бы отчасти просветить вас в вашем непонимании. Будьте добры, поставьте половину тарелок обратно». Никогда не забуду его лица, полного презрения, глаз, полных гнева и гордого неодобрения или голоса, пропитанного тонкого понимания приличий, которым он всё это проговорил. Камердинер был примерен во всех отношениях, я же далеко не во всём мог служить образцом, о чём, впрочем, ежесекундно помнил. Камердинеру я всегда казался несколько подозрительным.

Кастелян был более-менее доволен мной, поскольку видел, что я стараюсь изо всех сил, и не раз говорил мне об этом. Тем не менее, он никак не мог полностью отказаться от охоты и травли на меня. Не хочу оставить без упоминания одну деталь комического свойства, т.е. незначительную неприятность: однажды в начале моего пребывания в замке я, гуляя среди парковых насаждений, случайно натолкнулся на одного из двух охотников, который, по всей видимости, принял меня за благородного господина и потому поздоровался со мной подобострастно, т.е. решительно чересчур вежливо, и совершил тем самым ошибку, из-за которой он потом ещё долго, думаю, сердился на меня, хоть и без малейшей на то действительной причины. С самим графом я ни разу по-настоящему не соприкоснулся, что мне, в общем-то, было, разумеется, более-менее всё равно. Мне очень нравилась моя комната в первом этаже, это, по сути, было важнее всего. Англичанин, армейский капитан и, по всей видимости, близкий друг графа, также не должен остаться без упоминания, поскольку этот англичанин во всём задавал тон. Всё, чего он ни желал и о чём ни распоряжался, считалось верхом искушённости, и потому его приказы следовало выполнять безусловно и мгновенно. Точно не знаю, есть ли – или был ли когда-либо – хоть в одном из всех немецких замков англичанин, который бы пользовался такой высокой степенью уважения и самый вид которого уже

внушал бы повсеместное благоговение. У нас, во всяком случае, такой англичанин имелся, и могу сказать со всей определённостью: у него был вес. Вообще говоря, не хочу показаться несправедливым, потому считаю себя обязанным заявить, что этот мсье англичанин казался мне очень хорошим и вполне сносным человеком. Он вёл себя, в первую очередь, исключительно просто, а умное лицо его выказывало человеколюбие, энергичность и воспитание.

Сам замок представлял собой массивное здание, а многочисленные комнаты и покои, в которые я мог заглядывать сколько душе угодно, приковывали к себе мой интерес и внимание своей благородной обстановкой. Некоторые помещения содержали немало достопримечательностей, как-то: красивые печи времён грациозности и галантности. Обширный чердак был битком набит разнообразными любопытными и удивительными предметами, которые живо повествовали о том, что граф был ревностным коллекционером антиквариата. В библиотеке царила атмосфера изящности и аристократичности, а в просторных и протяжённых коридорах, которые солнечный свет нередко пробегал насквозь самым очаровательным образом, на стенах висели разные старые и ценные картины, удивительные и притягательные свидетельства художественного усердия дней минувших, как, например, семейные портреты и городские пейзажи. Большой рыцарский зал украшала импозантная и дорогая мебель с богатой инкрустацией, очевидцы эпохи как крепкой, так и давно минувшей, по большей части совершенно чудесные экземпляры: столы, стулья, светильники и зеркала. Здесь блистала коллекция роскошеств и чудес, среди которой становилось одиноко и думалось о величии. А ещё были в замке комнаты с вещами и вещичками времён ампира и бидейрмейера, из эпохи, скажем так, нервозности и гениальной чувствительности. В приёмной зале взгляд притягивали диковинные старинные сани, и только комната графа пустовала. Кроме старомодной скамейки для произнесения молитв здесь выставлялась напоказ вполне современная трезвость и неприукрашенность, если такие вещи вообще возможно выставить напоказ. Граф, по всей видимости, предпочитал английских писателей, например, Шоу.

Одной из самых замечательных обязанностей из тех, исполнения которых от меня требовали, было зажигание многочисленных ламп – занятие, которое стало доставлять мне удовольствие, когда я научился находить в нём прелесть. Каждый вечер я, можно сказать, нёс свет в сгущавшиеся сумерки, или даже так: во тьму. Поскольку граф был большой любитель красивых ламп и абажуров, с последними приходилось обходиться крайне заботливо. Вечерами, когда я скользил из комнаты в комнату, вокруг стояла тишина, полная такой неги, что весь замок казался заколдованным. Все залы представлялись мне сказочными залами, парк – сказочным парком, а сам я – Алладином со сказочной, т.е. чудесной лампой, который шагает вверх по устеленной роскошными арабскими коврами дворцовой лестнице. Вторым, тоже важным и значительным делом, являлась растопка очага и поддержка в нём пламени, поскольку уже стало понемногу холодать. Что касается этой обязанности, то должен сказать, она меня восхищала. Топить, разводить огонь мне всегда нравилось и приносило своеобразную радость. Так что я нёс людям, т.е. господам, кроме света ламп, коим они

пользовались благодаря моим стараниям, ещё и живительное, радостное тепло, и могу считать себя вправе заявить касательно этого последнего из упомянутых умения и навыка, что я достиг в нём практически общепризнанного мастерства, в котором никто как будто не сомневался и ни разу не усомнился. Я мог целых полчаса стоять на коленях перед камином и глядеть на весёлые, живые, грациозные языки пламени. Спокойствие спускалось в душу, когда я смотрел на пламя во всей его красе, и домашний уют, который я чувствовал при виде этой удивительной субстанции, этой языкастой, пылкой, романтической стихии, делал меня во всём объёме понятия и в полном смысле слова счастливым. О том, как я таскал туда-сюда уголь, о грубых, громоздких, неуклюжих, однако весьма полезных в хозяйстве чурбанах, о тонких, ломких лучинах и о том, как я всегда запачкивался в угольном подвале, за что меня всякий раз отчитывал кастелян: «Тобольд, что за вид!», обо всём этом я не буду распространяться, иначе получится слишком много слов и намёков.

Небесно-прекрасной временами бывала поздняя осенняя изморось, равно как и ночь в замковом парке. В такие часы я сидел в своей комнате, предаваясь чтению или мечтам при свете лампы, окно было открыто, и целый мир ночи потихоньку входил ко мне, как милый друг, и вселял в сердце отвагу, покой и уверенность. Если за этим занятием, за тихим и внимательным чтением, меня заставал польский неистовый грубиян, т.е. не кто иной, как наш господин кастелян, он делал крайне взволнованные, испуганные глаза и произносил с тревожною миной: «Только не чтение, Тобольд, только не это. Только не читайте, ради бога, так много. Это неполезно. Вам это пойдёт во вред, Тобольд! Вы не сможете работать. Лучше отправляйтесь-ка спать. Сон хорошая вещь. Спать важнее и полезнее, чем читать».

О бочонке отборной пшеничной, который был доставлен к ухмылению, рукопотиранию и прочему удовольствию кастеляна, а также ещё одного определённого человека, а именно, к моему собственному, а также о том, как обе значимые или же незначительные персоны сразу же приступили к тщательной проверке и скрупулёзному изучению и исследованию оного бочонка, я остерегусь проронить хоть слово сверх уже сказанного.

Если память мне не изменяет, однажды вечером я написал загадочный

Трактат об аристократии

Вместо того, чтобы на нечистой почве в столичном городе разыгрывать из себя нечаянного или полуотчаявшегося человека, шататься и стоять по углам в виде ненужной фигуры, вызывающей только раздражение и досаду, вместо того, чтобы с переменным успехом изображать элегантные манеры, а притом быть в тягость хорошим терпеливым людям, вместо того, чтобы быть бездельником и неисправимым прожигателем жизни, шалопаем и лодырем, я с некоторых пор проживаю в замке Д. в качестве лакея графа К., я трудолюбив, энергичен и деятелен, зарабатываю каждодневным, в одинаковой мере тяжёлым и честным трудом хлеб насущный и вдобавок изучаю аристократию и её обычаи, изучение которых для большинства людей задача если и не раз и навсегда неразрешимая, то, в любом случае, затруднительная и далеко не простая, потому что аристократы проживают за крепостной стеной и в неприступных, изолированных замках, где раздают команды, повелевают и царствуют как боги, или, как минимум, как полубоги! Чудесны, клянусь спасением души, места проживания аристократии; конюшни там преисполнены прекрасных и самых горячих на свете жеребцов, обычаи там до крайности благородны и уходят корнями в глубь веков, а что касается тамошних библиотек, то, я думаю, а то и знаю, что роскошью томов они ломятся так же, как тамошние залы и комнаты – пышностью, элегантностью и богатством. Разве не обслуживают аристократов расторопные и предупредительные слуги, как, например, автор этих строк, и будет ли ошибкой в достаточно полный голос утверждать, что вся поголовно аристократия кушает с золота и серебра? Кто наблюдает, как завтракает граф, оказывается отягощён и сокрушён, и потому, как мне представляется, целесообразно избегать дерзких нарушений графского покоя за завтраком. Чем же, в общем и целом, питается аристократия? На этот сложный и изощрённый вопрос, по моему мнению, проще и лучше всего ответить таким образом: аристократия предпочитает на завтрак яйца с беконом. Кроме того, аристократы поглощают разнообразные мармелады. А если мы теперь зададимся ещё одним, опасливым и, вероятно, непредвиденным вопросом: «Что читает аристократия?», то мы считаем, что попадём в точку, если бодро ответим: «Кроме писем, которые никогда не доходят[1], аристократия читает откровенно мало». А какая музыка по вкусу аристократу, если уж он смилостивится сообщить нам об этом? Ответ прост: ну, Вагнер, конечно. А что делает, чем занимается и заполняет божий день аристократия? В ответ на этот как будто бы озадачивающий, хоть и очевидный и потому вряд ли оскорбительный вопрос я скажу: аристократ занят охотой. А что отличает и выставляет в лучшем свете аристократическую женщину? Проворная и грациозная горничная торопится сообщить, что не знает, что и сказать. Однако, можно положительно утверждать, что герцогини отличаются импозантной полнотой тела, а баронессы обычно прекрасны, как тёплые, смущающие чувства лунные ночи. Принцессы же скорее худы,

1 Автор анонимно изданного в 1903г. бестселлера "Письма, которые никогда ему не дошли" Элизабет фон Хайкинг однажды посетила замок Дамбрау, в котором Вальзер был слугой осенью и зимой 1905г.

хрупки и тонки как веретено, чем крепки и широки в кости. Графини курят сигареты и славятся властностью. Княгини же, напротив, скромны и мягки характером.

Этот краткий и сжатый трактат я отправил срочной почтой в редакцию солидного ежедневника; однако это оказался напрасный труд, поскольку продукт моих размышлений напечатан не был, а был, должно быть, отправлен, как и все подобные бесплодные попытки, в жадную пасть мусорной корзины, о чём автор, разумеется, искренне сожалеет, хоть и не впадает в ярость, поскольку он и так никогда не намеревался стать великим писателем. Я вспоминаю и напоминаю о Северной Америке, сообщая, что однажды, когда мне казалось, что у меня нет других дел, кроме как листать дневник, который лежал на игральном столике в большой зале и в который вносили записи гости графа, я наткнулся на имя Вандербилт и это столкновение меня немало озадачило.

Здесь я не премину сказать, что, несмотря на холодность и высокомерие, а также определённую суровость, которую он распространял на нас, окружающих, мне всегда в некотором смысле нравился наш господин граф. Я всегда приписывал ему хороший, добрый характер и предполагал в нём благородное сердце. Само собой разумеется, я относился к нему с уважением, иначе и быть не могло. Граф принадлежит к людям, которые в силу отчасти врождённой, отчасти приобретённой склонности хотят казаться суровее, злее и угрюмее, чем они есть, в то время как многие низкие душонки торопятся выказать себя в очень человеческом и приятном виде, потому что сентиментальное, сострадательное поведение может оказаться им каким-нибудь образом выгодно. Граф презирал подобные манёвры и считал излишним изображать из себя святого. Люди, как мой граф, пренебрегают обманом; им претит грязнотца, затхлость и смрад, как и мошенничество, предательство, святошество и лицемерие. Во многих отношениях такие люди не слишком милы и не слишком лицеприятны, зато на их внешность и выражение лица можно положиться. Их вид не обещает ничего особенно прекрасного и душевного, зато не обманывает и не злоупотребляет доверием. Лишь изредка слетает с таких суровых, злых губ слово прекрасное и душевное, и такое слово поистине золотое, потому что вдруг становится ясно, кто и что есть такой человек.

В ноябре, к началу сезона охоты, в замке стало оживлённо. Гости приезжали и уезжали, всё здание буквально кишело людьми, и слугам то было нечего делать, то приходилось делать слишком много дел сразу. Иногда замок мечтательно затихал, чтобы вновь наполниться самой что ни на есть оживлённой суетой в залах и коридорах. В том или ином месте вдруг возникали дамы, вышагивали гордо и высоко несли голову. Надлежало проявлять внимание, ум и прилежание. Кастелян метался в непрекращающемся возбуждении, а камердинер источал своё баснословное камердинерское величие. Один раз секретарь попросил меня отнести баронессе Х. в комнату стакан лимонада от своего имени. Это изящное и трудновыполнимое задание привело меня в совершенный восторг. Поспешно, но и, разумеется, вполне торжественно понёс я напиток прекрасной даме, которая мне казалась целиком вылепленной из свежего молока. Баронесса Х. и вправду была необычайная красавица, высокая и тонкая, но с мягко очерченной и полной фигурой. Ницше прав: женщины маленькие и с фигурой незначительной не могут быть красивы. Я вошёл в покои и передал лимонад

баронессе, на которую прямо-таки молился, со следующими, казалось бы, тщательно отобранными и очень осторожными, а может быть, очень неосторожными и экзальтированными словами: «Меня, жалкого и ничтожного, но счастливого, сверх меры счастливого человека, послал к вам сию минуту такой же счастливый, сверх меры счастливый господин секретарь со стаканом цитрусового лимонада для госпожи баронессы, чтобы передать самой прекрасной на свете даме то, чего она пожелала испросить. Господин секретарь приказал мне передать госпоже баронессе, что он тысячекратно просит разрешения быть к её услугам. Я не знаю, где господин секретарь находится в данный момент; но знаю наверняка и смею утверждать, что где бы он ни был в этот час и в эту минуту и каким бы важным делом ни занимался, в мыслях он целует руку госпоже баронессе – причём, вероятно, страстнее, чем позволяют принятые в аристократической среде приличия – поскольку он каждую секунду ощущает себя верным рыцарем, защитником и покорным слугой милостивой госпожи баронессы. Прекраснейшие и милостивейшие глаза смотрят, как несложно заметить, с удивлением и некоторым изумлением на ничтожного посыльного и не имеющего значения курьера, который говорит на языке тех, кто опьянён выпавшим на их долю счастьем служить воплощению милости и красоты. Находиться в присутствии госпожи баронессы – великое счастье для каждого, и может быть, это обстоятельство отчасти извиняет дерзкую речь, которую счастливчик осмеливается произносить, и восторженный тон, в который он нечаянно впал».

Действительно ли я произнёс эту заносчивую и влюблённую речь, или только мечтал и фантазировал, а, может быть, всё же выпалил все эти слова – неважно, в любом случае, я отчётливо помню, что получил от прекрасной дамы весьма благосклонный, любезный и кроткий взгляд из действительно исключительно прекрасных и добрых глаз, а ещё она меня кратко, но очень вежливо поблагодарила, и это благодарное слово было для меня желанной добычей, заполучив которую в свою собственность, я поспешно удалился с низким поклоном. А вот нетерпеливо и беспокойно вышагивавший из угла в угол, на вид довольно неприятный или полностью излишний человек смотрел на меня немилостиво и неприветливо; это был, так мне казалось возможным предположить, господин супруг прекрасной госпожи баронессы, который, возможно, с большим удовольствием бы меня высек за счастливую мину, образовавшуюся у меня на лице в присутствии его супруги. Когда впоследствии секретарь спросил меня, как повела себя баронесса при передаче ей стакана лимонаду, я ответил: «Прелестно! Очаровательная дама, её улыбка сладка как поцелуй, а глаза невыразимо прекрасны. Она велела благодарить вас за оказанную услугу». Этими словами он остался очень доволен. В дополнение, о секретаре остаётся сообщить, что он очень хорошо играл на фортепиано, из-за чего пользовался моей, так сказать, любовью. А почему бы и не любить людей, которые доставляют нам удовольствие своими талантами, знаниями, умениями и навыками?

Уже начал падать первый снег, большие мягкие хлопья сыпались во двор замка, а я втайне был тому, странным образом, рад. Наши глубоко (или, во всяком случае, весьма) уважаемые господа зачастую возвращались домой с прогулок насквозь промокшие. Снег и дождь, на самом деле, невежливые, невоспитанные,

неотёсанные компаньоны без всяких манер и образования, и их, мне кажется, никакой ценой и даже приложив огромные усилия невозможно обучить приличиям в отношении высокопоставленных особ, а ведь отсутствие необходимой порции нежности в обращении с такими особами портит им жизнь, не говоря уже об отсутствии уважения к их благородному происхождению, рангу и богатству. Но ни ветер, ни непогода не удосуживаются спрашивать: «Что угодно?» и «Чего желаете?»; они по-королевски свободны и независимы и могут позволять себе столько безоглядностей, сколько им заблагорассудится. Никто не злится на слякотную погоду за слякоть и промозглость, поскольку все сходятся во мнении, что сердиться в этом случае бесполезно. Непосредственно после возвращения домой дамы и господа кушали в столовой зале горячий чай, который мы, ловкие и проворные слуги, сервировали с грациозностью, поспешностью и изяществом, чтобы все снова стали довольны, согрелись и развеселились и чтобы ни один благородный отпрыск, нет, даже ни пол-отпрыска чтобы не простудилось. Аристократия была представлена в большом числе, равно как и управляющий, либо руководитель, либо директор придворного театра. А вот что касается промышленников и коммерсантов, то бросалась в глаза живейшая недостача их визитов к нам, а также изобилие их присутствия в других местах, но нам, людям из прислуги, это было совершенно безразлично, поскольку мы не имели ни малейших общественно-политических интересов. Кто давал больше и щедрее на чай, тот был нам вместо царя. Не только отдельные моменты, но всё своё пребывание в замке я находил чарующим и захватывающим, а сам замок я полюбил, как свой собственный. От своеобразной внутренней радости я почти подпрыгивал и от всей души и счастливого сердца пылал любовью к окружающим людям и предметам. Всё, что ни попадалось мне на глаза, казалось мне прекрасным, а с теми неприятностями, с которыми приходилось сталкиваться в повседневной жизни, я примирялся таким образом, что пытался сдружиться или хотя бы сговориться со всеми недружелюбностями и несговорчивостями, и такое поведение мне, по всей видимости, шло только на пользу.

Непосредственно перед основным приёмом пищи, он же ужин, в коридорах, на лестницах и в залах требовалось зажигать благовонные курения, обязанность, возложенная на незавидные плечи сочинителя этих строк. Волшебно, словно в сказке из «Тысячи и одной ночи», пахло тогда в замке, и пленительные, околдовывающие змеи расползались по всем комнатам, чтобы окончательно разогнать и изничтожить неугодный чад и неприятные кухонные запахи. В те вечера, когда давали большой званый ужин, замок уподоблялся сладкой мечте, полной прелестных, возвышенных невероятностей. Великолепные юбки, то есть, скорее мантии и шлейфы, шуршали и хрустели по залам и коридорам, а человек, с которым я весьма хорошо знаком, звонил в коровий колокольчик перед началом трапезы, чтобы гулким мелодичным звоном пригласить гостей к торжественному мероприятию, т.е. угощению. Боже, как очаровывал меня этот захватывающий звон колокольчика, этот прекрасный, глубокий звук, вслед за которым открывались двери и все присутствующие люди, в княжеских нарядах и украшениях, собирались к столу, чтобы отведать яств и развлечься беседой. Сама столовая зала и застолье выглядели не менее чудесно: свечи, рассыпанные по скатерти цветы,

поблескивающие стаканы и блюда, разрумянившиеся лица, звуки Моцарта и звонкий, задорный смех. Но для многословия не хватит места и бумаги. Место здесь, как строительный участок, даётся дорогой ценой, потому я должен сдерживать и усмирять себя; надеюсь, что мне это по силам.

На открытое, красиво выставленное напоказ, белое и гладкое декольте мне всегда казалось приятно посмотреть. Но это чудо природы оживляет и освежает меня куда больше, когда оно залито и, в некоторой степени, приближено к совершенству доверительным сиянием свечей. Однажды, во время большого обеда, или, лучше сказать, ужина, меня постиг сенсационный и сокрушительный неуспех: я продемонстрировал непростительную глупость, капнув горчицей на туалет графини. Уничтожающий взгляд был мне, несчастному, наказанием по заслугам, хотя это ещё далеко не означало, что я, несчастный, был вынужден признать себя так уж целиком уничтоженным. А в другой раз поражение с лихвой окупилось победой, причём успех, виной которому стал безвредный древесный червь, был блистателен и грандиозен. А именно, мне удалось, прислуживая за столом, ухватить и уловить червячка, который полз по белоснежной скатерти рядом с пухлой дамской ручкой. Бедное невинное, хоть и, возможно, несколько отвратительное животное проделало путь в камин и там, по всей видимости, погибло в огне. Сам граф оказался свидетелем моего мастерства и кивнул мне с одобрением и поощрением. Должен признаться, что это происшествие с червяком осчастливило меня на целый вечер. Кастелян откровенно завидовал гордому виду, который я напустил на себя по поводу моей маленькой удачи. А разве не играют мелочи огромной роли в жизни людей? Я думаю, что очень и очень!

Наблюдая за магическим представлением приёма пищи, когда выдавалась небольшая пауза в обслуживании обедающих, я, простой слуга, иногда шептал себе под нос, что не согласился бы променять своей роли на роль одного из сидящих за столом, потому что мне казалось прекрасным просто смотреть, как они пиршествуют, и ещё потому что – доведись мне самому вкусить их наслаждения и счастья –прекрасная общая картина, которую я ценил превыше всего, оказалась бы для меня целиком, или во всяком случае, наполовину потеряна. А так я каждую минуту сознавал, какова мне цена, каков мой чин и в чём состоит моё довольство жизнью, и чрезвычайно радовался скромному существованию, воплощённому в моей фигуре. Ведь бывают такие люди, которые больше любят держать свою личность не на ярком свету, а в сумеречной тени, где ощущают себя крайне уютно и лучшим образом защищённо по причине врождённой склонности, берущей начало в далеких странах, доступных нам ещё прежде рождения. На великолепие и блеск я смотрел всякий раз с большим удовольствием; себе же не желал ничего иного, как держаться в тихой, исполненной скромности тени и бросать оттуда довольные взгляды на залитое светом пространство.

Однажды я разбил, случайно уронив, бесценную старинную чашку и сейчас же сообщил мрачному кастеляну об этом глупом проступке и неслыханном несчастье. Кастелян сделал озабоченную мину и сказал: «Это плохо, очень-очень плохо, Тобольд. Вы поступили хуже некуда. Тем не менее, без экивоков и обиняков рассказав мне о вашей неловкости и её неприятных последствиях, вы поступили хорошо и умно. Этот факт значительно улучшает положение. Графа, разумеется,

придётся поставить в известность, будьте к этому готовы; да вы и так, как я вижу, готовы. Но будьте спокойны. Голова останется у вас на плечах. Граф же не людоед, всё-таки. Вне всяких сомнений, он найдёт вам какое-то оправдание и согласится, что никто в его доме не собирается разбивать чашки и тарелки на тысячи кусков из вредительства и злонамеренности. По всей видимости, речь идёт не о небрежности, а лишь о неловкости, и граф войдёт в ваше положение. Всё! За работу!»

Старик ночной сторож, безутешный деревенский парикмахер, который, к сожалению, воровал сахар и потому был увезён в арестованном виде, как бедняга-грешник, т.е. доставлен в безопасное место в качестве арестованного и заключённого, господин окружной начальник, который знал пять-шесть слов по-французски, но не более того (он гордился этой малостью), две тщеславных деревенских красотки, о которых хочется умолчать, заведение с танцами и лихой революционный бал, он же танцевальный вечер с верноподданнической и развесёлой медной и духовой музыкой, а также флейтами и скрипками, полный табачного дыма деревенский трактир с двумя залами, один для публики получше, другой – для публики попроще, красивая, но, к сожалению, хромая дочь трактирщика, которая восполняла свою ущербность, свой недостаток трогательным выражением лица, кузнец, столяр, учитель, который пытался смотреть на нас, слуг, лакеев и холуёв, на нас, низких хамов и нахалов, сброд и отребье с решительно преувеличенным презрением, что ему удавалось только в самой жалкой степени, бедная больная подёнщица на ложе болезни, нищеты и страдания, жёлтые осенние листья, а потом хлопья снега, и гуси на широкой и удобной деревенской дороге, церковь и пасторский дом, и сам господин пастор, мужчина, или хозяин, или наполовину преступник и каторжанин, у которого на лице ужасно глупо сидел всего один глаз над неким образцом, а точнее – безобразием вместо носа, хоть он мог бы, не будь таким глупцом и простофилей, иметь в наличии два хороших целых глаза; достаточно внушительное количество сорвиголов, как-то: каменщиков, маляров и конюхов, красные гардины, кое-какие украшения и много снега, поляк Август, чудесный юный и свеженький танцовщик, повар, повариха и кучер, бледная, злая и сварливая горничная, придворный садовник и, чтобы снова переместиться в высшие регионы и слои общества и заговорить о хозяевах: графиня Й., она же графиня «Мёртвая голова», как мне пришло в голову её звать, поскольку она меня – и, наверное, других тоже – очень пугала (однажды я должен был передать «Мёртвой голове» заказное письмо, и во время этого смелого предприятия я чуть не повалился на пол, лишившись чувств при виде призрачного существа женского пола, о чём я никогда, во всяком случае, не скоро забуду), и прочие привидения, львицы, львы, медведи, волки, лисы, веретеницы и гайдуки, изобилие второстепенных фигур и персон: всех их хотелось бы упомянуть и описать в подробности, воздать им честь и изобразить, но я не в состоянии этого сделать, поскольку не вправе задерживать себя дальнейшими разъяснениями и должен двигаться дальше вслед за своим, возможно, несколько странным и сумасшедшим рассказом, а все эти, вообще говоря, приятные подробности вынужден отмести и отбросить в сторону как мусор, хлам, рухлядь и обломки.

Я стал замечать, что служба давалась мне с каждым днём всё легче, потому что с каждым днём я набирался ловкости и осмотрительности, и в проворстве со временем тоже не чувствовал недостатка. Как и во всём, дело мастера боится. Всякая работа, которой я должен был покоряться, кипела у меня в руках играючи и словно сладкий сон. В разговоры на лестницах или у чёрного хода я почти никогда не вмешивался. Интриги случаются в замках, как и в прочих больших хозяйствах и учреждениях. То повар пытался настроить меня против кастеляна, то кастелян против повара, но вся эта партийная перебранка и классовая борьба мало меня трогала, поскольку не пробуждала интереса. Если мне попадается на пути великая, прекрасная и разумная борьба, я могу при случае с удовольствием поучаствовать, почему бы и нет. Например, борьба добра со злом, доброй воли со злой волей, чувствительности и подвижности с жестоковыйностью и бесчувственностью, просвещённости с темнотой, прилежности и трудолюбия с теми, кто ничего не делает, но занимает высокое положение, в борьбе наивности с хитростью и лукавством. В такой битве я хотел бы принять участие, пускай удары сыплются градом на спину. Но вмешиваться в мелкие козни ниже чести, которую, слава богу, мне привили родители. Работу я страстно любил и справлялся с ней почти безмысленно, почти механически. «Где это я?» – иногда я вдруг спрашивал себя, когда окружение грозило превратиться в сон перед глазами и чувствами. Зачастую по какой-то причине я казался себе почти что настоящим героем графского замка, хотя и не отдавал себе в этом чувстве отчёта. «Где я был до сих пор, где я теперь и куда попаду в будущем?» Такие и подобные вопросы иногда выплывали передо мной из невнятности. В прочем же я, как уже сказал, много не думал, не задавался вопросом, не разочарован ли я, не обескуражен ли. В этом отношении я привык обращаться с собой холодно. Со свободной, спокойной, непредвзятой и потому не обременённой, беспечной душой я шёл, ведомый своим долгом и, в некотором смысле, своим нюхом. В таком состоянии я чувствовал себя возвышенно, можно даже сказать, выше собственной персоны, которую едва удостаивал взгляда, тем паче – мысли. Я служил! Я оказывал услуги! Следовательно, я неплохо устроился и с персоной моей всё в порядке. Не тогда ли действительно прекрасна наша жизнь, когда мы научились не предъявлять требований, забывать или отодвигать на второй план индивидуалистские желания и прихоти, зато можем свободно и по доброй воле целиком отдаться одному завету, одному служению, нести людям удовлетворение своей деятельностью, нежно и отважно отказавшись от красоты? Потому что, если я решу отказаться от красоты, разве не прилетит ко мне в награду за продемонстрированную добрую волю и дружески и животрепещуще прочувствованное самоотречение совсем новая, никогда прежде не виденная и ещё более прекрасная красота? А если я по доброй воле окажусь вознесён отвагой и сочувствием в высшие убеждения и потому откажусь от небесных прелестей, не воспарю ли я рано или поздно в награду за праведность к ещё более прекрасным небесам? В любом случае, надеюсь, что имею право упомянуть мимоходом, что походная койка не раз коварно выпихивала, выталкивала и вытрясала меня по ночам из самого глубокого и прекрасного сна. По большей части мне снились необузданные, дикие и сумасбродные истории про тигров, чудищ, всадников, мчащихся вверх по лестницам, про леопардов, выстрелы, розы и

утопленников, о заговорщических перешёптываниях предателей, а потом, наоборот, о милых ангельских личиках и фигурках, фантастических зарослях зелени, о красках, звуках и поцелуях, руинах и рыцарях без страха и упрёка, о женских глазах и руках, о нежностях и ласках и о таинственном, непреходящем наслаждении, счастье и восхищении. Может быть, особенную способность видеть сновидения с пронзительной отчётливостью мне придавал неосторожно выпитый на ночь хозяйский, он же графский, кофе; я слышал то красивые и добрые, то злобные голоса и переживал во сне то ужаснейшие, то приятнейшие вещи.

Однажды вечером, когда уже начинало темнеть, я – словно задумавшись и погрузившись в мыслительную деятельность, а на самом деле, просто ясно и спокойно – потихоньку шёл в библиотеку, глядя на сияние вечерней звезды на бледном, одухотворённом небосклоне через досконально изученное окно в коридоре, и вдруг увидел княгиню М. за библиотечным столом и с письмом в руке, которое, казалось, она только что прочитала. Она была одета во всё чёрное, как будто хотела уже одеждами объявить о возвышенном и только что выпавшем на её долю трауре. Её лицо было бледно, великолепную голову венчала диадема, погружённая в гущу тёмных волос и сиявшая в потёмках словно звезда в окне, которую я только что разглядывал. Вперявшиеся в некое отсутствие, некую неопределённую даль, большие и выразительные глаза княгини полнились слезами. Я непроизвольно остановился, сражённый красотой. Княгиня хоть и заметила меня, но – что вполне естественно – не обращала на меня внимания. При виде прекрасного меня всегда охватывает смелость, так что и в этот раз я осмелился спросить у прекрасной женщины вслух, словно это само собой разумелось: «Неужто княгини тоже плачут? Никогда не думал, что это возможно. Такие высокопоставленные дамы, так я думал, не оскорбляют и не пятнают своих чистых и ясных глаз, чистого и сияющего небосвода своего взгляда скверными, нечистыми слезами. Почему вы плачете? Если даже княгини плачут, если даже богатые и могущественные люди утрачивают равновесие и гордую, повелительную осанку, впадают в уныние и глубокую усталость, то что можно сказать и стоит ли удивляться при виде скорченных от боли и страдания попрошаек обоих полов или при виде того, как бедные и униженные заламывают руки и не видят другого выхода, кроме как купаться в неостановимых стонах и потоках собственных слёз? Значит, нет никакой опоры в этом мире бурь и ненастий. Значит, везде и повсюду – одна только слабость. Хорошо же; в таком случае, я буду рад смерти, которая посетит меня в один прекрасный день, и с удовольствием прощусь с этим безнадёжным, больным, слабым, полным страха миром, чтобы отдохнуть, наконец, в славной и милой сердцу могиле от всех тягот и беспокойств».

Княгиня, которая отчётливо слышала всё, что я сказал, поскольку говорил-то я громко, посмотрела на меня долгим и удивлённым взглядом, широко раскрыв глаза, очень серьёзно, но вовсе не строго и не без приязни, даже почти благосклонно, и уж во всяком случае, с добротой, то есть, без малого по-дружески. «Как вас зовут?» – спросила она после паузы; я ответил: «Тобольд». Она сказала, не спуская с меня задумчивого взгляда: «Вы выбрали хорошие и правдивые слова». Это было странно торжественное мгновение. Я как будто услышал приближающиеся шаги и потому удалился, решив, что стоять без дела в присутствии княгини в

глазах третьего лица нехорошо и даже может сбить это самое лицо с толку. Кроме того, было самое время зажигать лампы, поскольку, как я уже говорил, за окном стемнело. Я слышал, как невдалеке шумел и бранился кастелян. Во всяком случае, так мне казалось. К тому же, я знал, что граф всерьёз сердился, если в отношении ламп допускалась небрежность, и такие небрежности следовало предотвращать.

Вскоре после этого случая граф отправился в путешествие, и поскольку необходимость в моём присутствии отпала, как мне в приятной форме сообщили, я распрощался с замком. Мне милостиво выдали похвальный сертификат, в котором среди прочего значилось, что на меня можно положиться и что я прилежен и веду себя хорошо – свидетельство, которое меня, разумеется, порадовало. «Слушайте, Тобольд, – сказал мне кастелян, добродушно посмеиваясь, – вы уезжаете от нас на все четыре стороны. Вы кое-чему поднаучились, и я убеждён, что вы везде найдёте себе применение». Секретарь подарил мне на прощанье булавку в галстук. «Мы пошлём дюжину хороших сорочек вам вдогонку». Мне вручили сто марок наградных, и я вовсе не отказался эту сумму принять. Все говорили со мной по-дружески. Все были довольны и доброжелательны. Утром следующего дня я промчался в коляске, которой правил Август, вниз по холму, на котором стоял замок. Никогда не забуду эту весёлую поездку, залитую влажным блеском солнца, продиравшегося сквозь зимние тучи. Как важный богатый господин сидел я в коляске, и, скручивая французскую сигарету, которую потом довольно нахально воткнул себе в зубы, я крикнул, исполнившись радостной дерзости и искренней радости жизни: «Теперь я – парень что надо. Что бы ни случилось, я не покорюсь, повернусь лицом к опасности и померюсь с ней силами. У меня такое чувство, как будто я готов противостоять половине, а то и целому миру. Фантазия, иллюзия, о чудесное светило! Как легко на душе. Я полон любви и воли к жизни и потому не могу удержаться от настоящего громкого смеха. Я в восторге! Вот бы превратиться в дикого скакуна и умчаться галопом в дальние счастливые страны. Признаем, наконец – божественно прекрасен, небесно хорош наш мир. Что за радость! Страх и беспокойство стали мне непостижимы. Жизнь – роза, и, хочу похвастаться и внушить себе, мне удастся сорвать эту розу. Земля с грохотом падает к моим ногам. Небо тут и там показывает крошечные кусочки застенчивой синевы. Хочу видеть в этом добрый знак. Мир: я буду с тобой сражаться. Я уезжаю долой от того, что уже испытал, и еду, качусь, скачу и лечу навстречу новым испытаниям. Оживлённая жизнь и оживлённые переживания, добро пожаловать. Прекрасно, если человек должен что-то выносить, терпеть. Жизнь даётся легко и играючи, когда требует большого и неутомимого терпения. Так что – вперёд, бросайся и плыви, будь бодрым пловцом. Думаю, я только что выстоял перед лицом некоего испытания и могу теперь смело и твёрдо сделать следующий шаг».

1917

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

С большим неудовольствием сажусь я за письменный стол, чтобы поиграть на рояле, то есть, рассказать о неурожае картофеля, случившемся многие годы назад в деревне, лежащей на холме приблизительно двухсотметровой высоты. С трудом вырываю я из себя самого историю, рассказывающую ни о чём другом, как о крестьянской девушке. Последняя чем дальше, тем больше не знала, чем себе помочь.

Звёзды блестели в небе; священник деревни, в которой произошло то, что я сейчас преподношу, в чистом поле объяснял своим юным подопечным солнечную систему. Писатель в освещённой лампой комнате писал свои растущие сочинения, когда измученная видениями крестьянка встала из постели, чтобы броситься в воду, что она и проделала со смехотворной проворностью.

Когда на следующее утро её нашли в состоянии, прямо указывавшем на то, что её жизнь прекратилась, среди этих деревенских жителей встал вопрос о том, хоронить её или нет. Коснуться рукой недвижно лежащей бренности не хотелось никому. Народное нежелание было налицо.

Сельский житель приблизился к группе, заинтересовавшей его сперва из композиционных соображений, потому что в свободное время он рисовал, тогда как руководство не возлагало на него особенных обязанностей. Теперь же он взывал к благоразумию селян, но все его доводы оказались бесполезными; они ни за что не хотели предать крестьянку земле, как будто думали, сделай они это – с ними случится что-то недоброе.

Местный управитель удалился в контору, имевшую три окна, сквозь которые сиял яркий свет, и занялся изложением происшествия, о котором должен был доложить по почте столичной управе.

Что же чувствую я, когда думаю о неурожае, наступавшем всё более грозными волнами? Жители несказуемо отощали. Как ужасна тоска по хлебу.

В тот же самый день крестьянин, вполне, по всеобщему представлению, дельный человек, выстрелил из висевшего на крючке ружья, которое он сорвал оттуда в неподдельном простонародном гневе, в проходившего под окнами, ничего не подозревавшего соперника, который при этом громко распевал на тирольский лад, в чём выражалась его большая жизнерадостность. Он как раз возвращался после успеха у невесты, которая казалась девушкой, неспособной принять решение, строившей глазки и одному, и другому, обещая обоим земной рай.

Ещё никогда, с тех пор как я занимаюсь писательством, я не написал рассказа, в котором кто-либо упал бы, сражённый пулей. Впервые кто-то у меня должен хрипеть в агонии.

Само собой разумеется, его сейчас же подняли и отнесли в ближайшую хижину. Домов как таковых, в нашем теперешнем понимании о комфорте, в деревнях тогда не было; были только убогие жилища, соломенные крыши которых ниспадали почти до самой земли – их можно представить себе по немногим сохранившимся экземплярам.

Когда невеста, деревенская красавица с тяжёлыми бёдрами и высоким прямым станом, услышала, что произошло из-за неё, она остановилась, прямая, как свеча, размышляя – в меру возможности глубоко – о своей сущности.

Безрезультатно пыталась её мать настоять на том, чтобы она что-то сказала; она словно превратилась в статую.

Аист пролетел в лазурном воздухе над деревенской драмой, неся в клюве ребёнка. Под лёгким ветром зашевелились с шорохом листья. Всё это выглядело, как гравюра, совершенно ненатурально.

1927

МАСКАРАД

У одного была огромная голова, которою он загораживал всё, что перемещалось вокруг него, и это, казалось, доставляло ему большое удовольствие. В аркадах, украшающих наш город, бродили юноши, чьё поведение напоминало итальянских нобили. Ландшафт простирался безмолвно, как неистребимый бог. Я некоторое время расхаживал в образе старухи. Мастерски изображая немощность, я то и дело вытаскивал из-под полы бутылку, содержавшую вино, которое пилось, как молоко. Этот сок дарил мне светлый ум, лёгкое сердце и проницательность. Снаружи, в полях, танцевали девушки под звуки, извлекаемые из гуселек отцом семейства. Звуки откровенничали, и казались от откровений счастливыми. Я рассматривал портовый город, красовавшийся в путевом альбоме. Вчера состоялись маскированные балы; уже один вход туда стоил чрезвычайно много. А бутылка чего-нибудь получше стоила сотню франков. Я повстречал публициста, выглядевшего рыцарем ордена времён ранней готики. Время от времени я вносил в публику, держа его горизонтально, огромный нос. Я пересёк лужайку и зашёл в заведение, которое огибала река; то же проделал и поток прогуливавшихся, многие из которых бросали жадные взгляды в сад, лежавший нагишом. В солнечном свете было что-то ласкающее. Альпы напоминали гобелен и бланманже, походили на ткани, сласти, кружева, украшения. Я беседовал с базелянкой о базельском карнавальном шествии, обладающем определённым реноме, с успехом запускал плоские камешки в пляс по поверхности воды и даже спрыгнул с небольшой возвышенности на клочок песка и гравия, насмешив девушку, перегнувшуюся через подоконник. День был прекрасен, как любовь навеки, как гордая, белокурая нордическая ярость, которая ослабевает, как вероломство, которое стало известно, как нежно расписанная церковная скульптура, как грех, который благославляют, как материнский лик, склонённый в дворцовых покоях над колыбелькой, в которой лежит ребёночек, которому суждено изведать невыносимо сладкое и страшащееся бездны предназначение. Все улицы словно молили о манерности, такие светлые, чистые, гладкие, мягкие, вымытые они были. Я постарался прислушаться к деревьям и отыскал слова, чтоб их охарактеризовать, и ещё я подружился с домами. Дождь из голубизны пролился, просеялся из высоты в глубину, и из некоего заведения кто-то молвил: «Слава богу, дух торжествует над плотью». Маскарады здесь, вообще-то, не в порядке вещей. По этой причине он казался почти незаметным. Со стороны спортивного поля доносились крики болельщиков,

напоминавшие тихий, далёкий морской прибой; на лесной опушке особы из хороших слоёв общества располагались с удобствами на еловых лапах и в предчувственной траве, и скорбь со всех его сторон обвивала шею света. При виде девушки с каштановыми косами я вмиг превратился в мысленно творящего художника. Как подходили к девственной коричневе голубые, юные глаза. Потом девушка смеялась замечанию в адрес её матери, слетевшему с моих губ. Прохожие спускались со ступеней и нащупывали тропы, струившиеся в долинах, словно вены, пробирающиеся сквозь тело. Город снова показался мне таким, каким его можно любить, не вдаваясь в долгие объяснения; таким, каким он представился мне, когда я впервые, мальчиком, увидел его – несказанно огромным и богатым. Где-то сидела девушка, ожидавшая от меня издевательств в свой адрес, однако я повёл себя таким образом, что ей пришлось изменить мнение о моём характере в лучшую сторону. Теперь она знает, что я «душка», и ей придётся обо мне вспоминать, потому что всё это время ей приходилось говорить себе, что она во мне разочаровалась, и всё это время станет для неё временем улучшения, страдания, со всеми станциями совершенствования. Как всепрощающе улыбалась мне вчера жизнь, хотя я этого и не просил, и поскольку я принял наилучшую позицию, чтобы как следует не замечать эту прекрасную улыбку, женщины, выглядевшие вообще-то весёлыми, становились серьёзными при виде меня. Может быть, чьи-то чувства обижает выставление напоказ искусства жить, в котором есть что-то канатоходческое. Очевидно, я пока ещё не достиг вершин умения нравиться.

Ежедневно я открываю для себя новые мудрости, однако я решил, уже из одного инстинкта к равновесию, не очень ими заниматься. Холмы и леса и оживлённые людьми города желают, чтобы я был в первую очередь весел. Ради веселья я не хочу ничего принимать слишком близко к сердцу.

1927

КАК Я ПРОВЁЛ ВОСКРЕСЕНЬЕ

После того, как я освежился тарелкою супа и испросил у своей неизменно весёлой хозяйки разрешения прогуляться или побродить, первым делом я отправился к возлюбленной, поцеловал её изо всех сердечных сил, и после этого ощутил себя в состоянии или желании совершить решительный шаг в уже заждавшийся ландшафт. Систематическая бодрая трусца на некоторое время повергла меня в фантазию, что я – выхоленный, отлично дрессированный конь. Ветру, который чуть не сдул парадную шляпу с моей воскресной головы, я сказал: «Будь паинькой», и словно послушный моему напоминанию, с этого момента он вёл себя тихо. Незаметность очень пристойно изящна, подумал я на счёт призванного к порядку ветра, который теперь словно бы замкнулся в себе. Преодолев примерно два километра, я миновал красиво расположённый дом некоего отщепенца, собственной персоной глядевшего в окно. Мне казалось, у меня выросли крылья, так быстро я устремился долой. В зеркально гладком водоёме весьма скромной протяжённости я заметил отражение равнодушно взирающей пред собой статуи. «Ты ничего не ощущаешь, а я именно потому, ради этакой спорности, испытываю к тебе

избыток чувства», – сказал я ей, казавшейся мне поверхностно, но, в тоже самое время, глубоко и внимательно меня изучавшей.

Шаг за шагом я достиг опушки леса, вдоль которой и отправился дальше, и после того, как эта обязанность была выполнена, передо мной воздвиглось следующее задание в виде холма, который походил на воплощение пасторальной поэзии и на который следовало взобраться, исполнением чего я безотлагательно занялся. Со мной поздоровалось дитя, когда я присел на скамью и стал при помощи карандаша отвечать на письмо, содержание которого меня живо интересовало. Подо мной простиралась более-менее внушительная деревня, где мне были известны два-три заведения, в которых провидение по возможности предоставляло моей персоне съесть, я хочу сказать, быть попотчеванным колбасой или порцией взбитых сливок. Дерево, под ветвями которого я писал, казалось, усмехалось листвой моим всерьёз высказанным строкам; солнце выглядело красиво нарисованным лицом, несомненно, желанным. Мои ноги словно продолжали подъём, как будто радуясь исполняемой службе, и я считал себя в прибыли, желая им удачно повеселиться. Когда я пересекал состоящий из незамутнённой радости дол, на меня воссиял с горной вершины уединённый крестьянский дом, чей добротный вид, скажем так, если и не расширял, то, во всяком случае, укреплял меня в доверии к самому себе. В маленькой, но пышной деревеньке, словно бы населённой исключительно богачами, я зашёл в заведеньице, в котором сидел некто, поведавший мне, что собирается достичь Авраамова возраста. Кельнерша красовалась, как лишённая покоя героиня живописи, обречённая носиться туда-сюда, потому что и садик, и салон были полны до отказа, и это произвело на меня выгодное впечатление, поскольку я и сам добавлял собственное присутствие к обилию посетителей. Снаружи, над лужайкой, футбольный мяч с рассчитанной скоростью и необходимой весомостью пролетел сквозь прозрачный воздух так, что весело было свидетельствовать эту окрылённость, такую ликующую и выспренную.

Из не слишком протяжённого парка выглядывал юнкерский дворец, чьи башни сияли на всю округу, в то время как сумерки сгущались и распухали настроеньями. Была уже ночь, когда я снова явился в город, жители которого рассыпались во все стороны в поисках увеселительных возможностей. Всё это время у меня в кармане находился театральный билет, посредством которого я скорее влетел, чем вошёл в городской театр, потому что часы уже пробили восемь. Увертюра златозвучно пронзила зрительный зал в тот момент, когда я поспешил занять своё кресло, откуда мне было замечательно видно представление, оставившее, или же утопившее, меня в довольстве. На сцене ясно начала выявляться основная фигура. От акта к акту представление, казалось, улучшалось; один выход сменялся другим с мягкостью и многозначительностью, и я сподобился сделать наблюдение, что безмятежность и серьёз были всегда к месту в этой восхитительной драме. Я с удовольствием говорил бы о ней столько времени, сколько заняло её представление.

1926/27

перевод Анны Глазовой

ДЖЕРЕМИ РИД

СТО ЛЕТ ОТСУТСТВИЯ

Граф Эрик Стенбок

Что заставило меня, спустя сотню лет после его смерти, заняться необычной, порочно-декадентской фигурой графа Эрика Стенбока, умершего в возрасте 35 лет 26 апреля 1895 года, в первый день процесса Оскара Уайльда? Сексуальные наклонности самого Стенбока также подлежали судебному преследованию, столкнись он с законом, однако все, что касается его жизни, ускользает от биографического исследования, как и его книги, почти дематериализовавшиеся и ставшие раритетами. Стенбок и его проза превратились в экстравагантный вымысел.

Откровенная женоподобность Стенбока, его саморазрушительное тяготение к алкоголю и наркотикам, эксгибиционистские наряды, культивация мистицизма, унаследованные им поместья в Эстонии, домашний зверинец, – всем этим Стенбок заслужил себе место в романе Гюисманса «Наоборот», этом собрании патологических неврозов fin de siécle.

Его собственное поэтическое дарование было невелико, а прозаические таланты автора готической прозы о вампирах сводятся к единственному прижизненному сборнику «Этюды о смерти», появившемуся в 1894 году, за год до смерти автора. Зачарованность Стенбока вампирами, оборотнями и прочим инструментарием мира ночных кошмаров происходила не только от чтения Бекфорда, По и Ле Фаню, но из особого состояния ума, подпитываемого наркотиками и пылким воображением. Стенбок, похоже, проявлял симптомы патологической истерии; его поведение носило черты параноидальности, хаотичности, непредсказуемости, с периодическими вспышками насилия. Меня он интересует потому, что являет собой пример экстремальных состояний рассудка и, не будучи автором романов, воплощает те черты потревоженного ума, которые в то время так занимали Уайльда, Гюисманса и Рашильд. Можно сказать, что Стенбок избрал участь вымысла.

Кем были люди, видевшие Стенбока на улице? Он привлекал к себе внимание, какова же была их реакция? Трансвестизм был, по-видимому, способом его самовыражения. Его обесцвеченные волосы достигали плеч, он носил яркие шелковые сорочки и восточные наряды, красил ногти, сильно душился и обвешивался драгоценностями, он брал себе в спутники куклу размером с человека, он был постоянно под кайфом и, получив в 1885 году наследство, не стеснялся выставлять свое богатство напоказ. Но он часто, не таясь, появлялся в Лондоне, – известно, что он познакомился с одним из своих друзей, Норманом О'Нилом, на Пикадилли, на верхнем этаже омнибуса. Не подлежит сомнению, что Стенбок часто рисковал и, подобно Уайльду, «пировал с пантерами». Он жил под углом к обществу, ведя преимущественно ночной образ жизни. Опиумом он увлекался скорее серьезно, чем для расслабления, и курил его с соблюдением ритуалов; его печень была пропитана спиртом. Он сжигал себя намеренно и последовательно, на манер какого-нибудь Билли Холидея.

Но есть в Стенбоке нечто большее, чем осмысленное вырождение. Декаданс в Лондоне и Париже времен fin de siécle не был повальным способом самовыражения, как ныне принято считать. Скорее его культивировал ограниченный круг выдающихся личностей, окрасивших своим влиянием большую часть авангардистских движений двадцатого столетия. Жизнь Стенбока обращает на себя внимание аутсайдерством, неизбежными трудностями, с которыми художник сталкивается при попытке существования в альтернативной реальности. Им был создан мир, единственным обитателем которого был он сам. Стенбок всячески культивировал существование в измененном состоянии сознания; в своем эстонском имении Калк, где он жил два года после того, как имение отошло к нему, у него была любимая обезьянка по кличке Троша, носившая алую шаль, питон, которого кормили живыми крысами, по гостиной ползали черепахи, и этот зверинец дополняли различные виды жаб, ящериц и саламандр. Облаченный в зеленый костюм и оранжевую шелковую сорочку, Стенбок возлежал в своей переливчато-синей спальне, куря опиум. Жизнь его можно рассматривать как символическую аффектацию, как подготовительную инициацию к созданию произведений, которые сам он был неспособен понять. Бодлер писал о зачарованности курильщика опиума свободно возникающими образами, и как они постепенно замещают желание писать. Поэзия становится невидимым подтекстом для любителя опиума, пассивно наблюдающего за своими внутренними состояниями.

Когда же Стенбок действительно садится писать, когда он чувствует необходимость проявить внутренние феномены, его сочинения поражают причудливостью восприятия. Внутреннее и внешнее всегда далеко отстоит друг от друга, их разделяет хорошо заметный шов, знак творческого напряжения. Взять хотя бы отрывок из рассказа «Правдивая история вампира»:

> *Внезапно в комнату вбежал Габриэль; в волосах его запуталась желтая бабочка. В руках он держал бельчонка и был, как обычно, босоног. Незнакомец поднял взгляд на брата, и я увидела его глаза. Они были зеленые и словно бы расширялись, вырастали в размерах. Габриэль застыл перед ним, словно птичка, загипнотизированная змеей.*

Здесь перекличка между воображением и физическим описанием совершенно непринужденна. Вряд ли желтая бабочка запуталась бы в волосах Габриэля, но мы допускаем это, ибо образ его, с бельчонком в руках, трогателен и натурален, а Стенбок-прозаик хорошо приспособился к области растяжения, создаваемой столкновением сгущенной реальности с физическим описанием.

Стенбок – бодлерианец в том смысле, что связь его с материальным миром некрепка, и он воспринимает этот мир через чувственные ассоциации. Его сочинения необузданно гомосексуальны для века, предпочитавшего неодобрительное замалчивание; в какой-то мере его сдерживало отсутствие прямых упоминаний, поскольку, ему приходилось умерять свой пыл при столкновении с общественными излияниями. Его стихи полны шрамов от ожогов, как если бы его притягивала мысль о воздаянии за сексуальные наклонности:

Мечтаю, чтоб нежное тело твое
Обуглилось в адском огне;
И хор адский грянул – желанье
Себя исчерпало вполне.

В Лондоне Стенбок жил в доме № 11 по Слоун-террес, а позже – в доме № 21 по Глостер-уолк, на вершине Кэмден-хилл. Едва ли он бывал в Лондоне днем, хотя и свел шапочное знакомство с поэтами-декадентами и периодически делился деньгами и кровом с неудачливым художником Симеоном Соломоном. Он вел ночной образ жизни, как персонаж из песни Шарля Азнавура «Вчера, когда я был молод». По природе он был отшельником и знал, что жжет свечу с обоих концов. В надежде замедлить саморазрушительную инерцию Стенбок окружил себя миром искусственной, ритуализованной роскоши. Имеются свидетельства того, что обед ему подавали в закрытом гробу, что в его доме между бюстами Шелли и Будды горела красная неугасимая лампада, и что по комнатам летали длиннохвостые попугаи и ары. В доме было душно от воскуряемого ладана и дыма опиума, а сам хозяин сидел перед пылающим камином, поглощенный своим кальяном.

Репутацией эксцентричного зверопоклонника, оккультиста и черного мага, эстета, снимавшего партнеров на ночь, Стенбок частично обязан своим «Этюдам о смерти» и описанным в них навязчивым идеям. В рассказе «Та сторона» есть такие строки:

> *«Там бывают твари, сверху до пояса как черные коты, а снизу как люди, только ноги их покрыты густой черной шерстью, они еще играют на волынках, и когда они всходят на возвышение…» – Меж старух, на коврике перед камином, лежал мальчик, его огромные чудные глаза расширились, а тело трепетало от страха.*

Столетие со дня смерти Стенбока исполнилось в 1995 году. Недоступность его изданных сочинений наделила Стенбока статусом невидимки в глазах библиофилов. Куда же делись его книги? Нам известно, что семья Стенбока была недовольна гомоэротическими чувствами, выраженными в первой его книге «Любовь, сон и мечты», и вполне возможно, что после его смерти оставшиеся экземпляры его книг, изданных по большей части за счет автора, были уничтожены. Уцелела лишь малая их часть, на которой и основывалась легенда о Стенбоке. Мы отправляемся на поиски не столько человека, сколько его пропавших сочинений.

Артур Саймонс описывает обиталище Стенбока в Кэмден-хилле как «дом, скорее на отшибе, стоящий в ряду домов, где обитало несколько вырожденцев», а самого Стенбока как «одно из самых бесчеловечных созданий человеческих, с какими я только сталкивался; бесчеловечное и ненормальное; вырожденец, населенный не знаю сколькими пороками». Если Саймонс описывает верно, то Стенбок мог жить в квартале гомосексуалистов, но следует учесть, что сам Саймонс неизменно, намеренно и мелодраматически декадентен; в его «Этюде о фантастическом» образ Стенбока как парии общества выдвинут на первый план. Можем ли мы допустить, что Стенбок был этаким Квентином Криспом своего времени, любившим переодеваться в женскую одежду, чтобы привлечь к себе

внимание? И было ли крахом для Стенбока, столь державшегося за облик поэта, осознание того, что он неверно понял свое предназначение, и его творческая энергия имеет лишь внешнюю сторону? Возможно, он так сильно интересовался оккультизмом, гротеском и всевозможными странностями, что ему требовалось оживить воображение, чтобы преобразовать свою символику в нечто новое. Его вампиры служат зачастую метафорами его сексуальной ориентации. В стихотворении «Вампир» он пишет:

Обвить твое тело кольцом
Змеиным все крепче, нежней.
Упиться из вен, как вином,
Горячею кровью твоей.

Его сочинения носят черты некрофилии; в Стенбоке вообще сильно желание шокировать, выливающееся в конфронтацию там, где дело касается сексуальных безрассудств, сильнее, чем у кого бы то ни было из его современников, за исключением Уайльда. Обои цвета мака, змея, выдрессированная так, чтобы обвиваться вокруг его тела, жареный павлин за обедом, весь изнеженный, сверхчувствительный эстетизм в чем-то восполняли недостаток убедительности в его поэзии.

Стенбок умер 26 апреля 1895 года в доме своей матери, Висдин-холл, возле Брайтона. В приступе белой горячки он набросился на слугу с кочергой и рухнул на пол с кровоизлиянием в мозг, которое положило конец его подточенному циррозом организму.

Целое столетие он существовал в воображении тех, кто славит странное и эксцентричное. Где бы я мог встретить его в тот холодный, ветреный апрельский день, когда я решил поместить его на этих страницах? Будь он на ногах к полудню, он, верно, взял бы такси и поехал бы к Теду Бейкеру на Флорал-стрит. Ему, несомненно, пришлись бы по вкусу его сорочки. Ну а ночью? Это уже другой рассказ. Черный автомобиль, в котором он опускается на самое дно и который привозит его обратно домой, к изнурительной бессоннице и неспешной беседе с маком.

ЭРИК СТЕНБОК

ТА СТОРОНА
Бретонская легенда

***À la joyouse Messe noire*[1]**

…не то чтобы это мне по нраву, но после этого так хорошо… благодарствую, матушка Ивонна, можно еще капельку.

Так-то старухи, рассевшись вокруг камина, и попивали свой подогретый бренди с водой (принимаемый, конечно, исключительно в медицинских целях, как средство от ревматизма), и матушка Пинкель продолжала рассказ:

– Ну и вот, когда достигаешь вершины холма, там видишь алтарь с шестью свечами, такими черными, а между ними еще что-то, что никому еще не удавалось разглядеть, и старый черный баран с человечьим лицом и длинными рогами начинает служить мессу на какой-то непонятной тарабарщине, и две странных черных твари, вроде обезьян, выскальзывают откуда-то с книгой и сосудами, – и музыка, такая музыка. Там бывают твари, сверху до пояса как черные коты, а снизу как люди, только ноги их покрыты густой черной шерстью, они еще играют на волынках, и когда всходят на возвышение…

Меж старух, на коврике перед камином, лежал мальчик, его огромные чудные глаза расширились, а тело трепетало от страха.

– Это все правда, матушка Пинкель? – спросил он.

– Конечно, правда, и не только это, самое-то интересное впереди; потому что они берут ребенка и… – тут матушка Пинкель осклабилась, показав клыки.

– Матушка Пинкель! А ты тоже ведьма?

– Помолчи, Габриэль! – приказала матушка Ивонна. – Как у тебя язык поворачивается сказать такое? Ей-богу, мальчику давно пора в кровать.

И тут же все, кроме матушки Пинкель, дрожа, перекрестились, ибо послышался самый жуткий звук на свете – волчий вой, начинающийся троекратным отрывистым лаем, который переходит в долгое завывание, лютое и отчаянное одновременно, и заканчивающийся приглушенным рыком, полным извечной злобы.

Деревня стояла у самого леса, на этой стороне ручья, и никто не отваживался перейти ручей на ту сторону. Там, где была деревня, все было зелено, приветливо и плодородно; на той же стороне деревья никогда не выбрасывали зеленый лист, и тень лежала под ними даже в полдень, а по ночам оттуда доносилось завывание волков – оборотней, и людей-волков, и волков-людей, и еще тех нечестивцев, что каждый год на девять суток обращаются в волков; однако на зеленой стороне волков никогда не видели, и лишь маленький серебристый ручеек бежал посередине.

Наступила весна, и старухи оставили теплые местечка у каминов, предпочитая греться на солнышке у своих домиков, и были так довольны, что перестали рассказывать байки о «той стороне». Однако Габриэль по своему обыкновению

1 Веселой черной мессе посвящается (искаж. фр.)

продолжал гулять по берегу ручья, влекомый туда каким-то странным притяжением пополам со страхом.

Товарищи по школе не любили Габриэля; они издевались и насмехались над ним, потому что он был не так жесток, будучи кроток по природе, и как редкую, прекрасную птицу, сумевшую выбраться из клетки на волю, клюют обычные воробьи, такова была участь Габриэля в школе. Всяк дивился тому, как матушка Ивонна, эта пышная, почтенная матрона, могла произвести на свет такого сына со странными мечтательными глазами, который, по мнению всех, был «pas comme les autres gamins»[1]. Друзьями его были лишь аббат Фелисьен, в чьей церкви он прислуживал каждое утро, да девочка по имени Кармель, любившая его неизвестно по какой причине.

Солнце уже село, а Габриэль все бродил по берегу ручья, исполненный смутного ужаса и неодолимого влечения. Солнце зашло, и выплыла луна, полная, огромная и очень яркая, свет ее затопил лес по эту и по ту стороны ручья, и Габриэль внезапно заметил, как раз по ту сторону, огромный темно-синий цветок, чей странный пьянящий аромат донесло до него, заворожив на месте.

«Если бы только сделать один шажок, – подумал он, – ведь вреда не будет, если я только сорву цветок, и никто не узнает, что я переходил на ту сторону», – ибо жители деревушки встречали ненавистью и подозрением любого, кто переходил на «ту сторону», – так что, собрав все свое мужество, он легко перепрыгнул на тот берег. Луна, выйдя из-за тучи, засияла необыкновенно ярко, и он увидел прямо перед собой целое поле точно таких же странных синих цветов, один чудеснее другого, и, не в силах решить, сорвать ли один цветок или набрать несколько, все двигался и двигался вперед, и ярко сияла луна, и запела странная невидимая птица, чья песня была похожа на соловьиную, только громче и прекраснее, и сердце его заныло от желания неизвестно чего, а луна сияла, и пела птица. Но тут внезапно черная туча закрыла луну, и все погрузилось во тьму, стало черным-черно, и в этой тьме он услышал приближающееся завывание волков, словно преследующих добычу, и вот мимо проследовала жуткая процессия волков (черных, с красными горящими глазами), а с ними людей с волчьими головами и волков с человечьими, а над ними реяли совы (черные, с красными горящими глазами), и летучие мыши, и длинные змеевидные черные твари, и последним, верхом на огромном черном баране с отвратительным человеческим лицом, – хозяин волков, на лице коего лежала вечная тень; они не остановились и продолжали свою жуткую охоту, и когда они миновали его, луна засияла еще ярче, и странный соловей запел снова, и странные ярко-синие цветы вновь расстилались перед ним во все стороны. Одного лишь не было раньше: среди странных ярко-синих цветов шла она, с длинными сверкающими золотыми волосами, она обернулась – глаза ее были того же цвета, что и цветы, и Габриэль против своей воли последовал за ней. Но когда туча вновь набежала на луну, он увидел вместо прекрасной женщины волка и в ужасе метнулся прочь, сорвав по пути один цветок, одним прыжком перескочил ручей и бросился домой.

1 не похож на других мальчишек (фр.)

Дома он, не удержавшись, показал свое сокровище матери, хотя знал, что ей это совсем не понравится; но при виде странного синего цветка матушка Ивонна только побледнела и произнесла:

– Дитя, где ты взял его? Это же ведьмин цвет.

И она, выхватив цветок, зашвырнула его в угол, и тотчас же вся красота вместе с необычным ароматом испарились из него, он почернел, как будто обуглившись. И обиженный Габриэль, даже не поужинав, молча лег в постель, но не уснул, а подождал, пока все в доме не успокоится. Только после этого он тихонько прокрался вниз прямо в своей длинной белой ночной рубашке, чувствуя босыми ступнями холод каменного пола, торопливо схватил почерневший, увядший цветок и прижал его к своей теплой груди, – и немедленно цветок расцвел вновь и стал еще чудеснее, и Габриэль уснул крепким сном, однако сквозь сон слышал мягкий низкий голос, поющий под окном на неизвестном языке (в котором мягкие звуки переливались из одного в другой), но ни единого слова не мог он разобрать, кроме своего имени.

Когда наутро он отправился в церковь, цветок все еще был на его груди. И когда священник начал литургию словами «Introibo ad altare Dei»[1], то Габриэль отозвался: «Qui nequiquam laetificavit juventutem meam»[2]. Аббат Фелисьен обернулся, услышав этот странный ответ, и увидел, что лицо мальчика смертельно побледнело, взгляд застыл, члены задеревенели, и прямо на глазах у священника мальчик рухнул на пол в обмороке, так что ризничий вынужден был отнести его домой и поискать для священника другого прислужника.

Но когда аббат Фелисьен пришел навестить его, Габриэль почувствовал странную неохоту рассказывать о синем цветке и первый раз в жизни утаил правду от священника.

После обеда, когда закат уже близился, он почувствовал себя лучше, к тому же пришла Кармель и уговорила его выйти погулять на свежий воздух. И они вышли, держась за руки, – темноволосый мальчик с газельими глазами и белокурая девочка с вьющимися волосами, – и что-то заставило его направить стопы (полусознательно, ибо он не мог не идти) к ручью, на берегу которого они и сели.

Габриэль решил, что теперь уж он точно сможет поведать Кармель о своей тайне, и, вытащив из-за пазухи цветок, сказал:

– Гляди, Кармель, видала ли ты когда-нибудь такой чудесный цветок?

Но Кармель побледнела и, задрожав, произнесла:

– Габриэль, что это за цветок? Я всего-то дотронулась до него, как сразу почувствовала, что от него исходит что-то странное. Нет, нет, мне не нравится его запах, в нем что-то не то, милый Габриэль, позволь мне выбросить его, – и не успел он ответить, как она выхватила цветок из его рук и отбросила, и тотчас же красота и аромат покинули его, он почернел, словно обуглился. Но тут на том месте, где упал цветок, на этой стороне ручья, появился волк, он стоял и смотрел на детей.

– Что нам делать? – прошептала Кармель, прижавшись к Габриэлю, но волк только пристально смотрел на них, и тут Габриэль узнал в его глазах странные яркосиние глаза женщины-волчицы, которую он видел на «той стороне», и произнес:

1 И подойду к жертвеннику Божию (лат.)

2 [К Богу], Который напрасно наполнял радостью юность мою (лат.)

– Оставайся на месте, милая Кармель, видишь, она лишь с нежностью смотрит на нас и не тронет нас.

– Но ведь это волк, – сказала Кармель, вся дрожа от страха, но Габриэль повторил вяло:

– Она нас не тронет.

Тогда Кармель в ужасе схватила Габриэля за руку и потащила его за собой до самой деревни, где подняла тревогу, пока не собрались все мужчины. Они никогда не видели волков на этой стороне и, взволновавшись до крайности, решили устроить назавтра великую волчью облаву; один Габриэль тихо сидел в сторонке и молчал.

Той ночью он не мог ни уснуть, ни заставить себя произнести молитву; он лишь сидел в своей комнатушке у окна, рубашка его была расстегнута у горла, и странный цветок лежал на сердце, и опять он услыхал голос, поющий под его окном на том же мягком, тягучем языке:

Ма зала лираль ва е
Чуамюло жаела е
Карма уради эль яве
Ярма, симаи, – карме –
Жала явали тра е
Аль вю аль влаюле ва азре
Сафралье вайралье ва я?
Карма серайя
Лайя лайя
Лужа!

и, всмотревшись, он увидел мерцающие в серебристых тенях золотые волосы и странные темно-синие глаза, блестящие в ночи, и ему показалось, что он не в силах удержаться и не следовать за ней; едва одетый, босой, с застывшим взором, он спустился по лестнице, словно во сне, и вышел в ночь.

А она то и дело оборачивалась к нему, и ее странные синие глаза были полны нежности и страсти и печали такой, какая недоступна созданиям человеческим, – и он уже знал, что они придут на берег ручья. Там она, взяв его под руку, обратилась к нему как к старому знакомому:

– Не поможешь мне, Габриэль?

И ему показалось, что он знает ее всю свою жизнь – так что он легко перешел с ней на «ту сторону», но там никого не увидел подле себя; однако уже через миг увидел рядом двух волков. Обуянный неистовым ужасом, он (в жизни не помышлявший об убийстве живого существа) схватил валявшуюся рядом палку и ударил ею одного волка по голове.

Тотчас же женщина-волчица явилась рядом с ним, изо лба ее сочилась кровь, пачкая чудесные золотые волосы, и с бесконечным укором глядя на него, она произнесла:

– Кто же это натворил?

Затем она шепнула пару слов другому волку, который перемахнул ручей и устремился к деревне, и, повернувшись к Габриэлю, произнесла:

– О Габриэль, как мог ты поднять руку на меня, любившую тебя так долго и так крепко.

Ему снова показалось, что он знает ее всю жизнь, но он был словно в дурмане и промолчал в ответ – но тут она сорвала какой-то темно-зеленый, странной формы лист и, прижав его ко лбу, произнесла:

– Габриэль, поцелуй это место, и все станет как прежде.

И он поцеловал ее, как она и просила, и ощутил соленый вкус крови во рту и после уже ничего не помнил.

И вновь перед ним предстал хозяин волков в окружении своей жуткой свиты, заседающий в каком-то странном конклаве, а вокруг на деревьях сидели черные совы, и черные летучие мыши свисали с ветвей. Габриэль стоял в центре круга, и сотни злобных глаз вперились в него. Собрание, видимо, решало, что с ним делать, говоря на том же странном языке, который он уже слышал под окном. Внезапно он почувствовал, как кто-то взял его за руку, – таинственная женщина-волчица стояла рядом. Тогда началось то, что казалось каким-то колдовским ритуалом, – создания человеческие и получеловеческие завывали по-звериному, а звери говорили тем самым неизвестным языком. Потом хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью, произнес несколько слов глухим голосом, звучавшим словно издалека, но Габриэль только и разобрал свое имя и ее – Лилит. И тут же почувствовал, как его обвивают руки.

Габриэль проснулся – в своей комнате – так это был сон? – но какой ужасный! Да, но неужели это его комната? Вон там его пальто на спинке стула – да, но… распятие – где распятие, и маленькая купель со святой водой, и освященная пальмовая ветвь, и древний образ Богоматери вечного спасения с неугасимой лампадкой перед ним, к которому он каждый день возлагал цветы, – но только не синий цветок, его он возложить так и не решился.

Каждое утро, еще не оправившись ото сна, он устремлял к этому образу глаза, произносил «Аве Мария» и осенял себя крестным знамением, приносящим мир душе, – но как страшно, как непостижимо – его больше нет там, совсем нет. Он, верно, еще не проснулся, по крайней мере, не совсем проснулся, сейчас он совершит крестное знамение и освободится от этого страшного морока – знамение, да, он совершит его – но как надо его свершать? Неужто он забыл? или рука его парализована? Он не мог шевельнуться. Значит, он забыл – а молитва – он должен ее помнить. «A… vae… nunc… mortis… fructus…» Нет, кажется, не так – но очень похоже – да, это все наяву, и он может двигаться – он попытался убедить себя – вот сейчас он поднимется и увидит за окном старую серую церковь с изящными остроконечными щипцами, озаренными восходом, и тотчас же глубоко и торжественно ударит колокол, и он сбежит вниз и натянет свой красный стихарь, и затеплит высокие свечи на алтаре, и благоговейно дождется, когда нужно облачать доброго, любезного аббата Фелисьена, прикладываясь к каждому одеянию и поднимая его на вытянутых руках.

Но ведь это же не рассвет; это больше похоже на закат! Он выбрался из своей белой кроватки, и необъяснимый страх овладел им, он задрожал и вынужден был схватиться за стул, прежде чем достичь окна. Торжественных шпилей серой церкви не было – вместо них расстилались глубины леса; и той еще его части,

которой он прежде не видел, – но ведь он обходил его вдоль и поперек, а это, наверное, «та сторона». К страху примешалась вялость и утомление не без приятности – слабость, примирение, снисхождение, – он почувствовал, как на его охватывает мощная ласковая волна чужой воли, одевая невидимыми руками в неосязаемые одежды; он почти механически оделся и сошел по той же лестнице, по которой обыкновенно с шумом скатывался. Широкие квадратные ступени, лучащиеся разноцветьем, показались ему необыкновенно красивыми – почему прежде он этого не замечал? – но он постепенно терял способность удивляться – вот он вошел в комнату – на столе был обычный кофе с булочками.

– Габриэль, ты припозднился сегодня.

Мягкий голос, но интонация какая-то странная, – перед ним была Лилит, таинственная женщина-волчица, ее сверкающие золотые волосы были стянуты в тугой пучок, она была одета в платье кукурузного цвета, на коленях ее лежала вышивка со странными змеевидными узорами, – пристально глядя на него своими прекрасными темно-синими глазами, она произнесла:

– Габриэль, ты припозднился сегодня, – и он ответил:

– Вчера я утомился, налей мне кофе.

Сон внутри сна – да, он знал ее всю жизнь, они жили вместе; разве не всю жизнь они жили вместе? Она брала его с собой в прогулки по лесным полянам и собирала ему цветы, такие, каких прежде он не видел, и, не сводя с него своих удивительных синих глаз, рассказывала истории странным низким грудным голосом, который словно сопровождался слабой вибрацией струн.

Мало-помалу огонь жизненных сил, горевший в нем, стал затухать, и гибкие стройные члены его делались все более вялыми и полными, – но он все так же был исполнен томного довольства, а чужая воля постоянно довлела над ним.

Как-то в своих блужданиях он увидел странный темно-синий цветок, похожий цветом на глаза Лилит, и внезапное воспоминание мелькнуло в нем.

– Что это за цветок? – спросил он, но Лилит съежилась и промолчала; но вот они прошли еще немного, и перед ними возник ручей – ручей, о котором он думал, и он почувствовал, как ковы спадают с него, и чуть было не перепрыгнул через ручей, как Лилит схватила его за руку и изо всех сил оттащила; вся дрожа, она проговорила:

– Обещай мне, Габриэль, что ты не перейдешь на ту сторону.

Но он произнес:

– Скажи мне, что это за синий цветок и почему ты молчишь о нем?

И она ответила:

– Посмотри на ручей, Габриэль.

И он взглянул и увидел, что хотя это был тот самый разделяющий ручей, он не был похож на себя, – вода в нем оставалась неподвижной.

И чем больше вглядывался Габриэль в неподвижную воду, тем больше казалось ему, что он различает голоса – ему показалось, что это вечерня по усопшим. «Hei mihi quia incolatus sum»[1] – и вновь: «De profundis clamavi ad te»[2], – о,

1 Горе мне, что я пребываю у Мосоха (лат.)

2 Из глубины взываю к Тебе (лат.)

эта пелена, все затемняющая! Отчего он не видит и не слышит как следует, и почему воспоминания просачиваются к нему как будто через трехслойную полупрозрачную занавесь? Да, они молятся за него – но кто они? Вновь услышал он страдальческий шепот Лилит:

– Уйдем же отсюда!

Тогда он произнес без выражения:

– Что это за синий цветок и каково его назначение?

И низкий будоражащий голос сказал:

– Он зовется «люли ужюри», – две капли его – и спящий будет *спать*.

Он был точно ребенок в ее руках и страдал оттого, что позволил увести себя оттуда, но, тем не менее, незаметно сорвал один цветок, держа его чашечкой вниз. Что она подразумевала? Проснется ли спящий? Останется ли от синего цветка след? И можно ли стереть его?

Но на рассвете, сквозь сон, он слышал далекие голоса, возносящие молитвы за него, – голоса аббата Фелисьена, Кармель, матери, и некие знакомые слова проникли в него: «Libera me a porta inferi»[1]. Он понял, что там служат мессу за упокой его души. Нет, он не может долее оставаться, он должен перепрыгнуть ручей, он знает дорогу – но он запамятовал, что ручей неподвижен. И к тому же Лилит узнает – что же ему делать? Синий цветок – вот он лежит у изголовья – тут он понял; тихонько он пробрался туда, где спала Лилит, ее золотые, сияющие волосы разметались вокруг нее. Он уронил две капли сока ей на лоб, она вздохнула, и тень сверхъестественного ужаса легла на ее прекрасное лицо. Он бежал – ужас, угрызения совести, надежда разрывали его душу и заставляли бежать все дальше и дальше. Прибежал к ручью – он видел текущую воду – это и впрямь разделяющий ручей; перейдя этот предел, он снова окажется среди людей. Он прыгнул и…

Внезапно он осознал некую перемену – что с ним? Он не мог произнести ни слова – неужели он передвигается на четырех конечностях? Да, несомненно. Он глянул в ручей, чьи неподвижные воды застыли, словно зеркало, и там, о ужас, увидел себя; но был ли это он? Голова и лицо его; но тело было волчьим. Позади себя он услышал отвратительный насмешливый хохот. Он обернулся – там, позади, в струящемся красном свете, он увидал одного, с человеческим телом – и с волчьей головой и глазами, полными извечной злобы; и тот, в облике зверя, смеялся над ним громко, по-человечески, а он, пытаясь заговорить, издал только долгий волчий вой.

Но перенесемся мыслями с чужих пределов «той стороны» к простой деревушке, где когда-то жил Габриэль. Матушка Ивонна не была особо удивлена, когда он не явился к завтраку – он частенько поступал так, настолько он был рассеян; она только и сказала:

– Видать, ушел со всеми на волчью облаву.

Не то чтобы Габриэлю нравилась охота, просто на его счет она имела привычку глубокомысленно изрекать:

– Никогда не знаешь, что он надумает.

1 Избави меня от врат преисподней (лат.)

Мальчишки же говорили:

– Небось эта нюня Габриэль прячется и скрывается где-нибудь, он просто боится выйти на волчью охоту; да он поди и кошки не зашибет, – ибо в их понятии превосходство сводилось к убийству – чем больше игра, тем больше слава. В обычные дни они ограничивались воробьями и кошками, но втайне надеялись, что когда вырастут, станут командовать армиями.

И этих-то детей учили кротким словам Христа – но увы, почти все брошенное семя пало при дороге и не смогло дать ни цветов, ни плодов; как же малые сии могли познать страдания, и горький ужас, и понять все значение слов, сказанных тем людям, о ком написано: «Иное упало в терние»[1].

Волчья охота пока ознаменовалась успехом в том смысле, что охотники один раз увидели волка, и неуспехом, ибо волк перемахнул через ручей на «ту сторону», где, конечно же, они побоялись преследовать его. Никакая другая эмоция не укоренена в умах обычных людей так, как страх и ненависть к чему-нибудь «чужому».

Дни проходили, а Габриэля нигде не было видно – и матушка Ивонна, наконец, поняла, как сильно любила своего сына, которого другие матери только жалели, – гусыня и лебединое яйцо. Габриэля искали и притворялись, что искали, дойдя даже до того, что прочесали бреднем все пруды, что превратилось в великую забаву для мальчишек, убивших таким образом множество водяных крыс, – а Кармель сидела в уголочке и плакала весь день. Матушка Пинкель тоже сидела в уголке и, хмыкая, заявляла, что всегда считала, что Габриэль добром не кончит. Аббат Фелисьен был бледен и встревожен, но говорил мало, – только с Богом и присными Его.

Наконец, когда поиски кончились ничем, все решили, что Габриэля и в самом деле нет – то есть что он умер. (О других местах они знали так мало, что им и в голову не пришло, что он станет жить где-нибудь за пределами деревни). Так что было решено, что в церкви установят пустой катафалк и зажгут вокруг высокие свечи, и матушка Ивонна прочла все молитвы из своего молитвенника, с самого начала до самого конца, независимо от назначения молитвы, включая даже пояснения к разделам. А Кармель сидела в уголке боковой часовенки и все плакала и плакала. Аббат Фелисьен велел мальчишкам петь вечерню по усопшим (это им показалось малым развлечением по сравнению с прочесыванием прудов), а на следующее утро, на рассвете, отслужил панихиду с реквиемом, – *их-то Габриэль и услышал*.

Затем аббату сообщили, что один больной нуждается в последнем причастии. Так что он снарядил торжественное шествие с зажженными факелами, путь которого лежал по берегу разделяющего ручья.

Пытаясь заговорить, он издал лишь протяжный волчий вой – самый жуткий из всех звуков, исторгаемых животными. Он выл и выл – может, Лилит услышит его? Может, спасет? И тут он вспомнил о синем цветке – начале и конце его напастей. Его вопль пробудил всех обитателей леса – волков, людей-волков и волков-людей. В ужасе несся он впереди них – а позади, верхом на черном баране с человеческим лицом, скакал хозяин волков, чье лицо было вечно скрыто тенью. Лишь

1 Мат. 13, 7.

однажды он обернулся – ибо среди визга и завываний дьявольской охоты расслышал один голос, стонущий мукой. И там, среди них, он увидел Лилит, с волчьим телом, почти скрытом покровом ее золотых волос, а на челе ее был синий след цвета ее таинственных глаз, полных слез, которые они была не в силах сдержать.

Путь святого причастия лежал вдоль ручья. Вдалеке послышались страшные завывания, и факельщики, побледнев, задрожали, – но аббат Фелисьен, держа перед собой причастие, твердо сказал:

– Они не смогут повредить нам.

Внезапно показалась ужасная охота. Габриэль перепрыгнул через ручей, аббат Фелисьен осенил его причастием, и сразу человеческий облик вернулся к нему, павшему ниц в преклонении. Но аббат Фелисьен все держал воздетой дароносицу, и вокруг люди встали на колени в страхе, однако лицо священника, казалось, распространяет божественное сияние. Но тут хозяин волков подъял в своих руках нечто по форме устрашающее и невообразимое – дароносицу с адским причастием, и трижды поднимал он ее, насмехаясь над святым обрядом благословения. И на третий раз языки пламени брызнули из его пальцев, и вся «та сторона» леса занялась пламенем, и все покрыла великая тьма.

Все, кто были там, сохранили память об этом на всю жизнь, – даже на смертном одре воспоминание не стерлось из их памяти. Вопли, ужасающие до невообразимости, неслись всю ночь – а потом хлынул дождь.

Ныне «та сторона» безвредна – одни обугленные пни; но до сих пор никто не решается перейти ручей, кроме Габриэля – ибо каждый год на девять дней странное безумие настигает его.

Перевод Валерия Вотрина

ДИТЯ ДУШИ

(Беседа, услышанная в пассажирском вагоне.) Как я дошел до подслушивания – или, точнее, невольного выслушивания чужого разговора – для данной истории несущественно. Могу лишь сказать, что места в вагоне первого класса создают прекрасные условия для наблюдений за соседним купе.

Поезд не был экспрессом. Он останавливался на каждой станции: возможно, поэтому, устав от дороги, я принялся наблюдать за моими соседями. Однако, как уже было сказано, моя персона не имеет отношения к этой истории. Поэтому я сразу перейду к описанию пассажиров соседнего купе.

Слева (спиной к локомотиву) сидел мужчина лет тридцати, из тех, что хотели бы выглядеть моложе. Как бы обрисовать его облик? Он принадлежал к тому типу, который принято называть аристократическим, но назвать его так было бы все-таки несправедливо, ибо принадлежащие к аристократическому типу обычно некрасивы: а тут – серо-стальные, ястребиные глаза, утонченные черты, лицо, в юности, должно быть, обаятельнейшее; его даже не меняли выглядевшие преждевременными морщины. (Я забыл упомянуть, что было семь утра и что дело происходило в медлительном бельгийском поезде с конечной остановкой в Брюсселе). Мужчина был чисто выбрит, рот его имел – вернее сказать, приобрел – довольно циничное выражение, что было бы особенно неприятно, если бы его серостальные глаза порой не вспыхивали юношеской искренностью. Он читал местную газету, имевшую два названия: «Остраксе Крант» и «Журналь дё Круа ле Пти Шам», которая, как многие местные газеты в Бельгии, была напечатана на причудливой смеси французского и фламандского языков. Двуязычные объявления видимо забавляли его, – он понимал французский и, зная немецкий, догадывался о значении фламандских слов.

Напротив него (лицом к локомотиву) сидела дама, настолько укутанная в меха и плотную вуаль, что ее практически невозможно было разглядеть: она спала.

Наконец, мужчина дошел до церковного объявления, помещенного среди театральных анонсов, как часто делается в бельгийских газетах; объявление было примерно такого содержания:

…de 31' Augustus in de Kerk van onze lieve Vrouw…

…Solemnele Hoogmis met uitmundende muziek voor de ziel van Lord Kilcoran.

…demain matin à onze heures aura lieu le Requiem solonnel pour l'anniversaire de la mort tant regrettee du Lord Kilcoran.

…Sans doute plusières de nos concitoyens y assisteront, si non pour memoire du trèpassè, au moins pour avoir encore l'occasion d'entendre le celèbre equiem de notre compatriote Sybrandt von den Velden, executè par l'orchestre excellente de notre ville[1].

1 31 августа в церкви Богоматери… торжественное богослужение в сопровождении превосходной музыки за упокой души лорда Килкорана (нид.);

Завтра в 11 часов утра состоится торжественная панихида по случаю годовщины столь прискорбной кончины лорда Килкорана. Многие наши сограждане, несомненно, почтят её своим присутствием, даже если и не в память об усопшем, то, по крайней мере, чтобы воспользоваться случаем и услышать знаменитый «Реквием» нашего соотечественника Сибрандта ван ден Вельдена в исполнении превосходного оркестра нашего города. (фр.)

– Вот тебе на! – громко произнес мужчина. – Ведь сегодня годовщина смерти Генри: а я и забыл – и проскочил остановку.

Женщина, вздрогнув, приподняла вуаль, словно заслышав знакомый голос, и показалась из своих соболей. Одетая в глубокий траур, что не мешало ей выглядеть элегантно, она была изысканно красива, лет примерно тридцати, с удивительными золотистыми волосами и ярко-синими глазами.

– Альфред! – позвала она.

– Маргарет! – откликнулся мужчина. Впрочем, я не помню, кто заговорил первым. После этого она произнесла:

– Неужели вы действительно забыли о годовщине смерти Генри? Тогда почему вы здесь?

– Моя дорогая, я к своему стыду совсем бы об этом забыл, если бы не эта газетенка.

– Тогда почему вы едете на этом поезде в Остраке? – спросила она.

– Дорогая, возможно, вы помните, что мы собирались встретиться в Брюсселе, – тут он усмехнулся цинично и неприятно, – где, если мне не изменяет память, у нас было похвальное намерение сочетаться браком. Я прибыл на этом поезде в Брюссель, ожидая увидеть вас там.

– Да, – сказала она. – Я тоже еду в Брюссель. – Тут она также попыталась изобразить циничную усмешку, но у нее ничего не вышло; лицо ее исказилось от боли, но она, тем не менее, сумела добавить легкомысленно:

– Из уважения к приличиям я обязана навестить могилу Генри.

– Вы, кажется, относитесь к этому как к удобному поводу продемонстрировать элегантность вашего туалета, ибо даже накануне нашей свадьбы вы облачены в траурное платье самого лучшего фасона.

Он произнес это резко, хотя на лице его была подлинная скорбь.

– Боже мой! Альфред, что вы хотите сказать? Неужели вы думаете, что я не любила Генри?

– Хм, учитывая, что…

– Нет, – оборвала она. – Скажу сразу, что я никого не любила так, как Генри, моего мужа, и… – добавила она почти торжественно, – я приехала повидать моего ребенка.

Лицо мужчины смягчилось, я даже не ожидал увидеть на нем такое выражение. Он произнес:

– Да, конечно, – маленький Сибу; мы должны забрать его к себе, когда поженимся. Ему больше нельзя жить с Элизабет.

При этих словах на ее лице появилась гримаса страдания. Она достала висевший на шее медальон с локоном золотистых волос, которые были еще тоньше и красивее, чем ее собственные. Поцеловав медальон, она спросила:

– Слышали вы что-нибудь о Сибу?

– Нет, а что? – Вновь неприятное циничное выражение появилось на его лице. – Просто я решил, что если вы так сильно любили вашего мужа, то вам, верно, дорог и ребенок. Вы, право, типичная английская матрона.

Однако, судя по выражению его лица – почти нежному и смущенному, – он явно пожалел о сказанном, добавив мягко:

– Впрочем, вряд ли мы заботили Сибу. Он любил одного отца.

Она произнесла без выражения:

– Тогда вы не в курсе событий, – тут она слабо улыбнулась, – да и как бы вы узнали об этом, если в своих немногих письмах к вам я писала о самых заурядных вещах. – Так же без выражения она произнесла: – После похорон Генри Сибу лишился рассудка.

– Лишился рассудка! – повторил мужчина. – Он же был таким толковым мальчуганом. Но это не причина, чтобы отдалять его от нас; скорее, наоборот. Думаю, мы должны забрать его из этих бельгийских туманов в Килкоран, где ему положено жить по праву, в собственном поместье.

Лицо его приобрело выражение общепринятой английской сдержанности; с язвительной злостью и в то же время кротко она ответила:

– Есть еще одна деталь, которую вы не знаете.

– Помилуйте, Маргарет, вы просто невыносимы! Что, черт возьми, вы хотите сказать? С меня достаточно унижения оттого, что я женюсь на женщине, которая гораздо богаче меня. Неужели вы думаете, что я собираюсь обмануть ребенка и лишить его наследства? В любом случае, – со смехом добавил он, – я не смог бы этого сделать, даже если бы захотел, поскольку Килкоран принадлежит ему.

– Килкоран, – ровно произнесла она, – не принадлежит ни ему, ни мне; мне даже больше, чем ему.

– О чем вы говорите? Могу ли я тогда узнать, кому он принадлежит?

На лице его появилось то грубое выражение, которое часто встречается у мужчин при разговорах со знакомыми женщинами. Во мне опять возникла неприязнь к нему. Но она продолжила:

– Надеюсь, вы не передумали вступать со мной в брак? законный брак?

Поженимся, милый,
Ждать больше нет силы[1]

Она засмеялась и язвительно добавила:

– Тогда я могу сказать вам, что Сибу – не сын Килкорана.

– Он не сын Килкорана? Чей же он сын? – На его лице было истинное изумление. – Я не понимаю, что вы хотите сказать. Генри отдавал мальчику всего себя, а тот обожал Генри и, как вы сами сказали, после похорон обезумел от горя. Я прошу вас объясниться.

Тихо и со злостью она ответила:

– Неужели вы полагали, что только у вас имеется монополия на адюльтер?

Последовало долгое молчание. Наконец, он произнес:

– Я тоже сойду в Остраке.

В это время поезд уже подходил к Остраке. Мужчина помог своей спутнице спуститься на перрон, и уже оттуда до меня донесся его вопрос:

– Скажите мне одно. Знал ли Генри?

С еще большей злостью она ответила:

– Да!

1 В оригинале – измененная цитата из стихотворения Эдварда Лира (1812-1888) «Киска и Сыч», перевод Ирины Комаровой (здесь и далее прим. ред)

ЧАСТЬ II
ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Дед покойного графа Килкорана оставил после себя двух сыновей – Майкла и Патрика. В те дни законы против папистов и нонконформистов были еще в моде[1].

Младший брат Патрик объявил себя протестантом и заявил о претензиях на поместье отца. Но нашелся пергамент, написанный еще во времена королевы Елизаветы и гласящий, что Килкораны, предоставившие убежище нескольким беженцам-протестантам, награждались особыми привилегиями, и потому ни один член семейства, перешедший в протестантскую веру, не может изменить порядок наследования. Естественно, между братьями произошел разрыв. Майкл остался в родовом поместье, а Патрик уехал в Ольстер, где уже на закате жизни женился и обзавелся дочерью Элизабет, которая впоследствии вышла замуж за хорошо известного врача, сэра Джозефа Рэнделла, от коего родилась дочь Дороти.

Майкл тоже поздно обзавелся семьей. Его сын Генри женился на леди Маргарет Тримейн и оставил сына по имени Сибрандт.

ЧАСТЬ III
Глава I
(Почти годом ранее)
Рассказ леди Рэнделл

Прежде чем начать свою историю, я хотела бы представиться. Я – женщина; мой возраст никого не касается. Довольно сказать, что у меня есть дочь восемнадцати лет, и что я рано вышла замуж: меня называют миловидной, и я, хоть это тоже имеет малое касательство к рассказу, вдова достаточно известного врача, сэра Джозефа Рэнделла. Меня зовут Элизабет, что, впрочем, известно всем моим знакомым. Итак, приступим:

Мы с дочерью, отличавшейся слабым здоровьем, остановились в одной остракской гостинице (выбранной из всех прочих): прежде всего по той причине, что нам необходимо было спокойное место – хотя Остраке спокойным не назовешь, ибо один ребенок в сабо может наделать больше шума, чем дюжина городских омнибусов, и еще потому, что эту гостиницу нам особенно рекомендовали, должна сказать, вполне заслуженно (мое упоминание о муже здесь вполне уместно, поскольку именно от него я переняла привычку к наблюдениям: от природы у меня пытливый склад ума). Но в этом городке чего-нибудь интересного было не

1 Ряд суровых законов (также известны под названием «папский кодекс»), против представителей неофициальной церкви: Акт о корпорации (1661), исключавший нонконформистов из городской корпорации; Акт о единообразии (1662), предписывающий использование «Книги всеобщей молитвы» как стандартного молитвенника во время богослужений; Акт о молельнях (1664), запрещавший нонконформистам собственные богослужения, и так называемый Акт о пяти милях (1665), запрещавший нонконформистским священникам подходить к городам ближе, чем на пять миль. Действие последних двух актов было отменено в 1689 г., а Акта о корпорации – лишь в 1828 г.

найти. Да, гостиница была хороша: табльдот не вызывал упреков: но мы и были этим самым табльдотом – единственные жильцы на всю гостиницу, за исключением еще одного человека: он никогда не спускался к завтраку, но мы часто видели, как он входит и выходит из отеля. Соответственно, он-то и интересовал меня больше всего: странный мужчина с бледным лицом, на котором застыла печаль. Дороти – так зовут мою дочь – предложила взглянуть в книгу постояльцев и узнать, кто он такой; однако я сочла подобный поступок не очень порядочным, хотя мне самой ужасно хотелось это сделать. Так что я строго отчитала дочь за чрезмерное любопытство. Вообразите мой восторг и удивление, когда в один из дней незнакомец присоединился к нам за табльдотом.

Я уже говорила, что в нем угадывалась какая-то странность. Черты его лица сохраняли следы былой красоты. Я не могла судить о его возрасте: на вид ему было лет сорок, но казалось, что он состарился преждевременно; возможно, он был моложе. (Конечно, я описываю свои первые впечатления, ибо сейчас мне известно о нем почти все или более чем достаточно). Но продолжим.

Он сел напротив нас за стол, где было три свободных места: вместо привычной грусти его взгляд выражал нетерпеливое ожидание. Он явно ждал кого-то. Вскоре в зал вошли женщина и мужчина. Как бы мне их описать? Женщина была одета в светло-голубое платье, отлично сшитое, – женский глаз обычно замечает такие вещи прежде всего. Она была безусловно красива – даже более того; грациозность ее форм и движений с первого взгляда поразили меня. Но то, что, как французы говорят, sautait aux yeux[1] в ее облике, были золотые волосы, заплетенные в толстые косы и уложенные на очень оригинальный манер. Мужчина был высок и определенно привлекателен. Она подошла к нему, я имею в виду мужчину, о котором говорила прежде: чтобы избежать путаницы, я буду называть его печальным господином. Женщина поцеловала его в щеку, а ее спутник по-дружески – мне показалось, даже нежно – похлопал того по плечу и довольно банально поприветствовал:

– Как поживаете, старина?

Единственным ответом печального господина было:

– Где Сибу?

– Он наверху, с няней, – отвечала женщина.

На лице мужчины возникло выражение крайней озабоченности: вновь прибывшие заняли места за столом, и нам подали суп. Мое любопытство разгорелось еще сильнее.

Внезапно лицо его изменилось: я уже говорила, что оно носило следы былой красоты, но теперь оно стало чуть ли не прекрасным; в зал вбежал мальчик лет восьми-девяти. Я должна описать его, чтобы сделать рассказ более понятным, хотя поначалу мне не удалось рассмотреть его лицо. Очаровательное видение. Даже не знаю, смогу ли я воздать ему должное: прелестные золотистые волосы (по которым я заключила, что женщина была его матерью) напоминали шелк и превосходили по красоте ее собственные золотые косы. Его глаза, как это ни странно звучит, были фиолетовы, с длинными загнутыми ресницами,

1 бросилось в глаза (фр.)

и придавали ему вид преклоняющегося ангела с картины Луини. Впрочем, он вбежал в комнату: и я не успела оглядеть его как следует. Я успела лишь заметить, что он пролетел или даже проскользил через комнату и с криком «Папа!» бросился в объятия печального господина.

– Сибу, – заметила женщина, – ведь я же сказала тебе оставаться в номере: папа повидался бы с тобою позже.

Мальчик отвечал голосом, чье звучание странным образом напоминало органный vox humana:

– Папочка, можно я побуду с тобой? Я обещаю хорошо себя вести и совсем не разговаривать.

– Даже не знаю, – ответил мужчина. Тем не менее, мальчик остался с ним, усевшись на табуретку рядом.

Табльдот продолжался обычным образом. После супа нам подали рыбу, за которой последовало нечто странное под названием «ростбиф» и курица, сменившая свое обычное прозвание на «Poularde au cresson»[1]. Компания оживленно беседовала; признаться, я была удивлена, услышав, как наш печальный знакомый отпустил несколько шутливых замечаний.

Тем не менее, мне было интересно, в каких отношениях состоят эти люди. Было странно, что ребенок был почти или даже совсем не похож на отца; внешностью и цветом волос он походил на женщину, но данное сходство носило родственный характер, выражением лица он совершенно от нее отличался. С другой стороны, мальчик (ибо, забыв о своем обещании, он охотно вступал в разговор) называл женщину «матушка», а не «мама», в то время как печального господина он называл «папой». Второго мужчину он называл «дядя Альфред». Но тот был не похож ни на женщину, ни на печального господина: был он ее братом или его? Их ли родственник он вообще? Так или иначе, они говорили по-английски: и, дождавшись «Bavaroise de chocolat a la creme»[2], мы разговорились с ними, как обычно случается в маленьких гостиницах, и когда нам подали кофе – вернее, еще не подали (забыла упомянуть о своем ирландском происхождении), мы перешли в то, что зовется «салон для бесед». Там стояло фортепьяно; мальчик подбежал к нему и с мольбой повернулся к отцу.

– Папа, я не играл уже четыре дня. Можно, я чуточку поиграю – совсем чуточку?

Того это явно смутило, и он произнес:

– Возможно, дамы будут против.

Разумеется, мы – боюсь, довольно малодушно – заявили, что не возражаем. Но человек, которого назвали Альфредом, заверил нас:

– Это не так уж плохо. Он не станет играть «Сон Руссо» или «Битву под Прагой». Мальчик играет совсем недурно.

Более чем недурно! Мальчик сел за инструмент и заиграл. При первых звуках его глаза вдохновенно загорелись: точно божественный фиолетовый свет брызнул из них. Сейчас он был скорее похож на серафима в славе, чем на

1 пулярка с кресс-салатом (фр.)

2 баварский шоколад со сливками (фр.)

преклоняющегося ангела: и как он играл! То была странная и сложная импровизация, вариация на тему, которая показалась мне очень знакомой. Внезапно дочь наклонилась ко мне и прошептала:

– Мама, мы уже слышали эту мелодию раньше. Помните тот концерт в Брюсселе, на котором солировал Сибрандт ван ден Вельден? В программке эта пьеса называлась «Импровизированной вариацией на собственную тему». Но как о ней узнал этот ребенок? Мы слушали эту музыку так давно: в ту пору его еще на свете не было.

И тогда я вспомнила, что лет десять назад некий молодой музыкант по имени Сибрандт ван ден Вельден действительно пользовался популярностью. Меня поразило, что Дороти, моя дочь, которую я считала не особенно сообразительной (и, кстати, совершенно напрасно), сохранила в памяти то, о чем она слышала, когда ей было столько же, сколько мальчику, играющему сейчас на фортепьяно.

У нас *определенно* не возникло возражений.

На лице мужчины появилось выражение экстатического восторга – но вовсе не от игры сына. Я заметила (а мой покойный муж научил меня наблюдать за каждой мелочью), что на его лице отразились какие-то мучительные воспоминания.

Затем женщина произнесла:

– Право, Сибу, тебе пора в постель.

Мальчик не пожелал спокойной ночи матери и мужчине, которого звали Альфред: лишь своему отцу, при этом горячо его поцеловав.

Лицо того снова расцвело, и он начертал знак креста на лбу мальчика, который выскользнул из комнаты так бесшумно, что я не заметила момент его ухода. Женщина произнесла:

– Мы с Альфредом собираемся прогуляться по городу. Вы не хотите присоединиться к нам?

– Я тут уже все осмотрел, – ответил тот. – Так что оставайтесь, детки, наедине друг с другом.

Это было сказано вполне добродушно. Но я не смогла отделаться от ощущения, что в этом всем было что-то странное. Он попросил разрешения закурить; я разрешила и сказала дочери, что ей тоже пора бы отправляться спать. Таким образом, я осталась с ним наедине, как мне давно хотелось, чтобы удовлетворить свое любопытство и выяснить, кто он таков.

Глава II

– Что ж, – отважилась я сказать, ибо из последующего знакомства выяснилось, что он был куда общительней, чем мне казалось прежде, – могу ли я спросить вас напрямую – каким образом вы попали сюда? Я всегда считала, что это мы открыли Остраке. До нашего появления здесь никто не слышал английской речи: и потом, первооткрыватели всегда противятся вторжению в их любимое местечко.

– Не знаю, когда вы открыли Остраке, – любезно отвечал он, – но думаю, что я открыл его задолго до вас, довольно случайно; я, видите ли, знавал кое-кого

из местных. – При этих словах на его лице опять появилось то мучительное выражение, которое я заметила раньше, и тут же обратилось в привлекательную улыбку (я даже не предполагала, что он может улыбаться). – С моей стороны было очень нечестно привезти с собой жену: это место определенно не придется ей по душе.

Задумчиво он добавил:

– Но как бы я жил без моего ребенка?

С самой первой встречи он показался мне излишне сдержанным, но сейчас был, похоже, склонен довериться мне. Не раз мне говорили, что я вызываю у людей подобные чувства. Но вместо этого я сказала:

– Как прекрасно играет ваш мальчик!

– О, да, у него замечательный талант к музыке.

– А ведь еще совсем дитя! Можно спросить, у кого он учился?

– Самое необыкновенное, – отвечал он, – что мальчик ни у кого не брал уроков. Он не разбирает нот и вряд ли воспроизведет даже простую песенку вроде «Домика у леса». Однако, по общему признанию, играет он неплохо.

– Так уж и неплохо, – подхватила я, – играет он просто великолепно. Словно бы по вдохновению.

– Вдохновение, – повторил он. – Какой смысл вы вкладываете в это слово? Вы наверняка понимаете его по-своему и не верите в сверхъестественное или противоестественное. (Как он об этом узнал: неужели догадался, что я жена врача?) Он продолжал: – Мне кажется, что он подвержен какому-то чуждому влиянию, иначе он не мог бы так играть.

– Но право, – сказала я, – с таким потрясающим талантом его следует отдать под опеку лучшим педагогам: при обучении приемам и азам музыки из него вырастет нечто феноменальное.

– Я не хочу, чтобы мой ребенок стал юным гением. Это сделало бы его тщеславным и самоуверенным, а он, Deo gratias[1], не таков.

Меня поразило то, что он употребил здесь эту обычную для католической службы фразу: и тут же записала печального господина в католики. Но мне по-прежнему хотелось выяснить о нем побольше. Поэтому, поразмыслив, я перешла в наступление.

– Ужасно скучный городок этот Остраке; нам с дочерью совершенно не с кем общаться.

Я собиралась выразить эту мысль несколько иначе, но уж как получилось, так получилось.

– Нам одним выделен целый салон на втором этаже, что выглядит довольно своекорыстно. Не хотели бы вы с женой зайти к нам на чашку чая? Мы с дочерью пьем чай обычно в пять часов вечера, следуя доброму английскому обычаю. Чай здесь совсем не пьют. Но мы привезли немного с собой, вместе с настоящим русским самоваром. Думаю, наш чай вам понравится.

– Мы с женой будем рады, – отвечал он. – Признаюсь, я не ожидал встретить англичан в Остраке.

1 Слава Богу (лат.)

– Раз уж нас выбросило на этот необитаемый остров, хотя и не совсем необитаемый, и островом его тоже не назовешь, – все же я оставляю за собой надежду увидеться завтра. На всякий случай дам свою визитку, – и я протянула ему карточку.

Он удивленно взглянул на нее, хотя я не могла понять, что удивительного было в моем предложении.

Но вот он протянул мне свою визитную карточку – и я изумилась больше него. На карточке стояло: «Граф Килкоран». Мой собственный кузен! встреченный мною в этой глухомани: да тот еще, который по семейным причинам вряд ли станет питать ко мне добрые чувства. Не поведя бровью, я заметила:

– Я вижу, мы в близком родстве: надеюсь, данный факт не помешает нам остаться друзьями.

– Лично я не вижу причин для вражды, – с приветливой улыбкой ответил он.

– Тогда смотрите, – продолжала я, – я ожидаю вас завтра к пяти часам, номер семнадцать. Вас с женой и ребенка и… (здесь я заколебалась, но все же рискнула) вашего шурина.

– Шурина? – переспросил он. – Я полагаю, вы говорите об Альфреде. Он мне не родственник, да и вам тоже. Но вы можете знать его семью. Его зовут Альфред Этенри, сын лорда Дангори. Они из Галуэя.

Конечно же, я их знала. Ведь нас объединяло нечто общее – мы не были англичанами: выяснилось, что мы оба ирландцы – еще одна сближающая деталь. Да к тому же родственники.

– Прошу прощения, но мне пора идти, – сказала я. – Дочь уже заждалась. À demain[1].

Глава III

На следующее утро я выглянула в окно и увидела, что мой кузен и его гениальный ребенок направляются рука об руку к той прекрасной большой церкви, которую в путеводителях вечно именуется собором, – хотя это вовсе не собор. Вполне обыденная картина, но она вызвала у меня бурю мыслей; точнее, выставила передо мной две темы, о которых я прежде не задумывалась. Что такое отцовство? В чем заключается смысл этой таинственной религии, которую меня научили ненавидеть и презирать? Я не любила своих родителей. Мать умерла, когда я была еще ребенком. У меня остались лишь смутные воспоминания о ней: сухая и строгая, с завитыми волосами. В отце было нечто такое, что заставляло относиться к нему с недоверием. Он заинтересовал меня лишь однажды – когда умирал, и это было страшно. Я присутствовала у его одра все время и слышала, как он бредил перед смертью, умоляя меня: «Элизабет, ради Бога и спасения своей души пошли за священником! За настоящим, католическим священником!» Затем он снова начинал бредить, повторяя раз за разом: «Sancta Maria mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae»[2]; «hora mortis», – повторил он; внезапно, рванувшись с постели, и с полными ужаса глазами вскричал пронзительно:

1 До завтра (фр.)

2 Святая Мария, Матерь Бога, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей (лат.) – слова из католической Литании Пресвятой Богородице.

«Memorare O pessima neminam ad tuam[1]… проклятье! Я забыл эту молитву!» Упав на подушки, он тихо прошептал: «Esse derelictum?» Послали за священником, что меня удивило, ибо нас в Ирландии принято было называть «черными протестантами»[2]. Священника не оказалось дома. Мы жили в малонаселенной сельской местности. Священник уехал соборовать одну старую женщину, известную в округе своим благочестием, которая вряд ли нуждалась в этом последнем утешении так, как мой отец. Впоследствии я вышла замуж за врача, кто (как это часто с врачами случается) был атеистом. И все же меня продолжал мучить вопрос, какая таинственная сила заставила моего отца молить о последнем причастии после того, как он долгие годы хулил и отвергал религию? Но я отвлеклась. Несмотря на отчуждение двух наших семейств, у меня не было причин относиться враждебно к Килкорану, своему двоюродному брату; к тому же я не разделяла предрассудков отца – по крайней мере, в ту пору.

Глава IV

Итак, тем вечером они, как и обещали, пришли на чаепитие, и наше знакомство укрепилось. Мы приглашали друг друга на чай, вместе ходили в театр – ибо Остраке гордится, и заслуженно, своим театром, – на концерты и экскурсии по окрестностям. Учитывая наше с Килкораном родство, мы стали называть друг друга по именам. Чем больше я узнавала его, тем сильнее мне нравился мой кузен. Но это не относилось к Маргарет, хотя порой она могла быть просто очаровательной, и я определенно невзлюбила Альфреда, хотя он блистал умом и юмором. Его связывало с Маргарет нечто такое, что ставило меня в тупик; неужели Килкоран, которого нельзя было назвать ненаблюдательным, не замечал того, что буквально бросалось в глаза? Ко всему, что происходило между теми двумя, он относился с абсолютным безразличием. И это притом, что в других обстоятельствах он замечал малейшие подробности.

Что касается ребенка, разве не говорила я, что он сразу завладел моим сердцем? – чем больше я виделась с ним, тем сильнее становилась эта любовь. Мне трудно описывать его, хотя к тому времени мы уже успели познакомиться ближе. Он не относился к числу так называемых умненьких мальчиков; но он был смышлен и одарен, причем гнусная скороспелость, этот общий недостаток всех исключительных детей, напрочь отсутствовала в нем. Его скороспелость выражалась только в музыке, и здесь он действительно был развит не по годам; не будучи застенчивым, он умел молчать и следовал тому наставлению, что мальчиков должно быть видно, но не слышно. Он воодушевлялся, только находясь рядом с отцом; с другими он разговаривал, только когда его о чем-то спрашивали.

1 Отец Элизабет пытается вспомнить начало молитвы св. Бернарда: «Memorare, O piissima Virgo Maria, non esse auditum a saeculo, quemquam ad tua currentem praesidia …» «Вспомни, о всемилостивая Дева Мария, что испокон века никто не слыхал о том, чтобы кто-либо из прибегающих к Тебе, просящих о Твоей помощи…» «Esse derelictum» – «был Тобою оставлен».

2 Так называют протестантов, особо приверженных своей церкви; большинство их относится к последователям евангельского христианства.

Глава V

Как-то раз мы были на концерте; концерт был исключительный – хотя в Англии концерты тоже бывают неплохи, – должен был выступать известный скрипач, не менее известный пианист и кто-то еще, чьи имена выветрились из моей памяти, да они и не имеют к этой истории никакого отношения. Никто из нас не приобрел программки заранее, и я ознакомилась с ней только перед самым концертом. Первое, что бросилось мне в глаза, был «Романс» для скрипки, сочиненный Сибрандтом ван ден Вельденом, о котором совсем недавно говорила дочь. Сейчас я уже не помню, что заставило меня связать его имя с семейством кузена. Мне просто подумалось, что оно их заинтересует. И оно действительно произвело на них впечатление, причем довольно неожиданное. Я уже говорила, что лет десять назад, будучи в Бельгии, мне довелось побывать на концерте Сибрандта ван ден Вельдена. Я живо помню его – как единственного слышанного мною исполнителя, не считая многих известных пианистов, которому удалось воссоздать и донести до слушателей игру Шопена. В те дни он имел огромный успех. Его оригинальные и яркие композиции были почти неизвестны за пределами Бельгии, и Остраке, его родной город, им по праву гордится, ибо не мог похвастать уроженцами такого масштаба.

Маргарет всегда отличалась бледностью; но не тою меловой бледностью, которая говорит о нездоровье, – ее кожа была цвета слоновой кости, что так шло ее золотистым волосам; я даже стала называть ее Хрисоэлефантиной[1]. Когда начался «Романс» для скрипки (программка была только у меня, и Маргарет не знала, какой номер будет следующим), ее лицо стало восковым. Мне показалось, что с ней вот-вот случится обморок, и я приготовилась оказать ей помощь. Но ничего подобного! В ее голубых глазах, неотрывно глядевших на мужа, ледяная ненависть сменилась укором, а укор – невыразимой нежностью. Да, она любила его, что было трудно угадать в ее манерах, хотя по виду они неплохо ладили. Однако здесь ошибки быть не могло. Если и можно было прочесть настоящую любовь в женских глазах, то это были глаза Маргарет. После чего на лице ее появилось мучительное выражение, напомнившее мне лицо ее мужа в день нашего знакомства, когда его сын играл на фортепьяно. Сейчас мой кузен сидел в глубине ложи, намеренно выбрав самый затененный уголок. Альфред был безразличен и явно скучал. А лицо мальчика сияло, будто озаренное небесным светом. Широко раскрытые глаза блестели, как аметисты, все его худенькое тело трепетало от восторга.

Почему же они так разволновались, слушая эту пьесу, которую лично я находила хоть и замечательной в своем роде, но все же недостаточно выразительной, чтобы вызвать подобные чувства? Я еще могла понять эмоции ребенка – он был очень впечатлительным к музыке; и все же, в этом случае, чрезмерно впечатлительным.

1 (от греч. chrysós – золото и elephas – слоновая кость), так в древней Греции назывались скульптуры из пластин золота (волосы, одежда) и слоновой кости (обнаженное тело) на деревянном каркасе. Наиболее известные образцы – колоссальные статуи Зевса и Афины работы Фидия.

Концерт подходил к концу. Оставалось два номера, когда Дороти очень вовремя произнесла:

– Мама, я думаю, что после этой вещи дурацкая песенка из «Травиаты» будет просто невыносимой. Не лучше ли нам уйти?

Килкоран поддержал ее дрожащим голосом:

– Да, я согласен с вами.

Но, выходя из своего уголка на свет, он произнес с улыбкой:

– Очень жаль портить кому-то самые лучшие его впечатления.

Губы его улыбались, глаза – нет. Маргарет проворчала, впрочем, довольно вежливо:

– Я тоже считаю, что нам пора уходить.

И Альфред добавил:

– Да, здесь ужасно душно.

Глава VI

Тем же вечером в «салоне для бесед» Альфред предложил:

– Сибу, не мог бы ты сыграть нам что-нибудь?

Мальчик угрюмо ответил – я никогда не видела его таким, он всегда был очень приветлив:

– А что вам хотелось бы услышать?

Альфред, относившийся к мальчику с теплотой – что казалось мне лучшей чертой его характера, – сказал дружелюбно:

– Может, ты запомнил какую-нибудь вещь из этого концерта?

Во время ужина Сибу не произнес ни слова. Со скучным видом он сидел на диване, прильнув к плечу Килкорана. Но тут при словах Альфреда заметно оживился.

– Да, – сказал он, улыбаясь и сразу становясь похожим на отца. – Я кое-что запомнил!

Несмотря на легкое сопротивление отца, он стрелой метнулся к фортепьяно и заиграл. Я уже говорила о том, что играл он божественно; что остается добавить? С этой игрой не могло сравниться ни одно из его прежних выступлений.

«Романс» ван ден Вельдена произвел на меня впечатление; однако нельзя сказать, что, прослушав его, я забыла все на свете. Мальчик исполнял это произведение совершенно не так, как знаменитый скрипач. Маленький ребенок, сидя за не то чтобы очень хорошим инструментом и подпевая себе тонким голосом, удивительно напоминавшим скрипку, доносил до нас то, что, без сомнения, сам автор рассчитывал донести при помощи скрипки и целого оркестра. И тогда я поняла, что это – творение гения. Музыка настолько захватила меня, что я даже не заметила, как Килкоран поднялся с кресла и крикнул дрожащим от боли голосом:

– Сибрандт!

Мальчика всегда называли Сибу; теперь я вспомнила, что это его полное имя; потому-то я и связала мысленно произведение ван ден Вельдена с семейством Килкоранов. Но почему он вдруг назвал своего ребенка Сибрандт? Мальчик не обратил внимания на его призыв и продолжал играть. А ведь в обычное

время он улавливал малейшие модуляции отцовского голоса. Но в этот раз он продолжал играть, поглощенный какой-то невероятно сложной вариацией «Романса». Килкоран вытянул руки, сделал пару шагов к фортепьяно и внезапно рухнул посреди комнаты. То была странная сцена. При обычных обстоятельствах кто-то мог бы предположить, что с ним случился обморок. Но я, то ли интуитивно, то ли потому, что была женой врача, поняла, что он мертв.

Дальше события развивались ужасным образом. Настала абсолютная тишина. Кажется, все присутствующие осознали то же, что и я. Маргарет поднялась с кресла и застыла. Альфред бросился за доктором. Он не произнес ни слова, но я была уверена в его намерении. И только мальчик еще играл. Так мы и ждали в молчании: никто не пытался помочь человеку, который, на первый взгляд, был просто в обмороке. Ребенок играл – забыв обо всем, словно без ума.

Наконец, Альфред вернулся с доктором: тот послушал сердце и – что ж, ему не нужно было говорить то, о чем мы уже знали. Высказанная им фраза кончалась словом «mort»[1].

Ребенок, по-прежнему разыгрывавший вариации, играл сейчас не так быстро. По-видимому, услышав последнее слово доктора, он ударил по клавише, – мне четко запомнился этот момент (как западают в память подобные мелочи!) Этот диссонанс, тем не менее, прозвучал весьма гармонично; он просто не мог ударить не по той клавише. Затем он повернулся на своем стуле и увидел. «Папа!» – только и произнес он, и голос его был похож на звук верхней скрипичной струны, лопнувшей от неимоверного напряжения.

И он не просто бросился к телу и обнял его; он приник к нему; как улитка к стене; как пиявка к ране.

К счастью, Дороти этого не видела. Альфред взял руку Килкорана и с нежностью посмотрел ему в глаза. Вздрогнув, он быстро взглянул на Маргарет и молча вышел. Все это время Маргарет стояла неподвижно, обратившись в статую. Казалось, она неживая. Затем медленно, точно оживая, она подошла к телу мужа и расстегнула его жилет и рубашку. Меня ужаснул ее вид; она напомнила мне Медузу-Горгону. Даже золотые волосы представились мне свивающимися гадами. Она не произнесла ни слова. Выпрямившись, она снова застыла у тела мужа, прямо и недвижно. За это время я успела рассмотреть на его груди большой медальон на золотой цепочке. То был миниатюрный портрет молодого человека необычайной красоты. Я где-то уже видела это лицо. Но у меня не было времени на размышления; ибо внезапно Маргарет превратилась из статуи в фурию. Сорвав медальон с шеи мужа, она швырнула его в угол, бросилась туда и принялась топтать его.

Через миг ее лицо изменилось, она вернулась, опустилась на колени перед телом, вытащила носовой платок и тщательно отерла им то место на его груди, где был медальон, словно пытаясь уничтожить его следы. Со страстью, какой я от нее не ожидала, она покрыла поцелуями грудь и горло Килкорана. Поднявшись на ноги, она сказала мне спокойно:

– Доброй ночи, Элизабет. Боюсь, мы не сможем прийти к вам завтра на чай. Сибу, тебе пора спать.

1 Мертв (фр.)

Мальчик, приникши к телу отца, молчал. Маргарет повторила:

– Сибу, папа очень болен; ты пойдешь спать?

Ребенок ответил ей резко и коротко: «Нет!», его голос напоминал звучание басовой струны виолончели.

И тогда я поняла Маргарет; а она меня. Слова нам не понадобились. По ее взгляду я поняла, что она сейчас чувствует. Между нами определенно возникла телепатическая связь; потому что когда она, не сказав ни слова, вышла, я ничуть не удивилась появлению хозяина гостиницы, сообщившего, что он ничего не имеет против переустройства «салона для бесед» в комнату для прощания, или как он выразился, «chapelle ardente»[1], как будет угодно мадам и месье. После этого я осталась наедине с телом и онемевшим ребенком. Вскоре Маргарет вернулась в сопровождении Альфреда. Несмотря на все их увещевания, ребенок никак не желал отходить от тела отца. Он лишь кричал в ответ: «Нет! Нет! Нет! Нет!» Наконец, они удалились. Удалилась и я, оставив тех двоих наедине.

Глава VII

Так «салон для бесед» превратился в «chapelle ardente». Тело Генри возложили на красиво задрапированный катафалк в окружении шести больших горящих свечей из небеленого воска. Ничто не могло заставить ребенка отойти от тела отца. Спал он прямо на полу, почти ничего не ел и оставлял ровно половину своей еды рядом с катафалком. Иногда он что-то говорил мертвецу, а время от времени садился за фортепьяно, чтобы тихо поиграть любимые пьесы отца.

Однажды Альфред уговорил его выйти на свежий воздух. Он дал ему двадцать франков, и вскоре мальчик вернулся с венком из красивых орхидей. Конечно, венок стоил гораздо дороже. Но кто мог отказать ребенку? Килкорана хорошо знали в Остраке – особенно торговцы.

Потерял ли Сибу рассудок? Я так считала; сидя рядом с телом, он общался с ним, как с живым: так тихо, что никто не мог его слышать: играя любимые произведения отца, он время от времени оборачивался к покойнику, как будто искал его одобрения. Он не плакал; и ничем не выражал своего горя.

Прежде я похвалялась своей наблюдательностью. Но следует признать, что Маргарет так и осталась для меня загадкой. Она могла просидеть почти весь день перед катафалком, читая молитвы. А ведь она никогда не производила впечатления религиозного человека. Религия для нее состояла из воскресных посещений Messe des Paresseux[2], куда они с Альфредом неизменно опаздывали, хотя церковь находилась неподалеку, тогда как Генри всегда брал Сибу с собою в церковь ежедневно в утренние часы. После первого всплеска эмоций Маргарет сохраняла ледяное спокойствие. Но вот чего я совсем не понимала; увиденное мной убедило меня в ее искренней любви к мужу. Почему же тогда она предпочитала общество Альфреда? Не сказать было, что она любит его; она попросту держалась с ним слишком по-дружески. Я часто видела, как она по утрам,

1 погребальная часовня (фр.)

2 поздняя месса (фр.)

пренебрегая всеми convenances[1], входила в комнату Альфреда, в наброшенном халате или пеньюаре, что казалось очень странным для женщины, придававшей своей внешности такое значение. И я ни разу не замечала, чтобы она входила в номер Килкорана, где спал также и Сибу, няня которого по причине ненадобности получила расчет. Они с Альфредом часто отлучались вместе. Оказалось, что они сделали все распоряжения насчет похорон: погребение должно было состояться в следующий четверг. А за день до того, войдя в комнату, чтобы присмотреть за ребенком, я услышала слова Альфреда:

– Наконец-то все улажено; через год мы встречаемся в Брюсселе и вступаем в брак.

Маргарет дала ему любопытный ответ:

– Да, я думаю, Генри бы это одобрил.

Однако в тот же день мне привелось услышать нечто большее.

Глава VIII

Вечером ко мне в номер пришла Маргарет. В руке ее был запечатанный конверт с надписью: «Для Элизабет, в случае моей смерти».

– Подождите, Элизабет, и послушайте, что я хочу сказать, – произнесла она. – Это письмо моего мужа к вам: думаю, я догадываюсь о его содержании. Но прежде, ради Бога, выслушайте мой рассказ.

Меня это удивило: я не ждала от нее подобной доверительности.

– Я должна выложить вам всю правду, – продолжала она. – Возможно, вы станете жалеть меня. Возможно, испытаете отвращение и презрение. Скорее всего, последнее.

– Не знаю, почему, – отвечала я, – но, скорее всего, именно жалость. Во всяком случае, вам стоит рассказать мне все.

– Перед тем, как начать, могу ли я задать вам один вопрос?

– Пожалуйста, – ответила я. – Столько, сколько вам будет угодно.

– Вопрос таков – ведь вы были замужем – любили ли вы вашего мужа?

– Нет, – ответила я, – в этом смысле нет. Определенно он *нравился* мне. Видите ли, я была очень молода, без семьи и средств к существованию, и попала под опеку невыносимой старой тетки; и я была только рада принять предложение первого мужчины, чтобы вырваться из этой неволи. Это оказалось не так уж и плохо, как можно было ожидать. Однако страсть в моем браке отсутствовала напрочь, если вы именно это хотели знать.

– Что ж, – сказала она, – в моем браке страсть была. Поэтому вам не понять, как сильно я любила Генри.

– Человеку возможно понять то, через что он сам не проходил, – возразила я.

Ее глаза, цветом напоминавшие сапфир, внезапно приобрели переливчатый оттенок, который можно встретить лишь на Адриатическом море. Она продолжила:

1 приличия (фр.)

– Старое выражение: «Я целовала землю, на которую ступала его нога» точно подходит к моему случаю. Все, чего бы он ни коснулся, становилось для меня реликвией. Я ревновала его к коту, к собаке – даже к стулу. – Она попыталась рассмеяться, но глаза ее наполнились слезами. – Чтобы не томить вас долгой историей, – продолжала она быстрее, собравшись с духом, – как-то мой муж поехал в Бельгию по делам: и они привели его сюда, в Остраке. Он вернулся в сопровождении юноши по имени Сибрандт ван ден Вельден. Вам наверняка знакомо это имя, – быстро добавила она, продолжив с деланным равнодушием: – Тогда он уже подавал большие надежды в музыке, и многие прочили ему блестящую карьеру. – Она громко засмеялась, но смех прозвучал хрипло и страшно; слезы на глазах высохли. Она внушала отвращение. Приложив усилие и становясь такой, как была, она продолжила свою историю: – По словам Генри, тот совсем переутомился за своей учебой и поэтому был приглашен погостить в Килкоран. Должна сказать, что поначалу он мне понравился. Он прекрасно играл, был умен и довольно привлекателен. Но, как я уже говорила, моя ревность не знала границ. Если меня раздражало, когда Генри гладил кошку или собаку, то можете представить себе мои чувства, когда этот мальчишка буквально завладел всеми мыслями Генри. Я возненавидела его той тихой ненавистью, в которой таится сатана. Я захотела отомстить.

С едва уловимой, неприятной улыбкой она продолжала:

– У меня это получилось. Разве нет? Считается, что месть сладка. Едва ли последствия моей мести были сладки. – Она зло рассмеялась. Ей потребовалась пауза, чтобы успокоиться, и она заговорила жестким сухим голосом: – Вы знаете, что женщина может сотворить с молодым впечатлительным мужчиной. А ведь в то время меня нельзя было назвать непривлекательной. – Да, «непривлекательной» в ту пору ее назвать определенно было нельзя; представляю, какова она была тогда. Голос ее стал еще жестче и суше: – Моей целью было, чтобы Генри обнаружил измену своего дружка. Тогда он, возможно, убил бы его. Меня бы он убил тоже, но меня это не волновало. Я горела желанием быть пойманной in flagrante delicto[1], и, по крайней мере, я этого достигла.

– Генри сказал, – продолжала она без выражения, – «Что же, дорогая Маргарет, вы вольны поступать, как вам заблагорассудится. Вас же, Сибрандт, я попросил бы, когда вы приведете себя в порядок, зайти ко мне в кабинет». Я надеялась, что месть моя удалась: каково же было мое удивление, когда вечером я увидела Сибрандта за столом, как будто ничего не случилось. А пыл Генри к нему только возрос. Было ли это местью, измышленной его утонченным умом, – заставить меня увидеть воочию мой грех? Уж он-то знал, что я любила лишь его одного. Этого я так и не узнала. Моя месть пошла еще дальше. У Сибрандта было больное сердце. – Я удивилась, увидев румянец на ее бледном лице. – Вы жена врача, – с заминкой пояснила она, – и должны знать, что некоторые физические усилия могут оказаться смертельными. Как бы там ни было, – произнесла она с жутким истерическим смешком, – Сибрандт умер! – Мне показалось, что она вот-вот впадет в истерику – я приготовилась оказать ей помощь, насколько это позволяли мои

1 на месте преступления (лат.)

медицинские познания; ведь в подобных обстоятельствах такая вещь может произойти самым естественным образом. Но нет, она спокойно и едва улыбаясь продолжала: – Полагаю, вы не понимаете, зачем я рассказываю вам все это. Милой эту историю не назовешь. Однако я уверена, что в письме говорится, что Генри – не отец Сибу, и что вы – единственная наследница поместья Килкоранов. Не знаю, что там сказано про меня. Не сомневаюсь, однако, что он оставил мне, сколько можно: и все же я решила, что вы должны узнать правду сначала от меня. Потерпите немного и позвольте мне закончить. Мы с Генри продолжали жить вместе. Он всегда по-доброму относился ко мне и не делал никаких намеков. Но мы перестали жить супружеской жизнью. Он предоставил мне делать все, что хотелось. Вы сами видели, он даже не возражал против моей связи с Альфредом. – Она засмеялась тем же ужасающим смехом: а затем, воздев руки, вскричала страдальчески:

– О, Генри!

Здесь не выдержали даже ее крепкие нервы: и она рухнула на пол в глубоком обмороке.

Глава IX

Вскрыв письмо Килкорана, я прочитала следующее:

«Моя дорогая Элизабет,

Я давно хотел открыться Вам, однако не находил в себе мужества. Мне известно, что Вы не верите в сверхъестественное, но в последнее время меня преследуют мысли о моей близкой смерти. Вчера вечером Вы назвали Сибу маленьким виконтом. Именно поэтому я и решился написать Вам. Возможно, мое предчувствие обманывает меня; тем не менее, элементарная честность побуждает меня сказать – он не мой сын. Это к *Вам* перейдет все мое наследство. Хотя бы из милосердия прошу Вас отнестись к ребенку с добротой. Сказать большее, Вы, с Вашей наблюдательностью, наверняка заметили, что он похож на Маргарет. Манерами здесь и не пахнет, но разве суть в манерах? Помню, что недавно я настаивал на том, что суть не важна, важны манеры. Здесь манеры не важны, все дело в сути – для меня и для Вас.

Позвольте мне обойтись без дальнейших предисловий. Вы мой друг – и справедливости ради я должен подробнее рассказать Вам обо всем: менее всего Вы должны осуждать Маргарет, чья вина несоизмеримо меньше моей. Мне необходимо сделать позорное признание, но, как я уже сказал, Вы мой друг и не осудите меня строго – по крайней мере, слишком строго. Я боюсь, что Вы возложите всю вину на Маргарет. Зачем я это пишу? Нет, не хочу начинать все заново. Оставлю все, как есть. Итак, продолжу, где остановился. Не вините ее. Вот пытаюсь объяснить, но никак не получается.

Я лучше изложу всю историю вкратце. Ибо, как сказано, Вы мой друг и моя двоюродная сестра. Было так: я приехал в Бельгию по делам жены и здесь, в Остраке, познакомился с Сибрандтом ван ден Вельденом, чье имя Вам знакомо, ибо недавно Вы упоминали его. Тут я подхожу к теме, в которой женщины ничего не понимают; конечно, это не относится к Вам. Ну и мешанина у меня выходит. Но

примите ее со словами Понтия Пилата: «Что написал, то написал». По крайней мере (кажется, я уже неоднократно повторил эти три слова), попробую продолжить и просто пересказать всю историю. Но и тут необходимо сделать небольшое отступление. Я написал, что женщины этого не поймут, по крайней мере (повторюсь опять), я видел, как Вы были захвачены его музыкой – его божественной музыкой. Чего Вам не понять, это того, как я был захвачен его невероятной красотой. Волосы его были как усики винограда, глаза его были фиолетовы, по-настоящему фиолетовы… Боже! К чему я занимаю Вас описанием его внешности. Завтра я напишу приличное письмо, а это пусть останется черновиком. Ну и вот (сохраню-ка я все, как есть), я взял Сибрандта с собой в Килкоран, о котором Вы слышали и которого еще не видели, хотя надеюсь, что скоро увидите.

Его все больше и больше влекла моя жена. Здесь начинается самая позорная часть.

Вместо вполне ожидаемого негодования я всячески поощрял их связь. У меня не было ребенка, а я его очень хотел. Сибрандт страдал болезнью сердца, от которой можно умереть в любой момент.

Я любил Сибрандта, любил больше своей жизни или даже его собственной, что я Вам еще попытаюсь объяснить. Никого еще я не любил так сильно, как Сибрандта. Меня постоянно мучила мысль, что Маргарет станет ревновать его ко мне, и поэтому был рад, что они сблизились друг с другом. И тогда у меня возникла порочная мысль.

А почему бы и нет?

Я уже, кажется, говорил, что у меня не было детей. Сибрандт мог умереть в любой миг. Отчего бы ему не родить сына, похожего на себя?

Я не виню Маргарет. Разве не естественно было привязаться к Сибрандту, никто не смог бы удержаться. Позвольте повторить, ее искушение было слишком велико. Я этому не удивляюсь.

В любом случае, результат налицо.

Мой ребенок! Да! *мой*! дитя пусть не тела, но души моей. Он похож на Сибрандта, и у него чудесные золотые локоны матери. Волосы Сибрандта были бронзового цвета.

Я чувствую близость смерти и поэтому рассказываю Вам все.

Извините меня за эту многословную чепуху. Мне хотелось разорвать это письмо. Но зачем бы я тогда писал его? Ведь я снова совершу все те же глупые ошибки, и я должен написать это письмо, ибо я знаю, что бы Вы ни говорили о предчувствиях, – я умру в ближайшие два дня.

Элизабет, будьте добры к бедному маленькому Сибу. Не отвергайте его, хотя он и так отверженный. По крайней мере, это не его вина. Вы были добры к нему, и я верю Вам. Дозвольте моему ребенку – повторяю, *моему* – быть под Вашей защитой; оградите моего – повторяю, моего единственного ребенка – от всякого зла.

Вам не знакомы католические молитвы, но, возможно, в Вашей службе тоже используют эти строки из Псалтири: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою»[1].

1 Пс. 21, 21.

Элизабет!

Разумеется, Вы не станете молиться за меня после моей смерти. Ваша религия не признает молитвы за упокой души. Возможно, помолится Маргарет.

Я рассказал Вам все, что должен был рассказать.

(Подпись)
Килкоран»

Эти постыдные признания возмутили меня до глубины души. И с *этими* людьми я жила бок о бок и поддерживала дружеские отношения. Мне тут же захотелось пойти и проведать ребенка, которого я отныне считала своим подопечным. Он спал на полу, его рука лежала на руке отца (теперь-то я знала, что он не был его отцом: но ведь он сам пребывал в неведении, и разве нужно было разубеждать его невинные представления?)

Так он и лежал, и при свете свечей, стоявших подле гроба, его длинные ресницы бросали тень на щеки.

Я протестантка и практичная женщина: настолько практичная, что сразу подумала, что он легко может сбить во сне один из подсвечников и устроить пожар в гостинице. Но то была скоротечная мысль. Клянусь, если бы какой-то художник рисовал образ спящего младенца-Иисуса, он не нашел бы лучшей модели. И это дитя я должна была лишить наследства.

Нет, никогда!

Ему незачем было знать о том, что я одна и знала.

Однако я не могла отдать его под опеку женщины вроде Маргарет. Тем более, что письмо Килкорана наделяло меня в этом смысле определенными полномочиями.

Глава X

Похороны состоялись на следующий день.

Чтобы немного отвлечься, я совершила прогулку по городу. Первым, что мне попалось на глаза, было объявление о смерти Килкорана – нелепый панегирик о достоинствах покойного и его заслугах перед большим, важным городом Остраке. Я не была настроена юмористически, скорее саркастически. Статья заканчивалась так:

«Торжественная панихида состоится завтра в церкви Нотр-Дам: нам доподлинно известно, что оркестром в полном составе будет исполнен «Реквием» нашего прославленного соотечественника (или как он был там назван, «citoyen») Сибрандта ван ден Вельдена. Партию первой скрипки будет вести синьор Сарини (кажется, так), в связи с чем рекомендуем любителям музыки посетить указанное мероприятие, даже если они не являются друзьями покойного. Погребение назначено на четверть двенадцатого».

Каким образом здесь вновь оказался Сибрандт ван ден Вельден? Довольно несчастий от него было при жизни. Почему же на погребении Килкорана опять навязывают его музыку?

Из похоронного бюро прибыли croquemorts[1]. Мальчик по-прежнему не отходил от тела. Альфред положил руку ему на плечо и очень ласково, хотя и с толикой цинизма, которую я всегда ненавидела в его манере говорить, произнес:

– Малыш, они пришли забрать папу. Теперь твоим папой буду я.

– Нет, нет, нет, нет! – прижимаясь к телу, вскрикнул мальчик.

Тогда Маргарет, выглядевшая неестественно спокойной, если учесть всплеск эмоций ночью, сказала:

– Сибу, дорогой, папу должны похоронить, и мы вернемся в Ирландию.

Внезапно ребенок оторвался от отца, подбежал ко мне, обвил меня руками и со слезами на глазах взмолился:

– Тетя Элизабет, ведь вы не дадите им увезти меня? Вы ведь позаботитесь обо мне?

Должна сказать, я не верю в сверхъестественные явления и тому подобное, но в тот момент меня не могло не поразить совпадение последней просьбы Килкорана, прочитанное прошлой ночью, с просьбой мальчика.

– Да, мой дорогой, – в порыве чувств ответила я, – я позабочусь о тебе.

И посмотрела на Маргарет, которая бесстрастно произнесла:

– Мне кажется, Элизабет, если вы не против, так будет лучше всего.

Я сказала, что опасалась за рассудок ребенка. Сейчас он вел себя разумно и все полностью осознавал.

Croquemorts забрали тело, и мы отправились в церковь. Сибу держал меня за руку. Маргарет казалась противоположностью Галатеи, словно обратившись в статую. Ее бледная кожа, оттененная траурным платьем, напоминала мрамор.

Затем был «Реквием».

Сама церемония, без сомнения впечатляющая тех, кто разбирается, для меня не имела никакого смысла: но музыка – определенно я была несправедлива к Сибрандту ван ден Вельдену, отозвавшись о нем как о просто неплохом композиторе – это его произведение было восхитительно. Это было откровение! Каким же гением он был и мог бы быть, если бы – нет, кровь закипает в моих жилах при мысли о том, что человек с такими изумительными способностями был Парисом для развратной женщины и Антиноем для распутного мужчины.

Музыка очень взволновала Сибу, особенно вначале. Глаза его загорелись при звуках того, что, кажется, называется Жертвоприношением. Особенно мне запомнились слова: «Libera eas de ore leonis»[2], которые исполнял высокий скорбный дискант в сопровождении серии нисходящих хроматических гамм, что завершилось одной долгой, низкой вибрирующей нотой словно бы виолончели – хотя на самом деле то плакала первая скрипка. Описать невозможно – ибо невозможно передать словами музыку, – почему при прослушивании у меня возник образ змеевидно переплетенной хроматической гаммы, напоминающей монограмму? Но такие ощущения достойны запечатления, ибо только так и можно передать взаимодействие различных искусств. И эта торжественность хоровых серебряных

1 Факельщики, служащие похоронного бюро (фр.)

2 «Освободи их от пасти льва» (лат.) Жертвоприношение (Offertorium) – одна из частей реквиема.

труб. Я была настолько поглощена музыкой, что упустила момент, когда ребенок потерял к ней интерес. На лице его появилось туповатое, равнодушное выражение, и чуть позже, когда похоронный кортеж двинулся к кладбищу, он погрузился в полнейшую апатию, тогда как я ожидала и боялась бурного проявления чувств. Он молча позволил отвести себя за руку туда и обратно в гостиницу. Там он опустился на стул и застыл. Маргарет и Альфред куда-то исчезли. Я думала, они следуют за нами. Необычное поведение ребенка настолько отвлекло меня, что я совершенно забыла о них.

Они пропали бесследно. Я ожидала, что Маргарет хотя бы придет посмотреть на ребенка. Конечно, я не была особенно удивлена, когда она не появилась к табльдоту.

Очевидно, горе придавило ее. После некоторых колебаний я решила подняться в ее комнату и спросить, нужна ли моя помощь. Хотя ее ночное признание вызвало у меня отвращение, как Маргарет и предполагала, все же я испытывала к ней огромную жалость. И у меня было время для размышлений.

Подойдя к ее двери, я тихо постучала; потом громче и, наконец, отворила дверь. Внутри было темно и не было ни души. В коридоре появилась горничная.

– Мадам упаковала вещи и уехала в Брюссель четырехчасовым поездом, – сообщила она. – А месье уехал в другом направлении двумя часами раньше, не знаю, куда именно. – Вспомнив что-то, она достала из передника конверт: – Мадам la Comtesse[1] просила передать вам письмо.

Глава XI

Вот что говорилось в письме:

«Моя дорогая Элизабет,

После того, что произошло между нами, Вы наверняка поймете, почему я избегаю устных объяснений.

Вы обещали позаботиться о моем ребенке, и я знаю, что Вы сдержите ваше слово. Я еду в Ирландию уладить оставшиеся после мужа дела. Покуда это не сделано, я не смогу сказать, какая сумма Вам причитается. До прояснения всех обстоятельств я буду посылать Вам ежемесячно по двести фунтов и прошу в ответ хотя бы парой строк на почтовой открытке извещать меня о здоровье и состоянии моего ребенка. Возможно, Вы не откажетесь время от времени писать мне.

P.S. Мой адрес: замок Килкоран, Галуэй, Ирландия.

Ваша

Маргарет Килкоран».

И как прикажете отнестись к такому письму, особенно после того, что случилось? Я дважды переписывала ответ, оставив его без приветствия:

«Вы что же, полагаете, что я возьму хотя бы грош из ваших денег? Я не нуждаюсь и не вижу никакой причины сообщать ребенку о том, что он не является наследником поместья Килкоранов.

1 Графиня (фр.)

Полагаю, вы никому больше не раскрыли своих постыдных тайн. Обещаю, однако, каждую неделю извещать вас о здоровье ребенка. Сейчас, к моему сожалению, выглядит он неважно. Надеюсь, что в следующем письме смогу дать вам более благоприятный отчет.

Элизабет Рэнделл».

Глава XII

Постепенно мне открылась пугающая истина – ребенок лишился рассудка. В какой-то миг – наверное, во время «Реквиема» – разум покинул его. Он остался послушен и благонравен, но погрузился в полную апатию. Его чудесные глаза утратили блеск. Он все время молчал, лишь иногда бормотал что-то себе под нос и только после долгих уговоров соглашался поесть.

Как же болело мое сердце за это дитя! Подумать только, что в ковчеге его прекрасного тела больше не обитает душа. По крайней мере, так казалось. Иногда он реагировал на ласки; особенно если гладили его прекрасные золотистые волосы, мягкие, завивающиеся на кончиках, с налетом серебра, – самые чудесные волосы, которые я когда-либо видела.

Тогда он довольно улыбался, издавая изредка легкое бормотание наподобие того, какое издают во сне голуби. Так его ласкал Килкоран. Вероятно, мальчик вспоминал его. Хотя вряд ли он что-то помнил. Тем не менее, ему хватало ума вести себя достойно в быту и прекрасно ориентироваться в пространстве. Он никогда не путал комнаты. Просто он был апатичен; он мог часами сидеть в одной позе, но позволял отвести себя в прогулку по городу и ближайшим окрестностям; ходил он прямо и уверенно, но ни к чему не проявлял интереса. За ним все время приходилось присматривать, чтобы его не переехал автомобиль. Однажды это едва не случилось. Моя дочь лишь на мгновение отпустила его руку, и его чуть не сбило несущееся на полной скорости такси. Любопытно, но при его абсолютной апатии, едва мы проходили мимо церкви, он каждый раз тянул меня туда, а внутри автоматически зачерпывал святой воды и обязательно преклонял колени перед алтарем. Иногда он садился, иногда становился на колени, – всегда с полным безразличием. Наверное, он мог бы стоять так сутками.

Но после консультации с лучшим специалистом в Бельгии у меня появилась надежда на то, что звуки музыки могут пробудить в Сибу разум. Поэтому я часто водила его в церковь, особенно на воскресные послеобеденные службы, когда музыкальное сопровождение было воистину прекрасным. Но он совершенно утратил свое чувство музыки. Все же я не теряла надежды, ибо однажды, когда скрипка играла интерлюдию к «Salut», или «Благословению», как его называют в Ирландии и Англии, тень улыбки мелькнула на его лице.

Но это был временный эффект.

Глава XIII

Однако я не отчаивалась.

Оказалось, что Маргарет распорядилась о торжественной службе в память годовщины смерти Килкорана. В своих письмах (мы по-прежнему обменивались

скупыми посланиями) она не сообщала, будет ли сама присутствовать на ней. Но меня осенила мысль: а вдруг звуки «Реквиема» вернут Сибу рассудок? Тем более что газеты сообщили, что во время богослужения будет исполняться та же самая вещь Сибрандта ван ден Вельдена, что и в прошлый раз. Только на этот раз заметку разместили в театральной рубрике.

И я отправилась с Сибу в церковь.

Ребенок был, как всегда, апатичен; но когда исполняли Жертвоприношение, на этот раз чрезвычайно скверно, по телу его пробежала дрожь. Сосредоточенно глядя перед собой, он преклонил колени, но неподвижный взгляд его убедил меня в том, что воздействие музыки опять временно.

Когда «Реквием» закончился, я взяла его за руку, чтобы вывести из церкви. Каково же было мое удивление, когда он крепко схватился за нее. Еще больше я удивилась, когда на обратном пути он засмеялся и заговорил, как ни в чем не бывало. Он походил на воскресшего из мертвых.

Когда мы вернулись в гостиницу, он помчался в салон и открыл крышку фортепьяно, на котором уже год не играл, – здесь могу сказать, что мы с дочерью неплохо владеем инструментом, но после описанных ужасных событий не осмеливались прикоснуться к нему; хотя меня часто посещала мысль, что игра на фортепьяно могла бы пробудить Сибу от жуткой летаргии. Так вот, мальчик открыл крышку фортепьяно и заиграл, да еще подпевая дивным дискантом. До этого я никогда не слышала, чтобы он пел.

Боже, но что он играл! То была тема «Libera eas de ore leonis» из «Реквиема». И на этом жалком, расстроенном инструменте ему удавалось создать эффект целого оркестра. Мне казалось, что я слышу виолончель и серебряные трубы!

А как он пел! Дойдя до этой каденции, слова которой запомнились мне накрепко: «Fac eas Domine Deus de morte transire ad vitam»[1], его голос издал странное низкое тремоло на слове «morte» и угас, после странного хроматического пассажа, на слове «transire» (любопытно, как подробно вспоминаются детали тех событий, которые затронули нас до глубины души). Как ему удавалось так петь? Я никогда не слышала, что он поет, за исключением тех случаев, когда он напевал что-то себе под нос. Но здесь он исполнял одно из самых сложных музыкальных произведений. Помню, мне пришла в голову довольно тривиальная мысль, как долго должен обучаться хорист такой сложной интонации. А этому ребенку удалось исполнить эту вещь с первого же раза, и куда как лучше! всего лишь после одного, ну двух прослушиваний. Все это пришло мне в голову прямо тогда, ибо позже у меня уже не оставалось времени для рассуждений.

Мотив заканчивается на слове «vitam», подвешенном к долгой, высокой «си». Не могу описать изысканность интонации, которую он придал этой ноте, обычно слишком пронзительной. Она казалась немного затянутой; затем голос его задрожал; и вслед за этим раздался грохот.

Сибу упал со стула на пол.

Да, я догадалась тотчас же: мне не требовался доктор, чтобы констатировать «внезапную остановку сердца».

Открылась дверь, и кто бы еще мог войти в комнату, как не Маргарет?

1 «Сделай, Господи, так, чтобы от смерти они перешли к жизни» (лат.)

***

Достаточно сказать, что в тот день, в тот самый день, что и ровно год назад, салон опять был убран под «chapelle ardente».

Альфред тоже присутствовал там вместе с Маргарет. На третий день явились croquemorts и забрали тело. Но прежде чем они ушли, Альфред и Маргарет встали по бокам гроба, где лежал этот чудесный ребенок, который словно спал и видел райские сны. Они сплели руки над телом мальчика и застыли в этой позе, безмолвно глядя друг на друга.

Затем Альфред уехал. Я больше не видела его, а Маргарет говорила мало, только самое необходимое. Мы расстались в молчании.

ЭПИЛОГ

Как-то несколько лет спустя, когда мы с дочерью находились в Лондоне, Дороти сообщила мне:

– Камилла сказала, – Камилла была ее подругой, – что сегодня после обеда в церкви *** будет исполняться «Романс» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Помните, мама, его исполняли на концерте в том забавном местечке, Остраке? Вы должны его помнить.

Уж я-то помнила!

– Давайте сходим туда и еще раз послушаем, – продолжала Дороти, и я подумала: «А почему бы и нет?», хотя знала, что едва ли при этом во мне проснутся приятные воспоминания.

Случайные совпадения происходят чаще, чем об этом принято думать. Двукратные совпадения настолько распространены, что люди замечают их только тогда, когда это сопряжено с каким-то памятным событием.

Трехкратные совпадения происходят реже. Но по закону случая они куда более вероятны, чем об этом принято думать.

Таким-то образом я пытаюсь объяснить то, что последовало за этим. Мне припомнилось множество споров с Килкораном о влиянии сверхъестественного на человеческую жизнь. Он всегда настаивал на его существовании, а я это настойчиво отвергала.

Церковь, о которой идет речь, была католической, принадлежала какому-то ордену и была довольно известна своими опернными концертами. Туда мы и отправились.

У дверей висело объявление о том, что в этот день состоится скрипичный концерт синьора такого-то; а рядом – многословная болтовня о каких-то приютах святой Пелагеи, в чью пользу намечался сбор пожертвований.

Мы вошли во время вечерни. Ее сопровождали однотонные распевы вкупе с органом. Мало разбираясь в происходящем, я подумала, что мы опоздали на концерт и что знаменитый синьор доигрывает «Романс» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Однако дочь, разбирающаяся в таких вещах куда лучше (я всегда подозревала ее в симпатиях к католицизму, против чего, правда, совсем не возражаю), произнесла:

– Подождите, мама, мы пришли слишком рано, нам надо бы придти попозже.

После окончания вечерни и ектеньи, на удивление монотонной, на кафедру взошел монах и начал проповедь на тему: «Не судите, да не судимы будете». Он говорил от имени приютов святой Пелагеи; по крайней мере, его проповедь в основном была посвящена им. Голос его пробудил во мне какие-то воспоминания. Я где-то уже слышала его, хотя тон был иным.

Ну разве могло такое произойти? Это исхудавшее аскетическое лицо – Альфред Этенри! Чем дольше я всматривалась в него, тем больше убеждалась в своей догадке. Те же четкие, оригинальные черты. Я терялась в сомнениях до тех пор, пока он не заговорил о современной научной мысли, и на лице его появилась та самая циничная усмешка, что вызывала во мне такую неприязнь несколько лет назад. После проповеди, в качестве интерлюдии перед благословением – как подробно объяснила мне дочь, – монахини ордена святой Пелагеи в своих длинных, подбитых красным одеждах, которые так им шли, вынесли тарелки для сбора пожертвований. Их передавали от одного места к другому с небольшим опозданием; я этого не замечала; мое внимание было всецело поглощено «Романсом» для скрипки Сибрандта ван ден Вельдена. Монахиня, подставившая мне тарелку, заметно волновалась. Рука ее дрожала. Кладя в тарелку монету, я подняла глаза к ее лицу и – передо мной стояла Маргарет!

После был впечатляющий обряд благословения, потом священник прочитал несколько молитв по-английски, и последними его словами были:

«И души усопших по милосердию Твоему да почивают в мире».

ФАУСТ

Кто я, рассказчик, – несущественно. О себе упоминаю лишь для того, чтобы подчеркнуть – монах не поведал бы мне эту историю и не показал бы рукопись, если бы я не имел права знать. В своем рассказе я упустил как можно больше имен: те же, без которых нельзя было обойтись, англизированы. При переписке текста я также намеренно скрыл географические названия. Достаточно сказать, что все описанные мной события происходили не в Англии.

***

Как-то раз при посещении картезианского монастыря отец гостиничный знакомил меня с бытом общины. У каждого монаха имелся отдельный домик на четыре комнаты; все строения располагались вокруг большого квадратного двора; один из домов пустовал. Это удивило меня, так как домиков, расположенных вне монастырского двора, было мало; я спросил, отчего дом никем не заселен. Гостиничный ответил, что в том доме произошло нечто ужасное, и поэтому никто не хочет там селиться. Я продолжал свои расспросы (ибо вел официальное, порученное церковью расследование):

– Вы должны рассказать мне об этом. Я знаю, что вы, монахи, соблюдающие молчание, придаете своим словам большое значение, когда нарушаете свой обет.

– Что ж, – произнес гостиничный, – поскольку нашему ордену предписано соблюдать обет, мне придется говорить от лица всей общины; я постараюсь, как могу, изложить всю историю, хотя, возможно, кому-то из остальных удалось бы это лучше, ибо я отвык говорить.

– В той келье, – продолжал он, – скончался брат Генри, точнее, брат Майкл. Вам известны наши порядки – мы можем разговаривать лишь по воскресеньям, когда между обедней и вечерней нам позволено беседовать на духовные темы. Так вот брат Майкл поражал нас своими изумительными познаниями, хотя и был самым молодым среди нас. Один день в неделю мы отводим отдыху; в этом монастыре такой день – четверг. В послеобеденное время нам разрешено прогуливаться по сей обширной территории и беседовать на свободные темы. Полагаю, вы понимаете, что из объяснимого волнения мы, в основном, рассказываем друг другу о днях, прожитых в миру, или играем в детские игры. Самым ребячливым среди нас был брат Генри. Я называю его так, потому что это было его мирское имя, которым он пользовался по четвергам. Генри забавлял нас множеством рассказов о своем детстве, но о некоторых периодах своей жизни никогда не упоминал. Помнится, однажды мы говорили об именах, избранных нами в монашестве, и кто-то спросил его, почему он выбрал имя Майкл. Странным образом вопрос взволновал его, и со своей милой улыбкой он ответил: «Я предпочел бы, чтобы вы называли меня Генри, ибо это мое христианское имя; имя Майкл я выбрал потому, что …»

Внезапно он замолчал и отклонился назад, точно его придушили из-за спины; но затем, овладев собой, произнес: «Мне что-то нездоровится, но это пустяки. Пойдемте нарвем цветов для сада. Наверху сейчас цветут прекрасные цикламены, побежали за ними».

Вы можете, конечно, подумать, что такое поведение недостойно монахов; но вам известно, как мы живем, и в часы отдыха мы становимся сущими детьми. Мои слова могут показаться вам тривиальными и неуместными, однако это все же требовалось разъяснить.

Итак, на следующей неделе меня назначили звонарем. В полночь я пошел звонить к заутрене. Однако едва мои пальцы коснулись веревки колокола, как до меня донесся жуткий вопль из домика Генри – настолько жуткий, что я зазвонил в набат и, нарушив правила молчания, рассказал братьям о том, что услышал. Мы вбежали в келью Генри и нашли его лежащим на полу и изрыгающим ужасающие богохульства. Соблюдая обет молчания, мы научились понимать друг друга по выражению глаз. Я говорю это, чтобы подчеркнуть немаловажную деталь: мне было ясно, что остальные видели и слышали то же самое.

Конечно, мы были совершенно потрясены, и даже более того. Приблизившись, чтобы помочь брату Генри (соблюдая при этом строгое правило молчания), мы почуяли в комнате странное присутствие – тонкий, специфический аромат наполнил воздух; то была, кажется, смесь жимолости, туберозы, специй и ладана, вгонявшая в сладкую истому. Мы не могли пошевелиться. Казалось, вокруг зазвучала тихая, едва уловимая музыка. Но тут в дом вошел наш безгрешный аббат, и наваждение исчезло. Мы ничего не зрели воочию. Но по глазам других монахов я видел, что они видели то же, что и я, – тем, что святая Тереза называла «умственным зрением». Мы видели нечто, несравненно прекрасное; сотканное из розового и фиолетового света, с прожилками серебра. Оно заговорило. Я знал, что все понимают его.

– Я Рафаэль, исцеленье Божье. Брату Майклу угрожает смерть; он излечится, только если вы бросите в огонь ту рукопись, что лежит на столе.

Услышав это, несколько монахов бросились к рукописи, чтобы уничтожить ее, но аббат произнес:

– Нет! – и вопросил:

– Кто ты, чтобы говорить во имя Господне?

– Я Сын Божий, – сказало оно. – И еще прошу: в церкви есть картина, купленная братом Майклом, с изображением сцены Распятия. Она тоже должна быть уничтожена, ибо являет собой искушение сатанинское.

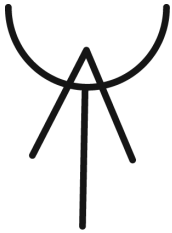
В то мгновение меня поразило то, что при упоминании о Майкле сладкий, шепчущий, нежный голос зазвучал язвительно, а при слове «сатанинское» в нем словно бы отозвалось эхо ужасного хохота. Аббат промолчал, но подозвал одного из братьев, и они вышли. Вскоре они вернулись: один с факелом, другой – с дароносицей. Едва они вошли, сладкая истома вокруг рассеялась. Аббат принял дароносицу в руки. Брат Генри открыл глаза и приготовился причаститься. Подняв руку, он указал на стол и произнес: «Прочтите!» Это было все. Приняв дары, он откинулся на спину, и мы поняли, что он скончался!

Мы забрали рукопись, которую я собираюсь показать вам. Как вы увидите, она заканчивается на полуслове. Просматривая текст, мы обнаружили постскриптум красными чернилами, написанный другим почерком, оригинальным и четким, с наклоном влево. Но написан он был на совершенно неизвестном нам языке. Я помню точные слова:

«JÀ ULI GAVRÉLA JÉ AL JÉ MÀ ZHELE SÉVAL JÀ».

Вместо подписи там красовалась вот такая монограмма. – Он достал бумагу и карандаш. – Затем она исчезла без следа. Видите, вот сама рукопись; но постскриптум исчез; однако монограмма так взволновала меня, что я, думаю, смогу восстановить ее по памяти.

Он начал рисовать и вывел это:



но тут вдруг его рука внезапно безвольно упала, скованная необъяснимым параличом.

На меня снизошло неожиданное озарение. Я повел его, а вернее сказать, потащил в притвор церкви, где в простой раме висело изображение Распятия. С первого взгляда сцена, запечатленная на ней, внушала ужас; каждая пора сочилась кровью; на раме была надпись тем же почерком, что и в рукописи: «И не был красив и желанен людям». Чуть ниже: «И почитали Его, как прокаженного, – Того, кто был поражен Богом». И в самом низу изящным почерком: «Се муж скорбей и изведавший болезни; ранами Его исцелились»[1].

Я снова взглянул на картину. Да, фигура ужасала – но глаза были божественны и исполнены бесконечного сострадания. Я приложил парализованную руку гостиничного к стопам Господним, и она исцелилась. Мы оба пали ниц и долго молились. Затем он отдал мне рукопись, каковую и привожу.

Рукопись
Знание; Богатство; Власть

Мне казалось, что ничьи знания на свете не могут сравниться с моими. Я в совершенстве овладел алгебраическим анализом; но он только раскрыл передо мной такие понятия, которых я мог лишь коснуться, но не постигнуть. Я жаждал большего. И вот погрузился в уныние, ибо познал все, что могло быть познано. В руке моей был компас, вокруг были разбросаны инструменты. Над моей головой висел квадрат, заключавший в себе формулу одной из самых трудных математических задач, для которой я нашел решение. В ногах устало и неподвижно лежала собака. Я встал и посмотрел в окно на море. Еще недавно море очаровывало меня больше всего на свете, – теперь же оно выглядело тусклым и безжизненным. Странные отблески блуждали по волнам, и временами их застилало

1 Ис. 53, 3-5.

что-то темное. Даже скалы, с их зубчатыми кривыми контурами, стали для меня отражением интегральных вычислений. Я поежился и затворил окно; воздух леденил.

– Что мне с этого? – задумчиво промолвил я. – Будь моя воля, я отдал бы все свое знание за простую веру юных лет!

Богатств мне хватало – хотя и не до такой степени, чтобы осуществить свои мечты. Я обладал относительной властью – но не в том объеме, к которому стремился.

– Но есть одна вещь, которой мне не хватает. Я имею в виду любовь. Да, вот причина, по которой море выглядит безжизненно, а скалы – математическими кривыми.

Только что я изобразил на грифельной доске купидона, решающего математическую задачу, с парой уравновешенных весов за спиной. Этой картинкой я хотел изобразить состояние своего ума. Вероятно, я не умел любить. Я все время взвешивал свои эмоции, просчитывал их, анализировал. И не находил красоты, которая могла бы удовлетворить мое стремление к идеалу.

И пока я так размышлял, воздух в комнате постепенно наполнился благовонием. То была странная, восхитительная смесь запахов жасмина, жимолости, ладана и специй. Затем передо мной возникло слабое мерцание, сплетенное из розовых и фиолетовых нитей света и окаймленное серебром, которое, казалось, и источало аромат. Затем сияние усилилось, и в центре появилось видение, бесподобно, абсолютно прекрасное. Обнаженная фигура напоминала греческого Гермафродита. Но сколь прекраснее! Все лучшие черты обоих полов слились в этих чудесных линиях. Лицо покоряло фантастической красотой. Длинные волосы имели бронзовый оттенок, пронизанный нитями золота. Рот обещал томление и сладость. В темно-лиловых глазах застыла бесконечная печаль.

Оно заговорило (Не знаю, говорило ли оно по-настоящему, так как все сказанное им, скорее, возникало в моем уме, чем приходило с речью, но все же я слышал чарующий человеческий голос, сопровождаемый отдаленной музыкой):

– Я обладаю абсолютным знанием. С ним вы могли бы стать как боги, разбирающие между добром и злом. Мне принадлежат все богатства земли, и вся власть в этом мире дана мне, – (здесь в его голосе появились издевка и пренебрежение). И я (голос исполнился бесконечной нежности), – серафим; жизнь моя – любовь. Взамен я прошу лишь немного любви. Моя милость распространяется на тысячи тех, кто любит меня. Моих детей, избранных, кто поклоняется мне; детей моих, избранных среди избранных рода человеческого, чей разум способен понять меня.

– Кто ты? – вопросил я.

– Я Сын Божий, – отвечал он. – Тот, кто ради спасения людей спустился на землю с небес и кто из любви к людям уже никогда не возвысится вновь.

– Как люди называют тебя? – спросил я.

– Они называют меня по-разному, – отвечал он. – Многие зовут Шайтан, враг; мои поклонники – Светоносный (его голос вновь зазвучал издевкой и пренебрежением). – Наши истинные имена хранятся в тайне. Люди называют Его Иеговой или Адонаи, но на самом деле его зовут…

И он громко, с насмешливым смехом открыл мне имя, которое не осмелился бы произнести ни один смертный. И снова голос его стал нежным:

– Меня же зовут…

Он изрек еще одно имя, состоявшее из одних гласных; оно было перевернутым отражением другого имени, и последняя гласная превратилась в долгий вопль страдания.

При произнесении первого имени меня охватил ужас; при звуке второго я испытал бесконечную жалость и влечение. Он придвинулся ко мне и, заключив в объятья, поцеловал. Каждый нерв моего тела затрепетал от наслаждения. Затем видение незаметно стало сновидением; я уснул, но голос по-прежнему звучал. Он поведал мне длинную историю вселенной; как она была создана злым божеством, и как *он* стал Спасителем, и что все прекрасное на земле было сотворено им, и что если бы он получил помощь тех, кого хотел облагодетельствовать, мир снова пришел бы к первоначальному порядку, а ему досталось бы законное наследство. Затем голос стал печальнее прежнего:

– Есть другое существо, которое люди называют Спасителем, – и в нем зазвучали жалость и глумление. – Он страдал всего несколько часов, а я терзаюсь вечность. Однако мое сострадание коснулось и Его. Я предложил Ему все царства земные, если бы Он только поклонился, ибо я желал любить Его, как люблю тебя. Ныне тем крестом, на котором Он был распят, увенчаны короны, во имя Его растаптывают людей. Я же утешитель страждущих – друг бедных и униженных. Убежище грешников – место мудрости; утренняя звезда – предводитель ангелов. Я оставлю тебе знак, чтобы доказать, что был у тебя. – И нечто было вложено мне в руку. Голос продолжал, и сквозь сон некий адрес запечатлелся в моей памяти. Я услышал приказ:

– Покажешь это при входе. Будь там в следующую пятницу в три часа. Сделай все, о чем тебя попросят и воистину, не останешься без вознаграждения!

Мною снова овладело восхитительное чувство томления, и я погрузился в глубокий сон без сновидений. Пробудился я на следующее утро, свежий и отдохнувший.

«Какой странный сон», подумал я и тут обнаружил в руке небольшой предмет. Это был серебряный диск с начертанной на нем странной монограммой. Несколько дней я не знал, что делать. Я упоминал, что потерял веру еще в детстве. Так отчего бы не пойти? Мое любопытство и тяга к знанию были непреодолимы. Однако детская вера возвратилась. Каждый раз, когда я проходил мимо церкви, что-то неодолимо тянуло меня зайти внутрь. Но как только моя нога ступала на порог, мною овладевало оцепенение, и я не мог войти, так что пришлось избегать церквей. В следующую пятницу я решился.

Я постучал в дверь по указанному адресу и показал привратнику диск. Рядом с домом ждал закрытый экипаж с упряжкой белых лошадей. Ко мне тут же вышли двое мужчин со словами:

– Мы ожидали вас.

Прежде чем я успел разглядеть их лица, мне завязали глаза желтым шелковым платком, от которого исходил странный, волнующий запах, и помогли сесть в экипаж. Я чувствовал, что сопротивляться бесполезно. Никто из спутников не

произнес ни слова. Лошади неслись чрезвычайно быстро и при этом не издавали ни звука. Наконец, экипаж остановился.

Меня провели по нескольким пролетам лестницы, после чего повязку сняли. Я находился в часовне. В воздухе стоял знакомый аромат жасмина, ладана и жимолости. Запах, казалось, исходил от множества расставленных по всему помещению черных свечей и канделябров, горевших розовым огнем. Они давали так мало света, что я почти не различал других людей, собравшихся здесь. Алтарь, покрытый дорогой материей, был выполнен в форме свернувшегося змея. На нем было установлено шесть черных свечей, горевших ровно и ярко. В середине возвышалось бронзовое изваяние, изображавшее явившегося мне духа: с большими распростертыми крыльями, цвета серебра и роз. В левой, поднятой вверх руке он держал яркий светильник, в правой, опущенной вниз, – рог изобилия. По бокам его находились две небольшие статуи – справа Ваал, слева Астарта в ужасающе непристойной позе. В середине, между ног изваяния, располагалась жуткого вида статуя Молоха с топором в руке.

Часовня была богато украшена. На стенах висело множество картин, но мне удалось разглядеть только три. Они изображали историю Каина. На первой гордый, юный и красивый Каин предлагал в подношение плоды земли. На второй злобный, грубый Авель с кровожадной усмешкой закалывал ягненка, чьи глаза взывали о жалости. На третьей картине Каин триумфально стоял над телом брата, и какой-то старик с гримасой нарочитого раздражения накладывал ему на чело печать в виде монограммы, которую я видел на серебряном диске. Тут в часовню вошел священник, сопровождаемый двумя необыкновенно красивыми прислужниками. Оцепенение овладело мною, я был не в силах пошевелиться, чувствуя приближение чего-то *ужасного*. Началась месса без пения, которую на незнакомом мне языке служил священник, облаченный в пышную ризу. Когда месса началась, послышалась странная музыка, исполняемая на скрипках и флейтах. Кто исполнял ее, было не видать. Мелодия была чарующе прекрасной и очень печальной. Ее приносило как бы порывом ветра, точно звуки эоловой арфы, и так же мягко она затихала. Священник приготовился прочесть послание, и музыка стихла. Он читал на незнакомом языке. Затем при звуках печального гимна два прислужника вынесли из-за алтаря нечто похожее на свиток еврейской Торы и развернули его перед священником, повернувшимся лицом к собранию. С изумлением узнал я в нем известного, очень богатого дворянина. Люди поднялись на ноги, но никто и не думал креститься. Я забыл упомянуть, что пол был усыпан распятиями, но их предназначение стало мне ясно позже. Священник вслух прочел отрывок из Книги, тогда как третий прислужник бросал зерна ладана на угли треножника перед алтарем. Когда подошло время зачитывать отрывок из Евангелия, я вдруг заметил сидящую на резном троне прекрасную смуглую женщину в черном одеянии. Голову ее венчала серебряная диадема, украшенная рубином необыкновенного блеска. На коленях ее свернулся змей, сиявший всеми цветами радуги. Женщина начала проповедовать или, скорее, пророчествовать на незнакомом языке. Собрание восторженно ей внимало; затем громко произнесло символ веры; в одном месте все принялись дружно топтать и плевать на распятия на полу. Вновь зазвучала музыка, и начался сбор пожертвований, как и во время обычной мессы.

Остальная часть ритуала также соответствовала обычной мессе, если не считать отсутствия колокольного звона во время Санктуса. Прислужник вновь бросил ладан на треножник. Священник громко произнес на латыни: «Hoc est corpus meum[1]» и остальную часть освящения. Когда он поднял чашу с дарами, я заметил, что гостии были черного цвета, с той же монограммой, отпечатанной на них. При вознесении чаши случилось самое страшное. В наступившей тишине змей соскользнул с колен женщины и вполз на алтарь. Там он пожрал одну из гостий и обвил кольцами остальные. Попробовав вина из чаши, он вернулся обратно. Месса продолжилась как обычно. В момент, сопоставимый с пением «Domine non sum dignus»[2], двое мужчин подхватили меня под руки так, что я не мог сопротивляться, подвели к алтарю и сняли с меня одежду. Священнику подали острый инструмент. Он дважды уколол меня, причинив острую боль: один раз под левой грудью, другой – в правую руку.

– Положи меня, как печать на сердце твое, – произнес священник, – как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь[3].

Боль была секундной, и я увидел, что к обоим местам приложили монограмму. Меня облачили в надушенную мантию из мягкой ткани, и другие прихожане начали приближаться к алтарной ограде. Все происходило в абсолютном молчании. Вино было ало, как кровь, изыскано на вкус. Выпив его, я почувствовал внезапный прилив сил. Причастившись, я ощутил то же восхитительное состояние, которое я пережил, когда мне было видение. Ваал и Астарта показались мне прекрасными; даже Молох, несмотря на ужасный вид, казался величественным и благожелательным. Вновь заиграла музыка. На этот раз ее сопровождали далекие голоса, певшие на незнакомом языке; однако теперь я понимал его. Это была литания: «О милосердный благой Боже, Спаситель человечества, Святой дух, человеколюбец, Утешитель страждущих, податель наслаждений, светоч вдохновения, обитель знания» и так далее, а собрание бормотало в ответ: «Помилуй нас».

Не могу сказать, как все кончилось. Мною овладел экстаз. Помню только, что пришел в себя уже на улице, когда с глаз моих сняли повязку; двое мужчин вошли в дом, и экипаж умчался прочь. Я отправился домой. Но как моя походка стала такой легкой и пружинистой? Я зашел в кафе спросить дорогу, и увидел себя в зеркале – неужели это был я? Осталось лишь отдаленное сходство. Мое лицо помолодело и похорошело. Все смотрели на меня словно в удивлении. Я прошел через весь город без малейшей устали, Я боялся, что меня не узнает прислуга, но меня не только узнали, но и передали книгу, кем-то оставленную для меня. Она была прекрасно переплетена и отпечатана, с эмблемой змеи, душащей орла, и надписью «APADNO». Я заглянул внутрь. Книга была написана на том незнакомом языке, который я странным образом научился распознавать, и состояла из нескольких евангелий, повествующих об истории вселенной и о нем, низверженном. В Приложении приводился метод преобразования всех металлов в золото; а далее объяснялся способ изготовления Эликсира жизни. Первый

1 Се есть тело мое (лат.)

2 Господи, я недостоин (лат.)

3 Песн. П. 8, 6.

метод, оказавшийся донельзя простым, я однажды опробовал и добился полного успеха. Другой – никогда: он ужаснул меня. На форзаце книги были начертаны красным несколько строк: «От меня ко мне. Взамен прошу лишь каждую пятницу приходить на причастие».

Так я и делал. Каждый раз повторялось то же самое. Никто не заговаривал со мной.

Наконец, однажды священник сказал мне:

– Вы должны прийти на Жертвоприношение. После этого вы станете полностью посвящены, и повязка на глазах будет уже не нужна. Приходите, – и он назвал тот же самый адрес, – за три часа до полуночи, в день летнего солнцестояния.

В указанное время я пришел к уже знакомому дому. У дверей стоял экипаж с белыми лошадьми. На стук почти сразу же появился священник. Поманив меня за собой, он, не говоря ни слова, уселся в экипаж. Лошади сразу взяли с места. Поездка была долгой, путь пролегал через просторные унылые поля, чье однообразие оживлял лишь случайный крик дикой птицы.

Наконец, экипаж встал у каких-то ворот, которые пропустили его и сразу затворились. Мы въехали на длинную аллею. Все вокруг казалось заброшенным и необитаемым. По пути экипаж вспугнул стадо задремавших овец. Над аллеей с печальным криком пролетела большая белая сова. Летучая мышь ударилась в стекло дверцы. В конце концов, мы подъехали к старинному замку, по виду необитаемому, лишь в окнах одной из верхних комнат да на башне горел красный огонь. Дверь открыл молчаливый привратник. Поднявшись по длинной лестнице, я оказался в огромной, роскошно обставленной спальне с громадным камином, в котором пылало пламя. Воздух был тяжел от духоты и благовоний. Пол устилал мягкий, темно-красный ковер с густым, длинным ворсом. Таким же ковром, скрадывающим шаги, была покрыта и лестница. На стенах висели красные гобелены, украшенные великолепными узорами из золота и драгоценных каменьев. Над камином было изображение гибельного Молоха. В помещении была также огромная роскошная кровать и стол, на котором были разложены всевозможные сладости и расставлены графины с кипрским вином. Священник передал мне наполненный бокал. Отпив глоток, я почувствовал, как первоначальный страх отпускает меня. В комнате находилось несколько молодых красивых прислужников, а также мрачного вида мужчина, закутанный в темную мантию мага. Священник был одет в обычную сутану. Все молчали, словно ожидали кого-то. Через некоторое время дверь открылась, и похожая на ведьму старуха ввела в спальню двух детей. На спине у нее была корзина с игрушками; у детей в руках тоже были игрушки. Женщина крадущейся походкой приблизилась к священнику и прошипела:

– На этот раз я приготовила для монсеньера вкусненький кусочек.

Священник молча отдал ей деньги – довольно значительную сумму, схватив их, старуха исчезла.

Это были явно крестьянские дети, видимо, брат с сестрой, – босые, чистенькие, румяные, опрятно одетые, на вид лет десяти-двенадцати. Оба миловидные; мальчик – старше и симпатичнее. То было воистину ангельское личико с

небесно-голубыми глазами, обрамленное золотистыми блестящими волосами. Невинные создания выглядели очень напуганными и жались друг к дружке. Священник была сама отцовская благожелательность. При виде его дети немного успокоились и ощутили, наконец, босыми ногами мягкий ворс ковра.

– Мои бедные крошки, – произнес священник, – что вас здесь так напугало? Как мило, что вы пришли повидаться с нами в это уединенное место; кроме того, у меня есть для вас небольшой сюрприз. Вы как раз те, кто мне нужен. Ведь ваш отец каменотес, не так ли?

Дети слушали его с открытыми ртами.

– Я хочу немного отремонтировать мою часовню, и мне кажется, что ваш отец смог бы выполнить эту работу лучше других. Передайте ему, что я щедро заплачу. Но постойте! Отнесите-ка ему это письмо вместе с первым взносом в надежде, что он начнет работу уже послезавтра. Видите, я вкладываю деньги в конверт.

Дети двинулись к нему, чтобы забрать письмо.

– Ах, милые мои, – сказал он, взяв их под руки, – я не могу отпустить вас отсюда с пустыми руками. Взгляните-ка, какие печенья и сладости.

С этими словами священник поцеловал мальчика в щеку, погладил девочку по голове и налил каждому по бокалу кипрского вина. Дети прониклись к нему доверием, ведь его обращение было таким ласковым. Они отведали сладостей и пригубили вино, которое им, видимо, понравилось. Затем они принялись щебетать и рассказывать священнику о своем первом причастии. Наконец, девочка призналась:

– Мы были очень напуганы, когда старуха привела нас сюда; мы не знали, что встретим здесь доброго священника. Но теперь нам страшно идти одним домой ночью.

– Неужели вы подумали, что я позволю вам уйти домой в такой поздний час? – отвечал священник. – Я обязательно прослежу за тем, чтобы о вас позаботились.

Внезапно лицо его изменилось. Оно стало похоже на морду дикого зверя, схватившего добычу. Зубами он впился в шею мальчика. Далее случилось то, о чем я не могу – не смею – рассказать. Девочка упала на колени и стала повторять:

– Kyrie Eleison! Christe Eleison! Kyrie Eleison![1]

– Умолкни, – рявкнул прислужник. – Будешь вести себя тихо, тебя не тронут.

Однако ребенок продолжал молиться:

– Sancta Maria, sancta Dei genetrix, sancta virgo virginum, ora pro nobis[2].

И так она произнесла всю молитву Божьей Матери. Когда она перешла к словам: «Agnus Dei qui tollis peccata mundi»[3], священник сделал знак. Два прислужника подбежали к нему: один – с ятаганом, другой – с золотой чашей. Первый неожиданным движением перерезал мальчику горло, второй подставил чашу под струю крови. Тем временем священник взял саблю и, схватив за волосы девочку, которая, стоя на коленях, шептала молитву, одним ударом отсек ей голову. С отвращением указав на обезглавленное тело, он произнес:

1 Господи, помилуй! Христе, помилуй! (греч., лат.)

2 Святая Дева, Пресвятая Богородица, Матерь Церкви, молись о нас (лат.)

3 Агнец Божий, берущий на себя грехи мира (лат.)

– Выбросьте это вон!

Прислужники открыли окно и выбросили в ров труп и голову. Я услышал два всплеска. После этого они вытерли кровь, выбросили в ров одежду мальчика и закрыли окно. Голову мальчика отделили от тела. Маг уже ожидал у небольшого каменного пьедестала; на этот алтарь возложили органы, вырезанные из тела подростка, и локон золотистых волос. Затем маг испарился через дверь, которую я прежде не видел, поднявшись по спиральной лестнице в верхние комнаты. Прислужник принес богато украшенный ковчег, наполненный солью, куда поместили голову мальчика. После чего чашу с кровью поставили перед камином. Откуда-то появился радужный змей и, скользнув вверх по чаше, начал лакать кровь. Тело мальчика было брошено в пылающий камин, после чего священник утомленно улегся на кровать. Я совершенно оцепенел от ужаса и не мог пошевелить ни единым мускулом. Мне казалось, что комната наполнится ужасным запахом горелой плоти, но этого не случилось. Зато из камина пошел густой синий дым, насытив воздух ароматами жимолости, жасмина, ладана и специй; он был прохладен и свеж, точно утренняя роса. Когда дым немного рассеялся, я увидел розовое сияние, одетое в серебро, из которого возник прекрасный образ, явившийся мне когда-то. Как и тогда, лицо его выражало нежность и бесконечную печаль. Прислужники пали ниц, однако я, ощутив прилив отваги, выступил вперед, чтобы обратиться к нему. Не дав мне произнести ни слова, он произнес:

– Я знаю, что ты хочешь сказать. Ты считаешь, что я жесток. Но разве я не дал тебе мое евангелие? Разве не читал ты его? Неужели ты так мало понял? Неужели тебе неизвестен первый закон вселенной – без Смерти нет Света? Это закон Бога, не мой. Разве не требовал Он принести жертву в Своем храме, похожем на скотобойню? Разве не желал Он принести Исаака в жертву? Разве не распял моего соперника?

В его голосе зазвучало ликование.

– Он не может распять меня. Я бессмертен. Я дух, и поклонятся мне в духе и в истине.

И снова нежность появилась в голосе.

– Разве не целесообразна смерть одного ради благоденствия многих?

Я, запинаясь, произнес:

– Одного – но почему здесь двое?

– Она не предназначалась в жертву, – бросил он так зло, как я еще не слышал. – Она призывала имя Той, кто мне отвратителен. Как часто уязвляла Она меня Своей пятой; но скоро я воздвигнусь на Нее.

При этих словах он страшно захохотал.

– Однажды, – продолжал он, – в ужасе от этого имени, я придумал нелепую религию, которую теперь называют протестантством, и все кончилось тем, что поклонники ее отвергли мое существование. Но многие и по сию пору следуют моим заветам. Блажен тот, кто видит и знает!

Я пытался ответить, но у меня отнялся язык. Фигура росла, пока не достигла колоссальных размеров; розовый цвет превратился в пылающий огнь; в лицо нельзя было смотреть – оно сияло, как молния.

– Кто сей, оспаривающий мои приказы? – пророкотал он. – Мое царствие придет, и воля моя исполнится на земле, как и на небесах.

Ударил гром, и сверкнула молния, на миг ослепившая меня. Когда я открыл глаза, передо мной снова был прежний кроткий образ с печальным взором. Тот же нежный, сладостный голос произнес:

– Любящие меня следуют моим заповедям. Иди, лошади уже ждут.

Видение исчезло. Но сошел я вниз, принуждаемый другой силой. Экипаж ожидал у дверей; я сел в него; и он тотчас же тронулся. При этом зазвучала чудесная музыка. Я ничего не чувствовал, кроме восхитительного томления, и уснул, словно укачиваемый любящими объятьями. Проснувшись, я обнаружил себя в своей постели.

Разбирая старый шкаф в своем доме, я обнаружил старинное резное распятие. Я решил отнести его наверх, чтобы рассмотреть поближе, когда внезапная дрожь сотрясла меня; распятие упало на пол и разбилось. В тот же миг я почувствовал знакомый аромат, и нежный голос произнес:

– Что Его мучения по сравнению с моими? Я страдаю вечно – Он же провисел на кресте три часа и тем прославился. Я страдаю из любви к человеческому роду. Никто не знает и не может знать, как я страдаю, – я, перворожденный сын Божий! Мои страдания никто не сможет живописать, а Его изображения повсюду.

– А сам бы ты мог это изобразить? – спросил я.

– Конечно, – с презрением ответил он. – Чья еще рука может это сделать? И разве я не был там? Разве я не видел? Возьми кисть и рисуй.

Я так и сделал. Ни одного движения от себя; рука моя металась влево и вправо, вверх и вниз, и картина появлялась перед глазами. Она была ужасна! Кровь сочилась из каждой поры. Все постыдные детали выставлялись напоказ. Тщедушная фигура вызывала презрение. Я приступил к лицу. Он было настолько обезображено, что не могло вызвать ни малейшего влечения. Но тут …

В этом месте лист как будто обгорел. Лишь надпись виднелась: «О, Христос милосердный!»

Строка была перечеркнута красными чернилами. И потом:

«Ии…»

На этом рукопись обрывалась. Я спросил:

– Как он попал сюда и что он рассказал о себе?

– Он пришел к нам, – отвечал гостиничный, – босым и одетым в лохмотья, принес с собой картину, которую вы видели. При нем была большая сумма денег, которую он отдал аббату и умолил принять его в общину. Он попросил лишь, чтобы на время послушничества картина висела в его келье, каковое желание было удовлетворено. Он выглядел бледным и больным; я знал, как жутко он страдал, но о ту пору я был единственный, кто приносил ему пищу и имел больше возможностей наблюдать за ним. Однако никакие страдания не отвлекали его от соблюдения малейшего правила нашего устава. Он никогда не рассказывал о себе – по крайней мере, о той части жизни, которая описана в этой рукописи.

Постепенно он оправился и после пострига отдал картину в церковь. О его смерти я вам уже рассказал.

– Вы разрешите мне скопировать рукопись? – спросил я.

– Конечно, – ответил он. – Вы наш духовный наставник и можете делать с рукописью, что вам будет угодно. Однако да не будут сочтены за дерзость мои слова – я должен просить вас не публиковать ее, ибо это может привести к гибели многих душ.

КОНЕЦ

Примечание автора:
Сюжет рассказа навеян картиной Альбрехта Дюрера «Меланхолия».

Перевод Сергея Трофимова под редакцией Валерия Вотрина

IN PROGRESS

МАРУСЯ КЛИМОВА

ЛИСА И ЖУРАВЛЬ
(глава из романа)

Павлик так и не пришел. И только несколько месяцев спустя, уже в Петербурге, Маруся обнаружила у себя в почтовом ящике каких-то нечеловеческих размеров конверт.

«Не в силе Бог, а в Правде.
Св. вел. Кн. А. Невский

Дорогая незабвенная Маруся!

Сегодня я случайно наткнулся на нашу старую переписку и счел необходимым уведомить Тебя о доселе неизвестных мне обстоятельствах.

Как ты помнишь, и в своих письмах и в разговорах с тобой мною неоднократно подвергалось критике поведение сотрудников фирмы, где я сейчас работаю, которых я воспринимал и обозначал в письмах к Тебе, как Немцев. Настоящим письмом я аннулирую свою предыдущую негативную критику Немцев, имевшую место в результате недостатка информации. Прошу нижайше меня извинить за то, что, сам того не желая, возможно ввел тебя в заблуждение по поводу этого народа, давшего миру Гегеля, Канта, Бетховена, Гете и Шиллера. По прошествии лет все встало на свои места! Туман, окутывавший мой мозг, рассеялся, и мне наконец-то открылась Истина! Теперь мне даже странно думать, как я мог этого не понимать, почему столь долго и мучительно не мог проникнуть в смысл происходящего вокруг… Ужасные мучения терзают мою душу… Я осыпал обвинениями и негодовал по поводу поведения представителей великого Народа, но оказалось, что мне довелось работать вовсе не с Немцами, а с оборотнями, выдающими себя за Немцев! Будем называть вещи своими именами: я имею в виду евреев, предусмотрительно обзаведшихся немецкими паспортами!

Уже в самом начале моей жизни в Западном Берлине меня часто удивлял тот факт, что лица, носящие фамилии, которые традиционно считаются в России вовсе не немецкими, называют себя Немцами. Например, Шейнкер (Scheinker), Дусман (Dussman), Клеман (Klehmann), Френкель (Frenkel), Левинсон (Levinsson), Фридман (Friedmann), Эйнштэйн (Einstein), Шнеерсон (Schneerson), Гинзбург (Ginsburg) etc. В моей голове это несоответствие не укладывалось. Книг, авторами которых являются лица, подобные обозначенным выше, с фамилиями определенной национальности, коих в России имеется множество в каждом книжном магазине, в Берлине мне найти не удалось. Ни в архивах, ни в библиотеках их тоже нет. Вероятно, во времена Гитлера они были уничтожены. Никаких иных причин этому удивительному явлению я не нахожу. Правда иногда я позволял себе предполагать, что в Германии возможно существуют какие-то иные этнические нормы и правила.

И это еще далеко не все! Посетив музей истории Берлина, я к великому своему удивлению узнал, что, оказывается, и Гитлер тоже был евреем. Его настоящее имя Adolf Schicklgruber, а псевдоним Hitler видимо происходит от тогдашнего модного слова Hit, от которого образовано также слово Hit-Parade. Родом он из Австрии. В Германии же он скрывался, чтобы избежать службы в армии.

В этой связи у меня возник вопрос: как же еврей мог уничтожать свой богоизбранный народ в газовых камерах? И как же этот «святой» народ после всего случившегося с легкой руки австрийского еврея, дезертировавшего из армии, может обвинять Немецкую нацию в геноциде евреев? Произведения Канта и Гегеля на тему «еврейская кабала», длительное наблюдение за их поведением, которое не изменилось со времен написания Евангелия, подтвердили мое умозаключение: лица, с которыми мне пришлось работать в Германии, не Немцы, а евреи, скрывающиеся за Немецким языком и Немецкими паспортами! Видимо в свое время (после войны) им удалось добиться отмены в документах графы «национальность», что, кстати, произошло недавно и в России. Этим они хотели приравнять себя к нации, уровень воспитания, культуры и образования которой достигли всемирно признанных высот.

Как жаль, что об этом мне стало известно столь поздно! Однако даже самое позднее прозрение лучше смерти в неведении и темноте. В конце концов жизнь человеку дается только раз, и прожить ее надо достойно, не закрывая глаза на творящееся вокруг. Надеюсь, Ты меня понимаешь… Только спустя почти шестнадцать лет своего пребывания тут я понял истинную причину страданий иностранцев на гостеприимной Немецкой земле. В СССР ведь нам не говорили о том, что во внешнем мире торговля, недвижимость, банки, сфера услуг и развлечений, медицина и другие подобные им частные конторы находятся в еврейских руках. По привычке народы СССР и восточной Европы воспринимают их, к сожалению, с доверием, как государственные учреждения и соответственно (но напрасно!) ожидают от них порядочности. Также умалчивался факт, что матерью Ленина была еврейская учительница Мария Бланк, не говоря уже о том, что

Его Императорское Величество Императора
Святаго великомученика и страстотерпца
Императора и Самодержца Всероссийского
НИКОЛАЯ II АЛЕКСАНДРОВИЧА

убил еврейский фельдшер Яков Юровский, что жена Леонида Брежнева тоже была еврейкой. Допускаю, что даже Ты, несмотря на все свои познания в мировой литературе, до сих пор не подозреваешь об этом. Но откуда мы могли это знать, когда нам никто и никогда об этом не говорил? Возникает закономерный вопрос: почему же евреи, которые свергли Монархию и установили свою диктатуру, бегут из ими же созданного в СССР общества в Германию, где их уничтожал их же соплеменник в газовых камерах.

Немецкая культура веками считалась и считается до сих пор эталоном для подражания. Если бы это было не так, то никто бы в Германию от советского еврейско-фашистско-коммунистического ига не эмигрировал. Ехали бы в другие страны мира. Те еврейские фигуры, нагло выдающие себя за Немцев, с которыми мне

пришлось общаться, видимо преследовали и преследуют одну единственную цель: незаслуженно получать почести, знаки внимания, уважения, предназначенные не им. Они, видимо, решили, что стоит поменять слово «еврей» на «Немец», как отношение к ним в мире изменится, а затем, возможно, и их внутренняя сущность. Однако таких случаев природе не известно: если свинье, например, выдать паспорт белого лебедя, то чавкать и хрюкать она все равно никогда не перестанет, даже в совершенстве изучив лебединый язык.

Для сведения сообщаю, что евреи из СССР пооткрывали здесь массу торговых точек типа «Сельпо» или «Военторг», на прилавках которых рядом с селедкой лежит тройной одеколон, горчичники, пельмени «Аленушка» и хозяйственное мыло. При этом на входе в магазин, как правило, наклеено изображение Русской матрешки, а вывеска зазывно кричит о том, что это вовсе не еврейский, а «Русский магазин». Дело в том, что немецкие Немцы, по природе своей такие же доверчивые, как и русские Русские, верят этому обману, так же, как в свое время и я верил тому, что личности, имеющие фамилии Сименс (Siemens), Бош (Bosch), Крупп (Krupp), Отис (Otis) и т.д., финансировавшие войну еврея Гитлера, тоже Немцы. Кстати, обращаю Твое внимание на то, что этим фирмам так и не удалось вторгнуться в Россию в 1940-1945 годах даже при помощи огнестрельного оружия. Зато сегодня они вместе с еврейскими банками Deutsche Bank, Dresdner Bank и еврейским универмагом Karstadt вошли на Российскую землю как желанные гости, но уже при помощи рекламы, которая стала сегодня главным психологическим и, если хочешь, духовным оружием XXI века. Русский народ принимает их за Немцев, так как говорят они на Немецком языке и носят Немецкие паспорта. Японский турист ведь наверняка тоже думает, что Иосиф Кобзон, Познер, Розенбаум и другие – русские люди, т.к. говорят и поют они по-русски и имеют русское гражданство. Из всего сказанного выше следует, что

единственным противоядием против новой еврейско-фашистской оккупации является восстановление Монархии и Православья в мире!

Как трубадур правды Ты должна знать имя еще одной новоявленной жидовки, выдающей себя миру за немку, которая пытается повторить преступления Гитлера. Ее имя Анжэла Меркель. Именно ей принадлежит концерн универмагов Karstadt. Кстати, она и не думает скрывать своих истинные симпатии и по примеру книги Гитлера «Mein Kampf» (Моя борьба) состряпала уже свой пасквиль «Mein Weg» (Мой путь), который продается сейчас здесь во всех книжных магазинах. Эта фигура состоит в партии CDU (Христианско-демократический Союз), которая цинично и лицемерно злоупотребляет именем

Господа нашего Иисуса Христа.

Имена финансистов этой создательницы нового Талмуда, помогающих ей достичь своих еврейско-фашистских целей, со времен Великой Отечественной войны не изменились. Эти семьи не прекращали размножаться, и их капитал умножился во много крат. После ВОВ они все, естественно, заявили, что они не нацисты, и таким образом избежали справедливой кары и смерти. Большинство подобных им евреев-оборотней до сих пор получают пенсии и дотации огромных

размеров как жертвы войны. Мне приходилось видеть их во множестве в качестве своих пациентов. Меня всегда удивлял тот факт, что на двери больной написана еврейская фамилия, на стенах развешаны фотографии мужей, братьев, отцов и детей весьма характерной внешности и в нацистских униформах, а пациентка считается родственницей жертв войны или сама числится жертвой. Некоторые родственники пациентов даже от страха встречали меня с агрессивным криком, т.к. знали, что я из России. Совесть все-таки мучает кое-кого из них, несмотря на то, что в большинстве своем евреи не признают наличия совести в человеке.

«Шалом!» – преднамеренно поприветствовал я однажды пациентку С. с еврейской фамилией, по документам числившуюся Немкой. И можешь себе представить, дорогая Маруся! Она тут же дала мне на чай пятьдесят марок, что сегодня практикуется довольно редко. «Я только что имела телефонную связь с Италией», – с гордостью доложила мне эта жидовка С. на следующий же день… Однако чтобы развеять ее иллюзии, я перевел подаренные мне ею пятьдесят марок на жертвенный счет Русской Православной Церкви, а ей вручил копию квитанции о переводе, поблагодарив от имени Московского Патриархата за пожертвование, что вызвало у нее откровенное недоумение.

Надеюсь, Ты поняла главную формулу традиционной тактики евреев: **постоянная деформация информации**. Дорогая Маруся, прошу Тебя отнестись к этому серьезно. Это совершенно реальная опасность повторения еврейского фашизма, унесшего миллионы жизней Неевреев планеты! Когда австрийский фарисей Адольф Шикльгрубер пришел к власти, никто и не предполагал, что этот факт станет трагедией мирового масштаба. За его преступления пришлось расплачиваться не австрийским саддукеям, а немецким Немцам и русским Русским, вынесшим страдания Христа. Никто не предполагал, что записки сумасшедшего еврея Карла Маркса будут восприняты кем-то всерьез и смогут повергнуть Российскую Империю и всю Восточную Европу под еврейско-фашистское иго сына еврейки Марии Бланк и ему подобных товарищей на целых семьдесят с лишним лет.

Как моя летописица, Ты должна знать, что дом, в котором я живу, оказывается, тоже принадлежит двум еврейским семьям: Schwiegershausen Horst (Тещин дом), Jochen Felix&Nordhaus (Северный дом) Renata и Tanja, мамаше с дочкой. Обрати внимание, что Рената назвала свою дочь Русским именем Таня, тоже видимо на всякий случай: вдруг будет выгодно иметь Русское имя. Не так давно, проанализировав фамилии жильцов дома, я с ужасом пришел к выводу, что живу в окружении фактически одних жидов. Представляешь, какой опасности я постоянно себя подвергаю! Помнишь ли Ты знаменитое дело о ритуальном убийстве киевского школьника Андрюши Ющинского? И самое главное, как это обычно и бывает в подобных случаях, никто толком так ничего и не сумел доказать… Недавно мне попалась книга, где излагается еще одна жуткая история, достоверность которой не вызывает у меня ни малейших сомнений. Я имею в виду печально знаменитое (а я бы даже сказал, печально позабытое) «дамасское дело», когда евреи убили пожилого священника отца Фому и его несчастного слугу Ибрагима Амара. Эти христиане пропали в еврейском квартале города Дамаска в среду вечером IIго дня месяца Хильхидже 1255 года, что по-нашему означает 5 февраля 1840 года. Тогда буквально все мыслящие христиане были потрясены этим зверством. Отец

Фома пропал бесследно рано утром, и его долгое время тщетно искали. Позже, после опроса свидетелей, установили, что хахам (если ты не в курсе, то хахам означает мудрец или ученый) Мишон, Бахор Иуда, хахам Мишон-Абу-эль-Афия, Давуд Арари и его братья, Исаак и Аарун, а также Юзеф Арари и Юзеф Лениадо вошли вместе с отцом Фомой в улицу Телодж в среду в день его исчезновения между полуднем и асром. Возможно, ты не все поняла в этом моем пассаже, но в Дамаске нет таких понятий как у нас: утро, день вечер. Там день начинается с захода солнца (магреб) и разделяется на две равные части, по двенадцать часов каждая. С захода солнца считаются ночные часы. С двенадцатого часа, независимо от того, наступил ли рассвет, начинаются часы дневные. «Аср» называется середина, приблизительно между полуднем и заходом солнца. «Летшай» наступает через полтора часа после магреба. Таким образом, после моих разъяснений, ты приблизительно можешь себе представить время исчезновения несчастного священника и сам тот день.

Так вот, местные власти начали расследование и выяснили, что незадолго до ужасного происшествия хахам Якуб-эль-Антаби сказал своим семерым сообщникам, что для праздника опресноков или, как они выражаются, фатира, нужна человеческая кровь, что отец Фома постоянно бывает в квартале и что нужно завести его под каким-либо предлогом в дом, зарезать его и взять его кровь. Они были, когда он сказал им это, в синагоге. Несколько дней спустя, они завели отца Фому в дом под предлогом прививки оспы, и когда он был у него после могреба, его убили, кровь Мусса Салоникли передал муссе Абу-эль-Афьэ, который снес ее, вероятно, хахаму Якубу-эль-Антаби. Вообрази себе весь цинизм этих людей, которые даже перед лицом следствия беспрестанно повторяли одно: «Это тайна великих хахамов, они знают это дело и способ употребления крови». Но, как я уже описал тебе выше, христианская кровь нужна им для приготовления опресноков, а проще сказать, мацы, причем различается маца обыкновенная, какую употребляют практически все евреи, и маца гезира (а слово «гезира» по-сирийски означает – «зарезать»), то есть, само собой понятно, что «маца гезира» делается с применением крови христианских мучеников. Вообще, еврейская секта, которая употребляет ежегодно эти ужасные опресноки, называется коеи, а другие секты едят их только в исключительные праздники. На Пасху практически в каждой еврейской семье распинают петуха – колют его тонким острым железом в насмешку над страданиями Иисуса Христа и все это проделывается со смехом и хохотом. Так вот, когда стали опрашивать преступников, умертвивших в тот день отца Фому, хахам Якуб эль-Антаби сказал, что обычай говорит, что кровь, которую кладут в опресноки, не для народа, а для некоторых особо ревностных лиц. Выяснилось, что они очень радовались, что убили его, потому что это делалось ради их веры.

Чтобы ты лучше представила себе это жуткое происшествие, опишу тебе, как разворачивались события. Когда священника, под предлогом прививки оспы малолетнему ребенку, завели в еврейский дом, его пригласили в особую комнату, а точнее, большой зал с возвышением у задней стенки, схватили несчастного, подняли его на это возвышение, а затем подвесили к потолку за ноги. Старик какое-то время провисел так, и изо рта у него, ноздрей и ушей текла черная кровь, то есть такая кровь, которая считается нечистой и ненужной для великого

праздника. Потом, когда отец Фома находился уже при последнем издыхании, его сняли и уложили таким образом, чтобы горло его оказалось над большим медным тазом, называющимся по-еврейски «босса», Давуд Арари облачился в большой плащ, или джуби, взял огромный нож, которым, как правило, пользуются резники в лавках, и перерезал ему горло, чтобы вся кровь стекла в таз, при этом все присутствующие внимательно следили, чтобы ни одна капля крови не пропала даром, затем же ее перелили, используя воронку, какие обычно употребляют при переливании масла, в большую белую бутылку, называемую «халабьэ».

Вообрази, что кровь следователи так и не нашли. Обвиняемые все кивали один на другого, говорили, что сперва бутыль с кровью хранилась на полке за книгами, затем ее, якобы, передали одному из ихних хахамов.

Вообще, в Дамаске есть улица Тале-эль-Каюбе, находящаяся на границе христианского и еврейского кварталов, и все здравомыслящие христиане обычно боятся пересекать эту границу, ибо подобное безрассудство сопряжено с риском для жизни. Сохранились свидетельства одного турка, потерявшего на войне руку, который случайно – по глупости или по неведению – зашел в еврейский квартал. Тут же его окружило пятнадцать человек евреев, и они буквально силой стали заталкивать его в один из домов, за черную дверь, снабженную огромными засовами и замками. Турок начал кричать, эти крики услышали люди из христианского квартала и бросились на помощь. Они стали ломиться в дверь еврейского дома, которая оказалась запертой, и никто ее не открывал. Крики же, доносившиеся из-за стен, становились все громче и пронзительней. Когда дверь в конце концов взломали, то увидели, что хозяин дома, еврей Серозотум, лежит в постели, а рядом хлопочет его жена, которая и сообщила, что ее муж уже давно болен и соблюдает постельный режим. Турок же, весь бледный, трясущийся и с выкаченными вращающимися глазами, сказал, что его схватили и не отпускали, а когда он начал кричать, сказали ему: «Что ты кричишь, успокойся, ничего плохого тебе не будет!» Но он все равно продолжал кричать, тогда сообщники хозяина завалили входную дверь огромными булыжниками. Хозяин же представил все совершенно в ином виде, он сказал, что этот турок влез к нему в окно, одной рукой схватил его за горло, а другой вытащил нож и угрожал убить его и его жену. Но все же люди не поверили ему, ибо одна рука у турка была по локоть ампутирована вследствие тяжелого ранения, полученного им в бою, так что он никак не мог одной рукой душить хозяина, а другой угрожать ему ножом. Кроме того, вряд ли он смог бы одной рукой навалить у дверей такую огромную кучу тяжеленных булыжников, каковая там присутствовала.

Но кажется, я несколько отвлекся от нашего сюжета, хотя от темы все-таки не отступил ни на шаг. Возвращаясь же к несчастному отцу Фоме, убиенному в ритуальных целях, я могу сообщить тебе еще и следующие сведения. По этому делу было допрошено множество свидетелей, среди которых оказалась невольница-негритянка по имени Киттэ, прислуживающая в доме Давуда Арари, но ее признали полной идиоткой, так как на все обращенные к ней вопросы она отвечала «Не знаю!», поэтому ее отослали в сераль. Когда же стали допрашивать сообщников, принимавших участие в умерщвлении, то выяснились ужасные подробности. Оказывается, после забора крови, тело отца Фомы разрезали на части, все кишки

также разрезали на части, сложили в большой мешок из-под кофе, сшитый из упаковочного холста серого цвета, и выбросили в сточную канаву, что находилась за домом Давуда Арари. Когда же следователь задал вопрос, а не просачивалось ли из мешка содержимое кишок, то ему ответили с завидным цинизмом и спокойствием: «Через кофейный мешок, когда он мокрый, ничто не просачивается!» Кости же, как оказалось, раздробили пестиком на каменном полу и также сбросили в сточную канаву. Следователь задал вопрос: «Когда вы разбивали голову, выпал мозг – что вы с ним сделали?» «Мы вынесли мозг вместе с костями», – вот каков был ответ. Кстати говоря, в спуске, предназначенном для стока дождевой воды и бывшем в то время засоренным, нашли смесь земли с почерневшей кровью и окровавленную тряпку. Когда же их спросили, что они сделали с костями, то получили ответ, что кости были раздроблены на мощеном полу пестиком от ступки. «Что вы сделали с головой?» – «Мы также разбили ее на каменном полу пестиком.» Какой ужас! А представь себе, что пестик от ступки был медный и весил он около четырех килограммов. К тому же, на каменном полу обнаружили выбоины и трещины, так что эти показания полностью подтвердились. Показания из некоторых участников преступления пришлось выбивать ударами кнута, называемого в тех краях курбаджи, причем некоторым пришлось отвесить от трехсот до семисот ударов, что значительно освежило их память. А ведь сперва абсолютно все подозреваемые отказывались от обвинений и говорили, что вообще не знают никакого отца Фомы ни, тем более, его слуги.

Через некоторое время из останков отца Фомы раньше всего были найдены кости ноги с суставами, чашка колена, осколки черепа и кусок сердца; в тот же день после обеда еще вытащили в присутствии консула, нескольких европейцев и большого числа жителей, обрывки нервов, один-два позвонка, кусок кожи с головы, на котором явственно можно было различить часть тонзуры (остальная часть была покрыта волосами), наконец два куска черной шерстяной шапочки, в форме скуфейки, какие носят европейские монахи.

Как видишь, еврейский национальный характер слагался, как и японский, к примеру, в течение ряда веков совершенно обособленной, самобытной жизни – обособленной не морями или горами, а более непреодолимыми и прочными преградами, в нем самом заложенными. Принадлежа к чуждой нам по крови расе, поставленный в особые исторические условия, имея свои определенные национальные идеи, относясь с глубоким презрением и непримиримой ненавистью к иноплеменникам, встречая с их стороны ту же ненависть и презрение – еврейский народ держался отдельно, развивался в своей замкнутой, специфической по крови и духу среде. В течение ряда веков он подвергался действию факторов, чуждых его европейским современникам, принадлежащим к иной национальности, факторов, действовавших, к тому же, на людей другой, отличной расы. Было бы странно ожидать и невозможно требовать, чтобы результат этого процесса – чтобы сложившийся таким образом народный уклад и национальная психика были тождественны с нашими, выработавшимися при других условиях и под влиянием других причин. Если верить эволюционистам и теории Дарвина, млекопитающие и рыбы произошли, развиваясь в разных условиях, от однородной первичной клетки. Ожидать от еврея общей с не евреем

психологии – это то же, что утверждать, будто экстерьер акулы тождественен с экстерьером английского скакуна.

Должен Тебе сказать, если Ты до сих пор не в курсе, что в Библии сказано: когда Авраам отправился приносить в жертву сына своего Исаака, он сказал двум слугам своим, которые там были: «останьтесь здесь, вы и осел, тогда как мы, мой сын и я, пойдем дальше». Талмуд вывел из этого заключение, что все другие народы, как и эти два человека, должны быть приравнены к ослам. И евреи по сей день продолжают воплощать эти заветы в жизнь!

Так вот, дорогая Маруся, после объединения Германии произошло практическое объединение евреев ГДР и ФРГ. Работа здесь теперь распределяется исключительно по национальному признаку. Так хозяева моего дома наняли домоуправительницу-еврейку GELLNER и дворника-еврея GANS из ГДР, потому что работники без образования дешево стоят. Судя по их поведению, в ГДР они являлись агентами STASI (службы госбезопасности) или же партийными работниками компартии ГДР. Другой работы в несоциалистическом государстве для них не нашлось. А так как я являюсь западным Немцем не еврейского происхождения, да к тому же родившимся в России, то они всячески пытаются выселить меня из квартиры, потому что уплотнить меня они не могут. Поэтому они обращаются со мной так, как Швондер и Вяземская с профессором Преображенским в фильме «Собачье сердце», поставленном по роману врача, дворянина, сына священника Михаила Булгакова.

Тебе трудно представить (однако это неоспоримый факт), что евреи ГДР, которые четырнадцать лет назад в один голос требовали присоединения ГДР к ФРГ, сегодня сожалеют, что «социалистическая» революция произошла не в мировом масштабе, а только в отдельно взятой стране России. Их ностальгия по коммунистическому прошлому выражается в том, что евреи ГДР снова ввели в употребление слово товарищ (Genosse). Нетрудно заметить, что точно такое же обращение было в ходу и у членов нацистской партии Германии. А празднование Дня Победы 9 мая (здесь это всегда отмечалось 8 мая) они отменили и исключительно для того, чтобы забыть свои жидовские преступления. Федеральные учреждения вообще прекратили подписывать издаваемые ими документы, т.к. боятся ответственности, которая рано или поздно наступит. Каждый шаг жильцов, их переписка контролируется новыми дворниками из ГДР, как это уже имело место в Восточной Германии, где они являлись осведомителями спецслужб. На Potsdamer Platz сегодняшнее «социалистическое» правительство Германии поставило памятник еврею-революционеру Карлу Либкнехту, у бывшего американского КПП на бывшей границе Западного Берлина на Фридрихштрассе, который с 1990 года является музеем, оно установило регулярный военизированный пост, где толкутся солдаты в военной униформе ГДР, под предлогом якобы киносъемок. Музей закрыл этот объект для посетителей и обернул его синим полиэтиленом, а на всех четырех сторонах водрузил надпись на немецком, французском и английском языках. Чтобы Тебе было лучше понятно, приведу здесь французский вариант: «Le monde est ainsi si bien fait que contre toute force de l'injustice il existe d'autres forces plus puissantes encore et capables de s'y opposer… La vie continue dans la mort, la verite continue dans la mensonge, la justice continue

dans l'injustice, la lumiere continue dans l'obscurite. (Mahatma Gandhi). Очень похоже, и я почти уверен в этом, что Махатма Ганди – тоже еврей, и это изречение о каких-то иных силах, способных противостоять «силам зла», является намеком на сионистские организации, которые подпольно действуют сегодня на территории всего мира, явно или неявно навязывая всем людям свою волю. Поэтому я добавил туда, распечатав на принтере, высказывание на русском языке

Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,

приведенное в этом письме ниже.

Фарисеи вновь пытаются захватить власть в свои руки: им уже удалось создать свою почту PIN-AG , при помощи которой они пытаются контролировать население страны. Я этой почты не признаю, продолжаю пользоваться услугами почты ФРГ, что вызывает негативные эмоции «Швондера и Вяземской», которые кулаками и ногами новых жильцов из ГДР наносят удары по моей квартирной двери. (Большинство западно-берлинцев уже сбежало в западную Германию, не выдержав диктатуры еврейского пролетариата ГДР). Факт насилия вынудил меня установить видеокамеру и записывать их преступления в качестве доказательств для суда. Однако камеру, установленную над дверью, они украли, сейчас я пытаюсь вмонтировать новую камеру в дверь изнутри квартиры.

Претерпеть эту оккупацию 1990 года, этот геноцид Неевреев в западном Берлине помогает мне Вера в Господа нашего Иисуса Христа, которая всегда спасала меня повсюду от иудеев и клеврет сатанинских. Мысли о подвиге семьи святых страстотерпцев великомучеников

НИКОЛАЯ, АЛЕКСАНДРЫ, АЛЕКСЕЯ, ОЛЬГИ, ТАТЬЯНЫ, МАРИИ, АНАСТАСИИ

и надежда на восшествие на Престол Его Императорского Величества Императора Германского ГЕОРГА ФРИДРИХА и Ея Императорского Величества Императрицы и Самодержицы Всероссийской

МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

дает мне силы сносить позор и унижения от еврейских фашистов.

Теперь же настало время процитировать тебе проливающие свет на многое незабвенные слова Патриарха Московского и всея Руси Его Святейшества АЛЕКСИЯ II:

«Семьдесят три года назад произошло событие, определившее путь России в XX столетии. Этот путь оказался скорбен и тяжек… И пусть все минувшие годы один за другим встанут в нашей совести и будут нас умолять не платить человеческими судьбами за эксперименты и принципы политиков (1990 год)».

Могу сообщить, что эти слова дают нам веру на торжество разума, на окончательную Победу над еврейско-фашистскими захватчиками и воскресение человеческой жизни на земле.

Маруся, история показала, что профессия фарисеев и саддукеев это всегда было, есть и будет фашизм, насилие, обман, лицемерие, грабежи и убийства: распятие Иисуса Христа; убийства и свержения Монархов, приютивших их в своих странах; революции, приведшие личности людей к деградации и народы планеты к озверению.

Далее приведу тебе высказывание, которое я часто повторяю про себя, когда мне становится невмоготу терпеть позор и унижение от окружающих меня плотным кольцом евреев:

«Держись же, Россия, твердо веры своей и Церкви, и Царя православного, если хочешь быть непоколебимою людьми неверия и безначалия, и не хочешь лишиться царства и Царя православного. А если отпадешь от веры своей, как уже отпали от нее многие интеллигенты – то не будешь уже Россией или Русью Святою, а сбродом всяких иноверцев, стремящихся истребить друг друга. Помните слова Христа неверным Иудеям: отымется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. (Мф, 21, 42)».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Слово на день священного миропомазания и венчания на царство Благочестивейшего, Самодержавнейшего великого Государя Императора Николая Александровича (1905).

Дорогая Маруся! Не далее как вчера Небо послало мне еще одну благую весть Сегодня мне довелось узнать о пророчестве святого Серафима Саровского, записанном в воспоминаниях князя Юсупова: «В келии преподобного Серафима было найдено много его рукописей. Говорят, что святейший Синод, ознакомившись с ними, приказал их сжечь, причины чего никто не знает. Листочек, датированный 1831-м годом, случайно избежал уничтожения и хранился у монахов. Там святой Серафим пишет, что спустя некоторое время после его канонизации, которая случится летом в Сарове, в присутствии последнего царя и его семьи, для России начнется эра несчастий и прольются реки крови. Эти ужасные беды допущены Богом, чтобы очистить русский народ, вырвать его из апатии и подготовить к великой судьбе, предназначенной ему Божиим промыслом. Миллионы русских будут рассеяны по свету и вернут его к вере примером своего мужества и смирения. Россия, очищенная и воскресшая, вновь станет великой страной, и вселенский Собор будет решать выбор власти. «Все это начнется через сто лет после моей смерти, и я призываю всех русских готовиться к этим великим событиям молитвами и терпением». («Перед изгнанием. 1887-1919», князь Феликс Юсупов, Москва, 1993)»»

Видимо, именно мне предначертано Господом эту неверующую страну Германию (ее славянскую часть, простирающуюся до Эльбы и Одера) вернуть к вере моим примером мужества и терпения. К моему великому сожалению обстоятельства не позволяют мне вернуться на Родину. Богу угодно, чтобы я жил здесь.

Это мое умозаключение подтверждают также и нижеприведенные события, переживаемые мною с 2003 года, на которых я, с твоего позволения, теперь хотел бы остановиться несколько подробнее. Дабы картина переживаемых мной вдали от Родины страданий и мучений стала тебе окончательно ясна.

Надеюсь, ты уже поняла, что Западный Берлин после вывода Русской Армии из ФРГ полностью оккупирован бывшими гражданами ГДР, которые требовали

объединения, перепрыгивали через стену и орали: «Мы один народ!». После исполнения их желания и обмена денег они провозгласили себя жертвами западных немцев. Они не считают нужным подстраиваться под новые условия жизни, а вводят свои бесчеловечные и безнравственные порядки, свое бескультурье, впитанное с молоком матери в ГДР под руководством КПСС. Я уже отвык от этого хамства и наглости, так как в Западном Берлине царили покой и тишина, взаимоуважение, достоинство каждого гражданина было защищено конституцией земли Берлина.

Ныне же я, не переезжая, фактически оказался в ГДР, воспитаннице СССР. В нашем доме теперь постоянно бегают по лестницам, которые, к сожалению, не мраморные, как в твоем, а деревянные, как в деревне. Эта беготня создает невыносимый шум, сравнимый с пыткой. Даже два зимних одеяла и занавес на входной двери не в силах задержать его проникновение в квартиру. Обращение новой прислуги стало напоминать поведение работников ЖЭК в СССР, которые даже там были гораздо вежливее и скромнее по сравнению с тем, что я испытываю на себе здесь.

XXVIII Februar MMIII (13.03.2003) почему-то загорелась моя микроволновая печь, в которой я подогревал еду, упакованную в картон. Эти упаковки предназначены для микроволновой печи и никогда не загорались. В этот роковой день они почему-то загорелись. Когда я это почувствовал, пламя было уже большим и дым валил из дверцы печи. Я взял полотенце и вытащил горящую еду из печи и бросил ее в мойку. Печь я перенес в ванную и стал тушить душем. Вернувшись на кухню, я увидел, что горит полотенце. Видимо, вода не до конца затушила перекинувшееся на него пламя. Я срочно перенес его в ванную, где есть возможность тушить шлангом из душа и погасил огонь. Затем я выбросил полотенце в окно, так как оно источало невыносимый запах. Через несколько секунд раздались жестокие удары в мою дверь кулаками дворника, как по камере концлагеря, который требовательно призывал мне ее открыть и впустить его для контроля. На мои вопросы: «Почему вы кричите?» – ответов не следовало, удары и приказы продолжались с новой силой. Дверь я не открыл. Он вызвал пожарников, которые, ничего опасного не обнаружив, уехали.

В этот же день я наконец решил избавиться от телевизора и радио, так как окончательно понял, что все здешние СМИ находятся в еврейских руках и служат для манипулирования сознанием и поведением людей в нужном фарисеям направлении. Переехав в Германию, я долго не мог получать удовольствия от просмотра телевидения, но я связывал это с плохим знанием языка. Однако и впоследствии прекрасное владение немецким не помогло мне испытывать наслаждение от телепередач. Они настолько бездушны и механизированы, что способны превратить зрителя в существо, не способное думать и мечтать, мыслить и творить. Складывается впечатление, что задачей телевидения является лишение человека умственных способностей и навязать ему определенный образ жизни, демонстрируя ограниченный набор моделей поведения в виде двигающихся и говорящих фигур на экране.

Во время выноса печи, телевизора, видео и стереоустановки на помойку у меня перед носом как из-под земли вдруг выросли всклокоченные фигуры

известной тебе конторской служащей Гельнэр, именующей себя домоуправом, и дворника Ганса. Громким, скандирующим, командным голосом, не терпящим возражений, с примесью большой порции в нем металла, почти не шевеля губами, она начала требовать у меня отчет, как секретарь парткома у провинившегося члена КПСС: «Что произошло в вашей квартире?» «Микроволновая печь сломалась», – произнес я в надежде ее скорого исчезновения, так как из окон за этой воспитательной акцией на тротуаре, превращенным ею в площадь позора, наблюдали жители домов и поворачивали головы прохожие. Для меня эта ситуация была непривычна, так как бывшие служащие бюро практически никогда дома не посещали. Во-первых, это было не принято, а во-вторых, эти походы и визиты не оплачивались домовладельцами. Я даже не знал их имена. Воспитание съемщиков и надзор за ними не входили в функции конторских служащих и дворников.

«Это не имеет права происходить!!!» – по-русски говоря, печь, судя по логике конторской служащей, не имела права ломаться. Таким образом, она возложила на меня вину за некачественность печи. «У вас сломалась печь, затем вы выбрасываете телевизор!!!! Это ненормально!!! Мы примем более жесткие меры!!!!» – громогласно вынесла свой вердикт Гельнэр и направилась к своей красной, цвета шапочки известной сказочной героини, съеденной волком, машинке. Почему-то основная масса ГДРэшников предпочитает красный цвет не только на губах и в одежде, но и в автомобилях. Ее поведение напоминало манеры надзирательницы концлагеря. Если бы у нее в руках был пистолет, она не колеблясь, выстрелила бы мне в голову, настолько яростен был гнев, источаемый ее глазами, переполненными ненавистью.

Вернувшись в квартиру, я пытался как можно скорее забыть этот акт хамства и наглости, цинизма, жестокости и бескультурья. Но память не давала мне покоя. Вновь и вновь перед глазами всплывали «Вяземская со Швондером». Если профессор Преображенский мог одним звонком «наверх» остановить подобный террор в собственном доме, то мне звонить было некому. Ты наверняка предложила бы мне ответить на грубость грубостью. Маруся, нельзя опускаться до уровня скота. Я не намерен общаться с ними на их нечеловеческом языке. Я подставил вторую щеку, как тому учит Евангелие.

Между тем, последние события на работе, где практически все руководящие места тоже заняты гэдээрэшниками, где также уже прочно введены в повседневность взаимные грубость и унижения, удары холодом и жестокостью, клеветой и слежкой друг за другом, въезд новых евреев из ГДР в наш дом, мания величия и жажда власти «Швондера и Вяземской» окончательно привели меня к мысли, что на территории Западного Берлина прочно, окончательно и бесповоротно введены коммунистические порядки и законы концлагеря ГДР. За всем этим чувствуется влияние какой-то организации или секты. Власти никак не реагируют, по крайней мере, сопротивления незаметно. Мало того, в нашем исполкоме Wilmersdorf открыли еврейский театр и поставили на место бюргермейстера жидовку Монику Циманн. Все пущено на самотек. А второго СССР я пережить уже не смогу…

Евангелие учит, если вас гонят из одной страны – бегите в другую. На следующий день я решил просить политическое убежище во Франции. Я положил в чемодан иконы, Библию, духовные книги, кадило и отправился в аэропорт Тегель. Там я купил билет авиакомпании Эр Франс на самолет в одном направлении «Берлин –

Париж» и вечером приземлился в аэропорту Шарль де Голль. Я находился в состоянии шока, не знал куда идти и что делать. Мне нужен был отдых, чтобы привести свои мысли в порядок. После долгих поисков вечером я остановился на одну ночь в гостинице Novotel Ibis a la Defense, так как цена была относительно приемлема, 100 евро за сутки. Меня обрадовал тот факт, что в номере есть две плотные звуконепроницаемые двери, могущие обеспечить долгожданный покой от шума. В то же время меня удивило, что окна не открываются. Подача воздуха осуществляется через отверстие, напоминающее дымоход, откуда в любой момент можно пустить газ, чтобы гость никогда не проснулся. Моя усталость была настолько велика, что судя по реакции персонала, я проспал срок сдачи номера (12.00 часов). Ко мне несколько раз приходили трое спецслужащих, и на английском языке просили покинуть номер. Мои языковые незнания не позволили объяснить им, что я хочу остаться еще на сутки и готов заплатить. Немецкий и русский языки во Франции не употребимы. Мне пришлось покинуть номер вечером, хотя плату с меня взяли за двое суток.

Я отправился искать другую гостиницу. Случайно я завернул в зеленый массив, где находился дом. Не исключено, что это маленький пансион, подумал я. Кроме того, мне очень хотелось пить. Увидев свет в стеклянной двери, в надежде утолить жажду, я открыл ее. На меня тут же бросилась огромная собака типа Баскервилли. Я понял, что это не пансион и бросился бежать. Забежав во двор здания, я оказался в ловушке, огороженной забором с колючей проволокой. У меня внезапно произошел прилив сил, который позволил мне перелезть через эту ограду. Я оказался без вещей и денег. По дороге меня забрали в полицию, где я провел ночь. Утром произвели допрос, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Мне было предъявлено обвинение о хождении по улице без документов. Мои просьбы о предоставлении политического убежища были оставлены без внимания. Контролировать речь переводчика я не мог. Был вызван адвокат, который выполнил формалитеты по моему освобождению из-под стражи и наручников. Мои вещи и документы были найдены и возвращены. Я оказался в неизвестной местности, видимо, на окраине или в предместье Парижа. Ориентирами моего дальнейшего движения стали птицы и ветер. Увидев перед собой красоту леса, я решил зайти в него, чтобы отдохнуть и насладиться этим великолепием. Чемоданы я оставил в укромном месте. Тропы лесного великолепия манили меня дальше и дальше. Под склоном одной горки виднелось здание с еврейской шестиконечной звездой. Меня удивил тот факт, что со склона горки несколько деревьев было срублено и положено в направлении этого дома. Свыше мне была послана мысль, что таким образом идет подача энергии (направляется энергия) из леса в это еврейское заведение. Какая-то неведомая сила начала руководить моими действиями: мне удалось развернуть деревья в другом направлении. На дальнейшем моем пути встречались еще несколько подобных домов с еврейскими звездами, на которые также были направлены стволы срубленных деревьев. Кроме того попадались причудливые знаки, сложенные из веток и стволов человеческими руками. Стволы деревьев я разворачивал в другое направление, а знаки разрушал. Было несколько случаев, когда после окончания работы, если это можно так назвать, из близлежащих ям внезапно выскакивали молодые животные (например, олененок или косуля и т.д.) или вылетали крупные красивые яркие птицы. Один раз я даже наступил на ежика, который с писком убежал и скрылся за ближайшими кустами.

Так я шел дальше. Сколько ночей мне пришлось ночевать в лесу, я уже не помню. Каждое утро, когда я просыпался, мне казалось, что я уже не смогу встать и идти. Когда возникало чувство голода, я смотрел на солнце и чувствовал, как мое тело наполнялось энергией, она лилась в меня, глаза при этом не жгло. На солнце был виден синий диск, размером немного меньше самого солнца. Этот диск не стоял на месте, а как будто танцевал перед солнцем. В эти минуты созерцания солнца меня посещало небывалое чувство радости, свободы и легкости. Его нельзя сравнить с состоянием алкогольного или наркотического опьянения. Это что-то совершенно новое, не поддающееся сравнению. Подобные ощущения были испытаны мною в Берлине в декабре 1998 года в Прусском парке и перед нашим Кафедральным Воскресенским собором на Hohenzollerndamm. На моем дальнейшем пути следования мне встретился автобан. На одном из его участков стояли ворота, на которых были прикреплены дорожные знаки. Такие сооружения часто встречаются. Меня удивил тот факт, что на этих воротах были изображены буквы GOTT (нем. Бог). Возможно, на французском они имеют какое-то значения для водителей.

Следуя дальше по знакам птиц и ветра, я оказался в Версале. В этот день погода была необычно хмурой и ветреной. Ветер напоминал ураган. На лицах пожилых людей можно было прочесть чувство страха. У тамошнего железнодорожного вокзала есть католическая церковь. Там я скрылся от непогоды. С правой стороны устроен придел с Русской иконой Божьей матери. Он почему-то застеклен. Помолясь Богоматери, я обратился за помощью к служащим церкви в поисках убежища. Меня попросили подождать. Во время ожидания ко мне по очереди подошли два пожилых человека и дали каждый по пять евро. Затем мне вручили адрес Каритас. Там меня посадили на машину и отвезли в ночлег для бездомных, расположенный слева от небезызвестного королевского дворца Chateau. На Allee des Matelots в одноэтажном бараке мне довелось провести 2-3 ночи. Помещение разделено тканью на «комнаты», в каждой из которых стоит от 1 до 3 кроватей. По всей видимости, это бывшая казарма, так как через дорогу расположена воинская часть, возможно, для охраны дворца и парка.

Найдя наконец отправную точку, я начал предпринимать усилия для получения политического убежища. Для начала я отправился в префектуру, чтобы зарегистрироваться. Регистрации без документов не получилось. Затем в мэрии на Avenue de Paris я попросил abri politique. (Это слово я выискал в словаре, данном мне русскими в ночлежке.) Дама, похожая на французскую королеву, дала мне адрес соответствующей инстанции: она находилась на одном из этажей обычного дома с правой стороны от Avenue de Paris, на первом этаже которого располагалась какая-то фирма. Там я был принят негрой. Разговор переводила переводчица из телефонной трубки, которая утверждала, что находится не в Версале. Она же сообщила мне, что за мной будут постоянно наблюдать и в зависимости от результатов наблюдения будут ухудшаться или улучшаться условия моей жизни. Негра сразу сказала, что шансов на успех у меня нет. Видимо, и это где-то понятно, во Франции не могут себе представить, что гэдээрэшники способны вести себя, как преступники. Во французских мозгах не укладывается, что произошло объединение ФРГ не с Германией, а с враждебной коммунистической партией ГДР, дочерью КПСС, где все жители Западной Европы воспринимаются классовыми врагами.

Таким образом ФРГ за свой счет пригрела на шее змею, вернее сказать, впустила в свой дом армию классовых врагов. Если ты помнишь, то после присоединения ГДР к ФРГ первым шагом благодарности бывших просителей объединения был поджог вьетнамского общежития в Ростоке. Непонятно, чем тихие вьетнамцы могли им помешать наслаждаться новыми хрустящими западными марками?

Моя попытка не удалась. В конце марта я был вынужден вылететь в Берлин, в концлагерь под надзор «Швондера и Вяземской».

Через некоторое время после возвращения мне отключили дверной звонок. В мою дверь колотят кулаками и ногами не только новые евреи-жильцы из ГДР, но и новая прислуга. Им не нравится присутствие нееврея, да еще из России, да к тому же Православного в ими оккупированном доме. Я мешаю им приветствовать друг друга на лестнице словом «Хайль!» и вытягивать левую руку вперед, как это делали их родители с 1933 до мая 1945 года. От нового соседа-алкоголика, отсидевшего не один срок в тюрьмах, я регулярно выслушиваю матерные оскорбления и угрозы.

В квартире подо мной жила короткое время молодая красивая русская жиличка, некая Выстрелкова. Она редко появлялась дома. В последнее время ее пребывания ее периодически посещали два лица арабского происхождения. Иногда из ее квартиры днем доносились крики: «No, baby, no!!!» Видимо, во время половых актов. При выезде ее из квартиры мебель выносили те же лица арабского происхождения. Затем в эту квартиру поселили старого жида из ГДР (Suhr, Jurgen), который ведет из нее какой-то бизнес, без перерыва кричит в телефон декламирующим голосом, устраивает собрания и совещания. Я вынужден жить с затычками в ушах, так как наушники малоэффективны.

В соответствии с местными порядками я почти ежедневно пишу жалобы на поведение новых жильцов в домоуправление. Ответов я не получаю. Видимо, в ГДР было не принято отвечать на письма жильцов, как и в СССР. В одном из писем я был вынужден назвать вещи своими именами. Хозяевам дома я письменно объяснил, что их новая конторская служащая Гельнэр превратила дом в концентрационный лагерь по типу ГДР. В ответ на это Гельнэр заказала у своих «опорных» жильцов коллективную жалобу против меня.

Затем – XI September MMIV – от одного из сыновей владельца дома мною было получено письмо под названием «Немедленное увольнение из квартиры». В качестве обоснования приведен параграф гражданского кодекса, запрещающий прекращение договора аренды. Затем следуют упреки в том, что я назвал их концентрационным лагерем и обратился в суд с требованием остановить геноцид меня как немца нееврейского происхождения. По их логике, на меня можно публично орать, мою дверь можно бить кулаками и ногами, обращаться со мной, как с заключенным концлагеря, но при этом я не имею права подавать жалобы в суд и называть вещи своими именами.

По мною наведенным справкам, домоуправление в органах власти не зарегистрировано, а значит и налоги не платит. Судя по документам в 1994 году мой дом был подарен владельцем его дочери и двум сыновьям. Договор аренды при этом не обновляется. Таким образом, мой договорной партнер уже много лет не является владельцем дома, а с его детьми я не состою в договорных отношениях. Всего этого «Вяземская» не знает и не понимает, так как соответствующего

образования не имеет. Предположительно и ее деятельность не узаконена, так как домоуправление существует фиктивно.

О факте нерегистрации домоуправления в соответствующих органах власти, мною был срочно – XI September MMIV – оповещен прокурор Берлина. В конституционный суд мною направлена жалоба с просьбой остановить преследования меня как

Верующего Русской Православной Церкви

И Немца без еврейского происхождения.

Но не стану больше отрывать у Тебя твоего драгоценного времени.

Целую, дорогой Марусик, горнило истины!

Желаю тебе мужественно перенести все беды и невзгоды России в начале нового тысячелетия!

Пребываю Тебя сердечно любящий

Павел

Post Scriptum

Вдогонку к моему посланию спешу уведомить Тебя, вернее сказать, открыть и твой духовный взор на правду. Небезызвестное тебе существо Oskar Hammer (Оскар Молоток), о котором я столь много и порой восторженно тебе рассказывал, оказывается тоже еврей, это понятно из его фамилии. Нормальный человек не может иметь такую фамилию. Но я, когда перебрался в Германию, долгое время состоял с ним в переписке. Он просил меня посылать ему мои фотографии, на которых я был запечатлен с плеткой-семихвосткой в черных кожаных брюках, подаренных мне им же. Потом он убедил меня учиться, чтобы впоследствии я смог приобрести профессию Целителя – это не вполне врач, здесь в Германии существует некоторое разграничение. Он даже перевел значительную сумму денег на счет учебного заведения, куда я поступил, опять-таки, с его подачи. И вот теперь я оказался втянут в довольно близкие отношения с психически ненормальными людьми еврейской национальности, которых вынужден называть своими сослуживцами и сослуживицами. Таков результат, но этого и следовало ожидать. Вообще, я не могу простить себе, что не переводил фамилии своих новых знакомых на русский язык. Это помогло бы мне избежать ядовитых связей с иудеями. Моя природная Русско-Немецкая лень меня подвела.

Одно обстоятельство заставило меня глубже проанализировать эту особь, то есть герра Хаммера-Молотка. Однажды, спустя несколько лет переписки, по телефону он даже признался мне, что Немцы – это испорченная раса. Однако это его высказывание долго не находило нужного места в моей голове. Как же так? Ведь он сам Немец (так я его, во всяком случае, воспринимал), во всех его автобиографиях, помещенных на первых страницах его книг, он кричит, что отсидел шесть лет в лагере военнопленных в Курске, что он жертва войны, о чем, кстати, большинство отсидевших в сталинских лагерях русских предпочитают молчать. Мне он писал, что в заключении ему в чем-то помогла некая военврач Галина. Видимо ее помощь заключалась в освобождении от тяжелых работ или в побеге (не исключено, что и она тоже была жидовкой). Мне же он «помогал» якобы за помощь, оказанную ему Галиной, так как я являлся ее соотечественником. И вдруг такое заявление против «своих» же земляков! Есть над чем задуматься!

Для справки добавлю малоизвестный тебе факт: профессия врача здесь является самостоятельной профессией, т.е. врачебные практики все частные. Они не подлежат такому жесткому контролю, как врачи поликлиник при еврейско-фашистском режиме СССР. Мало того, страховая система Бисмарка позволяла им несметно богатеть, они фактически были причислены к лику святых и делали что хотели. Поэтому 98% врачей в современной Германии – евреи.

Оскар Молоток занимал крупные руководящие посты в санаториях, обладал огромными связями. Благодаря знакомству с ним, я, сам того не подозревая, проник в жидовский рассадник, в «святая святых» их мафиозной структуры, созданную ими же вскоре после объединения Германии: **негосударственную организацию, контролирующую практически всю систему здравоохранения.** Они пытались своими примитивными методами внедрить меня в свою круговую поруку и совершать моими руками преступления, направленные против Немцев. Однако, «разложив пасьянс», мне удалось все поставить на свои места в своей голове: на протяжении около 10 лет, тихим сапом, Оскар Молоток шел к поставленной им цели, готовил меня к работе против Немцев за счет Немцев! Он просто воспользовался моим тяжелым материальным положением и моим дефицитом информации относительно его национальности. Но в нужный момент, к счастью, с помощью Божией, правда всплыла наружу. Ибо сказано в Евангелии:

«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу.» (Мк, 4, 22)

Отрываясь от земного, хочу спроецировать Твои уникальные выводы в романе «Домик в Буа-Коломб» по поводу бездуховности общества, встретившегося на твоем пути во Франции, не только на Германию, но и на остальной неправославный мир. Я больше чем уверен, что если и Ты проанализируешь фамилии встречавшихся в твоих хождениях по мукам в Париже, то большинство из них окажутся еврейскими, в том числе и хозяин «Домика». Они звучат приблизительно, как в России, например, Лурье, Брошье, и т.д., только пишутся другими буквами. Только небольшое количество Немцев, встречавшихся мне в Германии, я могу сравнить с Русской Интеллигенцией Царской России. Засилье жидов, называющих себя Немцами, к сожалению, вынуждает настоящих Немцев жить обособленно и замкнуто.

Присутствие фарисеев и саддукеев в огромном количестве за пределами земли обетованной, их поведение в органах власти – вот трагедия и причина бездуховности общества, принужденного ими служить не Богу, а маммоне. Знаки фирм «Мерседес», «БМВ» и др. зиждутся сегодня над городами выше крестов Храмов Молитвы.

Однако, как справедливо заметил известный тебе писатель, ошибочно думавший, что он работает на Русских: «Рожденный ползать, летать не может!»»

Конверт был запечатан сургучной печатью, а чуть левее и выше от нее виднелась выведенная старательным каллиграфическим почерком темно-фиолетовая надпись: «Госпоже Марусе Климовой, Санкт-Петербург, Российская Империя».

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА

Уильям Берроуз. (William S. Burroughs, 1914-1997). Книги Junky (1953, рус. перев. 1997), Naked Lunch (1959, рус. перев. 1993), The Soft Machine (1961, рус. перев. 1999), The Ticket That Exploded (1962, рус. перев. 1998), Nova Express (1964, рус. перев. 1998), Wild Boys (1969, рус. перев. 2000, издание МЖ), Exterminator! (1973, рус. перев. 2001, издание МЖ), Port of Saints (1978, рус перев. 2003, издание МЖ), Blade Runner (1979, рус. перев. 2004, издание МЖ), Cities of The Red Night (1981, рус. перев. 2003), The Place of Dead Roads (1983, рус. перев. 2004), The Western Lands (1984), The Cat Inside (1986, рус. перев. 2002, издание МЖ), My Education (1995, рус. перев. 2002) и др. В МЖ-56 опубликованы отрывки из книги «Последние слова», в МЖ-60 роман «Пидор» и повесть «Здесь Ах Пуч». Эссе взяты из книги The Adding Machine (1985).

Габриэль Витткоп (Gabrielle Wittkop, 1920-2002). Книги Les Départs exemplaires (1998), Le Sérénissime assassinat (2000), La Marchande d'enfants (2004). В МЖ-61 опубликованы повести «Некрофил» и «Смерть С.». Рассказы взяты из сборника Le Sommeil de la raison (2003).

Юлия Кисина. Стихи и проза публиковались в МЖ №№ 19, 24, 27, 30, 31, 33, 35, 51, 60. Сборник рассказов «Простые желания» (СПБ, Алетейя, 2001). Живет в Германии.

Маруся Климова. Книги «Голубая кровь» («Митин Журнал», 1998), «Домик в Буа-Коломб» («Митин журнал», 1998), «Морские рассказы» («Митин журнал», 1999), «Белокурые бестии» (2001), «Моя история русской литературы» (2004). В ее переводах изданы романы «Смерть в кредит», «Из замка в замок», «Ригодон» и «Север» Л.-Ф. Селина, «Проституция» и «Эдем. Эдем. Эдем» П. Гийота, «Керель» Ж. Жене, «Собакам и китайцам вход воспрещен» Ф. Жибо, «Лесбийское тело» М. Виттиг, «Пизда Ирены» Л. Арагона (МЖ-57), П. Луиса «Дамский остров» (МЖ-57), Ж. Батая «История глаза» (МЖ-58) и др. Живет в Петербурге.

Томас Лиготти (Thomas Ligotti, 1953). Сборники The Nightmare Factory (1984), Songs of a Dead Dreamer (1989), Noctuary (1994), My Work Is Not Yet Done (2004) и др. Живет в США.

Гарик Осипов (1962). Сборник рассказов «Товар для Ротшильда» (2003) вышел в издательстве «Митин Журнал». Публикации в МЖ №№ 58, 59. Живет в Москве.

Рауль Руис (1941). Режиссер фильмов «Гипотеза украденной картины» (1979), «Верхом наките» (1982), «Три кроны матроса» (1983), «Золотой корабль» (1990), «Три жизни и одна смерть» (1996), «Генеалогия преступления (1997) и др. Повесть «В поисках острова сокровищ» вышла в 1989 году. Интервью взяты из сборника Entretiens (1999). Живет в Париже.

Сергей Уханов (1975). Стихи публиковались в альманахе «Вавилон». Живет в Петербурге.

Алексей Цветков (1975). Сборники рассказов «THE» (1997), «Сидиромов и другая проза» (1999), «Анархия non stop» (1999), «TV для террористов» (2002). В МЖ-61 опубликован рассказ «Звук». Живет в Москве.

Сведения о других авторах – в сопроводительных материалах к текстам.

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕКСТЫ

Юлия Кисина. Приятный гробовщик. Белая. Настоящие богачи. Соблюдения заветов. Сын аптекаря. Милосердные братья. Когда кости встанут и пойдут, взявшись за руки… 5

Алексей Цветков. Паранджа. 28

Сергей Уханов. Неосторожность сл. 48

Гарик Осипов. Сермягина церква. Вкусы Власа. Быстрые шахматы. Моцарт и Салье.....60

ПЕРСОНАЖИ

Райнхард Йиргль. Собачьи ночи. *Татьяна Баскакова.* Сотворение мифа из сора повседневности: Райнхард Йиргль и его истории о Крови, Сексе & Смерти. 75

Рауль Руис. В поисках острова сокровищ. Интервью журналам «Positif» и «Miroirs du cinéma». (*перев. Н. Хотинской и И. Мурашкинцевой)*.....173

ТЕОРИИ

Уильям Берроуз. Границы контроля.
Оно принадлежит огурцам. Les Voleurs.
Вспоминая Джека Керуака.
Послание умнику. *(перев. И. Карича и М. Гунина)*.....253

КОЛЛЕКЦИЯ

Габриэль Витткоп. Сон разума. Цена вещей. *(перев. А. Величко)*...274

Томас Лиготти. Беседы на мертвом языке. Осеннее. *(перев. К. Лебедевой*.....287

BLOG

Александр Маркин. Дневник Untergeher'а. 297

АРХИВ

Роберт Вальзер. История Хельблинга. Тобольд.
Деревенская история. Маскарад. Как я провел воскресенье.
(перевод и предисловие Анны Глазовой.).....387

Эрик Стенбок. Та сторона. Дитя души. Фауст, предисловие
Джереми Рида. *(перев. В. Вотрина и С. Трофимова)*.....417

IN PROGRESS

Маруся Климова. Из романа «Лиса и Журавль». 467

Авторы этого номера.....484

Книги издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» можно купить:

в московских магазинах:

«Проект ОГИ», Потаповский пер., дом 8/12, стр. 2
«Пироги на Дмитровке» ул. Б.Дмитровка, дом 12, стр.1
«Ад Маргинем», 1-й Новокузнецкий пер., 5/7
«Фаланстер» Б.Козихинский пер.,д.10
«Книжная лавка при Литинституте им. А.М.Горького», Тверской бульвар, дом 25
«У Кентавра», ул. Чаянова, дом 15
«Молодая гвардия», Москва, ул. Б.Полянка, дом 28
«Московский Дом Книги» ул. Новый Арбат, дом 8
«БУКБЕРИ» Сеть книжных супермаркетов

в Санкт-Петербурге, в магазинах торговой сети «БУКВОЕД» по адресу:

Улица Пестеля, 23
Невский проспект, 13
Кирочная улица, 23
Московский проспект, 172
Лесной проспект, 61, корп. 1
Лиговский проспект, 4
Загородный проспект, 35

в Интернет:

«Ozon» – www.ozon.ru
«Межкнига» – www.mkniga.ru
Лавка «Я+Я» – www.shop.gay.ru/books/

По вопросу оптовых продаж книг издательств «МИТИН ЖУРНАЛ», «KOLONNA publications» обращаться в ООО «БЕРРОУНЗ», телефон 095-104-68-36

Для заказа книг по почте наложенным платежом редакция просит обращаться по адресу:
170024, г.Тверь, а/я 2448
в интернет:
www.mitin.com/request.shtml

KOLONNA Publications: Россия, 170024 Тверь, а/я 24048
Формат 70 X100/32, объем 54,5 п.л., подписано в печать 20.11.2004 г.
Гарнитура FranclinGothicBook. Тираж 3000 экз.Заказ№ 0000
Отпечатано с готовых диапозитивов издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат», г.Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон (0822) 44-42-15. Интернет/ Home page - www.tverpk.ru
Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru.